Владимир Набоков

АДА, ИЛИ ЭРОТИАДА

Николай Мельников

РОМАН-ПРОТЕЙ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА

Роман «Ада, или Эротиада» — итоговое произведение В.В. Набокова. «Итоговое» не в плане хронологии — после «Ады» было опубликовано еще два, причем не самых удачных набоковских романа: «Просвечивающие предметы» (1972) и «Посмотри на арлекинов!» (1974), — а в плане творческой эволюции, развития уже заявленных ранее художественных идей и наиболее полного воплощения тех эстетических принципов, которыми писатель руководствовался на протяжении всей своей литературной деятельности. По верному замечанию Брайана Бойда, «Ада» суммирует все то, что было значимо для Набокова: Россия, Америка, изгнание. Привязанность к семье, романтическая страсть, первая влюбленность, последняя любовь. Три языка, три литературы: русская, английская и французская. Все его профессиональные занятия: помимо писательства, энтомология, переводы, преподавание[1].

В то же время «Ада» — это своего рода эпохальное произведение: одна из «первых ласточек» постмодернизма, с его стремлением к жанрово-стилевому эклектизму и установкой на ироничную игру с топосами предшествующих литературных направлений. Во всяком случае, именно так это произведение интерпретируется современными теоретиками и пропагандистами постмодернистского искусства[2]. Отчасти с ними можно согласиться. «Ада» действительно напоминает многослойный постмодернистский пирог, если хотите — волшебный сундучок фокусника с двойным дном, где под упаковкой скандально-эротического сюжета можно обнаружить не только виртуозное владение литературной техникой, но и философские медитации о природе времени (в духе Анри Бергсона), и энциклопедизм, который по плечу лишь идеальному, в жизни едва ли существующему знатоку литературы, живописи, философии, истории, ботаники, энтомологии и проч.

«Ада» — это уникальный роман-протей, не вписывающийся в традиционные жанрово-тематические классификации, грандиозный роман-музей, в котором каталогизированы, прокомментированы и пародийно обыграны образцы едва ли не всех литературных направлений и жанров. Семейная хроника, научно-фантастический роман, любовно-эротический роман с примесью мелодрамы (romance), философский трактат, романтическая баллада, критическая рецензия и даже рекламная аннотация (blurb) — все эти жанровые разновидности (принадлежащие как «высокой», так и «массовой» литературе), причудливо смешиваясь, образуют диковинный

литературный гибрид под названием «Ада».

Художественное своеобразие набоковского романа-протея во многом определяется тем, что его «главным героем» является сама литература, его ведущей темой — процесс создания литературного произведения. По этой причине традиционные романно-эпические факторы (психологическая разработка характеров, точное и «правдивое» воспроизведение реалий окружающей действительности, анализ общественных, нравственных, биологических закономерностей человеческой жизни, более или менее реалистически убедительные мотивировки поведения персонажей) оказались вытесненными на периферию романного повествования: они либо пародийно переиначены, либо предельно редуцированы — низведены до уровня карикатурного схематизма и нарочитой условности. Вместо них на первый план выдвигаются элементы интертекстуальной игры, которая сопровождается напряженной литературной рефлексией. Каталогизация стертых литературных приемов и клише, имитация чужих стилей, пародийные перепевы хрестоматийных поэтических произведений — все это характерно для многих романов Набокова — особенно для «Отчаяния», «Дара», «Истинной жизни Себастьяна Найта», «Лолиты», — строящихся на определенном напряжении между жизнью и искусством, реальностью и вымыслом. В «Аде», где шаткое равновесие нарушено и «жизнь» полностью растворяется в искусстве, в самодостаточной творческой фантазии художника, интертекстуальность и литературная рефлексия занимают доминирующее положение; из средства художественного изображения они становятся его главным объектом, обусловливающим и композиционное построение, и фабульное развитие, и саму словесную фактуру произведения.

Вся художественная система набоковской «семейной хроники» насквозь литературна. В основе ее лежит принцип литературных отсылок (зачастую «ложных»), реминисценций, пародий, перепевов и стилизаций, образующих своеобразную призму, сквозь которую читатель — в силу творческой фантазии и эрудиции — воспринимает разворачивающиеся перед ним события.

Перипетии головокружительного романа набоковских протагонистов, Вана и Ады, обусловлены не столько жизненной логикой или требованиями психологической достоверности, сколько прихотью автора и «жанровой памятью». Отсюда и вытекают произвольность некоторых сюжетных поворотов и условность многих ситуаций. Например, кровавый поединок между Ваном и капитаном Тэппером практически ничем не мотивирован как с точки зрения обыденного здравого смысла, так и с точки зрения фабульного развития; происходит он исключительно потому, что «дуэль является одним из обязательных ритуалов русской литературы» XIX века, как остроумно заметил канадский набоковед Дэвид Рэмптон. Ироничной игрой с разного рода литературными условностями и обрядами можно объяснить и карикатурный схематизм большинства персонажей «семейной хроники», зачастую откровенно подчиненных определенной сюжетной функции (например, «препятствия» между возлюбленными).

Сюжет «Ады» строится на свободном жонглировании устоявшимися фабульными схемами (счастливое детство в родовом поместье, любовная идиллия, неизбежное расставание главных героев, измена, разрыв, дуэль, примирение, новые непреодолимые препятствия, разлука,

окончательное воссоединение). Многие эпизоды «семейной хроники» представляют собой развернутые цитаты из Шекспира, Марвелла, Шатобриана, Пушкина, Толстого, Флобера, Бодлера Рембо Чехова, Пруста, Джойса – из тех писателей, которых Набоков с полным основанием мог считать своими литературными предшественниками («каждый писатель сам создает своих литературных предшественников» – вспомним знаменитую формулу Борхеса).

«Ада» – роман, обремененный чудовищно тяжелым грузом «литературной памяти»: все его герои имеют не по одному литературному и окололитературному прототипу. Ван Вин совмещает в себе черты галантного распутника из мемуарной литературы XVIII века («Ада» не случайно изобилует отсылками к «Мемуарам» Джакомо Казановы), байронического героя, героя-повествователя многотомной эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», сластолюбивого и агрессивного супермена – любимого персонажа массовой беллетристики; напоминая о судьбе Байрона (известного своей страстной привязанностью сразу к двум сестрам – к кузине Мэри Чэворт и к сводной сестре Августе Ли), он близок и публичной персоне самого Набокова. Демон Вин является гротескной копией лермонтовского Демона и близким родственником «не-винно»-эгоцентричных аристократов Габриэля д'Аннунцио (вроде неутомимого дуэлянта и ловеласа Андреа Сперелли из романа «Наслаждение»). Марина – травестийный вариант Татьяны Лариной и Раневской из «Вишневого сада»; Дэн – персонаж юмористического комикса; печальная судьба Люсетт сближает ее образ с шекспировской Офелией и пушкинской Русалкой.

Главные тематические линии «Ады» неизбежно вовлекают в художественную орбиту романа целый ряд литературных спутников. Бурный роман Демона и Марины развивается под знаком пушкинского «Евгения Онегина». Всепоглощающая страсть Ады и Вана контрастно противопоставлена трагической любви Рене и Амели, героев повести Ф.Р. Шатобриана «Рене, или Следствия страстей». Тема памяти, вызывающей из туманного небытия драгоценные мгновения ускользающей жизни, и творческого воображения, с помощью которого человек выходит за рамки обыденной действительности, сближает «Аду» с эпопеей Марселя Пруста. Поиски «чистого», универсального времени, синтезирующего прошлое и настоящее – предмет научных штудий Вана, – отсылают читателей к философской прозе Блаженного Августина и Анри Бергсона. Наконец, тема «обретенного рая», восходящая к библейскому мифу об Адаме и Еве и их идиллической жизни в эдемском саду до грехопадения (сам мотив «падения» травестийно обыгрывается в 15-й главе первой части романа, где юные герои исследуют свое «Древо познания», завезенное в Ардис, как утверждает Ада, из «Эдемского Национального Парка»), эта, по сути, главная тема «Ады», отличающая ее от всех предыдущих набоковских произведений, посвященных как раз безуспешному поиску «утраченного рая» – детства, родины, безмятежно счастливой любви, – соотносится с двумя поэтическими шедеврами: «Садом» Эндрю Марвелла и «Приглашением к путешествию» Шарля Бодлера.

К числу «предтекстов» «Ады» смело можно отнести и многие произведения самого Набокова; в первую очередь – автобиографию «Другие берега» (особенно те главы, в которых рассказывается об упоительном счастье романтической любви между Владимиром и Тамарой

(Валентиной Шульгиной), а также «Лолиту» (вспомним страстный детский роман Гумберта и Анабеллы).

В «Аде» Набоков окончательно отказывается от миметического принципа отображения «реальной действительности». Придавая описываемым событиям привкус нарочитой условности и ирреальности, он помещает своих героев в искусственный, откровенно фантастический мир, весьма косвенно соотносящийся с повседневной реальностью. Действие «Ады» протекает на мифической планете Антитерра (она же — Демония), которая как кривое зеркало гротескно преломляет географические и исторические реалии нашей старушки Земли, Терры, являющейся, по представлениям демонийцев, не более чем фантазмом, горячечным бредом, плодом воспаленного воображения безумцев и мечтателей.

В интервью 1964 г. журналу «Лайф» Набоков поведал о своем сокровенном желании: «создать из пространства и времени мозаику», которая полностью отвечала бы его желаниям и потребностям. Эта волшебная комбинация предполагала «теплый климат, ежедневную ванну, отсутствие радиомузыки и дорожного шума, услады древней Персии, исчерпывающую библиотеку микрофильмов и ни с чем не сравнимое, неописуемое упоение от приобретения все больших и больших знаний о Луне и планетах. Иными словами, — добавлял писатель, — я предпочел бы, чтобы моя голова пребывала в Соединенных штатах шестидесятых годов нашего века, но был бы не прочь распределить прочие органы и конечности по различным столетиям и странам».

В «Аде» Набоков чудесным образом осуществил свое давнее желание, создав уникальную языковую и пространственно-временную мозаику. По воле автора Америка и Россия сплавляются здесь в фантастическую страну Амероссию, пролив Ла-Манш (английское название — English Channel) преображается в «только что проложенный Канал», Аю-Даг переименовывается в Алтын-Таг, канадский город Уайтхорс — в Белоконск и т. д. В набоковском Зазеркалье причудливо смещены, вывихнуты привычные пространственно-временные координаты; факты реальной истории прихотливо перетасовываются и налагаются друг на друга. Так, военная экспедиция в Крым против хазарских повстанцев, во время которой гибнет соперник Вана, юный граф Перси де Прэ, одновременно напоминает о далекой Крымской войне 1853—1856 гг. и о вьетнамской авантюре США, а «катастрофа-Эль», после которой антитерровская Россия отделилась от всего остального мира и превратилась в Татарию — варварскую империю, расползшуюся от Курляндии до Курил, — недвусмысленно намекает на Октябрьскую революцию 1917 года, приравненную автором к татаро-монгольскому нашествию XIII века.

Эстотия, родина набоковских героев, сочетает в себе атрибуты индустриальной американизированной цивилизации XX века — небоскребы, автомобили, самолеты, кинематограф, психоанализ — с реалиями дореволюционной России. Последние особенно значимы в первой части романа, почти целиком посвященной любовной идиллии Вана и Ады в их родовом поместье Ардис-Холл. Неторопливый, размеренный быт роскошной усадьбы, обслуживаемой многочисленной челядью, чинные семейные обеды — с водочкой, салфеточной икрой и рябчиками, шумные и веселые пикники на буколических лужайках, неизбежные темные аллеи родового

парка — свидетели жарких поцелуев, пылких объятий и куда более изощренных ласк, которыми одаривают друг друга набоковские герои, — весь этот дачно-усадебный рай вновь воскрешает неправдоподобно-идеальную, сказочную Россию набоковского детства, воспетую писателем в «Машеньке» и «Других берегах».

Воссоздание прошлого, извлекаемого из туманного небытия фантазией художника, обретение цельности бытия в творчестве — именно эти темы одухотворяют лучшие страницы «Ады», которая местами воспринимается как вдохновенная лирическая поэма, поэтическая утопия о бесконечном блаженстве идеальной любви.

В то же время (чего уж тут греха таить) «оптимистическая вариация „Лолиты“» (так называл «Аду» сам автор) представляет собой крепкий орешек. Пышно разукрашенный россыпью двух- и трехъязычных каламбуров (зачастую непереводимых, типа мадемуазель Кондор — con d'or), расцвеченный красочной лингвистической пиротехникой, перенасыщенный литературными шарадами и диковинными анаграммами, в которых зашифрованы имена известных и малоизвестных литераторов (чаще всего это литературные антагонисты Набокова, представители ненавистной ему «литературы Больших идей»), набоковский текст предполагает не жадное заглатывание, а усидчивое и неторопливое чтение и перечитывание. «Сложное, восхитительное и никчемное» искусство изящных розыгрышей, коварных мистификаций и обманчивых словесных миражей, которое так любил Набоков, доведено в романе до «дьявольской тонкости», что превращает процесс его чтения в азартное и захватывающее предприятие, сравнимое разве что с блужданием по умопомрачительному лабиринту, полному хитрых ловушек и западней, — в горячечных поисках несметных сокровищ, с лихвой вознаграждающих нашедшего их смельчака за перенесенные испытания.

Поспешу успокоить склонных к панике читателей: все-таки «Ада» — это не рассудочный ребус в духе Джеймса Джойса и не литературная викторина для докторов филологических наук; это в первую очередь (простите мне пафосное выражение) образец высокого искусства, в котором увлекательность пикантно-эротической фабулы парадоксально сочетается с приемами интеллектуальной прозы, ирония и желчь снобистской критики в адрес литературных врагов Набокова — с трепетным лиризмом, воспевающим земную красоту и счастье взаимной любви, литературная рефлексия и интертекстуальные забавы — с красочной живописностью, удивительной пластичностью описаний, блеском неожиданных метафор и сравнений — характерными достоинствами изысканного набоковского стиля.

Несмотря на все свои постмодернистские аксессуары, «Ада» представляется мне ярчайшим манифестом абсолютной творческой свободы писателя, словно вопреки угрюмым пророчествам постструктуралистских шаманов о конце литературы, «размывании категории качества», «нейтрализации коммуникации» и «смерти автора» создавшего уникальную художественную вселенную, свою оригинальную мифологию. Виртуозно жонглируя речевыми кодами и стилями, иронично обыгрывая традиционные фабульные схемы и повествовательные стратегии (вплоть до модернистской «техники потока сознания»), Набоков лишний раз доказал: истинный писатель — это «совершеннейший диктатор» в

«приватном мире» литературного произведения, это всемогущий демиург, умело подчиняющий себе безликую стихию «письма», творящий «из ничего» — из обмусоленных штампов и клише — дивные миры, горящие «звездной славой и первозданною красой».

Любимый набоковский писатель Пьер Делаланд сказал как-то о романе, теперь совершенно забытом: «В нем есть все для всех. Он вызывает у ребенка смех, у женщины — трепет. Светскому человеку он дарует целительное головокружение, а тем, кто не грезил, внушит грезы». Подобно этому роману, «Ада», я надеюсь, удовлетворит все категории читателей. В этой книге есть все для всех. Она обрадует элитарного читателя, влюбленного в головокружительные интертекстуальные лабиринты. У легкомысленных же постмодернистских критаиков и уцелевших доктринеров-постструктуралистов, ретивых клевретов густо перехваленного французского фельетониста, авторитетно объявившего о «смерти автора», словно у нашкодивших школьников, «Ада» вызовет суеверный ужас, страх и трепет запоздалого прозрения. Светскому человеку она предоставит прекрасную возможность щегольнуть своей начитанностью; любителю клубнички и дешевого эротического чтива в пестрых обложках — дарует целебное головокружение (а возможно, и исцеление). А тем, кто не имеет вредной привычки грезить, тем, кто никогда прежде не погружался в благодатную стихию набоковской прозы, внушит упоительные грезы, по сравнению с которыми унылый маразм нашей серой действительности — не более чем случайное крохотное пятно на золотом диске ослепительно сияющего солнца.

Несколько слов о структуре файла

В бумажной версии книги, кроме примечаний внизу страницы (в основном переводы иностранных слов), имеются два комментария (авторский и Николая Мельникова) приведенных в конце книги. В fb2 файле ссылки на примечания и комментарии выглядят так:

[N] — постраничные примечания с переводами иностранных слов

Вивиан Даркблоом — авторский комментарий к роману (фактически является частью произведения и должен быть прочитан вместе с текстом) (прим. В.Д.)

{1} — комментарий Николая Мельникова (коммент. Н.М.)

АДА ИЛИ ЭРОТИАДА

(семейная хроника)

Посвящается Вере

Все названные поименно персонажи этой книги, за исключением мистера и миссис Оранджер, а также нескольких случайных фигур, до настоящего времени не дожили.

Часть первая

1

«Все счастливые семьи счастливы в общем-то по-разному; все несчастливые в общем-то похожи друг на друга», — утверждает один великий русский писатель, начиная свой знаменитый роман («Anna Arkadievitch Karenina», как это выглядит по-английски в исполнении Р.Дж. Стоунлоуэра, Mount Tabor Ltd., 1880). Данное высказывание если и имеет, то весьма незначительное отношение к истории, которую нам предстоит рассказать, к той семейной хронике, первая часть которой, возможно, напомнит еще одно произведение Толстого: «Детство и отрочество» («Childhood and Fatherland»{2}, Pontius Press, 1858).

Бабка Вана по материнской линии — Дарья («Долли») Дурманова, была дочерью князя Петра Земского, губернатора Бра д'Оры, американской провинции на северо-востоке нашей огромной и многокрасочной страны, который в 1824 году женился на великосветской ирландке Мэри О'Рейли. Долли, произведенное на свет в Бра их единственное дитя, в 1840 году, когда ей минуло пятнадцать (возраст нежный и полный своенравия), отправилась замуж за генерала Ивана Дурманова, коменданта Юконской крепости и мирного сельского жителя, имевшего земли в Северн-Ториз (Съверныя Территоріи), причудливо вкрапленные в протекторат, и поныне нежно именуемый «Русская» Эстотия, который мозаикобластически и органически сливается с «Русской» Канадией, иначе «Французской» Эстотией, где не только французские, но также македонские и баварские поселенцы с удовольствием прижились в здешнем покойном климате и под нашим звездно-полосатым флагом.

Однако любимым поместьем Дурмановых было имение «Радуга» близ городка с тем же названием уже за пределами самой Эстотиландии на полоске побережья Атлантики между элегантной Калугой в Нью-Чешире, США, и не менее элегантной Ладогой в Майне; там был у них свой

загородный дом, и там появилось на свет трое детей: сын, ушедший из жизни юным, но знаменитым, и пара несносных девчонок-близняшек. Долли унаследовала красоту и характер от матери, а от более далеких предков — весьма эксцентрический и нередко достойный сожаления вкус, нашедший, к примеру, отражение в именах, какие она дала своим дочерям: Аква и Марина («Почему бы не Тофана?» — вопрошал с боязливо-утробным смешком милейший и щедрейше орогаченный генерал, завершая вопрос легким, выражавшим нарочитое безразличие, покашливанием, — из опасения навлечь со стороны супруги вспышку недовольства).

23 апреля{3} 1869 года Аква в возрасте двадцати пяти лет и в состоянии обычной для нее весенней мигрени, в пропитанной теплой дождливой моросью и одетой прозрачной весенней листвой Калуге сочеталась браком с Уолтером Д. Вином, манхэттенским банкиром древнего англо-ирландского происхождения, который уж давно пребывал в страстной (вскоре вынужденной перейти в спорадическую) любовной связи с ее сестрой Мариной. Последняя где-то в 1871 году вышла замуж за первого попавшегося кузена своего первого же любовника, также Уолтера Д. Вина и столь же состоятельного, хотя куда более заурядного малого.

Инициал «Д.» в имени супруга Аквы означал сокращенное «Демон» (форма имени Демьян или Дементий), и именно так величала его родня. В обществе его обычно называли Вин Ворон или просто Уолтер Мрак в отличие от Уолтер Дурак, как прозывался супруг Марины, — Дурак Уолтер, а попросту Рыжий Вин. Демон был равно увлечен коллекционированием старых живописцев и юных возлюбленных. Помимо этого, он ценил не вполне состарившиеся каламбуры.

Мать Дэниела Вина происходила из семейства Трамбел, и Дэниелу было свойственно пускаться в пространные объяснения — пока их не пресечет какой-нибудь ненавистник занудства — о том, как в процессе становления Америки английское «бул» в имени «Трамбул» преобразовалось в новоанглийское «бел»{4}. Как бы то ни было, он уже в двадцать с небольшим «ударился в бизнес» и постепенно вырос в весьма видного манхэттенского торговца картинами. Не испытывая — по крайней мере изначально — особой любви к живописи, Дэниел также не имел способностей к торговле вообще, как и не ощущал особой необходимости растрясать на ухабах своего «ремесла» солидное состояние, унаследованное от множества гораздо более преуспевших в жизни и более предприимчивых предков Винов. Признаваясь в равнодушии к сельской жизни, он всего лишь два или три уик-энда провел, при этом укрываясь от солнца, в Ардисе, своем восхитительном поместье близ Ладоры. Со времен детства всего лишь пару раз он наведывался в другое свое имение — то, что к северу от Китеж-озера, близ Луги, — каким владел совместно со своим кузеном, в юности страстным рыболовом, и какое в общем и целом состояло из колоссального, до странности прямоугольного, притом естественного водоема, проплыть который по диагонали окуню, что было однажды захронометрировано Дэниелом, потребовалось полчаса.

Эротическое бытие бедняги Дэна не отличалось ни разнообразием, ни прелестью, но при всем этом (позабыв вскоре, при каких именно

обстоятельствах, как обычно забывают размер и стоимость некогда приобретенного пальто, если носить пару сезонов не снимая) он безмятежно влюбился в Марину, с семейством которой был знаком тогда, когда те еще жили в своем имении в Радуге (которое впоследствии было продано мистеру Элиоту, дельцу-еврею). Как-то в середине дня весной 1871 года в тянущемся вверх лифте первого на Манхэттене десятиэтажного здания он сделал Марине предложение, которое на седьмом этаже (отдел игрушек) было с негодованием отвергнуто, после чего Дэн спустился в одиночестве вниз и, чтобы дать волю чувствам, предпринял в контр-Фогговом направлении троекратное кругосветное путешествие, причем закрутившись параллелью в одном направлении. Как-то в ноябре 1871 года в процессе обдумывания планов на вечер в обществе того же припахивающего, но любезного чичероне в костюме цвета café-au-lait[3], которого Дэн уже в третий раз нанимал все в том же генуэзском отеле, он получил на серебряном подносике каблограмму от Марины (отправленную с опозданием на целую неделю его конторой в Манхэттене, где послание по оплошности новенькой секретарши было отсортировано в ящичек, помеченный RE AMOR[4]), извещавшую, что Марина согласна выйти за него замуж, едва Дэн возвратится в Америку.

Как сообщило воскресное приложение к одной газете, которая в ту пору только начала в разделе юмора помещать ныне давно забытые изображения Малюток Покойной Ночи, Никки и Пимпернеллы (славненьких братишку и сестренку, коротавших ночь вдвоем на узенькой кроватке) и которая уцелела среди старых бумаг на чердаке в Ардис-Холле: бракосочетание Вина с Дурмановой состоялось в 1871 году, в День Святой Аделаиды{5}. Случилось так, что через двенадцать лет и восемь месяцев двое голеньких деток — темноволосый, загорелый и темноволосая, с кожей молочной белизны, — склонившись в луче солнца, падавшего, точно косая балка, из слухового оконца, под которым стояли пыльные картонки, сопоставили эту дату, 16 декабря 1871 года, с другой, 16 августа того же года, помеченной забывчивой Марининой рукой в уголке снятой профессионалом фотографии (в плюшевой малиновой рамочке на мужнином письменном столе с тумбами), в точности соответствовавшей фотографии из газеты, — и там, и там тончайшая, как эктоплазма, фата новобрачной, вздымаясь от легкого ветерка у паперти, парит перпендикулярно фраку жениха. 21 июля 1872 года в Ардисе появилась на свет девочка, предполагаемый отец которой обитал в графстве Ладора и которая по странной причине мнемонического свойства была названа и записана Аделаидой. Вторая дочь, на сей раз от Дэна, появилась на свет 3 января 1876 года.

Помимо старого иллюстрированного приложения к и ныне существующей, но абсолютно свихнувшейся «Калуга-газетт», наши резвые Пимпернель и Николет обнаружили все на том же чердаке коробку с катушкой, на которой оказалось (как сообщил мальчишка-посудомой Ким, о чем мы узнаем со временем) немыслимое количество фотопленки, отснятой нашим любителем кругосветных путешествий, с изображением всяких экзотических базаров, разрисованных херувимчиков, а также писающих уличных мальчишек, отснятых в трех различных ракурсах и при разном освещении. Разумеется, мужчина, намеревающийся создать семью, мог бы

не афишировать иные интерьеры, как-то: определенные сборища в Дамаске, в центре которых сам наш путешественник в компании с не выпускающим изо рта сигары археологом из Арканзаса, демонстрирующим восхитительный шрам на правом боку в районе печенки, а также — с тремя дородными шлюхами, а также — с упущенной стариной Арчи «нечаянной струечкой», как выразился третий участник этого собрания, истинный британец и отличный малый. И все же большую часть этой пленки Дэн многократно показывал своей невесте во время их взаимопросветительного медового месяца, проведенного на Манхэттене, сопровождая показ чисто фактическими замечаниями, установить которые было не так-то легко в силу загадочности и непонятности расположения закладок в путеводителях, разбросанных кругом.

Однако лучшей находкой наших детишек явилось содержимое очередной картонки из самых давних, выуженной откуда-то из залежей прошлого. То был небольшой зеленый альбомчик с аккуратно вклеенными туда цветами, собранными собственноручно Мариной или приобретенными ею каким-либо иным путем в Эксе, горном швейцарском курорте неподалеку от Брига. На первых двадцати страницах живописно располагались всякие растения, срываемые по наитию в августе 1869 года на травянистых склонах, у подножия которых располагалось шале, или же в парке отеля Флори, или же в саду санатория, что был поблизости («мой nusshaus»[5], как окрестила его бедняжка Аква, или «Дом», как более сдержанно в своих швейцарских дневниках называла его Марина). Эти начальные страницы не содержат ничего интересного ни в смысле ботаники, ни в психологическом отношении, а последние страниц пятьдесят совершенно пусты; зато средняя часть с явно бросающимся в глаза ростом числа экспонатов являет собой поистине мелодраму в миниатюре, исполненную памятью засохших цветков. Экспонаты располагаются по одну сторону разворота, тогда как пометки Марины Дурманофф (sic) en regard[6].

Ancolie Bleue des Alpes[7], Экс-ан-Вале, 1.IX.69. От англичанина из отеля. «Альпийская Коломбина, под цвет Ваших глаз».

Epervière auricule[8]. 25.X.69. Экс, из скрытого от глаз альпийского садика доктора Лапинэ.

Золотистый листок [гинкго]: выпал из книжки «Правда о Терре», подаренной мне Аквой перед возвращением в свой Дом. 14.XII.69.

Искусственный эдельвейс, принесенный моей новой сиделкой с запиской от Аквы, где говорится, что он с «мизерной и чудной» рождественской елки, устроенной в Доме. 25.XII.69.

Лепесток орхидеи, одной из 99, вот так вот, присланных мне вчера по почте с доставкой в собственные руки, c'est bien le cas de le dire[9], с виллы Армина в Приморских Альпах. Отложила десяток для Аквы, чтоб послать ей в ее Дом. Экс-ан-Вале, Швейцария. «Снег в магическом кристалле Судьбы», — как он часто повторял. (Дата стерта.)

Gentiane de Koch[10], редкий вид, принес лапочка (darling) Лапинэ из своего «безмолвного горечавиариума». 5.I.1870.

[Синяя чернильная клякса, случайно похожая на цветок, или же что-то, художественно замазанное фломастером] Compliquaria compliquata var. aquamarina[11]. Экс, 15.I.70.

Затейливый бумажный цветочек, обнаруженный у Аквы в сумочке. Экс, 16.II.1870. Изготовлен таким же, как она, пациентом, в Доме, который теперь не ее.

Gentiana verna (printanière)[12]. Экс, 28.III.1870, с лужайки перед домиком моей сиделки. Последний день пребывания.

Два юных создания, обнаружившие это странное и малоприятное сокровище, отозвались о нем следующим образом:

— Из этого явствуют три бесспорных факта, — заметил мальчик. — Что незамужняя еще Марина коротала зиму вместе со своей замужней сестрой там, где я lieu de naissance[13] что у Марины, pour ainsi dire[14] был свой доктор Кролик и что орхидеи были посланы Демоном, который предпочел задержаться у моря, темно-синего своего прародителя.

— Могу добавить, — сказала девочка, — что лепесток принадлежит обычной ночной фиалке, что мать моя была с придурью почище своей сестрицы и что бумажный цветок, небрежно брошенный в сумочку, точное воспроизведение подлесника, какой цветет ранней весной; я их видела в изобилии на прибрежных склонах Калифорнии в феврале прошлого года. Наш местный натуралист доктор Кролик, которого ты, Ван, упомянул, в целях, как сказала бы Джейн Остин, молниеносной сюжетной информации (Что, Смит, вспоминаете Брауна?), нарек экземпляр, привезенный мной в Ардис из Сакраменто «нага нога», НА-ГА, любовь моя, но ни моя, ни твоя, ни цветочницы из Стабии, это аллюзия, какую твой отец, который, по утверждению Бланш, также и мой, оценил бы вот так (щелчок пальцами на американский манер). Скажи спасибо, — продолжала она, обнимая его, — что не привожу научное название. Представляешь, другая лапка — Pied de Lion[15] с маленькой жалкой рождественской лиственнички, произведение тех же рук — предположительно, юного доходяги-китайца, попавшего туда прямо из Барклианского колледжа.

— Браво, Помпейанелла (ее ты знаешь по одной из книжек дядюшки Дэна с картинками, она там разбрасывает цветы, я же любовался ею прошлым летом в музее Неаполя)! А теперь давай-ка облачимся в рубашки со штанишками, спустимся вниз да и спрячем, а то и сожжем этот альбомчик без лишних рассуждений. Идет?

— Идет, — сказала Ада. — С глаз долой — из сердца вон. Но у нас еще час остается до чая.

Касательно повисшего намека в связи с упоминанием «темно-синего»:

Бывший вице-король Эстотии, князь Иван Темносиний, родитель прапрабабки наших деток, княгини Софьи Земской (1755–1809), и прямой потомок Ярославичей, правителей дотатарских времен, имел фамилию

древнейшую, известную уже тысячу лет тому назад, созвучную английскому «dark-blue». Будучи невосприимчив к волнующим позывам генеалогического самосознания и равнодушен к тому обстоятельству, что глупцы считают и равнодушие, и излишнюю страсть к этой теме признаком снобизма, Ван как эстет не мог не испытывать волнения, ощущая этот бархат своего происхождения, которое всегда отдавалось в нем неизбывным и умиротворяющим сиянием летнего неба сквозь темную листву фамильного древа. В более поздние годы он уже не мог более перечитывать Пруста{6} (как уже не испытывал удовольствия от приторной тягучей турецкой халвы), накатывала волна отвращения, за ней приступ саднящей изжоги; но осталось там у него любимое место, амарантовое{7}, пурпурное, что было связано с именем Германтов, и к этому цвету в призме его восприятия подметался сопутствующий Вану ультрамариновый, приятно щекоча его артистическое тщеславие.

Что щекотало, цвет? Неудачно. Поправить! (Более поздняя приписка на полях рукою Ады Вин.)

2

Роман Марины с Демоном Вином начался в день его, ее и Дэниела Вина рождения, 5 января 1868 года, когда Марине исполнилось двадцать четыре, а обоим Винам по тридцать.

Как актриса она ни в коей мере не обладала тем захватывающим талантом, который делает искусство подражания, в процессе спектакля по крайней мере, ценнее даже, пожалуй, таких светочей лицедейства, как бессонница, фантазия, талант высокомерия. Однако в тот самый вечер, когда где-то за плюшем и крашеными декорациями падал снег, la Durmanska (платившая великому Скотту, своему импресарио, семь тысяч золотом в неделю за одну рекламу плюс премилую премию за каждый ангажемент) с самого начала дрянной пьески-однодневки (которую один не без претензии писака-американец состряпал, взяв за основу известный русский роман в стихах{8}) была так воздушна, так мила, так трепетна, что Демон, будучи в делах амурных не слишком джентльмен, заключил пари с князем N, своим соседом по креслам в партере, и, подкупив пяток завсегдатаев артистических закоулков, затем в cabinet reculé[16] (как мог бы французский писатель минувшего века загадочно поименовать комнатушку, где по случаю среди множества запыленных горшочков с разноцветными мазилками валялись сломанная труба да пуделиный обруч забытого уже клоуна) он в промежутке между двумя сценами (что соответствовало главам третьей и четвертой многострадального романа) сумел овладеть Мариной. В первой из этих двух сцен она разделась, колышась изящным силуэтом на фоне полупрозрачной ширмы, вышла в очаровательном, тончайшем пеньюаре и остаток этого жалкого действия провела, беседуя со старой няней в эскимосских мокасинах о местном помещике, бароне д'О. Следуя крайне прозорливому совету няни, она, присев на краешке кровати, гусиным

пером выводила на тумбочке с витыми ножками любовное письмо и в течение долгих пяти минут зачитывала его вялым, но довольно-таки громким голосом и, собственно, непонятно для кого: няня подремывала на сундучке, смахивавшем на моряцкий, а зрители были в большей степени захвачены тем, как софитовый лунный блик высвечивает обнаженные плечи и вздымающиеся груди истомленной любовью юной героини.

Уже до того, как старая эскимоска прошаркала с письмом в кулису, Демон Вин покинул свое розовое плюшевое кресло, устремившись выигрывать пари, и успех его предприятия был гарантирован тем обстоятельством, что Марина, сладострастная девственница, влюбилась в Демона с самого их прощального предновогоднего танца. Больше того, от света тропической луны, в котором только что купалась, от охватившего ее до глубин ощущения собственной неотразимости, от жаркой юной страсти той, в которую перевоплотилась, и от галантных приветствий почти полного зала Марина сделалась особенно восприимчивой к щекочущему прикосновению усов Демона. Кроме того, у нее была уйма времени, чтобы успеть переодеться к следующей сцене, открывавшейся долгим интермеццо в постановке балетной труппы, нанятой Скотти, который и привез этих русских в двух спальных вагонах прямо из Белоконска, из Западной Эстотии. Разгуливая по роскошному саду, молодые и веселые садоводы, одетые почему-то в грузинские национальные костюмы, совали в рот малину, в то время как стайка столь же несуразного вида девиц-служанок в шароварах (явная накладка: возможно, слово «samovars» было искажено в аэрокаблограмме агента) увлеченно сбирали с фруктовых деревьев зефирины и земляные орешки. По невидимому призыву дионисийского свойства внезапно все они ударились в дикую пляску, именуемую в бойкой программке «Kurva» или «бульварлент», и от вскриков танцующих Вин (ощущавший звон в ушах, легкость в чреслах, а розово-красную банкноту князя N в кармане) чуть было не свалился с кресла.

Сердце у него зашлось и даже не ощутило потери сладостного ритма, едва Марина в розовом, пылающая, возбужденная, вбежала в этот садик, вызывая взрыв заказной овации, раза в три слабее, впрочем, чем в момент рассеивания придурковатых, но колоритных перевертышей из Ляски, а может, Иверии. Ее свидание с бароном О., появившимся из аллеи сбоку при шпорах и в зеленом фраке, как-то выпало из восприятия Демона, настолько сильно его поразило чудо молниеносного броска в бездну чистейшей реальности между двумя фальшивыми всполохами ненатуральной жизни. Не дожидаясь завершения этой сцены, Демон ринулся вон из театра в хрусткую хрустальную ночь; в усеянном звездами снежинок цилиндре он спешил к дому, что был неподалеку, распорядиться о роскошном ужине. В момент, когда он в санях с колокольцами отправился встречать свою новую возлюбленную, завершающий пляс генералов-кавказцев с преображенными золушками внезапно завершился. Барон д'О, ныне в черном фраке и белых перчатках, опустившись на колено средь пустой сцены, сжимал в руках хрустальную туфельку, оставленную переменчивой возлюбленной, отвергшей его запоздалые ухаживания. Начавшие уставать клакеры уже поглядывали на часы, а между тем окутанная черным плащом Марина скользнула в объятия Демона, прямо в изогнутые лебедем сани.

Они вместе кутили, вместе куда-то катили, вздорили и снова слетались друг другу в объятия. К следующей зиме Демон начал подозревать, что Марина не верна, но никак не мог вычислить соперника. В середине марта на деловом обеде у одного ценителя искусства, славного малого, долговязого добряка во фраке старомодного покроя, Демон, ввинтив себе в глаз монокль, с щелчком откинул крышку оригинального плоского футлярчика и извлек оттуда рисунок пером и акварелью, заявив, что это, возможно (на самом деле знал наверняка, но хотел пококетничать своими познаниями), неизвестный образец изысканной живописи Пармиджанино. На рисунке была изображена нагая дева, сидевшая боком на украшенной перевитыми гирляндами опоре и держа в приподнятой руке, как в чаше, похожее на персик яблоко; рисунок имел для его обладателя тем большую притягательность, что напоминал Марину, когда та звонила из гостиничной ванной по телефону, пристроившись на ручке кресла, и, прикрывая трубку ладонью, о чем-то любовника спрашивала, а тот не мог разобрать ее слов, так как телефонные помехи из ванной заглушали ее шепот. Стоило барону Д'Онски бросить один лишь взгляд на это вздернутое плечико и вьющуюся причудливо нежную поросль, как Демону все стало ясно. Д'Онски слыл человеком, который даже при виде неповторимого шедевра ни малейшего эстетического удовольствия на лице не изображал. Тут, однако, отложив в сторону лупу, точно сбросив маску, барон позволил себе в открытую, с улыбкой мечтательного вожделения ласкать взором бархатистый бочок яблока, а также впадинки и ворсистые закоулки обнаженной натуры. Не согласится ли мистер Вин немедленно продать ему картинку? Прошу вас, мистер Вин! Мистер Вин ответил отказом. Пусть этот «Оксид» (прозвище, неведомое носителю) довольствуется тщеславной мыслью, что на сегодня лишь он да счастливый обладатель миниатюры могут восхищаться ею en connaissance de cause[17]. И — обратно акварель в ее заветный панцирь; однако после четвертой чарочки коньячку д'О. нижайше попросил взглянуть последний раз. Оба были уже навеселе, и Демон про себя прикидывал, стоит ли, надо ли заговаривать об этом довольно пошлом сходстве между райской девой и молоденькой актрисой, какую его гость наверняка лицезрел в постановках «Евгения и Лары» или «Леноры-Ворона» (обе были хлестко отделаны одним «до омерзения неподкупным» критиком). Нет, не стоит: подобные нимфы в действительности все на одно лицо, поскольку очевидны своей примитивностью; ведь сходство между юными телами, созданными водной стихией, не что иное, как болтовня о природной невинности, о превратности зеркал: эта шляпа — моя, его — не такая новая, но шляпник у нас один, лондонский.

Назавтра Демон откушивал чай в любимом своем отеле и в обществе одной дамы из Богемии, которую видел в первый раз и, должно быть, в последний (ей нужна была от него рекомендация для службы в отделе стеклянных рыб и цветов Бостонского музея), как вдруг эта особа прервала свое неуемное красноречие при появлении Марины и Аквы, которые в стильной отчужденности и голубоватых мехах безучастно пересекли зал, покачивая бедрами, следом Дэн Вин и duckel[18], и проговорила:

— Поразительно, как эта противная актерка похожа на «Еву с клепсидрофоном»{9} с известного рисунка Пармиджанино!

— Известного? Вот уж нет, — тихо сказал Демон. — И видеть его вы не могли. — И добавил: — Не завидую вам. Наверно, всякому, кто по наивности вляпается в чужую жизнь и опомнится, бывает изрядно не по себе. Откуда этот слушок подхватили, впрямую от субъекта по имени Онски или же от приятеля его приятеля?

— От его приятеля, — отвечала злополучная дама из Богемии.

Будучи допрошена в темнице у Демона, Марина сперва истерично расхохоталась, потом стала плести какую-то цветистую околесицу, но под конец не выдержала и созналась. Клялась, что там все кончено; что этот барон как мужчина — полное ничто и в душе самурай и что навсегда убрался в Японию. Из более надежных источников Демон узнал, что в действительности наш самурай устремился в маленький уютный Ватикан, римский курорт на водах, откуда ожидался примерно через неделю обратно в Аардварк, штат Масса. Поскольку предусмотрительный Вин предпочел разделаться с этим типом в Европе (говорят, слегка сдавший, но не сдающийся Гамалиил все старался запретить дуэли в Западном полушарии — но это либо «утка», либо быстрорастворимый каприз Президента-идеалиста, так как ничего у него в конце концов из этого не вышло), Демон нанял самый быстролетный из доступных петролоплан, настиг барона (имевшего вид весьма бравый) в Ницце, проследил, когда тот вошел в книжную лавку Гантера, устремился следом и в присутствии невозмутимого и несколько даже утомленного хозяина-англичанина перчаткой цвета лаванды наотмашь смазал изумленного барона по физиономии. Вызов был принят; подобраны двое секундантов из местных жителей; при выборе оружия барон настоял на шпагах; и после некоторого пролития благородной крови (как польской, так и ирландской — вроде американской «кровавой Мэри»{10} на кабацком жаргоне), обагрившей оба волосистых торса, свежевымытую веранду, ступеньки, ведущие на задний двор в палисадничек, причудливо спланированный Дугласом Д'Артаньяном{11}, передник случайно подвернувшейся под руку молочницы, рукава сорочек обоих секундантов — обаяшки месье де Паструйя и мерзавца полковника Ст. Алина, упомянутые джентльмены-секунданты разняли тяжело дышавших бойцов, и Оксид скончался, но не «от ран» (как утверждали злые языки), а от гангренозного последствия самой незначительной из них, возможно, нанесенной себе им же самим: укола в пах, повлекшего нарушение кровообращения, — скончался-таки, несмотря на неоднократное хирургическое вмешательство во время продолжительных пребываний в течение двух-трех последующих лет в Аардварк-клинике города Бостона, где по чистой случайности в 1869 году он женился на нам известной богемской даме, ставшей хранительницей стеклянной биоты местного музея.

Марина заявилась в Ниццу через пару дней после дуэли, разыскала Демона на его вилле Армина, и в экстазе примирения оба позабыли об уловках, предотвращающих деторождение, в результате чего Марина и попала в крайне интересное положение «interesting condition», собственно говоря, без чего не появились бы никогда страдальческие сопутствующие пометки.

(Я доверяю, Ван, твоему вкусу и таланту, но скажи, вполне ли ты уверен, что стоит снова и с таким пылом обращаться туда, в тот

злополучный мир, который в конце концов существовал, возможно, только онейрологически, а, Ван? Писано на полях рукой Ады в 1965 году; позже неявно перечеркнуто ее же дрожащей рукой.)

Этот период безрассудства был не последним, но скоротечным — он продлился всего четыре-пять дней. Демон ее простил. Демон ее боготворил. Отчаянно хотел на ней жениться — при условии, что она немедленно бросает свою театральную «карьеру». Он обличал заурядность ее дарования и вульгарность ее окружения, Марина же вопила, что он скотина, что он чудовище. К 10 апреля уже Аква увивалась вокруг него, а Марина улетела обратно репетировать «Люсиль», не более чем очередную кошмарную пьеску, сулившую очередной провал ладорскому театру.

«Прощай. Пожалуй, так будет лучше, — писал Демон Марине в середине апреля 1869 года (возможно, это либо копия письма, переписанная его каллиграфическим почерком, либо неотправленный оригинал), — ибо какое бы блаженство ни озарило нашу супружескую жизнь и сколько бы ни продлилось это блаженство, есть то, чего я не смогу ни забыть, ни простить. Хочу, чтоб ты, дорогая, это поняла. Хочу выразить все это в красках, привычных всякому лицедею. Ты отправилась в Бостон навестить старую тетку: штамп, однако на сей раз правда — я же отправился навестить свою к ней на ранчо близ Лолиты, что в Техасе. Как-то рано утром в феврале (chez vous[19] около полудня) я позвонил тебе в отель из придорожной будки, на хрустале которой слезами высыхали капли отбушевавшей грозы, умоляя тотчас прилететь ко мне, так как я, Демон, бьюсь о стены подбитыми крыльями и кляну этот автоматический дорофон и не могу жить без тебя и так хочу, чтобы ты, в моих объятиях, увидела, как блестят цветы, высвободившиеся после дождя среди пустыни. Твой голос был далек, но сладок; ты сказала, что нага, как Ева, не вешай трубку, накину пеньюар. А сама, приглушив мой слух, заговорила, похоже, с мужчиной, с тем самым, с кем провела ту ночь (и кого я разом прикончил бы, не желай я так страстно его оскопить). Вот тебе эскиз для фрески нашей судьбы, созданный в шестнадцатом веке юным художником из Пармы в момент пророческого озарения и совпавший, исключая лишь плод губительного познания — яблоко, с образом, повторенным в сознании двух мужчин. Кстати, сбежавшая от тебя горничная была обнаружена полицией тут в борделе и будет немедля отправлена пароходом к тебе, едва ее как следует напичкают ртутными препаратами».

3

Подробности катастрофы Эль (но не Элиту я имею в виду) в beau milieu[20] прошедшего столетия, имевшие исключительное значение для появления и клеймения понятия «Терра», слишком хорошо известны в историческом смысле, а в нравственном слишком непристойны, чтоб долго рассуждать о них в книге, посвящаемой юным любителям и

любовникам, а вовсе не мрачным толкователям и гробокопателям.

Разумеется, ныне, когда (более или менее) миновали великие контр-Эльные годы реакционных заблуждений, Фарабог их благослови, вновь застрекотали после некоторого простоя наши полированные станочки, как стрекотали они в первой половине девятнадцатого столетия, и чисто географический план происшедшего начал обретать свой искупительно-комический оттенок, как и все эти медные базарные подделки, весь этот bric-à-Braques, чудовищная эта бронзовая позолота, что наши лишенные юмора предки именовали «искусством». В самом деле, никто не может отрицать, что в самих очертаниях того, что торжественно выдавалось за красочную карту Терры, есть что-то в высшей степени нелепое. Ved' (представьте себе!) разве не уморительно вообразить, что «Россия», это странноватое прозвище Эстотии, американской провинции, простирающейся от Северного, уже не Порочного, а Полярного Круга до самых Соединенных Штатов, на карте Терры была страна, ловким броском суши перемахнувшая через преграду раздвоившегося океана в противоположное полушарие, где и расползлась по всей нынешней Татарии — от Курляндии до Курил! Но (что еще более нелепо): если, в контексте террийского пространства, Амероссия Абрахама Мильтона{12} распалась на делимые вполне реальными морями и ледовыми пространствами составляющие, выявив понятия скорее политические, чем поэтические, — «Америку» и «Россию», то более сложные и даже более невероятные соответствия возникают в связи со временем; не только потому, что история каждой частицы этой амальгамы не вполне соответствовала истории частицы дубликата в ее оторванности, но потому, что между этими двумя землями непонятным образом возник разрыв примерно в сотню лет; разрыв был отмечен странной путаницей в указателях направлений на перекрестках уходящих времен, так что не всякое уже не одного мира соответствовало всякому еще не в другом. И, кроме всего прочего, именно в силу такого «научно необъяснимого» стечения отклонений умы bien rangés[22] (чье ухо глухо к проказам духов) отрицали Терру, считая ее причудой или призраком, ну а нестойкие умы (всегда готовые сорваться в бездну) приняли Терру в поддержку себе и как залог своего безрассудства.

Вану Вину суждено было открыть для себя в годы своего страстного увлечения террологией, считавшейся тогда разделом психиатрии, — что даже наиглубочайшие мыслители, такие истинные философы, как Пэр Чузский и Сапатер Аардваркский, расходились в вопросе о возможности существования где-то «искажающего зеркала нашей исказившейся планеты», как красиво и остроумно высказался один ученый-схоласт, пожелавший остаться неизвестным. (Гм! Спорно! Спорно! как говаривала Гавронскому бедняжка мадемуазель Л. — Рукою Ады.)

Одни утверждали, что несоответствия и «обманчивые наложения» между двумя мирами слишком часты и так тесно переплелись с последующими событиями, что не избежать привнесения некоторой банальности восприятия в теорию изначальной тождественности; но были и такие, кто возражал: расхождения лишь подтверждают, что тому, иному, миру присуща живая органическая реальность; идеальное сходство скорее говорит о зеркальном отражении, а отражение — не самовыражение; две шахматные партии при одном и том же дебюте и конечном ходе на одной доске и в двух головах могут иметь бесконечное количество вариаций

на любой промежуточной стадии своих неизбежно сольющихся развитий.

Скромный повествователь обязан напомнить обо всем этом тому, кто перечитывает эту книгу, так как в апреле (мой любимый месяц) 1869 года (прямо скажем, не год чудес) в День Святого Георгия{13} (согласно сентиментальным воспоминаниям мадемуазель Ларивьер) Демон Вин женился на Акве Вин — из презрения и жалости, как нередко в жизни бывает.

Были ли эти чувства сдобрены чем еще? Марина в своей извращенности и из тщеславия утверждала в постели, что чувства Демона, должно быть, подогреты своеобразным «инцестным» (чтобы это ни значило) наслаждением (в смысле французского plaisir, которое, вдобавок, отдается сильным подрагиванием в крестце), когда он ласкал, смаковал, нежно раздвигал и осквернял, не будем говорить как, но восхитительно, плоть (une chair), являющуюся одновременно и плотью жены, и плотью любовницы, эти слитые воедино, ликующие прелести разделенной субстанции, Аквамарины в едином образе и в двух лицах, этого миража в эмирате, двуликого сердолика, вакханалию аллитераций эпителия.

Надо сказать, что Аква была не так хороша и гораздо более не в своем уме, нежели Марина. Четырнадцать лет несчастливого замужества стали для нее сперва прерывистой, а затем сплошной полосой пребываний в разных санаториях. Помечая эти биваки Аквы в ее Войне Миров, можно было бы довольно густо утыкать эмалевыми флажками с красным крестом небольшую карту европейской части Британского Содружества — скажем, от Ското-Скандинавии до Ривьеры, Алтаря и Палермонтовии, а также большую часть США, от Эстотии и Канадии до Аргентины. Одно время у нее были планы обрести хоть крохотку здоровья («умоляю, вместо сплошной черноты — хотя бы серого, чуть-чуть!») в таких англо-американских протекторатах, как Балканы и Индии, и, возможно, попытать счастья на двух южных континентах, подпадающих под наше совместное владение. Разумеется Татария, эта изолированная Геенна, простиравшаяся в то время от Балтийского и Черного морей до Тихого океана, туристам была недоступна, хотя названия «Ялта» и «Алтын-Таг»{14} притягивали странностью созвучий… Однако воистину прибежищем для Ады явилась Терра Прекрасная, и именно туда, верила она, суждено ей умчаться после смерти на длинных стрекозьих крыльях. Ее жалкие письмишки из приютов для душевнобольных порой имели такую подпись: «Мадам Щемящих Звуков».

После первого сражения с безумием в Экс-ан-Вале Аква возвратилась в Америку, и там ее постиг жестокий удар как раз в ту пору, когда Вана еще кормила грудью глупенькая, молоденькая, почти что ребенок, кормилица Руби Блэк, негритяночка, которой также было суждено распроститься с рассудком: ибо все любящее и все хрупкое, что приходило с Ваном в соприкосновение (затем последует Люсетт, вот и еще один пример), тотчас, не будучи усилено отцовской демонической кровью, обрекалось на муки и горести. Акве не было еще и двадцати, когда врожденная ее экзальтированность стала принимать нездоровые формы. Хронологически начальная стадия ее душевного расстройства совпадает с первым десятилетием Великой Ревальвации, и хотя для безумия у Аквы вполне могла быть и иная причина, статистика

свидетельствует, что эта Великая, а кое для кого Невыносимая, Ревальвация вызвала к жизни гораздо больше умопомрачения, чем даже чрезмерное пристрастие к религии в средние века.

Ревальвации могут обернуться большей опасностью, нежели Революции. Нездоровое сознание представляло себе планету Терру в виде другого мира, и этот «иной мир» путали не только с «миром иным», но также и с сущим миром в нас и вне нас. Наши чародеи, наши демоны — это почтенные радужные существа с могучими крыльями и прозрачными когтями; но в шестидесятые годы прошлого века Нововеры внушали всем, что существует некая планета, где славные наши друзья впали в крайнюю деградацию, превратившись прямо-таки в злобных монстров, отвратительных демонов, плотоядных тварей с черной мошонкой, с ядовитым змеиным зубом, в осквернителей и истязателей женских душ; тогда как на другом конце космической трассы в туманном радужье ангельских душ, населяющих любезную Терру, обрели новую жизнь все затасканные, но еще могучие мифы древних вероучений, и в переложении на мелодион{15} грянула вся эта какофония всевозможных божков и богословов, в обилии расплодившихся по болотцам нашего удобного мира.

Удобного, entendons-nous[23], для тебя, Ван. (Заметка на полях.)

Бедняжка Аква, которая оказалась падка на все новомодные призывы чудаков и христиан, зримо представляла себе этот рай псалмопевца-приготовишки — грядущую Америку алебастровых зданий высотою в сотню этажей, похожую на склад роскошной мебели, заставленный высокими, отбеленными гардеробами вперемежку с приземистыми холодильниками. Она видела гигантских летучих акул с глазами по бокам, способных всего за одну ночь перенести путешествующих сквозь черноту эфира через весь континент, из тьмы к сверкающему морю, и с рокотом устремиться назад, в Сиэтл или Уарк. Она слышала, как разговаривают и поют музыкальные чудо-шкатулки, заглушая внутренний страх, увлекая ввысь лифтера, устремляясь под землю с шахтером, прославляя красоту и благочестие, Пресвятую Деву и Венеру в жилищах одиноких и убогих. Замалчиваемая магнитная энергия, ниспровергнутая зловредными законотворцами этой нашей захудалой отчизны — как же, повсюду, в Эстотии и в Канадии, в «германской» Марк-Кеннен-Зи, а также «Шведском» Манитобогане, у краснорубашечных юконцев и в кухне краснокосыночницы-лясканки, и во «французской» Эстотии, везде, от Бра д'Оры до Ладоры, а вскорости повсеместно в обеих наших Америках и на прочих унылых континентах! — на Терре использовалась столь же свободно, как воздух и вода, как Библия или половая щетка. Двумя-тремя столетиями раньше Аква попросту могла бы сойти за ведьму, достойную костра.

В мятежные годы студенчества Аква бросила модный Браун-Хилл колледж, основанный одним из ее не слишком достойных предков, чтобы принять участие (что тоже считалось модным) в работе какого-то проекта социального обустройства в Severniya Territorii. При неоценимой помощи Мильтона Абрахама она организовала в Белоконске «бесплатную аптеку», там же и постигла ее несчастная любовь к женатому мужчине, который, одарив Акву на лето пошлой страстью в своей garçonnière[24] в прицепе «форда», предпочел затем ее бросить, чтоб не подставлять

под удар свое общественное положение в обывательском городке, где деловые люди играли в «гольф» по воскресеньям и состояли в «ложах». Страшная болезнь, примерный диагноз которой у Аквы, а также применительно и к другим подобным несчастным, определялся как «крайняя форма мистической мании в сочетании с отчуждением от реальности» — попросту, обычное сумасшествие, — овладевала ею постепенно, перемежаясь периодами экстатического спокойствия, краткими наскоками яснейшего сознания, внезапными мечтами о непреложности вечности, но и это случалось все реже, протекало все мимолетнее.

После смерти Аквы в 1883 году Ван подсчитал, что за тринадцать лет, включая все, какие помнил, ее присутствия дома, все гнетущие визиты к ней в различные лечебницы, а также внезапные бурные сцены посреди ночи (в схватке с мужем или с маленькой, но шустрой гувернанткой-англичанкой, когда поднималась вверх по лестнице к дикой радости старого appenzeller[25], и наконец возникала в детской: без парика, босая, ногти в крови), в общей сложности видал Акву или рядом с ней находился по времени даже меньше, чем пребывал в материнской утробе.

Вскоре розовую даль Терры прикрыла от Аквы зловещая пелена. Распад личности продвигался стадиями, с каждым разом оказывавшимися все мучительней, ибо мозг человеческий способен сделаться изощреннейшей камерой пыток, какие только были изобретены за миллионы лет, в миллионах стран и отзывались воплями миллионов жертв.

У Аквы развилась болезненная чувствительность к говорку текущей из крана воды — что, когда моешь руки после иностранных гостей, перекликается порой (почти как тиканье пульса перед засыпанием) с въевшимися в слух обрывками чужеродной речи. Впервые обнаружив в себе возникающее вдруг, непрерывное, а для нее весьма желанное, забавное и, право, вовсе безобидное перепроигрывание той или иной едва отзвучавшей беседы, Аква возликовала при мысли, что ей, бедняжке Акве, вдруг выпало открыть такой простой метод записи и воспроизведения разговора, тогда как технари со всего света (эти «яйцеголовые») пытаются сделать сносными в быту и экономически выгодными эти крайне сложные и не дешевеющие гидродинамические телефоны и прочие жалкие новшества, что пришли на смену прежним, отправившимся к chertyam sobach'im (это по-русски), когда вышел запрет на ламмер, о котором и говорить не стоит. Вскоре, однако, ритмически безупречная, но словесно довольно размытая говорливость кранов начала обретать существенный смысл. Четкость выговора бегущей воды возрастала, и пропорционально росли неудобства этим доставляемые. Стоило Акве услышать или увидать, как кто-то говорит — причем, не обязательно с ней, — тотчас же принималась, громко и выразительно, говорить вода, звучал чей-то мгновенно угадываемый голос, очень по-особому или по-иностранному произносивший фразы, чья-то навязчивая дикторская скороговорка на каком-то несуразном сборище или некий жидковатый монолог в какой-то занудливой пьесе или то был сладкий голосок Вана или подхваченный на лекции отрывок стихотворения, мальчик чудный, люблю, милый, сжалься, молю, но особенно текучи и flou[26] строки итальянского стиха, как та песенка, которую старый доктор, полурусский, полупсих, припевал, коленки обстукивая, веко вывертывая, так, как, песенка, лесенка,

баллатетта, деболетта… ту, воче сбиготтита… спиготти э диаволетта… де ло кор доленте… кон баллатетта ва… ва… делла струтта деструттаменте… менте… менте…{16} остановите пластинку, не то наш гид опять примется показывать, на что уже извел нынче все утро во Флоренции, дурацкую колонну, воздвигнутую, как утверждал, в память о «вязетто», покрывшемся на глазах листвой, когда мимо проносили окаменеломертвого Св. Зевса, и тень над ним сгущалась, сгущалась; или это старая карга из Арлингтона что-то беспрерывно зудит своему молчаливому муженьку, когда мимо пролетают виноградники, и даже в туннеле (не позволяй им так с тобой поступать, Джек Блэк, скажи им, нет, ты скажи им, что…). Вода, бегущая в ванну из крана (или из душа) слишком калибанообразна{17} и потому невнятна — а, может, слишком рьяно стремится исторгнуть горячий поток, избавиться от адского жара, потому ей не до пустой болтовни; но бормотание струй становилось все напористей и слышней, и едва в своем «доме» Аква услыхала, как один приглашенный, крайне ненавистный ей доктор (цитировавший Кавальканти) словоблудно исторг ненавистные предписания на своем умащенном русским немецком прямо в ненавистный ей биде, она решила вовсе не открывать краны.

Но и эта стадия миновала. Другие терзания пришли на смену словоохотливым спутникам той, звавшейся Аквиным именем, да так решительно, что когда она как-то в один из моментов просветления, захотев пить, отвернула маленькой слабой ручкой кран чаши для омовения, тепловатая лимфа молвила в ответ на своем языке без тени шутки или розыгрыша: Finito! И вот уже Акву до крайности изводило появление в мозгу мягких, черных ям (yami, yamishchi), возникавших между расплывчатыми монолитами мысли и воспоминаний; панику в сознании и физическую боль усугубляли руки, рубиновые до черноты: одна молила вернуть рассудок, другая просила, как подаяния, смерти. Все, созданное человеком, утратило свой смысл или переросло в жуткие образы; одежные вешалки изгибались белыми плечами обезглавленных теллуриев, одеяло, которое Аква спихнула с кровати, скорбными складками обратило к ней веко, вздутое ячменем, в мрачном укоре выгнув пухлую лиловатую губу. Усилия понять то, что людям одаренным передается каким-то образом посредством стрелок хронометра, или хроник стрелометра, сделались безнадежны, как и попытка разгадать кодовый язык секретного общества или смысл китайских песнопений того юного студента с некитайской гитарой, которого Аква знавала во времена, когда то ли она, то ли сестра ее произвела на свет лиловенькое дитя. И все же ее безумие, ее величество безумие, по-прежнему носило облик восторженного кокетства спятившей королевы: «Видите ли, доктор, прямо не знаю, по-моему, мне скоро понадобятся очки (надменный смешок). Совершенно не могу разобрать, что показывают часы на руке… Ради Бога, скажите же, что там на них! А-а! Половина… чего? Ладно, ладно, „лад“ и „но“ — из двух половин одно, у меня сестра-половинка и сын-половин. Понимаю, вы хотите осмотреть мой генитальдендрон, розочку Волосистую Альпийскую из ее альбома, сорванную десять лет назад (с ликующим видом выставляя свои десять пальцев — десять, именно десять!)»

Затем мучения возросли до невыносимости, обрели облик кошмаров, Аква истошно кричала, ее рвало. Она велела (и ей было позволено, спасибо больничному парикмахеру Бобу Бобовому), чтоб черные ее кудри сбрили

начисто, оставив на черепе аквамариновый ежик, так как она утверждала, будто волосы на голове прорастают внутрь сквозь пористую кожу и там внутри завиваются. Небо и стена расползались, как части головоломки, и как бы ни стараться их сводить, все равно неловкий толчок или локоток медсестры с легкостью нарушали единство этих легоньких частей, превращавшихся в непонятные белые слепки неопознанных вещей или в безликие перевертыши фишек «скраббла»{18}, которые Акве никак не удавалось обратить к себе живой стороной, потому что руки были связаны санитаром с черными Демоновыми глазами. Но через мгновение отчаяние и боль, точно пара детишек в разгар шумной игры{19}, с последним взрывом хохота унеслись в кустики, чтоб заняться друг другом, это из «Анны Каренин» графа Толстого, такой роман, и снова ненадолго, совсем ненадолго, все стихает в доме, и маменьку зовут, как и ее матушку.

Одно время Акве казалось, что мертворожденный шестимесячный младенец мужского пола, удивленный эмбрион, резиновая рыбка, которую она произвела на свет в ванной, в неком lieu de naissance[27], четко помеченном знаком «Х» в ее снах, после того как с разгона на лыжах налетела на лиственничный пень, был, однако, каким-то образом спасен и препровожден с приветами от сестрицы к ней в Nusshaus — увернутый в пропитавшуюся кровью вату, но все же в отличном виде, живой-здоровенький, — и обозначили его ее сыном Иваном Вином. В иные моменты Аква была убеждена, что это внебрачный ребенок ее сестры, рожденный во время нескончаемого, но притом жутко романтического снегопада в горном приюте на Секс-Руж, где доктор Альпинэ, специалист широкого профиля и любитель горечавки, сидел, протянув ноги к деревенской печке из красного кирпича, и прозорливо ждал, когда просохнут ботинки. Не прошло с тех пор и двух лет, как случилась некая конфузил: сентябрь 1871 года, память Аквы с гордостью хранила еще столько дат; она, убежав из очередного своего приюта, сумела добраться до незабвенного мужнина загородного дома (прикинулась иностранкой: «Signer Konduktor, ay vant go Lago di Luga, hier geld»[28]), воспользовалась тем, что мужа массажировали в солярии, скользнула на цыпочках в их бывшую спальню — и тут ожидал ее восхитительный сюрприз: ее гигиеническая пудра по-прежнему стояла на столике у ее кровати в наполовину опустошенном флаконе с яркой этикеткой «Quelques Fleurs»[29]; ее любимая огненного цвета ночная рубашка валялась скомканная у кровати на коврике; и Аква решила, это просто черное кошмарное затмение заставило ее совершенно позабыть, что она, оказывается, о радость, все это время спала со своим мужем, спит давно, со дня рождения Шекспира, с того самого дождливого вешнего дня; однако, увы, для большинства окружающих это означало, что Марина (после того как кинорежиссер Г.А. Вронский бросил ее ради очередного с пушистыми ресничками Khristosik'a, как именовал он всех хорошеньких начинающих звезд) решила, что, c'est bien le cas de le dire, будет восхитительной идеей заставить Демона развестись с полоумной Аквой и жениться на ней, Марине, которая полагала (с радостью и не без основания), что снова беременна. Марина провела с Демоном моншерворкующий месяц в Китеже, однако стоило ей (как раз накануне появления Аквы) бесцеремонно огласить свои намерения, как Демон выставил ее за дверь. Все же впоследствии, на конечном, коротком этапе безнадежного существования Аква отделалась от этих двусмысленных воспоминаний и обнаружила, что в роскошном «сан-

астории» в Кентавре, штат Аризона, с блаженством беспрестанно читает и перечитывает письма своего сына. Он неизменно писал по-французски, обращаясь к ней petite maman[30], и рассказывал про забавную школу, где будет, видимо, обитать после своего тринадцатилетия. Сквозь еженощный шум в ушах от новых, оптимистичных, вот-вот готовых умчаться бессонниц к Акве пробивался его голос, успокаивал ее. Обычно он называл ее mummy, или мама, по-английски ударяя последний слог, по-русски — первый; кто-то утверждал, что тройни и наличие змиев в геральдике случаются в триязыких семьях; однако теперь уже не оставалось никаких сомнений (разве только, быть может, сохранилось в злобной, не живой давно, пребывающей в аду памяти Марины), что Ван ее, ее, Аквы, возлюбленный сыночек.

Не желая подвергаться очередному рецидиву после блаженного момента, когда разум пребывает в состоянии идеального покоя, но понимая, что так долго продлиться не может, Аква проделала то, что предприняла когда-то другая больная в далекой Франции и в гораздо менее радужном и привольном «доме». Некий доктор Фройд, один из кентавров-распорядителей или, может, эмигрировавший в Арденны брат известного доктора Фройта Зигни-Мондьё-Мондьейского, но с новым паспортом и видоизмененной фамилией, если, что более вероятно, не сам доктор Фройт, поскольку и тот и другой из города Вьенн на Изере, и каждый — единственный в семействе сын (как ее, Аквы), породил или возродил некое терапевтическое средство, предназначенное для развития «группового» чувства, воплощавшееся в помощи наиболее благополучных пациентов персоналу, если «к тому тяготеют». В свою очередь, Аква точь-в-точь повторила уловку хитроумной Элеоноры Бонвар, а именно: вызвалась стелить постели и промывать стеклянные полочки. Этот асториум в Кент-Таурусе, или как он там назывался (кому интересно! — все мелкое забывается слишком быстро, если тебя несет в потоке нескончаемой беспредметности), был, наверное, посовременней и пейзаж окружающей глуши имел более изысканный, чем паршивенькая врачебница холодного дома в Мондефройде, однако и там и там любой помешанный пациент мог в два счета обдурить всякого недоумка с его теориями.

Меньше чем за неделю Аква сумела скопить больше двух сотен таблеток различной мощности. Многие ей были знакомы: слабенькие успокоительные, еще какие-то, от которых отключаешься с восьми вечера и до полуночи, а также несколько разновидностей сильнейших снотворных, после которых проваливаешься на восемь часов и встаешь с ватными руками-ногами, с тяжелой головой, еще таблеточка, просто восхитительная, но если ее запить жидким чистящим средством, известным под названием «балдеж», можно и концы отдать; была еще пунцовая таблетка шариком, глядя на которую Аква не без смеха вспоминала пилюли, с помощью которых цыганочка-колдунья из испанской сказки (обожаемой ладорскими школьницами) усыпляет всех охотников и их собак-ищеек в самом начале охотничьего сезона.{20} Чтоб тот, кому больше всех надо, не смог оживить ее в процессе угасания, Аква смекнула, что надо обеспечить себе максимально длительный период отключки, но только подальше от стеклянного дома, а осуществление этой второй половины ее замысла произошло при помощи и поддержке очередного представителя или дублера изерского профессора, некого д-ра Зиг Хайлера, которого все обожали, считали замечательным малым, почти что гением, — как говорится, местного разлива. Пациенты,

которые под приглядом студентов-медиков особым подрагиванием века или прочих интимных частей тела показывали, что Зиг (слегка обрюзгший старикан, но еще хоть куда) постепенно вырастает в их глазах в этакого «папашку Фига», пошлепывателя девиц по задницам и в сердцах плевателя в плевательницы, зачислялись в выздоравливающие, и им разрешалось по пробуждении участвовать в нормальных мероприятиях на свежем воздухе, как-то: в пикниках. Хитрющая Аква изобразила подергивание, притворно зевнула, распахнула бледно-голубые глазки (с такими же странными и неожиданно бездонно-темными зрачками, как у ее матери Долли), облачилась в желтые слаксы и черное болеро, направилась через небольшой сосновый бор, продолжила путь, проголосовав, на грузовичке с мексиканцем за рулем, приглядела в густых зарослях чаппареля подходящее глубокое ущелье и там, написав короткую записку, принялась спокойно поглощать содержимое своей сумочки, цветистым бугорком высыпанное на ладонь, точно какая русская деревенская девка, лакомящаяся ягодами, которые только что собрала здесь же, в лесу. Она улыбалась, в мечтах упиваясь мыслью (сродни Каренинской по эмоции), что ее уход из жизни, верно, люди воспримут не иначе, как внезапный, загадочный и абсолютно необъяснимый обрыв комикса в давно выписываемой воскресной газете. То была последняя ее улыбка. Аква была обнаружена гораздо раньше, зато скончалась гораздо быстрее, чем ожидалось, зоркий Зигги, расставив ноги в шортах цвета хаки, отметил, что сестра Аква (так почему-то все называли ее) возлежит, как бы упокоенная в доисторические времена в позе fetus-in-utero[31], — комментарий, понятный, пожалуй, его студентам, как, возможно, и моим.

Посмертная ее записка, обнаруженная при теле и адресованная мужу и сыну, написана так, как мог написать наиразумнейший человек на этой и на той земле.

Aujourd'hui[32] (heute[33] — ой, ты!) я, Кукла-Закати-Глазки, заслужила пси-китч'еское право насладиться пешей прогулкой в обществе герра доктора Зига, медсестры Иоанны Грозной и нескольких «пациентов» в близлежащий bor (сосновый лес), где оказались точь-в-точь такие скунсовидные белки, Ван, каких твой Темносиний предок завез в Ардис-парк, бродить по которому тебе, несомненно, еще предстоит. Стрелки больших часов (clock), даже вставших, обязаны помнить и указать, пусть самым безмолвным ручным часикам, где встали, иначе и тот и другой циферблат — не циферблат, а бледный лик с накладными усиками. Так и chelovek должен знать, где стоит, иначе он даже и не klok человеческий, не «он», не «она», а «морока одна», как, мой маленький Ван, бедняжка Руби звала свою правую, нещедрую на молоко грудку. Я же, бедная Princesse Lointaine, уже très lointaine[34] и не понимаю, где стою. Значит, пора упасть. Итак, adieu, мой милый, милый сын, прощай и ты, бедный Демон, не знаю, какое нынче число или время года, но по резону и, верно, по сезону день прекрасный, и за моими симпатичными пилюльками выстроилась уж целая череда умненьких муравейчиков.

[Подпись] Сестра моей сестры, которая теперь из ада («Now is out of hell»).

— Если мы хотим увидеть стрелку на солнечных часах жизни, — рассуждал Ван, развивая в конце августа 1884 года в розовом саду поместья Ардис вышеприведенную метафору, — то следует помнить, что признак силы, достоинства и радости в человеке — это презрение и ненависть к теням и звездам, скрывающим от нас свои тайны. Лишь нелепая власть боли заставила ее сдаться. И мне часто кажется, что и в эстетическом, и в экстатическом, и в эстотическом смысле насколько было бы верней, будь она и в самом деле моей матерью.

4

Когда в середине двадцатого столетия Ван взялся восстанавливать свое глубинное прошлое, то вскоре обнаружил, что подробности его детства, представлявшие реальный интерес (для особой цели, ради которой велось восстановление), можно лучше понять, а нередко только и можно понять, если они возникают вновь на других, более поздних стадиях его отрочества и юности в виде внезапных наложений, которые, высвечивая часть, оживляют и все целое. Вот почему его первая любовь возникает здесь раньше, чем его первая запомнившаяся обида или первый дурной сон.

Ему едва минуло тринадцать. До сих пор Ван еще ни разу не покидал уютный родительский кров. До сих пор еще не понимал, что этот «уют» не обязательно определенная данность, просто начальная штампованная метафора из некой книжки про некого мальчика и некие школьные годы. Неподалеку от его школы держала лавку художественных изделий и, можно сказать, антикварной мебели некая миссис Тапиров, вдовствующая француженка, но изъяснявшаяся по-английски с русским выговором. Ван заглянул туда как-то зимним солнечным днем. В переднем зале все было заставлено хрустальными вазами с карминно-красными розами и золотисто-коричневыми астрами — вазы стояли на деревянной позолоченной подставке, на лакированном ящичке, на полке в застекленном шкафу и просто на ступеньках ковровой лестницы, ведущей на второй этаж, где громадные гардеробы и аляповатые комоды полукругом обрамляли одинокое скопище арф. Он порадовался, что цветы искусственные, и подумал, как странно, что такие поделки предназначены, чтобы радовать исключительно глаз, а не дарить прикосновению влажную упругость живых лепестков и листьев. Когда на другой день Ван зашел туда за вещицей (теперь, спустя восемьдесят лет, он уж не помнил, какой именно), что отдал накануне то ли починить, то ли заменить, оказалось, что заказ то ли не готов, то ли не доставлен. Проходя мимо, он тронул полураскрытый бутон розы, и — вместо очевидного безжизненного касания ткани — живые, прохладные лепестки, как губы, встретили его поцелуем.

— Моя дочь, — сказала миссис Тапиров, заметив изумление Вана, — непременно вставляет несколько настоящих в букет искусственных pour attraper le client[35]. Вы везунчик!

Когда Ван выходил, вошла она, школьница в сером пальто, с каштановыми локонами до плеч, хорошенькая. В следующий свой приход

(так как некоторая деталь — кажется, рамочка — того забытого предмета потребовала определенного времени для починки, а без нее вызволить весь предмет оказалось совершенно невозможным) Ван увидел, как девочка уютно расположилась в кресле с учебниками — такое домашнее существо среди вещей, выставленных на продажу. Он ни разу не заговорил с ней. Он любил ее безумно. Это длилось, должно быть, целый семестр.

То была любовь, естественная и таинственная. Менее таинственны и гораздо более уродливы были страсти, которые так и не удалось искоренить многим поколениям школьных наставников и которые еще в 1883 году были необыкновенно популярны в Ривердейн. В каждом дортуаре был свой мальчик для наслаждений. Несколько мальчишек-иностранцев, в основном греков и англичан, предводимые Чеширом, регбистом-асом, облюбовали себе в качестве жертвы одного истеричного юнца из Упсалы, косоглазого, с отвислой губой, с какими-то до невероятности нескладными руками и ногами, но обладателя удивительной нежной кожи, а также округлых, пухлых прелестей Купидона кисти Бронзино (самого толстого, которого смеющийся сатир обнаруживает в будуаре дамы){21}. И Ван, подавляя в себе отвращение, отчасти куража ради, отчасти из любопытства, с холодным вниманием наблюдал их вульгарные оргии. Вскоре, однако, он отказался от этого суррогата ради более естественного, хотя и столь же бездушного развлечения.

Престарелая особа, торговавшая ячменным сахаром и журнальчиком «Дикки Страус» в лавке на углу, куда школьникам по традиции ходить особо не возбранялось, завела себе юную помощницу, и Чешир, отпрыск прижимистого лорда, быстро смекнул, что эту толстушечку можно запросто поиметь за русский зелененький доллар. Ван был в числе первых, воспользовавшихся ее благосклонностью. Это происходило в полутьме, среди мешков и ящиков, где-то в глубине лавки уже после закрытия. Заявив ей, что ему шестнадцать, а не четырнадцать и что он повеса, не девственник, наш юный развратник пришел в явное замешательство, когда, стремясь быстрыми действиями восполнить свою неопытность, испустил на гостеприимный матрас то, что она с такой радостью готова была принять без остатка. Дело пошло успешней минут через пять, когда со своим покончили Чешир и Заграфос. Но лишь во время следующего совокупления Вану выпало по-настоящему насладиться ее нежной податливостью, мягким сладостным сжатием, азартом толкающего усилия. Видя в ней всего лишь жирненькую свинку-потаскушку, он отстранялся локтем, если, когда он кончал, она тянулась его целовать, и еще, подглядев, как это делает Чешир, быстро ощупывал карман — на месте ли бумажник; но непонятно почему, хоть уж последний из десятков не менее четырех пароксизмов потух и сгинул в привычном потоке сминающегося времени и поезд уже катил Вана мимо то темневших, то зеленевших полей в Ардис, внезапно в его памяти с неожиданной поэтичностью ожил образ той убогой девицы, кухонные ароматы ее рук, влажные веки, озаряемые внезапным вспыхиванием зажигалки Чешира, и даже скрип шагов старой глухой миссис Джимбер в спальне наверху.

В элегантном купе первого класса, когда рука в перчатке продета в качающуюся сбоку бархатную шлейку, невозможно не ощутить себя, глядя

как зримо проносится мимо необозримый ландшафт, истинно светским человеком. Но рассеянный взгляд нашего пассажира то и дело замирал на мгновение, он прислушивался к легкому зуду где-то внизу в надежде (благотворной, слава Богу!), что это лишь пустячное раздражение эпителия, не более.

5

Пополудни Ван сошел с двумя своими чемоданами в солнечную тишь маленькой сельской станции, откуда дорога, петляя, вела в Ардис-Холл, в который ему впервые в жизни предстояло попасть. Где-то в глубине воображения он ожидал увидеть оседланную для него лошадь; на самом же деле даже двуколки не оказалось. Начальник станции, загорелый толстяк в коричневом кителе, заметил, что его, видно, ожидают с вечерним поездом, который идет медленней, зато там вагон-ресторан. Он вызвался тотчас позвонить в Холл, но сперва дал сигнал отправления нервничавшему машинисту. Внезапно к платформе подкатил наемный экипаж; рыжеволосая дама, поддерживая шляпку, кинулась к поезду, сама веселясь своей гонке, и успела вскочить на подножку как раз перед тем, как поезду тронуться. Ван решил воспользоваться транспортом, предоставленным ему судьбой на данном отрезке времени, и уселся в старую calèche[36]. Занявшая полчаса поездка оказалась весьма приятной. Коляска везла Вана через сосновые рощи и каменистые овраги, цветущий подлесок звенел голосами птиц и насекомых. Солнечные блики и кружевные тени плясали у него на ногах, заряжая зеленым мерцанием лишенную пары пуговицу на камзоле кучера. Миновали Торфянку, сонную деревушку, состоявшую из трех-четырех бревенчатых изб, мастерской починки молочных бидонов да кузницы, потонувшей в зарослях жасмина. Кучер махнул невидимому приятелю, и податливый экипаж слегка накренился за движением его руки. Далее кружили пыльной проселочной дорогой среди полей. Дорога ныряла и вздымалась, и на каждом пределе старое заводное такси притормаживало, вот-вот готовое замереть, но все же покорно превозмогало свою немощь.

Протряслись по булыжникам Гамлета, наполовину русской деревушки, и снова кучер помахал, на сей раз малому на вишне. Сквозь расступившийся строй берез въехали на мост. Впереди сверкнула Ладора с черными развалинами замка на вершине скалы и веселым многоцветьем крыш по берегам, как все это будет неоднократно возникать в памяти потом, к концу жизни.

С въездом на аллею, огибавшую Ардис-Парк, растительность обрела более южный вид. При очередном повороте взору открылся романтический особняк на небольшом, как в старых романах, пригорке. То был великолепный загородный дом, трехэтажный, из светлого кирпича и лиловатого камня, которые при определенном освещении, казалось, взаимно меняли облик и цвет. При всем обилии, разнообразии и буйстве огромных деревьев, которые уже давно поднялись из аккуратных

традиционных посадок в два ряда (скорее рожденных архитекторской идеей, нежели образным оком художника), Ван мгновенно узнал Ардис-Холл по старой, двухсотлетней давности, акварели, висевшей в гардеробной отца: особняк был запечатлен там на возвышении фасадом к маловыразительному лугу, посреди красовалась корова, рядом вели беседу два человечка в треуголках.

К моменту появления Вана никого из семейства дома не оказалось. Слуга у крыльца принял лошадь, Ван вступил под готические арочные своды прихожей, где Бутейан, старый лысый дворецкий, ныне отрастивший себе неподобающие дворецкому усы (окрашенные в знойный красно-коричневый цвет), встретил его с нескрываемой радостью: он когда-то служил камердинером у Ванова отца.

— Je parie, — сказал он, — que Monsieur ne me reconnaît pas[37].

И пустился рассказывать Вану то, что тот и так уж помнил без посторонней помощи: как Бутейан когда-то помогал ему запускать на лугу, усеянном бабочками, фарманекена (особого вида коробчатого бумажного змея, какого теперь невозможно сыскать даже в величайших музеях, где хранятся игрушки прошлого). Оба глядели вверх: маленький красный прямоугольник на мгновение косо завис посреди голубого весеннего неба. Дом славился своей потолочной росписью. Чай пить еще рано: желает ли Ван, чтоб вещи распаковал Бутейан, или позвать горничную? Да, да, пусть кто-то из горничных, кивнул Ван, мимоходом прикидывая, который из предметов школьного багажа вполне способен горничную ошеломить. Фото обнаженной (модели) Розочки-Грезочки? Ерунда, ведь теперь он — мужчина!

Последовав совету дворецкого, Ван отправился совершать tour du jardin[38]. Направившись извилистой дорожкой, беззвучно ступая по розовому ее песку полотняными кедами, образчиком школьной формы, он столкнулся с особой, в ком с досадой узнал свою бывшую гувернантку-француженку (эти места кишели призраками!). Она сидела на зеленой скамейке в сени персидской сирени, держа в одной руке зонтик, в другой — книгу, которую громко читала маленькой девчушке, а та ковыряла в носу и затем задумчиво обозревала пальчик, прежде чем вытереть его о скамейку. Ван решил, что это, должно быть, Арделия — старшая из двух его малолетних кузин, которых он до сих пор в глаза не видал. В действительности же то была младшая, Люсетт, неброская девочка восьми лет, с лоснящейся рыжевато-белесой челкой, веснушчатым носиком-кнопкой: весной она переболела пневмонией и все еще имела тот странный, приторможенный взгляд, который появляется у детей, в особенности озорных, после тяжелой, на грани смерти, болезни. Но тут мадемуазель Ларивьер глянула на Вана поверх зеленых очков, и в результате ему пришлось в очередной раз стерпеть теплую встречу. В отличие от Альбера, мадемуазель ни на йоту не изменилась с тех самых пор, как трижды в неделю появлялась с сумкой, полной книжек, и с подрагивающим (ныне покойным) пуделько́м, которого нельзя было оставлять, в городском доме у Вина Мрака. У пуделька были блестящие, похожие на печальные черные маслины глазки.

И втроем отправились обратно к дому: охваченная грустью воспоминаний гувернантка, покачивая под муаровым зонтиком головой с увесистым

носом и внушительным подбородком, Люси — со скрежетом волоча за собой невесть где подобранную мотыгу, и юный Ван в опрятном сером костюмчике и свободном галстуке, заложив руки за спину, опустив взгляд на свои аккуратно и бесшумно ступающие ноги, непонятно почему стараясь строить шаги по одной линии.

У крыльца остановился легкий двухместный экипаж. Обгоняемые шустрой таксой, из экипажа вышли дама, похожая на мать Вана, и темноволосая девочка лет одиннадцати-двенадцати. У Ады в руках была охапка полевых цветов. На ней — белое платье с черным жакетиком, длинные волосы подвязаны белым бантом. Ни разу больше Ван этого наряда не видел, и когда потом, возвращаясь памятью назад, о нем упоминал, она неизменно резко бросала в ответ, что, должно быть, это ему приснилось, что такого платья никогда у нее не было и темного жакета никогда в такую жару не надевала, однако Ван до конца дней упорствовал в том первом своем впечатлении.

Лет десять назад, то ли накануне, то ли после его четырехлетия и к концу долгого пребывания матери в одном из санаториев, «тетушка» Марина налетела на него в городском парке, у большой клетки, где разгуливали фазаны. Посоветовав няне заняться своими делами, Марина потащила Вана к будке рядом с оркестровой раковиной, где, купив ему мятный изумрудный леденец на палочке, сказала, что, если папа пожелает, она заменит ему маму и что нельзя кормить птичек, не спросив позволения у леди Амхерст: по крайней мере, так он ее понял.

Теперь же они пили чай в нарядно обставленном уголке центральной залы, в остальном весьма невыразительной, откуда парадная лестница вела наверх. Сидели за нарядным столом на стульях, обитых шелком. Адин черный жакетик и розово-желто-синий букет, составленный ею из ветреницы, чистотела и водосбора, лежали на дубовом табурете. Пес наполучал больше кусочков торта, чем обычно ему выпадало. Прайс, старый лакей со скорбной физиономией, подававший сливки к клубнике, по виду напомнил Вану учителя истории «Джиджи» Джонса.

— Он похож на моего учителя истории, — сказал Ван, когда лакей удалился.

— Я раньше обожала историю, — заметила Марина. — Мне нравилось представлять себя какой-нибудь известной особой. У тебя тарелка, Иван, с божьей коровкой. Особенно кем-то из знаменитых красавиц… второй женой Линкольна или королевой Жозефиной.

— Да, вижу — красивый фарфор. У нас дома сервиз похожий.

— Сливок (some cream)? Надеюсь, ты говоришь по-русски? — спросила Вана Марина, наливая ему чай.

— Неохотно, но совершенно свободно (reluctantly but quite fluently), — отвечал Ван, слегка улыбнувшись (with a slight smile). — Да, да, побольше сливок и три кусочка сахару.

— Мы с Адой такие же сумасбродки во вкусах, что и ты. Достоевский любил чай с малиновым сиропом.

— Бр-р-р! — отозвалась Ада.

На портрете — довольно удачном, кисти Трешэма, — на стене у нее над головой Марина была изображена в большой эффектной шляпе, в которой лет десять тому назад репетировала Сцену Охоты, — с романтически изогнутыми полями, с радужной вуалью и с огромным ниспадающим плюмажем, серебристым и с темной каймой; и Ван, вспомнив ту клетку в парке и мать, томившуюся в своей клетке, испытал странный привкус таинственного, будто все толкователи его судьбы вступили в тайный сговор. Ныне Маринино лицо было подгримировано под облик прежних лет, однако мода изменилась, ситцевое платье теперь смотрелось по-деревенски просто, золотисто-каштановые локоны поблекли и не вились у висков, и ничто уж больше в ее наряде и украшениях не напоминало ни всплеска того амазоночьего великолепия, ни ладной черепичности роскошного плюмажа, выписанного Трешэмом с талантом орнитолога.

Никаких особых воспоминаний то первое чаепитие не оставило. Ван заметил, что Ада ловко прячет ногти — то сожмет руку в кулак, то, когда берет печенье, разворачивает ладошкой вверх. Ей было скучно и неловко слушать, что говорит мать, а когда та принялась рассказывать о Тарне, то есть Новом Водоеме, Ван обнаружил, что Ада возле него уж больше не сидит, а стоит слегка в отдалении спиной к чайному столу у распахнутого окна, а рядом с ней со стула, упершись в подоконник расставленными врозь лапами, тянется носом в сад собачонка, тонкая в талии, и Ада тихим, вкрадчивым шепотом интересуется, что такое она там унюхала.

— Тарн хорошо видно из окна библиотеки, — сказала Марина. — Ада непременно покажет тебе все комнаты в доме, да, Ада?

(Она произносила это имя на русский манер, утопляя и притемняя оба «а», делая его похожим на английское «ardor»[39].)

— Даже отсюда немножечко видно, — проговорила Ада, поворачивая голову, pollice verso[40] направляя взгляд Вана, и тот, поставив чашку на блюдце, промокнул губы изящной, вышитой салфеткой и, запихивая ее в карман брюк, направился к темноволосой, белорукой девочке. Склонился, выгнув шею, над ней (он был тогда тремя дюймами выше, а когда она выходила замуж за православного христианина, уже вдвое против того, и за ней стоя, тенью своей увенчивал, точно брачным венцом), Ада повернулась, увлекая и его повернуться в том же направлении, и ее волосы коснулись его шеи. Каждый раз это касание, легкой молнией возникая в ранних грезах о ней, обжигало нашего мечтателя с такой невыносимостью и, точно занесенный меч, предвещало пламень и извержение неистовства.

— Допей чай, золотко! — крикнула Марина.

Затем, как она и сулила, двое детей отправились наверх.

«И почему ступеньки так отчаянно скрипят, ведь двое детей всего поднимаются?» — подумалось Марине, глядевшей, как до изумления похоже взлетают и скользят по перилам две левые руки, словно брат с

сестричкой на первом уроке в балетном классе. «В конце концов, все знают, что мы с ней были близняшки!»

Еще плавный синхронный взлет рук, девочка спереди, мальчик сзади, последние две ступеньки, и на лестнице снова тихо.

— Старомодные страхи! — сказала Марина.

6

Ада показала оробевшему гостю огромную библиотеку на втором этаже — гордость Ардиса и излюбленное ее «пастбище», куда мать не заходила никогда (в будуаре у нее имелось свое чтение: «Тысяча и Одна: Избранные пьесы») и куда чувствительный и трусоватый Рыжий Вин заглядывать избегал, опасаясь призрака собственного отца, скончавшегося в библиотеке от удара, а также полагая, что нет в мире более унылого зрелища, чем всякие собрания несообразных авторов, хотя сам изредка был не прочь дать гостю поахать среди высоченных книжных шкафов и приземистых шкафчиков, среди темневших полотен и светлевших бюстов, оценить десяток резных ореховых стульев и два величественных письменных стола, инкрустированных черным деревом. Косой луч премудрого солнца высвечивал цветную иллюстрацию с изображением орхидей в развернутом на пюпитре ботаническом атласе. Диван, а может, кушетка, обитая черным бархатом и с двумя желтыми подушками, примостилась в нише под окном зеркального стекла, откуда открывался великолепный вид на банального вида парк с искусственным озером. На широком подоконнике чистыми призраками металла и сала обозначались или угадывались два подсвечника.

Из библиотеки коридор мог бы увлечь наших примолкших исследователей прямо в апартаменты мистера и миссис Вин, в левое крыло, пожелай дети проследовать в этом направлении. Вместо этого они поднялись спиралью маленькой полупотайной лесенки, притаившейся за отдвижным книжным шкафом, на самый верхний этаж — она, шире потягиваясь вверх белыми ляжечками, опережала его на три крутые ступеньки.

И спальни, и примыкавшие к ним удобства оказались более чем скромные, и Ван не мог не посетовать, что еще слишком юн, и потому скорей всего гостевые комнаты рядом с библиотекой ему не светят. Озирая предметы, которые потом будут изводить его своей нудностью в тиши летних ночей, Ван с тоской вспоминал роскошный быт родного дома. Уму непостижимо, что за плебей, что за кретин додумался впереть сюда эту по-приютски убогую кровать с каким-то допотопным, покрытым копотью деревянным изголовьем, этот спонтанно скрипящий гардероб, этот приземистый комод под красное дерево с круглыми ручками на цепочке (одна из которых отсутствовала), этот сундук для хранения одеял (жалкий беглец из бельевой), эту древнюю конторку, вспучившаяся крышка которой то ли на запоре, то ли заклинилась: в

одном из никчемных отделений Ван обнаружил недостающую ручку от комода и передал Аде, которая тут же выбросила ее за окошко. До этих пор Вану не приходилось видеть вешалку для полотенец, и этот умывальник для домов без ванной он видел впервые. Круглое зеркало оплетал гипсовый, с позолотой, виноград, фарфоровый таз (в пару такому же тазу в умывальне для девочек через коридор напротив) обвивала сатанинского вида змея. Кресло с высокой спинкой и подлокотниками, а также табурет у кровати, служивший подставкой для медного подсвечника с углублением для стекания жира и ручкой (только что, кажется, видел отражение такого же — в чем?), завершали перечень основной и наихудшей части неказистой обстановки.

Вернулись в коридор: Ада — смахивая пряди со лба, Ван — откашливаясь. Впереди в глубине коридора приоткрытая дверь в комнату для игр или детскую колыхалась туда-сюда: из-за нее, выставляя красновато-смуглую коленку, поглядывала малышка Люсетт. Вот дверная створка распахнулась, но Люсетт — шмыг внутрь и была такова. Изразцы печки пестрели кобальтово-синими корабликами, и стоило сестрице и Вану поравняться с распахнутой дверью, игрушечная шарманка зазывно разразилась спотыкающимся менуэтиком. Ада с Ваном вернулись на нижний этаж — на сей раз по парадной лестнице. Среди множества предков на стене Ада отметила своего любимца, старого князя Всеслава Земского (1699–1797), водившего дружбу с Линнеем и автора Flora Ladorica, который на писанном сочными масляными красками портрете был изображен с не вполне вызревшей своей невестой, которая с белокурой куклой восседала у него на атласных коленях. Рядом с сим в расшитом камзоле любителем нераскрывшихся бутонов висела (весьма некстати, как подумалось Вану) увеличенная фотография в неброской раме. Покойный Сумеречников{22}, американский предшественник братьев Люмьер, сфотографировал дядюшку Ады по материнской линии в профиль с воздетой к подбородку скрипкой — обреченное юное создание было запечатлено после своего прощального концерта.

Желтая гостиная на первом этаже, убранная в дамаст и обставленная в стиле, именуемом французами «ампир», была распахнута в сад, и в этот предсумеречный час оттуда внутрь через порог вливались в дом густые тени листвы пауловнии (дерева, названного, как пояснила Ада, одним заурядным лингвистом — по отчеству, ошибочно принятому за второе имя или фамилию некой ни в чем не повинной дамы, Анны Павловны Романовой, дочери Павла, прозванному, почему — непонятно, Павел-без-Петра, который приходился кузеном учителю того псевдолингвиста, тому самому ботанику Земскому, окосеть можно, подумал Ван). За стеклом на горке помещался целый миниатюрный зверинец, откуда сернобык и окапи при полном упоминании их научных наименований были особо рекомендованы Вану его очаровательной, но до невозможности претенциозной спутницей. Равно впечатляла и пятистворчатая ширма, на черных панелях которой красовались яркие изображения древних карт четырех с половиной континентов. Теперь пройдем в музыкальный салон с роялем, на котором редко кто играл, затем в угловую комнату, так называемую оружейную, с чучелом шетлендского пони, на котором езживала тетушка Дэна Вина, ее девичье имя, слава Логу, позабыто. В противоположной или еще какой-то части дома располагался бальный зал — полированная пустыня с одиноко скучающими стульями по стенам. («Мимо, читатель», как писал Тургенев.{23}) «Конюшни», как их

неточно именовали в графстве Ладора, в архитектурном смысле на общем фоне Ардис-Холла являли собой явную нелепицу. Решетчатая галерея, глянув через увитое гирляндами плечо в сад, резко выворачивала к подъездной аллее. Еще где-то элегантная лоджия, залитая светом из продолговатых окон, вывела уже едва шевелившую языком Аду и изнывавшего от скуки Вана к выложенной из камней беседке: бутафорскому гроту, с бесстыдно жмущимися к нему папоротниками и с искусственным водопадиком, почерпнутым то ли из ручья, то ли из книжки, то ли из исходящего зудом Ванова мочевого пузыря (после этого чертова чаепития).

Комнаты прислуги размещались в нижнем этаже (лишь две красившиеся и пудрившиеся горничные обитали наверху) и окнами выходили во двор; Ада заметила, что лишь на самом пытливом этапе своего детства заглянула однажды сюда, но всего-навсего и запомнились ей что канарейка да допотопная машинка для перемалывания кофейных зерен, на сем ее интерес иссяк.

И снова взмыли наверх. Ван заскочил в ватерклозет — и вышел оттуда в весьма улучшенном расположении духа. Они двинулись дальше, и снова прозвучало несколько тактов в исполнении Гайдна-малютки.

Чердак. Вот и чердак. Пожалуйте на чердак. Здесь хранилось несметное количество всяких чемоданов и картонок; две коричневые кушетки примостились друг на дружке, точно пара совокупляющихся жуков; множество картин, обращенных, точно пристыженные дети, к стене, стояло по углам и на полках. Лежал свернутый в своем чехле старенький вжиккер, или легколет, волшебный синий ковер с арабским узором, поблекший, но все еще восхитительный, тот самый, на котором отец дядюшки Дэниела летал в детстве, да и потом, когда бывал в подпитии. По причине множества столкновений, крушений и прочих несчастных случаев, особо часто происходивших над мирными полями в закатном небе, воздушный дозор вжиккеры запретил; но через четыре года Ван, обожавший этот спорт, подкупил одного местного механика, тот почистил аппарат, перезарядил выхрипы и в целом вернул ему прежнюю магическую силу, и Ван и его Ада летними деньками парили над рощей и над речкой или скользили на безопасной десятифутовой высоте над дорогами и над крышами. Каким комичным казался сверху вихляющий и подскакивающий на кочках велосипедист, как забавно махал руками, балансируя по крыше, трубочист!

Движимая смутным убеждением, что осматривать дом — хоть какое-нибудь да занятие, создавая видимость организованного показа, каковой, невзирая на блистательные способности обоих поддерживать разговор, мог бы стать жалким и пустым праздношатанием, питаемым лишь показным, упирающимся в немоту остроумием, безжалостная Ада повлекла Вана в подвальный этаж, где, содрогаясь, толстобрюхий робот с силой вдыхал жар в трубы, змеевидно тянувшиеся в громадную кухню и к двум мрачным ванным комнатам, а зимой тщился изо всех своих жалких сил обеспечить дворец теплом для праздничного приема гостей.

— Ты ничего еще толком не видел! — воскликнула Ада. — Ведь крышу же надо осмотреть!

«Ну уж это последний подъем на сегодня!» — твердо сказал себе Ван.

Из-за смешения наложений черепичных и стилей неидентичных (кто крыши не любит, тем сложно без технических терминов), а также из-за непродуманного, если можно так выразиться, континуума реконструкций крыша Ардисского поместья представляла собой неописуемое столпотворение углов и перепадов, жестяно-зеленых и ребристо-серых кровель, живописных коньков и ветронепроницаемых закоулочков. Было куда забиться и целоваться, а в промежутках видеть сверху и водоем, и рощи, и луга, и даже полосу лиственниц, четким, как чернила, контуром обозначившую границу с соседним поместьем, простиравшимся за мили отсюда, и еще уродливо крохотных и каких-то безногих коров вдали на холме. Здесь уж без труда отыскивалось укрытие от вездесущих легколетов и от фотосъемочных воздушных шаров.

Террасу огласил бронзовый раскат гонга.

Весть о том, что к ужину ожидается очередной гость, наши дети по странной причине восприняли с облегчением. В гости ждали архитектора-андалузца, кому дядюшка Дэн заказал «художественный» проект бассейна для поместья Ардис. Дядюшка Дэн и сам намеревался прибыть вместе с гостем и в сопровождении переводчика, да подхватил русский «hrip» («испанку») и, позвонив Марине, просил ее принять порадушней добрейшего старикана Алонсо.

— Вы должны мне помочь! — хмуро и озабоченно сказала детям Марина.

— Пожалуй, я покажу ему, — начала, обращаясь к Вану Ада, — копию прямо-таки фантастически прекрасного nature morte кисти Хуана де Лабрадора из Эстремадуры — с золотистым виноградом и такой причудливой розой на темном фоне. Дэн продал подлинник Демону, а Демон обещал подарить мне на пятнадцатилетие.

— У нас тоже есть какие-то фрукты Сурбарана, — самодовольно заметил Ван. — Там, по-моему, мандарины и вроде бы инжир, а на нем оса. Потрясем старикашку познаниями в живописи!

Но ничего не получилось. Алонсо, маленький, сухонький старичок в двубортном смокинге, говорил только по-испански, тогда как запас испанских слов у его хозяев едва ли дотягивал до десятка. Ван знал два слова — canastilla (корзиночка) и nubarrones (грозовые тучи), причем оба слова запомнил по en regard[41] переводу одного милого испанского стишка из какого-то учебника. Ада, разумеется, вспомнила слово mariposa (бабочка) и еще два-три названия (из орнитологических справочников) птиц, в том числе paloma, голубка, и grevol, рябчик. Марина знала слова aroma и hombre[42] и еще какой-то анатомический термин с провисающим посредине «j». В итоге застольная беседа состояла из длинных, тяжелых и выкрикиваемых словоохотливым архитектором, считавшим, что все вокруг глухие, испанских фраз вперемежку с некими французскими, произносимыми его жертвами намеренно, но впустую на итальянский лад. По окончании неловкого застолья Алонсо в свете трех факелов, придерживаемых двумя лакеями, обследовал возможную площадку для дорогостоящего бассейна, упрятал карту местности обратно в свой портфель и, в темноте по оплошности

облобызав Адину ручку, поспешил прочь, дабы поспеть на последний поезд, шедший в южном направлении.

7

С дремотным свербением в глазах Ван отправился спать сразу после «вечернего чая», а на деле летней трапезы без чая, состоявшейся часа через два после ужина и являющейся для Марины событием столь же естественным и непреложным, как заход солнца в предвечерний час. Этот непременный русский обряд состоял для обитателей Ардиса в откушивании простокваши (интерпретируемой на английский манер как curds-and-whey, а на французский мадемуазелью Ларивьер как lait caillé, «свернувшееся молоко»), тоненькую, жировато-глянцевую пенку которой мисс Ада изящно и алчно (сколько всего в тебе, Ада, отождествляют эти наречия!) подхватывала своей особенной, серебряной, с монограммой «V» ложечкой и слизывала, прежде чем предпринять атаку на более аморфные, сладко-творожистые глубины содержимого чашки; к сему подавались грубоватый черный крестьянских хлеб, темная клубника (Fragaria elatior) и крупная, ярко-красная садовая земляника (гибрид двух иных разновидностей Fragaria). Едва Ван приник щекой к прохладной плоской подушке, как уж был мощно воскрешен к жизни веселым и шумным пением — светлыми трелями, нежным посвистыванием, чириканьем, клекотом, щебетаньем, хриплым карканьем, ласковым стрекотом — и решил про себя, не без влияния антиодюбоновских теорий{24}, что Ада непременно смогла бы различить любой голос и назвать каждую птицу в этом хоре. Скользнув ногами в шлепанцы, Ван сгреб мыло, расческу и полотенце, накинул на голое тело махровый халат и вышел из комнаты с намерением окунуться в ручье, который накануне заприметил. В рассветной тишине дома, нарушаемой лишь всхрапыванием, доносившимся из комнаты гувернантки, тикали коридорные часы. На мгновение поколебавшись, Ван заглянул в ватерклозет при детской. Там на него через открытую узкую оконную створку вместе с обилием солнца грянул оголтелый птичий гомон. Ах, как хорошо, как хорошо! Ван спускался по парадной лестнице, и родитель генерала Дурманова, признав, препроводил его важным взглядом к старому князю Земскому и прочим предкам, и каждый взирал на Вана со сдержанным интересом, как вглядываются музейные стражи в одинокого туриста в полумраке старого особняка.

Парадная дверь была на запоре и на цепочке, Ван подергал стеклянную, с решеткой, боковую дверь галереи в голубых гирляндочках; та тоже не поддавалась. До поры не подозревая, что под лестницей в неприметной нише таится целый набор запасных ключей (иные очень старинные, от непонятных замков, висели на медных крючках) и что ниша эта сообщается посредством кладовки для инвентаря с уединенным уголком сада, Ван обошел несколько гостиных в поисках подходящего окна. Войдя в угловую комнату, он обнаружил, что там у высокого окна стоит молоденькая горничная, которую особо заприметил (пообещав себе присмотреться как следует) еще давеча вечером; она была вся, как говаривал с легкой хитрецой его отец, в «субреточно-черном и до содрогания оборчатом»; черепаховый гребень в каштановых волосах горел янтарем на солнце; высокая балконная дверь была раскрыта, и,

опершись о косяк вытянутой вверх рукою, на пальце которой звездочкой поблескивал крошечный аквамарин, девушка следила, как скачет по мощеной дорожке к брошенному ей печеньицу воробей. Точеный профиль, прелестная розоватость ноздрей, присущая француженкам длинная, лилейно-белая шея, округлость и вместе с тем изящество форм — словом, вся она (мужская страсть не слишком изощрена в выборе описательных средств!) и в особенности жаркое осознание благоприятности момента с такой силой всколыхнули Вана, что он, не удержавшись, сжал запястье ее стянутой узким рукавом руки. Высвобождаясь и демонстрируя своей невозмутимостью, что его приближение не прошло незамеченным, девушка оборотила к Вану хорошенькое, хоть и безбровое личико и спросила, не желает ли он выпить перед завтраком чая. Нет. Как тебя зовут? Бланш — но мадемуазель Ларивьер обзывает Золушкой, потому что, понимаете, петли у меня на чулках то и дело спускаются и потому, что то что-то разбиваю, то не туда кладу и еще в цветах не разбираюсь. Нестесненность одежд изобличала вожделенность надежд Вана, что не могло укрыться от взора любой девицы, даже не различающей кое-какие цвета, но когда он решительней к ней придвинулся, при этом поглядывая поверх ее головы в надежде, что вот-вот возникнет подходящее ложе прямо тут, в этом волшебном поместье — где повсюду, как и в воспоминаниях Казановы, словно в сказочном сне, можно узреть уединенную таинственность сераля, — она высвободилась полностью из его объятий и на своем по-ладорски нежном французском произнесла краткий монолог:

— Monsieur a quinze ans, je crois, et moi, je sais, j'en ai dixneuf. Monsieur из благородных, а я дочь бедного рабочего-торфяника. Monsieur a tâté, sans doute, des filles de la ville; quant à moi, je suis vierge, ou peu s'en faut. De plus[43], стоит мне влюбиться в вас — по-настоящему, я хочу сказать, — а такое, увы, может со мной приключиться, если вы овладеете мной rien qu'une petite fois[44] — и тогда мне только и останется, что вечное страдание, и огонь негасимый, и отчаяние, и, может, даже смерть, Monsieur. Finalement[45], могу добавить, что у меня бели и что в следующий свой выходной я непременно должна показаться le Docteur Chronique[46], то есть Кролику. А теперь извольте пустить, воробушек уже улетел, а в соседнюю комнату вошел месье Бутейан, и ему ничего не стоит увидеть нас вон в то зеркало над диваном, за шелковой ширмой.

— Извините барышня! — пробормотал Ван, которого до такой степени обескуражил ее на удивление трагический пафос, словно Ван и сам играл заглавную роль в каком-то спектакле, но знал притом только одну эту сцену.

Рука дворецкого в зеркале взяла откуда-то графин и исчезла. Перепоясав пояс халата потуже, Ван ступил через балконную дверь в зеленую явь сада.

8

В то же утро, а может, через пару дней, на террасе: — Mais va donc jouer avec lui[47], — сказала мадемуазель Ларивьер, подталкивая Аду, девчоночьи бедрышки которой нестройно вздрогнули от толчка. — Не заставляйте вашего кузена se morfondre[48] при такой чудной погоде. Возьмитесь за руки. Подите покажите ему белую даму на вашей любимой аллее, и гору, и старый дуб.

Подернув плечами, Ада повернулась к Вану. Прикосновение ее холодных пальцев и влажной ладони и еще та неловкость, с которой она откинула назад волосы, когда они направились по центральной аллее парка, вызвали неловкость и в нем самом, и Ван, сделав вид, будто хочет подобрать еловую шишку, высвободил руку. Он запустил шишкой в мраморную женщину, склоненную над сосудом, но не попал, а лишь спугнул птицу, примостившуюся на краю горлышка разбитого кувшина.

— Беспримерная пошлость, — сказала Ада, — кидаться камнями в дубоноса!

— Прошу прощения, — возразил Ван, — я вовсе не метил в птичку. И потом, я ведь не сельский житель, где мне отличить шишку от камешка! Аи fond[49] во что она предложила бы нам играть?

— Je l'ignore![50] — отвечала Ада. — Мне совершенно неинтересно мнение этой жалкой особы. В cache-cache[51], наверное, или по деревьям лазать.

— Отлично, уж в этом-то я мастер, — сказал Ван. — Я даже могу, повиснув, перебираться руками по ветке.

— Ну уж нет, — отрезала Ада, — мы будем играть в мои игры. Какие я сама придумала. В которые наша бедняжка лапочка Люсетт, думаю, сможет играть со мной через год. Итак, начнем. Сегодня я покажу тебе две игры из цикла «тень-и-свет».

— Ясно! — кивнул Ван.

— Ничего тебе не ясно! — парировала хорошенькая воображала. — Сперва надо найти подходящую палочку.

— Смотри! — сказал, все еще чувствуя себя немного задетым, Ван. — Вон прилетел еще один твой… как его… дубо… дубонос.

Тут они вышли к rond-point — маленькой полянке в окружении цветочных клумб и пышно цветущих жасминовых кустов. Липа над их головами простерла ветви навстречу ветвям дуба — будто парящая под куполом, вся в зеленых блестках красавица протянула руки к сильным рукам отца, повисшего вниз головой на трапеции. Уже тогда мы оба видели все в необычном свете, уже тогда.

— Правда, есть что-то акробатическое в этих тянущихся ветвях? —

сказал Ван, указывая пальцем вверх.

— Верно, — ответила она. — Я уж давно подметила. Эта липа — летящая итальянка, а старый дуб, ее старый любовник, тянется, тянется изо всех сил, и все же неизменно подхватывает ее. (Невозможно — через восемь десятков лет! — воспроизводя смысл, передать ту ее интонацию, но, когда они посмотрели вверх, а потом вниз, произнесла она ту фразу, совершенно неожиданную, совершенно с ее нежным возрастом не вязавшуюся.)

Опустив глаза к земле и размахивая колышком, выдернутым из-под пионового куста, Ада изложила суть первой игры.

Тени листьев на песке причудливо перемежались кружочками подвижных солнечных бликов. Играющий выбирал свой кружочек — самый яркий, самый красивый — и четко обводил его контур палочкой; и тогда желтый кружок света приобретал на глазах выпуклость, словно некая золотая краска заливала до краев круглую емкость. Теперь играющий с помощью палочки или пальцами осторожно выгребал песок из кружочка. И мерцающий infusion de tilleul[52] падал с поверхности в свой земляной кубок, уменьшаясь до размера единственной драгоценной капли. Выигрывал тот, кто успевал наделать больше таких кубков, скажем, за двадцать минут.

Ван с недоверием осведомился: и все?

Нет, не все. Ада опустилась на корточки и, прочерчивая четкий кружок вокруг редкостной красоты золотого пятнышка, невольно колыхалась, а черные пряди волос падали на ее ходившие, гладкие, как слоновая кость, коленки, и бедра у нее ходили, и руки: одна водила палочкой, другая откидывала назад непокорные пряди. Внезапно легкий ветер притенил солнечный блик. В таких случаях играющий терял очко, даже если лист или облако спешили убраться восвояси.

Ну ладно. А другая игра какая?

Другая игра (нараспев), пожалуй, и потруднее покажется. Чтоб играть в нее как следует, надо дождаться полудня, когда тени становятся длинней. Играющий…

— Да будет тебе «играющий»! Это либо ты, либо я.

— Ну пусть ты! Ты прочерчиваешь за мной мою тень на песке. Я отступаю. Ты чертишь снова. Потом помечаешь следующую границу (вручая ему палочку). Если я теперь ступлю назад…

— Знаешь что, — прервал ее Ван, отбрасывая палочку прочь, — мне лично кажется, скучнее и глупее этих игр никто и никогда во всем свете не выдумывал, ни до, ни после полудня.

Она ни слова не сказала, только ноздри у нее напряглись. Подобрала палочку и яростно воткнула ее в прежнее место, поглубже в суглинок, рядом с благодарным цветком, который она, молча мотнув головой, петлей соединила с палочкой. И пошла обратно к дому. Ван прикидывал,

сделается ли у нее с годами походка изящней.

— Прости меня, пожалуйста, — сказал он. — Я грубый, невоспитанный мальчишка.

Она, не оборачиваясь, склонила голову. В знак частичного примирения показала ему два крепких крюка, пропущенных через железные кольца на тюльпанных деревьях, между которыми, еще до ее появления на свет, другой мальчик, также Иван, братец ее матери, качался в гамаке, где и спал в летнюю жару, когда ночи становились особенно душными, — к слову сказать, здешние места располагались на широте Сицилии.

— Прекрасная идея! — воскликнул Ван. — Да, кстати, если светлячок налетает на человека, то жжется? Просто интересно. Так, глупый вопрос городского жителя.

Потом Ада показала ему, где хранится тот самый гамак — даже целая кипа гамаков, — холщовый мешок, забитый упругими, податливыми сетками: мешок стоял в углу кладовки в подвале, скрытом кустами сирени; ключ был запрятан в том самом углублении, где в прошлом году свила себе гнездо какая-то птаха — не важно, какая именно. Наведясь на длинную зеленую коробку, где хранились принадлежности для игры в крокет, солнечный луч ненароком вызеленил ее поярче. Только шары давно поскатывали с горки вниз, расшалившись, дети, младшие Ласкины; теперь-то они подросли, уже ровесники Вана, утихомирились, остепенились.

— Кто из нас не прошел через этот возраст, — заметил Ван, наклоняясь и подбирая изогнутый черепаховый гребень, — таким барышни зачесывают волосы назад и скрепляют на затылке.

Где-то он видел еще один, такой же, и недавно совсем — но когда, в чьих волосах?

— Кого-то из горничных, — бросила Ада. — Вот и эта растрепанная книжонка, должно быть, тоже: «Les Amours du Docteur Mertvago»[53], мистический роман какого-то пастора.

— Придется, видно, — сказал Ван, — играть в крокет с помощью фламинго и ежей!{25}

— Круг чтения у нас не один и тот же, — отвечала Ада. — Мне все так настойчиво расписывали эту «Ларису в Стране Чудес»{26}, что у меня возникло непреодолимое к ней отвращение. Читал ты что-нибудь из рассказов, что пишет мадемуазель Ларивьер? Что ж, еще прочтешь. Она воображает, будто в какой-то своей индуистской жизни была дамочкой с Больших Бульваров; соответственно и пишет. Отсюда можно просочиться в парадную залу потайным ходом, но, мне кажется, следует осмотреть grand chêne[54], который на самом деле не дуб, а вяз.

Нравятся ему вязы? Знает ли он стихотворение Джойса про двух прачек{27}? Оказывается, знает. Нравится? Нравится. Ему и в самом деле всерьез начинали нравиться и сень сада, и лучей каскады, и Ада. Все рифмовалось. Сказать ей или нет?

— А теперь… — начала Ада, остановившись и взглянув на Вана.

— Ну и, — подхватил он, — что теперь?

— Хотя, пожалуй, не следовало бы тебя развлекать — раз ты с таким презрением отнесся к моим кружкам, — и все же сменю-ка я гнев на милость и покажу тебе настоящее чудо Ардиса, мой гусеничник, он в комнате рядом с моей. (А ведь Ван ее комнаты не видел, вовсе не видел, вот странно, подумать только!)

Она осторожно прикрыла дверь смежной комнаты, и оба оказались в просторном, отделанном мрамором помещении (как выяснилось, бывшей ванной), в конце которого находилось нечто, напоминавшее живописный крольчатник. Несмотря на то что помещение хорошо проветривалось, несмотря на то что геральдические витражные окна были распахнуты в сад (откуда доносились хриплые и по-кошачьему зазывные выкрики вечно голодного и до крайности отчаявшегося птичьего племени), здесь был весьма ощутим запах обитания мелкого зверья — пахло наполненной корнями влажной землей, оранжереей, с легкой примесью козлиного духа. Прежде чем подпустить Вана поближе, Ада заскрипела задвижками и решеточками, и взамен сладостного жара, переполнявшего Вана весь этот день с самого начала их невинных игр, его охватило чувство полной опустошенности и подавленности.

— Je raffole de tout ce qui rampe (Обожаю всяких ползающих живностей)! — объявила Ада.

— Я бы лично предпочел, — заметил Ван, — тех, что сворачиваются пушистым комочком, когда до них дотрагиваешься… что, как старые собаки, погружаются в спячку.

— Господи, какая спячка, quelle idée[55], они замирают, что-то вроде обморока, — пояснила Ада, насупившись. — И по-моему, для самых крох это просто потрясение.

— Ну да, и мне так кажется. Только, думаю, они привыкают, ну, как бы со временем.

Но скоро рожденная невежеством неловкость Вана уступила место эстетическому сопереживанию. Даже десятки лет спустя вспоминал Ван то искреннее восхищение, которое вызывали в нем эти прелестные, голенькие, в ярких пятнах и полосках, гусеницы ночной бабочки-акулы, ядоносные, как и цветки коровяка, вокруг них теснящиеся, и эта приплюснутая личинка местной ленточницы, серые бугорочки и сиреневые бляшечки которой копировали утолщения и лишайниковые наросты древесных сучков, к каким она приникала настолько плотно, что, казалось, не оторвать, и еще, конечно, малыш Кистехвост, чья черная кожица вдоль всей спинки украшена разноцветными пучками — красными, голубыми, желтыми, — точно зубная щетка, причудливо обработанная сочными красками. И подобное сравнение, приправленное своеобразными эпитетами, сегодня напоминает мне энтомологические описания из Адиного дневника — ведь должны же они у нас где-то храниться, правда, любимая, кажется, вот в этом ящике стола, что? Разве нет?

Да, да! Ура! Вот кое-что (твой пухлощекий почерк, любовь моя, был несколько крупней, но в целом он нисколько, нисколько, нисколечко не изменился!):

«Втягивающаяся головка и выставленные дьявольскими рожками анальные отростки этого крикливо-яркого монстра, из которого получится Гарпия Большая, принадлежит одной из наименее гусеничноподобных гусениц, передняя часть которой имеет вид гармошки, заканчиваясь личиком, напоминающим объектив складного фотоаппарата. Стоит легонько провести пальцем по гладкому, вздутому тельцу, ощущаешь приятную шелковистость — как вдруг, почувствовав раздражение, неблагодарное существо запускает в тебя из шейной щели струйку едкой жидкости».

«Д-р Кролик любезно подарил мне пять полученных им из Андалузии юных личинок только что открытой и только там обитающей Ванессы Кармен. Восхитительные существа — прелестного нефритового оттенка, с серебристыми искорками, и питаются исключительно листьями почти исчезнувшей разновидности высокогорной ивы (каковые милый Кроль также для меня изыскал)»

(Ребенком лет в десять или ранее она — как и Ван — прочла, о чем свидетельствует последующий отрывок, «Les Malheurs de Swann»[56].)

«Надеюсь, Марина прекратит меня ругать за мое увлечение („Просто неприлично для девочки возиться с такими отвратительными тварями…“, „Нормальные юные барышни должны испытывать отвращение к змеям, червякам и проч.“), если я смогу убедить ее преодолеть отсталость и брезгливость и подержать на ладони и запястье (в одной ладони не уместится!) благородную личинку — гусеницу бражника Cattleya{28} (красновато-лиловых тонов мсье Пруста), этого семидюймового колосса телесного цвета и с бирюзовым орнаментом, с приподнятой и неподвижной, как у сфинкса, головкой».

Прелестные строки! — воскликнул Ван. — Но в юные годы даже я не мог полностью прочувствовать их прелесть. Так не будем же пинать недотепу, который, скоренько пролистав всю книгу, заключает: «Ну и плут этот В.В.!»

***

В конце этого, такого далекого и такого близкого лета 1884 года Ван перед своим отъездом из Ардиса должен был нанести прощальный визит в гусеничник Ады.

Чрезвычайно ценная, фарфорово-белая пятнистая личинка «Капюшона» (или «Акулы») благополучно перешла в следующую фазу своего развития, но уникальная Адина ленточница Лорелея погибла от парализующего укола мухи-наездника, которую не смогли сбить с толку

хитроумные бугорки и лишаистые пятнышки. Многоцветная зубная щеточка преспокойно окуклилась в волосистый кокон, суля по осени превратиться в Кистехвоста Персидского. Две личинки Гарпии Большой сделались еще безобразней, перейдя при этом в более червеобразную и даже, пожалуй, несколько более почтенную стадию: волоча по земле обмякший раздвоенный хвостик, похоронив эффектную выпуклость своего окраса под багровым налетом, они только и знали, что оголтело метались по настилу своей клетки в каком-то предкукольном порыве вечного движения. За тем же и Аква в минувшем году шла через леса, пробираясь в лощину. Только что вылупившаяся Nymphalis carmen едва начинала трепыхать лимоновыми с янтарно-коричневым ободком крылышками в солнечном луче на решетке, как тотчас ловкие пальцы безжалостной Ады мгновенным сжатием с упоением придушили бабочку; бражник Одетта на свое счастье превратился в слоникоподобную мумию с забавно упакованным германтоидного вида хоботком; где-то за Полярным Кругом, в другом полушарии, д-р Кролик, проворно семеня коротенькими ножками, гонялся за одной очень редкой бабочкой-белянкой, ранее известной как Autocharts ada Кролика (1884), но вследствие неумолимых правил таксономической приоритетности получившей название A.prittwitzi Штюмпера.

— Ну а потом, когда выведется весь этот зверинец, — спросил Ван, — что ты с ними будешь делать?

— Тогда, — отвечала она, — я отдам их ассистенту д-ра Кролика, и тот разместит их, пришпилив булавками и снабдив ярлычками, в застекленных ящиках, которые разложит на чистых полках в дубовом шкафу, и после замужества я войду во владение ими. Потом разведу огромную коллекцию и продолжу выращивать всяких гусениц — мечтаю основать специальный институт по изучению личинок нимфалиды, а также фиалок — тех фиалок, которыми они кормятся. Со всей Северной Америки ко мне будут доставлять самолетами яички и личинки, а также то, чем они питаются, — секвойевую фиалку с Западного побережья, полосатую фиалку из Монтаны, черешчатовидную фиалку, Кентуккскую фиалку Эгглстона и редчайшую белую фиалку с неведомых болот у безымянного озера на одной из гор в Заполярье, где обитает Кроликова малая нимфалида. Ну а когда у них эти штучки вылезают, бабочек можно просто спаривать руками — вот так держать, иной раз довольно долго, в профиль, со свернутыми крылышками (показывает как, позабыв про искусанные ногти), самца в левой руке, самочку в правой, или же наоборот, чтобы соприкасались кончиками животиков, но только когда совсем молоденькие и чтоб сильно пропитались своим любимым фиалковым духом.

9

Была ли она хороша в свои двенадцать? Хотел ли он — захотелось ли ему хоть раз ласкать ее, ласкать по-настоящему? И каскад темных волос, ниспадавших к ключице, и жест, с которым она откидывала их назад, и открывшаяся ямочка на бледной щеке — все это было так неожиданно и в то же время так ожидаемо. Ее бледность излучала свет, чернота волос жгла огнем. Любимые ею юбки в складку были

восхитительно коротки. Даже обнаженные ее руки и ноги были настолько неподвластны загару, что взгляд, ласкающий эти голени и плечи, мог проследить каждый косо направленный нежный темный волосок, девичий шелковый покров. Было что-то в темно-карих зрачках ее серьезных глаз таинственно-непостижимое, как во взгляде восточного гипнотизера (с рекламы на последней журнальной странице), и зрачок был чуточку выше обычного, так что, когда она пристально на кого-то смотрела, между основанием зрачка и влажным нижним веком четкой белой колыбелькой провисал полумесяц. Ее длинные ресницы не просто казались, они были черные. Полноватые, потрескавшиеся губы лишали ее облик ангельской прелести. Прямой ирландский нос был копией Ванова, только в миниатюре. Зубы у нее были белые-белые, однако не слишком ровные.

Ее бедные прелестные пальчики — невозможно было без жалости глядеть, — такие розовые в сравнении с матовостью рук и плечей, были розовей даже, чем локоть, вспыхнувший, казалось от стыда за плачевный вид ногтей: она старательно их грызла, не оставляя никакой даже каемочки, до желобка, врезавшегося в плоть, точно натянутая проволока, и обнажая словно раздувшиеся, лопаткой, кончики пальцев. После, когда его страстно тянуло целовать ее прохладные руки, она сжимала пальцы в кулак, позволяя его губам прикасаться лишь к костяшкам, но он с силой разжимал ей пальцы, чтоб только прорваться к этим приплюснутым жалким подушечкам. (Но Боже мой, Боже, что за чудо эти длинные, эти полные истомы серебристо-розовые, лакированные и отточенные, нежно жалящие ониксы ее юной и зрелой поры!)

В те первые, полные странности дни, когда она показывала ему дом — и те самые уголки, в которых совсем скоро они будут вдвоем отдаваться любви, — Ван испытывал смешанное чувство упоения и досады. Упоения — от вида ее бледной, желанной и недоступной кожи, от ее волос, ее ног, от ее угловатости, от исходившего от нее газелевого аромата свежей травы, от внезапно долгого взгляда ее темных, широко расставленных глаз, от этой нескладной, скрытой платьем наготы; досады — оттого, что между ним, неловким, но просвещенным школьником, и этой не по годам развитой, манерной и неприступной девочкой возникал вакуум света и завеса тени, которые никакая сила не могла ни преодолеть, ни пронзить. Лежа в постели, он отчаянно и безнадежно клял все и вся, настроив свое напрягшееся естество на ее образ, с такой яркостью впитанный, в момент, когда во время их второго похода под самую крышу она, взобравшись на капитанский походный сундук, раскрывала похожее на иллюминатор оконце, чтоб вылезти на крышу (куда даже собачка как-то раз выбралась), и юбка зацепилась то ли за скобу, то ли что еще, и Ван увидал — как мнится что-то головокружительно-дивное в библейской сказке или в появлении бабочки из кокона — темно-шелковый пушок у этого ребенка. Он заметил, что она как будто заметила, что он мог или смог заметить что-то (и что он не только заметил, но и с легкой дрожью страха хранил в памяти до тех пор, пока — много позже — и странным образом — не освободился от этого видения), и по ее лицу скользнуло непонятное скучающе-надменное выражение: впалые щеки и пухлые бледные губы шевельнулись, будто жевала что-то, и она тут же зашлась деланным смехом, ведь он, Ван, такой большой, поскользнулся на черепице, выбираясь вслед за Адой сквозь слуховое окно. И озаренный внезапным солнцем, он вдруг ощутил, что он, Ван, такой маленький,

пребывал в девственной слепоте, ибо в спешке, в суматохе и в сумраке не рассмотрел сереньких прелестей первой своей шлюшечки, хоть и часто ее имел.

Воспитание чувств с этого момента пошло у него быстрей. На следующее утро он случайно застал Аду, когда та мыла лицо и руки в допотопном умывальном тазу на стойке в стиле рококо, волосы стянуты узлом на затылке, скомканным венчиком топорщится подоткнутая вокруг талии ночная рубашка, из нее выпросталась худенькая спина, ближе к нему просвечивая ребрышками. Жирная фарфоровая змея обвила умывальник. И эта змея вместе с замершим Ваном наблюдали сбоку за Евой, за еще не распустившимися, чуть подрагивающими ее грудками, но вот темно-красное мыло скользнуло из рук у Ады, и ножка в черном носке захлопнула дверь со стуком, прозвучавшим скорей как отзвук упавшего на мраморный пол мыла, чем возмущенной стыдливостью.

10

Будничный обед в Ардис-Холле. Люсетт сидит между Мариной и гувернанткой; Ван — между Мариной и Адой; Дэк, золотисто-коричневый таксик-горностайчик, — под столом, то ли между Адой и мадемуазель Ларивьер, то ли между Люсетт и Мариной (втайне Ван терпеть не мог собак, в особенности у обеденного стола, в особенности этого маленького, вытянутого уродца, к тому же игриво пыхтящего). С подвохом и в высокопарной манере Ада излагает некий сон, некое чудо из области естествознания, используя некий беллетристический прием — «monologue intérieur»[57]Поля Бурже, заимствованный у старика Лео{29}, — или цитируя чушь несусветную из последней статейки Элси де Нор, вульгарной литературной проститутки, заявившей, что Левин расхаживал по Москве в nagol'ny tulup{30}, «мужицкой овчинной шубе, гладкой стороной наружу, мехом внутрь», согласно словарю (куда уж Элси и иже с нею до этаких высот!), с ловкостью фокусника откуда-то извлеченного нашей комментаторшей. Адина эффектная манипуляция придаточными предложениями, эти вводные, вскользь бросаемые слова, это сладострастное усиление привязки односложных слов («что за бред, она просто безграмотна!») — в результате все это почему-то действовало на Вана с силой, сходной, наверное, с искусственной стимуляцией или изощренной изуверской лаской, возбуждая где-то слева острое вожделение, пугающее и сладострастно волнующее одновременно.

Мать, называя ее «мое сокровище», прерывала Адин рассказ короткими восклицаниями, типа: «Жутко смешно!» или: «Ай, прелесть какая!», хотя позволяла себе также замечания и более наставительные, скажем: «Ну-ка выпрями спинку!» или: «Ешь, сокровище мое!», произнося это «ешь» по-матерински заботливо, что никак не вязалось с язвительно-взрывными сарказмами дочери.

Выпрямившаяся было Ада, отрываясь от спинки стула, вновь опускает податливые плечики, и когда этот то ли сон, то ли случай (или что там она пересказывает) достигает кульминации, Ада, зависая над столом, откуда Прайс предусмотрительно уже убрал ее тарелку, резко выставив локти вперед, опускается на стол грудью, заполняя все

пространство перед собой, потом вдруг снова откидывается на спинку стула, эффектно поигрывая губками, произносит: «длинные-предлинные», и обе руки — кверху, кверху!

— Сокровище мое, ты еще не пробовала… ах, Прайс, принесите…

О чем она? Что принести, канат, по которому чадо факира, мелькая голым задиком, устремится ввысь, в разрежающуюся синеву?

— Такие длинные-предлинные! Ну как бы (внахлест себе самой)… как бы щупальца… ах нет, постойте… (тряхнула головой, все в лице встрепенулось, будто резким рывком развязали связанный в узел моток).

Да нет же: несет огромные, розовато-багровые сливы, на одной — влажно-желтая трещина.

— Такая вот история… — (волосы — кувырк на лоб, рука взметнулась к виску; хотела было смахнуть прядь, не смахнула; внезапный взрыв переливчатого, с хрипотцой, смеха, переходящего в клокочущий кашель).

— Нет, правда, мама, ты только представь, чувствую, голоса нет, кричу, а звука не слышу…

После трех-четырех таких застолий Ван стал кое-что понимать. Вовсе не было это поведение Ады лукавым девчоночьим спектаклем, рассчитанным на гостя, то была отчаянная и весьма мудрая попытка помешать Марине завладеть ситуацией и превратить разговор в лекцию на тему о театре. Со своей стороны, Марина, ожидая случая запустить в карьер свою тройку с бубенцами, испытывала некое профессиональное удовлетворение, играя навязанную ей роль любящей мамаши, гордящейся обаянием и остроумием собственной дочери и, в свою очередь, с обаятельным и остроумным снисхождением взирающей на беспардонное многословие юной рассказчицы. Вот уж кто разыгрывал спектакль — вовсе не Ада! И едва до Вана дошел истинный смысл ситуации, он не преминул воспользоваться паузой (которую Марина чуть было не заполнила неким ассортиментом из системы Станиславского), чтобы запустить Аду в мутные воды ботанических глубин — в плаванье, которое в иной момент приводило его в содрогание, однако при данных обстоятельствах оказалось наилегчайшим и наибезопаснейшим для его Ады. Особо существенно было предпринять это за ужином, поскольку Люсетт со своей гувернанткой отужинали раньше наверху и, значит, в этот критический момент мадемуазель Ларивьер отсутствовала и нельзя было рассчитывать на то, что та примет на себя эстафету у замешкавшейся Ады, бодро принявшись излагать, как протекает работа над романом собственного сочинения (завершался этап шлифовки ее знаменитого «Алмазного ожерелья»), а может, ее потянуло бы на воспоминания о ранних годах Ванова детства и особо сладкой ее сердцу поре, связанной с возлюбленным, учителем русского языка, кротким воздыхателем мадемуазель Л., пописывавшим нескладные «декадентские» стишки по-русски и по-русски, в одиночку, попивавшим.

Ван: Вот это желтое (указывая на прелестное изображение цветочка на

тарелке «Эккеркраун») что — лютик?

Ада: Нет. Этот желтый цветок — обычная болотная ромашка, Caltha palusris. У нас крестьяне ошибочно зовут ее первоцветом, хотя настоящий первоцвет — Primula veris, а это совсем другое растение.

— Понятно, — сказал Ван.

— Да, кстати, — вставила Марина, — когда я играла Офелию, то, что я когда-то собирала цветочный гербарий…

— Разумеется, тебе помогло, — подытожила Ада. — Так вот, русские называют болотную ромашку Курослеп (так мужики в Татарии, эти жалкие рабы, именуют лютик) или же Калужница, как цветок не без основания зовется в Калуге, в США.

— Угу! — кивнул Ван.

— Как и у многих цветов, — продолжала Ада с кроткой улыбочкой придурковатого всезнайки, — злополучное французское наименование нашего растения, souci d'eau, преобразовывается или, вернее сказать, преобразовывает…

— …купальницу в купальничек! — скаламбурил Ван.

— Je vous en prie, mes enfants![58] — вмешалась Марина, с трудом понимавшая, что они несут, и превратно истолковавшая произнесенное как намек на предмет женского туалета.

— По случаю как раз этим утром, — продолжала Ада, не снисходя до разъяснений, — наша просвещенная гувернантка, в прошлом и твоя, Ван, которая…

(Впервые она произнесла это — во время того самого урока ботаники!)

— …уж слишком сурова к англоязыким перескрещивателям — подумать только, назвать обезьян «ursine howlers»[59] — хотя, подозреваю, ее мотивы скорее шовинистического, нежели литературного или нравственного толка, так вот: она привлекла мое внимание — мое рассеянное внимание — к некоторым совершенно роскошным, как ты выразился, Ван, купальничкам, в soi-disant[60] литературной версии некого мистера Фаули, — ее Элси в очередной своей бредятине именует «тонкой» — подумать только! — стихотворения Рембо{31} «Mémoire»[61] (которое мадемуазель, к счастью и ко времени, заставила меня выучить наизусть, хоть, подозреваю, сама предпочитает Мюссе и Коппе{32})…

— …les robe vertes et déteintes des fillettes…[62] — победно процитировал Ван.

— Вас-хитительно! (В манере Дэна). Так вот, Ларивьер разрешает мне читать Рембо исключительно по антологии Фейетэна, вероятно, и у тебя она есть, но очень скоро у меня непременно будет его Oeuvres complètes[63], да-да, очень скоро, гораздо раньше, чем все вы думаете. Между прочим, вот-вот она спустится к нам, как только

уложит дражайшую дурындочку Люсетт, которую, должно быть, уже обрядила в зеленую ночную рубашку…

— Ангел мой! — взмолилась Марина. — Вану вовсе не интересно слушать про рубашку Люсетт!

— …оттенка ивовой листвы, и та считает овечек под своим ciel de lit, который вместо «прикроватного полога» превращен Фаули в «небесную постель». Но вернемся к бедному нашему цветочку. Фальшивым louis d'or[64] в этом скопище надругательств над французским языком явилось превращение souci d'eau (нашей болотной ромашки) в дурацкое «любовь к воде»[65]— хотя буквально под рукой столько синонимов, таких как неженка, марьин цвет, майский шарик и прочих названий, что так тесно связаны с самыми разнообразными праздниками плодородия.

— С другой стороны, — заметил Ван, — легко себе представить, как равно владеющая двумя языками мисс Риверс сверяет с оригиналом французский перевод, скажем, «Сада» Марвелла…

— Ага! — воскликнула Ада. — Могу прочесть «Le Jardin»[66] в собственном переводе… как там:

En vain on s'amuse à gagner

L'Oka, la Baie du Palmier…{33}

— …ветвь пальмы, венец из листьев дуба и лавровый венок![67] — выкрикнул Ван.

— Послушайте, дети! — решительно вмешалась Марина, маша руками, чтобы угомонить их. — В твоем возрасте, Ада, я со своим братом, твоим, Ван, ровесником, болтала про крокет, про пони, про собак, про то, как прошел fête-d'enfants[68], про то, какой будет пикник, про множество прелестных и нормальных затей и вовсе не про каких-то престарелых ботаников-французов и тому подобную несусветицу!

— Ты же сама сказала, что собирала гербарий, — заметила Ада.

— Но это было только однажды, как-то в Швейцарии. Даже и не помню когда. Теперь-то что вспоминать!

Марина помянула Ивана Дурманова: тот скончался от рака легких много лет назад в санатории (неподалеку от Экса, где-то в Швейцарии, там же, где спустя восемь лет родился Ван). Марина частенько вспоминала об Иване, в восемнадцать лет уже ставшем знаменитым скрипачом, но вспоминала без особого проявления чувств, и теперь Ада с удивлением отметила, как густой слой пудры на лице у матери начал подтаивать под внезапным напором слез (возможно, вызванных аллергией на старые, сухие, превратившиеся в плоский слепок цветы, приступом сенной лихорадки или присутствием травы горечавки, что мог бы выявить

последующий диагноз). Марина звучно, по ее собственному выражению «как в трубу», высморкалась, и вот уж мадемуазель Ларивьер спустилась вниз, чтоб откушать кофе и поделиться своими воспоминаниями о Ване, таком bambin angélique[69], который уже à neuf ans[70] — солнышко ясное! — восторгался Жильбертой Сван{34} et la Lesbie de Catulle[71] (и который без всякой посторонней помощи научился облегчаться от своего восторга, едва свет керосиновой лампы, зажатой в руке чернокожей няни, раскачивая стены, выплывал из детской).

11

Через пару дней после приезда Вана прикатил утренним поездом из города Дэн, чтобы провести, как обычно, воскресные дни с семьей. Дядюшка Дэн шел через вестибюль, и тут как раз Ван на него наткнулся. Дворецкий совершенно прелестно (как показалось Вану) продемонстрировал хозяину, кто именно этот долговязый мальчик, сначала опустив ладонь на три фута от пола, потом приподнимая ее все выше, выше — в этакой пантомиме роста, очевидной лишь для нашего юного зрителя, ныне высотой в шесть футов. Ван наблюдал, как маленький рыжий джентльмен в замешательстве уставился на старого Бутейана и как тот приглушенным шепотом произнес имя Вана.

Была у мистера Дэниела Вина презабавная манера при приближении к гостю запускать руку со сведенными вместе пальцами в карман пиджака и держать там, словно с какой-то очистительной целью, вплоть до самого момента рукопожатия.

Он уведомил Вана, что вот-вот пойдет дождь, «так как в Ладоре как раз начало накрапывать», а дождь, заверил дядюшка, «добирается оттуда до Ардиса примерно часа за полтора». Ван решил, что это юмор, и вежливо хихикнул, однако дядюшка Дэн, опять-таки в замешательстве, уставился на Вана и, оглядывая его блеклыми рыбьими глазками, осведомился, освоился ли Ван в имении, сколько он знает языков и не хочет ли за несколько копеек приобрести билетик лотереи Красного Креста.

— Спасибо, нет, — ответил Ван. — Довольно с меня всяких лотерей.

После чего дядюшка снова на него уставился, на сей раз несколько косо.

Чай был подан в гостиной, и все сидели какие-то притихшие, подавленные, пока наконец дядюшка Дэн не удалился к себе в кабинет, вытягивая на ходу из кармана сложенную газету, но не успел он выйти из комнаты, как само собой распахнулось окно и яростный ливень забарабанил по листве лиродендрона и империалиса, а разговор за столом сделался оживленней и громче.

Дождь шел — а лучше длился — недолго, продолжив предположительно свой путь дальше в сторону Радуги, или Ладоги, или Калуги, или Луги, и навесив над Ардис-Холлом прерывающуюся в воздухе радугу.

Погрузившись в раздутое, пухлое кресло, дядюшка Дэн с помощью крохотного словарика для непритязательных туристов, облегчавшего ему просмотр иностранных каталогов по искусству, попытался прочесть статейку, кажется, посвященную лову устриц, из иллюстрированного голландского журнала, оставленного сидевшим напротив него в поезде пассажиром — как вдруг по дому, переливаясь из комнаты в комнату, распространилась ужасная суматоха.

С вывернутым на бегу одним и развевающимся другим ухом, вытянув розовый, в серую крапинку, язык, проворно семеня смешными ножками и скользя по паркету при резких поворотах, жизнерадостный таксик несся по дому в поисках укромного места, где можно было бы истерзать зубами солидный ком пропитанной кровью ваты, подхваченный им где-то наверху. Ада, Марина и двое горничных преследовали ликующее животное, которое невозможно было загнать в угол среди нагромождений барочной мебели, и таксик несся и несся вперед через бесчисленные дверные проемы. С налета ворвавшись к дядюшке Дэну, погоня промчалась мимо его кресла и снова скрылась в глубине дома.

— О Господи! — воскликнул Дэн, завидев кровавый собачий трофей, — неужто кто-то палец себе отрубил!

Шаря руками по коленям и креслу, он наконец обнаружил и извлек из-под скамейки для ног свой крошечный словарь и вернулся к чтению журнала, тут же обнаружив, что надо посмотреть в словаре слово «groote»[72], которое как раз и искал в тот момент, когда его потревожили.

Элементарность расшифровки раздосадовала его.

Через раскрытые двустворчатые двери Дэк увлек своих преследовательниц в сад. Там, на третьей по счету лужайке, Ада его настигла, предприняв стремительный бросок в стиле «американского футбола», некой разновидности регби, игры, в которую некогда играли юнкера на влажно-торфяных берегах реки Гутзон. И в тот же момент со скамейки, где стригла ногти Люсетт, поднялась мадемуазель Ларивьер, и, тыча ножницами в Бланш, кинувшуюся вперед с бумажной сумкой в руках, обличила ее в совершении возмутительного проступка, а именно: в том, что та обронила шпильку в постель Люсетт, un machin long comme ça qui faillit blesser l'enfant à la fesse[73]. Но Марина, которая как истинно русская дворянка ужасно боялась «обидеть всякого ниже себя», объявила, что инцидент исчерпан.

— Нехорошая, нехорошая собака, — приговаривала Ада с особым свистящим придыханием, подхватывая на руки лишившуюся добычи, но этим вовсе не сломленную «bad dog».

Гамак и мед: и через восемь десятков лет он с той же счастливой, точно в юности, мукой вспоминал, как возникла в нем любовь к Аде. Воспоминание и зрительный образ сошлись где-то на полпути: гамак, рассветы, юность. В девяносто четыре он любил возвращаться вновь и вновь к тому первому лету своей любви, но не как к только что увиденному сну, а как к сгустку в сознании, чтобы продержаться в эти серые карлики-часы в промежутке между неглубокой дремой и первой утренней пилюлей. Вступи же, дорогая, хоть ненадолго. Пилюля, дремлю ли, сон ли, сон мы. Продолжай отсюда, Ада, прошу тебя!

(Она) Сонмы фавнов. Возьмем относительно благополучное десятилетие. В такое десятилетие целый сонм фавнов, добрых, одаренных, нежных и страстных, из лучших, не только духовных, но и плотских побуждений сдернул покровы с мириад дриад своих, не менее нежных и прекрасных, там и так, где и как было назначено и уготовано создателем, дабы молву об этом событии не заглушила сорная трава статистики и уж по пояс вымахавших сообщений. Все это утратило бы всякий смысл, если мы упустим, скажем, такую малость, как незаурядность натуры индивидуума, как юный гений, способный в иных случаях превратить всякую отдельную страсть в неоспоримое и неповторимое событие жизненного континуума или, по крайней мере, изобразить подобные события витиеватым смысловым орнаментом в произведении искусства или же в обвинительном акте. Что конкретно просвечивается или высвечивается: местная листва — через прозрачную кожу, зеленое солнце в темном влажном зрачке, tout ceci, все это во плоти и крови, надо видеть и надо знать, теперь готовься — твоя очередь (нет, Ада, продолжай, я заслушался: я весь внимание), если мы хотим подчеркнуть, что… что… что… — что среди этого сонма роскошных пар в поперечном срезе того, что, если позволишь, я назову (для удобства рассуждения) пространство-временем, есть одна уникальная, суперцарственная, суперимператорская чета, благодаря которой (и это еще предстоит исследовать, выписать кистью, ниспровергнуть, воплотить в музыке или испытать смертью, если все-таки окажется скорпионов хвост у того десятилетия) все подробности их любви влияют на продление двух жизней и на кое-кого из читателей, этот мыслящий тростник с проворным пером и живописью воображения. Вот оно, воистину естественное знание! А не естественное — это для черни, потому что ей такая ясность чувства и смысла всегда дика и непонятна и потому, что только деталь все и значит: крик тосканского красноголового королька или королька из Ситки в ветвях кладбищенского кипариса; мятная отдушника чабера, он же Йерба Буэна, с прибрежного склона; танец порхающей небесной голубянки, она же Эко Адзуре, в окружении разных птиц, цветов, бабочек: вот что стоит слушать, вдыхать и видеть сквозь прозрачность смерти и жаркой любви. И что трудней всего: ощущать самое красоту сквозь призму сиюминутности — здесь и сейчас. Самцы светлячка (теперь уж точно твоя очередь, Ван)…

…самцы светлячка, крошечного светящегося жука, более похожего на блуждающую звезду, чем на обычное крылатое насекомое, появились в

Ардисе в первые теплые, темные ночи, сначала один, потом другой, там и сям, потом множеством призрачных видений, затем снова сокращаясь в числе, по мере того, как вожделения подходили к естественному завершению. Ван наблюдал за ними с полным благоговейного трепета наслаждением, как и тогда, в раннем детстве в Италии, оказавшись один-одинешенек средь багряно-сумеречного гостиничного сада, в кипарисовой аллее, когда решил, что светлячки — золотистые упырьки или блуждающие по саду эльфы. Теперь они беззвучно проносились перед ним, чертя и перечеркивая темноту, каждый то и дело мерцал своим бледно-лимонным фонариком, каждый сигналил в причудливом ритме (совсем не так, как один родственный им вид, летающий, по словам Ады, с Photinus ladorensis, в Лугано и в Луге) своей укрывающейся в траве самочке, и она, сперва выверив пульс посылаемого ей светового кода, принималась вибрировать ему в ответ. Присутствие этих необыкновенных крохотных существ, пролетавших, едва озаряя темноту ночи, мимо, наполняло Вана непостижимым восторгом, какой редко возбуждали в нем сами рассказы Ады о насекомых, — быть может, по причине зависти абстрактно образованного человека перед конкретными знаниями натуралиста. Гамак, уютно вытянутое гнездышко, принимал в свои сети его нагое тело либо под плакучим кедром, простершим ветви в углу лужайки и частично становившимся укрытием в случае ливня, либо, в более спокойные ночи, провисая между двух тюльпанных деревьев (где гость прежних летних ночей, укрытый оперным плащом поверх влажной ночной сорочки, проснулся как-то от взрыва бомбы-вонючки, оказавшейся в horsecart[74] среди инструментов, тогда-то дядюшка Ван, чиркнув спичкой, и обнаружил на подушке яркие пятна крови).

Окна темного замка постепенно гасли: горизонталь, вертикаль, ход коня. Дольше всех задерживалась в ватерклозете мадемуазель Ларивьер, входившая туда с лампадкой на розовом масле и с buvard[75]. Легкий ветерок сбивал в складки портьеру Вановой обезличенной спальни. Венера взошла на небе; Венера завладела его плотью.

Все это было чуть раньше, перед сезонным нашествием особой разновидности простейшего до изумления вида комаров (кровожадность которых не слишком доброжелательное русское население нашей местности объясняло гастрономическими пристрастиями французских виноградарей и ладорских любителей клюквы); но даже при всем этом великолепие светлячков и странно пугающая непостижимость бледного космического света, проникающего сквозь темную листву, искупали новые неудобства: мучительность ночи, липкость пота и спермы, неотделимых от духоты его спальни. Конечно же, именно ночь постоянно, на протяжении всей его почти вековой жизни, продолжала оставаться для Вана тяжкой мукой{35}, как бы ни был крепок сон или дурман бедняги, — ведь обладать большим умом вовсе не сладко даже для милейшего миллиардера с бородкой клинышком и аккуратно подстриженной, облысевшей, яйцом, головой, или хотя бы зловредного Пруста, который, когда ему не спалось, обожал резать крысам головы{36}, или такого блестящего, а может, малоприметного В.В. (зависит от точки зрения читателей, также бедняг, как бы мы ни язвили и что бы они ни творили); но все же в Ардисе это напряженно-

живое присутствие усеянного звездами неба вселяло в мальчика такую тревогу, такое смятение по ночам, что он даже рад был, если мерзкая погода или мерзейшее насекомое — Камаргский Комар наших мужиков или Moustique moscovite[76] их не менее охочих до звуковой переклички отражателей, — загоняли Вана обратно в тряскую постель.

В представленном нами сухом отчете о ранней, чересчур ранней любви Вана Вина к Аде Вин нет ни основания, ни места для отклонений в метафизику. И все же нельзя не отметить (на фоне полетов этих вспыхивающих Люциферов, а также уханья, как бы им в такт, совы в близлежащем парке), что Ван, в ту пору пока не изведав террора с Терры, — бездумно связывая его в своих размышлениях о муках милой незабвенной Аквы с пагубными странностями и привычными фантазиями, — уже тогда, в четырнадцать лет, понял, что старые мифы, запустившие в благодатное существование целый водоворот миров (пусть дурацких и мистических), разместив их внутри серого вещества усыпанных звездами небес, возможно, несут в себе, как огонек светлячка, свет некой странной истины. Ночи, проведенные им в гамаке (где другой юный горемыка, кляня свой кровавый кашель, снова погружался в сны с подкрадывающимися потоками черной пенной лавы и крушением партитурных знаков орхальной орхестры, которые наводили на него дипломированные доктора), не столько были заполнены его мучительной страстью к Аде, сколько этой бессмысленной вселенной, смотрящей сверху, снизу, отовсюду демоническим дубликатом божественного времени, звенящей вокруг него и в нем самом, как будет вновь отдаваться звоном — к счастью, уже обретя некий смысл, — и в последние ночи его жизни, о которой, любовь моя, я не жалею.

И когда казалось, он уже не в силах заснуть, Ван неизменно засыпал, и сны его были юны.

Когда первое пламя дня коснулось гамака, Ван пробудился иным человеком — и в высшей степени мужчиной. «Ада, сень сада, отрада» — этот дактилический триметр явился единственным вкладом Вана Вина в англо-американскую поэзию, — звучало у него в голове. Ура — скворец, тьме космоса конец! Ему было четырнадцать с половиной; он был горяч и смел; скоро он неистово ею овладеет!

Проигрывая прошлое, Ван мог особо выделить такой момент воскрешения юности. Натянув плавки, протолкнув и упрятав туда все сложное, многочисленное и упорствующее хозяйство, он вывалился из своего гнезда и тотчас решил проверить, есть ли движение в той части дома, где она обитала. Есть! Блеснул хрусталь, цветное пятнышко. В одиночестве на уединенном балконе Ада вкушала sa petite collation du matin[77]. Отыскав сандалии — в одной оказался жук, в другой какой-то лепесток, — Ван устремился через кладовую в прохладу дома.

Дети ее склада — придумщики самых рафинированных философий. Была и у Ады своя маленькая философская теория. Еще и недели не прошло с приезда Вана, как он уж был сочтен достойным посвящения в ее премудрости. Жизнь каждого человека состоит из определенным образом классифицированных явлений: «настоящих явлений» — которые происходят нечасто и потому бесценны, просто «явлений», составляющих всю обыденность жизни, и «явлений-призраков», еще именуемых «туман»,

таких как лихорадка, зубная боль, глубочайшие потрясения и смерть. Три или более происходящих одновременно явлений образуют «башню», а если одно за другим — то «мост». «Настоящие башни» и «настоящие мосты» — это радости жизни, если же башни встречаются по нескольку — то это высшее блаженство; хотя такого почти никогда не бывает. При определенных обстоятельствах и в некотором ракурсе даже простое «явление» может показаться или даже стать «настоящим», а может и наоборот — сгуститься в зловонный «туман». Если же счастье и несчастье сплетаются между собой — единовременно или не сразу и по нисходящей, человеку выпадают «повергнутые башни» и «разрушенные мосты».

Образные и конструкционные детали такой метафизики не наполняли Адины ночи мукой, как это было у Вана, и в то утро — как и во многие другие — он остро почувствовал, что возвращается из гораздо более далекой и сумрачной страны, чем та, где обитает она в своем солнечном свете.

Ее пухлые, блестевшие липким губы улыбались.

(Когда я тебя сюда целую, говорил он ей много лет спустя, постоянно вспоминаю то голубое утро и балкон, где ты ела tartine au miel[78], пусть по-французски, так лучше.)

Классическая красота цветочного меда, светлого, гладкого, прозрачного, плавно стекавшего с ложечки и расплавленной медью заливавшего хлеб с маслом моей любимой. Крошки вязли в нектаре.

— Настоящее? — спросил он.

— Башня! — ответила она.

И еще оса.

Оса обследовала ее тарелку. Тельце насекомого подрагивало.

— Надо как-нибудь попробовать ее съесть, — заметила Ада, — но чтоб было вкусней, побыстрей проглотить. Язык она, конечно же, не ужалит. Животные не притрагиваются к человеческому языку. Когда лев приканчивает какого-нибудь путника, съедает все до косточки, но непременно оставит человеческий язык среди пустыни (небрежный жест).

— Не может быть!

— Общеизвестная загадка природы.

В тот день волосы у нее были старательно расчесаны и отливали темным блеском, контрастируя с матовой бледностью шеи и плечей. На Аде была тенниска в полоску, та самая, которую Ван в своих уединенных мечтах с таким наслаждением срывал с ее извивающегося тела. Клеенка была в голубую и белую клетку. Пленочка меда сверкала на остатках масла в прохладной фаянсовой масленке.

— Ну, хорошо. Что же третье Настоящее?

Она внимательно смотрела на него. Золотистая капелька, загоревшаяся у нее на губе, внимательно смотрела на него. Бархатистая, трехцветная анютина глазка, с которой она накануне рисовала акварельку, внимательно смотрела на него из вытянутой хрустальной вазочки. Ада не произнесла ни слова. Не сводя с него взгляда, облизала растопыренные пальцы.

Не дождавшись ответа, Ван покинул балкон. Тихонько крошилась ее башня в нежных лучах бессловесного солнца.

13

Ради большого пикника по случаю ее двенадцатилетия, а также сорок второго празднования Идиных jour de fête[79] Аде было разрешено надеть ее «лолиту», довольно длинную, но совершенно воздушную, широченную черную юбку (названную по имени андалузской цыганочки{37} из романа Осберха и потому произносимую с испанским, не английским, утяжеленным «т»), в красных маках и пионах, «в действительности миру ботаники неведомых», как с достоинством заявляла Ада, не подозревая еще, что действительность и естественная наука означают одно и то же на языке этого, и не только этого, сна.

(Так и ты не знал, премудрый Ван! Ее пометка.)

Голенькая Ада сделала шаг внутрь юбки ножками, все еще влажными и «хвойными», после специального протирания махровой мочалкой (при режиме мадемуазель Ларивьер утренние ванны не практиковались), и, резко качнув бедрами, натянула ее на себя, вызвав привычное недовольство гувернантки: mais ne te trémousse pas comme ça quand tu mets ta jupe! Une petite fille de bon maison[80] и т. д. Отсутствие же панталон per contra[81] было оставлено Идой Ларивьер без внимания: эта пышногрудая, с пугающей красотой дама (в данный момент пребывавшая лишь в корсете и чулках с подвязками) была готова в дни самой нестерпимой летней жары позволить и себе ту же поблажку; хотя применительно к Адочке подобная практика возымела предосудительные последствия. Стремясь унять легкое раздражение нежной промежности, сопровождаемое испаринкой, зудом и прочими не вовсе неприятными ощущениями, девочка тесно сжала меж ног, оседлывая ее, прохладную ветку яблони, к вящему недовольству Вана, в чем еще не раз нам придется убедиться. Помимо «лолиты» на Аде была трикотажная, с коротким рукавом, кофточка в черно-белую полоску, несуразная (сзади, на резинке вокруг шеи) шляпа, бархатная лента в волосах и на ногах стоптанные сандалетки. Как неоднократно уже отмечал Ван, ни соображения гигиены, ни элементарные понятия о вкусе для обитателей Ардиса не были характерны.

Лишь только все приготовились отъезжать, Ада ринулась вниз со своего

дерева, как какой-нибудь удод. Спеши, спеши, моя птичка, мой ангел! Бен Райт, кучер-англичанин, был пока еще трезв как стеклышко (с утра приняв лишь пинту эля). Бланш, уже по крайней мере раз побывавшей на большом пикнике (тогда пришлось бежать в Пайнглен, расшнуровывать мадемуазель, которой сделалось дурно), теперь отводилась более скромная обязанность — утаскивать рычавшего и извивавшегося Дэка в свою комнатушку в башенке.

Шарабан уже переправил к месту пикника двух лакеев, три кресла и несколько корзин с крышками. Романистка в белом атласном платье (сшитом Вассом из Манхэттена для Марины, которая за последнее время сбросила десять фунтов) вместе с Адой, сидевшей рядом, и Люсетт бок о бок с угрюмым Райтом, très en beauté[82] в белой своей матроске, тряслись в calèche. Ван то ли на дядюшкином, то ли на дедушкином велосипеде колесил за ними. Лесная дорога была по всему пути относительно ровной, если держаться самой середины (скользковатой и темноватой еще после раннего дождя), между двумя колеями, заполненными небесно-голубой водой с пестрыми отражениями тех самых берез, тени листвы которых резво скользили по раскрытому, туго натянутому переливчато-шелковому зонтику мадемуазель Ларивьер и по широким полям Адиной белой, щегольски сидевшей шляпки. Люсетт, восседавшая на козлах рядом с Беном в голубом камзоле, то и дело оборачивалась и делала Вану знак ручкой ехать потише, как махала всегда и мать ее из опасения, что Ада на пони или на велосипеде может врезаться в зад коляски.

Марина прибыла в красном автомобиле из самых первых открытых легковушек, управляемом дворецким с такой осторожностью, будто он крутил в руках не руль, а какой-то заморский штопор. Марина казалась вызывающе элегантной в серых мужских фланелевых брюках, с рукой в перчатке на набалдашнике матовой трости, в этом авто, которое, слегка вихляя, подкатило впритык к месту пикника, к самому краю живописной поляны в старом сосновом бору, красиво изрезанном прелестными овражками. Из леса, что тянулся с противоположной стороны вдоль грязноватой дороги на Лугано, вылетела странная блеклая бабочка, и тотчас следом выкатило ландо, откуда выходили один за другим, кто проворно, кто степенно, в зависимости от возраста и положения, — сперва близнецы Ласкины, потом их молоденькая тетушка на сносях (значительно утяжеляющая повествование), а также гувернантка, седовласая мадам Форестье, школьная подруга Матильды, речь о которой пойдет ниже.

Кроме того, ожидались еще из взрослых три джентльмена, которые так и не появились: дядюшка Дэн опоздал на утренний поезд из города; полковник Ласкин, вдовец, сослался на печень, которая, как следовало из его записки, вела себя, как печенег; а также его доктор (и партнер по шахматам) знаменитый д-р Кролик, сам себя провозгласивший придворным ювелиром Ады и который на другой день рано утром в самом деле преподнес ей свой подарок на рождение — трех восхитительных резных куколок-хризалид (Ах, какое сокровище, — выдохнула Ада, выгнув бровки), из которых весьма скоро появились на свет, увы, представители рода наездников вопреки ожидаемым нимфалидам Кибо — раритета, только что открытого.

Горы нежнейших, с обрезанной корочкой, сандвичей (идеальные прямоугольнички пять на два дюйма), золотисто-бурая тушка индейки, черный русский хлеб, горшочки с сероватой зернистой икрой, засахаренный фиалковый цвет, крохотные тартинки с малиной, полгаллона белого портвейна Гутзон, столько же рубинового, разведенный водой кларет в термосах для девочек и холодный сладкий чай, символ счастливого детства, — все это легче вообразить, чем описать. Весьма познавательным оказалось (Так в рук. — Ред.).

Весьма познавательным оказалось сопоставить Аду Вин с Грейс Ласкиной: молочно-белая бледность Ады и пышущий здоровьем румянец ее ровесницы; черные, прямые, колдовски-бесовские волосы у одной и каштановые, коротко стриженные волосики у другой; печальные, без блеска, глаза моей любимой и голубое помаргивание Грейс сквозь очки в роговой оправе; голые до самого верха ножки у одной и длинные красные чулки на другой; цыганская юбка и матроска. И еще более ценным, пожалуй, было бы отметить, что некрасивые черты Грега, повторенные, практически без изменений, в облике его сестры, воплотились в «миленькую» девчоночью мордашку, не умаляя при этом сходства между мальчиком и девочкой в матросках.

Растерзанную индейку, портвейн, к которому не притронулся никто, кроме гувернанток, и разбитую, севрского фарфора, тарелку быстро унесли слуги. Из-под куста явилась кошка, уставилась с видом крайнего изумления на сборище и, несмотря на призывы «кис-кис», скрылась.

И тут же мадемуазель Ларивьер предложила Аде пройтись в укромное местечко. Там дама во всем своем облачении, с пышными юбками, не утратившими величественных складок, но осевшими заметно ниже так, что теперь прикрывали ее прюнелевые туфли, застыла на мгновение над скрыто струившимся потоком, затем снова выпрямилась во весь рост. На обратном пути заботливая наставница заметила Аде, что, когда девочке исполняется двенадцать, самое время обсудить кое-что и быть готовой к тому, что может вот-вот случиться и сделать Аду grand fille[83]. Ада, которая уж полгода имела об этом надлежащее представление благодаря заботам своей учительницы и, собственно говоря, уже раза два это у нее случалось, повергла несчастную гувернантку (никогда не знавшую, как реагировать на Адины выпады и причуды) в полную растерянность, заявив, что все это чушь и отсталые бредни, что в нынешнее время у нормальных девочек, как правило, такого не бывает, а значит, и с ней такое приключиться вовсе не может. Мадемуазель Ларивьер, отличаясь по природе восхитительной глупостью (несмотря на то что, а, возможно, именно потому, что имела склонность к литературному творчеству), про себя обозрев личный опыт в этом деле, на мгновение испытала ужас при мысли: что если, пока она предавалась творчеству, научный прогресс внес коррективы в человеческую природу?

Высоко поднявшись, полуденное солнце высветило новые просторы, наполнив жаром прежние. Тетушка Рут подремывала на обычной постельной подушке, захваченной мадам Форестье, которая вязала крючком крохотную распашонку для будущей двоюродной сестрички или братика своих питомцев. Должно быть, размышляла про себя Марина, леди Ласкина со старческой тоской и детским любопытством наблюдает

сейчас откуда-то сверху, из своей блаженной небесно-голубой обители и сквозь пелену скорбных воспоминаний о самоубийстве, на участников пикника, собравшихся под сенью роскошной сосны. Дети демонстрировали свои таланты: Ада с Грейс исполнили русскую пляску под аккомпанемент старинной музыкальной шкатулки (которая то и дело сбивалась посреди такта, как бы вспоминая иные берега, иные, радиальные волны{38}); подпершись кулачком, Люсетт спела песенку рыбака из Сен-Мало{39}; Грег напялил на себя синюю юбку, шляпку и очки сестры, тем самым преобразившись в Грейс, только весьма болезненного и придурковатого вида; а Ван прошелся на руках.

Два года назад, перед тем как приступить к первому семестру своего заточения в модном и изуверском интернате, через который прошли до него и прочие Вины (начиная с времен, «когда вашингтонцев именовали веллингтонцами»), Ван вознамерился освоить какой-нибудь сногсшибательный трюк, суливший бы ему безоговорочное и непререкаемое превосходство над другими. И обратился за советом к Демону, в результате отцовский инструктор по классической борьбе Кинг Уинг обучил нашего крепыша ходить на руках посредством особой игры плечевых мускулов, причем освоение и совершенствование трюка потребовало не больше и не меньше как нарушения опорно-двигательной системы (кариатики).

Какое счастье (Так в рук. — Ред.). И это счастье внезапно овладеть хитростью передвижения вверх тормашками оказалось весьма сродни той радости, когда после множества мучительных и постыдных падений овладеваешь наконец управлением восхитительными глиссерами, именуемыми Ковросамолетами (или «вжиккерами»), что были подарены мальчику на двенадцатилетие в романтическую пору до Великой Реакции — и, ах, как захватывает дыхание, как пронзительно и долго щекочет нервы, когда впервые в жизни ощущаешь себя в полете и сам скользишь в воздухе над стогом сена, над деревом, над ручьем, над амбаром, а дед Дедал Вин бежит внизу, задрав голову, размахивая флажком, пока не плюхнется в пруд, где купают лошадей.

Ван стянул с себя тенниску, сбросил туфли и снял носки. При хрупкости его торса, загорелого, в тон плотным, узким коричневым шортам, еще резче бросались в глаза не по годам развитые дельтовидные мышцы и налитые предплечья красавца мальчика. Пройдет четыре года, и Ван одним движением локтя сможет сбить человека с ног.

Грациозно выгибая перевернутый торс, с парящими вверху, точно тарантийский парус, сведенными вместе ногами, Ван расхаживал взад-вперед на расставленных, ухвативших земное притяжение руках, меняя направление, ступая то вправо, то влево, с открытым опрокинутым ртом, странно моргая в своем перевернутом положении, и глаз перекатывался в глазнице, точно шарик в чашечке бильбоке. Поражало даже не разнообразие и скорость его движений, напоминавших перемещение животного на задних лапах; поражала та легкость, с которой Ван это проделывал; Кинг Уинг предостерегал: Векчело, юконец-профессионал, утратил эту легкость в двадцать четыре года; но в тот летний день, на мураве средь соснового бора, в этом волшебном сердце Ардиса, под небесно-голубым оком леди Ласкиной,

четырнадцатилетний Ван представил нам великолепнейший образец искусства хождения на руках. Никакого прилива крови на лице или на шее! Каждый раз, когда Ван отрывал от податливой земли естественные органы движения и чудилось, вот-вот хлопнет в полете в ладоши в какой-то непостижимой пародии на балетный прыжок, невольно казалось: не потому ли возможен этот лениво-замедленный, как во сне, взлет, что сама земля в невольном порыве благодушия уняла силу своего притяжения. Заметим попутно, что одним из любопытнейших последствий некоторых мышечных изменений и костных «переключений», вызванных особыми тренировками, которыми нагружал его Уинг, явилась неспособность Вана в более поздние годы поводить плечами.

Вопросы для изучения и обсуждения:

1. Отрывал ли Ван от земли обе ладони, когда он, задрав ноги кверху, казалось, буквально «скачет» на руках?

2. Была ли проявившаяся в зрелом возрасте неспособность Вана «встряхиваться» чисто физической или же это «соответствовало» некому архетипу его «подноготной»?

3. Почему в самый разгар Ванова выступления Ада расплакалась?

Под конец мадемуазель Ларивьер зачитала свой рассказ «La Rivière de Diamants»[84], только что ею отпечатанный на машинке для «Квебек Куортерли». Прелестная и утонченная жена бедного чиновника берет на вечер у богатой приятельницы ожерелье. Возвращаясь домой с вечера, в компании сослуживцев мужа, она теряет ожерелье. Тридцать или сорок мучительных лет несчастные супруги трудятся и экономят, чтобы покрыть долг за покупку ожерелья ценой в полмиллиона франков, которое, вложив в прежний футляр, вернули мадам Ф., ничего не сказав о пропаже. Ах, как трепетало сердечко Матильтды — откроет или нет футляр Жанна? Футляр Жанна не открыла. Когда же дойдя до глубокой немощи — один, еле ноги передвигающий после полувекового copie[85] в своей mansarde, другая, обезображенная до неузнаваемости после мытья полов à grand eau[86], — оба с победным видом признаются во всем поседевшей, но все еще привлекательной мадам Ф., та восклицает: «Ах, бедняжка Матильда, ведь ожерелье было фальшивое: оно стоило всего пятьсот франков!», на том и заканчивался рассказ.

Лепта, внесенная Мариной, была более скромной, однако не лишенной своей прелести. Она показала Вану с Люсетт (все остальные и так знали) ту самую сосну и то самое место на ее шершавом красноватом стволе, где когда-то, совсем-совсем давно, помещался магнитный телефон, осуществлявший связь с Ардис-Холлом. После запрета на «токовую связь», сказала она (проворно, но легко, с актерской désinvolture[87], как произносят не совсем привычные слова, — а озадаченная Люсетт задергала за рукав Вана, Ваничку, который все умел объяснить), бабушка мужа, будучи гением инженерии, «упрятала в трубу» Красногорский ручей (который течет вон там, пониже поляны, с той горы, что над Ардисом). И заставила его передавать вибрационные фисзжок'и (призматические пульсации) через систему платиновых пластин. В результате, разумеется, стала возможной лишь односторонняя передача звука, вдобавок установка и содержание

«барабанов» (цилиндров) стоили, по словам Марины, баснословных денег, так что от этого пришлось отказаться, как бы ни мечтали пирующие Вины иметь уведомление, скажем, о пожаре в доме.

И словно в тон всеобщему недовольству внутренней и внешней политикой (старичок Гамалиил к тому времени уже впал в полнейший маразм), пыхтя, подкатил красный автомобильчик из Ардис-Холла, и из него выскочил дворецкий с сообщением. Только что прибыл месье с подарком для мадемуазель Ады. Но никто не разберет, как эта сложная механика действует, требуется помощь мадам. Дворецкий привез записку, которую и подал на крохотном карманном подносике Марине.

Мы не можем доподлинно восстановить суть послания, но знаем, там было сказано, что тот мудреный и весьма дорогостоящий подарок — огромная красавица кукла, которая, к удивлению и к несчастью, оказалась не вполне одета; и, что еще более странно, правая нога у нее была подвязана, а левая рука забинтована, и вместо ожидаемого приданого с нарядами в оборочках прилагалась целая коробка с гипсовыми корсетами и какими-то резиновыми принадлежностями. Руководство на русском или болгарском оказалось бесполезным, так как было написано не современной латиницей, а древней кириллицей, тем кошмарным алфавитом, который Дэн не в состоянии был освоить. Не может ли Марина поскорей подъехать и распорядиться, чтоб сшили нормальные кукольные платьица из прелестных шелковых лоскутков, которые, как выяснилось, имеются у ее горничной в ящике стола, и чтоб затем снова упаковать коробку в свежую оберточную бумагу?

Ада, подглядывавшая в записку из-за материнского плеча, вскинув подбородок, сказала:

— Вели ему взять каминные щипцы и выбросить все это хозяйство на больничную свалку!

— Беднячок! Poor, poor little man! — воскликнула Марина со слезами жалости на глазах. — Ну разумеется, еду тотчас. В своей жестокости, Ада, ты порой доходишь до… не знаю… прямо до сатанизма!

Торопливо мелькая длинной тростью, с нервозно дергающимся, полным целеустремленности лицом Марина зашагала к автомобилю, который незамедлительно тронулся с места но, осторожно разворачиваясь, чтоб не задеть мирно застывшую calèche, въехал задом в ощетинившийся куст боярышника, наскочив на пустую полугалонную бутылку.

Возмущение, нависшее над поляной, скоро рассеялось. Ада попросила у гувернантки карандашей и бумаги. Лежа на животе и подперев рукой щеку, Ван глядел на изогнутую шею своей любимой, она же в это время играла в анаграммы с Грейс, которая без всякой задней мысли предложила слово «синева».

— Весник, — сказала Ада, выводя слово карандашом.

— Неправильно! — возразила Грейс.

— Нет, правильно! Я точно знаю. Весник от «весны». Весник весны

жаворонок поет в синеве.

Грейс принялась думать, постукивая ластиком на конце карандаша по насупленному лобику, наконец произнесла:

— Свинец!

— Инцест! — тотчас сказала Ада.

— Сдаюсь, — не выдержала Грейс. — Без словаря за твоими изобретениями не уследишь.

Но вот дневная жара достигла полной невыносимости, и вот уже первый в этом сезоне злодей-комар был звонко прихлопнут проворной Люсетт у Ады на ноге повыше колена.

Шарабан отбыл, увозя кресла, корзины и трех жующих лакеев — Эссекса, Миддлсекса и Сомерсета; уже мадемуазель Ларивьер и мадам Форестье обменивались певучим «адье». Взмахи рук на прощание, и близнецы вместе с древней гувернанткой и сонливой молоденькой тетушкой унеслись прочь в своем ландо. Блеклая, с прозрачными крыльями и неожиданно черным тельцем бабочка устремилась за ними вслед. Ада крикнула:

— Смотрите!

И сказала, что эта бабочка из рода японских «Аполлонов». Тут вдруг мадемуазель Ларивьер заявила, что, конечно, возьмет себе псевдоним, если ее рассказ напечатают. И, подведя двух своих очаровательных питомиц к коляске, sans façons[88] ткнула кончиком зонта в жирную красную шею Бена Райта, вульгарно храпевшего на заднем сиденье под низко свисавшей гирляндами листвой. Зашвырнув шляпку Иде на колени, Ада побежала к тому месту, где стоял Ван. Не сообразив, как будет двигаться солнце, он оставил свой велосипед под палящими лучами на целых три часа. Ада взялась поднять велосипед, вскрикнула обжегшись, чуть не упала, метнулась, устояла — и тут, смешно крякнув, лопнула задняя шина.

Вышедший из строя аппарат был оставлен под кустом, чтобы потом Бутейан младший, еще один персонаж из здешней челяди, отсюда его забрал. Люсетт отказалась покинуть свое местечко на козлах (приняв с благосклонным кивочком приглашение своего подвыпившего соседа по облучку, который у всех на глазах и без всякой задней мысли провел своей лапищей по ее голеньким коленкам); и за неимением страпонтина Аде пришлось довольствоваться сидением на твердых Вановых коленях.

Так произошел первый телесный контакт наших детей, и оба были смущены. Она уселась спиною к Вану, чуть изменила позу, едва лишь дернулась коляска, потом поерзала еще, расправляя свою необъятную юбку, которая словно покрыла его воздушным облаком, прямо-таки как простыня в парикмахерской. В каком-то полубредовом нелепом восторге Ван придерживал Аду за талию. Жаркие солнечные пятна, проворно скользя поперек полос ее кофточки-зебры, по тыльной стороне ее обнаженных рук, казалось, летели дальше, как по туннелю, через Вана.

— Отчего ты расплакалась? — спросил он, вдыхая аромат ее волос и ощущая жар ее уха.

Ада обернулась и некоторое время внимательно и загадочно смотрела на него, не произнося ни слова.

(Отчего расплакалась? Не знаю — что меня растревожило, сама не могу объяснить, только привиделось во всем этом что-то ужасное, темное, дикое, да, да, именно ужасное! Более поздняя приписка.)

— Прости меня, — сказал он, когда Ада отвернулась. Больше ни разу не сделаю этого в твоем присутствии.

(Да, кстати, насчет этого «прямо-таки как» — какая отвратительная фраза. Очередная приписка много позже рукою Ады.)

Вскипая и переполняясь страстью, Ван всем своим существом сладостно упивался своей ношей, чувствуя, как отзывается она на каждый дорожный ухаб, мягко распадаясь на две половинки, ударяя в самый стержень его желания, которое, он понимал, необходимо сдерживать, чтоб не смутить ее невинность возможной утечкой чувств. Если б не спасла ситуацию гувернантка девочки, обратившись к нему с вопросом, Ван, возможно бы, не удержался, расплавился в своей животной слабости. Бедняга Ван передвинул Адину попку на правое колено, смещая, выражаясь жаргоном мастеров пытки, «угол агонии». В тупой безысходности неудовлетворимого желания Ван следил, как проплывают мимо ряды изб, когда calèche проезжала через селение Гамлет.

— Никак не могу привыкнуть (m'y faire), — сказала мадемуазель Ожерель, — к этому несоответствию между богатством природы и человеческой нищетой. Только полюбуйтесь на этого décharné[89] старика с огромной прорехой на рубахе, взгляните, какая жалкая у него cabane[90]. И посмотрите на эту быстрокрылую ласточку! Сколько счастья в природе, сколько несчастья среди людей! Никто из вас так и не сказал, понравился или нет мой новый рассказ! А, Ван?

— Симпатичная сказочка, — сказал Ван.

— Да, сказочка, — вежливо добавила Ада.

— Allons donc![91] — вскинулась мадемуазель Ларивьер. — Какая сказка — тут все жизненно до мелочей. Перед нами драма мелкого буржуа со всеми присущими этому классу проблемами и чаяниями, со всей их спесью.

(Верно, намерение могло быть именно таково, — если исключить pointe assassine[92]; однако в рассказе отсутствовал реализм в чистом виде, поскольку педантичный, каждый грошик считающий чиновник должен был прежде всего озаботиться тем, чтоб любым путем определить, quitte à tout dire à la veuve[93], точную цену утерянного ожерелья. Именно это обстоятельство составляло главный изъян преисполненного пафосом произведения мадемуазель Ларивьер, но тогда юный Ван и еще более юная Ада не были способны точно это определить, хотя и ощущали

инстинктивно какую-то во всем этом фальшь.)

Легкое шевеление на козлах. Люсетт, обернувшись к Аде, произнесла:

— Я хочу к тебе. Мне тут неудобно, и от него нехорошо пахнет (I'm uncomfortable here, and he does not smell good).

— Скоро приедем, — отозвалась Ада, — потерпи! (have a little patience).

— Что такое? — встрепенулась мадемуазель Ларивьер.

— Ничего. Il pue[94].

— О Боже! Нет, не верится мне, чтоб такой тип мог прислуживать радже!

14

На следующий день, а может, через день в саду было устроено обильное чаепитие, на котором присутствовало все семейство. Сидящая на траве Ада пыталась сплести песику венок из ромашек. Люсетт, жуя лепешку, наблюдала. Чуть ли не целую минуту Марина молча через весь стол тянула мужу его соломенную шляпу; наконец, мотнув головой, он глянул на солнце, также глядевшее прямо на него, и с чашкой и «Тулуз Инквайерер» пошел и сел на грубую скамью под огромным вязом на другом конце лужайки.

— Интересно, кто бы это мог быть, — пробормотала мадемуазель Ларивьер из-за самовара (отражавшего элементы застолья безумными фантасмагориями в духе примитивизма), сощуренно уставившись глазами на дорожку, частично проглядывавшую между пилястрами ажурной галереи.

Распростертый на траве позади Ады Ван, оторвавшись от книги (Адиного экземпляра «Аталы»), поднял глаза.

Высокий розовощекий подросток в элегантных бриджах для верховой езды соскочил с вороного пони.

— Это Грегов новый красавец пони, — сказала Ада.

Грег, непринужденно, как и подобает хорошо воспитанному мальчику, произнося извинения, вручил Марине ее платиновую зажигалку, которая обнаружилась в сумочке его теткой.

— Ах Боже мой, я даже не успела заметить потери! Как здоровье Рут?

Грег сообщил, что тетушка Рут и Грейс занемогли по причине острого расстройства желудка.

— Но ваши восхитительные сандвичи тут совершенно ни при чем, —

спохватившись, добавил он. — Это из-за лесных ягод, которые они ели прямо с кустов.

Марина хотела было ударить в бронзовый гонг, чтобы лакей поднес еще тостов, но Грег сказал, что ему сейчас как раз предстоит званый ужин у графини де Пре.

— Скоровато она утешилась, — заметила Марина, имея в виду, что два года назад в центре Бостона граф был застрелен на дуэли.

— Она дама очень живая и привлекательная, — сказал Грег.

— И старше меня на десять лет! — вставила Марина.

Тут внимание матери отвлекла Люсетт.

— Кто такие евреи? — спросила она.

— Отступники от христианства, — пояснила Марина.

— А Грег почему еврей? — не унималась Люсетт.

— Почему-почему… — буркнула Марина. — Потому что у него родители евреи.

— А бабушки-дедушки? Всякие arriére[95] бабушки и дедушки?

— Право не знаю, голубчик. Скажи, Грег, твои предки — евреи?

— Видите ли, по-моему, — отвечал Грег, — они скорее иудеи, а не те пресловутые евреи, комические персонажи или дельцы-выкресты. Они переселились в Англию из Татарии пять веков тому назад. Но хоть дед моей матери был француз и маркиз и, насколько мне известно, римский католик, он настолько был помешан на всяких банках, акциях, драгоценностях, что, я думаю, уж его вполне могли бы звать un juif[96].

— Но иудейство — не самая древняя среди прочих религия, ведь так? — сказала Марина (обращаясь к Вану и прикидывая, как бы повернуть разговор на Индию, где она, Марина, задолго до Моисея, или как там его, который появился на свет средь лотосов, была танцовщицей).

— Да какая разница… — отозвался Ван.

— А Бэлль (так Люсетт звала свою гувернантку), — она что, отступница от христианства?

— Да какая разница! — вскинулся Ван. — Кому какое дело до всяких изживших себя выдумок, кому интересно — эти Юпитеры-Яхве, шпили-купола, мечетями меченная Москва, бронза и бонзы, клирики и реликвии, и белые кости верблюдов в пустыне! Все это тлен и галлюцинации первобытно-общинного мышления.

— Начнем с того, зачем вообще стоило заводить этот идиотский

разговор! — произнесла Ада, осматривая не вполне украшенного цветами дакеля, или таксика.

— Mea culpa[97]! — внесла ясность мадемуазель Ларивьер с видом оскорбленного достоинства. — Просто во время пикника я сказала, что Грегу, должно быть, не по вкусу бутерброды с ветчиной, потому что евреи и татары свинину не едят.

— Римляне, — заметил Грег, — те самые римские колонисты, которые распинали и евреев-выкрестов, и последователей Вараввы, и прочих несчастных в те далекие времена, также к свинине не притрагивались, а я ее ем, как ели и мои предки.

Слово «распинали», произнесенное Грегом, озадачило Люсетт. И чтоб объяснить ей, что это такое, Ван сдвинул ноги вместе, широко раскинул руки в стороны и закатил глаза.

— В моем детстве, — сердито сказала Марина, — нас, наверное, с самого малолетства учили истории Месопотамии.

— Не все с малых лет усваивают то, чему их учат, — заметила Ада.

— А разве мы месопотамцы? — спросила Люсетт.

— Нет, мы — гиппопотамцы! — сказал Ван. И добавил: — Кстати, сегодня мы с тобой еще плугом не ходили.

Пару дней тому назад Люсетт настояла, чтобы он научил ее ходить на руках. Ван подхватил девочку за ножки, а она медленно переступала красными ладошками, время от времени падая с выражением досады или же приостанавливаясь, чтобы куснуть ромашку. Дэк реагировал хриплым, протестующим лаем.

— Et pourtant[98], — сказала, вздрагивая, не выносившая резких звуков гувернантка, — я дважды читала ей пьесу Шекспира о злом ростовщике{40} в басенном переложении Сегюр.

— И еще она знает в моей обработке монолог шекспировского безумного короля, — вставила Ада.

Ce beau Jardin fleurit en mai,

Mais en hiver

Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais

N 'est vert, n 'est vert, n 'est vert, n 'est vert,

n 'est vert[99].

— О, это замечательно! — воскликнул Грэг, буквально захлебываясь от восторга.

— Не так энергично, дети! — крикнула Марина Вану с Люсетт.

— Elle devient pourpre, она покраснела вся! — вмешалась гувернантка. — Я полагаю, эти гадкие упражнения ей вовсе не на пользу.

Ван, смеясь глазами, подхватил своими могучего ангела руками за щиколотки детские, прохладненькие, цвета морковного суфле, ножки Люсетт и водил как плугом ею, исполнявшей роль лемеха. Светлые пряди упали ей на глаза, над подолом юбки показались панталончики, но она неудержимо подзуживала пахаря не бросать свой плуг.

— Будет, будет (that'll do)! — крикнула Марина пахарям. Ван осторожно опустил на землю ножки Люсетт, одернул на ней платьице. Люсетт чуть-чуть полежала, переводя дыхание.

— Знаешь, я с радостью, только попроси, дам его тебе покататься. Пусть побудет у тебя. Хочешь? Ведь у меня еще один вороной есть.

Но Ада мотнула головой; мотнула, не поднимая глаз, продолжала скручивать и плести свои ромашки.

— Что ж, — сказал Грег, поднимаясь. — Мне пора. До свидания. До свидания, Ада. Там не твой ли отец под тем дубом?

— Это не дуб, а вяз, — отозвалась Ада.

Кинув взгляд в дальний конец лужайки, Ван, как бы про себя, но не без доли мальчишеского позерства, проговорил:

— Надо бы и мне заглянуть в этот «„Зулус“-инквайерер», как только дядюшка прочтет. Вчера я должен был играть за сборную школы по крокету: Вин по болезни отсутствовал, «Риверлейн» потерпел крах.

15

Как-то днем они взбирались вверх по гладкоствольному шаттэлю, росшему в глубине сада. Мадемуазель Ларивьер с малышкой Люсетт, невидимые под покровами крон, хоть голоса были слышны, играли в серсо. То и дело над ветвями или сквозь листву проблескивало летящее кольцо, запускаемое с одной невидимой палочки к другой. Первая цикада лета старательно настраивала свой инструмент. На спинке скамьи сидела, лакомясь шишкой, белка в серебристо-собольей шубке.

Ван, в синем спортивном костюме, устремившись вверх за своей проворной (и, естественно, лучше ориентирующейся в хитросплетении здешних ветвей) спутницей своих игр, уж добрался до самой развилины; но, не видя Адиного лица, залогом немого взаимодействия он сжал щиколотку ее босой ноги большим и указательным пальцами, как сжимала она пойманную бабочку. Голая пятка скользнула вниз, и двое

подростков с бьющимся сердцем вцепились друг в дружку, постыдно угодив в капкан ветвей под градом грянувших плодов и листьев, и едва лишь им чуть удалось поймать равновесие, не готовый к тому Ван оказался своей стриженой головой у нее между ног, и глухо — точкой опрокинутого восклицания — канул вниз последний плод. Ада была в его часах и в полотняном платье.

— Помнишь?

— Да, да, конечно же, помню, ты поцеловал меня туда, в самую середину…

— А ты чуть не задушила меня своими противными коленками…

— Надо же было за что-то держаться, чтобы не упасть.

Возможно, так оно и было, однако согласно одной из наиболее поздних (значительно более поздних!) версий, еще там, на дереве, когда у обоих еще пылали щеки, Ван, смахнув с губ шелковинку гусеницы, заметил, что только истерички могут быть так непритязательны в одежде.

— Что ж, — отвечала Ада, оседлывая свою любимую ветку, — как теперь выяснилось, мадемуазель Алмазьер Ожерель вовсе не против, чтоб истеричная воспитанница ходила без панталон в l'ardeur de la canicule[100].

— Не хочу делить жар твоего сладкого зноя с этой яблоней!

— Это настоящее Древо Познания — данный экземпляр, увернутый в парчу, был привезен прошлым летом из Эдемского Национального Парка, где сын доктора Кролика — смотритель и селекционер.

— Пусть себе смотрительствует и селекционирует, — сказал Ван (которому уже порядком надоело это ее естествознание), — только готов поспорить, что в Ираке никакие яблони не растут.

— Верно, только это не простая яблоня.

(«Верно и не верно, — комментарий Ады, и снова, много позже: — Мы действительно об этом говорили, только тогда ты не мог себе позволить так грубо острить. В момент, когда по чистейшей случайности ты сумел, так сказать, урвать первый, неловкий поцелуй! Как не совестно! И кроме того, восемьдесят лет тому назад не было в Ираке никакого национального парка». «Это так, — сказал Ван. — И гусениц на том дереве в вашем саду не было». «Так, мой сладкий, до личинок не падкий!» К тому времени естественное развитие событий уже стало историей развития болезни.)

Оба вели дневники. Вскоре после этой прелюдии взаимопознания произошел один забавный случай. Направляясь к дому Кролика с коробочкой появившихся из личинок и усыпленных хлороформом бабочек и уже проходя через сад, Ада внезапно остановилась и выругалась («Черт!»). В этот самый момент и Ван, направлявшийся в

противоположную сторону с намерением немного пострелять в расположенном неподалеку павильоне (где был и кегельбан, и всякие прочие разности, к которым частенько прибегали на досуге прочие Вины), точно так же резко, как вкопанный, остановился. И тут по странному совпадению оба кинулись бегом в дом прятать свои дневники, так как каждому взбрело в голову, будто дневник оставлен раскрытым у каждого в комнате. Ада, опасавшаяся любопытных глаз Люсетт и Бланш (гувернантка, будучи патологически ненаблюдательна, никакой угрозы не представляла), обнаружила, что волновалась напрасно: альбомчик с последней записью оказался ею спрятан. Ван же, подозревавший, что Ада не прочь «пошпионить», обнаружил в своей комнате Бланш, делавшую вид, будто заправляет уже заправленную постель, при том, что неспрятанный дневник его лежал рядом на тумбочке. Легонько шлепнув ее по заду, Ван прибрал затем книжечку в шагреневом переплете в безопасное место. Потом Ван с Адой встретились в коридоре и вполне могли бы обменяться поцелуем на ранней стадии развития этого романа в истории литературы. Что могло бы стать естественным продолжением того, что случилось на дереве шаттэль. Вместо этого каждый направился в свою сторону, — а Бланш, думаю я, в слезах удалилась к себе в спаленку.

16

Их первым буйным, неистовым ласкам предшествовал период какого-то странного лукавства, какой-то съежившейся затаенности. В роли неявного преступника выступал Ван, однако ее пассивное приятие поступка нашего бедного мальчика, казалось бы, служит поощрением этого шага при всей его чудовищной непристойности. Через пару недель оба с насмешливой снисходительностью будут вспоминать этот период ухаживания; однако в ту пору явная трусость Вана и Аду ставила в тупик, и причиняла мучения ему самому — главным образом потому, что он отлично видел, что ее это ставит в тупик.

Хотя Вану ни разу не пришлось заметить ничего даже близко напоминавшего возмущение девственного начала в Аде — девочке отнюдь не склонной быстро пугаться и не чрезмерно брезгливой («Je raffole de tout ce qui rampe»), его страх основывался на двух-трех кошмарных видениях, в которых он рисовал себе ярко, во всяком случае, вполне достоверно, как она, отвергнув его страсть, с диким взором отшатывается, призывая на помощь гувернантку или мать, а то и какого-нибудь верзилу лакея (в действительности не существующего, но в мечтах Вана убиваемого — поражаемого, точно лезвием, острыми костяшками пальцев, прорезаемого, точно кровавый окорок), после чего становилось ясно, что Ван будет из Ардиса изгнан…

(Рукой Ады: Отчаянно протестую по поводу слов «не чрезмерно брезгливой». Несправедливо как факт и дурно литературно. Пометка Вана на полях: Прости, кисонька, но оставим как есть.)

…но даже если б пришлось заставить себя посмеяться над этими фантазиями и вовсе стереть их из памяти, все равно Ван не был бы в восторге от своего поведения: в своих реальных, хотя и скрытых,

отношениях с Адой, в том, что он делал и как, ему казалось, он либо пользуется ее невинностью, либо заставляет скрывать от него, самого томящегося, что она понимает, что именно скрывает он.

После первого, такого легкого, такого безмолвного взаимоприкосновения его мягких губ и ее нежнейшей кожи — высоко на пятнистом том дереве, где лишь шальная ardilla[101] изящным прыжком смахивала листву, — в каком-то смысле ничего как будто не изменилось, в каком-то все было потеряно. Такие прикосновения выявляют некое новое касание; простым осязанием не ощутить; карандаш завершает контур. С этого момента в некоторые миги их уже по-иному беззаботных дней, при некоторых повторяющихся накатах сдерживаемого безрассудства вставал между ними завесой какой-то тайный смысл…

(Ада: теперь в Ардисе они перевелись почти полностью. Ван: Кто? А-а, понял.)

…не исчезавший, пока ему не удалось избавиться от состояния, какое необходимость таиться постоянно низводила до гнусного зуда…

(Ну же, Ван!)

После, обсуждая с ней вместе это жалкое и гадкое состояние, он и сам сказать не мог, боялся ли он в самом деле, что его avournine[102] (как впоследствии называла Аду на своем ломаном французском Бланш) на всякое пылкое проявление чувств может ответить взрывом искреннего или отлично разыгранного негодования, а может, его мрачное коварство было продиктовано желанием вести себя пристойно и щадить невинного ребенка, чьи прелести слишком манили, чтоб отказаться от тайного их вкушения, но все же были слишком святы, чтоб открыто оскорбить насилием; но не так все шло, и это было очевидно. Нет сомнения, трактуемые весьма банально, что было более чем нормально для событий восьмидесятилетней давности, представления о благопристойности, вся эта невыносимая, почерпнутая из трясущих букольками романтических буколик пошлая чушь о робких воздыхателях, все эти манеры и манерность, — именно они и явились причиной затаенности Вана в засаде, а также и Адиного молчаливого выжидания. Нигде не осталось никакого указания, в какой именно летний день началось Ваново осмотрительное и тщательно продуманное обхаживание Ады; только она, ощущая в определенные моменты у себя за спиной его до неприличия близкое присутствие, жар его дыхания, скольжение губ, одновременно отдавала себе отчет в том, что эти странные, молчаливые приближения, должно быть, начались давным-давно, в каком-то неопределенном и неясном прошлом, и раз уже начали происходить с ее молчаливого согласия, теперь их остановить ей уже не удастся.

В невыносимо жаркие июльские дни Ада любила сиживать в залитой солнцем музыкальной гостиной на прохладном, деревянном, цвета слоновой кости, рояльном табурете за столом, покрытым белой клеенкой, и, раскрыв перед собой любимый ботанический атлас, перерисовывать красками на глянцевую бумагу какой-нибудь изысканный цветок. К примеру, ее выбор мог остановиться на повторяющей насекомое орхидее, чье увеличенное изображение исполняла Ада просто мастерски. Или же она совмещала один вид с другим (неизвестным, но

возможным), придумывая какие-то эксцентричные детали и перекруты, что было даже как-то нездорово для такой юной и не слишком одетой девочки. Косо падавший из высокого, до потолка, окна длинный солнечный луч играл на гранях стакана, на окрашенной воде, на жестяной коробке с красками — и Ада, старательно вырисовывая какое-то пятнышко или дольку лепестка, в напряженном возбуждении непроизвольно загибала кончик высунутого на сторону языка, и в свете солнца это фантастическое дитя с иссиня-каштановым переливом в волосах само казалось подобием цветущего Венерина зеркала. Ее легкое, свободное платье имело на спине такой глубокий вырез, что стоило Аде — когда она с застывшей в воздухе кисточкой обозревала влажный итог своих трудов — выгнуть спину, поведя выпирающими лопатками, и отвести голову назад, как Вану, придвигавшемуся к ней близко, как только мог осмелиться, открывался весь, снизу доверху, ее гладенький ensellure[103] до самого копчика, а в ноздри ударял теплый аромат ее тела. С глухо стучавшим сердцем, в отчаянии, глубоко запустив руку в брючный карман — где, маскируясь, он держал кошелек с золотыми десятидолларовыми монетами, — Ван склонялся над Адой, склонившейся над своим рисованием. Он позволил, едва-едва касаясь, своим воспаленным губам пройтись по теплым волосам на затылке и жаркой шее. Ощущения такой сладости, такой силы и такой таинственности мальчик никогда еще в жизни не испытывал; ни в какое сравнение не шла жалкая похоть прошлой зимы с вот этой бархатистой нежностью, с этим отчаяньем страсти. Хотелось навеки замереть вот здесь, у основания ее шеи, на этом перепутье, на этом возбуждающем восторг бугорке, чтоб только она вот так сидела, наклонясь, — чтоб только он, несчастный, смог подольше удержать сомкнутыми, восковыми губами экстаз этого прикосновения, не рванувшись, как безумный, прижаться к ней всем телом. Неприкрытое волосами ухо ярко вспыхнуло, кисть в руке мало-помалу замерла, то были единственные — но опасные — свидетельства, что она почувствовала усилившийся напор его ласки. Ван тихонько скользнул к себе в комнату, запер дверь, схватил полотенце, разделся и вызвал в памяти только что оставленный им позади образ, пока безмятежный и ясный, как пламя прикрытой рукою свечи, и унесенный сюда, во тьму, именно для того, чтобы здесь избавиться от него со всей силой неистовой страсти; потом, на время облегчившись, с дрожью в чреслах и на слабых ногах Ван возвращался в чистую, залитую солнцем комнату, где девочка, теперь вся в испарине, продолжала рисовать свой цветок: диковинный, похожий на яркую бабочку, в свою очередь похожую на жука-скарабея.

Если бы дело было только в утолении, обычном утолении мальчишеской страсти; иными словами, если бы сюда не примешивалась любовь, наш юный друг вполне мог бы смириться — потерпев всего лишь лето — со всей досадностью и двусмысленностью своего положения. Но Ван любил, и, значит, мучительное облегчение не могло явиться для него выходом; а скорее всего стало вовсе тупиком, оставаясь неразделенным; будучи скрываемо в страхе; будучи удерживаемо от перетекания в последующую фазу несравненно большего блаженства, что, подобно окутанной туманом вершине, встающей перед путником на суровой горной тропе, сулило стать истинным, желанным пиком опасной его связи с Адой. В эти жаркие летние дни, а может, недели, не в силах удержаться от ежедневных, легких, как крылья бабочки, прикосновений губами к этим волосам, к этой шее, Ван чувствовал, что он дальше от Ады, чем был

накануне того дня, когда, еще даже не вполне чувственно осознав это в хитросплетении ветвей дерева шаттэль, случайно, едва-едва, прикоснулся губами к ее коже.

Но все в природе движется, все развивается. Однажды днем Ван подкрался к ней сзади в музыкальной гостиной гораздо бесшумней, чем обычно, поскольку был босиком, — и, повернувшись, Адочка, прикрыв веки, прижалась губами к его губам, запечатлев на них свежий, точно розовый бутон, поцелуй, повергая Вана в растерянность и оцепенение.

— Теперь уходи! — сказала она. — Быстро, быстро, мне некогда!

Он замешкался, как идиот, и тогда она мазнула крест-накрест своей кистью по его пылающему лбу, изобразив на нем древнее эстотийское «крестное знамение».

— Мне надо это дорисовать, — добавила Ада, указывая тонкой кисточкой, обмакнутой в лилово-сиреневую краску, на симбиоз Ophrys scolopax с Ophrys veenae, — а то вот-вот переодеваться, потому что Марина хочет, чтобы Ким сфотографировал нас с тобой: держимся за ручки, с улыбочкой. (И с улыбочкой снова принялась за свой кошмарный цветок.)

17

Самый толстый словарь в библиотеке слово «губа» определяет так: «Одна из двух чувственных складок вокруг отверстия».

Милейший Эмиль, как Ада величала месье Литтрэ, изрекал по этому поводу вот что: «Partie extérieure et charnue qui forme le countour de bouche… Les deux bords d'une plaie simple» (выходит, изъясняемся мы раной; раной производим на свет) «…C'est le membre qui lèche»[104]. Дражайший Эмиль!

В одной маленькой, пухлой русской энциклопедии{41} слово губа только и приводится что в значении: «окружной суд Ляски в древности» да еще «залив на арктическом побережье».

Губы у них были до смешного схожи и формой, и цветом, и существом своим. У Вана верхняя губа походила на птицу с длинными, раскинутыми крыльями, в то время как нижняя, пухлая, вздутая, обычно придавала его облику выражение некоторой жестокости. Жестокость вовсе отсутствовала в губах Ады, однако лучным изгибом верхней и внушительностью нижней губы, матово-розовой, презрительно выставленной вперед, ее рот повторял в женственном звучании рот Вана.

Пока длился период поцелуев (не слишком благотворный для здоровья

полумесячный период бесконечных сумбурных объятий), престранная завеса стыдливости, так сказать, отсекала от соприкосновения их неистовствовавшие тела. Но прикосновения, как и реакция на них, не могли не отдаваться хоть отдаленной вибрацией сигналов отчаяния. Нескончаемо, неутомимо и нежно мог Ван водить губами по ее губам, воспаляя жар раскрывшегося цветка — туда, сюда, справа, слева, жизнь, смерть, упиваясь обрывом между воздушной нежностью идиллической приоткрытости и бездонным сгущением плоти, что глубже.

Случались и иные поцелуи.

— Как бы мне хотелось, — сказал он, — отведать то, что в глубине! Боже, как хотел бы я стать Гулливером-лиллипутом, чтоб проникнуть в эту пещеру!

— Вот, возьми попробуй! — сказала она, вытягивая ему язык. Крупная, жаркая, не успевшая остыть земляничина. Он всосал ее глубоко, почти без остатка. Прижимая к себе Аду, упивался сладостью ее нёба. Подбородки у обоих стали мокры от слюны.

— Платок… — пробормотала она и как само собой потянулась рукой в карман его брюк, но тотчас руку отдернула, платок доставал он сам. Комментарии излишни.

(«Я оценил твой такт, — сказал он ей, когда оба с благоговейной радостью вспоминали и тот восторг, и ту свою неловкость. — Но сколько бесценных опалов, сколько безвозвратных часов мы потеряли даром!»)

Он постигал ее лицо. Нос, щеки, подбородок — все имело нежнейший абрис (вызывавший в памяти роскошные старинные книги с гравюрами, изысканные шляпы со страусовыми перьями и жутко дорогих куртизанок из Уиклоу{42}), так что будь наш воздыхатель слащав, такому Паскальпелю (pascaltrezzà) вздумалось бы выписать ее профиль бледным пером из тростника, однако же менее искушенный мальчишеский перст предпочел бы, что и сделал, познать живым прикосновением эти нос, щеки, подбородок. Реминисценция, что и Рембрандт, — притемнена, однако радостна. Вспоминаемое предстает во всем блеске и замирает. Память — это роскошное фотоателье на нескончаемой Авеню Пятой Власти. Черная бархатная лента, подхватывавшая волосы Ады в тот день (в день оживания в памяти) оттеняла их блеск у атласного лба и вдоль меловой черты пробора. Волосы мягко спадали вдоль шеи, длинные, гладкие, плечо раздваивало их поток, и сквозь темные, отливавшие бронзой струи просвечивал спереди царственный матово-бледный треугольник. Будь нос ее покатей, он бы в точности повторил носик Люсетт, будь более приплюснут — нос самоедов. Обе сестрички не были идеалом красоты, воплощаемой в мертвом мраморе, так как передние зубы у обеих были крупноваты, а нижняя губка пухлей, чем следовало бы; и поскольку нос и у той, и у другой был периодически забит, у обеих в профиль (в особенности попозже, года через три) наблюдалось несколько сонно-оцепенелое выражение. Тускловатая белизна кожи у Ады (в двенадцать лет, в шестнадцать, в двадцать, в тридцать три и так далее) была явлением куда более редким, чем свойственный Люсетт золотистый пушок (в восемь лет, в двенадцать, в шестнадцать, в

двадцать пять — точка). Безупречная линия грациозной шеи у обеих девочек, в точности повторяющая Маринину, мучительно будоражила воображение, сулила недосказанное что-то, неведомое (чего от матери их так никто и не дождался).

Глаза. Темно-карие Адины глаза. Что такое (спрашивает Ада) в конце концов глаза? Два отверстия в маске жизни. Что (ее же вопрос) они значат для существ иного, чем мы, состава или для молочных пузырей, чей орган зрения (допустим) некий внутренний паразит, по симметричности подобный выгнувшемуся слову «довод»? Или, если просто на сиденье в такси находишь прекрасные глазки (человечьи, лемуровы, совиные), что можно о них сказать? И все же твои глаза я должен описать. Их радужка: темно-коричневая с янтарными крапинками или черточками вокруг серьезного зрачка — штрихами по кругу знакомого циферблата. Эти веки: чуть съеженные, в складочку (по-русски рифмуясь с ее именем в родительном). Вид глаз: томный. Сводня из Уиклоу в ту дьявольскую черную ночь, когда валил мокрый снег, в тот самый драматический, чуть ли не роковой момент моей жизни (слава тебе, Господи, теперь Вану уж девяносто — приписка рукою Ады), все расхваливала с завидным усердием «глазки-миндалинки» своей трогательной и горячо любимой внученьки. С каким назойливым упорством я все старался во всех вселенских борделях отыскать следы, черты любимой, которую не мог забыть!

Он открыл для себя ее руки (забудем про обгрызенные ногти). Страстность запястья, грациозные изгибы фаланг, пред которыми сами собой беспомощно подгибаются колени, глаза туманятся слезой в агонии безысходного восхищения. Он касался ее запястья рукою врача, умирая при этом. На грани тихого помешательства водил пальцами сверху вниз по штрих-пушинкам, нежно притенявшим ее предплечья. Снова возвращался к костяшечкам пальцев. Прошу тебя, пальчики!

— Я сентиментальна, — сказала Ада. — Могла бы препарировать коалу, но только не ее детеныша. Обожаю слова «сударыня», «эглантерия»[105] и «элегантно». И мне приятно, когда ты целуешь мои белые вытянутые пальцы.

На тыльной стороне ее левой кисти было точно такое же крохотное коричневое родимое пятнышко, как у него на правой. Безусловно, заметила она, — то ли с наигрышем, то ли без всякой задней мысли, — это пятнышко проистекает от родинки, бывшей на том же самом месте у Марины, которую та давным-давно удалила хирургическим путем, так как скотина ее тогдашний любовник утверждал, будто родинка похожа на клопа.

В совершенно безветренные дни можно было услышать предтоннельное «ту-у-у» дневного на Тулузу тут, на горке, где и происходила эта беседа.

— «Скотина» — это уж слишком! — заметил Ван.

— Я любя.

— Хоть и любя. Мне кажется, я знаю, о ком речь. Определенно, ума в

нем мало, благородства и того меньше.

У него на глазах ладошка цыганочки, протянутая за подаянием, преображается в руку, протянутую за предсказанием долгой жизни. (Дорастут ли когда творцы кино до нашего уровня?) Щурясь в зеленовато-солнечном свете под сенью березы, Ада поясняла пылкому предсказателю своей судьбы, что круговые мраморные разводы у нее такие же, как у тургеневской Кати, такой же, как и она, невинной девочки, и что зовутся они в Калифорнии «вальсы» («ведь сеньорите предстоит танцевать всю ночь»).

21 июля 1884 года, в день своего двенадцатилетия, наша девочка огромным усилием воли (какое проявила затем и двадцать лет спустя, бросив курить сигареты) прекратила грызть ногти на руках (но не на ногах). Правда, позволялись себе кое-какие поблажки, как то: вновь блаженное впадение во сладостный грех к Рождеству, когда не докучает комар Culex chateaubriandi Брауна. Очередное и окончательное решение было принято накануне Нового года, после того, как мадемуазель Ларивьер пригрозила вымазать Аде кончики пальцев французской горчицей, а к самим пальцам привязать зеленые, желтые, оранжевые, красные и розовые шерстяные чехольчики (указательный — желтый, это trouvaille[106]).

Вскоре после именинного пикника, когда обцеловывание рук его маленькой возлюбленной сделалось для Вана сладостью на грани одержимости, ноготки Ады хоть и не вытянулись еще достаточно за пределы ногтевой плоскости, но уже достаточно окрепли, чтобы справляться с мучительным зудом, обуревавшим здешних детишек в разгаре лета.

В последнюю неделю июля стали досаждать, притом с дьявольской назойливостью, самки Шатобрианова москита. Шатобриан (Шарль) — сам не являясь первой жертвой их укусов… первым однако заключил обидчицу в склянку и, громко ликуя в предвкушении возмездия, понес ее профессору Брауну, довольно скоропалительно сочинившему описание вида («маленькие, черные щупальца… радужные крылышки… желтоватые при определенном освещении… приходится с ними бороться, если окна открытыми держать [немецкий порядок слов!]…» «Бостонский энтомолог», август, по горячим следам, 1840) — не был родственником великого поэта и мемуариста, родившегося где-то между Парижем и местечком Тань{43} (жаль, что не был, заметила Ада, обожавшая скрещивать орхидеи).

Mon enfant, ma soeur,

Songe à l'épaisseur

Du grand chêne à Tagne;

Songe à la montagne,

Songe à la douceur…[107]

…о сладости почесывания коготками или ноготками мест, отмеченных инсектом-мохноножкой, преисполненным ненасытной и несокрушимой жаждой крови Ады, Арделии, Люсетты и Люсиль (жертвы зуда множились).

Этот «паразит» возникал внезапно и так же внезапно пропадал. Абсолютно беззвучно, в каком-то даже recueilli[108] замирании, он усаживался на прелестные голенькие ручки и ножки, и тем резче, буквально взрывом духового полкового оркестра, отдавался в теле укол его прямо-таки адского жала. Минут через пять после этой сумеречной атаки на полпути от крыльца в наполненный оголтелым стрекотом цикад сад разгорался неистовый зуд, выносимый натурами сильными и бесстрастными (знающими, что больше часа это не продлится), но на который натуры слабые, восхитительно-чувственные не могли откликнуться иначе, как чесать, чесать и чесать без передышки, плотоягодно (словечко из школьной столовки). «Сладко!» — восклицал Пушкин, адресуясь к иной разновидности, бытующей в Юконе. Всю неделю, последовавшую за именинами, несчастные Адины ноготочки сплошь были в бордовых следах, а после самых исступленных, совершенно отчаянных приступов расчесывания ноги ее были буквально изодраны в кровь — зрелище прежалкое, обескураживающее ее огорченного воздыхателя, и вместе с тем было в том что-то непристойно-восхитительное — ведь всех нас тянет и привлекает странное, непонятное, да-да, да-да!

И все же бледная кожа нашей девочки, столь прелестная и нежная в глазах Вана, столь чувствительная к укусам кровопийцы-инсекта, оказалась прочной, как упругий самаркандский атлас, и выстояла против всех попыток самососкребания, сколько бы Ада с затуманенным, точно в эротическом трансе, взором, который уж был знаком Вану в моменты самых страстных поцелуев — рот полуоткрыт, на крупных зубах блестит слюна, — ни расчесывала всей своей пятерней бугорки, возникшие на месте укусов этого редкого насекомого — ибо то была поистине редчайшая и интереснейшая разновидность комара (описанная — в разное время — двумя разъяренными старикашками, последний из которых, некто Браун, специалист из Филадельфии по двукрылым, превосходил знаниями вышеупомянутого бостонского профессора), и редчайшее наслаждение было наблюдать, как моя любимая, стремясь умалить сладостное жжение драгоценной своей кожи, взрывает прелестную ножку перламутровыми, переходящими в пунцовые, рубцами, впадая на краткий миг в полунаркотическое блаженство, в которое, точно в вакуум, с новой силой вливается очередной приступ неистового зуда.

— Послушай, — сказал Ван, — считаю до трех: если ты немедленно не прекратишь, я вскрою лезвие (что и делает) и полосну себя по ноге, чтоб текла кровь, как у тебя. Господи, да грызи ты свои ногти! Уж лучше так, в самом деле!

Возможно, именно потому, что уже и в те счастливые дни жизненный нектар Вана был слишком горек, Шатобрианов комар не проявлял к нему особого внимания. В наши дни эта разновидность как будто исчезает в

результате общего похолодания, а также бездумного осушения богатейших, живописнейших болот вокруг Ладоры, а также близ Калуги, что в Коннектикуте, и Лугано, что в Пенсильвании. (Насколько мне известно, недавно удалось собрать небольшое количество экземпляров, исключительно самок, насосавшихся крови своих удачливых ловцов, где-то в таинственном месте их обитания, довольно далеко от упомянутых регионов. — Приписка Ады.)

18

Не только когда уж стали туговаты на ухо — в возрасте, именуемом Ваном морзе-маразм, — но даже более в юношеские годы (лето 1888 года) обретали они высшее наслаждение, восстанавливая в памяти развитие (летом 1884 года) их любви, самые первые моменты ее зарождения, натыкаясь на причудливые разночтения в нечеткой ее хронографии. У Ады сохранилось совсем немного дневниковых страничек — в основном ботанических и энтомологических записей, — так как, перечитав дневник, она сочла тон его наигранным и манерным; Ван же уничтожил свой дневник полностью, узрев в нем смесь примитивного мальчишества и разухабистого, притворного цинизма… Потому обоим и приходилось полагаться на традиции устного творчества и обоюдную подправку своих воспоминаний.

— А ты помнишь, do you remember, et te souviens-tu (всегда этим, вытекающим из «а» продолжением подхватывалась каждая очередная бусина распавшегося ожерелья) — именно так в их увлеченных беседах и только так начиналась чуть ли не каждая фраза. Они выверяли между собой даты, просеивали последовательность событий, сопоставляли милые сердцу моменты, горячо обсуждали свои сомнения, свои решения. Если те или иные воспоминания не совпадали, чаще всего это происходило за счет различия мужского и женского восприятий, а не из-за различия характеров. Обоих забавляла наивность молодости, обоих печалила приходящая с возрастом мудрость. Аде начало их любви представлялось как исключительно постепенное, рассеянное во времени развитие чувств, пусть не вполне естественное, даже уникальное в своем роде, но такое восхитительное во всей плавности разворачивания событий, лишенное животной похоти или приступов стыда. В памяти Вана невольно высвечивались особые моменты, навеки запечатлевшие в себе резкие, острые, временами досадные физические мучения. Ей все представлялось так, будто ненасытность наслаждений, неожиданно и внезапно накатывавшая на нее, возникла у Вана только тогда, когда овладела и ею: иными словами, после множества накопленных за недели ласк; свою самую первую физиологическую реакцию на них она в расчет не принимала, относя к детским ощущениям, которые были у нее и до того и которые ничего не имеют общего с острым и безмерным блаженством, всю тебя наполняющим восторгом. Ван, напротив, мог не только припомнить каждый аномальный пароксизм страсти, утаивавшийся им от нее до той поры, пока они не сделались любовниками, но и с

философских и с моральных позиций подчеркивал различие между сокрушающим действием онанизма и всепоглощающей нежностью любви естественной и разделенной.

Вспоминая себя в прошлом, мы неизменно видим крохотную, отбрасывающую длинную тень фигурку, с нерешительностью запоздалого гостя медлящую на освещенном пороге где-то в самом конце неуклонно сужающегося коридора. Ада видела себя там бродяжкой с удивленным взглядом и с замызганным букетиком в руках; Ван представлял себя мерзким юным сатиром с неуклюжими копытцами и со свирелью подозрительной конфигурации.

— Но мне ведь было всего двенадцать! — восклицала Ада, если в разговоре всплывала какая-то нелицеприятная подробность.

— А мне шел пятнадцатый год! — угрюмо напоминал Ван.

А не припомнит ли юная леди, осведомлялся он, как, запустив руку в карман его брюк, она обнаружила, образно выражаясь, некоторые свидетельства, позволявшие ей еще тогда догадаться, что юный стеснительный «кузен» (в период их официальных отношений) испытывает в ее присутствии физическое возбуждение, хоть и тщательно скрываемое под покровами белья и шерстяной ткани, чтоб уберечь от соприкосновения с юной леди?

Нет, сказала она, честное слово, не помнит — да правда же, как можно, — ведь она в свои одиннадцать, хоть и многократно пыталась подобрать из имевшихся в доме ключ к кабинету, где у Уолтера Дэниела Вина хранились, в соответствии с хорошо просматриваемой через стекло двери надписью «Япон. и инд. эрот. гравюры» (этот ключик Ван в момент для нее сыскал — висел за фронтоном на ленточке), однако все же имела весьма смутное представление, каким именно образом совокупляются люди. Ну разумеется, Ада была весьма наблюдательна и всегда внимательно рассматривала всяких насекомых in copula[109], однако в обозреваемый период ей редко приходилось замечать явные свидетельства самцовой принадлежности в мире млекопитающих, и они не вызывали в ней никакой мысли о совокупительной функции (как, например, при созерцании мягонького на вид бежевенького клювика у негритенка, сына сторожа, пи́савшего иногда в девчоночьей уборной — в той, первой, школе в 1883 году).

Еще два момента, свидетельницей которых ей случилось быть даже раньше, казались странными до смешного. Когда ей было, должно быть, лет около девяти, к ним в Ардис-Холл несколько раз наведывался к ужину один пожилой джентльмен, известный художник, имени которого Ада не могла, да и не хотела называть. Ее учительница рисования мисс Зимолюбкинс относилась к нему с величайшим почтением, хотя на самом деле ее собственные natures mortes считались (как в 1888, так и снова в 1958 году) несравнимо более талантливой живописью, чем творения того знаменитого старого пройдохи, изображавшего только нагих крошек, причем повернутых исключительно задом, — всяких тянущихся к ветвям за фигами нимфеток с налитыми, точно персик, ягодичками или же лазающих по горам девчонок-скаутов с задиками, туго обтянутыми шортами…

— Прекрасно я понимаю, — сердито перебил ее Ван, — кого ты имеешь в виду, и решительно хотел бы заметить, что, хоть сейчас его изысканная живопись и не в фаворе, все же Поль Дж. Джигмент имел полное право изображать своих школьниц и невольниц в том ракурсе, какой ему больше нравился. Дальше!

Всякий раз (невозмутимо продолжала Ада), когда заявлялся этот Фиг Фигмент, она вся так и съеживалась, заслышав, как тот, кряхтя, сопя, ковыляет вверх по лестнице, подбираясь все ближе и ближе, точно Мраморный Гость, этот дух, точно в горле кость, и ищет ее, выкликая ее имя тоненьким, жалостливым голоском, отнюдь не под стать тому, Мраморному.

— Несчастный старик, — пробормотал Ван.

Общался он с ней, сказала Ада, «puisqu'on aborde ce thème-là[110] — и я, разумеется, не провожу никаких обидных параллелей», — вот как: с маниакальным упорством навязывал свою помощь, если требовалось за чем-то потянуться, — за чем угодно, любым пустячком, что сам принес, за конфетой или просто подобранной с пола и подвешенной им повыше на стенку старой куклой, или же заставлял ее задуть голубой огонек розовой свечки на новогодней елке, при этом, невзирая на все протесты девочки, подхватывал ее под локотки и не отпускал, тиская, прихрюкивая, приговаривая: ах, какая тяжеленькая, какая миленькая девчушечка… и так все тянулось до тех пор, пока не раздавался гонг, зовущий к ужину, или же не входила няня со стаканом фруктового сока, и какое это было облегчение, причем обоюдное, когда в процессе этого нарочитого поднимания ее бедная попочка наконец-то погружалась в крахмальный снег его рубашки, после этого он ее отпускал и застегивал на пуговицы свой смокинг. И еще ей вспомнилось…

— Дурацкие измышления, — отозвался Ван. — К тому же, по-моему, художественно приукрашенные в свете последующих событий, что проявится позже.

И еще ей вспомнилось, как она мучительно покраснела, когда кто-то сказал, что бедняга Фиг серьезно болен психически и что у него «затвердение артерии», так ей по крайней мере послышалось, хотя, может, и «уртерии»; но она также знала уже и тогда, что эта самая артерия может прямо расти на глазах, потому что однажды видела, как такое приключилось с черной лошадкой Дронго прямо посреди невспаханного поля на виду у всех ромашек, при этом вид у самого Дронго, надо сказать, был весьма удрученный и обескураженный. Она решила, рассказывала лукавая Ада (так оно было или нет, это другой вопрос), что из пузика у Дронго торчит черная, как резина, ножка вылезающего оттуда жеребеночка, так как Ада не понимала, что Дронго вовсе не кобыла, к тому же нет у него такой сумочки, как у кенгуру на обожаемой ею картинке, и тогда англичанка-гувернантка, поставив все на свои места, объяснила ей, что Дронго серьезно болен.

— Прекрасно, — сказал Ван, — нет, в самом деле восхитительно! Только мне вспомнился тот самый момент, когда ты, возможно, впервые заподозрила, что и я болен, как, кто там, свинка или лошадка. Мне

вспоминается, — продолжал он, — круглый стол в круге света от розового абажура, и ты рядом со мной коленками на кресле. Я пристроился на пухлом подлокотнике, а ты возводишь карточный домик, и, конечно же, каждое твое движение казалось, как из забытья, растянуто сонно-медлительным и в то же время крайне настороженным, а я буквально упивался детским ароматом твоего голого плечика и запахом твоих волос, теперь подпорченным какими-то модными духами. На мой взгляд, это было в июне, числа десятого, — дождливым вечером, меньше чем через неделю после моего первого приезда в Ардис.

— Карты я помню, — сказала она, — и этот свет, и шум дождя, и твой голубой кашемировый пуловер, — но больше ничего, ничего такого необычного, ничего предосудительного: то было потом. К тому же только во французских любовных романах les messieurs hument[111] юных леди.

— Да, но я-то действительно вдыхал, пока ты была поглощена своим мудреным занятием. Притягательность чуда. Неиссякаемое усердие. Равновесие — кончиками пальцев. Ногти жестоко изгрызены, радость моя! Прости, иначе мне никак не выразить, как невыносимо мне было от моего несуразного, неотвязного желания. Знаешь, я все надеялся, что замок твой рухнет и ты, сдавшись, всплеснув по-русски руками, привстав, опустишься мне на ладонь.

— Это был не замок. Это была вилла в Помпее с мозаикой и росписями внутри, потому что я выбирала только фигурные карты из старых дедушкиных игральных колод. Так что, уселась я на твою жаркую жесткую руку?

— На подставленную тебе ладонь, дорогая! Да, прямо своей райской складочкой. Застыла на мгновение, заполнив подставленное блюдечко. Потом приподнялась и снова опустилась на коленки.

— И быстро-быстро-быстро принялась снова собирать распластанные атласные карты, чтоб снова строить и снова вот так же тянуть время? Ах, какие гадкие, какие порочные мы были тогда!

— Умненькие детки все не без порока. Так, значит, и ты помнишь…

— Только совсем не тот случай, а что было на яблоне, и когда ты поцеловал меня в шею, et tout le reste[112]. И вот еще, здравствуйте: апофеоз — Ночь, Когда Горел Амбар!

19

Из области вечных загадок («Les Sophismes de Sophie»[113] мадемуазель Стопчиной в серии «Bibliothèque Vieux Rose»[114]): случился ли Пожар в Амбаре до Чердака или же сначала был Чердак?

Сначала был он! Мы, кузен с кузиночкой, уже целовались целую вечность до этого самого пожара. По правде говоря, я покупал в Ладоре кольдкрем «Шато Бэнье» смазывать бедные свои растрескавшиеся губы. Мы оба были разбужены, каждый в своей спальне, ее криком au feu[115] 28 июля? 4 августа?

Но кто кричал? Стопчина? Ларивьер? Да, Ларивьер? Ответь! Чьи были крики, что амбар flambait[116]?

Нет, Ида была вся в огне… то есть, во сне. Я знаю, сказал Ван, это она, та размалеванная служанка, которая подмазывала себе глаза твоими акварельными красками; по крайней мере, так утверждала Ларивьер, обвинявшая ее и Бланш во всех смертных грехах.

Ах, ну как же! Только не Маринина бедняжка Франш — это коротконогая гусыня Бланш. Ну да, это она кинулась сломя голову по коридору, так, что обронила на парадной лестнице один из шлепанцев, отороченный горностаем, как Золушка, только в английской версии.

— А помнишь, Ван, какая теплая была ночь?

— Еще бы! (as if I did not!) В ту ночь из-за вспышки…

В ту ночь из-за вспышки с треском взорвавшейся вдали молнии, озарившей укромную темноту его лиственного полога, Ван покинул свой приют меж двух тюльпанных деревьев, предпочтя постель в своей комнате. Поднявшаяся в доме суматоха и истошный крик служанки прервали какой-то исключительно прекрасный, полный драматизма сон, о чем именно — он так и не мог вспомнить, хотя воспоминание об этом сне до сих пор хранил в сбереженной шкатулке для ценностей. Как обычно, он спал голышом и с ходу не мог сообразить, накинуть ли трусы или закутаться в короткий клетчатый халат. Выбрал второе, потряс, не пустой ли, спичечный коробок, зажег свечу, стоявшую при кровати, и кинулся из комнаты спасать Аду со всеми ее гусеницами. В коридоре было темно, откуда-то доносился истеричный лай таксика. По отрывочным выкрикам Ван заключил, что горит так называемый поместный амбар, громадное, всеми любимое сооружение милях в трех от дома. Случись такое в конце лета, полсотни коров могли бы остаться без сена, а мадемуазель Ларивьер без своего полуденного кофе со сливками. У Вана отлегло от сердца. Уехали, про меня забыли, как ворчал старый Фирс в заключительной сцене из «Вишневого сада» (Марина — аналог мадам Раневской).

В накинутом на голое тело клетчатом халате Ван проследовал за своим темным двойником вниз по винтовой лестнице в библиотеку. Став голым коленом на ворсистый диван под окном, развел тяжелые красные шторы.

Дядюшка Дэн с сигарой в зубах и с Мариной в платочке, прижимавшей к себе Дэка, издевательски тявкавшего на дворовых собак, выкатывали со двора на своем красном — как пожарная машина! — автомобиле посреди всплескивания рук и пляски фонарей, но на хрустком изгибе гравия их нагнали трое англичан лакеев на лошадях с француженками горничными en croupe[117]. Казалось, вся домашняя прислуга сорвалась с места, радостно устремившись поглазеть на пожар (зрелище весьма редкое в

наших влажноватых, обходимых ветром местах), используя для этой цели все средства, мыслимые и немыслимые: телеги, телесани, путеботы, велосипеды-тандемы и даже багажные автотележки, которыми начальник станции в память об их изобретателе Эразмусе Вине снабжал все семейство. И только одна лишь гувернантка (как Ада, не Ван, впоследствии выяснила) проспала всю эту суматоху, с прихрапом и присвистом посапывая в комнатке, примыкавшей к прежней детской, где малютка Люсетт, едва проснувшись, уже через минуту ринулась вдогонку сновидению и скакнула в последний мебельный фургон.

Стоя на коленках перед панорамным окном, Ван следил, как тает на глазах вспыхнувший огонек сигары. Массовый исход… Продолжай!

Этот массовый исход был поистине зрелищем удивительным на фоне бледного от звездной россыпи неба почти субтропического Ардиса, с фламинговым заревом вдалеке меж чернеющих деревьев, там, где горел Амбар. Чтобы добраться туда, необходимо было обогнуть огромный пруд, который мне вспоминается тем, что по нему, взрывая переливавшиеся рыбьей чешуей воды, вечно туда-сюда сновали шальные конюхи или мальчишки-буфетчики, кто на водных лыжах, кто на «роброях», кто на плотах, и рябь за плотом походила на японских огненных змеек; но сейчас перед глазами живописным зрелищем открывался караван автомобильных огней от носа до кормы, тянувшийся на восток по стороне «АВ» треугольного озера, затем резко свернул за угол В, удаляясь вдоль короткой стороны и ползя обратно на запад, притухая и съеживаясь, до середины дальней грани, после чего все движение сворачивало на север и исчезало.

Когда последние двое вассалов, повар и ночной сторож, припустили через лужайку к стоявшей без лошади двуколке или экипажу, привлекшему их внимание вздыбленными оглоблями (а может, то была коляска рикши? Служил ведь когда-то у дядюшки Дэна слуга-японец), Ван с радостным изумлением обнаружил, что прямо перед ним по темнеющей аллее движется в длинной сорочке Ада со свечой в одной и со шлепанцем в другой руке, словно тайно ища в ночи братьев-огнепоклонников. Это было лишь отражение в стекле. Кинула найденный шлепанец в корзинку для мусора и устроилась рядышком с Ваном на диване.

— Видно что-нибудь отсюда, скажи, видно? — повторяла темноволосая девочка, и сотни амбаров горели в янтарно-карих глазах вглядывавшейся в темноту, излучавшей жаркое любопытство Ады. Он подхватил подсвечник у нее из руки, поставил рядом со своим, что был подлинней, на подоконник.

— Ты голый, это ужасно неприлично, — бросила она не глядя и без особого осуждения, а он, Рамзес-шотландец, запахнулся поглубже, едва она опустилась на коленки рядом с ним. Мгновение оба любовались романтическим видом ночи в раме окна. Весь дрожа, глядя прямо перед собой, Ван стал гладить ее, водя рукой слепца по батисту до самого низа спинки.

— Смотри-ка, цыгане! — шепнула она, указывая на три темных фигурки: двое мужчин, у одного в руках лестница, и ребенок, а может, карлик,

крадучись пробирались по светлевшей лужайке.

Заметив свечи в окне, они дали деру, а тот, что поменьше, двигался à reculons[118], как фоторепортер.

— Я нарочно осталась, хотела, чтоб и ты остался тоже… так что совпадение не случайное, — сказала Ада или позже утверждала, что сказала, — а он все продолжал ласкать ее струящиеся волосы, разглаживая и сминая на ней ночную рубашку, еще не смея проникнуть рукой под и в, однако уже осмелившись пройтись по податливым ягодичкам, но вот еле слышно охнул диван, она опустилась на пятки к нему на руку, и рухнул воспламененный карточный домик. Она повернулась к нему, и вот уж он стал покрывать поцелуями ее обнаженное плечо, прижимаясь, как тот солдат в очереди.

Впервые про этого солдата слышу. Я-то думал, что старый мистер Нимфопопкинс был моим единственным предшественником.

Прошлой весной. Поездка в город. Утренний спектакль во французском театре. Мадемуазель куда-то дела билеты. Этот бедолага, верно, решил, что «Тартюф» — имя шлюхи и что это стриптиз.

Ce que n'est pas si bête, au fond. Что, по существу, не так уж лишено смысла. Итак. В той сцене с Горящим Амбаром…

— Что в той сцене?

— Ничего. Продолжай!

— Ах, Ван, в ту ночь, когда мы рядом стояли на коленках при свечах, точно Молящиеся Детки из жутко пошлого фильма, выставив две пары сморщенно-мягоньких, некогда мартышечьих, пяток, — вовсе не как привет Бабусе с рождественской открытки, а Премудрому Змию на радость и удивление, помнится, меня так и подмывало задать тебе один чисто познавательный вопрос, ведь, скосив глаза, я…

Не сейчас, сейчас это не самое привлекательное зрелище, а вот-вот сделается и того хуже (или о том же, но иначе).

Ван никак не мог понять, на самом ли деле она так невежественна или же она чиста, как ночное небо — теперь уж без багряных отблесков, — или это богатый опыт подсказывает ей такую холодную игру. На самом деле это значения не имело.

Погоди, не сейчас, приглушенно выдохнул он.

Она настаивала: скажи-и-и-и, почему-у-у-у…

Он ласкал всей мякотью губ, parties très charnues — в образе страсти наших сестрицы с братцем, разъединяя на пряди ее мягкие, длинные, спадавшие почти до самой поясницы (если она вот так, как сейчас, откидывала голову назад) темные шелка, пробиваясь слева к манящему теплой постелькой сплениусу. (Нет необходимости здесь, как и в других местах — подобный пассаж уже попадался, — загрязнять

естественную чистоту стиля всякой непонятной анатомической терминологией, каждому психиатру известной со студенческой скамьи. Позднейшая приписка рукою Ады.)

— Почему-у-у… — повторила она, когда он алчно приблизился к своей бледной и жаркой цели.

— Скажи, почему, — совершенно отчетливо, но каким-то не своим голосом произнесла она, а его рука уже, нырнув к ней под мышку, блуждала дальше, большим пальцем придавливая сосок так, что у нее засвербило в нёбе: звонок к горничной из романов георгианской эпохи… немыслим при отсутствии ellectricita[119]…

(Протестую. Нельзя. Это запрещается даже на литовском и на латинском. Приписка Ады.)

— …почему…

— Спрашивай! — вскричал Ван, только не смей все портить (мое упивание тобой, сплетание с тобой).

— Скажи, почему, — спросила она (требовательно, с вызовом, пламя одной свечки потрескивало, одна диванная подушка валялась на полу), — почему у тебя там так наливается и твердеет, когда ты…

— У меня где? Когда я что?

Вместо объяснения она тактично, тактильно покрутила животиком, прижимаясь к нему, все еще почти не изменив позы, на коленках, длинные волосы упали на лицо, глаз сквозь них глядел ему куда-то в ухо (к тому моменту в их действиях царил уже полный хаос).

— Повтори! — крикнул он, будто она была совсем далеко, лишь отражение в темном окне.

— Сейчас же покажи! — строго приказала Ада.

Он сбросил с себя подобие шотландского наряда, и тон ее сразу же сделался совершенно иным.

— Боже мой! — воскликнула она с детским изумлением. — С него кожица сошла, он горит весь! Тебе больно? Тебе, наверно, ужасно больно?

— Быстро возьми его рукой! — жалобно выдохнул он.

— Ах, Ван, бедняжка Ван! — причитала Ада тоненько, как наше прелестное дитя разговаривало с кошками, с гусеницами, новорожденными щенками. — Ну да, конечно, ужасно щиплет, и ты думаешь, если я дотронусь, станет лучше?

— Еще бы! — отозвался Ван, «on n'est pas bête à ce point» («ведь есть же и тупости предел», грубое общеупотребительное выражение).

— Географическая карта, — изрекла наша рано расцветшая резонерша, —

вот реки Африки! — Ее указательный пальчик проследил русло голубого Нила вплоть до самых джунглей и пустился в обратный путь.

— А это что? Оно гораздо мягче и нежней, чем шляпка красноголовика. Я бы сказала (явное пустословие), похоже на цветок герани, нет, пеларгонии.

— Господи, да все с чем-то схоже! — пробормотал Ван.

— Ах, Ван, как приятно трогать, как мне нравится! Честное слово!

— Да сожми же, глупая гусыня, не видишь — я умираю!

Но наша юная ботаничка не имела ни малейшего представления, как следует обращаться с подобным предметом, — и Ван, доведенный до предела, грубо воткнув его в подол ее ночной сорочки, не смог сдержать стона, испуская сладостную влагу.

В смятении она уставилась на свой подол.

— Не то, что ты подумала, — спокойно сказал Ван. — Это иная жидкость. Поверь, она чиста, как сок травы. Ну вот, с Нилом все в порядке. Точка. Стэнли.

(Интересно, Ван, почему ты так стараешься всю поэзию и необычность нашего прошлого обратить в пошлый фарс? Нет, правда, Ван! Это я говорю правду, именно так все и было. Я чувствовал себя не слишком уверенно, отсюда развязность, самодовольная ухмылка. Ah, parlez pour vous[120]: я утверждаю, дорогой, что пресловутое прослеживание пальцем рельефа твоей Африки вплоть до самого конца света случилось значительно позже, когда этот маршрут мне был прекрасно знаком. Прости, но нет — если бы люди запоминали все одинаково, они бы не были разными людьми. Все у них было бы точь-в-точь. Так ведь мы-то не «разные»! По-французски «думать» и «воображать» — одно и то же слово[121]! Вспомни про doucer, Ван! Ну да, конечно же, я все время думаю об этом, да-да… все это было doucer, дитя мое, рифма моя. Так-то лучше, сказала Ада).

Пожалуйста, рассказывай дальше!

Ван распластался, обнаженный, на диване в замершем свете свечей.

— Давай поспим здесь, — предложил он. — Они не вернутся, пока рассвет не зажжет потухшую дядюшкину сигару.

— У меня рубашечка trempée[122], — прошептала она.

— Сними, накроемся халатом, как пледом.

— Не смотри, Ван!

— Так нечестно, — сказал он, помогая ей вскинуть сорочку и протащить вверх через встряхивающую волосами головку. Ее белое, как мел, тело было притенено единственным угольно-черным пятнышком в самом

сокровенном месте. Между лопаток розовел шрам от гадкого фурункула. Поцеловав шрамик, Ван лег навзничь, заложив руки за голову. Она разглядывала сверху его загорелый торс и муравьиный караван, тянущийся к оазису вокруг пупка; его тело было не по годам богато растительностью. Ее круглые юные грудки нависали как раз над его лицом. Как врач и как художник я против пошлого курения сигареты после полового акта. Тем не менее, истины ради, скажем, что Ван прекрасно знал о стеклянной папироснице с турецким трауматисом, но она лежала на полке довольно далеко, лень тянуться. Высокие часы отбили четверть неведомого часа, а Ада, опершись щекой о кулачок, с явным интересом наблюдала за впечатляющим, хотя поначалу неожиданно странным подергиванием, упорно запускаемым в ход по часовой стрелке, и затем окончательным подъемом тяжелеющего, возрождающегося мужского естества.

Но плюш дивана оказался пупырчат, точно утыканное звездами небо. Перед новым развитием событий Ада принялась на четвереньках расправлять халат, подправлять подушки. Дитя природы, преобразившееся в кролика. Потянувшись, он на ощупь ухватил сзади пальцами в ладонь ее пушистую заводь, неистово взлетев в позу мальчика, трудящегося над постройкой замка из песка, но она повернулась к нему лицом, наивно готовая слиться с ним в позе, в какой Джульетту учили принять ее Ромео{44}. И угадала верно. Впервые за все развитие этой любви нашего угловатого отрока озарил свыше блаженный дар поэтического слова, он что-то бормотал, пристанывая, что-то нежно шептал, покрывая ее лицо поцелуями, на трех — трех величайших в мире — языках выкрикивая ласковые слова, которые впоследствии не могли не составить целый словарь уменьшительных эпитетов, претерпевший за годы многие исправления и дополнения вплоть до окончательного издания в 1967 году. Когда он слишком неистовствовал, она усмиряла его, выдыхая «чш-ш-ш-ш» ему прямо в губы, и вот уже, не стыдясь, оплела его руками и ногами, как будто во всех наших с ней снах уже целую вечность только и занималась любовью, — однако нетерпение юной страсти (хлынув через край, как вода в Вановой ванне, когда он старый, седой, чудаковатый любитель слова воспроизводил все это на краешке гостиничной кровати) не пережило первых нескольких толчков; страсть взорвалась, коснувшись лепестка орхидеи, но предупреждающе прозвучала трель малиновки, и уж огни стали снова пробиваться к дому сквозь складки рассветной мглы, точно сигналами светлячков обозначая берега водоема; точки экипажных фонарей переросли в звездочки, послышался хруст колес по гравию, прибежали домой довольные ночным развлечением собаки. Из полицейского фургона цвета тыквы скакнула вниз затянутая в чулок ножка поваровой племянницы Бланш (увы, позже, много позже полуночи!) — и наши нагие дети, подхватив короткий халат и ночную рубашонку и пригладив на прощанье свой диван, зашлепали босиком прочь, каждый со свечой в руке в свою целомудренную спаленку.

— А ты помнишь, — спрашивал седоусый Ван, беря со столика при кровати сигарету с коноплей и тряхнув желто-голубой спичечный коробок, — какие мы были отчаянные, и как вдруг перестала похрапывать Ларивьер, но через мгновение снова принялась сотрясать дом свои храпом, и какие холодные были железные ступени, и как изумлен я был… твоей… как бы это сказать… твоей невоздержанностью.

— Идиот! — отозвалась Ада от стенки, не поворачивая головы.

Лето 1960 года? Переполненная гостиница где-то между Эксом и Ардисом?

Хорошо бы проставить даты на каждой страничке рукописи: надо ведь иметь снисхождение к неизвестным моим сновидцам.

20

На следующее утро, еще уткнувшись носом в наполненную сновидениями мягкую подушку, подложенную в его аскетичную постель милашкой Бланш (с которой он только что в душераздирающем кошмаре сна держался за руку, как положено в игре в фанты, — а, может, то было навеяно дешевым запахом ее духов?), наш мальчик разом ощутил ворвавшуюся явь счастья. Он намеренно попытался продлить разливание внутри не открывшегося вполне этого жара, сосредоточившись на уходящих образах жасмина и слез своего дурацкого сна; однако счастье тигром уже ворвалось в его сознание.

Пьянящее чувство только что обретенного, небывалого дара! Намек на это будто окрасил его сон, только что в последней его части Ван рассказывал Бланш, как научился летать и как эта способность с волшебной легкостью скользить по небу позволит ему побивать все рекорды по прыжкам в длину, свободно промахивая на высоте нескольких дюймов над землей отрезок, скажем, в тридцать, а то и в сорок футов (уж как-то подозрительно много), тогда как трибуны неистовствуют, а замбийский Замбовский застыл руки в бока, пялится, не веря глазам своим.

Нежность обостряет истинный триумф, мягкость умащивает подлинное рассвобождение: в снах подобные чувства не сопрягаются ни со славой, ни со страстью. Добрая половина сказочного счастья, которое Вану теперь (и, как он надеялся, уже навеки веков) довелось испытать, черпала свою мощь в уверенности, что он может открыто и свободно осыпать Аду своими мальчишескими ласками, о чем раньше по причине вульгарного стыда, мужского эгоизма и моральных терзаний он даже не помышлял.

По субботним и воскресным дням о каждой из трех трапез возвещали три удара гонга — короткий, подлиннее и самый звучный. Сейчас короткий удар гонга приглашал к завтраку в столовую. Металлический раскат возбудил в Ване мысль, что, пролетев двадцать шесть ступенек, он снова увидит свою юную сообщницу, нежный мускусный запах которой еще хранила его ладонь, а также пронзил его насквозь изумлением: неужто и в самом деле это случилось? Неужто мы вырвались на свободу? Некоторые запертые в клетки птицы, по рассказам трясущих телесами в

веселом смехе китайцев-знатоков, каждый Божий день поутру, лишь проснутся, принимаются биться о железные прутья (потом падают бездыханные и лежат так несколько минут), как бы автоматически, в продолжение сна, вырываясь полетом из сновидения, — но при всем этом после, на протяжении дня, переливчатые пленницы снова веселы, общительны и говорливы.

Ван сунул ногу в спортивный туфель, одновременно нашарив под кроватью его пару, и ринулся вниз по лестнице мимо благостно улыбающегося князя Земского и угрюмого Винсента Вина, епископа Балтикоморского и Комского.

Но она пока еще не спускалась. В залитой светом гостиной с множеством желтых цветов, тяжелые гроздья которых горели, как солнце, завтракал дядюшка Дэн. Одет он был под стать деревенской жаре, а именно — костюм в узкую полоску, розовато-лиловая фланелевая рубашка, пикейный жилет, сине-красный клубный галстук, мягкий воротничок высоко сколот золотой английской булавкой (однако по причине воскресного дня все строгие полоски и цвета на нем выглядели несколько сдвинуто, как на комиксах во время печати). Он только что покончил с первым тостом, намазанным маслом и апельсиновым мармеладом поверх, и издавал индюшиный клекот, полоща глотком кофе свои вставные челюсти, прежде чем заглотить жидкость вместе со взболтанным съедобным сором. Будучи, как я считаю, и не без оснований, человеком отважным, я сумел заставить себя вытерпеть, сидя напротив, лицезрение этой розовой физиономии с рыжими (ходуном ходящими) «усишками», хотя вовсе не обязательно было (как рассудил про себя Ван в 1922 году, наблюдая опять ту же цветистую экзотику) пялиться на этот профиль со скошенным подбородком и рыжими курчавыми бачками. Ван, не без прилива аппетита, взирал на выставленные для проголодавшихся деток синие кувшины с горячим шоколадом и ломтики белого батона. Марине носили завтрак в постель, дворецкий с Прайсом питались в укромном уголке в буфетной (было что-то в этом отрадное), а мадемуазель Ларивьер до полудня не брала в рот ни крошки, будучи суеверной «midinette»[123] (имеется в виду приверженность секте, не профессия), и даже завлекла в эту веру своего духовника.

— Жаль, дорогой дядюшка, что не взяли нас посмотреть на пожар, — заметил Ван, наливая себе в чашку шоколад.

— Тебе Ада все расскажет, — ответил дядюшка Дэн, любовно намазывая маслом и сдабривая мармеладом очередной тост. — Она в восторге от этой поездки.

— Как, разве она ездила с вами?

— Ну да… в черном шарабане, вместе с дворецкими. Вот уж забава так забава, исчо бы (явно не по-британски).

— Нет, это, верно, была одна из посудомоек, не Ада, — возразил Ван. — Простите, — добавил он, — разве у вас их несколько, дворецких?

— Ну как же, наверное, — неопределенно проговорил дядюшка Дэн.

Он еще раз прополоскал рот и, тихонько покашливая, взялся за очки, однако утренней газеты перед ним не оказалось — тогда он очки снял.

Вдруг Ван услышал ее милый, низкий голос с лестницы, обращенный куда-то выше:

— Je l'ai vu dans une des corbeilles de la bibliothèque[124].

Скорее всего это относилось к герани, или к фиалке, или к орхидее «Венерин башмачок».

Тут, как выражаются фотографы, наступило «замирание у перил», и потом после отдаленного радостного вскрика горничной голос Ады произнес:

— Je me demande, интересно, qui l'a mis là, кто ее туда поставил.

Aussitô t après[125] она вошла в столовую.

Она была — вовсе с ним не сговариваясь — в черных шортиках, белом тонком шерстяном пуловере и спортивных тапочках. Волосы гладко зачесаны назад, обнажая большой округлый лоб, и завязаны на затылке, образуя пышный хвост. Розоватое раздражение кожи под нижней губой просвечивало глицериновым блеском сквозь пятном осевший слой пудры. Она была слишком бледная, и это ее очень портило. В руке держала томик стихов. Старшая у меня довольно бесцветна, зато волосы хороши, а младшая, хоть и хорошенькая, но рыжая, как лисичка, говаривала Марина. Неблагодарный возраст, неблагодарное освещение, неблагодарный художник, и все же далекий от неблагодарности возлюбленный. Возникнув в самой глубине живота, мощная волна обожания подкинула его к потолку. Возбуждение при виде ее, от того, что знает, что она знает, но не знает больше никто, чему именно они так открыто, так непристойно, с таким наслаждением предавались всего лишь шесть часов назад, это возбуждение оказалось слишком огромно для нашего малолетнего любовника, несмотря на то что он попытался наставительно и с помощью оскорбительного эпитета принизить значение происшедшего. С трудом выдавив из себя вместо обычного утреннего приветствия равнодушное «привет» (которое она, кстати сказать, проигнорировала), он склонился над тарелкой, втайне поглядывая одним, как Полифем, глазом за каждым ее движением. Проходя за мистером Вином, она легонько шлепнула его своей книжкой по лысине, с шумом выдвинула стул рядом с ним напротив Вана. По-кукольному прелестно моргая ресничками, налила себе шоколад в большую чашку. Хотя он был уж изрядно подслащен, наша девочка подцепила ложкой кусок сахару и стала погружать его в чашку, с увлечением наблюдая, как горячая коричневая жидкость, заполняя, растворила сперва расползшийся в кристаллики уголок, а затем и весь сахар.

Тем временем дядюшка Дэн запоздалым движением руки смахнул со своего паштета уже улетучившегося насекомого, поднял голову, оглянулся и тут наконец заметил присутствие Ады.

— А, Ада! — произнес он. — Ван тут весьма интересуется. Что ты поделывала, дорогая, когда мы с ним занимались тушением пожара?

Пожарные отблески запылали на щеках Ады. Ван в жизни не видал, чтобы девочка (с такой прозрачно-белой кожей), да и вообще кто-либо, хоть фарфоровая кукла, хоть девочка-персик, так густо заливалась краской, и это ее свойство весьма обеспокоило его, так как было куда опасней любой причины, его вызывавшей. Украдкой бросив дурацки-беспомощный взгляд на помрачневшего Вана, Ада пролепетала, что, мол, очень перепугалась и осталась у себя в комнате.

— Ничего подобного, — резко перебил ее Ван, — мы с тобой вместе смотрели на зарево из окна библиотеки. Дядюшка Дэн явно попал пальцем в небо.

— Ménagez vos américanismes![126] — отозвался тот и тут же по-отечески широко раскинул руки навстречу дурашке Люсетт, вбегавшей в комнату, сжимая в кулаке, как боевой вымпел, розовый проволочный детский сачок для ловли бабочек.

Глядя на Аду, Ван укоризненно покачал головой. Она показала ему острый кончик языка, и, мгновенно охваченный гневом на самого себя, ее возлюбленный, в свою очередь, почувствовал, что заливается краской. Вот тебе, за твою непогрешимость! Продев в кольцо свою салфетку, Ван удалился в одно местечко за гостиной.

Когда и она закончила завтракать, он перехватил ее, всласть налакомившуюся повидлом, на площадке лестницы. У них было всего мгновение, чтобы договориться, а это происходило, в историческом аспекте, на заре развития романа, пока находившегося в руках у приходских дамочек и французских академиков, потому каждый миг был дорог. Она стояла, почесывая воздетую коленку. Условились прогуляться перед обедом и подыскать уединенное место. Аде надо было закончить перевод для мадемуазель Ларивьер. Она показала ему черновик. Франсуа Коппе? Да.

Неспешно их паденье. Грубо

Средь хляби лист оставит след.

Лист медно-красный — отблеск дуба.

Кроваво-красный — клена цвет.{45}

— Leur chute est lente, — процитировал Ван, — on peut les suivre du regard en reconnaissant[127] — момент парафраза «грубо» и «хляби», разумеется, чистейший Лоуден (второстепенный поэт и переводчик, 1815–1895). Изменение первой части четверостишия в угоду вытягиванию второй невольно вызывает в памяти того самого русского барина, который спихнул кучера на съедение волкам, а после сам выпал из саней.

— По-моему, ты крайне жесток и глуп, — сказала Ада. — Никто не считает это шедевром или блестящей пародией. Обычная дань, взысканная психопаткой гувернанткой с бедной, замученной уроками воспитанницы. — И добавила: — Жди меня в беседке Ленивке. Спущусь ровно через шестьдесят три минуты.

Руки у нее были холодны, шея горела; мальчик-почтальон позвонил в колокольчик у двери; Бут, юный лакей и внебрачное дитя дворецкого, гулко прошагал по каменному полу вестибюля.

По утрам в воскресенье почта приходила поздно, так как Робину Шервуду, старому почтальону в ярко-зеленой униформе, приходилось развозить верхом на лошади по всей здешней спящей округе толстенные воскресные приложения газет из Балтикоморы, и Калуги, и Ладоги. Едва Ван, мурлыча под нос гимн своей школы — единственный мотив, который неизменно помнил, — сбежал вниз по ступенькам террасы, он увидел, как Робин, сидя на своем старом гнедом, поддерживает под уздцы более резвого карего жеребца, принадлежавшего его воскресному помощнику, хорошенькому мальчику-англичанину, к которому Робин, как судачили за увитыми розами изгородями, питал гораздо более сильные чувства, чем того требовала их работа.

Ван дошел до третьей лужайки и до беседки и внимательно осмотрел уготовленное место действия, «словно провинциал, заявившийся в оперу за час до начала, протрясшись целый день в двуколке средь урожайных полей, попирая маки и васильки, цеплявшиеся за быстро мелькавшие колеса» (Флоуберг, «Урсула»).

Голубые бабочки, почти такие же по величине, как малые белянки, и, как и те, европейского происхождения, стремительно кружили над кустами, садясь на свисавшие грозди желтых цветов. При менее затруднительных обстоятельствах, через сорок лет после того, нашим любовникам выпало увидеть вновь с тем же изумлением и радостью того же самого насекомого и тот же самый пузырник вдоль лесной дороги близ Сустона, в кантоне Вале. В данный же момент Ван, чтоб потом вспоминать, стремился вобрать в себя все, сидя развалясь на траве, следя за дерзким полетом крупных голубянок, пламенея от рисуемых воображением бледных ног и рук Ады среди пятнистого света беседки и затем с трезвостью убеждая себя, что реальность никогда не превзойдет фантазию. Поплавав в широком и глубоком ручье за рощей, Ван вернулся, мокроволосый, ощущая легкое горение кожи, и испытал редкое удовольствие, обнаружив, что воображаемый, отлива слоновой кости, образ в точности совпал с реальным, разве что она распустила волосы и переоделась в то самое короткое ситцевое, солнечное платьице, которое он так любил и над которым совсем в недалеком прошлом так страстно жаждал надругаться.

Он решил прежде всего обратиться к ее ногам, которые прошлой ночью остались недостаточно им обласканы, сплошь покрыть их поцелуями от А круто изогнутого подъема, до У бархатистой излучины; что Ван и проделал, лишь только они с Адой забрались поглубже в лиственничную чащу, замыкавшую парк на пологом склоне скалистого взгорья между Ардисом и Ладорой.

Ни один из них не мог воссоздать в памяти, как ни один, собственно, и не слишком в этом смысле старался: каким образом, когда и где именно Ван «лишил невинности» Аду, — на подобный вульгаризм Ада в Стране Чудес натолкнулась в «Энциклопедии» Фроди, где он истолковывался, как: «нарушение девственной плевы мужским половым органом или механическим путем», и приводился пример: «Его неиспорченная душа была лишена невинности (Джереми Тейлор)». Произошло ли это в ту самую ночь поверх халата-распашонки? Или же в тот день в лиственничной роще? А, может, потом в тире, или на чердаке, или на крыше, или на уединенном балконе, или в ванной, или (хоть без особого удобства) на ковре-самолете? Откуда нам знать, да и какая разница.

(Ты целовал, и покусывал, и вклинивался, и пронзал, и у меня там так часто и так жарко возбуждалось, что я и не заметила, как утратила девственность; одно могу сказать наверняка: в середине лета машина, которую наши предки именовали «секс», уже действовала столь же отлаженно, как и после, в 1888 году и далее, дорогой. Приписка на полях красными чернилами).

21

Свободно пользоваться библиотекой Аде не разрешалось. Согласно последней переписи (отпечатанной 1 мая 1884 года), библиотека включала 14 841 том, но даже этот невыразительный перечень гувернантка предпочла нашей девочке не показывать — «pour ne pas lui donner des idées»[128]. У Ады в комнате, разумеется, стояли таксономические исследования из ботаники и энтомологии, а также школьные ее учебники и еще несколько невинных популярных романов. Мало того, что ей не полагалось одной без присмотра пастись в библиотеке, — каждая книга, которую она брала, чтобы почитать на сон грядущий или в беседке, контролировалась ее наставницей и с пометкой «en lecture»[129], с указанием названия и зафиксированной датой попадала в виде карточки в картотеку, содержавшуюся в заботливом беспорядке мадемуазель Ларивьер и в неком оголтелом порядке (со всякими вставками, включавшими вопросы, бурные изъявления недовольства и даже проклятия на розовеньких, красненьких и лиловеньких листочках) — ее кузеном, месье Филиппом Верже, щупленьким старым холостяком, патологически тихим и стеснительным, который каждую неделю по нескольку часов незаметно, как мышка, просиживал там за работой — настолько незаметно, что в один прекрасный день, когда высоченная библиотечная лестница, на верхушке которой он сидел, прижимая к себе ворох книг, внезапно катастрофически накренилась и стала медленно, словно в обмороке, заваливаться, кузен совершенно беззвучно приземлился навзничь на пол вместе с лестницей и книгами, а виновница случившегося, Ада, полагавшая, что она в библиотеке одна (извлекши и перелистывая абсолютно вредную для нее «Тысячу и одну ночь»), приняла его,

распластанного на полу, за тень от двери, тайком отворяемой евнухом с отвислым животом.

Близость с cher, trop chère René[130], как порой, слегка подшучивая, Ада называла Вана, полностью изменила ситуацию с ее чтением — какие бы решительные запреты ни продолжали носиться в воздухе. Вскоре после своего прибытия в Ардис Ван пригрозил своей бывшей гувернантке (у которой были все основания воспринять его угрозы всерьез), что если ему не будет позволено брать из библиотеки, когда ему вздумается и на любой срок, а также без всяких там пометок «en lecture», любую книгу или собрание сочинений, или запретные брошюрки, или инкунабулы, какие только ему заблагорассудится, он устроит так, что мисс Вертоград, библиотекарша его папеньки, крайне исполнительная и необыкновенно сговорчивая старая дева, аналогичного с Верже формата, а также, возможно, и года издания, засыплет Ардис-Холл увесистыми посылками со всякой распутной литературой XVIII века, опусами немецких сексологов и со всем этим балаганом «Шастр»{46} и Нефзави{47} в буквальном переводе и с сомнительного свойства приложениями. Озадаченная мадемуазель Ларивьер собралась было испросить совета у Хозяина Ардиса, но она никогда не обсуждала с ним никаких серьезных проблем, начиная с того самого дня (а именно случившегося в январе 1876 года), когда он предпринял неожиданный (и, будем справедливы, лишенный особого энтузиазма) пас в ее направлении. Что же касается милейшей легкомысленной Марины, та на запрос гувернантки отделалась высказыванием, что сама в Вановы годы извела бы гувернантку тараканьим ядом, если бы та запретила ей читать, например, «Дым» Тургенева. С этих пор любая книжка, которую Аде хотелось или могло бы захотеться прочесть, упрятывалась Ваном специально для нее во всякие безопасные уголки, и единственным очевидным свидетельством озабоченности и даже отчаяния Верже стало нарастающее появление снежно-белых россыпей пыли, неизменно оставляемых им то тут, то там на темном ковре в том или ином месте своих сосредоточенных занятий — столь чудовищное прегрешение для столь опрятного крошечного создания!

На одном милом рождественском вечере, устроенном в Радуге для служащих частных библиотек при содействии Брайль-клуба пару лет назад, экзальтированная мисс Вертоград заметила, что у нее с прихихикивающим Верже кроме общей молчаливой конфеты-хлопушки (при раздирании не издавшей никакого звука — да, впрочем, и в ее золоченой, бахромчатой по концам бумажке не оказалось ни леденчика, ни брелочка, ни какого иного подарка судьбы) есть еще и общая заметная кожная болячка, которая недавно была описана известным американским романистом в его романе «Хирон» и потом, уже в уморительной манере, очередной ее жертвой, автором статеек одного из лондонских еженедельников. Очень деликатно мисс Вертоград направляла весьма непонятливому французику через Вана каталожные карточки с кратенькими советами: «„Ртутные препараты!“ или „Höhensonne“[131] творит чудеса»! Мадемуазель, которая также была в курсе, справлялась насчет псориаза в однотомной медицинской энциклопедии, завещанной ее покойной матушкой и не только служившей подспорьем мадемуазель и ее воспитанницам в излечении простейших недугов, но также наделявшей необходимыми болезнями персонажей рассказиков, которые она поставляла в «Квебек Куотерли». В данном случае предлагалось

следующее оптимистическое лечение: «принимать не реже двух раз в месяц теплые ванны и избегать острых специй»; данную рекомендацию мадемуазель, отпечатав на машинке, отправила своему кузену в конверте с пожеланием выздоровления. В довершение Ада показала Вану письмо доктора Кролика на сей предмет; вот что там говорилось (в переводе на английский): «Несчастные, имеющие на коже ярко-красные пятна, покрытые серебристыми чешуйками и желтой коростой, эти безобидные псориатики (чья кожная болезнь не передается, как зараза, и кто в остальном отличается прекрасным здоровьем — воистину, как говаривал мой учитель, это их „бобо“ предохраняет от всяких там „бутонов“ и „бубонов“) принимались в средние века за прокаженных, — да-да, именно так! — и тысячи и даже миллионы нынешних верже и вертоград корчились в пламени, привязанные энтузиастами к столбам посреди людных площадей Испании и прочих стран, любительниц костров». Но эту приписку они решили не вставлять, как думали прежде, в качестве P.S. в каталог смиренного мученика: специалисты по чешуйчатокрылым на предмет чешуек излишне красноречивы.

Романы, поэзия, научные и философские труды исчезали, уже не будучи замечены, после того как бедняга библиотекарь подал démission éplorée[132] первого августа 1884 года. Пересекая лужайки, книги проплывали вдоль изгородей, чем-то напоминая утекание предметов в восхитительной сказке Уэллса про человека-невидимку, и попадали Аде на колени во время их с Ваном свиданий. Оба, как это всегда происходит с настоящими любителями книг, искали в чтении что-то необыкновенное; оба обнаруживали во множестве известных книг претенциозность, скуку и легкое надувательство.

Впервые прочтя в девять или в десять лет романтическую историю Шатобриана о брате и сестре, Ада не вполне вникла в смысл фразы «les deux enfants pouvaient donc s'abandonner au plaisir sans aucune crainte»[133]. Некий скабрезный критик в неком сборнике статей, к помощи которого она могла теперь счастливо прибегнуть («Les muses s'amusent»[134]), пояснял, что слово «donc»[135] одновременно подчеркивало и неспособность к зачатию в незрелом возрасте, и бесплодный итог незрелого кровосмешения. Ван тем не менее заявил, что критик ошибается, и в качестве подтверждения обратил внимание своей возлюбленной на одну из глав опуса «Секс и кодекс», где описывалось, какое влияние на общество оказывает роковой каприз природы.

В те времена слово «инцестный» у нас понималось не только как «непозволительный» — то есть, скорее, в лингвистическом, нежели в криминальном аспекте, — однако здесь также подразумевалось (в сочетании «инцестная связь» и проч.) вмешательство в ход человеческой эволюции. История уже давным-давно выдвинула на смену призывам к «Закону Божьему» здравый смысл и науку для масс. Исходя из вышесказанного, «кровосмешение» можно было считать преступлением, только если преступлением считался и инбридинг[136]. Однако, как отмечал судья Болд уже в 1835 году в пору альбиносских мятежей, практически все агрономы и фермеры-животноводы Северной Америки и Татарии используют инбридинг в качестве метода размножения, способного сохранить и развить, закрепить и даже заново воссоздать лучшие племенные свойства, но если здесь проявить чрезмерное рвение,

можно и переусердствовать. При всякой чрезмерности инцест приводит к различного рода физическим порокам, появлению на свет уродливого и ослабленного потомства, «тихих мутантов» и в конце концов — к безнадежному бесплодию. От этого уже попахивало «преступлением», и так как особо некому было по-настоящему контролировать оголтелый разгул инбридинга (кое-где в Татарии порода овец, в течение пятидесяти поколений наращивавшая густоту руна, в результате внезапно выродилась в последнего голенького, неспособного к производству ягненочка о пяти копытцах, а обезглавливание кое-кого из фермеров не способствовало воскрешению некогда мощной породы), возможно, было бы разумней вообще наложить запрет на «кровосмесительное сожительство». С чем судья Болд и его последователи не соглашались, видя в этом «сознательном отказе от возможной пользы во избежание предполагаемого вреда» нарушение одного из основополагающих прав человека — а именно, наслаждения свободой своего развития, какой ни одно прочее в мире существо не знало. К несчастью, после этой получившей огласку беды, приключившейся с приволжскими стадами и фермерами, в США в самый разгар этих споров возникло гораздо подробнее освещенное в прессе событие из fait divers[137]. Некий американец из Юконска по имени Иван Иванов, характеризуемый как «регулярно выпивающий труженик» («замечательное определение», — весело заметила Ада, — «достойное истинного художника»), каким-то образом — как утверждает он сам и его многочисленное семейство, в беспамятстве, — умудрился оплодотворить свою пятилетнюю праправнучку Марью Иванову, а затем, через пять лет, в очередном состоянии беспробудства, также заделал ребеночка Дарье, дочке Марьи. Фотографию Марьи, десятилетней бабуси, с доченькой Дарьей и новорожденной Варей, ползающей у ее ног, публиковали все газеты, и множество всякой неимоверной путаницы породил этот генеалогический фарс, явившись итогом взаимосвязей представителей клана Ивановых, живущих — хотя и не всегда добропорядочной жизнью — в разгневанном Юконске. Не дожидаясь продолжения производительной деятельности шестидесятилетнего лунатика, его, в соответствии с древним российским законом, упекли на пятнадцать лет в монастырь. По освобождении из заточения, дабы загладить свою вину, он решил как честный человек сделать предложение Дарье, к тому времени выросшей в дородную девицу со своими проблемами. Газетчики широко осветили в прессе и свадьбу, и поток даров от всевозможных доброжелателей (пожилых дамочек из Новой Англии, одного прогрессивного поэта, преподающего в Теннесси-Вальс-колледже, от какой-то мексиканской средней школы в полном составе и т. д.), и в этот самый день Гамалиил (в ту пору еще молодой, упитанный сенатор) с такой силой грохнул кулаком по столу в зале заседаний, требуя повторного рассмотрения дела в суде и смертной казни, что разбил себе руку. Ну разумеется, все это было произнесено в сердцах, однако история с Ивановым бросила весьма значительную тень на такой несущественный предмет, как «продуктивный инбридинг». К середине века не только кузенам с кузинами, но также и дядьям с внучатыми племянницами запрещалось вступать в брак; и в некоторых славящихся плодородием местностях Эстотии, в избах, где обитали большие крестьянские семьи и где до дюжины человек разного возраста и пола спали на одном плоском, как блин, матрасе, запрещалось на ночь задергивать на окнах занавески для удобства патруля с газолиновым проблесковым фонарем — «пригляд-отряда», как прозвала

его антиирландская бульварная пресса.

В очередной раз Ван веселился от души, когда откопал для Ады с ее энтомологическими пристрастиями вот такой пассаж из вполне солидной «Истории методов совокупления»: «Некоторые опасные, а также смехотворные моменты, сопутствующие „позиции миссионера“, принятой для целей совокупления и столь искренне высмеянной „первобытным“, но душевно здоровым населением Бегурийских островов, выявлены известным французским орнитологом [жирная сноска, здесь опускаемая], описывающим способ совокупления мухи Serromyia amorata Пупарта. Спаривание происходит путем прижимания друг к другу брюшных поверхностей, а также соприкосновения ротовых отверстий. Когда окончательно прекращается подрагивание (frission), означающее взаимосоитие, самка высасывает содержимое тельца своего пылкого партнера через его ротовое отверстие. Можно предположить (см. Пессон et al[138]) [снова увесистая сноска], что такие пикантные лакомства, как сочная лапка жука, окутанного паутинкой, даже просто какой-то знак (случайный обрыв или едва пробуждающееся начало процесса эволюции — qui le sait![139]), скажем, лепесток, тщательно завернутый и связанный с листом красного папоротника, который самцы некоторых видов мух (но, по-видимому, не придурки из разряда femorata и amorata) приносят своим самкам перед совокуплением, являются прозорливой гарантией от неуместной кровожадности своей младой избранницы».

Еще более смехотворным было «сообщение» мадам де Реан-Фишини, сотрудницы канадийской социальной сферы, опубликовавшей труд «О противозачаточных средствах» на капусканском местном диалекте (дабы пощадить стыдливость остотианцев и соединенноштатцев и в то же время просветить более закаленных коллег в этой специфической области). «Sole sura metoda, — пишет она, — por decevor natura, est por un strong-guy de contino-contino-contino jusque le plesir brimz; et lors, a lultima instanta, svitchera a l'altra gropa [groove]: ma perquoi una femme ardora andor ponderosa ne se retorna kvik enof, la transita e facilitata per positio torovago»[140]; а этот последний термин прилагаемый словарик поясняет на доступном английском так: «поза, обычно принимаемая в сельских районах представителями всех классов, начиная с сельской аристократии и кончая примитивнейшим домашним животным по всем Соединенным Америкам от Патагонии до Гаспа». «Ergo»[141], заключил Ван, наш миссионер основательно погорел.

— Твоя пошлость не имеет предела, — сказала Ада.

— По мне уж лучше сгореть, чем быть заглоченным заживо шарамыжницей… или как ее там… и допустить, чтоб моя вдовица погребла мои останки под кучей крохотных зелененьких яичек!

Как это ни парадоксально, но «академичка» Ада терпеть не могла толстых ученых книг с гравюрами органов, с изображениями мрачных средневековых публичных домов, а также с фотографиями, запечатлевшими вырезание из материнской утробы малюток-«кесарей» мясниками или хирургами в масках — как в древние, так и в нынешние времена. Ван же, не питавший любви к «естествознанию» и с фанатизмом

осуждавший непреложность физической боли в любом из миров, до бесконечности восхищался описаниями и изображениями израненной человеческой плоти. В остальном в более радужных сферах их вкусы и чувство юмора были в целом схожи. Оба любили Рабле и Казанову; обоим претили сир Сад и герр Мазох, а также Хайнрих Мюллер. Со временем английские и французские порнографические стишки, хоть временами остроумные и познавательные, стали им отвратительны, а выраженное в них стремление, особенно во Франции в годы перед нашествием, выставлять монахов и монахинь предающимися эротическому разврату, производило на обоих дикое, удручающее впечатление.

Собранная дядюшкой Дэном коллекция гравюр восточной эротики оказалась в художественном отношении дешевкой и полным абсурдом с точки зрения человеческой анатомии. На одной наиболее яркой и дорогой по исполнению картинке монголка с тупой вытянутой физиономией и с какой-то кошмарной высоченной прической совокуплялась с шестеркой довольно упитанных, маловыразительных лицом гимнастов как бы в витрине магазина, уставленной ширмочками, цветами в горшках, шелками, бумажными веерами и фаянсовой посудой. Трое, искривившиеся в позах, явно для себя неудобных, одновременно пользовались тремя основными входами в плоть распутницы; двое клиентов постарше обслуживали даму вручную; шестому, карлику, пришлось довольствоваться ее корявой ступней. Шестеро других сластолюбцев в это время обрабатывали ее партнеров сзади, а еще один сумел внедриться ей под мышку. Дядюшка Дэн, терпеливо распутав взглядом весь этот клубок конечностей и жировых складок, прямо или косвенно связанный с сохранявшей полную невозмутимость дамочкой (на которой задержались кое-какие остатки одежд), обозначил карандашом стоимость этой картинки, подписав: «Гейша с тринадцатью любовниками». Ван, между тем, углядел и пятнадцатый пупок, выведенный щедрой рукой художника, однако анатомическое продолжение отыскать не сумел.

Библиотека явилась незабываемым местом действия в сцене под названием Горящий Амбар; она распахнула стеклянные двери; сулила долгое идиллическое библиопоклонство; могла бы стать одной из глав в каком-нибудь старом романе, обитавшем на одной из ее же полок; привкус пародии придал этой теме свойственную нашей жизни комическую легкость.

22

Сестра, ты помнишь летний дол,

Ладоры синь и Ардис-Холл?

Скажи, ужель забыла ты

Ладорский замок у воды?

Ma soeur, te souvient-il encore

Du château que baignait la Dore?[142]

Сестра, ты видишь эти сны, —

Там плещут волны у стены?

Sestra moya, tï pomnish' goru,

I dub visokiy, i Ladoru?

Сестра, еще ты не забыла

Ветвистый дуб, пригорок милый?

Oh, qui te rendra mon Aline

Et le grand chêne et ma colline?[143]

Кто возвратит мою мне Джилл

И старый дуб, что был мне мил?

Oh, qui me rendra mon Adèle,

Et ma montagne et l'hirondelle?[144]

Oh, qui me rendra ma Lucile,

La Dore et l'hirondelle agile?[145]

Кто б выразить в словах умел,

Что он любил, о чем он пел.{48}

Они ходили на Ладору купаться, катались на лодке вдоль извилистых берегов любимой реки, все подыскивая рифмующиеся с нею слова, поднимались на гору к темневшим руинам Замка Бриана{49}, над башней которого все летали кругами стрижи. Ездили в Калугу, потчевались местными водами, наведывались к семейному зубному врачу. Листая журнал, Ван услышал, как за дверью Ада вскрикнула «черт!», чего прежде за ней не водилось. Заглядывали на чай к соседке, графине де Прэ, — пытавшейся (правда, безуспешно) продать им хромую лошадь. Посещали ярмарку в Ардсвилле, где больше всего понравились им китайские акробаты, клоун-немец и шпагоглотательница — княжна-черкешенка мощного телосложения; начавшая с фруктового ножичка, она продолжила аттракцион заглатыванием сверкающего драгоценными камнями кинжала, а в завершение запихнула себе в глотку здоровенную колбасину салями со всеми ее бичевками и этикетками.

Они предавались любви — по большей части в горных долинах и лощинах.

Физиологу средней руки энергия двух наших подростков показалась бы аномальной. Их обоюдная страсть делалась невыносимой, если за пару часов им не удавалось неоднократно ее утолить — где угодно: на солнцепеке или в тени, на крыше или в подвале. Несмотря на незаурядность собственного темперамента, Ван с трудом поспевал за своей пылкой, бледной маленькой amorette[146] (местный французский жаргон). Их неуемное злоупотребление физическим наслаждением доходило до полного исступления и непременно привело бы к сокращению двух юных жизней, не начни лето, сперва представлявшееся бесконечным зеленым потоком блаженства и свободы, подавать смутные намеки, что-де скоро кончится и скорчится в недуге его фуга — последнее утешение природы, радостные переклички (когда цветы и насекомые видом повторяют друг друга), что вот-вот, следом за первой ферматой последних августовских дней, наступит и первое замирание, предвещающее начало сентября. В тот год сады и виноградники были просто на загляденье; и как раз тогда прогнали Бена Райта за то, что позволил себе звучно испортить воздух, везя домой Марину и мадемуазель Ларивьер с Праздника сбора винограда, проходившего в Брантоме, неподалеку от Ладоры.

К слову вспоминается. Был в библиотеке Ардиса внесенный в каталог под рубрикой «Exot. Lubr.» один роскошный том (известный Вану благодаря услужливым заботам мисс Вертоград), а именно: «Запретные шедевры: сто картин из закрытых фондов Нац. Гал. (спец. секц.), отпечатано для Его Велич. короля Виктора{50}». То было (в великолепных цветных фоторепродукциях) исполненное неги и сладострастия собрание произведений, на которые осмеливались итальянские мастера в перерывах между непомерно частыми пробуждениями благочестия в пору непомерно долгого и похотливого Возрождения. Сам же том, забытый, украденный или припрятанный, оказался на чердаке среди личных вещиц дядюшки Ивана, иных весьма экстравагантного свойства. Ван никак не мог припомнить, чья же картина сохранилась в его памяти, но считал возможным, что то был

Микеланджело да Караваджо младой поры. На необрамленном холсте маслом запечатлены были за непристойным занятием нагие мальчик и девочка — то ли посреди увитого плющом или виноградом грота, то ли вблизи небольшого водопада с нависшей сверху, отягощенной крупными гроздьями прозрачного винограда темно-изумрудной, отливающей бронзой листвой; причем тени и незамутненные отражения плодов и листвы причудливым образом сливались в воде с отражением мраморно-живых тел.

И все же (возможно, то был чисто стилевой переход) Ван ощутил, будто перенесся внутрь того запрещенного шедевра, когда однажды днем, лишь только все уехали в Брантом, они с Адой нежились в солнечных лучах у самой грани Каскада, средь молодых лиственниц Ардис-парка, и когда его нимфеточка склонилась над ним и над его вполне конкретно обозначившимся желанием. Ее длинные прямые волосы, в тени казавшиеся сплошь иссиня-черными, теперь, на ярком, как бриллиант, солнце, посверкивали темными золотисто-каштановыми искрами, мешавшимися с густо-янтарным переливом отдельных прядей, прикрывавших ложбинку щеки или изящно раздваивавшихся на ее вздернутом, цвета слоновой кости, плече. Нежная упругость, аромат этих темных шелков, однажды в самом начале этого рокового лета все в Ване воспламенив, еще долго продолжали мощно, мучительно будоражить и после того, как его юная страсть открыла в Аде новые источники неистового блаженства. В девяносто Вану вспомнилось, что и во время первого в жизни падения с лошади не испытал он такого сильного помутнения сознания, как тогда, когда Ада впервые склонилась над ним и ее волосы отдались ему. Они щекотали ему ноги, заползая в промежность, плескались по всему вибрирующему его животу. Учащийся живописи, глядя сквозь них, смог бы постичь вершины мастерства школы trompe-l'oeil[147], монументальности многоцветия, проступающего из темноты фона, отлитого в профиль сгущением караваджиева цвета. Ада обволакивала ласками, обвиваясь вокруг него: так оплетает колонну своими усиками вьюн, льнет к ней все теснее, все теснее, все нежнее покусывает эту обвиваемую шею, пока не изойдет всей силой в глубинах багряной неги. Был виноградный лист, полумесяцем выеденный гусеницей бражника. Был известный специалист по микрочешуйчатокрылым, который, исчерпав латинские и греческие названия, напридумывал для классификации такие термины, как «мэрихизм», «адахизм», «аххизм». Это она. Чей кисти теперь портрет? Пьянящего Тициана? Пьянчуги Пальма Веккьо? Ну нет, она кто угодно, только не белокурая венецианка! Может, Доссо Досси? Фавн измотанный нимфой? Балдеющий сатир? Уж не свежая ли пломба язвит тебе язык? Вот и в меня впилась. Шучу, шучу, моя черкешенка, циркачка моя!

Но вот становится очевидной рука голландца: девочка ступает в водоем под небольшим водопадом, моет длинные свои волосы, в довершение незабываемо выжимает их, кривя при этом ротик, — что так же незабываемо.

Сестра, ту башню помнишь ли,

Что Мавританкой нарекли?

Сестра, ужели ты забыла

Ладоры явь и все, что было?

23

Все шло прекрасно, пока вдруг мадемуазель Ларивьер не вздумалось слечь в постель на пять дней: она потянула спину на карусели во время Праздника сбора винограда, избранного ею в качестве места действия очередного начатого рассказа (про то, как городской мэр задушил девочку по имени Рокетт), и, исходя из личного опыта, считала: ничто так не стимулирует творческий зуд, как le chaleur du lit[148]. На это время предполагалось, что присматривать за Люсетт станет вторая горничная — Франш, чей нрав был лишен добродушия, а внешность — изящества и женственности, присущих Бланш, потому Люсетт изо всех сил стремилась избавиться от ленивой служанки и искала общения с кузеном и сестрой. Роковые служанкины слова:

— Что ж, если мастер Ван позволит тебе пойти с ним…

Или:

— Конечно, я уверена, мисс Ада не будет возражать, если вы вместе сходите по грибы… — прозвучали приговором любовной вольнице.

Пока беззаботно предававшаяся отдыху дама занималась описыванием бережка того ручья, где любила прогуливаться крошка Рокетт, Ада, сидя с книгой на бережку аналогичного ручья, то и дело с тоской поглядывала на манящие густые заросли (частенько предоставлявшие приют нашим любовникам), а также на босоногого, загорелого Вана с закатанными выше щиколотки штанами, ищущего свои часы, решив, что обронил их где-то среди незабудок (запамятовав, однако, что они на руке у Ады). Забросив свою скакалку, Люсетт, опускаясь на корточки у края воды, пускала в плаванье свою крохотную резиновую куклу. Время от времени Люсетт выдавливала из нее восхитительной струйкой воду через дырочку, которую Ада не от большого ума продырявила на скользком оранжево-красном кукольном животе. Внезапно проявив нетерпение, свойственное неодушевленным предметам, куколка умудрилась ускользнуть вниз по течению. Сбросив под ивой штаны, Ван настиг беглянку. Ада, мгновение обдумывая ситуацию, прикрыла книгу и сказала Люсетт, провести которую не составляло большого труда, что она, Ада, чувствует, что вот-вот превратится в дракона, еще чуть-чуть — и покроется зеленой чешуей, да-да, свершилось, она уже — дракон, и значит, Люсетт необходимо привязать ее же скакалкой к дереву, чтоб Ван в нужный момент мог ее освободить. Люсетт почему-то стала упираться, однако силенок на сопротивление у нее не хватило. Крепко привязав к стволу ивы и оставив одну негодующую пленницу, Ван

с Адой взвились с места, изображая побег и погоню, и скрылись на несколько драгоценных мгновений среди хвойных зарослей. Бившейся у ствола Люсетт каким-то образом удалось ослабить один из красных веревочных охватов, и она уж было совсем высвободилась, но в этот момент принеслись обратно вскачь и дракон, и рыцарь.

Люсетт пожаловалась гувернантке, однако та, совершенно не разобравшись в происшедшем (к тому же, впрочем, и запутавшись в сочиняемом сюжете), призвала к себе Вана и, возлежа на кровати за ширмой, все в испарине, в облаке лекарственных ароматов, наказала ему воздерживаться от забивания головки Люсетт внушениями, будто она несчастная жертва из какой-нибудь сказки.

На следующий день Ада заявила матери, что Люсетт крайне необходимо принять ванну и что сама, хочет того гувернантка или нет, готова сестричке в том помочь.

— Хорошо, — сказала Марина (в тот момент в лучшей своей величественной манере готовясь принять соседа с его протеже, юным актером), — только чтоб температура была ровно двадцать восемь градусов (так было заведено еще с XVIII столетия), и не позволяй ей долго лежать, десять — двенадцать минут, не больше!

— Прекрасная идея! — говорил Ван, помогая Аде подогреть бак, наполнить водой старую, видавшую виды ванну и согреть полотенца.

Несмотря на то что ей всего лишь шел девятый год и на некоторое отставание в развитии, все же Люсетт не удалось избежать слабого намека на детский рыженький пушок. Под мышками у нее чуть поблескивали штрихами шелковинки, медно-золотистые волоски припорошивали пухлый пригорок.

Наконец жидкость заполнила камеру узницы, и будильнику было назначено прозвонить только через четверть часа.

— Пусть поотмокает, намылишь ее потом, — буркнул дрожа как в лихорадке Ван.

— Да, да, да! — выкрикнула Ада.

— Смотрите, я — Ван! — заявила Люсетт, держа меж ножками темно-красное мыло и выставив вперед лоснящийся животик.

— Если будешь так делать, — строго сказала Ада, — в мальчишку превратишься! И будет совсем не до смеха.

Девчушка несмело принялась погружаться ягодичками в воду.

— Очень горячая, — произнесла она. — Прямо жутко горячая!

— Нормальная, — отрезала Ада, — опускайся и лежи. Вот твоя кукла.

— Полно, Ада, ради Бога, оставь ее, потом! — бормотал Ван.

— И запомни, — продолжала Ада, — даже думать не смей выбираться из такой чудной теплой ванночки, пока не прозвенит будильник, иначе умрешь, как Кролик сказал. Я приду намылить тебя мылом, только не смей меня звать, нам надо перебрать все белье и отобрать Вановы носовые платки.

Двое старших, запершись в Г-образной ванной комнате изнутри, теперь удалились в самую ее глубину, в отсек между комодом и старым заброшенным катком для белья, недоступный для голубовато-зеленого зеркального ока в конце стены; но едва они успели завершить в этом укромном, не слишком удобном местечке свои неистовые экзерсисы под ритмичный аккомпанемент подскакивавшей на полке дурацкой пустой склянки из-под лекарства, как Люсетт уж принялась издавать звучные крики из ванной, а служанка забарабанила в дверь: мадемуазель Ларивьер также понадобилась теплая вода.

На какие только ухищрения не приходилось пускаться.

Скажем, однажды, когда Люсетт была особенно несносна, из носа у нее текло, она то и дело хватала Вана за руку, нудила и не отставала ни на миг, так что отвязаться от нее было прямо-таки невозможно, Ван, призвав на помощь всю силу убеждения, обаяния и красноречия, сказал Люсетт заговорщицким тоном:

— Послушай, золотко, видишь коричневый томик? Это одно из самых моих бесценных сокровищ. У меня в школьном пиджаке есть для него даже специальный карман. Знаешь, сколько мне приходилось драться с противными мальчишками, желавшими его украсть? А в томике этом (благоговейно переворачивает страницы) заключено такое богатство, собрание самых чудесных и знаменитых стишков, созданных на английском языке. Вот, к примеру, это крохотное стихотворение: его сочинил, проливая слезы, сорок лет тому назад поэт-лауреат Роберт Браун, однажды отец на побережье близ Ниццы мне его показал — тот, уже старый джентльмен, стоял высоко над нами на краю утеса под кипарисом и смотрел вниз на бирюзовые вспененные волны прибоя; это зрелище мне не забыть никогда. Стихотворение называется «Питер и Маргарет». Так вот, даю тебе, скажем (с серьезным видом поворачивается к Аде, прикидывая), сорок минут («Да дай ты ей час, она даже „Миронтон-миронтэн“ не способна выучить!») — отлично, даю тебе ровно час, чтобы ты выучила вот эти восемь строчек наизусть. Уж мы-то с тобой (переходит на шепот) сумеем доказать твоей злюке и задаваке сестрице, что глупышка Люсетточка тоже кое на что способна. И если (легонько проходясь губами по ее коротко стриженным волосам), если ты, солнышко мое, сможешь прочесть стишок без запинки, чем положишь Аду на обе лопатки, — только чур не путать «тут-там» или «так-как»! Старайся быть внимательной! — словом, если справишься, я подарю тебе эту драгоценную книжку насовсем. («Дай ей лучше то, где он подбирает перо и воочию видит самого Павлина, — буркнула Ада, — оно потруднее») — Нет-нет, мы с Люсетт уже выбрали вот эту маленькую балладу. А теперь иди-ка сюда (открывает дверь) и не выходи, пока я тебя не позову. Иначе не видать тебе награды, о чем ты будешь жалеть до конца своей жизни.

— Ах, Ван, какой ты милый! — проговорила Люсетт, медленно проходя в

свою комнату и не сводя восторженных глаз с Ванова автографа, запечатленного на форзаце его порывистым росчерком, а также с его восхитительных рисунков тушью – черной астры, получившейся из кляксы, дорической колонны (скрывающей собой что-то куда как непристойное), нежного, лишенного листвы деревца (видного из окна классной комнаты), нескольких ребячьих профилей (Кот-Чешир, Бык-Зог, Румянчик и собственный профиль Вана, похожий на Адин).

Ван поспешил вслед за Адой на чердак. В тот момент он был чрезвычайно горд своей находчивостью. Через семнадцать лет с пророческим содроганием ему придется вспомнить этот эпизод, когда он станет читать последнюю записку Люсетт, посланную ею 2 июня 1901 года из Парижа ему в Кингстон, в которой она «просто так» сообщала:

«Я многие годы хранила – должно быть, она и сейчас в детской в Ардисе – ту антологию, что ты когда-то мне подарил; а маленькое стихотворение, которое ты заставил меня выучить наизусть, и поныне содержится слово в слово в тайнике моей помутившейся памяти, где упаковщики топчут мои вещи, опрокидывают корзины и слышатся голоса: пора в путь, в путь. Отыщи его в стихах Брауна и вновь оцени способности восьмилетней девчушки, как оценили вы со счастливой Адой в тот далекий день, который где-то там позвякивает на полке пустой склянкой из-под лекарства. Теперь прочти вот это:

„Тут было поле, – бросил гид, –

То место было лесом,

Тут на колени опустился Пит,

Вон там была Принцесса“.

„Ну нет! – приезжий возразил,

Как взгляд безжизнен твой!

Луг сгинул, лес свое отжил,

Она же здесь, со мной!“»

24

Вана огорчало, что теперь Письмомания[149] (старая шутка Ванвителли!) была во всем мире запрещена, даже само название в семьях самой-самой высокой знати (в британском и бразильском понимании), к которой и Вины, и Дурмановы по рождению принадлежали,

стало восприниматься как нечто непристойное, и образовалась уж замена усовершенствованными суррогатами, воплощенными исключительно в таких наиважнейших «предметах обихода», как телефон, автомобиль — что еще? — и еще ряде всяких новейших приспособлений, о которых только и мечтает простонародье, пялясь, разинув рот и дыша часто-часто, как гончая (шутка ли, такую длинную фразу вынести!), а магнитофоны, эти безделицы, любимые игрушки предков Вана и Ады (князь Земский поставил по магнитофону у кроватки каждой школьницы своего гарема), уже более не производятся, может, только в Татарии, где их тайно выпускают в новом виде — «minirechi» («спикоминареты»). Если бы бытующие правила приличия и хорошего тона позволили нашим эрудитам-любовникам, стукнув хорошенько, привести в движение таинственный механизм, который однажды разыскали на чердаке, они могли бы записать на пленку (а также через восемь десятков лет прослушать) арии в исполнении Джорджо Ванвителли, равно как и беседы Вана Вина со своей возлюбленной. К примеру, вот что они могли бы услышать сегодня — испытав и удовольствие, и смущение, и печаль, и удивление.

(Голос рассказчика: в один прекрасный летний день, вскоре после начала поры поцелуев в их чересчур раннем и во многом роковом романе, Ван с Адой направлялись в Ружейный павильон, alias[150] тир, там они облюбовали на самом верхнем ярусе крохотную комнатку в восточном стиле, где за ныне пыльными стеклами шкафов некогда хранились, судя по темным очертаниями на выцветшем бархате, пистолеты и кинжалы, — уединение, полное прелести и грусти, не без примеси затхлости, с мягкой кушеточкой под окном и с чучелом прилугской совы на полке рядом с пустой бутылкой, оставленной уже усопшим старым садовником, с датой на полустертой этикетке «1842».)

— Только не греми оружием! — сказала Ада. — Люсетт за нами следит, когда-нибудь возьму и придушу ее.

Они шли через рощу мимо грота.

— Формально говоря, — рассуждала Ада, — мы с тобой двоюродные по материнской линии, а двоюродным нужно специальное разрешение для вступления в брак, они должны обещать, что первые пятеро из их потомства будут подвергнуты стерилизации. Но, кроме того, свекор моей матери — брат твоего деда. Ведь так?

— Да, все так! — с грустью отозвался Ван.

— Не достаточно дальнее родство, — задумчиво произнесла Ада, — или достаточное?

— Чем далее, тем лучше.

— Забавно… у меня как раз… в голове возникла эта фраза, только фиолетовыми буковками, а у тебя получилось оранжевыми…{51} буквально за секунду перед тем, как ты сказал… Сказал… сигнал… Так, сначала видишь дым вдали, а потом слышишь грохот пушки. С физической точки зрения, — продолжала Ада, — мы с тобой скорее близнецы, чем двоюродные, а близнецам, даже просто брату с сестрой, нельзя

жениться, разумеется, нет, иначе им грозит тюрьма, а будут упорствовать, их «выхолостят».

— Если только, — заметил Ван, — специальным указом их не провозгласят двоюродными.

(Ван уже отпирал дверь — ту самую, зеленую, в которую они, каждый в своем сне, так часто колотили бесплотными кулаками.)

В другой раз во время велосипедной прогулки (с несколькими остановками) по лесным тропкам и проселочным дорогам — вскоре после той ночи, Когда Горел Амбар, но до того, как обнаружили на чердаке гербарий, увидев в нем подтверждение тому, что уж сами предчувствовали со смутным наслаждением и именно физически, без моральных угрызений, — Ван вскользь упомянул, что родился в Швейцарии и в детстве дважды бывал за границей. Ада сказала, что была один раз. Лето в основном проводит в Ардисе; зиму — в их городском доме в Калуге — в двух верхних этажах чертога (палаццо) Земских.

В 1880 году Ван в десятилетнем возрасте отправился в путешествие по солнечным курортам Луизианы и Невады на серебристых поездах, оснащенных душем, в сопровождении отца, отцовой красавицы секретарши, восемнадцатилетней секретаршиной сестрицы, девицы в белых перчатках (частично исполнявшей роль гувернантки-англичанки, а также молочницы), и еще ангельски-целомудренного существа, учителя русской словесности — Андрея Андреевича Аксакова («А.А.А.»). Вспоминалось, как А.А.А. втолковывал негритенку, с которым Ван успел сцепиться, что в жилах Пушкина и Дюма текла африканская кровь, в ответ на что негритенок показал А.А.А. язык, и эту новую для себя проказу Ван не преминул воспроизвести, за что был награжден оплеухой младшей мисс Форчун, сказавшей при этом: «Потрудитесь, сэр, спрятать и больше не высовывать!» Еще Вану вспомнилось, как при нем один подпоясанный кушаком голландец в вестибюле отеля сказал приятелю, будто Ванов отец, который проходил мимо, насвистывая один из трех памятных ему мотивов, известный «картошник». (Картошку копает, что ли? Откуда же у него лопата? Ах нет, «картежник».)

До ученья мальчика в интернате, если им не случалось отправиться за границу, прелестный, во флорентийском стиле, дом отца меж двух незастроенных участков (Манхэттен, Парк-Лейн, 5) становился зимней обителью Вана (вскоре два стража-гиганта встали по обеим сторонам — из тех, кому дом с места стащить ничего не стоит). Летние месяцы, проводимые в поместье «Радугадуга», «еще одном Ардисе», были значительно холодней и скучней, чем проведенные в этом, в Адином Ардисе. Однажды как-то Ван пробыл здесь и зиму и лето; то было, должно быть, в 1878 году.

Конечно, конечно, ведь именно тогда, вспоминает Ада, она впервые увидала Вана. В маленькой белой матроске и синей матросской шапочке (Un régulier[151] ангелочек, прокомментировал Ван на характерном для Радуги жаргоне). Ему тогда было восемь, ей было шесть. Дядюшка Дэн неожиданно изъявил желание наведаться в старое поместье. В самый последний момент Марина заявила, что также поедет, и, невзирая на

все протесты Дэна, подхватила маленькую Адочку — хоп-ла! — вместе с ее обручем к себе в calèche. Скорее всего, рассуждала Ада, они сели на поезд в Ладоге до Радуги, потому что ей вспоминалось, как начальник станции со свистком на шее шел по платформе мимо замерших экипажей местных жителей и с клацаньем захлопывал одну за другой двери всех вагонов, по шесть в каждом, а каждый вагон состоял из сцепленных вместе карет тыквенного образца и об одном оконце. Ван назвал это «башней во мгле» (в духе ее любимого образа), а затем, когда поезд тронулся, кондуктор всходил на подножку каждого вагона уже тронувшегося поезда, и снова открывались все двери и продавались, компостировались, собирались билеты, и мусолился палец, пересчитывая сдачу, работка адова, зато — еще одна «розово-лиловая башня». Нанимали они автодроги до Радугидуги? Дотуда миль десять, наугад сказала Ада. Десять верст, поправил Ван. Ада стерпела. Он был не в доме, вспоминал Ван, на прогулке среди мрачного ельника со своим наставником Аксаковым и Багровым-внуком, соседским мальчишкой, которого поддразнивал, щипал, над которым до невозможности потешался, — милым и тихим малолеткой, имевшим тихую, похоже, патологическую страсть к зверской расправе над ночными бабочками, кротами и иными пушистыми существами. Однако когда семейство заявилось, стало совершенно ясно: дам Демон никак не ждал. Он восседал на террасе, попивая златодар (подслащенный виски) в обществе, по его утверждению, удочеренной им, прелестной ирландской дикой розочки, в ком Марина тотчас же узнала бесстыжую судомойку, краткое время служившую в Ардис-Холле, а затем похищенную каким-то неизвестным джентльменом — теперь уж ясней ясного каким. Подражая своему игривому кузену, в ту пору дядюшка Дэн пристрастился к моноклю, каковой и вдел в глаз, разглядывая эту Розочку, которой, не исключено, и он был обещан (тут Ван прервал свою собеседницу, посоветовав ей последить за выражениями). Вышла не встреча, а сущий кошмар. Сиротка лениво сняла жемчужные серьги, чтоб предъявить Марине. Из будуара приплелся колченогий дед Багров, спросонья приняв Марину за grand cocotte[152], что наша разъяренная леди поняла уже после, когда сумела наконец добраться до бедняги Дэна. Не оставшись на ночь, Марина гордо удалилась, призвав с собой Аду, которая, изначально получив указание «поиграть в саду», стянутой у Розы помадой под собственное бормотание метила кроваво-красными цифрами белые стволы рядком стоящих берез, вероятно, в преддверии какой-то игры, какой не помнит — вот жалость, огорчился Ван, — и тут мамаша ее подхватила и увезла на том же такси прямехонько в Ардис, оставив Дэна — наедине с его мороками и пороками, вставил Ван, — и прибыв домой к рассвету. И все же, добавила Ада, перед тем как ее умчали прочь, отобрав пишущий инструмент (помаду Марина зашвырнула подальше, к чертям собачьим (to hell's hounds) — выражение почему-то напомнило Аде Розиного терьера, все пытавшего пристроиться к Дэновой ноге), ей было уготовано судьбой запечатлеть беглым взглядом чарующий образ мальчика Вана, который вместе с еще одним хорошеньким мальчиком и белокуробородым Аксаковым в белой толстовке шел в сторону дома, после чего она, да-да, она и думать забыла про свой обруч, — хотя нет, он остался в такси. Что же касается Вана, то у него никаких воспоминаний как от того визита, так и о том лете не осталось, ведь все-таки жизнь отца всегда походила на вечно цветущий сад, и самого Вана не единожды поглаживали ласковые и без перчаток руки, а это Аде знать было неинтересно.

Ну а теперь не вспомнить ли 1881 год, когда девочек, одной восемь-девять, а другой пять, возили на Ривьеру, в Швейцарию, к озерам Италии вместе с приятелем Марины, некой театральной знаменитостью по имени Гран Д. Дюмон («Д» к тому же намекало на девичью фамилию его матери — Дюк, des hobereaux irlandais, quoi[153]), благоразумно предпочитая то «Средиземноморский Экспресс», то «Симплонский», то «Восточный», а то и любой train de luxe[154] подхватывал трех представительниц семейства Винов вместе с гувернанткой-англичанкой, русской няней и двумя горничными, в то время как недоразведенный Дэн отправлялся куда-то в экваториальную Африку фотографировать тигров (которых, на его удивление, там не оказалось), а также иных кровожадных и диких животных, науськанных пересекать дорогу перед самым носом у автомобилиста, а также пышнотелых африканок где-то в гостеприимном приюте для туристов средь дебрей Мозамбика. Когда сестры играли в «сверку дорожных впечатлений», Ада, конечно же, куда лучше Люсетт припоминала и маршруты, и ландшафты, и моды, и крытые галереи со всевозможными магазинами, и красивого загорелого мужчину с черными усами, что все пялился на нее из своего угла в ресторане Манхэттен-Палас в Женеве; однако Люсетт, хоть была и много моложе, запоминала кучу всякой ерунды, какие-то «башенки», какие-то «бочоночки», бирюльки прошлого. Она, cette Lucette[155], походила на маленькую героиню «Ah, cette Line!»[156] (одного популярного романа), «эдакой окрошки из сметливости, глупости, наивности и лукавства». Между прочим, Люсетт созналась, Ада вынудила ее сознаться, все было, как Ван и подозревал, а именно наоборот, — когда они вернулись к оставленной в бедственном положении крошке, та как раз изо всех сил трудилась, чтобы не высвободиться, а снова привязаться, потому как, вырвавшись, подглядывала за ними сквозь кусты.

— О Господи! — воскликнул Ван. — Вот почему она тогда так держала мыло!

Ах, да подумаешь, какое это имеет значение, пусть только, говорила Ада, бедняжке в Адином возрасте выпадет такое же счастье, любимый, любимый, любимый, любимый! Ван надеялся, что оставленные в кустах велосипеды сверканием металла сквозь листву не привлекут внимания никого из проезжавших по лесной дороге.

Потом они все пытались определить, сходились ли как-то в тот год в Европе их пути, а может, чуть-чуть шли параллельно и близко друг от друга. Весною 1881 года одиннадцатилетний Ван провел пару месяцев со своим учителем русской словесности и камердинером-англичанином на вилле своей бабушки близ Ниццы, в то время как Демон проводил время куда как успешнее на Кубе, чем Дэн в Мокубе. В июне Вана повезли во Флоренцию, в Рим и на Капри, где на короткое время появился его отец. Они расстались снова, Демон отплыл обратно в Америку, а Ван с учителем отправился сперва в Гардоне, на озеро Гарда, где Аксаков с благоговением показывал ему на мраморных плитах отпечатки ног Гете и д'Аннунцио{52}, а затем осенью недолгое время они прожили в гостинице в горах над озером Леман{53} (где некогда бродили Карамзин и граф Толстой). Подозревала ли Марина, что Ван в 1881 году находился примерно в тех же краях, что и она? Пожалуй, нет. Обе

девочки подхватили в Канне скарлатину, Марина же со своим Грандиком была тогда в Испании. После тщательного выстраивания воспоминаний Ван с Адой пришли к выводу: ничего невероятного не могло быть в том, если бы однажды на одной из петляющих дорог в окрестностях Ривьеры они вдруг проехали мимо друг друга в наемных экипажах с откидным верхом, зеленого цвета и зеленой упряжью, как запомнилось им обоим; или, может, оказались в двух разных поездах, возможно, двигавшихся в одном направлении — и девочка, сидевшая у окна в спальном вагоне, скользила взглядом по коричневому спальному вагону шедшего рядом поезда, который постепенно отклонялся в сторону мерцающей бескрайности моря, видного из окна мальчику по другую сторону железнодорожных путей. Для романтической яви вероятность была ничтожно мала, и не внушала особой уверенности мысль о том, что они могли пройти или проехать мимо друг друга на набережной какого-нибудь швейцарского городка. Но поскольку Ван непроизвольно высвечивал лучом устремленной назад мысли эту мглу прошлого, в котором узкие, с зеркальным отражением, тропы не только ведут в разные стороны, но проходят и на разных уровнях (подобно тому, как влекомая мулом повозка проезжает под аркой виадука, по которому проносятся авто), он чувствовал, что прикасается, пока еще неявно и праздно, к знаниям, которым впоследствии суждено с одержимостью притягивать его в зрелые годы, — к проблемам пространства и времени, пространства в противовес времени, пространства, спутанного временем, пространства как времени, времени как пространства — и пространства, отчуждающегося от времени в завершающей трагической победе человеческой мысли: я умираю, следовательно, я существую.{54}

— Но ведь это, — воскликнула Ада, — существует на самом деле, это и есть реальность, чистейший факт — этот лес, этот мох, твоя рука, божья коровка у меня на ноге, этого у нас никогда не отнять, ведь так? (отнимут, отняли). Ведь все же сошлось воедино, вот здесь, как бы ни разветвлялись пути, прячась друг от дружки: они все равно сошлись здесь!

— Теперь надо отыскать наши велосипеды, — сказал Ван, — мы заплутали «в другой части леса».

— Ну, пожалуйста, не будем пока возвращаться! — взмолилась Ада. — Побудем еще!

— Но должен же я определить время и наше местонахождение! — заметил Ван. — Хотя бы просто так, из умозрительных соображений.

День клонился к вечеру; объятое мраком небо сохраняло лишь узкой полоской на западе сияющий отблеск, след догорающего солнца; всем нам доводилось встречать неизвестного прохожего, спешащего через улицу, не успев погасить улыбки, вспыхнувшей давеча при виде доброго знакомого, — и вмиг она меркнет под взглядом встречного, не вникшего в суть и принявшего улыбку за оскал психопата. Измыслив подобную метафору, Ван с Адой пришли к решению, что действительно пора домой. Когда проезжали через Гамлет, вид русского трактира вызвал у них такой прилив аппетита, что они, соскочив с велосипедов, нагрянули в маленькую полутемную таверну. Кучер звучно прихлебывал чай из блюдца, придерживая его громадной ручищей, — не хватало только, как

в старых романах, связки баранок. В этой пропитанной парами забегаловке больше и не было никого, только женщина в платке, pleading with (уговаривающая) болтавшего ногой парня в красной рубахе доесть уху. Оказавшись трактирщицей, она поднялась, «вытирая руки о передник», и принесла Аде (которую сразу признала) с Ваном (в ком заподозрила, и не без оснований, «молодого человека» юной помещицы) маленьких «гамбургеров» на русский манер, именуемых биточки. Уплели по пол-дюжине каждый — после чего извлекли из-под жасминовых зарослей свои велосипеды и покатили дальше. Пришлось включить карбидные фары. Перед тем как окунуться во тьму Ардис-парка, сделали еще одну последнюю остановку.

По некоторому странному поэтическому совпадению они застали Марину с мадемуазель Ларивьер пьющими чай на застекленной, в русском стиле, веранде, где накрывали редко. Наша романистка, уже вполне оправившаяся после недуга, однако все еще пребывавшая в цветистом неглиже, только что закончила читать вслух первый удобоваримый вариант (который завтра предстояло допечатать на машинке) своего нового рассказа потягивающей токай Марине, которая пребывала в le vin triste[157] и была глубоко подавлена самоубийством джентльмена «аи сои rouge et puissant de veuf encore plein de sève»[158], который, напуганный, так сказать, страхом своей жертвы, слишком сильно сдавил шейку девочки, изнасилованной им в порыве «gloutonnerie impardonnable»[159].

Выпив стакан молока, Ван внезапно ощутил такой прилив сладкой истомы, наполнившей все члены, что решил немедля отправиться спать.

— Tant pis[160], — проговорила Ада, жадной рукой потянувшись за кексом (по-английски fruit cake). И полюбопытствовала: — В гамак?

Едва стоявший на ногах Ван покачал головой и, поцеловав скорбно протянутую Мариной руку, удалился.

— Tant pis, — повторила Ада и в своей неукротимой ненасытности принялась густо мазать маслом увесистый кусок кекса — поверх шершавой, позолоченной желтком поверхности, инкрустированной изюмом, дягилем, вишневыми цукатами, цедрой.

Мадемуазель Ларивьер, с содроганием сердца и с отвращением следившая за действиями Ады, заметила:

— Je rêve. Il n'est pas possible qu'on mette du beurre par-dessus tout cette pâte britannique, masse indigeste et immonde![161]

— Et ce n'est que la primière tranche![162] — заявила Ада.

— Не хочешь ли посыпать корицей свою lait caillé[163]? — спросила Марина. — Знаете, Бэлль (обращаясь к мадемуазель Ларивьер), — она называла это «попесочить снежок», когда была малюткой.

— Малюткой она вовсе не была! — патетически возразила Бэлль. — Еще ходить не умела, а уж готова была сломать хребет своему пони!

— Интересно, — сказала Марина, — сколько миль вы отмахали, что наш атлет до такой степени сдох?

— Семь всего лишь, — ответила Ада, улыбчиво жуя.

25

Солнечным сентябрьским утром, когда деревья еще хранили зеленую листву, но уже начали появляться по канавам и рвам астры и мелколепестники, Ван уезжал в Ладогу, Сев. Ам., чтобы провести там две недели с отцом и тремя репетиторами, прежде чем вновь приступить к занятиям в холодной Луге, штат Майн.

Ван поцеловал Люсетт в обе ямочки и потом еще в шейку — и подмигнул чопорной Ларивьер, обратившей свой взор к Марине.

Настала пора отправляться. Его провожали: Марина в своем шлафроке; Люсетт, ласкавшая (за неимением лучшего) Дэка; мадемуазель Ларивьер, еще не подозревающая, что Ван оставил в доме книгу, которую она подарила ему накануне с дарственной надписью; десятка два щедро одаренных чаевыми слуг (среди которых мы углядели посудомоя Кима с фотоаппаратом) — чуть ли не все население дома, кроме Бланш, сославшейся на головную боль, и Ады, которая просила ее извинить, поскольку обещала навестить в то утро какого-то старого немощного селянина (Ах, какая девочка, до чего добрая душа — так пылко, так мудро подметила Марина).

Черный дорожный сундук и черный чемоданчик и черные тяжеленные гантели Вана были погружены в багажник семейного авто; Бутейан надел явно великоватую капитанскую фуражку и виноградно-синие защитные очки; «remouvez votre[164] задницу, я сяду за руль», — сказал Ван, и лето 1884 года закончилось.

— Она душевно покатит, сэр, — заверил Бутейан на своем странноватом, старомодном английском. — Tous les pneus sont neufs[165], но, увы, на дороге множество камней, а юность стремится к скорости. Месье следует поостеречься. Не знают скромности ветра пустынных мест. Tel un lis sauvage confiant au désert…[166].

— Да вы, право, говорите, точно слуга в старомодной комедии! — сухо заметил Ван.

— Non, Monsieur, — отвечал Бутейан, придерживая на голове фуражку. — Non. Tout simplement j'aime bien Monsieur et sa demoiselle[167].

— Если, — сказал Ван, — вы имеете в виду малютку Бланш, я посоветовал бы вам цитировать Делиля{55} не мне, а своему сынку, это он валяет ее каждый Божий день.

Старый француз бросил на Вана косой взгляд, пожевал губами (chewed his lips), но ничего не сказал.

— Вот здесь надо бы на пару минут остановиться, — сказал Ван, лишь только доехали до Лесной Развилки как раз за Ардисом. — Хочу набрать грибов для папеньки, кому непременно передам от вас поклон (Бутейан изобразил некий жест признательности). Этот чертов ручной тормоз наверняка поставили еще до того, как Людовик XVI переселился в Англию.{56}

— Требует смазки, — заметил Бутейан и взглянул на часы. — О да, времени вполне достаточно, чтоб поспеть на поезд 9.04.

Ван ринулся в густые заросли. Его наряд — шелковая рубашка, бархатный пиджак, черные бриджи и жокейские сапоги со шпорами-звездочками — был вряд ли удобен, когда прйчйр фхДсу ьйхйм пшцчА и хшьйо цикъыщнАь Аде в естественно образованной кронами осин беседке; они щчумуршД в хзББЁщпп, после чего она сказала:

— Да, чтоб не забыть! Вот тебе шифр нашей переписки. Выучи наизусть, а листок съешь, как подобает предусмотрительным шпионам.

— До востребования — в оба конца! Жду три письма в месяц, не меньше, любимая моя белоснежка!

Впервые в жизни он видел ее в таком ослепительном платье, тонком, почти как ночная рубашка. Волосы она заплела в косу и, как ему показалось, была похожа на юную сопрано Марию Кузнецову{57} в сцене с письмом из оперы Чшщайкова «Онегин и Ольга».

Ада по мере девичьих сил тщилась сдержать, отвести рыдания, переводя их в возглас удивления, указывая на какое-то мерзкое насекомое, пристроившееся на стволе осины.

(Мерзкое? Мерзкое? Да это был только что открытый, фантастически редкий экземпляр Nymphalis danaus Наб. из рода ванесс, оранжево-бурая, с черно-белыми передними кончиками крыльев, по окраске напоминавшая, как выяснил ее открыватель, профессор вавилонского колледжа в Небраске, не собственно бабочку «монарха», а этого «монарха» видом бабочки «вице-король», одной из известных и искусных ее имитаторш. Гневная приписка Ады.)

— Завтра, бабочка моя, — с горечью сказал Ван, — ты придешь сюда со своим зеленым сачком.

Она покрыла поцелуями его лицо, она целовала его руки и снова губы, веки, мягкие темные волосы. Он обцеловывал ей ноги, колени, ее мягкие темные волосы.

— Когда же, любимый, когда же снова? В Луге? Калуге? Ладоге? Когда, где?

— Не то, нет, не то! — воскликнул Ван. — Главное, главное, самое главное… чтоб ты была мне верна, будешь мне верна?

— Не плюйся, любимый, — проговорила с тусклой улыбкой Ада, смахивая следы многочисленных «т», и «б», и «в». — Не знаю. Я обожаю тебя.

Никогда не полюблю другого, как тебя, никогда, нигде, ни в земной, ни в загробной жизни, ни в Ладоре, ни на Терре, где, как говорят, бродят наши души. Но! Но, мой Ван, мой любимый, я чувственна, я жутко чувственна и не знаю, честное слово, qu'y puis-je?[168] О Боже, не проси меня, в школе есть девочка, она в меня влюблена, я не соображаю, что говорю…

— Девицы не в счет, — говорил Ван, — но я убью всех мальчишек, которые будут возле тебя крутиться. Прошлой ночью пытался написать тебе стихи об этом, но стихи писать не умею; только начало звучит, самое начало: Ада, отрада, сень сада… остальное как в тумане, попробуй домыслить сама.

Они обнялись в последний раз, и не оглядываясь, бегом он ринулся прочь.

Спотыкаясь о дыни, с яростью сбивая жокейским хлыстиком головки заносчиво тянущегося вверх фенхеля, Ван вернулся к Лесной Развилке. Его поджидала поддерживаемая под уздцы юным мавром любимая вороная кобыла Траурница. Отблагодарив грума пригоршней стелл, Ван пустил лошадь в галоп, перчатки его были мокры от слез.

26

В пору первой разлуки Ван с Адой использовали для переписки особый шифр, который совершенствовали в течение всех пятнадцати месяцев с момента отъезда Вана из Ардиса. Эта разлука продлилась почти четыре года («наша черная радуга», как звала ее Ада) — с сентября 1884 года по июнь 1888, включив в себя две кратких, полных неописуемого восторга интерлюдии (в августе 1885 и в июне 1886) да пару случайных свиданий («сквозь решетку дождя»). Толкование шифров — скучное занятие; все же придется обозначить несколько основополагающих моментов.

Слова в одну букву оставались как есть. В каждом же полновесном слове каждая буква заменялась следующей в ряду алфавита в зависимости от числа букв в слове — второй от нее по алфавиту, или третьей, или четвертой, или пятой и так далее. Так, четырехбуквенное слово «твой» становилось «цётн» («ц» в алфавите идет четвертой после «т», «ё» — четвертой после «в» и т. п.), тогда как слово «любовь» (набор букв в котором дважды вынуждал выходить за пределы алфавитного цикла и начинать цикл сначала) превращалось в «сДжфзВ», где заглавными помечались буквы второго алфавитного цикла: так, например, вместо «ю», от которого надо было отсчитать вперед шесть знаков (слово «любовь» состоит из шести букв) — я, А, Б, В, Г, Д — появлялось «Д»; так же и «ь» попадал своим обозначением во второй цикл, становясь «В». В популярных изложениях теорий космоса (изданиях, легко и непринужденно начинающихся с ясных и понятных фраз) внезапно случается ужасное: они начинают сыпать математическими формулами, и мозг уже перестает дальнейшее воспринимать. В наши намерения подобное не входит, если только шифр наших любовников (уже сам по себе эпитет «наших» может вызвать

раздражение, что поделаешь) воспримется с чуть большим вниманием и чуть меньшей антипатией, то можно положиться, что и не слишком большого ума читатель сумеет уяснить это «перетекание» в очередной алфавитный цикл.

К несчастью, возникли осложнения. Ада выступила с некоторыми усовершенствованиями, как то: начинать каждое послание с зашифрованного французского, после первого слова переходить на зашифрованный английский, затем после первого слова из трех букв снова возвращаться на французский, и так метаться туда-сюда, добавляя все новые сложности. С введением этого новшества послания сделалось даже труднее читать, чем писать, в особенности потому, что оба корреспондента, преисполненные сладким чувственным нетерпением, что-то вставляли, что-то вычеркивали, делая ошибки в словах и в шифровке, став одновременно и жертвами невыразимой тоски, и жертвами переусложненности своих криптограмм.

Во втором, начавшемся в 1886 году периоде разлуки шифр был коренным образом изменен. Оба, и Ван, и Ада, знали наизусть семидесятидвухстрочную поэму Марвелла «Сад» и сорокастрочное стихотворение Рембо «Mémoire». Именно оттуда заимствовали они буквы для своих писем. Слово обозначалось, например, таким образом: с.2.11 с. 1.2.20 с.2.8, где «с.» и цифра за ней обозначали строку и ее номер в поэме Марвелла, а следующая цифра — позицию нужной буквы в этой строке, иными словами, «с.2.11» означало: «вторая строка, одиннадцатая буква». По сути, все было ясно до предела; если в качестве дополнительно путающей уловки привлекалось стихотворение Рембо, то для указания строки использовалась прописная «С», и только. Но все-таки разъяснять — скучное занятие, ведь разъяснения увлекательны, только если хочется (боюсь, не нам) в примерах выискать ошибки. Словом, вскоре выяснилось, что у этого варианта гораздо больше пороков, чем в первоначальном шифре. Из соображений конспирации нельзя было иметь под рукой для проверки книгу или переписанный текст стихотворений, и какой бы незаурядной памятью оба ни обладали, все же погрешностей избежать не могли.

Весь 1886 год они продолжали переписываться с прежней частотой — не менее письма в неделю; но, что любопытно, в третий период их разлуки — с января 1887 по июнь 1888 года (после длинного-длинного междугородного разговора и очень краткого свидания) письма их становились все реже и реже, сократившись до двадцати от Ады (причем весной 1888 их уж было всего два-три) и до примерно вдвое большего числа от Вана. Никаких отрывков из их переписки мы здесь привести не можем, поскольку все письма были уничтожены в 1889 году.

(Я бы полностью опустила эту короткую главу. Приписка Ады.)

— Марина блестяще о тебе отзывается и пишет «уже чувствуется осень». Это так по-русски. Твоя бабушка в эту пору, даже если в окрестностях Виллы Армина стояла жара, всегда регулярно произносила то же «already-is-to-be-felt-autumn». Марина всегда считала, что «Армина» — именно ее имени анаграмма, а не той «marina», что «морская». Выглядишь превосходно, сынок мой, хотя могу себе представить, как надоело тебе общение с ее малышками. А потому у меня предложение…

— Да нет, девчушки прелесть, — умиленно заверил отца Ван, — особенно мила крошка Люсетт.

— У меня предложение отправиться со мной сегодня на коктейль. Устраивает замечательная вдовушка некого майора де Прэ — неким образом родственника нашего покойного соседа, стрелка отменного, только темновато оказалось на Выгоне и внезапный вопль сунувшегося под руку мусорщика пришелся не к месту. Так вот, эта замечательная и влиятельная дама, стремящаяся оказать услугу одному моему другу (кашляет), имеет, насколько мне известно, пятнадцатилетнюю дочь по имени Кордула, общение с которой, несомненно, послужит для тебя компенсацией безотрадного лета, убитого в лесу Ардиса на игры в жмурки с двумя малолетками.

— Мы в основном играли в скраббл и снап, — вставил Ван. — А что, нуждающийся друг твой также моей возрастной категории?

— Она будущая Дузе, — строго заметил Демон. — И нынешний вечер призван дать ей «профессиональный толчок». Ты займешься Кордулой де Прэ, я — Корделией О'Лири.{58}

— D'accord![169] — кивнул Ван.

Мамаша Кордулы, перезрелая, переусердствовавшая в нарядах и перехваленная комическая актриса, представила Вана акробату-турку с роскошными орангутаньими, сплошь в рыжевато-каштановых волосах, лапищами и с глазами шарлатана, — но оказалось, напротив, он большой мастер в цирковом деле. Ван настолько был захвачен беседой с ним, с таким восторгом ловил советы профессионала, исполненный зависти, тщеславия, благоговения и прочих свойственных юности чувств, что у него почти не осталось времени ни на Кордулу, низенькую, приземистую, краснолицую девицу в темно-красном шерстяном свитере с высоком воротом, ни даже на сногсшибательную юную леди, чьей обнаженной спины едва касалась рука отца, когда тот направлял ее в сторону того или иного нужного гостя. Однако в тот же вечер Ван столкнулся с Кордулой в книжной лавке, и она сказала:

— Между прочим, Ван, — ведь я могу называть тебя просто по имени, верно? — твоя кузина Ада — моя школьная подруга. Вот так-то! А теперь объясни, пожалуйста, чем ты покорил нашу взыскательную Адочку? В первом же письме из Ардиса она буквально захлебывалась от восторга — это Ада-то! — до чего мил, умен, своеобразен, неотразим…

— Глупости! Когда это было?

— По-моему, в июне. Потом прислала еще одно письмо, в ответ на мое… потому что я ужасно приревновала к тебе… честное слово! — и буквально засыпала ее всякими расспросами — ну, а ответ на мое письмо был уклончив и о Ване практически ни слова.

Теперь он взглянул на Кордулу с особым вниманием. Он где-то читал (если постараться, мы припомним точное название источника, только не Тильтиль, это из «Синей Бороды»{59}), что мужчина может без труда определить лесбиянку, молодую и одинокую (ведь пожилую пару определенного свойства узнает всякий), по трем характерным чертам: по слегка подрагивающим рукам; ледяному, бесстрастному тону и по паническому страху в глазах, если мужчине вздумается пройтись оценивающим взглядом по прелестям, которые обстоятельства вынуждают ее выставлять напоказ (как то: красивые обнаженные плечи). Ничего такого (а именно — «Mytilène, petite isle»[170] Луи Пьера{60}) как бы не было свойственно Кордуле, стоявшей перед ним, запустив руки в карманы «гарботоша» (макинтоша с поясом), из-под которого виднелся ее жутко безвкусный свитер, и смотревшей ему прямо в глаза. Ее коротко стриженные волосы имели цвет непонятный, нечто среднее между сухой соломой и подмокшей соломой. Блекло-голубая радужка, такая же, как у миллионов бесцветных уроженцев французской Эстотии. Миленький кукольный ротик; если намеренно губы свести и выпятить — обозначатся по бокам, как выражаются портретисты, «два серпика», которые, в лучшем случае, кажутся продолговатыми впадинками, в худшем, морщинками, как на подмороженных щеках у девок в валенках с яблочных возов. Стоило губам Кордулы разомкнуться, как сейчас обнажились стянутые пластиной зубы, которые она тут же догадалась прикрыть.

— Моя кузина Ада, — сказал Ван, — в свои одиннадцать-двенадцать лет еще слишком мала, чтоб влюбляться по-настоящему, а не в книжного героя. Да, на мой взгляд, она мила. Возможно, капельку из разряда «синих чулков», вдобавок несколько дерзка и капризна… однако же весьма мила.

— Ну-ну… — пробормотала Кордула с такой восхитительной глубокомысленностью, что Ван не мог понять, то ли она тему закрывает, то ли оставляет ее открытой, то ли готова перевести разговор на другую.

— Как связаться с тобой? — спросил он. — Может, приедешь в Ривердейн? Как у тебя с девственностью?

— С хамами не общаюсь, — невозмутимо отрезала Кордула, — хотя «связаться» со мной всегда можно через Аду. (Со смехом.) Мы с ней и в прямом, и в переносном существа не одноклассные; она имеет склонность к гениальности, я же из заурядных американских амбивертов{61}, хотя мы с нею в одной французской группе высшего уровня, а воспитанницы этой группы помещены в отдельный дортуар, чтоб дюжина блондинок, три брюнетки и одна рыженькая, Рыжулька, могли перешептываться по-французски во сне. (Смеется своим словам.)

— Море удовольствия! Что ж, благодарю. Судя по четности, кроватки двухъярусные. Наше вам! — как выражается шпана.

В своем очередном зашифрованном письме к Аде, Ван поинтересовался, не та ли Кордула лесбияночка, о которой Ада упомянула с праздным чувством вины. Еще немного, и приревную тебя даже к твоей нежной ручке. Ада отвечала: «Что за чушь! Мало ли о ком я упоминала, забудь!»; но даже не подозревая еще, что Ада, прикрывая сообщников, способна на вопиющее вранье, Ван от своих подозрений не отказался.

Законы школы, где училась Ада, были старомодны и суровы буквально до идиотизма, однако Марине внушали ностальгические воспоминания о русском Институте благородных девиц в Юконске (где она подобные же законы нарушала с куда большей легкостью и успехом, чем Ада с Кордулой или Грейс в Браунхилле). Младшим воспитанницам разрешалось встречаться с мальчиками раза три-четыре в семестр во время кошмарных, устраиваемых в гостиной и в присутствии классной дамы чаепитий с розовыми пирожными, девочка же двенадцати-тринадцати лет могла в сопровождении более старшей и нравственно безупречной ученицы раз в три недели по воскресеньям встречаться с каким-нибудь мальчиком из почтенного семейства в официально установленном месте — молочном баре неподалеку от школы.

Ван так сильно желал увидеться с Адой, что надеялся запустить в ход все свои чары, чтоб превратить любую девицу-эскорт в неодушевленный и безучастный предмет. Подобные «свидания» требовали заблаговременного, по крайней мере недели за две до события, разрешения со стороны матери юной жертвы. Услыхав в трубке вкрадчивый вопрос классной дамы мисс Клефт, Марина заметила ей, что скорее всего Аде провожатая не потребуется, так как встречается она с кузеном, с которым все лето они только и вились друг подле друга.

— Об этом-то и речь! — подхватила мисс Клефт. — Две юные вьющиеся розочки как раз и склонны сплетаться меж собой, а где цветы, там и шипы.

— Так ведь они практически брат и сестра! — воскликнула Марина, полагая, как многие неумные люди, что слово «практически» обладает двойным воздействием — приглушая истинный смысл, выдает трюизм за истину.

— Это еще опасней, — кротко ответила мисс Клефт. — И все же я готова на компромисс. Попрошу милую Кордулу де Прэ составить им компанию: она в восторге от Вана и обожает Аду, — таким образом, в итоге — надежно и выгодно! (Избитый жаргон — избитый уже тогда.)

— Помилуйте, что за фигли-мигли (mimsey-fimsey)! — пробормотала Марина, вешая трубку.

В мрачном расположении духа, не зная, что ожидать (если б знал, мог настроиться на тяжелое испытание), Ван поджидал Аду за школой на аллейке, темной и унылой, в лужах которой отражалось хмурое небо, мимо тянулась ограда хоккейной площадки. Ученик местной школы, «разряженный в пух и прах», стоял у ворот чуть поодаль, тоже кого-то поджидал.

Ван уж собрался обратно на станцию, как вдруг появилась Ада — при

ней Кордула. La bonne surprise[171]! С чудовищно наигранной сердечностью Ван приветствовал обоих. (А, милая кузина, ну, как поживаешь? О, Кордула! Кто из вас эскорт — ты или мисс Вин?) Милая кузина вырядилась в черный блестящий дождевик и клеенчатую шляпку с опущенными вниз полями, как бы изготовившись к спасению жертв стихии на суше и на море. Маленький круглый пластырь не слишком ловко маскировал прыщ на подбородке сбоку. Изо рта у Ады пахнуло эфиром. Она была еще мрачней, чем Ван. Он бодрым голосом предположил, что собирается дождь. Тот таки припустил — сильный. Кордула заметила, что у Вана шикарный плащ. Сказала, за зонтами можно не возвращаться — долгожданная цель совсем близко, стоит лишь угол обогнуть. На что Ван заметил, что угол сгибать нельзя; более или менее смешно. Кордула рассмеялась. Ада смолчала: по-видимому, спасать ей уже было некого.

Молочный бар оказался до такой степени забит, что они решили пройтись под сводами пассажа к привокзальному кафе. Ван понимал (и ничего не мог с этим поделать), что будет терзаться всю ночь, оттого что намеренно пренебрег обстоятельством — тем главным, тем мучительным обстоятельством, что не виделся со своею Адой почти три месяца и что последняя ее записка пылала такой страстью, что взорвался мыльный пузырь шифровки с жалкими словами обещаний и надежд, вскрыв дерзкий, божественный поток чувств, освобожденных от шифра. Теперь они вели себя так, будто прежде никогда не встречались, будто их только что познакомила та, которая была сопровождающей. Странные, злобные мысли теснились у него в мозгу. Чем же там они — не то чтоб уж так необходимо узнать, нет, просто из принципа, из любопытства, — чем же они там занимаются, чем занимались две эти неопрятные девчонки и в прошлом семестре, и в этом, и прошлой ночью, каждой ночью, сдернув панталоны своих пижамок, среди шептаний и постанываний аномальной своей спальни? Спросить или нет? Сможет ли найти нужные слова: так, чтоб не задеть Аду и одновременно дать понять той, которая норовит скакнуть к ней в постель, как презирает ее, пристающую к этой девочке, такой темноволосой и бледной, слияние коралла и хорала, такой худенькой и нескладной, поскуливавшей в наивысшей точке плавления? Только что, увидав, как вдвоем идут ему навстречу — на Аде лица нет, ее мутит, но она покорна, а Кордула, яблочко с червоточинкой, однако смела, и обе, точно двое пленников, скованных одной цепью, бредут пред очи своего завоевателя, — Ван внутренне поклялся отомстить за надувательство рассказом учтивым, но исключительно подробным о последнем скандале в их школе, имеющем гомосексуальный, а может, и псевдо, подтекст (одного из старшеклассников, кузена Кордулы, обнаружили в комнате выборного старосты вдвоем с переодетой мальчиком девицей). Он увидит, как исказятся личики барышень, он предложит и им поведать ему что-нибудь эдакое. Но порыв этот иссяк. Он все еще не терял надежды хоть на мгновение избавиться от противной Кордулы и выкинуть что-то жестокое, чтоб из глаз противной Ады так и брызнули слезы. Но то было подсказано ему его amour-propre, а не их sale amour. Он и в могилу сойдет с избитым каламбуром на устах. Но почему же «грязной»? Разве испытывал он муки Пруста? Нет. Напротив: тайно представляя себе, как они ласкают друг друга, он испытывал покалывания порочного наслаждения. Внутренним, воспаленным оком он видел Аду ближе, ярче, она слагалась-сливалась

из двух, отдаваясь вся, принимая все, что отдавалось ей: Корада, Адула. Внезапно Вана поразило, до чего эта коротышка графиня похожа на его первую шлюшечку, и зуд сделался еще острей.

Говорили про уроки, про учителей, и тут Ван сказал:

— Интересно, что ты, Ада, и ты, Кордула, думаете насчет такой вот литературной проблемы. Наш учитель французской литературы считает, что в трактовке любовной связи Марселя и Альбертины есть глубокий изъян. Коллизия ясна, если читателю известно, что повествователь — гомосексуалист, что милые пухлые щечки Альбертины не что иное, как милые пухлые ягодички Альберта. И теряет смысл, если от читателя ни предполагать, ни ждать нельзя, что он хоть сколько-нибудь осведомлен в отношении сексуальных наклонностей автора и, значит, сможет насладиться этим произведением искусства до последней капли. Мой учитель утверждает, что если читатель не осведомлен насчет порочных страстей Пруста, то подробное описание того, с какой ревностью следит гетеросексуальный мужчина за гомосексуалкой, остается для читателя нелепостью, так как обычный мужчина лишь посмеется, даже с неким удовольствием, над шалостями своей возлюбленной с ее подружкой. В итоге наш учитель считает, что роман, который может быть оценен лишь quelque petite blanchisseuse[172], копавшейся в грязном белье, в художественном отношении — ничто.

— О Боже, Ада, о чем это он? Про новый итальянский фильм, что ли?

— Ван, — устало сказала Ада, — пойми, наша группа продвинутого изучения французского в своей продвинутости не ушла дальше творчества Ракана или Расина.

— Закрыли тему! — отозвался Ван.

— У тебя же, по-моему, с Марселем перебор, — пробормотала Ада.

Чайная при вокзале была получастного свойства, заведовала ею супруга начальника станции при дурацком попечительстве школы. В чайной не оказалось никого, кроме стройной дамы в черном бархатном платье и в роскошной черной бархатной шляпе с широкими полями, но она сидела к ним спиной у «тоник-бара» и головы так ни разу и не повернула, однако Вана полоснуло мыслью, что она Тулузова кокотка. Наша угрюмая троица, найдя себе столик в уютном уголке, с банальным вздохом облегчения расстегнула плащи. Ван ожидал, что Ада снимет свою зюйдвестку, но она не сняла, так как ей не хотелось представать перед ним в виде угасающего Ромео.

(On fait son grand Joyce[173] после использования чьего-то petit Proust[174]. Приписка милым почерком Ады.)

(Ну, читай же дальше; тут весь В.В. Отметь даму за стойкой! Нацарапано Ваном в постели на весу.)

Ада потянулась за сливками, и Ван поймал и задержал, рассматривая, ее притворно неживую руку. Напоминает замершую в ладони, свернув крылышки, Камберуэльскую красавицу{62}, миг — и ладонь пуста. С

удовлетворением Ван отметил, что ногти у Ады теперь длинные, заостренные.

— Надеюсь, дорогая, они не слишком у тебя остры? — спросил Ван многозначительно, чтобы дура Кордула поняла, что ей давно пора пройтись в «туалетную комнату», — надежда весьма слабая.

— Слишком? Нет… — отозвалась Ада.

— Скажи, — продолжал он, остановиться уже не в силах, — ты не царапаешься ими, когда гладишь своих малышек? Ах какая у твоей подружки ручка (берет), ах какие вкусные короткие ноготки (девственно-ледяная, покорная лапка). Такими ей не вцепиться в нежнейший атлас, не так ли Ардула… то есть Кордула?

Девчонки хихикнули, и Кордула чмокнула Аду в щеку. Ван едва ли задумывался о реакции на свои слова, и этот поцелуй его обескуражил и расстроил. Нарастающий стук колес заглушил шум дождя. Ван взглянул на свои часы; взглянул на стенные. И сказал, очень жаль, но это уже его поезд.

«Не стоит извинений, — писала (как нам представляется) Ада в ответ на его жалкие оправдания, — мы решили, что ты не совсем трезв, только и всего; но больше, любимый, никогда я не стану приглашать тебя в Браунхилл!»

28

Год 1880 (Аква еще — как-то и где-то! — была жива) явился в его долгой-долгой, но все же не до бесконечности долгой жизни самым запоминающимся, самым выдающимся годом. Ему десять лет. Они с отцом по-прежнему живут где-то на том Западе, многоцветие гор которого действовало на Вана, как на всякого одаренного русского мальчика. Он мог быстрей чем за двадцать минут решить любую задачку из предложенных Эйлером или выучить наизусть поэму Пушкина «Всадник без головы». Вместе с облаченным в белую блузу, взопревшим от восторженности Андреем Андреевичем Ван часами просиживал в фиалковой тени розовых скал, изучая творения великих и малых русских писателей, — при этом выуживая из иной, описанной бриллиантовыми россыпями лермонтовских тетраметров жизни несколько утрированные, однако в целом комплиментарные намеки на любовные порхания и похождения своего отца. Ван с трудом сдерживал слезы, когда А.А.А., звучно сморкаясь, утирая платком свой мясистый, красный нос, показывал мальчику запечатленный в гипсе отпечаток по-крестьянски босой ступни{63} Толстого на автоплощадке в Юте, где и была написана история Мюрата, предводителя племени навахо, побочного сына французского генерала, застреленного в бассейне Корой Дэй. Что за сопрано было у Коры! Демон возил Вана во всемирно известную Оперу в

Теллурид, находящийся в Западном Колорадо, где Ван наслаждался (хотя, случалось, и возмущался) грандиозными всемирными постановками — белым стихом английских пьес, рифмованными двустишиями французских трагедий, громоподобными германскими музыкальными драмами с великанами, чародеями и испражнявшейся белой лошадью.{64} Ван прошел через всевозможные увлечения — кабинет магии, шахматы, ярмарочную борьбу в наилегчайшем весе, джигитовку — и, конечно же, были незабываемые, весьма ранние начинания, когда молоденькая хорошенькая гувернантка-англичанка со знанием дела миловала его в промежутке между молочным коктейлем и постелью, — миленькие юбки, маленькие грудки — в стадии переодевания к предстоящему выходу с сестрой и Демоном, а также мистером Планкеттом, спутником Демона в его походах по казино, его телохранителем и ангелом-хранителем, его советчиком и наставником, в прошлом картежником-плутом.

В зените своей авантюрной славы мистер Планкетт считался одним из величайших шулеров Англии и Америки, вежливо именуемых «магами азартной игры». Однажды его в возрасте сорока лет, как раз в разгар увлеченной партии в покер, подвел сердечный приступ (позволивший, увы, менее удачливому противнику запустить грязные руки в его карманы), отправив нашего героя в беспамятство, а затем и в тюрьму на несколько лет, которая вновь возвратила его в лоно католической веры предков и после которой он увлекся миссионерством, написал пособие для начинающих фокусников, вел в разных газетах колонки, посвященные игре в бридж, и в помощь полиции предпринял некую сыскную работу (отдав к тому же полицейской службе двух доблестных своих сыновей). Жестокосердное и жестко взыскательное время вкупе с тайным хирургическим вмешательством во изменение неприглядных черт сделали его наружность не то чтобы привлекательной, но по крайней мере неузнаваемой для всех, за исключением горстки старых закадычных друзей, теперь, впрочем, взиравших на него с прохладцей и обходивших стороной. Мистер Планкетт восхищал Вана даже больше, чем Кинг Уинг. Грубоватый, но добродушный Планкетт не мог этим обожанием не воспользоваться (все мы падки на внимание к нам), чтобы обучить Вана премудростям своего искусства, ныне сделавшегося чистой абстракцией и оттого приобретшего истинность. Мистер Планкетт считал, что использование всевозможных механических приспособлений, зеркал и пошлых «загребаний в рукав» непременно приведет к разоблачению, ну а всякие студенистые массы, кисея, резиновые руки и тому подобное пятнают и укорачивают карьеру медиума-профессионала. Он указал Вану, что именно следует высматривать, если опасаешься, что рядом хорошо оснащенный мошенник (подобных дилетантов, среди которых попадаются даже почтенные завсегдатаи клубов, профессионалы зовут «рождественскими елками» или «мерцалками»). Мистер Планкетт верил только в ловкость рук; потайные карманы — вещь полезная (хоть и подверженная выворачиванию и, значит, опасная). Самым же важным было «чувство» карты, пластичность утаивавшей ее ладони, ловкость пальцев, искусство подтасовки, смахивания карт, передергивания, предопределенность сдачи, однако превыше всего мистер Планкетт ценил игру пальцев, которая, при известной практике, приводила к исчезновению карт на глазах, или, наоборот, к внезапной материализации джокера или же превращению двух пар в четырех королей. При тайном использовании второй колоды железным правилом, пока не готовы руки, было запомнить сброшенные карты. Поупражнявшись

пару месяцев с карточными трюками, Ван обратился к иным развлечениям. Сей ученик молниеносно все усваивал и хранил снабженные этикеткой препараты в прохладном месте.

Завершив в 1885 году школьное образование, Ван отправился учиться в Англию, в университет Чуз{65}, где учились его предки, и время от времени наведывался в Лондон или в Лют (как преуспевающие, однако не слишком утонченные жители Британских колоний именовали этот прелестный и грустный, перламутрово-серый город по ту сторону Ла-Манша).

Как-то раз зимой 1886-87 гг. в отчаянно промерзшем Чузе, играя в покер с двумя студентами-французами и своим сокурсником, назовем его Дик, в элегантно обставленных апартаментах последнего в Сиренити-Корт, Ван смекнул, что двойняшки-французы проигрывают не только потому, что беспробудно и безнадежно пьяны, но и потому, что «милорд», этот, как сказал бы Планкетт, «сверкающий кретин», оказался человеком с тысячью зеркал — крошечные отражающие поверхности всевозможной формы, направленные под разным углом, то и дело посверкивая от ручных часов, от перстня с печаткой, были разбросаны повсюду, точно самки светляков средь пролеска, мостясь на ножках стола, на запонках или лацканах, на кромках пепельниц, и без зазрения совести поворачивались Диком шарнирами в любую сторону — такие штучки любой карточный шулер назвал бы не только излишеством, но и бессмыслицей.

Выждав подходящий момент и проиграв при этом несколько тысяч, Ван решился воплотить на практике несколько уроков из прошлого. В игре наступил перерыв. Поднявшись, Дик направился к переговорной трубке в углу комнаты, чтоб заказать еще вина. Близнецы-неудачники то и дело передавали друг дружке, сжимая и разжимая трясущимися пальцами, авторучку, подсчитывая свой проигрыш, оказавшийся крупнее, чем Ванов. Потихоньку опустив в карман колоду карт, Ван поднялся, расправляя онемевшие могучие плечи.

— Скажи-ка, Дик, встречался ты когда-нибудь в Штатах с картежником по имени Планкетт? Помнится, он такой седоватый, с лысиной.

— Планкетт? Планкетт… Должно быть, я позже приехал. Не тот, который после всего заделался священником или что-то в этом духе? А почему ты спрашиваешь?

— Он приятель отца. Уж это артист!

— Артист?

— Ну да, артист. И я артист. Думаю, и ты про себя думаешь, что артист. И не ты один.

— Что ты имеешь в виду под словом «артист»?

— Подпольную обсерваторию, — без промедления парировал Ван.

— Это фраза из новейшего романа? — осведомился Дик, делая пару

жадных затяжек и гася сигарету.

— Это из Вана Вина, — сказал Ван Вин.

Дик снова направился к столу. Слуга внес в комнату вино. Удалившись в ватерклозет, Ван принялся «врачевать» колоду, как именовал этот процесс старина Планкетт. Вспомнил, что в последний раз проделывал с картами чудеса, демонстрируя Демону, у которого увлеченность сына покером одобрения не вызвала. Ах да, еще когда развлекал безумного фокусника в больничной палате. Того, который свихнулся от мысли, что сила земного притяжения как-то связана с циркуляцией крови Всевышнего.

Ван был совершенно уверен в своем мастерстве — как и в глупости милорда, — однако сомневался, что сможет долго продержаться. Ему было жаль Дика, который, хоть и жулик-любитель, все же славный, болезненного вида малый, с пастозной физиономией и дряблой кожей — дунешь и упадет, к тому же Дик твердил во всеуслышание, если его родные откажутся оплачивать его (громадные до банальности) долги, то ему придется двинуть в Австралию, наделать там очередных долгов, попутно подделав несколько чеков.

Теперь, как заверил Дик жертв своего мошенничества, можно constatait avec plaisir[175], что еще всего лишь несколько сотен фунтов, и уж виден желанный берег — та минимальная сумма, с помощью которой можно ублажить самого беспощадного из своих кредиторов, но при этом он с беспечной скоростью обирал несчастных Жана с Жаком, как вдруг обнаружил у себя честно пришедшие (подброшенные сердобольным Ваном) три туза против четырех девяток, проворно Ваном подобранных. Заурядный блеф вошел в противоречие с блефом высококлассным, и при том, что Ван продолжал щедро вознаграждать прыткие, но все же не слишком, руки юного поблескивающего и мерцающего лорда, внезапно мукам последнего пришел конец (портные заламывали руки средь лондонского тумана, а знаменитый Чузский ростовщик Сент-Свят требовал встречи с родителями Дика). После объявления невиданной по сумме ставки Жак предъявил какую-то жалкую couleur[176] (как сам он изволил выразиться еле слышным голоском умирающего), и Дик сдался, имея на руках стрит против флеш-рояль своего мучителя. Ван, которому к тому времени абсолютно никаких забот не составляло скрывать от дурацкой оптики Дика свои тайные манипуляции, теперь с удовольствием наблюдал, как тот приметил у него в ладони второго джокера, когда Ван, подхватывая, прижал к груди свои «радужные клавиши», — Планкетт изобиловал поэтическими образами. Близнецы, надев галстуки и накинув пальто, сказали, что с них довольно.

— С меня тоже, Дик, — сказал Ван. — Жаль, что ты положился на свои магические кристаллики. Мне всегда было интересно, почему это слово по-русски — а у нас с тобой, я полагаю, у обоих русские корни — созвучно немецкому «ученик», только без умлаута[177], — и с этими словами Ван стремительно выписал чек, возмещая убытки совершенно обомлевшим французам. Затем сгреб пригоршню карт и монет и запустил ими прямо в физиономию Дику. Еще снаряды не успели достичь своей цели, как Ван пожалел, что поступил так пошло и так жестоко, ведь этот жалкий тип даже ответить ему достойно не мог, просто сидел,

прикрыв рукой один глаз, другим, тоже слегка подбитым, оглядывая разбитые очки; между тем двойняшки-французы совались к нему с носовыми платками, и Дик их добродушно отталкивал. В зеленом Сиренити-Корт румяно заря трепетала. Вот уж трудяга, старый Чуз.

(Тут надо бы как-то пометить аплодисменты. Приписка Ады.)

Остаток утра Ван кипел, не находя себе места, и после длительного отмокания в горячей ванне (а она — лучший в мире советчик и подсказчик и вдохновитель, кроме разве что туалетного сиденья) решил начертать — именно начертать — записку с извинением в адрес обжуленного жулика. Пока он одевался, посыльный принес записку от лорда К. (кузена одноклассника Вана по Ривердейн), в которой великодушный Дик предлагал в счет покрытия своего долга ввести Вана в клуб «Вилла Венера», членами которого состояли представители их семейного клана. О таком щедром даре никто из восемнадцатилетних юнцов и мечтать не мог. Это был пропуск в рай. Посражавшись со своей слегка перегруженной совестью (обе стороны при этом обменивались улыбками, как старые приятели в старом гимнастическом зале) — Ван принял предложение Дика.

(Мне кажется, Ван, тебе следует пояснить, почему ты, Ван, сама добродетель и благочестие на общем фоне — опустим презренную плотскую сторону, все мы скроены по одному образцу, — так почему же ты, честнейший Ван, позволил себе принять предложение жулика, который, в этом нет сомнений, продолжал и после фиаско свои «поблескивания и мерцания». Мне кажется, тебе следует объяснить это тем, что, primo[178], ты слишком перетрудился, а secundo[179], тебе претила мысль, что этот жулик уверен, что ты, считая его жуликом, не придашь факт огласке и потому ему все сойдет с рук. Ведь так? Ты слышишь, Ван? Мне кажется…)

Дик после того случая «мерцал» недолго. Лет через пять-шесть в Монте-Карло, когда Ван шел мимо уличного кафе, кто-то внезапно подхватил его под руку: сияющая, румяная, в достаточной мере представительная физиономия Дика К. тянулась к нему поверх увитой петуниями решетчатой балюстрады.

— Ван! — воскликнул Дик. — Поздравь меня, я полностью отказался от этих говенных зеркал! Слушай! Самое надежное — крапить! Погоди, это еще не все, представляешь, изобретена такая микроскопическая — да-да, микроскопическая — пупочка из эйфориона, одного драгоценного металла, помещается под ноготь большого пальца, невооруженным глазом не видно, в то время как в монокль вставляется малюсенькая деталька, которая увеличивает метку, делаемую этой пупочкой, — как блошку к ногтю! — на каждой карте, по мере выброса в игру, и вся прелесть в том, что никаких приготовлений, никаких приспособлений, ничего не надо! Крапить надо, крапить! — кричал милейший Дик уже вдогонку уходящему Вану.

В середине июля 1886 года, когда Ван выигрывал состязания по настольному теннису на борту парохода-«люкс» (которому теперь целая неделя требовалась, чтоб доплыть из Дувра до белоснежного в своем величии Манхэттена!), Марина, обе ее дочери вместе с гувернанткой и обеими горничными, на разных остановках поезда, везущего их из Лос-Анджелеса в Ладору, более или менее одновременно перестрадали лихорадку русской инфлюэнцы. В ожидавшей Вана по прибытии в отцовский дом 21 июля (благословенный день ее рождения) гидрограмме из Чикаго сообщалось следующее: «Баламутная больная дадаистка приезжает между двадцать четвертым и седьмым звонить Дорис можно свидеться почтение Окрестность».

— Как это до боли напоминает голубянки (petits blues[180]), которые присылала мне Аква! — со вздохом заметил Демон (автоматически вскрыв послание). — Скажи, не знаком ли я с сей нежной Окрестностью? Ты можешь сколько угодно изображать недоумение, но это явно не обмен медицинской информацией.

Воздев глаза к плафону, расписанному в стиле Буше, в столовой, где они завтракали, и качая головой в шутливом восхищении, Ван удовлетворил проницательное любопытство Демона. Да, он угадал. Вану необходимо тотчас отправиться в Ченетипо (анаграмма слова «почтение», ясно?), в некое селение, если наоборот, то в Лениесе (ясно?) навестить юную полоумную художницу по имени то ли Дорис, то ли Одрис, которая рисует исключительно лошадок и, да-да, сластолюбчиков.

Ван поселился в номере под вымышленным именем (Буше) в единственной гостинице на всю Малагарь, убогую деревушку на берегу Ладоры в двадцати милях от Ардиса. Всю ночь он провел в схватке со знаменитым комаром или его сородичем, возлюбившим его еще больше, чем ардисский кровопийца. Туалет на лестничной площадке представлял собой черную дыру со следами фекальных взрывов между двумя гигантскими пятами, на которых надлежало, скорчившись, примоститься. 25 июля в 7 утра он позвонил в Ардис-Холл с малагарьской почты и напал на Бута, который в тот момент напал на Бланш и, не разобрав, принял голос Вана за голос дворецкого.

— Шли бы вы, папаша, — буркнул Бут в дорофон при кровати. — Занят я!

— Бланш позови, идиот! — рявкнул Ван.

— Oh, pardon! Un moment, Monsieur![181]

В трубке прозвучал хлопок откупориваемой бутылки. (Ну и ну, рейнвейн в семь утра!), и трубку подхватила Бланш, но едва Ван приготовился излагать хитроумно составленное послание для Ады, как Ада, которая всю ночь провела qui vive[182], сама взяла трубку в детской, где дрожащим журчанием отозвался самый совершенный в доме аппарат под немым барометром.

— Лесная Развилка через сорок пять! Слова плюются, прости!

— Башня! — прозвучал ее милый, звонкий голос, как в наушниках «Вас

понял!» пилота из голубой выси.

Взяв напрокат мотоцикл — допотопный агрегат с сиденьем, обтянутым бильярдным сукном, и претенциозными ручками из искусственного перламутра, — Ван покатил по узкой «лесной аллее», подскакивая на выступавших корнях. Первое, что он заметил — звездочкой сверкнувший брошенный ею велосипед: она стояла рядом, руки в бока, бледный, чернокудрый ангел в махровом халате и домашних шлепанцах, оцепенело глядя куда-то в сторону… Неся ее на руках в ближайшую чащу, он чувствовал, что она вся горит, но осознал, что и впрямь больна, лишь когда после двух исполненных страсти конвульсий Ада поднялась, вся в крошечных рыжих муравьях, шатаясь, едва не теряя сознание, бормоча что-то про цыган с цигарками.

То было грубоживотное, но упоительное свидание. Он даже не помнит…

(Не страдай, и я не помню. Ада.)

…ни единого произнесенного ими тогда слова, ни единого вопроса или ответа; он помчал ее домой, подъехав, насколько смел, поближе (ее велосипед пихнул в заросли папоротника) — и когда в тот вечер позвонил Бланш, та трагическим шепотом сообщила, что мол, у Mademoiselle une belle pneumonie, mon pauvre Monsieur[183].

Через три дня Аде стало гораздо лучше, однако Вану уже надо было возвращаться в Ман, чтобы на том же самом судне снова отплыть в Англию — и там предпринять цирковое турне с теми, кого подвести не мог.

Его провожал отец. Демон выкрасил волосы в жгуче-черный цвет. Алмазный перстень на пальце сверкал, как Кавказский хребет. Длинные, черные, в синеватую крапинку, крылья развевались за спиной, подрагивая на ветру. Люди оглядывались (people turned to look). Его нынешняя Тамара, сама сурьма, горя багрянцем Казбека, во фламинговом боа, — никак не могла решить, что ненаглядному демону приятней: ее ли нытье, приправленное равнодушием к красавцу сынку, или признание ею синебородского мужского начала, угадывавшегося в мрачном Ване, с трудом переносящем едкий запах ее кавказских духов «Граньал Маза», семь долларов за флакон.

(Знаешь, Ван, теперь это моя любимая глава, даже не пойму, почему она мне так нравится. Тебе удается продержать Бланш в объятиях ее милого, пусть даже не в этом суть. Влюбленно приписано Адой.)

30

5 февраля 1887 года «Пустомеля» (обычно крайне ехидная и въедливая еженедельная чузская газета) в редакционной статье без подписи

назвала выступление Маскодагамы «самым ярким и исключительно виртуозным действом, когда-либо виденным пресыщенными завсегдатаями мюзик-холла». Подобная оценка неоднократно высказывалась и членами клуба «Пустомельница», однако ни в программке, ни в афишах, кроме краткого определения «заморский эксцентрик», не говорилось ничего ни о самом характере «виртуозного действа», ни о личности самого исполнителя. Слухи, старательно и мудро распространяемые друзьями Маскодагамы, наводили на мысль, что он — таинственный гость из-за Золотого Занавеса, — версию весьма правдоподобную, усиленную тем обстоятельством, что чуть ли не шестеро из состава только что (а именно: накануне Крымской войны) прибывшей из Татарии труппы «Цирк Доброй Воли» — три танцорки, старый больной клоун со своим старым говорящим козлом, а также муж одной из танцорок, гример (вне сомнения, агент разнообразных служб), — уже успели переметнуться на сторону противника куда-то между Францией и Англией в район только что проложенного «Канала». Головокружительный успех Маскодагамы в клубе театралов, интерес которых до сих пор ограничивался пьесками елизаветинской эпохи, где смазливые мальчики исполняют роли королев и эльфов, прежде всего в высшей степени возбудил карикатуристов. Борзые юмористы принялись изображать маскодагамами глав университетов, местных политиков, государственных деятелей, а также, разумеется, нынешнего правителя Золотой Орды. Один переусердствовавший имитатор (кстати, Маскодагама собственной персоной, выступивший с излишне изысканной пародией на самого себя) был освистан местными скандалистами в Оксфорде (ближайшем женском колледже). Один проныра репортер, услышав, как Маскодагама ругнулся, наткнувшись на складку в ковровом покрытии, сообщил своим читателям, что уловил «гнусавый выговор янки». Уважаемый г-н «Васкодагама» получил приглашение посетить Виндзорский дворец от его владельца, по двум линиям происходившего от Вановых предков, однако предложение не было Ваном принято из опасения (как потом окажется напрасного), что ошибка в написании имени означает раскрытие его инкогнито каким-нибудь частным детективом Чуза — например, одним из тех, кто недавно уберег психиатра П.О. Темкина от кинжала юного, сбившегося с праведного пути князя Потемкина, уроженца Севастополя, что в штате Айдахо.

Во время первых своих летних каникул Ван трудился в знаменитой клинике Чуза под руководством Темкина над диссертацией с громким названием «Терра: реальность затворничества или коллективная мечта?», которую так и не завершил. Он общался с множеством невротиков, среди которых оказались артисты мюзик-холла, литераторы и даже трое яснейше мыслящих, но в духовном смысле «пропащих» космологов, находившихся то ли в тайном телепатическом сговоре (при том, что меж собой никогда не встречались и даже не подозревали о существовании друг друга), то ли действительно открывших, непонятно как и где, может быть, посредством неких запретных «волн», вращающийся в пространстве и спирально развивающийся во времени зеленый мир, который с позиций материи и разума сходен с нашим и который они описали так, как если бы одновременно трое людей из разных окон наблюдали движущееся по одной и той же улице карнавальное шествие.

В свободное время он бурно предавался развлечениям.

Однажды в августе ему предложили контракт на серию дневных и вечерних выступлений в одном знаменитом лондонском театре на период Рождественских каникул, а также по субботним и воскресным дням в течение всего зимнего сезона. Он с радостью его подписал, испытывая крайнюю потребность полностью отвлечься от опасных своих занятий: особая навязчивая идея, наполнявшая труды пациентов Темкина, обладала свойством заражать собою юных исследователей.

Слава Маскодагамы докатилась и до американской глубинки: в первые же дни 1888 года в газетах Ладоры, Ладоги, Лагуны, Лугано и Луги появилась фотография, хоть и изображавшая его в маске, однако неспособная обмануть любящего родича или преданного слугу; однако никакого сопутствующего репортажа не прилагалось. Лишь перо поэта, и только поэта (в особенности представителя группы «Черная колокольня», как утверждал один остряк), могло бы достойным образом описать жуткий трепет, в который повергал зрителей феноменальный номер Вана.

С поднятием занавеса сцена оставалась некоторое время пуста; но вот с пятым ударом сердца замершего в ожидании театрала что-то огромное и черное возникало из-за кулис под дробь бьющих в барабаны дервишей. Его такое стремительное, такое мощное появление производило на детские умы впечатление настолько сильное, что и многое время спустя, во тьме смятенных, бессонных ночей, ослепленные жутью кошмаров, впечатлительные мальчики и девочки переживали вновь, глубоко и по нарастающей, нечто подобное «первобытному страху», чувствуя какую-то смутную угрозу, шелест чьих-то крыльев, невыносимое и непреходящее нервное возбуждение, затягивающее воспоминания о той жуткой сцене в пещерные глубины памяти. В резкий луч света, падавший на крикливо-яркий ковер, мощным бегом врывался гигант в маске и высотой добрых восемь футов, обутый в мягкие сапожки, какие носят плясуны-казаки. Его silhouette iquiétante[184] (по выражению одной сорбоннской журналистки — мы храним все газетные вырезки) от шеи до колен, во всяком случае в том промежутке, который заключен между названными частями тела, была укутана массивным, черным и мохнатым, как бурка, плащом. Голова увенчана каракулевой папахой. Черная маска скрывала верхнюю половину лица, густая борода — нижнюю. Этот отталкивающий колосс некоторое время с важным видом расхаживал по сцене, затем вышагивание сменялось тревожной походкой загнанного в клетку безумца, но вот он взвился вихрем, и под звонкий удар оркестровых тарелок и крики ужаса (не исключено, притворного) зрителей галерки Маскодагама, вскинув вверх ноги, встал на голову.

И в этом невероятном положении, головой, как в подушку, упираясь в папаху, он принялся подскакивать вверх-вниз, точно на одной ходуле — как вдруг внезапно расчленился. Поблескивавшее потом лицо Вана улыбалось между ног — сапог, надетых на неподвижно застывшие, вытянутые вверх руки. Одновременно настоящей ногой он откинул прочь фальшивую голову со смятой папахой и бородатой маской. При виде такого волшебного преображения «у зрителей от изумления дыханье сперло». Придя в себя, зал разразился бурными («оглушительными», «исступленными», «воистину шквальными») аплодисментами. Герой унесся за кулисы — и тут же вернулся снова на сцену, только теперь,

затянутый в черное трико, он выплясывал джигу на руках.

Мы уделяем здесь столько места описанию его номера не только потому, что об эстрадных артистах эксцентрического жанра обычно чересчур быстро забывают, но еще и потому, что хотелось бы определить, что это выступление значило для исполнителя. Никакой выдающийся подхват в крокете, никакой прославленный гол в футболе (в обоих этих замечательных играх он представлял голубую команду колледжа{66}), ни даже триумф физической силы, когда в первый же день занятий в Риверлейн он сбил с ног самого здоровенного драчуна школы, — ничто не доставляло Вану удовлетворения, какое испытывал Маскодагама. Оно впрямую не было связано с греющим чувством утоленного тщеславия, хотя уже весьма пожилым человеком оглядываясь назад, на жизнь, полную непризнанных свершений, Ван с радостью и наслаждением — с наслаждением большим, чем даже в те времена, — не без самолюбования вспоминал прошлую славу и вульгарную зависть, недолго клубившуюся вокруг него в юности. Суть этого удовлетворения была, пожалуй, сродни пришедшему позднее удовлетворению от решения до невероятности сложных, с первого взгляда абсурдных задач, навязываемых В.В. самому себе, когда стремился выразить что-то, до того казавшееся неопределенным, расплывчатым (а то и вовсе ничто — всего лишь иллюзию неясной тени предвкушаемого), как карточный дом Ады. Как метафора, опрокинутая вверх тормашками, но не изысканного трюкачества ради, а для того, чтобы постичь бьющий из земли вверх водопад или путь солнца вспять с запада на восток: если угодно, желание вкусить триумф над пронзительной силой времени. Итак, восторг, испытываемый юным Маскодагамой при преодолении им власти земного притяжения, был сродни восторгу эстетического самовыражения, какое, естественно, вовсе не ведомо тем, кто лишен критического дара, комментаторам общественной жизни, моралистам, торговцам идеями и проч. На сцене Ван органически воплощал то, что позднее в жизни будет воплощать речевыми метафорами — акробатические чудеса, совершенно неожиданные, пугающие малых детей.

Не стоит при этом умалять значение такого фактора, как чисто физическое наслаждение от хождения на руках; и оставшиеся на ладонях не защищенных перчатками рук павлиньи разводы от длительного выплясывания на ковре казались как бы отражениями яркого, красочного мира преисподней, первым открывателем которого он явился. В партнерши для танго, завершавшего его номер во время прощальной гастроли, ему досталась крымчанка, танцовщица кабаре, в очень коротком сверкающем платье и с очень глубоким вырезом на спине. Она выпевала это танго по-русски:

Под знойным небом Аргентины,

Под страстный говор мандолины…{67}

Хрупкая, медноволосая «Рита» (настоящего имени ее он так и не узнал), прелестная караимочка из Чуфут-Кале{68}, где, как вспоминала

она с ностальгической грустью, средь голых скал желтеет цветущий кизил, была до странности похожа на Люсетт, какой та станет лет через десять. Во время их танца Ван только и видел, что ее серебряные лодочки, проворно ступавшие и поворачивавшиеся в такт его двигавшимся, как ноги, рукам. На репетициях он наверстывал упущенное и однажды вечером предложил партнерше рандеву. Та с негодованием отказала, заявив, что обожает мужа (гримера), а все английское ей претит.

Чуз издавна славился как своими достойными традициями, так и блестящими шутниками. Звавший себя Маскодагамой не преминул проявить интерес, а затем и сойтись покороче с мастерами этого жанра. Его наставник по колледжу, престарелый и угрюмый любитель мальчиков, начисто лишенный чувства юмора, зато с молоком матери впитавший почтение ко всем предписаниям академического бытия, заметил крайне взбешенному, но исключительно вежливому Вану, что во второй год пребывания в Чузе не следует совмещать университетские занятия с цирковыми выступлениями и что, если он станет упорствовать в своем намерении сделаться артистом мюзик-холла, его тотчас отчислят. Вдобавок сей престарелый джентльмен написал письмо Демону с просьбой убедить сына оставить Физические Выкрутасы ради Философии и Психиатрии, в особенности памятуя о том, что Ван первым в Америке (уже в семнадцать лет!) стал лауреатом Премии Дадли (за эссе на тему о Безумии и Вечной Жизни). Не определившись до поры, к какому компромиссу способны прийти самоутверждение и самоубеждение, Ван в начале июня 1888 года покинул Англию и направился в Америку.

31

Вновь он посетил Ардис-Холл в 1888 году. Приехал пасмурным июньским днем, нежданный, незваный, ненужный; со свернувшимся в кармане, незастегнутым алмазным ожерельем. Когда подходил к дому со стороны боковой лужайки, перед ним возникла сцена из какой-то новой жизни, репетируемая для какой-то новой фильмы, но без него, не для него. По-видимому, завершался пышный прием гостей. На террасе при гостиной три юных леди в платьях от Айла Вью с модными, радугой расцвеченными кушаками обступили полноватого, фатоватого, лысеющего молодого человека, стоявшего с продолговатым узким бокалом шампанского в руке и смотревшего вниз на девушку в черном платье с обнаженными руками: седовласый шофер подкатил старое, подскакивавшее на каждом повороте авто прямо к крыльцу, и Ван узнал раскинутую в этих простертых обнаженных руках белую пелерину баронессы фон Шкуль, ее двоюродной бабки. На белом фоне выделялась в профиль новая, вытянувшаяся черная Адина фигура — чернота изящного шелкового платья, без рукавов, без прикрас, без воспоминаний. Медлительная старая баронесса стояла, щупая под мышкой с одной, с другой стороны — что там? костыль? мешающая висюлька звонких браслетов? — вот слегка повернулась взять пелерину (теперь уже подхваченную у внучатой племянницы

спохватившимся новым лакеем), Ада тоже слегка повернулась и, белея пока не прикрытой алмазами шеей, взбежала по ступенькам на крыльцо.

Ван двинулся следом меж колонн зала, сквозь стайку гостей, к дальнему столику с хрустальными кувшинами, наполненными вишневой амброзией. Вопреки моде Ада была без чулок; икры сильные, бледные, и (у меня тут пометка для безымянного автора романа) «глубокий вырез черного платья подчеркивал разительный контраст между знакомой матовой белизной шеи и новизной ее прически — черного плебейского „конского хвоста“».

Его до потери сознания терзали два взаимоисключающих чувства: грызущая душу убежденность, что стоит ему, блуждая в кошмарном лабиринте, добраться до той, ярко запечатленной в памяти комнатки с детским умывальником, как она в гладкой удлиненности новой своей красы возникнет рядом, там же; но ощущались за этим боль и панический страх, оттого что увидел ее другой, презирающей то, что он желал, отвергавшей все это, открывающей ему новые, чудовищные ощущения, — будто уж нет их обоих на свете или же они просто статисты в этом доме, арендованном кем-то для съемок кино.

Меж тем руки, предлагавшие ему вино или миндаль или просто самих себя на обозрение, удерживали Вана в его устремлении вслед за грезами. Но он упрямо шел вперед, несмотря на атаку узнаваний: дядюшка Дэн тыкал в него пальцем, выкрикивая что-то незнакомцу, изобразившему изумление, будто глазам своим не верит, — и вот уж свеженарумяненная, в рыжем парике, очень пьяная и слезообильная Марина покрыла клейкими от шерри-водки поцелуями его щеки и все что походя попалось, сдавленным полумычанием-полустоном, как это принято у русских, выражая материнские чувства.

Освободившись от ее объятий, Ван продолжал свой поиск. Ада теперь направилась в гостиную, но, не сводя глаз с ее спины и заметив, как напряглись лопатки, он понял: она чувствует его взгляд. Утерев мокрое, наполненное зудением голосов ухо, Ван кивком ответил на поднятый белесым дородным малым бокал (Перси де Прэ? А может, еще есть братец постарше?). Четвертая девица в легком кукурузно-васильковом «шедевре» канадского кутюрье остановила Вана, попеняв, изящно надув губки, что он как будто не узнает ее, и то была чистая правда.

— Я ужасно устал, — сказал Ван. — Моя лошадь попала копытом в прореху между прогнившими досками моста через Ладору, пришлось пристрелить. Восемь миль отмахал пешком. Передо мной все как во сне. Наверно, вы тоже Сон.

— Нет, я не сон, я Кордула! — вскричала девица, но он уж метнулся прочь.

Ада исчезла. Отложив бутерброд с икрой, зажатый, как билет, между пальцев и заглянув в буфетную, Ван велел новому камердинеру, братцу Бута, проводить его в прежнюю комнату и принести какой-нибудь резиновый ушат из тех, какими еще мальчишкой пользовался четыре года тому назад. И еще чью-нибудь лишнюю пижаму. Его поезд сломался в

чистом поле между Ладогой и Ладорой, пришлось двадцать миль отшагать пешком. Бог знает, когда доставят багаж.

— Только что прибыл, — сообщил Бут собственной персоной, улыбаясь доверчиво и скорбно в одно и то же время (Бланш им пренебрегла).

Перед купанием Ван вытянул шею из узкой створки окна полюбоваться кустами лавра и сирени, высаженными по бокам парадного крыльца, и в это время поднялся веселый гвалт отъезжающих гостей. Он нашел глазами Аду. Оказалось, та бежит за Перси, а тот, надев серый цилиндр, устремился через лужайку, которую его походка тотчас, с помощью мимолетного воспоминания, преобразила в сознании Вана в тот самый выгон, где они как-то с Перси беседовали про хромую лошадь и Ривердейн. Ада нагнала молодого де Прэ, неожиданно попав вместе с ним в солнечный луч; он остановился, она что-то ему говорила, встряхивая головой так, когда волновалась или чем-то была раздражена. Перси поцеловал ей руку. Во французском духе, но вполне пристойно. Она говорила, а он не выпускал ее руки, поцеловал еще раз, нет, только не это, это кошмар, это невозможно вынести.

Покинув свой наблюдательный пункт, голый Ван принялся рыться в сброшенной одежде. Нашел ожерелье. В холодной ярости рванул его, исторгнув тридцать, сорок сверкающих градинок, отдельные брызнули прямо под ноги Аде, ворвавшейся в этот момент в комнату.

Ада обвела глазами пол.

— Стыд какой… — проговорила она.

Ван хладнокровно процитировал фразу из известной новеллы мадемуазель Ларивьер: «Mais, та pauvre amie, elle était fausse»[185] — что была горькая ложь; однако, прежде чем поднять рассыпавшиеся камешки, она, затворив дверь, рыдая, бросилась к нему на шею — прикосновение ее кожи, ее шелков таили все волшебство жизни, но почему, почему встреча со мной у всех исторгает слезы? И еще он желал знать, был ли то Перси де Прэ. Да, это он. Тот самый, кого вышвырнули из Ривердейн? Кажется, да. Он изменился, разжирел, стал как свинья. Да? Неужели? Так он твой новый кавалер?

— Вот что, Ван, — сказала Ада, — давай оставим эти пошлости… причем раз и навсегда! Потому что у меня был, есть и будет только один кавалер, единственный зверь лютый, единственная беда, единственное счастье.

— Слезки твои соберем после, — сказал Ван, — я не могу ждать.

Поцелуй ее разомкнутых губ был жарок и трепетен, но едва Ван попытался задрать на ней платье, она отпрянула, пробормотав через силу «нет», так как дверь пришла в движение: стук маленьких кулачков выбивал снаружи хорошо знакомую обоим дробь.

— Привет, Люсетт! — крикнул Ван. — Прекрати, я переодеваюсь!

— Привет, Ван! Это не тебя зовут, Аду. Ада! Тебя просят вниз

спуститься.

Один из жестов Ады — когда требовалось молча и кратко выразить затруднительность положения во всем его многообразии («Ну вот, говорила я, пожалуйста: ничего не поделаешь!») — состоял в сопровождаемом скорбным наклоном головы скольжении рук сверху вниз, как бы по контуру невидимой чаши. Что и проделала Ада перед тем, как выйти из комнаты.

Подобная же ситуация, хотя в гораздо более занимательном варианте, повторилась через пару часов. К ужину Ада переоделась в алое хлопчатобумажное платье, и когда они встретились ночью (в старой кладовке при свете карбидной лампы), Ван с такой стремительностью рванул на ней молнию, что едва не разорвал платье пополам, чтоб обнажить ее всю и разом. Они все еще пребывали во власти своих неистовых утех (на той же скамье, покрытой все тем же, заботливо захваченным клетчатым халатом), как вдруг входная дверь с шумом распахнулась, и в кладовую с фамильярной внезапностью привидения вплыла Бланш. У нее был свой ключ, она возвращалась с рандеву со старым ночным сторожем Прыщом Бургундским, и при виде юной пары застыла, как идиотка, разинув рот.

— Следующий раз стучать надо! — насмешливо заметил Ван, не потрудившись прервать свои занятия, — даже с некой радостью восприняв это чудесное явление: на Бланш была та горностаевая мантия, которую Ада обронила как-то в лесу. Ага, а похорошела-то как, и elle le mangeait des yeux[186], но тут Ада звучно прихлопнула створку фонаря, наша потаскушка, бормоча извинения, на ощупь метнулась во внутренний коридор. Возлюбленная Вана не удержалась и прыснула; а Ван возобновил свои вожделенные труды.

Они все не могли расстаться, были не в силах разойтись, зная, если кто полюбопытствует, отчего их комнаты пусты до самого рассвета, легко сумеют подыскать ответ. Лишь когда первый луч утренней зари заизумрудил ящик с инструментами, они, движимые голодом, наконец поднялись и тихонько направились в буфетную.

— Что, выспался, Ван (well, slept your fill, Van)? — спросила Ада, восхитительно воспроизводя материнскую интонацию, и продолжала с ее же английским выговором: — Сужу по аппетиту, по твоему. И думаю, до ленча еще приложишься.

— Ох! — отозвался Ван. — Бедные мои коленки! Скамейка чертова… Я голоден — как во-олк!

Они уселись друг против друга за предназначенным для завтрака столом, поглощая черный хлеб со свежим маслом, с виргинской ветчиной и ломтиками настоящего эммментальского сыра — а вот и горшок с прозрачным медом: наши кузен с кузиной бодро предприняли, как детки в старых волшебных сказках, «налет на холодильник», а дрозды нежно заливались средь ярко-зеленой листвы, растворяясь лапками в темно-зеленых тенях.

— Учитель в театральной школе, — сказала Ада, — говорит, я больше

подхожу для фарса, чем для трагедии. Знали бы они!

— Да ну же, — возразил Ван, — ничего, ровно ничего не изменилось! Хотя это общее впечатление, там внизу было темновато, чтоб рассмотреть детально; поподробнее изучим завтра на нашем островке: «Сестра, ты помнишь…»

— Прекрати! — сказала Ада. — Я забросила всю эту чушь — petit vers, vers de soie[187]…

— Ладно, ладно! — воскликнул Ван. — В детском восприятии иные стишки казались чудом виртуозности: «Oh! qui te rendra та Lucille, et le grand chêne and zee big hill»[188]. Между прочим, — добавил он, чтобы рассеять шуткой ее мрачные мысли, — крошка Люсиль стала сущий персик, и я, пожалуй, на нее переключусь, если ты не прекратишь фыркать. Помнится, впервые ты на меня разозлилась, когда я кинул камешком в статую и спугнул какого-то зяблика. Видишь, какая у меня память!

Но Аду не занимали воспоминания. Скорей бы поднялась прислуга, чтоб можно было поесть чего-нибудь горяченького. А холодильник этот — пустобрюх и больше ничего.

— Что, настроение испортилось?

Испортилось, отвечала она, ситуация ужасная; в ее положении уж давно можно было рехнуться, одно спасает — чувства чисты. Лучше всего иносказательно объяснить. Она — как героиня фильма, он скоро выйдет, трагическая жертва опасной тройственности, которую приходится скрывать под страхом лишиться единственной своей и истинной любви — острия стрелы, ядовитого жала. Втайне она одновременно ведет борьбу с тремя мучительными напастями — пытаясь отделаться от кошмарного затянувшегося романа с женатым мужчиной, которого жалеет; пытаясь в зародыше — таком рдяно-прилипчивом — подавить безумную страсть к смазливому, безмозглому юнцу, которого жалеет еще больше; и пытаясь уберечь свою любовь к тому самому, единственному, кто составляет смысл ее жизни, кто выше жалости, выше ее убогой женской жалости, так как, согласно сценарию, по сути своей неизмеримо богаче и выше этих двух червяков, вместе взятых.

Кстати, что она сделала с бедными своими червячками после безвременной кончины Кролика?

— Что? Выпустила на свободу (энергичный взмах рукой), избавилась от них, рассадила по нужным растениям, куколок зарыла, велела, чтоб спасались, пока не видят птицы — или, увы, притворяются, что не видят. Впрочем, к чему все эти иносказания, ведь ты имеешь склонность извращать или понимать превратно мои мысли: в каком-то смысле и меня разрывают три мучительных противоречия, и основное, разумеется, имеет отношение к моему тщеславию. Я понимаю, что биологом не стану никогда, моя страсть к ползающим велика, но не чересчур. Знаю, я всегда буду обожать орхидеи, грибы и фиалки и у тебя на глазах буду одна уходить из дома, чтобы побродить в одиночестве в лесу, а потом одна вернусь с какой-нибудь единственной

крохотной лилией в руке; но, как бы я их ни любила, цветы как увлечение, должно быть, тоже скоро пройдут, едва лишь у меня хватит сил с ними расстаться. И последнее — величайшая мечта, сопряженная с величайшим страхом: грезы о такой голубой, такой далекой, такой отвратительно недоступной вершине, сулящие мне под конец превращение в одну из тех паучих — старых дев, учительш театральной школы, понимая, что нам с тобой, как пророчишь ты, злой пророк, соединиться браком невозможно, и при этом вечно имея перед глазами жуткий пример в виде Марины — восторженной, хорохорящейся посредственности.

— Ну, паучихи — это полная ахинея, — заметил Ван, — уж как-нибудь мы со всем этим справимся, усилиями умело подделанных документов постепенно родство станет все менее и менее близким, пока наконец не превратимся в простых однофамильцев, в худшем случае будем себе жить незаметно, ты — моя экономка, я — при тебе эпилептик, и тогда, как утверждает твой Чехов, «мы увидим все небо в алмазах».

— Ты все их отыскал, дядя Ван? — спросила Ада, со вздохом склоняя печальную головку к нему на плечо.

Она открылась ему целиком.

— Более или менее, — ответил Ван, этого не осознав. — Во всяком случае, подверг грязнущий пол самому тщательному обследованию, на какое только способна романтическая натура. Одна крохотная блестящая негодница закатилась под кровать, где обнаружились девственные дебри пуха и грибковой поросли. Отдам, чтоб их привели в порядок в Ладоре, куда на днях наведаюсь на авто. Необходимо прикупить уйму всякого — роскошный купальный халат под стать вашему новому бассейну, крем, именуемый «Хризантема», пару дуэльных пистолетов, пляжный складной матрас, желательно черного цвета, — не столько для лежания на пляже, сколько для лежания на той скамье, и еще для нашего isle de Ladore[189].

— Учти, — заметила Ада, — я тебе не советую выставляться посмешищем и искать пистолеты в сувенирных лавках, да еще при том, что в Ардис-Холле полно старых ружей и винтовок, всяких револьверов и луков со стрелами, — вспомни, сколько мы стреляли из них, когда были детьми.

Да, да, он помнил, помнил. Когда были детьми, да, да. По правде говоря, представлять себе это недавнее прошлое в образах из детской было так странно. Ведь ничего же не изменилось — ведь ты со мной, правда? — не изменилось ничего, кроме нескольких изменений к лучшему, происшедших вокруг дома и в гувернантке.

Вот именно! Ну не умора ли! Ларивьер расцветает пышным цветом, превращаясь в великую писательницу! В сенсационного автора канадийского бестселлера! Ее новелла «Ожерелье» («La rivière de diamants») стала хрестоматийным произведением для женских школ, а цветистый псевдоним «Гийом де Мопарнас» (пропущенное «н» делало звучание более intime[190]) был известен повсюду от Квебека до Калуги. На своем причудливом английском мадемуазель характеризовала это так: «Грянула слава, повалили рубли, хлынули доллары» (в ту пору в Восточной Эстотиландии были в ходу обе валюты); при этом

добропорядочная Ида мало того что не бросила Марину, в которую, увидев ее в «Билитис», раз и навсегда платонически влюбилась, но корила себя за то, что позабыла про Люсетт, с головой погрузившись в Литературу; в результате ныне мадемуазель в порыве высвобожденного энтузиазма уделяла той гораздо больше внимания, чем некогда бедняжке (по словам Ады) Аде в ее двенадцать по окончании первого (жалкого) семестра школьных занятий. Какой же Ван идиот: как мог он подозревать Кордулу! Невинную, кроткую, тишайшую маленькую Кордулу де Прэ, тогда как Ада дважды, трижды и разными шифрами втолковывала ему, что выдумала эту противную, ластящуюся школьную подружку, когда надо было буквально оторвать себя от него, лишь обозначив возможность — с прицелом, так сказать, на будущее — существования девицы такого рода. Как бы выговаривая для себя своеобразный чек на предъявителя.

— Что ж, ты его получила, — сказал Ван. — А теперь чек аннулирован. И нового не дождешься. Но все-таки, почему ты бежала за жирным Перси, что-нибудь важное?

— Да, очень! — ответила Ада, подхватывая нижней губой медовую капельку. — Его мать ждала у дорофона, и он просил, пожалуйста, скажи, что я выехал домой, а я про все забыла и кинулась к тебе целоваться.

— В Ривердейн, — заметил Ван, — у нас это звалось Правда-Бублик: правда истинная, вокруг сплошная правда, а посреди дырка.

— Ненавижу! — вскричала Ада и тут же сделала гримаску: «внимание», так как в дверях показался сбривший усы Бутейан — без ливреи, без галстука, в малиновых подтяжках, высоко на груди подхватывавших его темные, туго обтягивающие торс панталоны. Пообещав принести кофе, Бутейан удалился.

— Позволь спросить тебя, дражайший Ван, позволь и тебя спросить! Сколько раз Ван изменял мне с сентября 1884 года?

— Шестьсот тринадцать, — ответил Ван. — С не менее чем двумя сотнями шлюх, но обходясь исключительно ласками. Я остался совершенно верным тебе, так как все это были лишь «обманопуляции» (притворные, ничего не стоившие поглаживания непамятных холодных рук).

Вошел дворецкий, на сей раз в полном облаченье, неся кофе и тосты. И еще «Ладор-газетт». С фотографией Марины и ластившегося к ней юного актера латинской наружности.

— Фу-у! — воскликнула Ада. — Совсем позабыла. Он приезжает сегодня с каким-то киношником, значит, весь день насмарку. Ну вот, ко мне вернулись бодрость и свежесть! — заявила она (после третьей чашки кофе). — Сейчас всего лишь без десяти семь. Можем совершить восхитительную прогулку по саду; там есть пара мест, которые, возможно, тебе знакомы.

— Любовь моя! — сказал Ван. — Моя призрачная орхидея, мой дивный пузырничек! Я не спал две ночи подряд — в первую представлял, что

будет в следующую, и эта следующая оказалась еще прекрасней, чем я себе представлял. На данный момент я пресыщен тобой.

— Комплимент не слишком удачный! — заметила Ада и громко звякнула колокольчиком, чтоб принесли еще тостов.

— Как известный венецианец, я отвесил тебе восемь комплиментов…{69}

— Какое мне дело до всяких пошлых венецианцев! Ты, милый Ван, стал такой грубый, такой странный…

— Прости, — сказал он вставая. — Сам не знаю, что болтаю. Я зверски устал, увидимся за ленчем.

— Сегодня не будет никакого ленча, — отозвалась Ада. — Будет легкая суматошная закуска у бассейна, и весь день всякие липкие ликеры.

Он хотел было поцеловать ее в шелковистый затылок, но тут явился Бутейан, и, пока Ада сердито выговаривала ему за скудное количество принесенных тостов, Ван выскользнул из комнаты.

32

Итак, рабочий сценарий был готов. Марина в одеянии, вызывающем в памяти гравюры Дорэ, и в шляпе кули читала, развалясь в шезлонге посреди патио. Ее режиссер Г.А. Вронский, мужчина в летах, лысый, с легкой чернобурой порослью на жирной груди, попеременно похлебывал водку и тоник и подавал Марине из папочки машинописные листы. По другую сторону от нее на надувном матрасе сидел, скрестив ноги, Педро (фамилия неизвестна, сценическое имя забыто), смазливый до омерзения, практически голый юный актер с ушами сатира, с косо посаженными глазами и чуткими, рысьими ноздрями, которого Марина вывезла из Мексики и держала в Ладорской гостинице.

Лежавшая на краю бассейна Ада изо всех сил старалась удержать пугливого таксика в приличной позе на задних лапах перед фотоаппаратом, в то время как Филип Рак, мало что собой представлявший, но в целом симпатичный молодой музыкант, который в нескладных плавках смотрелся еще более удручающе нелепо, чем в зеленом костюме, который считал приличным надевать, давая Люсетт уроки фортепиано, тщился запечатлеть на пленке рвущуюся из рук, плотоядно облизывавшуюся собачонку на фоне раздвоенной девичьей груди, такой наглядной в вырезе купальника в позиции полулежа на животе.

Наведя объектив на другую группу людей, стоявших в нескольких шагах поодаль под пурпурными гирляндами, свисавшими с арочного перекрытия, можно было бы сделать снимок беременной супруги молодого маэстро в

платьице в горошек, наполнявшей бокалы присоленным миндалем, а также прославленной дамы-литераторши, ослепительной в своих розовато-лиловых оборках, розовато-лиловой шляпе, розовато-лиловых туфлях, накидывающей жакет из зебры на Люсетт, которая отталкивала его с грубыми выражениями, почерпнутыми у какой-нибудь горничной, но произносимыми так, что глуховатая мадемуазель Ларивьер не слыхала.

Люсетт по-прежнему была только в трусиках. Ее крепко сбитое, гладкое тельце имело цвет густого персикового сиропа; в зеленых, как листва, трусиках забавно двигались маленькие ягодички, солнце глянцевило ее коротко стриженные рыжеватые волосы и пухленький торс: на нем едва обозначились проблески будущей женственности, и пребывавший в хмуром настроении Ван со смешанными чувствами вспоминал, насколько развитей была ее сестра в свои неполные двенадцать.

Большую часть дня он проспал крепким сном в своей комнате, и ему, повторяясь какой-то бессмысленной пародией, снился все тот же длинный, бессвязный, безотрадный сон, ночь с Адой, ночь в трудах Казановы, и тот несколько зловещий с нею разговор поутру. Теперь, когда я пишу все это после стольких пустот и нагромождений времени, мне нелегко отделить наш разговор, приводимый здесь в неизбежно стилизованном виде, от хора упреков, включающих подозрения в подлых изменах, что преследовали Вана в его тягостном кошмарном сне. Или сейчас ему снится, что он видел тогда тот сон? Неужто и впрямь нелепая гувернантка сочинила роман под названием «Les Enfants Maudits»[191]? Чтоб эти пустые марионетки, сейчас обсуждающие сценарий на его основе, сделали из него кино? Которое своею пошлостью затмило оригинал, «Книгу последних двух недель», вкупе с бульканьем рекламы? Проклинал ли он Аду, как и в том своем сне? Да, проклинал.

Теперь, в пятнадцать, она обладала красотой едкой, безысходной; вдобавок какой-то неряшливой; всего лишь полдня тому назад в полутемной кладовой он шептал ей на ухо. загадку: что такое, начинается с «де» и более или менее рифмуется с «Silesian river ant»? Она отличалась своенравием привычек и выбора одежды. Загорать не любила вовсе, и ни единого намека на потемнение (тогда как Люсетт вся была покрыта калифорнийским загаром) не обнаруживалось в бесстыдной белизне рук и ног Ады, на ее костлявых лопатках.

Дальняя родственница, уже не единоутробная сестра Рене, ни даже единокровная его сестра (столь поэтично преданная Мопарнас анафеме), она перешагнула через Вана, как через колоду, и вернула обескураженного песика Марине. Актер, которому, вероятно, в следующей сцене не избежать примерной трепки, брякнул на ломаном французском какую-то непристойность.

— Du sollst nicht zuhören[192], — шепнула Ада немцу-таксику, опуская его Марине на колени под «Скверных детей». — On ne parle pas comme ça devant un chien[193], — добавила Ада, не смея взглянуть на Педро, который тем не менее поднялся, расправил трусы между ногами и, скачком в духе Нуржинского{70}, опережая Аду, плюхнулся в бассейн.

Была ли она в самом деле красавица? Была ли она то что называется

привлекательна? Все в ней раздражало, причиняло муки. Глупая девчонка убрала волосы под резиновую шапку, от чего шея приобрела какой-то незнакомый, полубольничный вид при нелепо торчавших прядках и хвостиках, словно теперь она сестра милосердия и о танцульках больше речи нет. На выцветшем, голубовато-сером цельном купальнике жирное пятно, на одном боку дырка — похоже, прогрызенная какой-нибудь плотоядной гусеницей, — и сам купальник коротковат, явно стесняет движения. От нее пахло отсыревшей тканью, подмышечной порослью и, как от безумной Офелии, водяными лилиями. Ни одна из подобных мелочей не вызвала бы Ваново раздражение, будь они вдвоем и наедине; но присутствие рядом этого самца-актеришки делало все вокруг мерзким, непереносимо нудным. Вернемся же к краю бассейна.

Наш молодой человек, будучи исключительно брезглив (squeamish, easily disgusted), не имел ни малейшего желания плавать в нескольких кубических метрах хлорированной лазури («подсиненной ванночке») одновременно с двумя другими пловцами. В Ване решительно не было ничего от японца. С душевным содроганием вспоминался ему бассейн в их школе, эти сопливые носы, прыщавые тела, невольное соприкосновение с омерзительной мужской плотью, подозрительные пузыри, взрывавшиеся, точно крохотные химические шашки, и особо, особо — тот тихенький, пронырливый, наглый и совершенно омерзительный каналья, который тайно мочился, стоя по горло в воде (и, Господи, как же он избил его тогда, хотя тот Вэр де Вэр был старше на целых три года).

Ван старался держаться подальше, чтоб до него не долетали брызги, вздымаемые резвившимися и фыркающими Педро и Филом в разившей вонью ванночке. Внезапно пианист, показавшись из воды и в подобострастной улыбочке обнажая жуткие десны, попытался втащить в бассейн и Аду, разлегшуюся, вытянув ноги, на кафельном краю, но та увернулась от его отчаянной попытки схватить ее, вцепилась в огромный оранжевый мяч, только что выловленный ею из воды, и им, как щитом, отпихнула Фила, а мяч кинула Вану, который отбил его в сторону, отвергнув презент, отклонив привет, отринув призыв.

Теперь уже волосатый Педро, выбравшись на край бассейна, принялся заигрывать с этой жалкой девчонкой (надо сказать, его пошлые ухаживания мало ее трогали).

— Ваша дырка должен ремонтирасьон! — говорил Педро.

— Qui voulez-vous dire[194], Господибожемой? — проговорила Ада, вместо того чтобы наотмашь влепить ему по физиономии.

— Разрешить контактир ваш чудный проникалий? — не унимался этот идиот, суя мокрый палец в дырку на ее купальнике.

— Ах, это (подергивает плечом, подхватывая при этом упавшую бретель). — Ерунда какая. Еще как-нибудь надену новый потрясающий бикини.

— Еще как-нибудь — а Педро уедет?

— Какая жалость, — проговорила Ада. — А теперь подите, как послушный песик, принесите мне «коку»!

— E tu?[195] — спросил Педро Марину, проходя мимо ее шезлонга. — Еще коктейль?

— Да, дорогой, но на сей раз с грейпфрутовым, не с апельсиновым соком и чуть-чуть zucchero[196]. (Вронскому) Не понимаю, почему на той странице я говорю так, будто мне лет сто, а на этой, будто всего пятнадцать? Если это ретроспекция — а это, я полагаю, ретроспекция (после «ц» у нее шло едкое «и») — тогда Ренни, или как его там, Рене, не должен знать то, что он вроде бы знает.

— Он и не знает! — воскликнул Г.А. — Это такая неявная ретроспекция. В общем, Ренни, любовник номер один, разумеется, не в курсе, что она пытается избавиться от любовника номер два, а в это время героиня только и думает, осмелится она или нет продолжать встречаться с любовником номер три, с почтенным фермером, понятно?

— Ну это что-то сложновато (sort of complecated), Григорий Акимович! — проговорила Марина, потирая щеку, ибо всегда стремилась, из чистого самосохранения, не высвечивать наиболее сложные моменты своего прошлого.

— Читай, читай дальше, потом все ясно станет! — сказал Г.А., приводя в порядок листы своего экземпляра.

— Кстати, — заметила Марина, — надеюсь, милейшая Ида не будет возражать, если мы сделаем его не только поэтом, но и танцовщиком. Педро это исполнит с блеском, хотя французские стихи читать не сможет ни за что.

— Будет возражать, — сказал Вронский, — пусть засунет телеграфный столб… себе в одно место.

Эта «телеграфная» скабрезность рассмешила Марину, которая, покатившись со смеху вроде Ады (in Ada-like ripples of rolling laughter), втайне всегда питала слабость к соленым шуткам.

— Нет, серьезно, я все-таки не понимаю, как и почему его жена — я говорю о второй жене этого типа — принимает такое положение (situation).

Вронский растопырил пальцы на руках и на ногах:

— Причем тут положение (ситуация-дерьмация)? Она в блаженном неведении насчет их романа и, кроме того, понимает, что сама — дурнушечка, толстушечка и потому, душечка, стремительной Элен противостоять не может…

— Я-то понимаю, но зритель… — сказала Марина. Между тем герр Рак снова всплыл и пристроился рядом с Адой на краю бассейна, чуть не упустив в процессе вздымания из воды бесформенные плавки.

— Позволь, Иван, и тебе доставить хороший холодный русский «кок»? — произнес Педро — в душе, видно, славный и добрый малый.

— Себе кокос заделай… — буркнул вредный Ван, проверяя, обладает ли жалкий фавн, не понявший ни слова, хоть каплей здравого смысла, после чего, самодовольно ухмыляясь, вернулся на свой матрас. Клавдий, по крайней мере, за Офелией не увивался.

Меланхоличный молодой германец пребывал в раздумчивом состоянии, не без призвука мысли о самоубийстве. Ему предстояло возвратиться в Калугано со своей Элси, которая, как считал док Эксреер, «раздродидся дройней через дри недели». Рак ненавидел Калугано, его с Элси родной городок, где в миг «взаимопомрачения» после чудной вечеринки в конторе «Духовых инструментов Музаковского» безмозглая Элси отдалась ему без остатка на скамейке, причем он, преисполненный похоти жалкий придурок, выложился на полную катушку.

— Когда уезжаете? — спросила Ада.

— В четферк. Послезавтра.

— Ну что ж. Чудно. Прощайте, мистер Рак!

Бедняга Филип сник и произнес, чертя пальцем на мокром песке, что-то непонятное, качая тяжелой головой и явно сдерживая слезы:

— Кажется… кажется… — проговорил он, — будто играешь просто роль, а что теперь говорить — забыл.

— Говорят, это со многими случается, — отозвалась Ада, — должно быть, furchtbar[197] чувство.

— И это безнадежно? Все, никакой надежды? Так теперь я умру, да?

— Уже мертвы, мистер Рак! — сказала Ада.

Во время всего этого кошмарного разговора Ада поминутно бросала косые взгляды по сторонам и заметила наконец под тюльпанным деревом, довольно-таки далеко, вот он, взбешенный Ван, стоит подбоченясь и, запрокинув голову, пьет пиво из бутылки. Оставив хладный труп лежать на бортике бассейна, Ада направилась к тюльпанному дереву, стратегически избрав путь между авторшей — которая клевала носом в шезлонге (с деревянных подлокотников розовыми грибочками свисали ее пухлые пальцы), по-прежнему не ведая, что там колдуют над ее романом, и заглавной матроной, в данный момент ломавшей голову над любовной сценой, в которой говорилось об «ослепительной красоте юной владелицы замка».

— Послушай, — проговорила Марина, — как играть эту «ослепительную красоту»? Что вообще значит это «ослепительная»?

— Бледни красот! — услужливо вставил Педро, озирая снизу вверх проходящую мимо Аду, — за это многий мужчин могут все себе отрезать.

— Ладно, — сказал Вронский, — давай разбираться с этим дурацким сценарием. Герой покидает патио с бассейном, и поскольку мы хотим делать это в цвете…

Ван покинул патио с бассейном и зашагал прочь. Свернул в боковую галерею, что вела в лесистую часть сада, незаметно переходящую в собственно сад. И тут оказалось, что Ада спешит за ним вдогонку. Приподняв локоть и обнажив подмышку с темной звездой, сдернула на бегу купальную шапочку и, тряхнув головой, выпустила на волю бурный поток волос. Люсетт, в цвете, семенила следом. Из сострадания к босым ножкам сестренок Ван изменил свой путь, перейдя с усыпанной гравием дорожки на мураву лужайки (обратно действиям д-ра Эро, преследуемого Альбиносом Невидимкой в одном из величайших английских романов){71}. Они нагнали его во Второй Рощице, Люсетт мимоходом подобрала сестрицыны шапочку и темные очки — темные очки томной Адочки, как можно их бросать! Аккуратная моя Люсетточка (никогда тебя мне не забыть…) положила оба эти предмета на пень рядом с пустой бутылкой из-под пива, припустила вперед снова, опять вернулась, внимательно взглянула на гроздь розовых грибков, облепивших кургузую дощечку шезлонга, исторгавшего храп. Повторение дубля, повторение экспозиции.

— Ты злишься из-за… — начала Ада, догнав его (уже заготовив фразу, дескать, в конце концов, надо же проявить вежливость к настройщику роялей, практически прислуге, у которого что-то там с сердцем, а жена — вульгарная и с претензиями, — однако Ван договорить ей не дал).

— Меня возмутили, — слова взмывали, как ракеты, — две вещи. Брюнетка, будь она хоть трижды неряшлива, обязана брить промежность, а не выставлять напоказ, и еще: девушка из приличной семьи не должна позволять всякому грязному развратнику тыкать себя под ребра, даже если вынуждена носить изъеденное молью, вонючее тряпье, не прикрывающее ее вызревшие прелести! Боже! — воскликнул он в довершение. — И зачем только я снова приехал в Ардис!

— Обещаю, обещаю, что впредь буду осмотрительней, а пошляка Педро и близко к себе не подпущу, — заверила она, энергично кивая со счастливой улыбкой и со вздохом благодатного облегчения, причина которого лишь много погодя будет терзать Вана.

— Эй, подождите меня! — взвизгнула Люсетт.

(Терзайся, мой бедняжка, мой любимый! Да-да, терзайся! Хотя все это было и быльем поросло. Приписка рукою Ады.)

Что за славное идиллическое сопряжение составили они, сойдясь втроем на дернистом подножии огромного плакучего кедра, чьи обвислые ветви образовывали некий восточный балдахин (там и сям подпираемый, как и наша книга, выростами из собственной плоти) над двумя темными и одной золотистой головками, так сплетались они над тобой и надо мной темными теплыми ночами в пору нашего беспечно счастливого детства.

Распростерлись навзничь, томимый воспоминаниями Ван заложил руки за

голову и, прищурившись, уставился в ливанскую синь небес, просвечивавшую сквозь листву. Люсетт в восхищении любовалась его длинными ресницами, испытывая жалость к его нежной коже, усеянной по низу щек и подбородку, выбривать которые доставляло немало хлопот, воспаленными прыщиками и колючками. Ада, склонив свой памятный профиль, со скорбно, как у Магдалины, струившимися по бледному плечу волосами (в гармонии с тенями плакучих ветвей), рассеянно обозревала желтый зев сорванного ею восково-белого пыльцеголовника. Она ненавидела Вана, она его обожала. Он был груб, она беззащитна.

Люсетт, вечно в образе суетливой, ласковой девочки-липучки, прильнув ладошками к волосатой Вановой груди, приставала, отчего он такой сердитый.

— Я сержусь не на тебя! — выдавил наконец из себя Ван.

Люсетт чмокнула его в щеку и тут же принялась на нем вешаться.

— Перестань! — сказал Ван обвившей ему шею Люсетт. — Ты холодная, как ледышка, это неприятно.

— Неправда, никакая я не ледышка! — вскинулась она.

— Холоднющая, как две половинки консервированного персика. Ну же, скатывайся, прошу тебя!

— Почему две? Почему?

— Вот именно, почему? — проурчала со сладостной дрожью Ада, потянулась и поцеловала его в губы.

Ван попытался подняться. Обе девочки принялись попеременно целовать его, потом друг дружку, вновь принимаясь за него — Ада подозрительно молча, а Люсетт тихонько восторженно вскрикивая. Не помню, что именно в романчике Мопарнас творили или говорили Les Enfants Maudits — по-моему, это происходило в Шато Бриана, и все начинается с того, как из oeil-de-boeuf[198] башенки вылетают в закатном свете, одна за другой, летучие мыши, но эти дети (которых автор романчика по сути и не знала — что само по себе восхитительно) также были достойны стать героями увлекательной фильмы, имей зоркий Ким, кухонный энтузиаст фотосъемки, необходимую аппаратуру. Обычно перо противится описывать такое, в письменном виде все эстетически получается совсем не так, как надо, и все же невозможно забыть, как тогда, на исходе сумерек (когда мелкие художественные погрешности не так заметны, как преисполненные летучести летучие мыши на фоне оранжевого неба средь девственной, не сдобренной комарьем природы) крохотные, влажные поклевывания Люсетт не только не притупляли, но даже усиливали устойчивую реакцию Вана на малейшее, реальное или воображаемое, прикосновение единственной и главной из этих двух девочек. Ада, полоща своей шелковистой гривой по соскам и пупку Вана, казалось, с наслаждением делает все, чтобы сейчас дрогнуло в моей руке перо, а в тот до странности далекий момент — чтобы ее маленькая простодушная сестричка заметила и приняла к сведению то, с чем Ван уж совладать не мог. Двадцать игривых, щекочущих пальчиков теперь запихивали

смятый цветок под резиновый пояс его плавок. Как украшение — малоприглядно; как игра — неуместно и опасно. Стряхнув с себя своих очаровательных мучительниц, Ван удалился от них на руках: черная маска на длинном карнавальном носу. И как раз в этот момент на сцене появилась гувернантка, тяжело дыша, с громкой репликой:

— Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, ton cousin?[199]

И все продолжала допытываться столь же настойчиво, когда Люсетт, заливаясь, как некогда и Ада, совершенно необъяснимыми слезами, кинулась в объятие ее раскинутых розовато-лиловых рук.

33

Следующий день начался мелким дождем; но после обеда распогодилось. Люсетт занималась музыкой с унылым герром Раком. До слуха сошедшихся на втором этаже Вана и Ады долетало неизбывное «брень-бом брень». Мадемуазель Ларивьер пребывала в саду, Марина упорхнула в Ладору. И Ван предложил, воспользовавшись «звуковым признаком» удаленности Люсетт, уединиться наверх в гардеробную.

Трехколесный велосипед Люсетт стоял здесь в углу; на полочке над диваном, обитым кретоном, хранились девочкины «заветные» сокровища, в том числе и потрепанная антология, подаренная ей Ваном четыре года назад. Дверь здесь не запиралась, но Вана наполняло нетерпение, ведь бренчание наверняка будет назойливо упорствовать еще минут двадцать. Не успел он зарыться губами в затылок Ады, как она вся напряглась и предупреждающе подняла палец. Кто-то тяжело и неторопливо поднимался вверх по парадной лестнице.

— Отошли его куда-нибудь! — прошептала Ада.

— Черт (hell)! — выругался Ван, поправляя одежду, после него вышел на площадку.

По лестнице с трудом, прижимая одну руку к груди, в другой держа свернутый в трубку лист розовой бумаги, поднимался, выкатывая адамово яблоко, дурно выбритый, синюшнощекий, с выпирающими деснами Филип Рак, в то время как музицирование, точно заведенное, продолжалось само по себе.

— Там в вестибюле есть один! — сказал Ван, предположив, самом деле или прикинувшись, что у бедного малого либо живот свело, либо его мутит.

Оказалось, мистер Рак всего-навсего желал попрощаться — с Иваном Демоновичем (кошмарное ударение на втором «о»), с фрейлейн Адой, с мадемуазель Идой и, конечно же, с мадам. Увы, сказал Ван, тетка с кузиной уехали в город, однако Фил, без сомнения, найдет свою коллегу Иду за сочинительством в саду средь роз. Неужто в самом деле уехали? Да, черт побери, какие сомнения! С глубоким вздохом мистер Рак пожал Ванну руку, воздел глаза к потолку, опустил долу, постукал

по перилам своим загадочным розовым рулоном и поплелся вниз в музыкальную залу, где Моцарт начал давать явные сбои. Ван выждал немного, прислушиваясь и невольно строя гримасы, затем вернулся к Аде. Та сидела с книгой на коленях.

— Не могу прикасаться к тебе, вообще ни к чему, надо вымыть правую руку, — сказал Ван.

Собственно, она не читала даже, просто возбужденно и сердито листала с рассеянным видом страницы как раз именно той антологии, — это она-то, которая неизменно, стоило подхватить какую угодно книгу, с ходу погружалась в чтение, тотчас «окунаясь в книгу» столь же естественно, как возвращается в привычную стихию выброшенное на берег водное существо.

— В жизни не касался более омерзительной, влажной и вялой конечности! — сказал Ван и, чертыхаясь (музыка внизу смолкла), отправился в туалет при детской, где была раковина.

Оттуда из окна он видел, как Рак погрузил свой тяжелый, черный портфель в переднюю корзину своего велосипеда и завихлял прочь, приподнимая шляпу перед безучастным садовником. Устойчивость неловкого велосипедиста заколебалась, взбудораженная этим тщетным жестом: с налета вмазав в изгородь вдоль противоположной стороны дорожки, он грохнулся наземь. Некоторое время Рак пребывал в тесном сплетении с кустом бирючины, так что Ван даже подумывал спуститься вниз к нему на помощь. Садовник повернулся спиной к убогому или пьяненькому музыканту, который, слава Богу, уж и сам выбирался из куста, снова засовывая в корзину свой портфель. И покатил себе кой-как, а Ван, охваченный неизъяснимым отвращением, плюнул в унитаз.

Когда он вернулся в гардеробную, Ады уже там не было. Он обнаружил ее на балконе, где она счищала кожуру с яблока для Люсетт. Добрейший пианист вечно приносил девочке то яблоко, то какую-нибудь несъедобную грушу, то парочку крохотных слив. Как бы то ни было, то был его последний дар.

— Тебя зовет мадемуазель, — сказал Ван Люсетт.

— Ничего, подождет, — произнесла Ада, неторопливо продолжая срезать «идеальную шкурку», изжелта-красный завиток, за исполнением которого с неизменным восхищением следила Люсетт.

— У меня дела! — выпалил Ван. — Надоело все до смерти! Я пошел в библиотеку.

— Ладно, — безмятежно бросила Люсетт, не повернув головы, и тотчас с криком восторга подхватила завершенную завитушку.

Целых полчаса Ван искал книгу, которую сунул не на свое место. Когда же наконец ее обнаружил, выяснилось, что он уже сделал, оказывается, все возможные выписки и больше она ему не требовалась. Он немного полежал на черном диване, но это еще усугубило нестерпимость переполнявшей его страсти. Решил вернуться на верхний этаж

лестницей-раковиной. И тут мучительно возникло в воображении навечно врезавшееся в память, фантастически сладостное и до безнадежности неизгладимое видение — она в ту ночь Горящего Амбара взбегает по ступенькам вверх со свечой в руке, он с пляшущим отблеском торопится вдогонку за ее мелькающими ягодичками, подскакивающими плечиками и развевающимися волосами, и пляшут тени на желтой стене, обволакивая их бегство вверх громадными черными геометрическими наплывами. Оказалось, дверь на третий этаж заперта изнутри, пришлось вновь спускаться в библиотеку (тут над воспоминаниями возобладало тривиальное раздражение), чтоб воспользоваться парадной лестницей.

Подходя к излучавшей яркий свет балконной двери, Ван услыхал, как Ада втолковывает что-то Люсетт. Должно быть, что-то забавное — не помню что и ничего на ум не приходит. Обычно Ада спешила завершить фразу до того, как ее разберет смешинка, но порой, как сейчас, рвущийся смех заставлял ее выстреливать словами, и тогда приходилось, чтоб не растерять их, поскорей закончить фразу, спеша еще сильней, придерживая смешинку, так что последнее слово вылетало в сопровождении трехкратно-раскатного, звучного, грудного, чувственного, такого уютного смеха.

— Ну а теперь, золотко, — добавила Ада, чмокнув Люсетт в пухлую, с ямочкой, щеку, — сделай одолжение, сбегай вниз, скажи бяке Бэлль, что тебе уж давным-давно пора пить молоко с petite-beurre[200]. Живо! А тем временем мы с Ваном отправимся в ванную — или еще куда-нибудь, где есть большое зеркало, — и там я его постригу; ему это так необходимо. Верно, Ван? А, знаю куда пойти!.. Давай, Люсетт, скоренько, скоренько!

34

Опрометчиво было с их стороны пуститься в шалости под силихэмским кедром. Все время, пока ее не опекала психопатка гувернантка, пока ей не читали книжек, не гуляли с ней или не укладывали спать, Люсетт делалась сущим злосчастьем для нашей парочки. С наступлением темноты — если только в саду, пируя, к примеру, в компании гостей, не разгуливала Марина под новыми шарообразными золотистыми садовыми светильниками, сиявшими там и сям, ярко высвечивая листву, вливая керосиновую примесь в ароматы гелиотропа и жасмина, — влюбленные могли укрыться поглубже в темень зарослей и оставаться там, покуда nocturna, пронзительный полуночный ветерок, не принимался будоражить листву, «troussant la raimée»[201], как грубо выражался Прыщ, ночной сторож. Однажды он, осветив фонарем изумруд зелени, наткнулся на них, да пару раз мимо с приглушенным смешком тенью мелькнула Бланш, спешившая на случку в каком-то еще более укромном местечке с этим загодя подкупленным, старым, но еще хоть куда жуком-светляком. Но весь день ждать прихода благословенной ночи было крайне невыносимо для нетерпеливых любовников. Потому они зачастую, как и в прежние времена, уже к обеду задолго до ужина успевали натрудиться до изнеможения. Однако Люсетт, казалось, подглядывает за ними из-за каждой ширмы, маячит в каждом зеркале.

Они попробовали пристроиться на чердаке, но приметили, как раз вовремя, прореху в полу, сквозь которую просвечивал угол бельевой, где сновала туда-сюда в корсете и нижней юбке вторая горничная, Франш. Они с изумлением озирались — неужто можно предаваться нежным страстям среди этих сломанных ящиков с торчащими гвоздями или протискиваться в слуховое окно на крышу, где только безмозглые загорелые бесенята и могли удержаться, чтоб не угодить на растопыренные вилами ветки гигантского вяза.

Была еще, правда, галерея-тир, завешенное восточными гардинами укрытие под скатом крыши. Но теперь там кишмя кишели клопы, воняло застоявшимся пивом и было так грязно и мерзко, что и подумать страшно, чтоб раздеться и опускаться на этот диванчик. Всего и мог разглядеть там Ван, что бедра слоновой кости его новой Ады, но в первый же раз, когда стиснул их, она прямо в разгар охватившего его неземного блаженства и не прерывая своих ответных толчков, велела, чтоб он взглянул через ее плечо в оконце, подоконник которого продолжали сжимать ее пальцы, не видать ли на подходе Люсетт, скачущей с прыгалкой по тропинке меж кустов.

Подобные же инструкции повторились и еще раза два-три при тех же обстоятельствах. Люсетт была способна подобраться и поближе, например, сорвав лисичку и недоумевая, стоит ли есть ее сырой, или же охотясь за кузнечиком, а то и следуя естественным потребностям легкомысленных игр и беззаботных причуд. Она могла объявиться в самом центре поросшей травой спортивной площадки у запретного павильона и с видом равнодушно-невинным раскачивать старые качели-доску, навешенные на длинный высокий сук Плешивика, — частично утратившего листву, но все еще могучего старого дуба (обнаруженного — да-да, Ван, я помню! — на столетней давности литографическом изображении Ардиса, исполненном Петером де Растом{72}, где под сенью того, пока еще юного, гиганта расположились четыре коровы и парень в рубище и с обнаженным плечом). Стоило нашим влюбленным (тебе ведь нравится это авторское притяжательное местоимение, правда, Ван?) в очередной раз взглянуть в окошко, Люсетт непременно раскачивала на доске упиравшегося таксика или поглядывала вверх, как бы ища взглядом дятла, или, после множества смешных вихляний неспешно взгромоздясь на доску о двух серых петлях, принималась тихонько, осторожно, будто впервые в жизни, раскачиваться, в то время как кретин Дэк тявкал на запертую дверь павильона. Люсетт с такой ловкостью наращивала обороты, что Ада и ее кавалер, теряя, что вполне понятно, в возрастающем наслаждении бдительность, не всегда могли вовремя предвосхитить момент, когда их засекало появление розовой, круглой, усеянной веснушками мордашки, нацелившей взгляд зеленых глаз на сей восхитительный тандем.

Люсетт как тень преследовала их от лужайки до чердака, от сторожки привратника до конюшни, от кабинки с современным душем при бассейне до допотопной ванны на верхнем этаже. Точно чертик из табакерки, Люсетт возникала из сундука. Люсетт горела желанием гулять только с ними. Люсетт канючила, чтоб они и с ней поиграли в свою «чехарду» — при этом слове Ада с Ваном угрюмо переглядывались.

Ада придумала план, оказавшийся и не простым, и не умным, более

того, он сработал прямо в противоположном направлении. Не исключено, это было совершено намеренно. (Вычеркни, ну, пожалуйста, вычеркни, Ван!) Смысл плана заключался в том, чтобы Ван водил за нос Люсетт, ухаживая за ней в присутствии Ады, при этом одновременно и Аду целуя, а потом лаская и целуя Люсетт, когда Ада бродила по лесам («по лесам», «сбирая травы»). Такая тактика, как утверждала Ада, убьет двух зайцев — приглушит ревность созревающей девочки и послужит алиби, в случае если та застигнет их в момент недвусмысленной возни.

Их троица так часто и так усердно ластилась и ласкалась друг к дружке, что наконец в один прекрасный день Ван с Адой не сумели сдержать страстного возбуждения на этом многострадальном черном диване и, воспользовавшись таким ничтожным поводом, как игра в прятки, замкнули Люсетт в стенном шкафу, где хранились переплетенные тома «Калуга Уотерс» и «Лугано Сан», и предались неистовой любви, в то время как девочка стучалась и звала их и билась в дверь, пока не выпал ключ и не возник в замочной скважине яростный зеленый глаз.

Но для Ады куда отвратительней всех этих приступов капризного нрава оказалось выражение пронзительного блаженства, появлявшееся у Люсетт, когда она, обхватывая Вана руками и коленками, цепко повисала, тесно прижимаясь к нему, как к стволу дерева, хотя дерева ходячего, так что ее невозможно было оторвать, пока старшая сестра в сердцах ее не шлепала.

— Должна признаться, — говорила Ада Вану, когда они вместе плыли в красной лодке по течению к задрапированному зеленым пологом их островку средь Ладоры, — должна признаться с болью и стыдом, что весь мой великолепный план, Ван, потерпел крах. По-моему, помыслы этой чертовки нечисты. По-моему, она воспылала к тебе преступной страстью. По-моему, мне надо ей сказать, что ты ей единоутробный брат и что миловаться с единоутробным братом не только непозволительно, но и отвратительно. Я знаю, она боится неприятных и грозных слов; я тоже боялась, когда мне было четыре года; но она скрытный ребенок по натуре, и ее надо оберегать от всяких кошмаров и всяких нахрапистых наглецов. Но если она не уймется, я всегда смогу пожаловаться Марине, сказать, что она мешает нашим размышлениям и занятиям. Хотя, может, тебе это вовсе не мешает? Может, она возбуждает тебя? Да? Признайся, она тебя возбуждает?

— Нынешнее лето гораздо печальней того, первого, — тихо отозвался Ван.

35

И вот мы на заросшем ивами островке посреди тишайшего из притоков Ладоры, вдоль одного берега заливные луга, на другом поэтически

темнеет вдалеке, на вершине поросшего дубами холма — шато[202] Бриана. Средь этого овалом вытянувшегося приюта Ван подверг свою новую Аду сопоставительному внешнему анализу; сравнения оказались не трудны, так как образ девочки, изученный им до мелочей четыре года назад на фоне все той же струящейся голубизны, был еще ярок и свеж в его памяти.

Лоб ее как бы стал меньше, не только оттого, что стала выше она сама, но из-за ее новой прически с волнующим завитком спереди; белизна лба, ныне чистого, без единого прыщика, теперь приобрела явный матовый оттенок, кожа поперек собиралась в мелкие складки, как будто бедняжка Ада все эти годы излишне часто хмурилась.

Брови ее, как и прежде, были царственны и густы.

Глаза. Ее глаза сохранили сладострастные складки век; ресницы — эффект припушенности антрацитовой пылью; приподнятый зрачок — индо-гипнотическое зависание; веки — свою способность даже в момент мимолетного объятия пребывать начеку и широко раскрытыми; но само выражение глаз — когда она грызла яблоко или разглядывала какую-либо находку или просто внимала животному ли, человеку — изменилось, словно прибавилось подернувших зрачок наслоений молчаливой печали, и беспокойней, чем прежде, сновали в прелестных ложбинках блестящие глазные сферы: мадемуазель Гипнокуш, «чей взгляд, не задерживаясь на человеке, все же пронзает насквозь».

Ее нос, сделавшись на ирландский манер шире, теперь уж не походил на Ванов; но линия его явно стала круче и кончик был, казалось, чуть больше вздернут, и выявилась маленькая вертикальная впадина, которой Ван у двенадцатилетней холмовзбирательницы не припоминал.

Теперь при ярком свете был заметен у нее между носом и верхней губой едва различимый, темный, шелковистый пушок (сродни тому, что покрывал ее предплечья), который, как утверждала Ада, был обречен на удаление при первом же визите в косметический кабинет нынешней осенью. От присутствия помады губы ее стали теперь невыразительно тусклы, что по контрасту усиливало внезапность очарования, стоило в момент веселья или алчного аппетита обнажиться влажно поблескивавшим крупным зубам, пунцово-сочному языку и нёбу.

Теперь, как и тогда, ее шея оставалась источником самого неповторимого, самого пронзительного восторга, в особенности если она распускала волосы по плечам и изредка сквозь черные блестящие пряди просвечивала мельком кожа, теплая, белая, желанная. Брызги кипятка и комариные укусы перестали ей досаждать, но Ван обнаружил у Ады вдоль позвоночника, чуть ниже талии, бледный, в дюйм длиной, след глубокой царапины, оставленной прошлым августом невесть откуда взявшейся булавкой — а может, колючим прутиком средь гостеприимного сена?

(Какой ты жестокий, Ван!)

На тайном этом островке (запретном месте для воскресных парочек, поскольку был он собственностью Винов, и объявление с

невозмутимостью гласило, дескать «нарушители рискуют пасть от пули стрелка-любителя из Ардис-Холла»; фразеология Дэна) растительность состояла из трех вавилонских ив, окаймленных ольховой порослью, и многотравия, включавшего рогоз, аир и еще немного тайника с пурпурными губками, над которым, будто над щенком или котенком, склонялась Ада, что-то ласково приговаривая. Под покровом нервно трепещущей ивовой листвы Ван производил свой обзор.

Плечи у нее были нестерпимо грациозны: никогда бы не позволил жене при таких плечах носить наряды без бретелей, хотя не ей быть мне женой. В английской версии весьма комичного повествования Мопарнас герой Ренни говорит Нелл: «Позор и мрак нашей аномальной связи канет вместе с нами в самую глубину Ада, куда царственным перстом своим укажет нам путь Отец Небесный». По совершенно непонятной причине хуже всего получаются переводы не с китайского, а с наияснейшего французского.

Ее соски, теперь вызывающе пунцовые, были окружены нежными темными волосками, которые также предстояло удалить, так как они, по ее словам, unschicklich[203]. Откуда только, недоумевал Ван, выкопала она такое жуткое словцо? Груди ее были прелестны, белые, налитые, но ему почему-то нравились те ее девчоночьи маленькие, нежные бугорочки с неоформившимися, неяркими бутончиками.

Он узнавал уже знакомое, только ей присущее, восхитительное втягивание плоского девичьего живота, его неповторимую «игру», открыто радостные усердия косых мышц, «улыбку» ее пупка, — пользуясь выражением из лексикона любителей танца живота.

Однажды он захватил с собой бритвенный прибор и помог ей счистить три островка растительности на теле.

— Я твой Шехерез, — говорил он, — а ты моя Ада, и вот наш зеленый молельный ковер.

Поездки на тот островок навечно запечатлелись в их памяти о том лете и в таких сплетениях, которые уж не суждено было распутать. Им виделось, как они обнявшись стоят там нагие, в убранстве колышущихся лиственных теней и, глядя, как несет их по течению в красной лодке среди мозаичного колыхания отраженной в воде ряби, машут, машут платками; и это загадочное смешение последовательностей казалось еще странней, так как лодка, все время удаляясь, одновременно к ним приближалась, дробились весла, преломляясь в воде, рябь солнечных бликов устремлялась вспять, подобно тому, как крутятся назад в стробоскопическом эффекте колеса проплывающего мимо карнавального шествия. Время дурачило их, побуждая одного задавать памятный вопрос, вынуждая другого произносить забытый ответ, и как-то раз в ольховой чаще они обнаружили подвязку, бесспорно, принадлежавшую Аде, отрицать этого она не смела, однако Ван знал наверняка, никак не могла она оказаться на Аде тогда, в те летние бесчулочные прогулки на волшебный остров.

Ее красивые, сильные ноги, пожалуй, стали длинней, однако по-прежнему хранили ту нимфеточную глянцевую бледность и гибкость. Она

и сейчас могла захватить губами большой палец ноги. На подъеме правой ноги и на запястье левой руки у нее были маленькие, не слишком заметные, но вечные и священные родинки, подобные тем, которыми были отмечены его правое запястье и левая ступня. Ада начала было красить ногти «Лаком Шехерезады» (весьма модным увлечением «восьмидесятых»), но так как в вопросах личного туалета грешила неряшливостью и забывчивостью, лак с ногтей облетал, оставляя непристойно светлые пятна, потому Ван посоветовал ей вернуться к «долаковому периоду». В качестве компенсации он купил ей в Ладоре (в этом маленьком прелестном курортном местечке) золотой браслет-цепочку на ногу, но она потеряла цепочку во время одного из их неистовых свиданий и неожиданно ударилась в слезы, стоило Вану сказать, что, мол, ничего, когда-нибудь после другой любовник отыщет.

Ее блистательный ум, ее одаренность. Конечно же, она изменилась за эти четыре года, но и он соответственно менялся в эти годы, так что их мысли и чувства сохраняли обоюдное созвучие, как продолжалось и после, и всегда, сколько б ни было меж ними разлук. Ни в одном не осталось и следа дерзости Wunderkind'а образца 1884 года, но по книжности своего интеллекта оба теперь до абсурдности сильней превосходили своих сверстников, чем в детские годы; собственно говоря, Ада (родившись 21 июля 1872 года) уже закончила частную школу, в то время как Ван, будучи старше на два с половиной года, к концу 1889 года надеялся получить степень магистра. Может, речь Ады и поутратила свой прежний блеск и азарт, и уже проглядывали в ней первые смутные признаки того, что она впоследствии назовет «роковым пустословием» (пустоцветностью), — во всяком случае, в ретроспекции; однако природный ее ум обрел большую глубину, казалось, его внутренние, глубинные, до странности «метэмпирические»[204] (по выражению Вана) токи внутренне усиливали и тем обогащали простейшее выражение ее простейшей мысли. Читала она так же, запоем и без разбора, как и он, однако каждый определял для себя «любимую» тему — он избрал террологическую отрасль психиатрии, она — драматургию (в особенности русскую), и эта «страсть», как считал он, в ее случае была «в масть», но надеялся, что увлечение временно и пройдет. Ее флоромания, увы, еще продолжалась; но после того как в 1886 году д-р Кролик скончался в собственном саду от сердечного удара, она опустила всех своих выживших куколок в гроб, где возлежал он, по ее словам, как in vivo[205], цветущий и румяный.

Теперь, в пору ее по-своему полной страданий и смятения юности, Ада в любви была даже еще более возбудимой и настойчивой, чем в ее аномально сладострастном детстве. Прилежный исследователь различных анамнезов, д-р Ван Вин практически так и не смог подогнать пылкую двенадцатилетнюю Аду под образ нормальной английской девочки из своей картотеки, девочки, лишенной преступных и нимфоманских наклонностей, интеллектуально весьма развитой и духовно благополучной, хотя столько подобных девчушек расцветало — и перезревало — в древних замках Франции и Эстотиландии, если верить претенциозным романам и маразматическим мемуарам. Свою собственную страсть к Аде Вану было еще трудней определить и постичь. Перебирая в памяти ласки, доставшиеся ему при посещении «Виллы Венеры» или во время более ранних наведываний в прибрежные домики Ранты или Ливиды,

он с удовлетворением отмечал: то, что он испытывал с Адой, превосходило все остальное, вместе взятое, ибо одно лишь прикосновение ее пальчика или губ к уснувшей жилке возбуждало в нем не просто более мощное, но совершенно ни на что не похожее delicia[206], не сопоставимое с самым нескончаемым «финишем» юной многоопытной шлюхи. Что же это было такое, вздымавшее животный акт до уровня куда выше, чем подвластный наитончайшему из искусств или наидерзновеннейшему из полетов чистой науки? Сказать, что момент соития с Адой отзывается в нем жгучей, как огонь, болью, агонией «реальности» высшего порядка, было бы недостаточно. Удачней было бы сказать, что реальность утрачивала свои растопыренные когтями кавычки, — в мире, где независимым и самобытным приходится за все цепляться или все раздирать на куски, чтобы оградить себя от безумия или смерти (что есть главное безумие). Пара таких конвульсий давала ему спасение. В такой новой, обнаженной реальности никаких щупалец, никакого якоря не требовалось, она длилась миг, но могла воспроизводиться, едва он и она физически были готовы отдаться любви. Краски и пламень этой мгновенной реальности возбуждались только его личным восприятием Адиного существа и больше ничем. Это не имело никакого отношения к добродетели или к добродетельной суетности в широком смысле, более того, позже Вану стало казаться, что во время всех жарких свиданий того лета он осознавал, что она изменяла и продолжает гнусно ему изменять, равно как и она задолго до того, как сам он признался, понимала, что в годы их разлуки Ван время от времени пользовался услугами живых автоматов, которых сексуальные мужчины при желании нанимают ради нескольких мгновений, о чем Ада узнала из щедро иллюстрированной гравюрами и фотографиями трехтомной «Истории проституции», которую прочла в возрасте десяти или одиннадцати лет, между чтением «Гамлета» и «Микрогалактик» капитана Гранта.

Для ученой публики, которой суждено не без тайного трепета (ничто человеческое ей не чуждо) прочесть эти запретные мемуары в потаенных закоулках библиотек (где свято хранятся образчики грязной порнографии — скабрезности, стишки, задницы), автор обязан добавить на полях корректуры, которую героически правит прикованный к постели старик (ибо эти нетвердой рукой выведенные змейки — последняя капля в чаше несчастий автора), еще пару замечаний [конец предложения разобрать невозможно, но, к счастью, следующий абзац нацарапан на отдельной блокнотной страничке. Примечание редактора].

…по поводу восторга познания естества Ады. Пусть кретины, которые и в самом деле могут решить, что средь звездной вечности моя, Вана Вина, и ее, Ады Вин, связь, начавшаяся где-то в Северной Америке в девятнадцатом столетии, составляет всего лишь триллионную частичку одной триллионной всей значимости нашей крошки планеты, пусть себе они кричат ailleurs, ailleurs, ailleurs[207] (лишь на французском это слово содержит эффект звукового сходства), ведь познание естества Ады под лупой реальности (той, единственной) выявит сложнейшую систему хрупких мостиков, преодолеваемых чувствами — смех, объятия, запускание в небо цветов, — в чувственном пространстве между плевой и мозгом, и все это, даже в момент постижения, было и будет всегда одной из форм памяти. Я слаб. Я еле пишу. Я умереть могу нынче ночью. Мой ковер-самолет уж не парит

больше над пологом ветвей, над разверстыми гнездами птиц и над редчайшими ее орхидеями. Вставить.

36

Педантка Ада как-то сказала, что выискивать слова в словаре — как в образовательных целях, так и в искусстве — зачем-нибудь, но не ради выражения мысли, есть нечто среднее между декоративным подбором цветов (что все-таки не лишено некоторой поэтичности, особой, девически приподнятой) и составлением цветных коллажей из разрозненных крыльев всяких бабочек (что неизменно пошло, а зачастую и преступно). Per contra[208], она высказала Вану предположение, что все эти вербальные фокусы, «словесные выкрутасы», вся эта «чехарда» и тому подобное могут быть отмечены особой работой интеллекта, необходимой для создания великолепного логогрифа или вдохновенного каламбура, не исключая при этом обращения к словарю, как во благо, так и во вред.

Потому-то она и признавала «Флавиту». Название происходило от алфавит, древнейшей русской игры случая с примесью мастерства, основанной на выстраивании букв алфавита в том или ином порядке. Впервые мода на эту игру возникла в Эстотии и Канадии где-то году в 1790-м, интерес к ней был возрожден «манхателями» (как некогда звали жителей Нового Амстердама) в начале девятнадцатого столетия, затем после кратковременного спада к 1860 году возникла новая громадная волна интереса к этой игре, и теперь, спустя сто лет, она, пожалуй, снова входит в моду, но уже, как мне говорили, под названием «скраббл» — изобретения некого гения совершенно независимо от изначальной игры и ее разновидностей.

Особо чтимый меж русскими ее вариант, популярный в пору Адиного детства, игрался обитателями крупных усадеб ста двадцатью пятью кубиками-буквами. Играющим предлагалось выстраивать слова по горизонталям и вертикалям доски с полем из двухсот двадцати пяти клеток. Двадцать четыре клетки были коричневого цвета, двенадцать — черного, шестнадцать — оранжевого, восемь — красного, а все остальные — золотисто-желтые (иначе, флавидные[209], созвучно изначальному названию игры). Каждая буква алфавита кириллицы означала определенное число очков (редкая русская «Ф» — целых 10, а такая обычная, как «А», всего лишь 1). Коричневая клетка удваивала число очков буквы, черная утраивала. Оранжевая удваивала число очков всего слова, красная — утраивала общую сумму очков. Позже Люсетт будет вспоминать, как в сентябре 1888 года в Калифорнии кошмарными видениями средь бреда стрептококковой лихорадки являлись ей ликования сестры, сумевшей вдвое, втрое и даже вдевятеро (если заполнялись красные клетки) преумножить в цифрах значение слов.

Перед началом игры каждый участник выбирал себе семь кубиков из

коробки, где они лежали буквами вниз, после чего игроки по очереди выставляли на доске свое слово. При первом ходе игроку на пустом еще поле требовалось лишь расположить любые две или же все семь букв так, чтобы захватить центральный квадрат, помеченный блестким семиугольником. Затем из имеющихся на доске букв выбиралась ключевая для составления слова по диагонали или вертикали. Выигрывал тот, кто набирал, буква за буквой и слово за словом, наибольшее число очков.

В 1884 году трое наших детишек получили от барона Клима Авидова{73}, старого друга дома (как именовались все бывшие Маринины любовники), набор, состоявший из огромной, обтянутой сафьяном складной доски и коробки увесистых квадратных фишек из черного дерева с инкрустированными платиной буквами, лишь одна из которых, а именно буква «j», происходила из латинского алфавита и значилась на двух фишках-джокерах (заполучить который было столь же волнительно, как чек на предъявителя с подписью Юпитера или Джуроджина). По случайному совпадению то был тот самый добродушный, но обидчивый Авидов (упоминаемый во многих расхожих россказнях того времени), который однажды в отеле Гриц, Венеция Росса[210], одному незадачливому туристу-англичанину вмазал апперкотом так, что тот катапультировался в швейцарскую, за то, что тот неловко пошутил, мол, как умно, отняв от своей фамилии первую букву, приспособить ее в качестве particule[211].

К июлю из десяти фишек с «А» осталось девять, а из четырех с «Д» — три. Недостающую «А» обнаружили под Атласной Агавой, но «Д» пропала, — примазавшись к участи своего двойника с апострофом, какой она представлялась Зэмоушн Скуаджен, эсквайру, в аккурат перед тем, как он с парой непроштемпелеванных открыток влетел в объятия онемевшего полиглота в швейцарской куртке с медными пуговицами.

Сам первоклассный шахматист, которому было суждено в 1887 году стать победителем матча в Чузе, где его противником оказался уроженец Минска Пат Риций (чемпион Андерхилла и Уилсона, Сев. Каролина) — Ван был озадачен неспособностью Ады при ее, так сказать, мамзелевой несобранности в игре подняться над уровнем девицы из старого романа или с цветной рекламы средства от перхоти, где красотка модель (созданная для игр иных, не шахматных) уставилась в плечо своей также лощеной, но на иной манер, соперницы по ту сторону от диким образом расставленных, выточенных на какой-то невиданный манер бело-алых шахмат «Лалла-Рук» — которыми ни один кретин играть не станет, даже если приплатить за деградацию блеклых умственных способностей под иззудившейся мозговой оболочкой.

Правда, время от времени Аде удавалось измыслить жертвенную комбинацию, подставив, скажем, королеву, — после чего, если фигура бралась, двумя-тремя ловкими ходами привести партию к победе; но она видела эту ситуацию односторонне, предпочитая в какой-то удивительной апатии и бездумной зашоренности не замечать возможности встречной комбинации противника, который может и не принять ее королевской жертвы, что повлечет неизбежно ее поражение. Однако на поприще игры в скраббл неумеха и нескладеха Ада преображалась во вполне отлаженную, вдобавок отличающуюся исключительной везучестью вычислительную машину, намного превосходящую ошарашенного Вана

остротой ума, интуицией, реакцией, умением из самых безнадежных кусочков и обрывков составлять слова вкусные, длинные.

Ван считал эту игру слишком скучной и под конец торопился и небрежничал, не утруждая себя прибегать к услугам словаря, чтоб подыскивать «редкое» или «вышедшее из употребления», хотя вполне доступное слово. Что же до честолюбивой, несведущей и буйной Люсетт, то ей приходилось, даже в двенадцать лет, пользоваться время от времени подсказками Вана, на что тот шел прежде всего, чтобы сэкономить время и хоть чуть-чуть приблизить тот сладостный миг, когда девочку можно отправить в детскую и заполучить Аду ради третьего или четвертого в тот чудный летний день бурного всплеска. Особо докучали Вану препирания девчонок, какие слова можно использовать, какие нельзя: запрещались имена собственные и географические названия, но случались сопредельные случаи, сопровождаемые столькими горестными разочарованиями, что было невыносимо жалко смотреть, как Люсетт, оставшись с последними пятью буковками (когда уже ни единой фишки в ящике), выкладывает из них восхитительное «АРДИС», что, как сказала гувернантка, означает «острие стрелы» — да только, увы, по-гречески!

Но самым несносным было вне себя от злобы и возмущения проверять слова сомнительные, роясь в многочисленных словарях, лежавших, стоявших, раскинутых вокруг девчонок — на полу, под стулом, на котором коленками стояла Люсетт, на диване, на большом круглом столе с игровой доской и фишками, на висевшей над ним книжной полке. Это соперничанье, разворачиваемое между недоумком «Ожеговым» (большим, синим, дурно переплетенным словарем, содержащим 52 872 слова) и маленьким, но потрепанным «Эдмундсоном» в почтительном изложении д-ра Гершчижевского, эта безответность кратких словарей-пигмеев и самобытное величие четырехтомного «Даля»{74} («Даленька-далия», ласково мурлыкала Ада, отыскав старое жаргонное словцо у смирного бородача философа) — все это могло бы показаться Вану непереносимой скукой, не порази его как исследователя забавное сходство между игрой в скраббл и спиритическим сеансом. Впервые он ощутил это однажды вечером в августе 1884 года, на веранде детской в лучах заката, последний горящий отблеск которого змеился в углу бассейна, увлекая в последний полет стрижей и усиливая медный блеск кудряшек Люсетт. Обтянутая сафьяном доска была разложена на грубом сосновом, изрядно залитом чернилами, исписанным резными монограммами столе. Милашка Бланш, на мочке уха и на ногте большого пальца которой также играли розовые отблески уходящего солнца, — и источавшая запах духов, меж прислуги именуемых «Мускус горностая», — внесла до поры ненужную лампу. Уже бросили жребий, Аде выпало начинать, и она как раз, автоматически, по наитию, вытягивала из раскрытой коробки один за другим свои «счастливые» семь фишек, где они, каждый в своей золотисто-оранжевой бархатной ячейке, лежали лицевой стороной вниз, кверху обратив лишь ничего не говорящие черные тыльные стороны.

При этом Ада, небрежно роняя слова, приговаривала:

— Я бы все-таки предпочла бентенскую лампу, но в ней кончился керосин. Киска (Люсетт), будь другом, кликни ее — о Господи!

Семь вытянутых Адой букв, — С, Р, Е, Н, О, К, И, — которые она перебирала руками в своем спектрике (маленьком, крытом черным лаком корытце, предназначавшемся каждому игроку), внезапно и даже как бы сами собой преобразовались в ключевое слово случайной фразой, которой сопровождалось это неосознанное перемещение фишек.

В другой раз в тиши библиотечного эркера в громыхавший громами вечер (за несколько часов до возгорания амбара) фишки Люсетт открылись забавным словом ВАНИАДА, из которого она извлекла словцо, обозначавшее предмет мебели, который как раз в этот момент своим тоненьким, капризным голоском и помянула:

— Да-а, а может, мне тоже хочется на тот диван!

Вскоре после этого случая Флавита, как это часто случается с забавами, игрушками и каникулярными знакомствами, которые поначалу сулят радость без конца и без края, канула вслед за бронзовой и кроваво-красной листвой куда-то в туманную осеннюю мглу; и черный ящик был куда-то засунут, забыт — но случайно объявился (среди коробок со столовым серебром) через четыре года, незадолго перед отъездом Люсетт в город, где она с отцом пробыла пару дней в середине июля 1888 года. Случилось, что тогда трое юных Винов играли во Флавиту в последний раз. Потому ли, что с этой игрой кончились записи воспоминаний Ады на эту тему, а может, потому, что Ван сделал кое-какие пометки в надежде — не вовсе не сбывшейся — «углядеть подпушку времени» (а это, как он напишет впоследствии, «наилучшее рабочее определение всяких предзнаменований и пророчеств»), только последняя партия этой самой игры живо и навечно запечатлелась в его памяти.

— Je ne peux rien faire, — канючила Люсетт, — mais rien[212] с такими идиотскими Buchstaben[213], Р, Е, М, Н, И, Л, К… Л, И, Н, К, Р, Е, М…

— Смотри-ка, — шепнул Ван, — c'est tout simple[214], переставь слоги местами, и получится крепость в древней Московии.

— Нет, нет! — возразила Ада, в своей манере грозя пальцем где-то у виска. — Нет, нет! В русском языке нет такого замечательного слова. Это французское изобретение. Второй слог лишний.

— Может, поблажку ребенку? — вступился Ван.

— Никаких поблажек! — вскричала Ада.

— Что ж, — сказал Ван, — всегда можно, если угодно, отсюда выжать КРЕМ — или даже лучше КРЕМЛИ, так зовутся тюрьмы в Юконе. Пройдет прямо через ее ОРХИДЕЯ.

— Через ее дурацкую орхидейку! — подхватила Люсетт.

— Это что! — сказала Ада. — Сейчас Адочка вас почище обставит!

И, воспользовавшись ничего не стоившей буквой, незадолго до того

опущенной опрометчивой рукой в седьмую лунку наивысшей по плодородности грядки, Ада с удовлетворенным придыханием выложила прилагательное ТОРФЯНУЮ, в котором буква «Ф» пришлась на коричневый квадрат и еще две — на красные (37x9 = 333), получив вдобавок приз в 50 очков (за выстраивание всех семи фишек одним махом), что вместе составило 383 очка, самый высокий выигрыш, когда-либо полученный за одно слово русским соискателем игры в скраббл.

— Вот! — произнесла Ада. — Уф! Pas facile[215].

И, смахивая тыльной стороной белой ладони с розоватыми костяшками бронзово-черные пряди волос с виска, она пересчитывала свои неимоверные очки тоном самодовольно-сладкозвучным, словно принцесса, рассказывая, как поднесла чашу с ядом надоевшему возлюбленному, но тут Люсетт, устремив на Вана немой, полный возмущения несправедливостью жизни взгляд, затем снова переведя глаза на доску, внезапно издала оптимистический вопль:

— Это географическое название! Такое нельзя! Так называется первый полустанок после переезда через Ладору!

— Ты права, киска, — промурлыкала Ада. — Ах, как ты, киска, права! Действительно, Торфяная, или, как именует ее Бланш, La Tourbière[216], прелестная, хотя несколько унылая деревушка, где обитает семейство нашей Cendrillon'ы. Но, топ petit[217], на языке нашей матери, — que dis-je[218], на языке нашей бабушки по материнской линии, на котором все мы говорим, на этом прекраснейшем, богатейшем языке, который, киска, не следует забывать ради канадизированного французского, — на этом языке это совершенно заурядное прилагательное женского рода, винительного падежа и означает «торфяную». Вот так, один этот ход принес мне без малого 400. Как жаль — недотянула (до 400 не вышло).

— Недотянула! — укоризненно повторила Люсетт, бросая взгляд на Вана, ноздри трепещут, плечики дрожат от возмущения.

Ван наклонил ее стул, чтоб Люсетт, скользнув с него вниз, отправиться вон. За партий пятнадцать выигрыш бедной малышки составил меньше очков, чем принес сестре этот последний, рукою мастера сделанный ход, да и Ван заработал едва ли больше Люсетт — но что за беда! Мерцание закатных отсветов на плече у Ады, бледно-голубые жилки подмышечной ложбины, древесно-угольный аромат ее волос, отливавших каштановым блеском на фоне пергаментного абажура (полупрозрачный пейзаж с японскими драконами) — все это стоило неизмеримо больше, чем за всю жизнь эти пальчики, цепкой гроздью облепившие огрызок карандаша, начертают ей выигрышей, вчерашних, сегодняшних, будущих.

— Проигравшая — немедленно в постель! — весело сказал Ван. — И оттуда ни-ни, а мы отправимся вниз и принесем ей ровно через десять минут большую (ту, темно-синюю) чашку какао (сладкого, густого какао «Кэдбери» без пенки!).

— Никуда я не пойду! — заявила Люсетт, скрестив на груди руки. — Во-

первых, потому что еще только полдевятого, а во-вторых, потому что прекрасно понимаю, для чего вы хотите от меня избавиться.

— Ван, — после некоторой заминки сказала Ада, — не призовешь ли сюда мадемуазель? Она трудится с мамой над каким-то сценарием, который по глупости даже с глупостью этого несносного ребенка не может сравниться.

— Хотелось бы знать, — заметил Ван, — что именно Люсетт хочет сказать своим любопытным заявлением. Полюбопытствуй у нее, Ада, пожалуйста!

— Она считает, что мы будем играть в скраббл без нее, — сказала Ада, — ну, или займемся с тобой теми восточными упражнениями, которым, помнишь, Ван, ты начал меня обучать, если ты не забыл.

— Ну как же, помню! Помнишь, я показывал, чему мой учитель гимнастики, помнишь, его зовут Кинг Уинг, меня научил.

— Все «помнишь» да «помнишь», ха-ха! — усмехнулась Люсетт, стоя перед ними подбоченясь, расставив ножки в зеленых пижамных штанах и выставив вперед загорелую грудку.

— Наверное, проще всего… — начала Ада.

— Проще сказать, — подхватила Люсетт, — вы оба не смеете открыто признаться, почему хотите от меня отделаться!

— Наверное, проще всего, — продолжила Ада, — тебе, Ван, не отвечать, а врезать ей как следует по заднице.

— Пожалуйста! — выкрикнула Люсетт, нагло выставляя попку.

Ван легонько погладил ее по шелковистому затылку, чмокнул в ухо; и тут, внезапно разразившись истеричными рыданиями, Люсетт кинулась прочь из комнаты. Ада заперла за нею дверь.

— Она совершенно обезумела, честное слово, прямо какая-то похотливая цыганка-нимфетка, — говорила Ада, — а нам теперь надо быть гораздо осторожней… о… очень, очень, очень… о… осторожней, любимый…

37

Шел дождь. Лужайки сделались зеленей, бассейн посерел, просвечивая сквозь мутное окно библиотечного эркера. Облаченный в черный спортивный костюм, подоткнув под голову пару желтых подушек, Ван лежа читал исследование Раттнера о Терре, произведение путаное и наводящее тоску. Время от времени он взглядывал на высокие, по-

осеннему тикавшие часы, возвышавшиеся над рыже-бурой гладкой макушкой Татарии на огромном старом глобусе в меркнущем свете дня, скорее вызывавшего в памяти начало октября, чем начало июля. Ада в ненавистном Вану старомодном макинтоше с поясом, накинув на плечо сумку на ремешке, отбыла до вечера в Калугу — по официальной версии, приглядеть себе кое-что из одежды, по неофициальной — на прием к кузену д-ра Кролика, гинекологу Зайтцу (или, как она умышленно произносила его фамилию, «Зайцу», поскольку тот, как и д-р «Кролик», для русского уха относился к семейству заячьих). Ван отдавал себе отчет, что не единожды за этот месяц их любовных утех забывал о необходимых средствах предосторожности, которые, как это ни странно порой, бесспорно надежны, и недавно приобрел средство в виде футлярчика, каковые в графстве Ладора по какой-то непонятной, восходящей к прошлому причине разрешалось продавать только в парикмахерских. И все же он ощущал беспокойство — и это беспокойство злило его, — и Раттнер, без особого пыла отрицавший в своей книге объективность существования родственной нам планеты, однако с неохотцей допускавший его в своих невразумительных примечаниях (неудобно расположенных между главами), казался Вану нудным, как этот дождь, сеявшийся косыми, параллельными, точно карандашом прочерченными линиями, заметными лишь на фоне темневшего насаждения лиственниц, завезенных, как утверждала Ада, из Мэнсфилд-парка.

Без десяти пять тихонько вошел Бут с зажженной керосиновой лампой и с приглашением Марины зайти к ней в комнату поболтать. Проходя мимо глобуса, Бут провел по нему пальцем и, обозревая пыль на кончике, сказал, качая головой:

— Пылища кругом! Надо бы Бланш назад в деревню отправить. Elle est folle et mauvaise, cette fille[219].

— Ладно-ладно, — пробормотал Ван, едва оторвавшись от чтения.

Бут вышел из комнаты, продолжая качать своей дурацкой стриженой башкой, а Ван, зевая, позволил Раттнеру соскользнуть с черного дивана на черный ковер.

Когда в очередной раз он взглянул на часы, они набирали силу для боя. Ван поспешно поднялся с дивана, припоминая, что входила Бланш и просила, чтоб он за нее пожаловался Марине на мадемуазель Аду, уже в который раз отказавшуюся подбросить служанку до «Пивной туры», как местные шутники прозвали ее деревушку. Несколько мгновений краткий, неясный сон так сплелся с реальностью, что, даже вспоминая, как Бут тычет пальцем в ромбовидный полуостров, на который только что высадились армии союзников (что явствовало из ладорской газеты, раскинутой орлом на библиотечном столе), он все еще отчетливо видел, как Бланш стирает пыль с Крыма одним из оброненных Адой носовых платков. Ван вскарабкался по улиточным ступенькам в ватерклозет при детской; издалека услыхал, как гувернантка с бедняжкой воспитанницей читают вслух монологи из злосчастной «Береники»{75} (каркающее контральто вперемежку с точно заведенным тоненьким голоском); и решил, что, наверное, Бланш или, скорее, Марине любопытно было б узнать, серьезны ли его заявления, будто на днях он досрочно, в девятнадцать, отправится служить в армию. Еще с минуту он

поразмышлял вокруг того печального обстоятельства, что (как было ему известно из его занятий) смешение двух реальностей, одной в одинарных, другой в двойных кавычках, есть симптом надвигающегося сумасшествия.

Неподкрашенная, простоволосая, в допотопнейшем своем кимоно (Педро внезапно удрал в Рио), Марина, полулежа на своей кровати красного дерева под золотисто-желтым пикейным одеялом, пила чай с кумысом, в отношении чего у нее был пунктик.

— Подсаживайся, выпей глоток чайку, — сказала Марина. — По-моему, коровье вон в том молочнике, что поменьше. Да, именно так! — И продолжала, когда Ван, чмокнув ее, в родинках, руку, опустился на иванильич (такой охающий, старый кожаный пуф): — Ван, дорогой, мне надо тебе кое-что сказать, о чем больше, я знаю, мне не придется с тобой поговорить. Бэлль с вечным своим пристрастием к точности выражений процитировала мне adage[220] — cousinage-dangereux-voisinage[221] — ах, «adage», вечно запинаюсь на этом слове, — и выразила возмущение, qu'on s'embressait dans tous les coins[222]. Это правда?

Мысль Вана воспламенилась, прежде чем заработал язык. Да нет же, Марина, это чудовищное преувеличение. Ну, видала разок эта психопатка, как он нес Аду через ручей и поцеловал, потому что она поранила палец на ноге. Так ведь моя роль — не более чем нищий в той повести, что печальнее нет на свете.

— Ерунда (nonsense)! — сказал Ван. — Она видала однажды, как я переносил Аду через ручей, и превратно истолковала наше stumbling huddle (спотыкающееся слияние).

— Причем здесь Ада, дурачок! — сказала Марина, едва заметно фыркнув и склоняясь над чашкой. — Русский юморист Азов считает, что ерунда произошла от немецкого hier und da[223], что означает «ни туда, ни сюда»{76} («это к делу не относится»). Ада уже девочка большая, а у больших девочек, увы, свои заботы. Разумеется, мадемуазель Ларивьер имела в виду Люсетт. Необходимо прекратить эти нежные игры, Ван! Люсетт — наивная двенадцатилетняя девочка, и хоть я уверена, что все это чистое озорство, yet (однако) в отношении ребенка, перерастающего в маленькую женщину, вести себя деликатно никогда не помешает. À propos de coins[224]: у Грибоедова в «Горе от ума» («How stupid to be so clever»), пьесе в стихах, написанной, кажется, во времена Пушкина, главный герой, напоминая Софи о том, как в детстве они вместе играли, говорит:

How oft we sat together in the corner

And what harm might there be in that?[225]

Хотя в русском оригинале это звучит несколько двусмысленно, еще

чайку, Ван? (тот мотнул головой, одновременно взмахивая рукой, как его отец), потому что, видишь ли, — строку «и кажется, что в этом» можно еще понять, как «и кажется, что в этом», как бы указуя пальцем на некий угол в комнате. Представь — когда я репетировала сцену с Качаловым в театре «Чайка»{77} в Юконске, Станиславский, Константин Сергеевич, и в самом деле заставлял его изобразить этот cosy little gesture (уютненький жест).

— Да что вы говорите! — сказал Ван.

Появился песик, выкатил на Вана карий глаз, поплелся к окну, поглазел, как маленький человечек, на дождь и вернулся в соседнюю комнату на свою грязную подушку.

— Не выношу эту породу, — признался Ван. — Таксофобия.

— Ну, а как насчет девушек, Ван, много ль их у тебя? Ты ведь не любитель мальчиков, как твой бедный дядя, ведь нет? Среди наших предков попадались ужасные извращенцы, но… чему ты смеешься?

— Так, ничему, — сказал Ван. — Просто хочу официально констатировать, что питаю пристрастие к девическому полу. Первая у меня была в четырнадцать. Mais qui me rendra mon Hélène?[226] Волосы у нее были черны как смоль, а кожа — точно снятое молоко. Потом было множество других, с большей примесью сливок. И кажется, что в этом?

— Как странно и как грустно! Грустно потому, что я почти ничего не ведаю о твоей жизни, my darling (мой душка). Все Земские были великие rakes (развратники), один обожал маленьких девчонок, другой raffolait d'une de ses juments[227], велел ее привязывать как-то по-особому — сама не знаю как (всплескивает руками с выражением испуганного неведения), являлся к ней на свидание в конюшню. Кстати (à propos), меня всегда изумляло, как наследственные черты могут передаваться от холостяков, не иначе гены способны скакать, точно шахматные кони. В последний раз, когда мы с тобой играли, я почти выиграла, надо нам сыграть снова, только не сегодня — сегодня мне ужасно грустно. Мне бы так хотелось узнать о тебе все-все, но теперь уж слишком поздно. Воспоминания всегда чуточку «stylized» (стилизованы), как говаривал твой отец, такой неотразимый и противный; даже если бы ты показал мне свои старые дневники, я уж не сумею с ходу изобразить естественный эмоциональный отклик, хоть актрисы способны в миг расплакаться, вот как я сейчас. Видишь ли (шарит под подушкой в поисках платка), когда дети quite tiny (такие малютки), невозможно помыслить расстаться с ними хоть на пару дней, но потом все-таки расстаемся, сначала на две недели, потом на месяц, без них тянутся серые годы, черные десятилетия, и вот — opéra bouffe[228] взрывается христианский уход в вечность. По-моему, даже самая краткая разлука — уже подготовка к Элизийским играм — кто это сказал? Я это сказала. А костюм твой, хоть он тебе и к лицу, все же какой-то траурный (funerary). Какую околесицу я несу! Прости мне мои дурацкие слезы… Скажи, могу я хоть что-нибудь для тебя сделать? Ну, пожалуйста, скажи что! Хочешь, подарю тебе роскошный, практически не ношенный перуанский шейный платок, его он, тот безумный мальчик, оставил? Не хочешь? Стиль не твой? Тогда ступай. И помни: ни слова

бедняжке мадемуазель Ларивьер, она из лучших побуждений.

Ада вернулась перед самым ужином. Ну, что? Он столкнулся с ней, когда она с довольно усталым видом поднималась по парадной лестнице, таща с собой по ступенькам за ремешок сумку. Ну, что? От нее пахло табаком, либо потому (как сама сказала), что ехала час в купе для курящих, либо оттого (добавила она), что выкурила пару сигарет, пока ждала в приемной у врача, а может, потому (этого она не говорила), что неведомый любовник — страстный курильщик, из полураскрытых красных губ кольцами взвивается облако голубого дыма.

— Так что? Tout est bien?[229] — спросил Ван после небрежного поцелуя. — Все в порядке?

Она грозно или притворно грозно взглянула на него.

— Послушай, Ван, зачем ты звонил Зайтцу? Он даже имени моего не знает! Ты же обещал!

Пауза.

— Я не звонил, — тихо произнес Ван.

— Tant mieux[230], — сказала Ада тем же фальшивым голосом, когда он помогал ей в коридоре снять пальто. — Oui, tout est bien[231]. Прошу тебя, милый, прекрати меня обнюхивать. К счастью, у меня началось по дороге домой. Пожалуйста, пусти!

Свои сложности? Надуманные матерью? Банальность повседневности? «У каждого свои проблемы?»

— Ада! — крикнул он.

Она обернулась, не успев запереть свою (вечно запираемую) дверь.

— Что?

— «Тузенбах (не зная, что сказать). Я не пил сегодня кофе. Скажешь, чтоб мне сварили… (быстро уходит)».

— Очень смешно! — сказала Ада и, ступив в комнату, заперла за собой дверь.

38

В середине июля дядюшка Дэн увез Люсетт в Калугу, где ей предстояло пробыть с Бель и Франш дней пять. В городке гастролировали лясканская балетная труппа и немецкий цирк, но особо желанным

зрелищем для детей оставались соревнования среди школьниц по хоккею на траве и плаванию, которые и старина Дэн, этот великовозрастный ребенок, регулярно посещал в соответствующее время года; к тому же Люсетт надо было «пообследоваться» в Тарусской больнице, чтобы выяснить, отчего у нее так ненормально колеблется вес и температура при том, что ест она с аппетитом и на здоровье не жалуется.

В ту самую пятницу, после дождя, когда папаша с дочкой намеревался возвратиться, он также имел в виду прихватить с собой адвоката из Калуги в Ардис, где ожидался редкий гость — Демон.

Предстояло обсудить дело с продажей некого «ценного» (торфяного) участка, принадлежавшего обоим кузенам и от которого оба, по разным причинам, спешили избавиться. Как это обычно, если тот особо тщательно планировал, приключалось с Дэном, что-то не сработало, стряпчий утверждал, что может выбраться лишь совсем поздно, так что перед самым приездом Демона его кузен аэрограммой известил Марину, чтоб «отужинала с Демоном» и чтоб их с Миллером вечером не ждали.

Подобный контретан[232] (как Марина в шутку называла всякий, не обязательно неприятный сюрприз) для Вана оказался весьма кстати. За последний год он отца видел достаточно редко. Ван любил его легко и самозабвенно, в детстве боготворил, теперь, в более снисходительном, но и более осведомленном возрасте, питал к отцу неколебимое уважение. Однако с годами к любви и почитанию примешалась некоторая доля антипатии (подобную же антипатию Ван питал и к проявлениям собственной безнравственности); вместе с тем, чем старше становился, тем острее Ван ощущал в себе готовность с радостью, с гордостью, при любых обстоятельствах и без колебаний жизнь отдать за своего отца. Когда в конце 1890-х годов впавшая в жуткий старческий маразм Марина время от времени прохаживалась, оглашая неприглядные, отвратительные подробности насчет «проступков» покойного Демона, Ван испытывал жалость к обоим, хотя по-прежнему оставаясь равнодушен к Марине и пылок к отцу, — так продлилось вплоть до нынешних, страшно поверить, 1960-х годов. Никто из поганых любителей обобщений с их грошовым интеллектом и черствой душой не смог бы объяснить (вот моя сладчайшая месть за всевозможные нападки на дело всей моей жизни) характер субъективных причуд, что определяют названные и сходные с ними явления. Без подобных причуд не может быть искусства, не может быть гения, таков конечный приговор, предающий анафеме всех фигляров и болванов.

Часто ли в последние годы Демон наведывался в Ардис? 23 апреля 1884 года (в тот день был затеян разговор о том, чтобы Вану провести лето в поместье, последовали договоренности, заверения). Дважды летом 1885 года (когда Ван осваивал горные тропы в Западных штатах, а дочери Винов путешествовали по Европе). Заезжал отужинать в 1886 году, в июне или июле (интересно, где был тогда Ван?). В мае 1887 года наведывался на пару дней (Ада в обществе какой-то немки предавалась ботанике где-то в Эстотии или Калифорнии. Ван развратничал в Чузе).

Воспользовавшись отсутствием Ларивьер и Люсетт, Ван с Адой вовсю развлекались в подручной детской; сейчас Ван выглядывал, свесившись

вниз из дальнего ее окна, откуда так хорошо видно подъездное шоссе, и вот уж послышалось бархатное урчание отцовского автомобиля. Ван ринулся вниз — он летел с такой скоростью, что перила жгли ладонь, вызывая веселые воспоминания о подобных ощущениях в детстве. В зале никого не было. Вошедший в дом со стороны боковой галереи, Демон сидел в светившейся солнечной пылью музыкальной зале, протирая свой монокль специальной замшинкой («shammy») в ожидании своего «предбрендичного» бренди (допотопный софизм). Крашеные, черные, как смоль, волосы; зубы белые, как у собаки. При виде сына гладкая, лоснящаяся загаром физиономия с черными, аккуратно подстриженными пышными усами и влажными темными глазами расплылась в улыбке, лучась любовью, какую и Ван испытывал к отцу и которую оба пытались скрыть под маской привычной шутливости.

— Привет, папа!

— А, привет, Ван!

Très Américain. Отец, хлопая дверцей машины, идет сквозь метель. Как всегда, в перчатках; как всегда, без пальто. Может, «руки ополоснуть», отец? Родина, милая родина.

— Не хочешь ли «ополоснуть руки»? — спросил Ван, подмигнув.

— Спасибо, нет, я уж мылся сегодня.

(Короткий вздох как подтверждение быстротечности времени: он, как и Ван, помнил до мелочей каждый их, отца и сына, совместный ужин в Риверлейн, походя роняемое, заботливое предложение посетить ватерклозет, лебезящих преподавателей, гнусную еду, мясное пюре, «Боже, спаси Америку!», конфузливых сынков, плебеев-папаш, титулованного британца и грека-вельможу, выставляющихся друг перед дружкой яхтами на Багамудах, ухарством и охальством. Можно, сын, я незаметно перекину на твою тарелку сей изысканный синтетический продукт под розовой глазурью? «Ах, тебе не нравится!» (с притворной обидой). Храни Господь вкусовые пристрастия бедных американцев!)

— Твой новый автомобиль на слух — прямо-таки чудо! — заметил Ван.

— Ты так считаешь? Пожалуй. — (Не забыть спросить у Вана про ту горнишон — французско-русское жаргонное словцо для обозначения смазливой камеристочки самого низкого пошиба.) — Ну а вообще как дела, славный мой мальчик? В последний раз мы виделись, когда ты приезжал из Чуза. Вся наша жизнь проходит в разлуках! Как играет нами судьба! Знаешь, давай до осеннего триместра месяцок поживем вместе в Париже или Лондоне?

Роняя монокль, Демон утер глаза модным, кружевным платочком, торчавшим из нагрудного кармана его смокинга. Слезные железы у него срабатывали мгновенно, если только истинное горе не заставляло сдерживать слезы.

— Выглядишь ты, папа, дьявольски здорово! Особенно с этой свежей гвоздикой в петличном глазке. Ты ведь, кажется, не долго был за

Гарцем, откуда обзавелся таким загарцем?

Страсть к доморощенным каламбурам была для Винов не в новинку.

— En effet[233] я сам себе позволил поездку в Акапульково, — отвечал Демон, непроизвольно и без особой нужды вызывая в памяти (с тем же назойливым пристрастием к сиюминутной детали, которое докучало и его детям) лилово-черную, полосатую рыбку в аквариуме, в таких же полосках кушетку, ониксовые прожилки, высвеченные субтропическим солнцем на блуднице-пепельнице посреди каменного пола, кипу потрепанных, закапанных апельсиновым соком журналов «Повеса» (playboy), привезенные им ювелирные украшения, фонограф, выпевающий вкрадчивым женским голоском «Petite nègre, au champ qui fleuronne»[234], и восхитительный животик ужасно дорогой и ужасно вероломной и вместе с тем прелестной юной креолки.

— Скажи, а та, как ее, тоже была с тобой?

— Знаешь, мой мальчик, с каждым годом становится все сложней и сложней определяться терминологически. Давай поговорим о вещах более очевидных. Но где ж напитки? Мимолетный ангел обещал мне их доставить.

(Мимолетный ангел?)

Ван потянул зеленый шнур звонка, посылая мелодичное напоминание в буфетную, чем вызвал ответное вспенивание в углу музыкальной залы допотопного, в бронзовом оплете, аквариума с единственной в нем узницей рыбкой-цихлидой (реакция, вводящая в прострацию своей самогазацией и понятная лишь посудомою Киму Богарнэ).

«Может, пусть вызовет ее после ужина?» — размышлял про себя Демон. Сколько тогда по-местному будет времени? Хотя стоит ли, надо поберечь сердце.

— Не знаю, известно ли тебе, — сказал Ван, вновь опускаясь на пухлый подлокотник отцова кресла. — Дядюшка Дэн с Люсетт и стряпчим прибудут только после ужина.

— Отлично! — отозвался Демон.

— Марина с Адой вот-вот спустятся — ce sera un dîner à quatre[235].

— Отлично! — повторил Демон. — А ты, любезный мой дружок, прекрасно выглядишь — и тут я нисколько не грешу перед истиной, как приходится делать в отношении стариков с сияющими, точно ботинки, прилизанными головами. И смокинг твой весьма мил — вернее, весьма мило узнать стиль своего старого портного в одежде собственного сына — словно поймать себя на воспроизведении фамильного жеста, — такого, скажем (трижды грозит указательным пальцем левой руки на уровне виска), таким вот небрежным жестом мать моя выражала добродушное несогласие; ты этот ген не унаследовал, я же обнаружил его у себя в зеркале своего парикмахера, когда не давал мазать «Кремлином» свою плешь; и, знаешь, у кого еще проявился этот жест — у моей тетки Китти, которая

после развода с жутким распутником, писателем Левкой Толстым, вышла замуж за банкира Боленского.

Демон предпочитал Диккенсу Вальтера Скотта, а о русских писателях был мнения невысокого. Как всегда, Ван счел уместным внести свои коррективы.

— Толстой — фантастический мастер слова, папа!

— Ты фантастически славный мальчик, — сказал Демон, роняя очередную сладкую слезку.

Он прижал к щеке красивую, сильную ладонь сына. Ван приложился губами к волосистой кисти отца, уж настроившейся на пока предстоящий стакан с чем-то крепким. Несмотря на присутствие мужественной ирландской крови, все Вины отличались крайней нежностью при характерных приливах чувств, будучи весьма скупы на их выражение.

— Ну и ну! — воскликнул Демон. — Что такое — ручища грубая, как у плотника. Покажи-ка другую! Боже правый! (себе под нос) — Венерин Бугор весь изрезан, Линия Жизни сплошь в рубцах, но чудовищно длинная… (теперь на цыганский манер, распевно) — Мечта твоя сбудется, на Терру попадешь, а вернешься — мудрей и радостней станешь (снова переходя на свой обычный тон) — Как хироманта меня озадачивает странное положение Сестры твоей жизни{78}. И еще — твои мозоли!

— Маскодагама! — выдохнул Ван, играя бровями.

— Ах ну да, какой же я тупица! А теперь скажи — как тебе Ардис-Холл?

— Я от него в восторге, — ответил Ван. — Для меня он — château que baignait la Dore[236]. С радостью всю свою жизнь, странную и в рубцах, провел бы здесь. Но все это бесплодные мечты.

— Бесплодные? Как знать. Мне известно, что Дэн собирается оставить Ардис Люсиль, только Дэн жадноват, а я ворочаю такими делами, что способен удовлетворить жадность, и немалую. В твои годы наисладчайшим из самых звучных в языке слов мне представлялось слово «бильярд», и теперь я вижу, что недаром. И если тебе, сын, действительно это имение приглянулось, могу попытаться его откупить. В моих силах оказать известное давление на мою Маринушку. Когда на нее наседаешь, она, я бы сказал, проседает с оханьем, как пуф. Черт побери, здешняя прислуга расторопностью Меркурия не отличается! Дерни-ка снова шнурок! Может, Дэн и согласится продать поместье.

— Черновато мыслишь, папа, — довольно заметил Ван, ввернув жаргонную фразочку, почерпнутую от Руби, своей кроткой юной няньки, родом откуда-то из Миссисипи, где судьи, благотворители, священнослужители и прочие почтенные щедрые граждане в основном сохранили темную и смуглую кожу своих западноафриканских предков, первых мореплавателей, достигших Мексиканского залива.

— Так-так, — прикидывал Демон, — покупка может обойтись в пару

миллионов, больше едва ли; за вычетом того, что мне должен кузен Дэн, за вычетом к тому же и пастбищных земель Ладоры, которые испоганены до крайности и их постепенно надо сбывать с рук, если только местные сквайры не взорвут новый керосино-водочный завод, стыд и срам (shame) нашего графства. Я не слишком в восторге от Ардиса, но ничего против него не имею, хоть окрестности здесь и отвратительны. Городок Ладора превратился в грязную дыру, и игровой бизнес здесь уж не тот. Соседи, прямо скажем, сплошь престранные. Бедняга лорд Ласкин вообще свихнулся. Как-то на днях во время скачек разговорился я с одной дамой, за которой охотился много лет тому назад, о да, задолго до того, как Моисей де Вер наставил в мое отсутствие рога ее супругу, а после на моих глазах его застрелил, — каковую сентенцию ты, несомненно, слыхал уж и раньше из этих же уст…

(Сейчас скажет про «родительскую склонность к повторам».)

— …но любящий сын должен прощать легкую родительскую склонность к повторам — так вот, она утверждает, что сынок ее и Ада довольно часто встречаются и все такое прочее. Это верно?

— Не совсем, — сказал Ван. — Встречаются время от времени — на обычных сборищах. И он, и она любят лошадей, скачки, только и всего. Обо всем таком и речи быть не может.

— Прекрасно! Да, говорят, скоро грядет необыкновенный футбольный матч. Прасковья де Прэ страдает худшим из снобистских пороков: склонностью к преувеличению. Bonsoir[237], Бутейан! Ты стал багров, как вино, что пьют у тебя на родине, — впрочем, с годами, как говорят американки, все мы моложе не становимся, а та моя хорошенькая посланница, должно быть, была перехвачена более юным и более удачливым субъектом?

— Прошу, папочка (please, Dad)! — проговорил Ван, вечно опасавшийся, что иные отцовские невразумительные шутки способны слугу обидеть, да и себя коривший за то, что порой бывает излишне резок.

Между тем — употребим этот древний повествовательный оборот — старый француз слишком хорошо знал своего прежнего хозяина, чтоб принимать близко к сердцу свойственный джентльмену юмор. Его ладонь еще хранила приятное горение после наподдавания молодке Бланш по ладненькой заднице за то, что переврала простейшую просьбу мистера Вина да еще и цветочную вазу грохнула.

Поставив поднос на низкий столик, Бутейан отступил на пару шагов, как бы продолжая держать в изогнутых пальцах невидимый поднос, только тогда ответил на приветствие Демона полным почтения поклоном. В добром ли здравии месье? О да, можешь не сомневаться!

— Хотелось бы к ужину, — сказал Демон, — бутылочку твоего Шато Латур д'Эсток! — И когда дворецкий, en passant[238] убрав с крышки рояля скомканный носовой платок и отвесив очередной поклон, удалился, продолжал: — Как ты ладишь с Адой? Сколько ей нынче… почти шестнадцать? Что она, верно музыкальна, романтична?

— Мы с ней друзья, — сказал Ван (тщательно подготовив ответ к вопросу, который давно в той или иной форме ожидал). — У нас много общего, даже больше, чем, скажем, бывает между влюбленными, между кузенами или у брата с сестрой. Словом, мы прямо-таки неразлучны. Много читаем. Она, благодаря прадедовой библиотеке, несомненно начитанна. Да и вообще приятная юная особа.

— Ван… — начал было Демон, но осекся — как начинал и осекался уж столько раз в последние годы. Когда-нибудь это должно быть произнесено, но не наступил еще тот момент. Вставив монокль, Демон принялся рассматривать бутылку: — Кстати, сын, не хочешь ли отведать какой-нибудь из этих аперитивов? Мой отец позволял мне выпить «лиллетовки» или вон того иллинойского пойла — жуткое барахло, антрану свади[239], как сказала бы Марина. Подозреваю, что у твоего дядюшки есть за соландерами в кабинете тайник, где хранится виски получше, чем этот usque ad Russkum[240]. Что ж, давай пить коньяк, как намечено, если ты не filius aquae[241].

(Каламбур выпал невзначай, но, когда заносит, можно и дать маху.)

— Нет, я предпочел бы кларет. Налягу (I'll concentrate) на «Латур» после. Да нет, вовсе я не аквафил, а и в Ардисе лучше воду из-под крана не пить.

— Надо предостеречь Марину, — сказал Демон, пополоскав во рту и неторопливо сглотнув, — не стоило б ее благоверному — после приключившегося с ним удара — напиваться до одурения, переключился б лучше на французские и кали-франкские вина. На днях видел его в городе, в районе Псих-авеню{79}, сначала он шел вполне нормально, но стоило ему меня заметить издалека, за квартал, как его часовой механизм начал давать сбои и он — такой беспомощный! — остановился, не в силах до меня дойти. Едва ли это нормально. Что ж, как некогда говаривали мы в Чузе, — выпьем, чтоб, не дай Бог, прелестницы наши прознали друг о дружке! Только юконцы воображают, будто коньяк вреден для печени, потому у них и нет ничего, кроме водки. Так я рад, что ты прекрасно ладишь с Адой. Это замечательно. Давеча вон в той галерее я столкнулся с на редкость миленькой субреткой. Она, ни разу не вскинув реснички, отвечала мне по-французски, когда я… прошу тебя, мальчик мой, задерни слегка эту штору, вот так, такое резкое закатное солнце, в особенности из-под темной тучи, не для моих бедных глаз. Или бедных поджилок. Скажи, как тебе такой типаж, Ван, — склоненная головка, обнаженная шейка, высокие каблучки, шустрая, вихляющая походка, — а, правда мило, Ван?

— Видите ли, сэр…

(Сказать ему, что я самый юный венерианец? А может, он тоже? Показать метку? Нет, лучше не стоит. Увернемся.)

— Видишь ли, я теперь отдыхаю после знойного романа, который был у меня в Лондоне с моей партнершей, помнишь, ты прилетал на последний спектакль, я танго с ней танцевал?

— Помню, ну да! Так ты забавно сказал — «отдыхаю».

— По-моему, сэр, вам хватит бренди на сегодня.

— Ну да, ну да, — проговорил Демон, отбиваясь от некого деликатного вопроса, ранее вытесненного из Марининой головы лишь ее неспособностью на сходную догадку, если только не проникнет она через какой-нибудь потайной вход; ведь несообразительность непременно созвучна перенасыщенности; нет ничего полней, чем пустая голова.

— Кто спорит, — продолжал Демон, — посвятить лето отдыху в деревне — это так соблазнительно…

— Свежий воздух и все такое прочее, — подхватил Ван.

— Надо же, юный сынок послеживает за отцом, не много ли тот пьет, — заметил Демон, наливая себе в четвертый раз. — С другой стороны, — продолжал он, грея в пальцах свой с позолоченным ободком неглубокий бокал на тонкой ножке, — пребывание на воздухе при отсутствии летнего увлечения может обернуться унылой скукой, но, я соглашусь, не так уж много приличных девиц имеется по соседству. Есть эта славненькая юная Ласкина, une petite juive très aristocratique[242], но, насколько я знаю, она помолвлена. Между прочим, эта де Прэ утверждает, что ее сын поступил на военную службу и скоро ему предстоит принять участие в достойной сожаления заморской кампании, в которую нашей стране не стоило бы ввязываться. Интересно, останутся ли здесь у него соперники?

— Господи, о чем ты! — искренне воскликнул Ван. — Ада — серьезная юная леди. Нет у нее ухажеров — кроме меня, ça va seins durs[243]. А ну-ка, отец, кто, кто же, кто говорил так вместо «sans dire»[244]?

— Ах это! Кинг Уинг. Когда я полюбопытствовал насчет достоинств его жены-француженки. Что ж, мне приятно слышать такое об Аде. Говоришь, она любит лошадей?

— Она, — сказал Ван, — любит то же, что и наши красавицы: балы, закат, ну и «Вишневый сад».

Тут в комнату собственной персоной вбежала Ада. Да-да-да-да, вот и я! Лучась улыбкой!

Демон, с радужными крыльями, торчащими горбом за спиной, привстал было, но тут же снова плюхнулся в кресло, обхватив Аду одной рукой, в другой сжимая свой бокал и целуя девушку в шею, в голову, вдыхая свежесть племянницы с пылом, дядюшке не свойственным.

— Ах ты Боже мой! — воскликнула Ада (в порыве детского восторга, который Ван воспринял даже, казалось, с большим attendrissment, melting ravishness[245], чем ее ласкавший его отец). — Как рада видеть тебя! Когтями разрывая облака! Он канул вниз, где замок был Тамары!

(Парафраз Лоуденом Лермонтова.)

— Последний раз я имел удовольствие видеть тебя, — сказал Демон, — в апреле, ты была в плаще с черно-белым шарфом, и от тебя прямо-таки разило мышьяковым духом зубоврачебного кабинета. Сообщу приятную новость, доктор Жемчужин женился на своей регистраторше! А теперь, дорогая, серьезно. Я допускаю это платье (узкое, черное, без рукавов), могу вытерпеть эту романтическую прическу, мне не слишком нравятся твои лодочки на босу ногу (on bare feet) и твои духи «Beau Masque»[246] — passe encore[247], но, радость моя, мне гадка, мне отвратительна твоя сине-лиловая губная помада. Пусть это модно в доброй старой Ладоре. Для Манхэттена или Лондона это непристойно.

— Ладно (Okey)! — сказала Ада и, выставив свои крупные зубы, с силой стерла помаду с губ платком, извлеченным из лифа платья.

— Опять-таки провинциальная манера. Следует иметь при себе черную шелковую сумочку. Ну, а теперь блесну своей способностью угадывать: твоя мечта — стать пианисткой и концертировать!

— Ничего подобного, — презрительно сказал Ван. — Это чистый нонсенс. Она совершенно не умеет играть.

— Не имеет значения, — возразил Демон. — Наблюдательность не обязательно мать дедукции. Как бы то ни было, ничего предосудительного в платочке, кинутом на «бехштейн», я не вижу. Ну, любовь моя, не стоит так отчаянно краснеть. Чтоб внести умиротворяющую смешинку, позвольте вам процитировать:

Lorsque son fi-ancé fut parti pour la guerre

Irène de Grandfief, la pauvre et noble enfant

Ferma son pi-ano… vendit son éléphant[248].

— Напыщенное «не склонна» — авторское; а слон — мой.

— Не может быть! — рассмеялась Ада.

— Наш великий Коппе, — заметил Ван, — конечно, чудовищен, но есть у него один прелестный маленький опус, который наша Ада де Грандфьеф не раз более или менее успешно переиначивала на английский.

— Да ну тебя, Ван! — с несвойственным ей кокетством взорвалась Ада, хватая пригоршню соленых миндалин.

— Послушаем, послушаем! — оживился Демон, подцепив орешек из ее подставленной ладони.

Эта взаимослаженность и согласие жестов, эта веселая искренность семейных встреч, эти ни разу не спутавшиеся марионеточные стропы —

их легче описать, чем вызвать в памяти.

— Старые средства повествования, — сказал Ван, — могут пародироваться лишь величайшими и злейшими из художников, но лишь близким родственникам можно простить парафраз выдающихся стихов. Позвольте мне предварить плод усилий кузины — не важно чьей — одним отрывком из Пушкина, чтоб сладить рифму…

— Изгадить рифму! — подхватила Ада. — Любой, даже мой, парафраз — все равно гладкий лист преобразует в гадкий глист, только-то и остается от нежного первородного корешка.

— Чего вполне достаточно, — заметил Демон, — чтоб удовлетворить меня, непритязательного, и милых друзей моих.

— Так вот оно, — продолжал Ван (пропуская мимо ушей, как ему показалось, неприличный намек, поскольку бедное растеньице считалось издревле в Ладоре не столько средством от укусов рептилий, сколько залогом легких родов у слишком юных матерей; но это к слову) — Стишок на случай сохранился; его имею; вот вам он: «Leur chute est lente», всяк их знает…

— Я знаю их! — внедрился Демон:

Leur chute est lente. On peut les suivre

Du regard en reconnaissant

Le chêne à sa feuille de cuivre

L'érable à sa feuille de sang[249].

Прекрасные строки!

— Да, это у Коппе, а вот кузинино, сказал Ван и стал читать:

Неспешно их паденье. Любо

Под падом листьев мнить ответ:

Лист медно-красный — отзвук дуба,

Кроваво-красный — клена цвет.

— Фу-у! — отозвалась стихоплетчица.

— Ничего подобного! — вскричал Демон. — Это «падом листьев» — маленькая восхитительная находка!

Он притянул Аду к себе, та опустилась на подлокотник его Klubsessel[250], и Демон приклеился пухлыми влажными губами к розовому уху, просвечивавшему сквозь густые темные пряди. По Вану пробежала восторженная дрожь.

Теперь наступил черед Мариниого появления, и она в платье с блестками, в восхитительной игре света и тени, в приглушенном фокусе лицо, к чему звезды стремятся в зрелости, возникла, простирая руки, в сопровождении Джонса, несшего два подсвечника и одновременно пытавшегося, в рамках приличия, престранным образом незаметно отпихивать ногой назад что-то на него наскакивающее, коричневое, тонущее в тени.

— Марина! — воскликнул Демон с дежурной сердечностью, похлопывая ее по руке и присаживаясь с ней рядом на канапе.

Издавая мерное пыхтение, Джонс поставил один из роскошных, змеей обвитых подсвечников на низкий комодик и хотел было водрузить второй туда, где Демон с Мариной завершали предварительный этап обмена любезностями, но Марина торопливым жестом руки указала, чтоб поставил подсвечник на стойку рядом с полосатой рыбиной. Джонс, пыхтя, зашторил окна, скрывая истинно живописные останки догорающего дня. Этого весьма старательного, серьезного и неповоротливого Джонса наняли недавно, и приходилось постепенно привыкать и к нему самому, и к его сопению. Спустя годы, он окажет мне одну услугу, которую мне никогда не забыть.

— Она — jeune fille fatale[251], этакая бледная краса, сердцеедка, — говорил Демон своей бывшей возлюбленной, нисколько не заботясь, слышит его или нет объект разговора (а она слышала) из дальнего угла комнаты, где помогала Вану загнать собачонку в угол — при этом слишком выставляя напоказ голую ножку. Наш старый приятель, в возбуждении под стать остальным членам воссоединившегося семейства, вслед за Мариной ворвался со старым, отороченным горностаем шлепанцем в жизнерадостной пасти. Шлепанец принадлежал Бланш, кому было велено загнать Дэка к себе в комнату и которая, как обычно, не сумела должным образом его удержать. Обоих детей пронзило холодком déjà-vu (даже удвоенного déjà-vu, если рассматривать в художественной ретроспекции).

— Пожалста без глупостей (please, no silly things), особенно devant le gens[252], — произнесла глубоко польщенная Марина (нажимая на конечное «s», как делали ее бабки); и когда медлительный, с по-рыбьи разинутым ртом лакей уволок обмякшего, выпуклогрудого Дэка с его жалкой игрушкой, Марина продолжала: — Воистину, в сравнении с местными девицами, скажем, с Грейс Ласкиной или Кордулой де Прэ, Ада смотрится тургеневской героиней или даже мисс из романов Джейн Остин.

— Вот-вот, вылитая Фанни Прайс! — уточнила Ада.

— В сцене на лестнице! — подхватил Ван.

— Не будем обращать внимания на их мелкие колкости, сказала Марина Демону. — Мне всегда были непонятны их игры в маленькие тайны. Однако мадемуазель Ларивьер написала изумительный киносценарий про таинственных деток, занимающихся в старых парках странными делами, — только не позволяй ей нынче заговаривать о своих литературных успехах, тогда ее не уймешь.

— Надеюсь, супруг твой не слишком поздно пожалует? — заметил Демон. — Сама знаешь, в летнюю пору после восьми вечера он не в самой лучшей форме. Да, кстати, как Люсетт?

Тут Бутейан величественным жестом распахнул обе створки дверей, и Демон подставил калачиком (в форме изогнутой полумесяцем русской булочки) свой локоть Марине. Ван, которому в присутствии отца свойственно было впадать в какую-то колючую игривость, предложил руку Аде, но та с сестринской sans-gêne[253], которую Фанни Прайс могла бы и не одобрить, легонько шлепнула его по кисти.

Еще один Прайс, типичный, даже слишком типичный, старый слуга, которого Марина (вместе с Г.А. Вронским в период их краткого романа) непонятно по какой причине окрестила прозвищем «Гриб», поставил во главе стола, где сидел Демон, ониксовую пепельницу, поскольку тот между блюдами любил перекурить — русское традиционное попыхивание. Соответственно же на русский манер столик для закусок щеголял многоцветием закусочной снеди, средь которой serviette caviar (салфеточная икра{80}) отделялась от горшочка с Graybead (икрой свежей) сочным великолепием соленых грибков, белых и подберезовичков, а розовость лосося соперничала с алостью вестфальской ветчины. На отдельном подносе поблескивали на разном настоянные водочки. Французская кухня была представлена chaudfroids и foie gras[254]. За раскрытым окном кузнечики стрекотали с головокружительной скоростью средь темной недвижной листвы.

То был — если продолжить в духе романа — веселый, вкусный, затяжной ужин, и, хотя беседа в основном состояла из родственных колкостей и веселых пустячков, этому семейному сбору суждено было остаться в чьей-то памяти событием странно примечательным и не вполне приятным. По восприятию это было сродни очарованности неким полотном в картинной галерее, запоминанию строя сна, одной из его подробностей, осмысленного богатства красок и линий в по-своему бессмысленном отражении. Надо отметить, что во время этого застолья никто, ни читатель, ни Бутейан (раскрошивший, увы, драгоценную пробку) не проявили себя лучшим образом. Легкий элемент фарсовости и неподлинности портил картину, препятствуя ангелу — если б таковой над Ардисом возник — чувствовать себя здесь вольготно; но все же то было зрелище восхитительное, какое ни один художник упустить бы не пожелал.

Скатерть и мерцавшие свечи привлекали как робких, так и стремительных ночных бабочек, среди которых Ада, словно дух какой ее наущал, не могла не признать своих старых «крылатых подружек». В гостиную из темноты жаркой влажной ночи то и дело вплывали или

влетали, тихонько или с шумом, то бледные самозванки, чтоб лишь распластаться нежными крылышками по какой-нибудь блестящей поверхности, то насекомые в припущенных мантиях, с лета врезавшиеся в потолок, то наскакивавшие на сидящих за столом бражники с красными, при черной опоясочке, брюшками.

Так не забудем же, запомним навечно: тогда, в середине июля 1886 года, в Ардисе, графство Ладора, стояла темная, жаркая, влажная ночь и за овальным обеденным столом сидело семейство из четырех человек; стол убран цветами и горит хрусталем — и это не сцена из спектакля, как могло бы — скорее, должно было бы, — показаться тому, кто смотрит со стороны (с фотоаппаратом или программкой в руках), из бархатного сада-партера. Минуло шестнадцать лет после окончания трехлетнего романа Марины с Демоном. Различные по протяженности антракты — двухмесячный перерыв весной 1870 года — некогда лишь усиливали их чувства и душевные муки. Эти до невероятности погрубевшие черты, этот наряд, платье с блестками и сеточка, поблескивающая на крашеных, розовато-блондинистых волосах, эта покрытая багровым загаром грудь и театральный грим с избытком охры и бордо — ничто даже отдаленно не напоминало тому, кто некогда любил ее страстно, как ни одну другую в своих донжуанских похождениях, ту очаровательную, порывистую, романтичную красавицу Марину Дурманову. Демон был удручен — полным крахом прошлого, развеиванием его странствующих дворов и бродячих музыкантов, фатальной невозможностью связать это смутное настоящее с неоспоримой реальностью воспоминаний. Даже закуски эти, выставленные на закусочный стол Ардисского поместья, и эта цветистая гостиная никак не вязались с их прежними petits soupers[255], хотя, Бог свидетель, неизменно трапезу зачинала та же заглавная троица — молодые соленые грибки с блестящими, туго посаженными, желтовато-коричневыми шляпками, в сероватых бусинках свежая икра и паштет из гусиной печенки, с четырех сторон тузами пик украшенный трюфелями.

Демон сунул в рот последний кусочек черного хлеба с нежной лососинкой, хватил последнюю стопку водки и занял свое место за столом, прямо напротив Марины, сидевшей на дальнем конце за громоздкой бронзовой чашей с точеной формы яблоками кальвиль и продолговатым виноградом Персты. Алкоголь, уж пропитавший его могучий организм, как всегда, способствовал распахиванию того, что Демон с пристрастием галлициста именовал «заколоченными дверьми»[256], и теперь, непроизвольно широко зевнув, что случается у многих мужчин при развертывании салфетки, Демон, рассматривая претенциозную, ciel-étoile[257], Маринину прическу, пытался постичь (в полном смысле этого слова), пытался овладеть реальностью факта, проталкивая его в свой чувственный центр: неужто она — та самая женщина, к которой он испытывал нестерпимую страсть, которая любила его истерично и своенравно, которая убеждала, что надо предаваться любви на ковре или на брошенной на пол подушке («так любят все порядочные люди между Тигром и Евфратом»), которая через две недели после родов способна была нестись стремительным бобслеем вниз по заснеженным склонам или заявиться Восточным Экспрессом с пятью чемоданами, с предком Дэка и горничной к д-ру Стелле Оспенко в ее ospedale[258], где Демон лечил царапину, нанесенную шпагой во время дуэли (след которой и по сей день белеет рубцом под восьмым

позвонком, хоть минуло уже больше семнадцати лет). Как странно: когда после долгих лет разлуки встречаешь однокашника или толстуху тетку, обожаемую в младенчестве, тотчас охватывает неизбывное, теплое чувство человеческого родства, а в случае со старой возлюбленной ничего подобного не случается — как будто вместе с прахом нечеловеческой страсти начисто сметается единым порывом все человеческое из былого чувства. Демон, похваливая превосходный суп, смотрел на Марину: она, эта раздобревшая матрона, — без сомнения добродушная, хоть и суетливая и с виду малоприятная, нос, лоб и щеки которой поблескивают смуглым маслянистым покрытием, которое, по ее мнению, «молодит» больше, чем пудра, — была ему знакома меньше, чем Бутейан, кому пришлось однажды выносить ее, изобразившую обморок, из виллы в Ладоре прямо в кеб после окончательной, да-да, окончательной ссоры, накануне ее свадьбы.

Марина, по сути, манекен в человечьем обличье, подобных терзаний на испытывала, будучи совершенно лишена этого третьего видения (особого, полного чудных подробностей воображения), которое может быть свойственно также и многим людям, в других отношениях заурядным и несамостоятельным, но без которого память (даже память истинного «мыслителя» или гениального инженера) оказывается, будем откровенны, попросту трафаретом или вырванным листком. Мы не собираемся строго судить Марину; в конце концов ее кровь пульсирует у нас на запястьях и в висках, и многое из наших причуд у нас от нее, не от него. Все же нечувствительность ее души мы предать забвению не можем. Сидевший во главе стола мужчина, соединенный с нею жизнерадостной, юной парой, «юным героем» (на кинолексиконе) справа от нее, «инженю» слева, был все тот же Демон и в чуть ли не в том же черном смокинге (разве что теперь с гвоздикой, которую, вероятно, стащил из вазы, какую Бланш велено было принести из галереи), кто сидел с нею рядом на прошлое Рождество у Праслиных. Умопомрачительная пропасть, какую он при каждой встрече ощущал меж ними, это из разряда кошмарных «чудес света» нагромождение геологических разломов, невозможно было связать с прошлым тем мостиком, каким Марине виделся штрих-пунктир случайных и серых встреч: «бедняжка» Демон (подобным эпитетом награждались все, с кем она спала) возникал пред ней безобидным призраком — в театральном фойе «между зеркалом и веером», в гостиной у общих друзей, а как-то раз в Линкольн-парке, где указывал тростью на обезьяну с чернильной задницей и не удостоил Марину приветствием, забыв о правилах beau monde, так как был с девицей легкого поведения. И где-то в прошлом, в глубоком прошлом, остался — благополучно обращенный в пошлую мелодраму ее сознанием, испорченным кино, — трехлетний жизненный отрезок лихорадочно разбросанных любовных встреч с Демоном, — «Знойный роман» (название единственного удачного фильма с ее участием), пламя в палаццо, пальмы и лиственницы, его Самозабвенное Чувство, его несносный характер, разлуки, примирения, Голубые Экспрессы, слезы, измены, страх, угрозы безумной сестрицы, пусть жалкие, но оставлявшие следы тигриных когтей на покровах мечты, особенно если лихорадит во влажной ночи. И еще тенью на заднике маячило возмездие (и нелепые судебные инсинуации). Но все это были лишь декорации, которые ничего не стоит сложить, надписать «К чертям» и отправить с глаз долой; и лишь в редчайших случаях являлось напоминание — так, ни с того ни с сего возникнет крупным планом: две левые руки, мальчика и девочки, — что

делают? — теперь Марине уж никак не вспомнить (а ведь всего четыре года прошло!) — играют à quatre mains[259]? — нет, ни тот, ни другая не учились играть на фортепиано, — пускают тенью зайчиков на стене? — ближе, теплее, но пока все не то; отмеряют что-то? Что же? Скользят по стволу вверх? Но где, когда это было? Как-нибудь, думает Марина, надо выстроить прошлое по порядку. Прокрутить, подретушировать. Надо сделать в картине необходимые «вставки», кое-что «подтереть»; подчистить кое-какие красноречивые царапины на эмульсии; одновременно разумно скорректировать «наплывы» по ходу действия, урезая ненужный, компрометирующий материал, должным образом подстраховаться; да, надо, надо, пока смерть финальным хлопком не оборвала съемку.

На данный вечер Марина, не слишком напрягаясь, удовлетворилась традиционным потчеванием Демона его любимыми блюдами, насколько смогла припомнить их при составлении меню: зелёныя щи, бархатисто-зеленый щавельно-шпинатовый суп со скользкими, сваренными вкрутую яйцами, который подавался с обжигающими пальцы, мягчайшими, с мясом, с морковью или с капустой пирожками — пи-раш-ш-ки, как их здесь, с придыханием произнося, почитали испокон веков. После по ее замыслу должен был подаваться зажаренный в сухарях sander (судак) с отварным картофелем, hazel-hen (рябчики) и по-особому приготовленная спаржа — безуханка, которая, как утверждают поваренные книги, прустовских последствий не вызывает.{81}

— Марина, — произнес Демон после первого блюда. — Марина! — повторил он громче. — Не в моих правилах (этот оборот он обожал) критиковать вкусы Дэна по части белого вина или манеры de vos domestiques[260]. Ты меня знаешь, я выше всякого такого вздора, я… (всплеск рукой), однако, дорогая моя, — продолжал он, переходя на русский, — тот человек, который подал мне пирожки, — этот новый лакей, такой одутловатый, with the eyes (с глазами)…

— Глаза есть у каждого, — сухо заметила Марина.

— Да, но у него такие жадные, как у спрута, когда на еду глядит. Но не в этом суть. Он ведь пыхтит, Марина! Он страдает какой-то одышкой (shortness of breath). Ему надо обратиться к доктору Кролику. Это ужасно! Пыхтит прямо как паровоз. Даже у меня в супе булькает.

— Послушай, папа, — вмешался Ван, — доктор Кролик помочь ему не в силах, поскольку, как тебе хорошо известно, скончался, а Марина не может запретить своим слугам дышать, поскольку, и это тебе также известно, они живые существа!

— Виновы гены, Виновы гены, — пробормотал Демон.

— Вот именно! — вскинулась Марина. — Что за манера диктовать! К твоему сведению, бедняга Джонс вовсе не астматик, у него это от чрезмерного усердия. Он здоров как бык, много раз за это лето перевозил меня в лодке из Ардиса в Ладору и обратно, и с большим удовольствием. Как ты, Демон, жесток! Не могу же я ему сказать «не пыхтите», как не могу приказать посудомою Киму не щелкать исподтишка фотоаппаратом — этот Ким совершенно помешался на фотографировании,

хотя в целом он милый, славный и честный мальчик; как не могу я приказать своей камеристке Франш, чтоб прекратила получать приглашения из Ладоры, которые ей почему-то постоянно присылают, на самые крупные bals masqués[261].

— Это занятно! — заметил Демон.

— Ах, старый развратник! — рассмеялся Ван.

— Ван! — одернула его Ада.

— Не старый, молодой! — выдохнул Демон.

— Скажи, Бутейан, — спросила Марина, — что у нас есть приличного из белых вин, что бы ты посоветовал?

Дворецкий улыбнулся и тихонько произнес название легендарной марки.

— Вот-вот! — подхватил Демон. — Ну как можно, родная, в одиночку справиться с вечерним меню! Кстати о гребле — ты упомянула лодку… А знаешь ли, что moi, que vous parle[262], был членом сборной Оксфорда 1858 года по гребле? Ван предпочитает футбол, но сам всего лишь в сборной колледжа, верно, Ван? И еще я сильней его в теннисе — не в лаун-теннисе, разумеется, в него только попам играть, а в корт-теннисе, как говорят в Манхэттене. Что еще, Ван?

— Ты по-прежнему побеждаешь меня в фехтовании, но стреляю я лучше. Это не судак, рара, уверяю тебя, хотя очень вкусно.

(Так как Марине не удалось добыть заблаговременно к этому ужину натуральный продукт из Европы, она организовала то, что оказалось под рукой, — пучеглазую щуку, или «дори», приправленную татарским соусом и с молодым отварным картофелем.)

— О! — произнес Демон, отведав «Белый рейнвейн лорда Байрона». — Влага во искупление «Слез Богородицы»! Я только что рассказывал Вану, — продолжал он уже несколько громче (в заблуждении считая, что Марина стала туга на ухо), — про супруга твоего. Дорогая, он слишком злоупотребляет можжевеловой водкой и уже, право, становится странным и чудаковатым. На днях пришлось мне проходить через Пэт-Лейн со стороны Четвертой Авеню{82}, и тут как раз катит он, довольно резво, в своем чудовищном городском авто — таком допотопном, двухместном, на доисторическом бензине и с румпелем вместо руля. Так вот, завидел меня с приличного расстояния, и махнул, тут всю его колымагу как затрясет, в конце концов она заглохла, полквартала до меня не доехав, а он сидит в ней, дергается, пытается сдвинуть с места, как малыш свой застрявший трёхколёсный велосипед, и, когда я шел к нему, мне определенно подумалось, что это его механизм заклинило, не «хардпен».

Однако Демон по доброте не слишком чистой своей души утаил от Марины, что этот псих в тайне от мистера Эйкса, своего консультанта по искусству, купил за несколько тысяч долларов у картежного приятеля Демона и с Демонова благословения пару подделок под

Корреджо — и тут же перепродал их, в силу какой-то до непростительности счастливой случайности, подобному же психу-коллекционеру за полмиллиона, каковые Демон решил взыскать с кузена в свою пользу в качестве долга, пока мозги на этой близняшке-планете еще кое-что значат; Марина же, в свой черед, воздержалась от рассказа Демону о молоденькой сестричке из больницы, с которой Дэн продолжал резвиться со времени последнего своего недуга (то была, между прочим, та самая вездесущая Бесс, которую Дэн по случаю одного памятного события попросил подыскать «что-нибудь симпатичное для девочки наполовину русского происхождения, интересующейся биологией»).

— Vous те comblez[263], — говорил Демон, откушав бургундского, — правда, мой дед со материнской стороны предпочел бы бежать из-за стола, чем видеть, как к gelinotte[264] я употребляю красное вино вместо шампанского. Изумительно, дорогая (посылает воздушный поцелуй сквозь пространство, мерцающее свечами и серебром)!

Жареный рябчик (или, скорее, представитель этого вида из Нового Света, по-местному «горный граус») явился в сопровождении моченой клюквы (по-местному «горной брусники»). Особо сочный кусок одной из этих бурых птичек выдал Демону на язык под крепкий клык шарик дроби.

— La fève de Diane[265]! — отметил он, острожно выкладывая дробинку на край тарелки. — Как у тебя, Ван, с машиной обстоят дела?

— Никак. Заказал «розли», как у тебя, но до Рождества не получу. Попытался найти «силенциум» с коляской, но не сумел, потому что война, хотя для меня остается загадкой, при чем тут война, если речь идет о мотоцикле. Но мы, Ада и я, не унываем, мы не унываем, ездим верхом, на велосипеде, даже летаем на вжиккере.

— Интересно, — лукаво промолвил Демон, — с чего бы это мне вдруг вспомнились прелестные строки нашего великого канадийского поэта насчет зардевшейся Ирен:

Le feu si délicat de la virginité

Qui… как там… sur son front…[266]

Ну что ж, тогда отправь в Англию пароходом мой, если…

— Кстати, Демон, — перебила Марина, — где и как смогла бы я приобрести старый вместительный лимузин с шофером, старым, опытным, вроде того, что у Прасковьи вот уж много лет?

— Никак нельзя, дорогая, такие уж все на небесах или на Терре. Но что, Ада, молчаливая любовь моя, хотела бы ты получить в подарок на свой день рождения? Ведь это в ближайшую субботу, по расчету по моему (by my reckoning), так ведь? Une rivière de diamants?[267]

— Протестую! — вскричала Марина. — Да-да! Я совершенно серьезно. Я против того, чтоб ты дарил ей кваká сесвá (quoi que ce soit[268]), о подарке мы сами с Дэном позаботимся.

— Да ты и позабудешь! — сказала со смехом Ада Демону, проворно показав язык Вану, который все это время настороженно ждал, как она отреагирует на «алмазы».

— Если что? — переспросил Демона Ван.

— Если тебя уже не ждет один в гараже у Джорджа на Ранта-Роуд. А тебе, Ада, — продолжал он, — скоро предстоит одной вжиккеровать. Хочу предложить Маскодагаме завершить каникулы в Париже. Qui… как там… sur sont front, en accuse la beauté[269]!

Так тек их пустой и никчемный разговор. Как не лелеять в темных безднах памяти эти яркие воспоминания! Как тут не корчиться, не закрывать глаза руками, когда слепящее солнце жжет косым своим взглядом! Как среди кошмара и одиночества нескончаемой ночи не…

— Что это было? — воскликнула Марина, которая лектэрических бурь пугалась даже больше, чем ладорские антиабмерийцы.

— Зарница? — предположил Ван.

— А я бы, — заметил Демон, поворачиваясь в кресле и взглядывая на вздымавшуюся штору, — я бы сказал, что это фотовспышка. В конце концов, средь нас прославленная актриса и выдающийся акробат.

Ада кинулась к окну. Под взбудораженной магнолией стоял в окружении двух глазевших горничных белый лицом парень, наставив свой фотоаппарат на их безобидно-веселое семейное сборище. Но то было лишь ночное видение, в июле нередкое. Кому баловаться со вспышкой, как не Перуну, не поминаемому всуе богу-громовержцу? В ожидании громового раската Марина еле слышно принялась считать, как будто молилась или оглашала пульс тяжелобольного. Каждый удар сердца словно ужимал на милю ночную темноту, отделявшую бьющееся сердце от злосчастного, рухнувшего пастуха где-то — далеко-далеко — на вершине неведомой горы. Грянул гром — но как-то глухо. Вторая вспышка молнии высветила высокую, застекленную балконную дверь.

Ада вернулась на свое место. Ван поднял из-под стула ее салфетку и в момент молниеносного нагибания и выпрямления нежно прошелся виском туда-сюда по внешней стороне ее колена.

— Можно мне еще этого Петерсонского рябчика, Tetrastes bonasia windriverensis? — надменно спросила Ада.

Марина звякнула маленьким, бронзовым, типа коровьего, колокольцем.

Накрыв ладонью Адину руку, Демон попросил передать ему сей вызывающий странные воспоминания предмет. Она, описав прерывистую дугу, передала. Демон вдел монокль и, приглушив заговорившие воспоминания, принялся разглядывать колокольчик; но это был не тот, что стоял когда-то на подносике при кровати в темной комнате шале д-ра Лапинэ; этот был даже не швейцарской работы; просто парафраз благозвучия, видом своим, достаточно лишь взгляда на оригинал, изобличающий грубую ремесленную подделку.

Увы, птичка не сохранилась на момент «почестей, ей оказанных», и после кратких переговоров с Бутейаном несколько неадекватная, но в высшей степени аппетитная замена в виде арлезианской колбаски была предложена юной леди к asperges en branches[270], над чем теперь увлеченно трудились за столом. Невозможно было без благоговения взирать, с каким наслаждением Ада и Демон совершенно одинаково изгибали лоснящиеся губы, откуда-то с небесных высот направляя в рот этого чувственного сородича нашего горделивого ландыша; сходно охватив пальцами вилку почти щепотью того самого нового «троеперстного знамения», за отказ от которого (нелепейший раскол, выставление большого пальца более чем на полвершка над указательным) всего два века тому назад столько одних русских было сожжено на кострах другими русскими по берегам Великого Невольничьего Озера. Вану вспомнилось, как большой приятель его наставника, крупный эрудит, но излишне скромный человек Семен Афанасьевич Венгеров{83} (1855–1954), в ту пору юный доцент, но уже известный пушкинист, любил говаривать, что любимый его поэт позволил себе единственную вульгарность в незавершенной главе «Евгения Онегина», где младые гурманы с каннибальским восторгом вырывают устриц «жирных и живых» прямо из «раковин морских».{84} Однако «у каждого свой вкус», как превратно переводит на английский избитую французскую фразу (chacun à son gout[271]) британский писатель Ричард Леонард Черчилль, дважды приводя ее в своем романе «Достойный и добрый человек» о неком крымском хане, некогда любимом репортерами и политиками, — если, разумеется, верить язвительной и небеспристрастной Гийом Мопарнас, о расцвете популярности которой Ада, тыча развернутыми венчиком пальцами в чашу с водой, как раз и рассказывала Демону, точно в той же грациозной манере повторявшему ее жест.

Марина вытянула одну «албани» из хрустальной табакерки, где хранились турецкие сигареты с мундштуком из лепестков алой розы, передала ее Демону. Ада с некоторой скованностью тоже закурила сигарету.

— Ведь прекрасно знаешь, — сказала Марина, — отец не любит, когда ты куришь за столом.

— Да ну, ерунда! — пробормотал Демон.

— Я Дэна имею в виду, — жестко отрезала Марина. — Он весьма строг в этом вопросе.

— Ну а я — нет! — сказал Демон.

Ада с Ваном не могли удержаться от смеха. Все это выглядело шуткой —

пусть не слишком удачной, но все же шуткой.

Но чуть погодя Ван произнес:

— Пожалуй, и я возьму «алиби», то есть «албани».

— Обратите внимание, — встрепенулась Ада, — как voulou[272] его оговорка! Когда хожу по грибы, с удовольствием выкуриваю сигарету, но стоит мне вернуться, этот несносный задира заявляет, что от меня попахивает романтическим лесным свиданием то ли с турком, то ли с албанцем!

— Что ж, — заметил Демон, — весьма разумно со стороны Вана послеживать за твоей нравственностью.

Настоящий русский профитроль (наимягчайшее «ль»), впервые изготовленный русскими кулинарами в Гавана еще до 1700 года, представляет собой вздутую плюшку, покрупнее и покрытую более жирным шоколадным кремом, чем маленькие, темненькие «профит-ролли»[273], подаваемые в ресторанах Европы. Наши знакомые уже покончили с этим десертом, калорийным, приправленным chocolat-au-lait[274] соусом, и уж готовы были приступить к фруктам, но им помешало возбужденное появление Бута в сопровождении его папаши, а также спотыкающегося на ходу Джонса.

В доме разом, заурчав, принялись содрогаться все унитазы и водопроводные трубы. Такое обычно случалось перед междугородным звонком, Марина, которая вот уж несколько дней ждала из Калифорнии определенного отклика на свое пылкое послание, едва сдерживая вспененное нетерпение, чуть было не кинулась бегом к дорофону в зале, заслышав первый захлебывающийся звонок, вот тут-то юный Бут поспешно и подлетел, таща за собой на длинном зеленом шнуре (на глазах то растягивавшегося, то сжимавшегося, пульсируя, точно змея при заглатывании мышки-полевки) трубку, медью и перламутром инкрустированную, которую Марина с неистовым «A l'eau»[275] (алё!) прижала к уху. Выяснилось, однако, что звонит старый зануда Дэн, спеша известить домашних, что этот Миллер все-таки и под вечер не выбрался и что в Ардис они вместе отправятся завтра ранним утром, которое вечера мудренее.

— Ранним, допустим, но мудренее вряд ли, — заметил Демон, уже сытый по горло семейными радостями и испытывавший легкое раздражение оттого, что променял добрую половину картежного бдения в Ладоре на это радушное, но весьма сомнительное по качеству пищи застолье.

— Кофе будем пить в желтой гостиной, — проговорила Марина упавшим голосом, словно убитая воспоминаниями о страшной поре далекого изгнания. — Прошу вас, Джонс, не наступайте на телефонный шнур! Ты даже не можешь себе представить, Демон, с каким ужасом я думаю о грядущей новой встрече, после всех этих лет, с этим неприятным типом, Норбертом фон Миллером, который скорей всего стал еще наглей и угодливей, более того, я убеждена, он до сих пор так и не осознал, что именно я жена Дэна. Он из русских прибалтов (к Вану), но на самом деле echt deutsch[276], хоть мать его урожденная то ли

Иванова, то ли Романова, то ли еще как-то, у них текстильная фабрика в Финляндии или Дании. Хотела бы я знать, как он заделался бароном, двадцать лет тому назад он был просто мистер Миллер.

— Им он и остался, — сухо сказал Демон, — просто ты одного Миллера спутала с другим. Адвокат Дэна — мой старый приятель Норман Миллер из адвокатской конторы «Фейнлей, Фелер и Миллер» и внешне очень похож на Уилфрида Лорие. В свою очередь, Норберт, у кого, насколько я припоминаю, голова как kegelkugel[277], живет в Швейцарии, великолепно знает, чья ты жена, и остается мерзавцем отпетым.

Быстро проглотив чашечку кофе и отпив вишневого ликера, Демон поднялся.

— Partir s'est mourir un peu, et mourir c 'est partir un peu trop[278]. Прошу тебя, передай Дэну с Норманом, что завтра в любое время я готов угостить их чаем с пирожными в «Бриане». Да, кстати, как Люсетт?

Сдвигая брови и качая головой, Марина перевоплотилась в любящую и заботливую мамашу, хотя на самом деле к дочерям своим относилась даже с меньшим вниманием, чем к хитрюге Дэку или к бедолаге Дэну.

— Ах, мы тут так перепугались, — высказалась она под конец, — так ужасно перепугались! Но сейчас, по всей видимости…

— Ван, — сказал ему отец, — будь другом, поищи! Шляпы у меня с собой не было, но перчатки явно были. Скажи Бутейану, чтоб в галерее поглядел, возможно, я обронил их там… Ах нет! Постой! Все в порядке. Я их в машине оставил, помню, как ощутил на пальцах холодок цветка, когда проходя вынимал его из вазы…

И он отбросил гвоздику прочь, отринув этим жестом и тень на мелькнувшее было желание нырнуть обеими руками в мягкие недра грудей.

— Я думала, ты ночевать останешься, — сказала Марина (не то чтобы с задней мыслью). — Скажи, какой номер у тебя в гостинице — случайно не «222»?

Она обожала романтические совпадения. Демон обследовал бирочку на ключе: «221» — что ж, как анекдотическое предзнаменование — уже неплохо. И конечно, проказница Ада стрельнула глазами в Вана, а тот, втянув ноздри, изобразил узкий, прямой, точеный нос Педро.

— Ну вот, издеваются над старухой! — проговорила Марина не без кокетства и в русской манере коснулась губами склоненного лба своего гостя, когда тот приложился к ее протянутой руке. — Ты уж прости, — добавила она, — что не выйду проводить на террасу. Я стала чувствительна к ночной сырости; наверняка и температура подскочила, тридцать семь и семь, не меньше.

Демон легонько стукнул по барометру у дверей, по нему часто стучали, заставляя показывать что-то более вразумительное; барометр так и

заклинило в положении где-то на уровне четверть четвертого.

Ван с Адой проводили Демона. Ночь стояла теплая, и накрапывал, как говорят ладорские фермеры, молодой дождик. Средь глянцевых лавров в свете входных фонарей, в котором плясали ночные бабочки, элегантно сверкнул черный Демонов седан. Демон нежно поцеловал детей, девочку в одну щеку, мальчика в другую, потом снова чмокнул Аду — в ложбинку бледной руки, обвивавшей его шею. Никто особо не обращал внимания на Марину, махавшую своей усеянной блестками шалью из подсвеченного мандмеловым светом эркерного окна, хотя оттуда ей видно было лишь сияющий капот лимузина да косые струйки дождя в свете фар.

Натянув перчатки, Демон покатил прочь, шурша шинами по мокрому гравию.

— Последний его поцелуй далековато зашел, — со смехом сказал Ван.

— Да ну, просто промахнулся, — рассмеялась Ада, и оба со смехом, обнявшись в темноте, двинулись вдоль флигеля.

На мгновение задержались под гостеприимным покровом дерева, где многие гости, любители сигар, бывало, постаивали после ужина. Невинно и безмятежно, друг подле дружки, каждый в своей природой определенной позе, они дополнили струйкой и потоком более размеренный ритм ночного дождя, а после, держась за руки, стояли в углу решетчатой галереи, ожидая, когда потухнут в доме огни.

— Что же было все-таки off-key, не так, во всем этом вечере? — тихонько спросил Ван. — Ты заметила?

— Конечно, заметила. И все же я его обожаю. По-моему, он совершенный безумец, без всякого места или занятия в жизни, и человек вовсе не счастливый и совершенно несерьезный — и вообще во всем свете другого такого нет.

— Но отчего же так нескладно все было? Ты рта почти не раскрыла, а все, что мы говорили, было так фальшиво. Неужто он каким-то образом учуял тебя во мне, а меня в тебе? Попытался было у меня спросить… Да, не самая удачная получилась семейная встреча! Так почему же за этим ужином все как-то не заладилось?

— Ах, любимый, любимый, будто ты не понимаешь! Пусть придется, пока судьба не разведет, до бесконечности тянуть этот маскарад, но никогда, пока они оба живы, не будем мы с тобой мужем и женой. Просто не сможем ими стать, потому что он по-своему еще консервативней, чем паршивое общественное мнение. Не можем же мы подкупить собственных родителей, а ждать сорок, пятьдесят лет, пока они умрут, — такое просто страшно себе представить, да и сама мысль, чтоб такого ждать, нам с тобой чужда, она мерзка, она ужасна!

Он нежно коснулся губами ее полуприкрытых губ — «возвышенно», так именовали они моменты особой глубины в отличие от моментов необузданной страсти.

— И все-таки забавно, — сказал он, — жить тайными агентами как будто в чужой стране. Марина наверх поднялась. У тебя волосы мокрые.

— Шпионами с Терры? Скажи, ты веришь, веришь, что Терра существует? Ах, ну как же! Как же иначе! Ведь я знаю тебя!

— Я считаю, что Терра — состояние ума. И это совсем другое дело.

— Да, но сам хочешь убедить, что именно то самое!

И снова благоговейным прикосновением губ он осенил ее губы. На самом их краю, однако, ощутил зарождающийся огонь.

— В ближайшие дни, — проговорил он, — я попрошу, чтоб ты это повторила снова. Чтоб села, как тогда, четыре года назад, за тот же самый стол, при том же освещении, и принялась рисовать тот же цветок, тогда я снова упьюсь этим зрелищем с таким восторгом, с таким наслаждением, с такой… невыразимой благодарностью! Смотри, уж все окна в доме погасли. И из меня тоже при необходимости может получиться переводчик. Вот, послушай…

Lights in the rooms were going out.

Breathed fragrantly the rozï…

We sat together in the shade

Of a wide-branched beryozï[279].

— Как же, с чем еще переводчику рифмовать «березу» как не с «розой»! Этот жуткий стих написал Константин Романов, так ведь? Новоиспеченный претендент на членство Ласканской литературной академии, так ведь? Бездарный поэт и счастливый супруг. Счастливый супруг!

— Послушай, — сказал Ван, — я в самом деле считаю, что тебе необходимо поддевать хоть что-нибудь под платье, когда выходишь на люди!

— У тебя руки холодные. Что значит «на люди»? Сам сказал, семейный сбор.

— А хоть и семейный! Рискуешь, когда наклоняешься или сидишь развалясь.

— Я сижу развалясь? Никогда!

— Убежден, что это даже негигиенично, хотя, кто знает, может, это вспышка ревности с моей стороны? Воспоминания о Благословенном Стуле. О любимая!

— Но сейчас, — прошептала Ада, — это как нельзя кстати, правда? В крокетную? Ou comme ça?[280]

— Comme ça, немедленно! — отозвался Ван.

39

Даже крайне неприхотливая в 1888 году ладорская мода не была так непритязательна, как в Ардисе.

На праздничном пикнике по случаю своего шестнадцатилетия Ада была в обычной полотняной блузе, свободных блекло-желтых брюках и стоптанных мокасинах. Ван предлагал ей оставить распущенными волосы; она упиралась, утверждая, что слишком длинные и будут ей мешать на вольном воздухе, но все-таки пошла на уступки, подвязав их в полдлины мятой черной шелковой лентой. Единственное, что смог придумать Ван, чтоб соответствовать местной летней элегантности, — голубого джерси рубашка-поло, серые фланелевые штаны по колено и спортивные «шиповки».

Пока на традиционной, усеянной солнечными бликами поляне меж сосен готовилось и накрывалось праздничное сельское застолье, ненасытная барышня со своим возлюбленным, возбужденные страстью, ускользнули на несколько мгновений в поросший папоротником овраг, где петлял среди высоких зарослей боярышника небольшой ручей. Было душно и жарко, даже на самой крохотной сосенке стрекотала цикада.

— Говоря языком героини романа, — сказала Ада, — уж so long, long ago, давным-давно, я не играла здесь в слова, как раньше с Грейс и еще двумя милыми девочками: «весник — инсект — инцест».

Тут она в манере спятившей ботанички заметила, что воистину самое удивительное слово — «разоблаченный», так как одновременно включает два взаимоисключающих понятия: «в одежде» и «без одежды» — «раз облаченный» и «разоблаченный», и незачем на мне пояс рвать, ты, дикарь!

— Основательно разоблаченный дикарь! — нежно прошептал Ван.

Со временем лишь возросла его нежность к существу, которое он сжимал в объятиях, к этому обожаемому существу, чьи движения теперь стали гибче, чьи бедра явнее выгнулись лирой, чью ленту в волосах он уже распустил.

Они пристроились на самом краю прозрачной петли ручья, где тот приостанавливал свое течение, подставляя себя под чужой объектив, сам посверкивая своей вспышкой, и с последним толчком Ван поймал

настороженность на лице Ады, отразившемся в прозрачной, с бликами, воде. Что-то подобное уже где-то происходило: но не успело из небытия явиться воспоминание — ухо уже опознало шум падения за спиной.

Средь острых камней они обнаружили и утешили бедняжку Люсетт, которая поскользнулась в густых зарослях на гранитной плите. Зардевшись и смешавшись, девочка преувеличенно жалостливо терла себе бедро. Весело подхватив ее с обеих сторон за руки, Ван с Адой бегом повлекли Люсетт к поляне, где она, смеясь, болтая руками, устремилась к своим любимым фруктовым пирожным, поджидавшим на одном, пока не накрытом столе. Там стащила с себя трикотажную кофточку, подтянула зеленые шортики и, присев на корточки посреди рыжевато-бурой полянки, принялась уплетать захваченные лакомства.

Ада решила не приглашать на свой пикник никого, кроме близнецов Ласкиных, а приглашать брата без сестры ей не хотелось. Дело в том, что Грейс прийти не могла, уехала в Нью-Крентон проводить юного барабанщика, первого своего молодого человека, который на рассвете отплывал со своим полком на фронт. Но Грега пришлось-таки пригласить: за день до торжества он наведался к Аде с «талисманом», посланным ей его занемогшим папашей, выражавшим надежду, что Ада, как некогда и ласкинская бабушка, будет свято хранить этого кремового верблюдика, вырезанного из слоновой кости в Киеве пятьсот лет тому назад во времена Тимура и Набока{85}.

Ван уже не сомневался, что Ада равнодушна к обожавшему ее Грегу. И теперь, увидев его, испытал удовольствие — то самое, чистейшей воды безнравственное удовольствие, которое придает ледяное снисхождение чувствам счастливого соперника к неудачнику, весьма славному малому.

Грег, который оставил свой роскошный новенький черный мотоцикл «силенциум» в чаще леса, заметил:

— А мы тут не одни!

— Да, вижу! — кивнул Ван. — Who are they (Кто сии)? Знает кто-нибудь?

Никто не знал. Неподкрашенная, угрюмая Марина в плаще подошла, всмотрелась в глубь чащи, куда указывал Ван.

Благоговейно обозрев «силенциум», человек шесть пожилого вида горожан в темных, чудных и потертых одеждах, пересекли дорогу, вошли в лес и расселись там на траве за скромным colazione[281] с сыром, булочками, салями, сардинами и кьянти. Расположились достаточно далеко от нашего общества, особых неудобств не доставляя. С ними не было механических музыкальных шкатулок. Голоса еле слышны, жесты предельно сдержанные. Чаще всего сводящиеся к ритуальному комканью в кулаке бумаги — то оберточной, то шероховатой газетной, то из-под хлеба (слишком воздушной, плохо сворачиваемой), к неспешному, автоматическому отбрасыванию бумажного кома, пока другие скорбно-апостольские руки разворачивают или зачем-то снова сворачивают съестное под горделивой сенью сосен и скудной — ложных акаций.

— Как странно, — проговорила Марина, потирая напеченную солнцем проплешину.

И послала лакея на разведку и еще сказать этим цыганствующим политикам или трудящимся Колабрии, что сквайр Вин, здешний помещик, придет в ярость, если узнает, что в его владениях расположились на отдых посторонние.

Лакей, качая головой, вернулся. Эти люди не говорят по-английски. Отправился Ван.

— Прошу вас удалиться, это частное владение! — произнес он им на вульгарной латыни, по-французски, на канадийском французском, русском, юконском русском и снова на самой грубой латыни: proprieta privata.

Он стоял, разглядывая их, едва ими замеченный, едва попадая в лиственную тень. Вторженцы были небриты, их щеки отдавали синевой, выходные костюмы потерты. Двое без воротничка, с торчащим кадыком. Один — бородатый со слезящимся прищуром. Скинутые лаковые сапоги с пропыленными замятинами или апельсиново-коричневые штиблеты как с тупым, так и с вытянутым носком были запрятаны в лопухи или выставлены на пнях средь этой несколько унылого вида поляны. Как все это странно! Ван повторил свою просьбу, и тут пришельцы стали переговариваться между собой на каком-то совершенно непостижимом наречии, махая руками в его направлении, будто лениво отгоняя непонятное насекомое.

Ван спросил Марину — не следует ли ему применить силу, однако милейшая, добрейшая Марина, подбоченясь и приглаживая волосы, сказала, что не стоит, не надо обращать на них внимания, — они уж и сами отходят глубже в чащу — вон, вон, — одни à reculons[282] тащат с собой остатки трапезы на чем-то вроде старого постельного покрывала, волокут, точно лодку по усыпанному галькой песку, другие ввиду общей передислокации вежливо сносят скомканную бумагу подальше с глаз: картина удивительно скорбная, преисполненная каким-то смыслом — но каким же, каким?

Мало-помалу мысль о незнакомцах из головы у Вана улетучилась. Общество проводило время восхитительно. Марина скинула свой блеклый плащ или, скорее, «пыльник», который надела на пикник (в конце-то концов, серое домашнее платье с розовой фишю, как ни говорите, а очень даже веселенькое для старушки, заявила она), и, воздев вверх пустой бокал, пропела с живостью и весьма музыкально арию в стиле грингрэс{86}:

— Налейте, налейте бокалы полней! Выпьем за любовь! За экстаз любви! {87}

С трепетом, с жалостью, но без любви взгляд Вана то и дело возвращался к жалкой плешивинке на темени престарелой, жалкой Травердиаты{88}, к ее оголившемуся черепу, от краски приобретшему жуткий оттенок ржаво-красного дерева и сиявшему гораздо ярче мертвых

крашеных волос. Как и много раз до того, он попытался выжать из себя нежное к ней чувство, но, как всегда, не смог и, как всегда, сказал себе, что и Ада тоже свою мать не любит, — утешение сомнительное, трусоватое.

Грег, в своем трогательном простодушии полагая, что Ада заметит и одобрит, осыпал мадемуазель Ларивьер шквалом мелких знаков внимания — то поможет надеть розовато-лиловую жакетку, то вместо нее нальет из термоса молока в кружку Люсетт, то передаст сандвичи, то подливает и подливает вина в бокал мадемуазель, и все слушает, слушает с восхищенной улыбкой ее обличения в адрес англичан, которых, по ее словам, мадемуазель ненавидит даже больше, чем татар или хотя бы ассирийцев.

— Англия! — восклицала она. — Англия! Страна, где на одного поэта приходится девяносто девять sales petite bourgeois[283], иные весьма сомнительного происхождения! И еще смеют обезьянничать под Францию! У меня в корзинке хваленый английский роман, где якобы одной леди дарят духи — заметьте, дорогие! — под названием «Ombre Chevalier», а на самом деле это название рыбы — пусть и деликатес, но чтоб подобным ароматом пропитывать дамский платочек! А буквально на следующей странице один так называемый философ произносит «une acte gratuite»[284] так, как будто слово «поступок» исключительно женского рода, а так называемый парижанин из того же произведения, хозяин гостиницы, восклицает «je me regrette» вместо «je regrette»[285]!

— D'accord[286], — вмешался Ван, — ну, а как насчет таких чудовищных погрешностей французского перевода с английского, как, например…

К несчастью, а может, и к счастью, в этот самый момент Ада издала по-русски возглас крайней досады, завидев выруливающий на полянку открытый автомобиль стального цвета. Не успел тот затормозить, как в момент был окружен компанией из городка, которая теперь, поснимав пиджаки и жилеты, странным образом как бы даже разрослась. Прорываясь сквозь оцепление и не скрывая при этом негодования и презрения, юный Перси де Прэ, в сорочке с рюшами, в белых брюках, направился к шезлонгу, где сидела Марина. Ему последовало приглашение присоединиться к пирующим, невзирая на то что Ада пыталась остановить глупую мамашу предостерегающим взглядом или едва заметным покачиванием головы.

— Не смел надеяться… О, конечно, с большим удовольствием! — отвечал на приглашение Перси, после чего — именно, как бы вследствие того, — сей с виду забывчивый, на самом деле все рассчитавший бандит с вкрадчивыми манерами направился назад к своему автомобилю (у которого застрял кто-то из замешкавшихся зевак), откуда вынул лежавший на заднем сиденье букет роз на длинных стеблях.

— Стыдно признаться, я розы терпеть не могу! — сказала Ада, осторожно принимая букет.

Откупорили бутылку мускатного вина, выпили за здоровье Ады и Иды. «Беседа приняла всеобщий характер», как сказала бы Мопарнас.

Граф Перси де Прэ оборотился к Ивану Демьяновичу Вину:

— Говорят, вы любитель сверхъестественных поз!

Полувопрос прозвучал несколько насмешливо. Ван взглянул сквозь воздетый бокал на медовое солнце.

— В каком смысле?

— Ну, вспомним ваш трюк с хождением на руках! Одна из прислужниц вашей тетушки приходится сестрой нашей горничной, так что воссоединение этих двух сплетниц — дело крайне опасное (смеется). Предание гласит, что вы проделываете это с утра и до вечера, в каждом углу, с чем вас и поздравляю! (Кланяется.)

— Предание чересчур преувеличивает мои возможности, — отвечал Ван. — На самом деле я упражняюсь всего по нескольку минут вечерами да и то через день, правда, Ада? (Оборачивается, ища ее глазами.) Позвольте, граф, я налью вам еще музы-катику — каламбур жалок, зато мой.

— Ван, дорогой! — воскликнула Марина, с восторгом внимавшая живой и непринужденной болтовне двух симпатичных молодых людей, — Расскажи Перси, с каким успехом ты выступал в Лондоне. Жё тампри[287] (прошу тебя)!

— Извольте, — сказал Ван. — Сперва это был розыгрыш, не более, еще там, в Чузе, но потом…

— Ван! — пронзительно выкрикнула Ада. — Мне надо тебе кое-что сказать, поди сюда, Ван!

Дорн (перелистывая журнал, Тригорину): Тут месяца два назад была напечатана одна статья… письмо из Америки, и я хотел вас спросить, между прочим (берет Тригорина за талию и отводит к рампе)… так как я очень интересуюсь этим вопросом…

Ада стояла, прислонившись спиной к стволу дерева: красавица шпионка, вмиг отринув конспирацию.

— Хотела, между прочим, тебя попросить, Ван (переходя на шепот, гневный жест рукой) — прекрати, как идиот, строить из себя хозяина; он же в стельку пьян, неужто ты не видишь?

Экзекуция была прервана появлением дядюшки Дэна. За рулем он проявлял удивительную беспечность, что столь часто и, Бог знает, по какой причине, отличает езду многих угрюмых и скучных людей. Оголтело петляя меж сосен, он резко притормозил свой красный автомобильчик прямо перед Адой и вручил ей фантастический подарок — большую коробку мятных конфет: беленьких, розовеньких и, о Боже, зелененьких! И еще, сказал он, подмигнув, у него для нее аэрограмма.

Вскрыв, Ада обнаружила, что послание вовсе не ей и не из унылого Калугано, как она опасалась, а предназначалось матери и из места

куда более веселого — Лос-Анджелеса. Марина заскользила взглядом по аэрограмме, и по лицу ее растекалось до неприличия восторженное девчоночье блаженство. С победным видом она протянула послание Ларивьер-Мопарнас, которая прочла его дважды, снисходительно-укоризненно качая головой. Тут Марина, едва не притопнув от восторга ногой, выкрикнула (пробулькала, прожурчала) своей невозмутимой дочери:

— Педро возвращается!

— И, надо полагать, до конца лета тут проторчит! — заметила Ада — и уселась на автомобильный плед, расстеленный поверх сухой, кишащей муравьями хвои играть в снап с Грегом и Люсетт.

— Ах нет, да нет же, только на пару недель (девчоночье хихиканье). — А после мы поедем в Уссэ, Голливуд-тож, то бишь (Марина сияла как никогда), — ну, конечно, все поедем, и наша авторша, и дети, и Ван — если пожелает.

— Я бы поехал, да не смогу, — сказал Перси (образчик его юмора).

Между тем дядюшка Дэн, смотревшийся эдаким франтом в пиджаке в вишневую полоску и комичном, опереточного вида канотье, будучи в высшей степени заинтригован присутствием неизвестных, пирующих по соседству людей, направился к ним: бокал вина «Геро» в одной руке, бутербродик с икрой — в другой.

— «Скверные дети»! — бросила Марина в ответ на некий вопрос Перси.

Очень скоро, Перси, тебе предстоит умереть — и вовсе не от той пульки, что засядет у тебя в жирной ляжке, на дне крымского ущелья, а через пару минут, когда, открыв глаза, ты с облегчением ощутишь себя в безопасности под прикрытием вечнозеленых зарослей; да, очень скоро тебе предстоит умереть, Перси; но в тот июльский день в графстве Ладора, развалясь под сосной, уже в основательном подпитии после какой-то более ранней пирушки, с похотью в душе и липким бокалом в сильной, поросшей белым волосом руке, слушая зануду-литераторшу, переговариваясь со стареющей актрисой и нежно поглядывая на ее неулыбчивую дочь, ты упивался пикантностью ситуации — ну, старый дружище, чин-чин! — что неудивительно. Дородный, красивый, праздный и ненасытный, отменный регбист, утеха сельских девиц, ты совмещал в себе обаяние вольного спортсмена с занятной манерностью светского кретина. Думаю, сильней всего я ненавидел в твоей смазливой физиономии младенческий румянец, твои гладенькие щечки, не представляющие проблем для бритья. Я же, как начал, так и кровоточу каждый раз вот уж семь десятков лет.

— Когда-то, — рассказывала Марина своему юному кавалеру, — в скворечнике вон на той сосне был «телефон». Как бы сейчас он пригодился! Ну вот, идет enfin[288]!

Муженек, уже без бокала и без бутербродика, приближался к ним с замечательными известиями. Оказалось, это «исключительно любезное общество». Опознал с полдюжины, по крайней мере, итальянских слов.

Решил, что это утреннее сборище пастухов. Решил, что они решили, что и он пастух. У истоков этой версии, возможно, брезжит холст кисти неизвестного художника из коллекции кардинала Карло де Медичи. В возбуждении, в крайней ажитации коротышка повелел, чтоб слуги непременно снесли провиант и вино туда, к его новым замечательным друзьям; сам засуетился, подхватил пустую бутылку и корзинку, где лежало вязание, роман англичанина Куигли и рулон туалетной бумаги. Но Марина провозгласила, что профессиональные обязанности требуют, чтоб она немедленно позвонила в Калифорнию, и, позабыв о своих намерениях, дядюшка тотчас с готовностью вызвался отвезти ее домой.

Уж давно затянуло туманом петельки и перевития последовательности событий, но — примерно в момент их отъезда или вскоре после — Ван помнил, что стоял у самого края того ручья (который чуть раньше в тот день отражал две пары глаз, одну над другой), швырял вместе с Перси и Грегом камешками в останки старого, проржавленного, с неопределимой надписью указателя на противоположном берегу.

— Ох, надо (I must) пассаты! — воскликнул Перси на обожаемом им славянском жаргоне, с шумом выдувая воздух и судорожно расстегивая ширинку.

В жизни своей, уверял Вана апатичный Грег, не доводилось ему видеть такой омерзительный, подвергнутый обрезанию, такой невероятно огромный розовый прибор с таким феноменальным по размерам coer de boeuf[289]; как ни одному из обоих юных, зачарованно наблюдавших ценителей до тех пор не доводилось лицезреть столь мощно исторгаемый, столь обильный, практически нескончаемый поток.

— У-у-уф! — с облегчением выдохнул юный Перси, запаковывая свое хозяйство.

Каким образом началась драка? Что они, все втроем переходили ручей по скользким камням? Толкнул ли Перси Грега? Задел ли Ван Перси? Была ли там палка? Была ли палка вырвана? Перехват запястья и пальцы разжались?

— Ого, — сказал Перси, — да ты игрун, мой мальчик!

Грег, в брюках-гольф с одной промокшей штаниной — обожая обоих, — беспомощно смотрел, как они сцепились у самой кромки ручья.

Перси был тремя годами старше и килограммов на двадцать тяжелей Вана, однако последний легко справлялся с драчунами и покруче. Почти тотчас же пылающая физиономия графа оказалась зажатой у Вана под мышкой. Согнувшись пополам и пыхтя, Перси выписывал ногами зигзаги по мягкой земле. Высвободил горящее ухо, был снова зажат, и, получив подножку, подмят Ваном, в мгновение ока уложившим его «on his omoplates», на лопатки, как говаривал на своем спортивном жаргоне Кинг Уинг. Перси лежал тяжело дыша, точно поверженный гладиатор, прижатый обеими лопатками к земле своим истязателем, который тут же принялся со страшной силой сдавливать большими пальцами его вздымающуюся грудь. Перси взвыл от боли, что означало, дескать, хватит. Ван потребовал от противника более членораздельного

выражения капитуляции, что тот не преминул исполнить. Опасаясь, что Ван не расслышал приглушенную просьбу о пощаде, Грег повторил все слово в слово в интерпретации от третьего лица. Ван отпустил злополучного графа, тот, отплевываясь, оторвал спину от земли, сел, ощупывая горло, оправляя смятую рубашку на своем дюжем торсе, и хрипло попросил Грега поискать куда-то девшуюся запонку.

Моя руки в чаше ручейного каскада ниже по течению, Ван с радостным изумлением обнаружил этот блестящий, трубчатый, несколько похожий на асцидию предмет, унесенный течением ручья и застрявший у самой кромки в куще незабудок, — еще одно прелестное название.

Ван пошел обратно к полянке, где был пикник, как вдруг что-то громадное навалилось на него сзади. Единым мощным рывком он перебросил своего противника вперед через голову. Грохнувшись наземь, Перси несколько мгновений лежал не шелохнувшись. Ван, замерев наизготове в позе краба, не спускал глаз со своей жертвы в надежде иметь повод испытать на нем особый прием изощренной пытки, применить который в живой драке пока возможности не представлялось.

— Вы мне сломали плечо! — пробурчал Перси, приподнимаясь и потирая увесистое предплечье. — Могли бы и полегче, чертило эдакий.

— Вставайте! — приказал Ван. — Вставайте, живо! Ну что, еще или возвращаемся к дамам? К дамам? Прекрасно! Однако, будьте любезны, ступайте впереди меня.

Подходя вместе со своим пленником к поляне, Ван в душе клял себя, что никак не может унять дрожь после этого неожиданного, добавочного раунда; он по-прежнему втайне часто дышал, каждый нерв был напряжен до предела, старался, обнаружив, что хромает, не припадать на ногу — между тем Перси де Прэ в своих на диво безупречных белых брюках и в словно небрежно помятой рубашке вышагивал бодро, молодецки разминая руки и плечи, и казался совершенно спокойным и исключительно довольным жизнью.

Тут их нагнал Грег с запонкой — крохотным триумфом, увенчавшим дотошные поиски: бросив ему банальное: «Молодцом!», Перси замкнул шелковую манжету, тем самым нагло завершив восстановление внешнего вида.

Обоюдно услужливый приятель, не замедлив бега, первым достиг поляны, где пикник уже завершился; Грег наткнулся на Аду — в одной руке два, в другой три красноголовика с ножками в мелкий штришок; она смотрела на него — и, истолковав ее взгляд не как удивление буйным топотом его ножищ, а как то, что ей уже все известно, добрейший сэр Грег поспешил еще издали выкрикнуть:

— С ним все в порядке! Все в порядке, мисс Вин! — в слепом своем сострадании юный рыцарь даже не успел сообразить, что Ада никак не может знать о стычке между красавцем и чудовищем.

— Ну разумеется, все в порядке! — принимая из рук Ады парочку поганок, ее излюбленное лакомство, произнес красавец, поглаживая

гладкие шляпки грибов. — Какие могут быть сомнения! Ваш кузен продемонстрировал Грегу с вашим покорным слугой весьма бодрящий азиатский Мошонкрут, или как его там.

И попросил вина, но недопитые бутылки были давно унесены к загадочным пастырям, чьей опеки соседняя поляна уже успела лишиться: удалившись, они, вероятно, зарыли в сырую землю одного из своих сотоварищей — оставшиеся на ветвях акации крахмальный воротничок и змеевидный галстук, должно быть, принадлежали ему. Кроме того, исчез и букет роз; его Ада велела отнести обратно на заднее сиденье графовой машины — вместо того чтоб тратить розы на нее, прибавила она, уж лучше пусть поднесет хорошенькой сестренке Бланш.

Но вот, хлопнув в ладоши, мадемуазель Ларивьер вывела из состояния спячки правившего ее кабриолетом Кима, а также Трофима, белокуробородого кучера молодежи. Ада крепко стиснула в пальцах свои грибочки, подставив Перси для Handkuss[290] всего лишь хладный кулак.

— Крайне рад был повидаться, старина, — сказал Перси, легонько похлопывая Вана по спине — жест в их среде недопустимый. — Надеюсь, в скором будущем мы еще порезвимся. Хотел бы знать, — добавил он, понизив голос, — стреляете вы столь же отменно, как орудуете бицепсами?

Ван проводил Перси до его автомобиля.

— Ван, Ван, иди сюда, Грег хочет с тобой проститься! — крикнула Ада, но он не обернулся.

— Это что, вызов, те faites-vous duel?[291] — осведомился Ван.

Садясь за руль, Перси улыбнулся, прищурился, склонился к приборной доске, снова улыбнулся, однако не произнес ни слова. Щелкнул ключ зажигания, взревел двигатель, и Перси натянул перчатки.

— Quand tu voudras, mon gars![292] — сказал Ван, похлопывая по крылу автомобиля и употребляя в обращении характерное для дуэлянтов в старой Франции унизительное единственное число.

Машина рванула с места и укатила.

Ван вернулся к месту пикника с отчаянно колотившимся сердцем; глупо; проходя мимо, махнул Грегу, беседовавшему у дороги с Адой.

— Честное слово, уверяю вас, — говорил ей Грег, — ваш кузен тут ни при чем. Это все Перси затеял — и был побежден в честной борьбе в стиле «крутойайц», как борются в Теристане и Сорокате, — мой отец, конечно, многое смог бы вам про это рассказать.

— Вы милый, — сказала Ада, — но, по-моему, с мозгами у вас не все в порядке.

— Это только в вашем присутствии! — заверил ее Грег, взбираясь на

своего смирного черного жеребца, ненавидя и его, и себя, и обоих драчунов.

Надев защитные очки, он тихонько тронулся прочь. Мадемуазель Ларивьер, в свою очередь, взобралась в свой кабриолет, и он покатил ее по лесной дороге в мигающую бликами даль.

Подбежавшая к Вану Люсетт, подогнув коленки, уютненько обвила ножками бедра кузена и замерла прижавшись.

— А ну-ка, — сказал Ван, подхватывая ее и приподнимая, — про кофточку не забудь! Нельзя же голой ехать.

Неспешно подошла Ада.

— Мой герой, — сказала она, едва на него глядя и тем загадочным тоном, что невозможно было сказать, насмешка это или восторг, а то и пародия либо на то, либо на другое.

Помахивая корзинкой с грибами, Люсетт пропела:

Скрутил ей сосочек,

Оставил следочек…

— Люси Вин, сейчас же прекрати! — прикрикнула Ада на озорницу, а Ван с видом праведного негодования дернул Люсетт за руку, сдавив запястье, при этом украдкой подмигнув стоявшей сбоку Аде.

И наша юная троица с беззаботным видом двинулась к экипажу с откидным верхом. Там стоял кучер, хлопая себя в ярости по ляжкам и честя на чем свет стоит взъерошенного мальчишку-слугу, только что возникшего откуда-то из-под куста.

Забытый шарабаном, увезшим грязную посуду с клюющими носом слугами, мальчишка укрылся в зарослях, чтоб ему никто не мешал насладиться рассматриванием потрепанной книги «Таттерсалия»{89} с иллюстрациями, изображающими дивных, сказочно-красиво вытянувшихся в рывке скаковых лошадей.

Мальчишка вскарабкался на козлы рядом с Трофимом, пославшим раскатистое «тпр-у-у-у» тронувшимся было задом гнедым, а зеленоглазая Люсетт огорченно смотрела, как заняли ее привычное место на облучке.

— Придется тебе принять ее к себе на почти братские колени, — бесстрастно подала реплику Ада.

— А Ла Револьвер не станет возражать? — рассеянно бросил Ван, пытаясь удержать за хвост повтор судьбы.

— Да пошла эта Ларивьер к… (тут нежные губки Ады воспроизвели грубое высказывание Гавронского). То же относится и к Люсетт, — прибавила она.

— Vos «выражанс» sont assez lestes[293], — заметил Ван. — Что, здорово на меня злишься?

— Ах нет, Ван, что ты! Да я восхищена твоей победой! Но сегодня мне исполнилось шестнадцать. Шестнадцать! Я старше, чем бабушка в пору первого ее развода. Судя по всему, это последний у меня такой пикник. Детство разлетелось во прах. Я люблю тебя. Ты любишь меня. Грег любит меня. Все любят меня. Я по горло сыта любовью. Поспеши, не то она спихнет этого петушка — Люсетт, немедленно оставь его в покое!

Наконец экипаж тронулся, предстояло приятное обратное путешествие домой.

— Ух! — выдохнул Ван, принимая на колени кругленький груз, — скривившись, уведомляя Аду, что ударился коленной чашечкой об камень.

— И поделом, нечего мужицкие потасовки затевать… — пробормотала Ада — раскрыла на изумрудной ленте-закладке книжечку в коричневом переплете и с золотым обрезом (восхитительно смотрелась в наплывах солнечных бликов!), которую уже читала по дороге на пикник.

— Я вовсе не прочь этак позабавиться, — заметил Ван. — Дает замечательную встряску, и на то столько причин!

— Видала я, как вы… забавляетесь! — обернувшись, бросила Люсетт.

— Тс-с-с! — приложил Ван палец к губам.

— Я о вас с ним!

— Твое мнение, маленькая, никого не интересует. И не верти так часто головой! Сама знаешь, может укачать, если дорога…

— Совпало: «Jean qui tâchait de lui tourner la tête…»[294] — всплыла на миг Ада.

— …если дорога «из тебя выкатывается», как выразилась твоя сестра, когда была в твоем возрасте.

— У-гу! — задумчиво протянула Люсетт.

Ее-таки уговорили приодеть свое золотисто-бронзовое тельце. Белая кофточка впитала столько всякого с места недавнего своего пребывания — сосновые иголки, пушинки мха, крошки от печенья, малютку-гусеницу. Изумительно тугие шорты были перепачканы лиловым ягодным соком. Пряди горящих янтарем волос веяли Вану в лицо ароматом прошлого лета. Это семейное; ну да, совпало: целый ряд совпадений, слегка

смещенных во времени; искусство асимметрии. Насыщенная foie gras и персиковым пуншем, Люсетт тяжело и дремотно восседала у него на коленях, тыльной стороной своих голых, переливчато-бронзовых плечиков почти касаясь его щек, — коснувшись, когда он поводил взглядом вправо, влево, вниз, любопытствуя, захвачены ли грибы.

Захвачены. Мальчишка-слуга читал и, судя по движению его локтя, очевидно ковырял при этом в носу. Казалось, ладненькая попка Люсетт вместе с прохладными бедрышками увязает все глубже и глубже в зыбучих песках похожего на сон, сном предсказанного и в пересказе искаженного прошлого. Сидящая рядом с Ваном Ада, листая крохотные страницы быстрей мальчишки на облучке, конечно же, была пленительна, маняща, неизбывно прекрасна, и страсть ее казалась куда темней, чем четыре лета тому назад, — и именно тот прежний пикник вспоминался ему теперь, и это Адины нежные бедрышки поддерживал он теперь руками, будто она присутствовала здесь в двух лицах, в двух разных цветных фотоизображениях.

Сквозь золотисто-медные шелковые пряди Ван устремил косой взгляд на Аду, которая, глядя на него, вытянула губы как бы в воздушном поцелуе (наконец-то прощая его за участие в той драке) и тотчас же снова погрузилась в чтение своего кожаного томика «Ombres et couleurs»[295], издание 1820-го года новелл Шатобриана{90}, изрисованного виньетками и с засушенным плоской мумией анемоном. Лесные блики и тени скользили по страницам, по лицу Ады, по правому плечику Люсетт, которого Ван, не удержавшись, коснулся губами в месте комариного укуса, отдавая дань копии, не более. Бедняжка Люсетт, кинув на него томный взгляд, вновь отвернулась, — уставившись на красный загривок возницы, — от этого, другого своего возницы, чей образ последние месяцы заполнял все ее сны.

Не станем вникать в мысли, обуревавшие Аду, внимание которой к книге было намного поверхностней, чем казалось со стороны; не будем, точнее, не сможем доподлинно отслеживать их, ведь мысли запоминаются куда хуже, чем тени и краски или пульс юной страсти или оливковый змий во мраке райских кущ. И потому гораздо удобней будет оказаться внутри у Вана, тогда как Ада переместилась в Люсетт, и обе они — оказались в Ване (а все трое — во мне, уточняет Ада).

Он вспомнил со сладостной болью ту уступчивую юбку, что была тогда на Аде, «дух-захватчицу», на языке молодежи Чуза, сожалея (с улыбкой), что на Люсетт эти целомудренные шортики, а на Аде кукурузно-блеклые (со смехом) брючки. В неизбежном стечении тягчайших недугов, порою (с грустным кивком), порою выпадает блаженное утро безмятежного покоя — и вовсе не от чудодейственной пилюли, не от микстуры (вон их сколько наставлено у кровати) — или уж, значит, незаметно и тайно заботливая длань отчаяния подсунет спасительную таблетку.

Ван прикрыл глаза, чтоб острее впитать золотистый поток переполнявшего его блаженства. Много, ах как много лет спустя будет он с удивлением вспоминать (неужто можно еще раз пережить подобный экстаз?) тот миг всепоглощающего счастья, полное стирание пронзительной, гложущей боли, всю логику отравы, бездоказательный

довод того, что не может эта феноменальная девушка сохранять ему верность, любить его так же, как он любит ее. Он смотрел, как посверкивает Адин браслет в такт покачиваниям экипажа, как в еле заметных поперечных трещинках ее полных губ, слегка в профиль полураскрытых, розовится пыльцой на солнце высыхающая краска. Он открыл глаза: браслет действительно сверкал, но на губах не осталось и следа розовой помады, и одна лишь мысль, что он сейчас дотронется до этой бледной жаркой мякоти, угрожала возбудить скрытый вулкан, затаившийся под грузно восседавшей поверх другой девочкой. Однако искрившаяся потом шейка маленькой заместительницы внушала жалость, ее доверчивая пассивность охлаждала пыл, и никакое скрытое трение, в конце-то концов, не могло идти в сравнение с теми ощущениями, что ждали его в беседке с Адой. Резкая боль в колене тоже пришлась кстати, и благородный Ван уж упрекал себя за поползновение воспользоваться маленькой нищенкой взамен принцессы из волшебной сказки — «чья драгоценная плоть не должна рдеть от прикосновения карающей руки», — как сказал бы Пьеро в версии Петерсона.

С угасанием мимолетного жара сменилось и настроение у Вана. Надо бы что-то сказать, что-то предпринять, дело серьезное, или может оказаться серьезным. Уже подъезжали к Гамлету, маленькой русской деревушке, откуда дорога двумя рядами берез вела прямехонько в Ардис. Небольшая стайка сельских нимф в платочках, без сомнения немытых, однако восхитительно прелестных, с гладкими обнаженными плечами и высокой пышной грудью, двумя тюльпанами выпирающей из-под корсета, проследовала мимо в рощу, распевая на трогательном английском старинную частушку:

Thornes and nettles

For silly girls:

Ah, torn the petals,

Ah, spilled the pearls![296]

— У тебя в боковом кармашке карандаш, — сказал Ван Люсетт. — Можно взять? Хочу записать слова этой песенки.

— Только чтоб не щекотно! — сказала девочка.

Протянув руку, Ван взял у Ады книгу и под прицелом ее странно насторожившегося взгляда написал на форзаце:

«Больше видеть его не желаю.

Я не шучу.

Скажи М., чтоб не принимала, иначе уеду.

Ответа не надо».

Ада прочла и медленно, не говоря ни слова, стерла написанное ластиком с верхушки карандаша, который передала Вану, а тот сунул карандаш туда, откуда взял.

— Ты такой вертлявый! — заметила, не оборачиваясь, Люсетт. — В следующий раз, — добавила она, — никому не позволю садиться на мое место.

Они уж подкатывали к крыльцу, и Трофиму пришлось тряхнуть за шиворот юного читателя в голубой ливрее, чтоб отложил книгу, спрыгнул и помог Аде выйти из экипажа.

40

Лежа под лиродендронами в своем плетеном гнездышке, Ван читал Антитеррениуса о Раттнере. Всю ночь ему покоя не давало колено; теперь, после обеда, кажется, немного успокоилось. Ада верхом отправилась в Ладору, и он надеялся, что она позабудет про гадкую скипидарную мазь, которую Марина велела ей для него купить.

Через лужайку к нему спешил камердинер, а с ним посыльный, стройный юнец, с ног до головы в черной коже, из-под фуражки выбивались каштановые кудри. Странноватое дитя со свойственным трагику-любителю пережимом огляделось по сторонам и вручило Вану письмо с надписью «лично».

«Любезный Ван!

Через пару дней я отбываю по делам армейской службы за границу. Если пожелаете повидать меня перед отъездом, буду рад встретить Вас (а также и других джентльменов, каких пожелаете пригласить с собой) завтра на рассвете, в месте пересечения шоссе на Мейденхэр с дорогой на Торфяную. Если же нет, прошу удостоверить кратким посланием, что никакого недоброжелательства ко мне не испытываете, равно как и к Вам, сэр, не таит ни малейшего недоброжелательства Ваш покорный слуга

Перси де Прэ».

О нет, у Вана не было ни малейшего желания видеться с этим графом. Что и передал он смазливому посланнику, застывшему подбоченясь с выставленным вбок коленом, как статист, ожидающий знака, чтоб по

окончании арии Калабро удариться с сотоварищи в лихую кадриль.

— Un moment, — добавил к сказанному Ван. — Крайне интересуюсь, — можно выяснить в миг хоть за тем деревом — ты кто, мальчик с конюшни или девочка с псарни?

Посланник отмолчался и был уведен прочь похохатывающим Бутом. Из-за лавровых зарослей, скрывших обоих из вида, донесся слабый писк, вероятно, в ответ на непристойный щипок.

Было ли то неуклюже-претенциозное послание продиктовано опасением, что отбытие за море на защиту родины можно рассматривать как бегство от сугубо личных обязательств, или же этот примирительный тон был навязан Перси кем-нибудь — не исключено, женщиной (скажем, его матерью, урожденной Прасковьей Ланской), сказать трудно; как бы то ни было, а честь Вана оказалась незапятнанной. Он похромал к ближайшему мусорному контейнеру, там письмо и голубой конверт с откинутым гребнем сжег, решив все начисто забыть, лишь отметив про себя, что отныне этот малый не будет приставать к Аде со своими ухаживаниями.

Она вернулась уже к вечеру — слава Богу, без всякого лекарства. Ван все еще валялся в своем провисшем гамаке, такой несчастный, такой опустошенный, и, оглянувшись вокруг (гораздо естественней, чем тот каштановокудрый посыльный), Ада приподняла вуаль, опустилась на колени и утешила его.

Когда спустя два дня полыхнула молния (образ не новый, предназначенный озарить в памяти возврат к старому амбару), перед Ваном четко слились воедино в своем холодном противоречии две тайные очевидности; обе вертелись в мозгу с самого первого дня его рокового возвращения в Ардис: одна нашептывала, отводя взгляд, что Перси де Прэ был и останется всегда не более чем партнером по танцам, второстепенным поклонником; другая же с настойчивостью призрака продолжала подспудно твердить, что какая-то неназванная беда грозит приключиться с рассудком бледной, неверной возлюбленной Вана.

Утром, накануне самого злосчастного в жизни Вана дня, он обнаружил, что может уже не морщась сгибать колено, однако напрасно увязался за Адой и Люсетт на непредусмотренный ленч средь давно позабытой крокетной лужайки, оттуда домой возвращался с трудом. Все же плавание в бассейне и прогревание на солнце сделали свое дело, боль практически исчезла к тому моменту, как Ада средь самой густоты нескончаемого дневного зноя возвратилась после своего длительного «бота́нья», как она именовала свои ботанические гулянья — кратко и несколько уныло, так как местная микрофлора, помимо знакомых любимых особей, теперь мало чем радовала ее. Марина в роскошном пеньюаре сидела перед огромным овальным шарнирным зеркалом, установленным на белом туалетном столике, который был вынесен на середину лужайки, где и причесывал ее дряхленький, но все еще искусный мастер месье Фиолетт Лионский и Ладорский; это необычное для пленэра занятие Марина объясняла и подтверждала тем, что бабка ее также любила qu'on la coiffe au grand air[297], бросая вызов зефирам (так дуэлянт укрепляет руку кочергой, совершая с нею променады).

— Вот он, наш замечательный артист! — сказала Марина про Вана Фиолетту, который, приняв его за Педро, поклонился с un air entandu[298].

Ван давно мечтал о легкой оздоровительной прогулке с Адой перед переодеванием к ужину, но та, повалившись в плетеное кресло, заявила, что ужасно устала, что такая грязная, что должна умыться и помыть ноги, а также подготовиться к тяжкой обязанности помогать матери в развлечении ее киношников, приглашенных нынче на вечер.

— Я видал его в «Секс-и-К°», — буркнул месье Фиолетт Марине, вращая ее туда-сюда в зеркале головой при том, что сжимал ладонями ей уши.

— Нет, нет, уже поздно, — шептала Ада, — и кроме того, я обещала Люсетт…

Жарким шепотом он настаивал — при этом полностью отдавая себе отчет, сколь тщетны попытки заставить ее передумать, особенно в делах любовных; как вдруг необъяснимым и чудесным образом ее остекленевший взгляд, на глазах оттаивая, слегка оживился, будто новая мысль внезапно вызвала это преображение. Так остановившийся взгляд ребенка вдруг рождает проблеск улыбки, едва тот начинает понимать, что кошмарный сон позади или что дверь осталась не заперта и можно безнаказанно шлепать по отраженному в лужах небу. Ада сняла с плеча сумку с трофеями, и под благосклонным взглядом Фиолетта над зеркальным отражением Мариниой головы они с Ваном пошли себе и отыскали в аллее парка относительно уединенный уголок, где когда-то Ада демонстрировала ему свои игры «свет-и-тень». Он обнял ее и поцеловал, и поцеловал снова, как будто она возвратилась из далекого и опасного путешествия. В ее улыбке появилась какая-то особая, какая-то неожиданная прелесть. То уж не была улыбка лукавого демона, вспоминавшего прежнюю, предвкушавшего новую страсть, — то было истинно человечье сияние счастья, беспомощности. Ничто из их страстных, нагнетавших восторг порывов от Горящего амбара до Искрящегося Ручья и сравниться не могло с этим зайчиком, этим «лучиком» всепоглощающей улыбки. Ее черный джемпер и черная, с большими карманами, юбка уже не отвечали образу «скорби по увядшему цветку», как живо окрестила ее наряд Марина («немедленно переодеться», change immediately! — гаркнула она в отсвечивающее зеленым зеркало); теперь обличье Ады обрело прелесть старомодной лясканской девчоночьей школьной формы. Они стояли — чело к челу, загар и бледность, черное с черным, он поддерживал ее за локти, она легко и нежно водила пальчиками по его ключицам, а он шептал, что «обожадно» вдыхает тягучий аромат ее волос и что они пахнут смятыми стеблями лилий, турецким табаком и девичьей томностью. «Нет-нет, не надо», — прервала она, мне надо помыться, быстро-быстро, Аде надо помыться; но они еще целый бесконечный миг стояли обнявшись средь притихшей аллеи, упиваясь, как никогда, ощущением «вечного счастья», светящегося в конце нескончаемой сказки.

Ах, что за восхитительное место, Ван! Буду рыдать всю ночь (более поздняя приписка).

Последний луч солнца, упав на Адино лицо, высветил рот и подбородок, мокрые от его жалких, тщетных поцелуев. Она тряхнула головой, сказав, что действительно надо разойтись, и поцеловала ему руку, как делала только в моменты неимоверной нежности, потом быстро отвернулась, и они разошлись в самом деле.

В сумке, которую она оставила на столике в саду и которую теперь взяла с собой наверх, была одна лишь единственная увядшая орхидея «венерин башмачок». Марина вместе с зеркалом исчезла. Стянув с себя спортивный костюм, Ван напоследок нырнул в бассейн, у края которого, заложив руки за спину и задумчиво уставившись в неестественно лазурную воду, застыл дворецкий.

— Надо же, — пробормотал он, — головастик был или почудилось?

Любимое романами подкидывание записок теперь воплотилось в действительность. Уж с порога своей комнаты Ван заметил с накатом мрачного предчувствия, что из грудного кармана висящего смокинга торчит клочок бумаги. Написанное карандашом крупными, намеренно кривыми и вихляющими буквами анонимное послание гласило: «Не позволяйте делать из себя berne». Только говорящий по-французски мог употребить «berne» вместо слова «посмешище». Из слуг по меньшей мере полтора десятка были французского происхождения — потомки иммигрантов, поселившихся в Америке, после того как в 1815 г. Англия присоединила к себе их прекрасную несчастную страну. Допрашивать всех — мужчин пытать, женщин насиловать — было бы, разумеется, глупо и пошло. В ребяческом запале — из пушки по летучим существам — он с яростью разодрал крылья любимого черного галстука-бабочки. Тут змеиное жало проняло его до самого сердца. Ван отыскал другой галстук, завершил переодевание и отправился на поиски Ады.

Он обнаружил обеих девочек вместе с гувернанткой в одной из «больших детских», прелестной гостиной с верандой, на которой мадемуазель Ларивьер сидела за дивно инкрустированным «пембруком»{91} и со смешанными чувствами читала, гневно делая пометки, третий вариант киносценария «Les Enfantes Maudits». За столом побольше, стоявшим посреди комнаты, Люсетт под руководством Ады училась рисовать цветы; вокруг лежали большие и малые ботанические атласы. Казалось, все как обычно, и миниатюрные дриады с козлоногими существами на расписанных потолках, и густой свет дня, вызревающего в сумерки, и далекие, сонные отзвуки «Мальбрука», выпеваемого голоском складывавшей белье Бланш (…ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra[299]), и две прелестные головки, бронзово-черная и медно-красная, склонившиеся над столом. Ван понимал, что надо поостыть, прежде чем заговаривать с Адой — или вернее, прежде чем сказать ей, что надо поговорить. Она была весела и элегантна; впервые надела его алмазы; на ней было новое вечернее платье с черными блестками, и — также впервые — он увидел на ней прозрачные шелковые чулки.

Ван присел на маленькую тахту, взял наугад один из раскрытых томов и принялся с отвращением разглядывать роскошное изображение пышных орхидей, чья популярность у пчел, как следовало из описания, зависит «от разнообразия манящих ароматов — от вони разлагающегося рудокопа до миазмов дохлого кота». Солдатские останки, не исключено, пчелкам

и того приятней.

В это время несговорчивая Люсетт уперлась, что-де проще всего нарисовать цветок — это наложить на картинку (в данном случае имелась в виду красная бородатка, с характерными, непристойного вида деталями, растение редкое для ладогских болот) прозрачную бумагу и обвести цветной тушью контур. Неутомимая Ада настаивала, чтоб Люсетт не механически копировала бы, а воспроизводила «от глаза к руке и от руки к глазу» и чтоб в качестве натуры воспользовалась сорванным экземпляром другой орхидеи с коричневой жатенькой сумочкой и лиловыми чашелистниками; но вскоре, однако, Ада с улыбкой сдалась, отставив в сторону хрустальную вазочку с «венериным башмачком», который сорвала в лесу. Легко и без нажима принялась объяснять, как функционируют органы цветка — но Люсетт, настроенную на смешливый лад, занимало только одно: может ли мальчик-пчелка оплодотворить девочку-цветок чем-нибудь — своими гетриками или мохнатиками или что там у него на ножках?

— Видишь ли, — заметила Ада Вану, комично гнусавя, — видишь ли, мозги этого чада до крайности извращены, и вот она уж злится на меня за эти слова, сейчас кинется и станет рыдать на груди у Ларивьер и будет жаловаться, что ее опылили, когда сидела у тебя на коленках.

— Разве можно говорить Бэлль такие неприличности? — отозвалась вполне чинно и здраво Люсетт.

— Ван, что это с тобой? — спросила проницательная Ада.

— А что? — спросил, в свою очередь, Ван.

— У тебя уши вздрагивают, и покашливаешь то и дело.

— Закончили рисовать свои жуткие цветы?

— Закончили. Теперь пойду руки помою. Встретимся внизу. У тебя галстук перекручен.

— Пусть, пусть! — пробормотал Ван.

Mon page, mon beau page,

— Mironton — mironton — mirontaine —

Mon page, mon beau page[300]…

Внизу в зале Джонс уже снимал обеденный гонг с настенного крючка.

— Так в чем дело? — спросила Ада, когда через минуту они сошлись на веранде перед гостиной.

— Я нашел это в своем кармане, — сказал Ван.

Нервно потирая пальцем крупные передние зубы, Ада читала и перечитывала записку.

— Почему ты решил, что это тебе? — спросила она, возвращая ему клочок тетрадного листка.

— Ведь сказано же!.. — вскричал Ван.

— Тише (quiet)! — сказала Ада.

— Сказано, я обнаружил это здесь! (Указывает на нагрудный карман.)

— Порви и выброс! — велела Ада.

— Слуга покорный! — отозвался Ван.

41

Педро пока из Калифорнии не вернулся. Сенная лихорадка, а также темные очки не послужили на пользу наружности Г.А. Вронского. Адорно, звезда фильмы «Ненависть», привез новую жену, оказавшуюся старой (и любимейшей) женой одного из гостей, комика и куда более известного, и тот после ужина сунул Бутейану денежку, чтоб устроил доставку депеши, которой бы этого гостя немедленно куда-то отзывали. Григорий Акимович отправился вместе с ним (прибыв с ним же в одном взятом напрокат лимузине), оставив за карточным столиком Марину, Аду, Адорно и его иронически хмыкающую Марианну. Играли в бирюч, разновидность виста, закончив только тогда, когда удалось заполучить такси из Ладоры, то есть много позже часа пополуночи.

Между тем Ван снова переоделся в шорты, запахнулся в клетчатый плед и вернулся к себе под сень деревьев, где совсем не зажигались бергамаскарадные фонари в ту ночь, которая вопреки ожиданиям Марины оказалась не слишком праздничной. Забравшись в свой гамак, Ван, отходя ко сну, принялся лениво перебирать в памяти, кто бы из французской челяди мог ему подбросить это зловещую, хотя, по мнению Ады, пустую записку. Сразу же его выбор, естественно, пал на истеричку и выдумщицу Бланш — ведь она труслива, боится, что ее «попросят» (вспомнилась ужасная сцена, когда та валялась в ногах у Ларивьер, прося пощады, поскольку мадемуазель обвинила ее в «краже» какой-то своей безделушки, которая тут же и нашлась в туфле самой Ларивьер). Потом перед Ваном всплыла багровая физиономия Бутейана и ухмыляющаяся — его сынка; но мало-помалу он погрузился в сон и видел себя на горе занесенным по горло снегом, и были люди, и деревья, и вниз лавиной несло корову.

Что-то вырвало его из муторного ступора. Сперва ему показалось, что предрассветная прохлада, но вот он уловил слабый скрип (отозвавшийся воплем в его кошмарном перепутанном сне) и, подняв голову, увидел сквозь листву тусклый свет — дверь в кладовку была распахнута изнутри. Ада просто так туда не наведывалась; только ради их нечастых ночных свиданий, и тогда тщательно взвешивался каждый шаг. Выбравшись из гамака, Ван направился к освещенной двери. Перед ним возникла бледная, дрожащая фигурка Бланш. Вид у нее был довольно странен: с оголенными плечами, в нижней юбке, один чулок подстегнут, другой спущен до икры, босая, под мышками влажно от пота; она распускала волосы в жалкой попытке изобразить себя соблазнительницей.

— C 'est та dernière nuit аи château, — едва слышно проговорила она и несколько иначе произнесла ту же фразу на странном своем английском, топорно-элегическом, как говорят только в старых романах. — Сия ночь у нас последняя с тобою!

— Последняя? У нас с тобой? О чем ты?

Ван оглядывал Бланш с жутковатым чувством тревоги, возникающей, когда слышишь безумные или пьяные речи.

Но несмотря на очумелый вид, Бланш пребывала в здравом рассудке. Пару дней назад она твердо решила оставить Ардис-Холл. И только что подсунула под дверь Мадам свое прошение об уходе с припиской насчет поведения юной хозяйки. Через несколько часов ее здесь не будет. Она любит его, он — «ее безумие, ее страсть», она жаждет провести с ним несколько тайных мгновений.

Ван вошел в кладовую и медленно прикрыл за собою дверь. Эта неспешность была продиктована обстоятельством малоприятного свойства. Бланш, поставив лампу на ступеньку стремянки, уж схватилась за подол задрать легкую свою юбчонку. Ее мягкость, сочувствие и услужливость могли бы подтолкнуть в нем желание, в котором Бланш не сомневалась и полное отсутствие которого Ван тщательно скрывал под пледовым прикрытием; но значительно сильней страха заразиться (Бут намекал на кое-какие проблемы бедняжки) заботила Вана вещь посерьезней. Отведя дерзкую ручку Бланш, он присел рядом с ней на скамью.

Не она ли подсунула ему в смокинг записку?

Она. Как можно, вот так разъехаться, а он чтоб остался одураченным, обманутым, преданным! И наивно добавила, как бы в скобках, что, мол, уверена, он с самого начала воспылал к ней, но об этом можно и потом. Je suis à toi, c'est bientôt l'aube[301], мечта твоя сбылась.

— Parlez pour vous[302], — сказал Ван. — Что-то не настроен я на любовный лад. И, можешь быть уверена, если тотчас не расскажешь, как все было и в подробностях, я тебя придушу.

Бланш кивнула, осовелые глаза глядели на него с обожанием и страхом. Когда и как все началось? В прошлом августе, отвечала она. Votre

demoiselle[303] собирала цветы, он вился следом сквозь густую траву с флейтой в руке. Как это? Почему флейта? Mais le musicien allemand, Monsieur Rack[304]. Услужливая осведомительница в тот момент лежала под собственным ухажером за изгородью. Как этим можно было заниматься с l'immonde Monsieur Rack[305], однажды позабывшим в стогу сена свой жилет, этого наша осведомительница никак не могла взять в толк. Может, в благодарность за то, что ей песни сочинял, одну, славненькую, исполнил однажды средь шумного бала в ладорском казино, мотив такой… Меня не интересует мотив, дальше рассказывай. Раз звездной ночью осведомительница, находясь в зарослях ивняка с двумя кавалерами, слыхала, как месье Рак, в лодке на реке, излагал печальную историю своего детства, поры, отмеченной недоеданием, музыкой и заброшенностью, его возлюбленная в рыданиях запрокидывала голову назад, он же потчевался ее белой шеей, il la mangeait de baisers dégoûtants[306]. Должно быть, имел ее раз пять-шесть, не больше, он не так крепок, как кое-кто, — ладно, не будем об этом, оборвал ее Ван, — а зимой юная леди прознала, что он женат и злую свою жену ненавидит, а в апреле, когда тот стал давать уроки музыки Люсетт, роман возобновился, но потом…

— Хватит! — выкрикнул Ван и, охаживая себя кулаком по лбу, шатаясь, выбрался на солнечный свет.

Стрелки на часах, свисавших с гамака, показывали четверть шестого. Ноги у него одеревенели. Ван хватился своих мокасин и некоторое время безотчетно топтался меж деревьев в чаще, где с такой мощной, неистовой силой дрозды выпевали сложнейшие фиоритуры, что не было сил вынести этой агонии прозрения, этой мерзости жизни, этого краха. Все же постепенно он обрел подобие самоконтроля благодаря магическому средству: и близко не подпускать образ Ады к пределам сознания. Это создало вакуум, куда хлынуло множество третьестепенных мыслей. Пантомима рационального мышления.

Ван принял холодный душ в кабинке у бассейна, все его действия были до смешного размеренны, он делал все неспешно и осмотрительно, словно разбить боялся этого нового, только что явившегося на свет, незнакомого, хрупкого Вана. Он наблюдал за вращением, танцем, напыщенным разгулом, порой фиглярством своих мыслей. К примеру, с восторгом пускался в фантазии — будто кусок мыла кажется муравьям, на нем роящимся, застывшей амброзией, и каково это вдруг самому очутиться в центре этой оргии. Являлась мысль: согласно кодексу чести, нельзя вызывать на поединок того, кто по рождению не джентльмен, хотя для художников, пианистов, флейтистов могут быть исключения; можно пустить ему кровь, многократно врезав в челюсть, или нет, лучше вздуть его хорошей тростью — не позабыть выбрать трость понадежней из шкафчика в вестибюле, а потом прочь отсюда навеки, навеки. Вот потеха! Ему неповторимое наслаждение доставляло это состояние — будто на одной ноге выплясываешь голышом, нацелившись другой в надеваемые трусы. Он лениво прошел через боковую галерею. Поднялся по парадной лестнице. Дом был пуст, прохладен, в нем пахло гвоздиками. Доброе утро и прощай, спаленка! Ван побрился, подстриг ногти на ногах, Ван оделся с неимоверной тщательностью: серые носки, шелковая рубашка, серый галстук, темно-серый, давеча отутюженный костюм — ботинки, ну, конечно же, ботинки,

как можно забыть про ботинки, и, не особо копаясь в остальных своих вещах, он набил замшевый кошелек пригоршней золотых двадцатидолларовых монет, разложил по карманам вдоль окостеневшего тела носовой платок, чековую книжку, паспорт — что еще? Ничего — и приколол к подушке записку с просьбой уложить его вещи и отправить на адрес отца. Сына снесло лавиной, шляпы не найдено, презервативы пожертвованы Дому престарелых проводников. Теперь почти через восемь десятков лет все это звучит глупо и смешно — но в тот момент он был мертвец под маской вымышленного сновидца. Крякнув, чертыхнувшись на колено, склонился на накатанном снегу у края склона затянуть лыжные крепления, но лыжи исчезли, крепления обернулись шнурками ботинок, а склон — лестницей.

Ван спустился вниз, прошел в конюшню и сказал юному конюху, такому же сонному, как и он сам, что хотел бы через пару минут отправиться на станцию. Конюх обалдело уставился на Вана, и тот рявкнул на него.

Часы! Вернулся к гамаку, где они висели на ремешке. Возвращаясь в конюшню и обходя дом, он все-таки поднял взгляд наверх и увидел темноволосую девушку лет шестнадцати или около того, в желтых брючках и черном болеро, она стояла на балконе и махала ему. Она подавала ему лаконичные знаки, широким пространным жестом указывая на безоблачное небо (какое безоблачное небо!), на цветущую верхушку жакаранды (голубую! цветущую!) и воздетую, поставленную на парапет босую ножку (только сандалии надеть!). К собственному ужасу и стыду Ван обнаружил, что Ван ждет, когда она спустится вниз.

Она, как ветер, летела к нему через блестевшую радужной росой лужайку.

— Ван, — начала Ада, — хочу рассказать тебе, пока не забыла, свой сон! Мы вдвоем высоко в Альпах… Господи, почему ты в дорожном костюме?

— Ну что ж, скажу, — медленно, как во сне, начал Ван, — скажу тебе почему. Из скромного, но заслуживающего доверия сточника, то есть прости мне мой выговор, источника, я только что узнал qu'on vous culbute[307] под каждым забором. Не подскажешь ли, где найти твоего поваляшку?

— Нигде, — отвечала она совершенно ровным тоном, игнорируя или не улавливая грубость в его словах, ибо всегда знала, не сегодня-завтра грянет гром, что это вопрос времени или, вернее, того, как распорядится временем судьба.

— Но ведь есть же он, есть, — пробормотал Ван, уставившись на радужную паутинку на траве под ногами.

— Предположим, — высокомерно сказала Ада. — Однако вчера он отбыл куда-то в Грецию или Турцию. Больше того, если тебе от этого легче, он ищет во что бы то ни стало смерти в сражении. Но послушай, послушай! Все эти лесные прогулки ничего не значат. Ван, погоди! Я проявила слабость всего лишь раза два, когда ты так дико его оскорбил, ну, может, три, только и всего. Прошу тебя! Это сразу

объяснить невозможно, но постепенно ты все поймешь. Не все так счастливы, как мы с тобой. Он такой жалкий, одинокий, неприкаянный. Всем нам нести свой крест, но у иных он тяжелей. Я больше никогда его не увижу. Для меня он ничто, клянусь тебе. Просто он меня обожает буквально до умопомрачения.

— По-моему, — произнес Ван, — мы не о том любовнике говорим. Я имел в виду герра Рака, обладателя таких впечатляющих десен и также обожающего тебя до умопомрачения.

Повернувшись, как принято говорить, на каблуках, Ван направился к дому.

Он мог поклясться, что не оборачивался, что он не мог — с помощью какой-либо оптики или призмы — зримо представить ее, когда удалялся прочь; и все же с ужасающей отчетливостью и навсегда осталась в его памяти картина, запечатлевшая ее на том месте, где он ее оставил. Эта картина — проникшая в него каким-то задним зрением, по стекловидному позвоночному каналу и оставшаяся зримой навеки, навеки, — вмещала выбранные наугад и слившиеся воедино те ее образы и лики, которые отзывались в нем мукой невыносимого раскаяния за всякое, что осталось в прошлом. Размолвки между ними были недолгими, случались нечасто, но все же их было достаточно, чтоб составить немеркнущую мозаику. Однажды она стояла, прислонившись спиной к стволу дерева, выслушивая обвинение в измене; однажды он не захотел показывать ей дурацкие снимки из Чуза с изображением шлюшек и со злостью порвал их, а Ада отвернулась, помрачнев, прищуром уставилась куда-то вдаль, в окно. А однажды она замерла в нерешительности, моргая, не смея сказать вслух, ожидая, что он вот-вот негодующе взорвется на ее ханжескую избирательность к словам, после того как бесцеремонно и дерзко предложил ей подыскать рифму к слову «пертурбация», а она прикидывала, то ли неприличное слово он при этом имел в виду и как оно правильно произносится. Но пожалуй, гнусней всего был тот случай, когда она стояла, перебирая в руках собранные полевые цветы, легкая полуулыбка, не успев потухнуть, слепком застыла в глазах, губы сжаты, голова как-то неопределенно покачивается, как бы фиксируя намеренными кивочками втайне принимаемые решения, какие-то тайные соглашения с самой собой, с ним, и с другими неизвестными, с тех пор прозванными Безутешность, Никчемность, Несправедливость, — а он позволил себе грубо взорваться, взвившись от ее предложения, — такого ненавязчивого, как бы между прочим (будто предлагала пройтись краем болотца, взглянуть, не возникнет ли вдруг некая орхидея) — навестить могилку Кролика на кладбище, мимо которого они проходили, — вот тут он ни с того ни с сего принялся орать («Знаешь ведь, терпеть не могу кладбища, ненавижу, презираю смерть, мертвецов — эту пародию жизни, не желаю пялиться на камень, под которым гниют кости пухлявого крольчишки-полячишки, пусть себе с миром кормит червей, энтомология смерти не для меня, я ненавижу, я презираю…»); еще пару минут длилась эта тирада, после чего он буквально пал к Адиным ногам, целуя их, моля о прощении, он смолк, а она все смотрела на него пристально, задумчиво.

Таковы некоторые фрагменты этой мозаики, были и другие, еще более

тривиальные; но, сливаясь воедино, безобидные эпизоды образовывали смертоносное единство: девушка в желтых брючках и черном жакете стоит, заложив руки за спину, слегка поводя плечами, то ближе к стволу, то чуть отпрянув, откидывая волосы назад, — и эта явственная картина, которой в действительности он не видал, была в сознании Вана живей любого реального воспоминания.

Марина в кимоно и бигуди стояла у крыльца в окружении прислуги и задавала вопросы, на которые, пожалуй, никто ответить не мог.

— Марина, — сказал Ван, — не сбегаю я с твоей горничной. Это обман зрения. Причины, по которым она тебя покидает, не имеют ко мне никакого отношения. У меня остались кое-какие дела, которые я, как идиот, забросил, а теперь, перед отъездом в Париж, к ним необходимо вернуться.

— Ада доставляет мне столько волнений, — проговорила Марина, удрученно потупив взгляд и по-русски подрагивая щеками. — Прошу тебя, приезжай как только сможешь! Ты оказываешь на нее такое благотворное влияние. Ау revoir![308] Да ну вас всех!

Подхватив подол, она поднялась по ступенькам крыльца. Смирный серебристый дракон у нее на спине, как утверждала старшая просвещенная дочь, дразнился языком муравьеда. Что знала бедная ее мамаша о всяких «П. де П.» и «Р.»? Вряд ли хоть что-нибудь.

Ван пожал руку расстроенному старому дворецкому, поблагодарил Бута за поднесенные трость с серебряным набалдашником и перчатки, кивнул прочим слугам и зашагал к экипажу, запряженному парой. Стоявшая поодаль Бланш в длинной серой юбке и соломенной шляпке, с дешевым саквояжем, выкрашенным под красное дерево и перевязанным для верности крест-накрест бечевкой, была точь-в-точь отправляющаяся учительствовать юная мисс из фильма о жизни Дикого Запада. Бланш сказала, что сядет на облучок рядом с русским кучером, однако Ван препроводил ее в calèche.

Они ехали вдоль колышущихся полей ржи, расцвеченной, точно конфетти, маками и васильками. Всю дорогу Бланш журчала тихо, словно в трансе, словно en rapport[309] с духом усопшего менестреля, о молодой барышне и о двух ее последних любовниках. Всего лишь давеча, из-за того густого ельника, поглядите-ка направо, вон туда (но он головы не повернул — сидел молча, взявшись обеими руками за набалдашник трости), они с сестрицей Мадлон при бутылке вина видали, как месье граф обхаживал молодую барышню среди мха, набрасывался на нее, как дикий медведь, как он набрасывался — и столько раз! — и на Мадлон, она-то и велела Бланш, чтоб предупредила Вана, потому что было ей ой как досадно, но еще она сказала — вот ведь добрая душа! — лучше до поры не говорить, пока наш «Мальбрук» не s'en va t'en guerre[310], иначе они сцепятся; граф все утро пулял по огородному пугалу из пистолета, вот почему Бланш долго не высказывалась, это Мадлон решила, не она. Бланш все молола и молола языком, пока не доехали до селения Турбьер с домишками в два рядка и темной церковкой с витражными окнами. Ван помог Бланш слезть с коляски. Младшая из трех сестер, маленькая каштановокудрая красавица с похотливыми глазками и

торчащими грудками (где-то он уж видал ее? — недавно ведь, но где?) понесла саквояж Бланш и клетку с птичкой в бедную хижину, хоть и потонувшую в сплетении роз, но удручающе унылую. Чмокнув несмелую ручку Золушки, Ван вернулся на свое место в коляске, откашлялся, одернул брюки, перед тем как закинуть ногу на ногу. Вотще, Ван Вин!

— Скорый ведь в Торфянке не останавливается — да, Трофим?

— Еще верст пять будет через болота, — сказал Трофим, — доставлю до ближайшей станции, в Волосянку!

Так вульгарно по-русски он именовал полустанок Мейденхэр; поезд наверняка переполнен.

Мейденхэр. Идиот! Этот Перси уж гнил, наверно, в сырой земле! Мейденхэр. Название от огромного плакучего китайского дерева, росшего в конце платформы. Некогда, кажется, кем-то спутанного с папоротником «венерин волос». В романе Толстого она шла до самого конца платформы. Первый случай внутреннего монолога, далее использованного французами и ирландцами.{92} N'est vert, n'est vert, n'est vert. L'arbre aux quarante écus d'or[311], осенью по крайней мере. Никогда, никогда не услышать больше, как ее «ботанический» голосок оседает на слове biloba[312], «прости, снова сорвалась с языка латынь». Гинкго[313], гингко, инок, книг. Иначе — адиантофолия Солсбери. Адин ин-фолио, жалкая Солсберия: впалая; жалкий Поток Сознания{93}, теперь уж marée noir[314]. Да пошел он, этот Ардис-Холл!

— Барин, а барин! — сказал Трофим, поворачивая белокуробородую физиономию к своему седоку.

— Да?

— Даже сквозь кожаный фартук не стал бы я трогать эту французскую девку!

Барин: master. Даже сквозь кожаный фартук: even through a leathern apron. Не стал бы я трогать: I would not think of touching. Эту: this (that). Французскую (French, прилаг., винит.) Девку: wench. Ужас, отчаяние: horror, despair. Жалость: pity. Кончено, загажено, растерзано: finished, fouled, torned to shreds.

42

Аква говаривала, что только очень жестокий или очень глупый человек или невинный младенец может быть счастлив на Демонии, лучезарной нашей планете. Вану казалось, чтобы самому выжить на этой ужасной Антитерре, в многоцветном и порочном мире, в котором он рожден,

необходимо уничтожить или хотя бы покалечить двоих. Надо было срочно их отыскать; само промедление могло подточить его жизненные силы. Сладость уничтожения если не залечит душевные раны, то по крайней мере прочистит мозги. Оба обреченных находились в разных точках, но ни одно их этих мест не имело точной локализации — ни определенного городского адреса, ни указателя расквартирования. Ван надеялся при благосклонности Судьбы наказать их достойным образом. Он не был готов к тому, чтоб Судьба сперва до смешного с навязчивой рьяностью его вела, а потом вторглась в его дела сверхусердным пособником.

Сначала он решил отправиться в Калугано и разобраться с герром Раком. Измученный страданиями, он забылся сном в углу переполненного чужими ногами и голосами купе дорогого экспресса, несшегося на север со скоростью сто миль в час. Проспал до полудня и сошел в Ладоге, где, прождав чуть не целую вечность, пересел в другой, более тряский и еще более переполненный поезд. Пробираясь в качке из вагона в вагон, чертыхаясь под нос на облепивших окна пассажиров, не утруждавших себя пошевелить задом, чтоб слегка подвинуться, и тщетно выискивая уютное местечко где-нибудь в четырехместном купе вагона первого класса, он вдруг увидел сидевших у окна друг против дружки Кордулу с ее матерью. Два других места занимали пожилой тучный джентльмен в допотопном каштановом парике с зачесом на прямой пробор и мальчишка-очкарик в матроске, сидевший рядом с Кордулой, протянувшей ему половину своего шоколадного батончика. Движимый внезапным, возбудившим его оптимизм поползновением, Ван вошел в купе, однако сперва ни Кордула, ни мать ее его не узнали, в волнении он рванулся представиться вновь, что совпало с внезапным рывком поезда, и Ван наступил на облаченную в прюнелевый туфель ногу престарелого пассажира, который, издав короткий вопль, проговорил невнятно, но не без учтивости:

— Пожалейте мою подагру (или «осторожней», или «смотрите под ноги»), молодой человек!

— Терпеть не могу обращения «молодой человек»! — грубо бросил Ван немощному старцу, взорвавшись совершенно безосновательно.

— Он тебе больно сделал, дедушка? — спросил малыш.

— Да! — ответил дед. — Но, вскрикнув от боли, я вовсе не хотел никого этим обидеть.

— Да хоть и от боли, можно повежливей! — не унимался Ван (хотя сидящий у него внутри, более положительный Ван, охваченный стыдом, в ужасе дергал его за рукав).

— Кордула! — проговорила престарелая актриса (с невозмутимостью, с какой однажды подхватила и принялась гладить кота пожарника, внедрившегося на сцену в момент лучшего ее монолога в «Стойкой краске»), — почему бы тебе не пройтись с этим юным злым демоном в вагон-ресторан? Я, пожалуй, сейчас бы соснула минут на сорок.

— Что-то не так? — поинтересовалась Кордула, едва они обосновались в весьма просторной, в стиле рококо, «лепешнице», как именовались

подобные заведения калуганскими студентами в «восьмидесятых» и «девяностых».

— Все не так! — сказал Ван. — Но отчего такой вопрос?

— Видишь ли, мы чуточку знаем доктора Платонова, и, хочу заметить, у тебя не было совершенно никаких оснований так гнусно хамить милейшему старику.

— Приношу извинения, — сказал Ван. — Что будем, традиционный чай?

— И еще необычно то, — продолжала Кордула, — что ты меня, против обыкновения, узнал. Два месяца назад ты меня вовсе не замечал.

— Ты изменилась. Похорошела, обрела томность. Хорошеешь на глазах. Кордула распростилась с непорочностью! Скажи… не знаешь ли ты адреса Перси де Прэ? То есть общеизвестно, место их высадки в Татарии… но письма ему на какой адрес слать? Не хотелось бы обращаться к твоей вездесущей тетушке.

— По-моему, у Фрейзеров есть адрес, я узнаю. А куда направляется Ван? Где можно теперь Вана найти?

— Дома, Парк-Лейн, 5, буду там через пару дней. А сейчас еду в Калугано.

— Ну и дыра! Дама?

— Мужчина. Тебе знаком Калугано? Тамошний зубной врач? Приличная гостиница? Концертный зал? Учитель музыки моей кузины?

Кордула покачала короткими кудряшками. Нет — бывала там очень редко. Дважды на концерте, в сосновом бору. Она и не подозревала, что Ада берет уроки музыки. Как там Ада?

— Люсетт! — сказал Ван. — Музыке учили Люсетт. Ладно. Оставим Калугано. Здешние лепешки весьма отдаленно напоминают те, что пекут в Чузе. Ты права, j'ai des ennuis[315]. Но ты можешь меня отвлечь. Расскажи мне что-нибудь, чтоб мне переключиться, хотя ты и сама для меня переключение, малютка каламбур-топинамбур{94}, как говорил Тевтон в известном сюжете. Поведай-ка мне о своих сердечных делах.

Кордула была девчонка без особых затей. Все же общительная и весьма даже зажигательная девчонка. Он попробовал было погладить ее под столом, но Кордула мягко его руку отстранила, шепнув «бабник» шутливо, как та, иная девочка в каком-то другом сне. Ван громко кашлянул и заказал полбутылки коньяку, заставив официанта, как рекомендовал Демон, вскрыть бутылку в его присутствии. Кордула все трещала и трещала, он утратил нить ее повествования, вернее, оно смешалось с быстро менявшимся пейзажем, за которым Ван следил через ее плечо; внезапный овраг вобрал то, что сказал Джек позвонившей жене; дерево средь клеверного поля воплотило собой брошенного Джона, а в романтическом, струившемся со склона ручье отразилось упоминание о восхитительно кратком романе с маркизом Квизом Квизана.

Шуршанием пронесся мимо сосновый бор, за ним потянулись фабричные трубы. Состав загрохотал мимо паровозного депо, скрипя, начал замедлять ход. Уродливый вокзал заполнил собой ясный день.

— О Господи! — воскликнул Ван. — Ведь это моя станция!

Он выложил деньги на столик, поцеловал Кордулу в податливые губы и направился к выходу. Выйдя в тамбур, обернулся, махнул ей зажатой в руке перчаткой — и наскочил на пассажира, который нагнулся поднять саквояж.

— Oh n'est pas goujat à ce point![316] — крякнул пассажир, дородный военный с пышными рыжими усами и с капитанскими погонами.

Ван молча протиснулся мимо, но когда оба сошли на платформу, смазал его наотмашь перчаткой по физиономии.

Капитан подобрал фуражку и ринулся на бледного темноволосого хлыща. И в этот самый момент Ван почувствовал, как сзади кто-то мирно, однако вероломно обхватил его за руки. Не удосужившись и повернуть головы, Ван избавился от невидимого приставалы легким «поршневым» толчком, произведенным левым локтем, тогда как правой отвесил звучную затрещину капитану, рухнувшему на свои саквояжи. К тому моменту вокруг уж собралось несколько любителей бесплатных зрелищ; тогда Ван, подхватив капитана под руку, припустил вместе с ним в зал ожидания. Носильщик с потешно унылым видом и с изрядно расквашенным носом вошел следом с тремя саквояжами капитана, один из которых зажимал под мышкой. Наклейки с кубистским изображением далеких, сказочных стран цветисто облепляли самый новенький. Они обменялись визитками.

— Сын Демона? — пробормотал капитан Тэппер, член калуганской ложи «Уайлд-Фиолет».

— Точно так! — отвечал Ван. — Предполагаю остановиться в «Мажестик», если же нет, вашему секунданту или секундантам будет оставлена там записка. Придется вам мне подыскать секунданта, не могу же я обращаться за этим к швейцару.

С этими словами Ван вынул пригоршню золотых монет и, выбрав из них двадцатидолларовую, протянул ее пострадавшему старику носильщику, приговаривая:

— Желтую ватку! В каждую ноздрю! Извини, дружище!

И, руки в брюки, Ван направился через площадь к гостинице, проскочив перед самым носом у автомобиля, с визгом вильнувшего в сторону на мокром асфальте. Ван проследовал дальше, оставив автомобиль поперек намеченного им курса, толкнул вращающуюся дверь, входя внутрь в настроении если не в более веселом, чем то, в котором находился последние двенадцать часов, то, во всяком случае, несколько приободрившись.

Его поглотил «Мажестик», старая громадина, вся в копоти снаружи, вся в коже изнутри. Он спросил номер с ванной, получил ответ, что все заняты в связи со съездом подрядчиков; с присущей Винам неукротимостью прикупил портье, получил сносные апартаменты из трех комнат с ванной, отделанной панелями из красного дерева, со старым креслом-качалкой, механическим пианино и с лиловым балдахином над двуспальной кроватью. Помыв руки, тотчас спустился вниз наводить справки насчет местонахождения Рака. Телефона у Раков не было; скорей всего они снимали комнату где-то в пригороде; воздев глаза к часам, швейцар позвонил в какое-то адресное бюро или отдел поиска граждан. Оказалось, откроется только завтра утром. Швейцар посоветовал Вану обратиться в магазин музыкальных инструментов на Главной улице.

По дороге туда Ван приобрел себе новую трость: ту, что носил в Ардис-Холле, с серебряным набалдашником, оставил в станционном буфете в Волосянке. Нынешний экземпляр был грубоват, увесист, с удобным для обхвата наконечником и остер на конце, как альпеншток, — вполне пригоден для протыкания водянистых, выпученных глаз. В следующем магазине Ван купил себе костюм, в очередном — рубашки, трусы, носки, свободные брюки, пижаму, носовые платки, домашний халат, пуловер и пару домашних сафьяновых шлепанцев, свернувшихся зародышами в кожаном чехольчике. Все покупки были упакованы в чемодан и немедленно отправлены к нему в гостиницу. Он уже вошел было в магазин музыкальных инструментов, как вдруг его неожиданно осенило: он не оставил никакой записки секундантам Тэппера; развернулся и пошел обратно.

Обнаружив их сидящими в вестибюле, Ван попросил поскорей покончить с формальностями — ему предстояло куда более важное дело. «Не грубить секундантам» (never be rude to seconds), — прозвучал у него в ушах голос Демона. Гвардии лейтенант Арвин Анютингласс был рыхлого вида блондин с длиннющим мундштуком во влажных розовых губках. Джонни Рафин, эсквайр, был невысок ростом, брюнет и щеголь, в голубых замшевых ботинках и чудовищном ржаво-коричневом костюме. Вскоре Анютингласс исчез, оставив Вана оговаривать детали с Джонни, который, формально будучи готов оказывать Вану содействие, все ж не мог скрыть, что сердце его отдано Ванову противнику.

Капитан, говорил Джонни, отличный стрелок и член загородного клуба «До-Ре-Ла». Латиноамериканская кровожадность чужда его истинно британской натуре, но погоны и ученое звание требуют, чтоб он выступил в защиту своей чести. Он знаток картографии, лошадей и садоводства. Он помещик, богат. Малейший намек на извинение со стороны барона Вина мог бы исчерпать инцидент, который завершился бы благородным финалом.

— Если, — сказал Ван, — милейший капитан этого от меня ждет, пусть засунет пистолет себе в задницу!

— Не слишком любезно с вашей стороны, — заметил, моргая, Джонни. — Мой друг таких слов бы не одобрил. Имейте в виду, он личность утонченная.

Вопрос к Джонни: чей он секундант, Ванов или капитанов?

— Ваш! — отвечал Джонни упавшим голосом.

Не знает ли Джонни или утонченный его капитан некого немца-пианиста, Филипа Рака, женатого господина, отца (предположительно) троих детей?

— Боюсь, — сказал Джонни с некой долей возмущения, — что мало кого знаю из калуганских отцов семейств!

Есть ли тут поблизости публичный дом?

С возросшим возмущением Джонни отвечал, что он — убежденный холостяк.

— Что ж, холостяк так холостяк, — сказал Ван. — А теперь мне снова за покупками, пока не закрылись магазины. Стоит мне приобретать дуэльные пистолеты или капитан одолжит мне армейский «бругер»?

— Оружие мы предоставим, — заверил Джонни.

Когда Ван дошел до магазина музыкальных инструментов, оказалось, что тот закрыт. Мгновение Ван смотрел на арфы, на гитары, на цветы в серебряных вазах, и вспомнилась школьница, внушавшая ему такое острое желание шесть лет тому назад. Роз? Роза? Как звали ее? Был бы он с ней счастливей, чем с той бледной, роковой своей сестрой?

Он еще прошелся по Главной улице — одной из миллионов Главных улиц — и, внезапно ощутив прилив здорового аппетита, заглянул в показавшийся сносным ресторан. Заказал бифштекс с жареным картофелем, яблочный пай и кларет. В глубине зала на высоком красном табурете у сиявшего огнями бара грациозно восседала проститутка в черном — лиф в обтяжку, широкая юбка, длинные черные перчатки, черная бархатная шляпа с цветами — и потягивала через соломинку какой-то золотистый напиток. В зеркале за баром средь цветных бликов Ван уловил смутное отражение рыже-белокурой красотки; решил про себя, что можно потом подойти, но, снова подняв глаза, обнаружил, что та исчезла.

Ван ел, пил, выстраивал планы.

Предвкушение поединка отдавалось в нем острым возбуждением. Более животворный стимул трудно себе вообразить. Он и не ждал, что выпадет счастье стреляться со случайно подвернувшимся под руку шутом, тем более что в случае с Раком скорей всего истинное сражение заменила бы вульгарная трепка. Выстраивание и перестраивание в уме всевозможных сценариев этой незначительной дуэли можно было бы сравнить с полезными занятиями, которые проводят с паралитиками, душевнобольными и заключенными сотрудники благородных учреждений, просвещенные администраторы, хитроумные психиатры, — а именно, с переплетением книг или вставлением голубых бусинок в глазницы куклам, смастеренным руками других заключенных, калек и психов.

Сначала его увлекла мысль пристрелить своего противника: в количественном смысле это принесло бы Вану величайшее облегчение; в качественном — повлекло бы всевозможные осложнения морального и юридического толка. Обычное ранение противника представлялось Вану глупой полумерой. Он решил выкинуть что-нибудь этакое, артистически-показное, например, выбить пулей пистолет из руки этого малого или смазать пулей поверх головы, чтоб густые, щетинистые волосы сами собой разложились на прямой пробор.

Возвращаясь в свой мрачный «Мажестик», Ван прикупил множество всякой всячины: три круглых куска мыла в продолговатой коробке, крем для бритья в холодном упругом тюбике, десяток лезвий для безопасной бритвы, увесистую губку, маленькую резиновую губку для намыливания, лосьон для волос, расческу, бальзам для кожи, зубную щетку в пластиковом футляре, зубную пасту, ножницы, авторучку, карманную записную книжку — что еще? — ах да: маленький будильник, успокаивающее обладание которым, однако, не удержало Вана от просьбы швейцару разбудить его звонком в пять утра.

Было всего лишь девять часов вечера, конец лета; Ван бы нисколько не удивился, если б ему сказали, что сейчас полночь и на дворе октябрь. Этот день оказался до невероятности бесконечным. В голове никак не укладывалось, что только нынче утром, на рассвете, одна шальная героинька романа для горничных про спящую красавицу что-то твердила ему, дрожа, полунагая, в кладовой Ардис-Холла. Кстати, по-прежнему ли стоит та, другая, прямая как стрела, обожаемая и презираемая, лишенная сердца и с сердцем разбитым, прислонясь спиной к стволу шелестящего листвой дерева? Кстати, надо ли в преддверии завтрашнего partie de plaisir[317] оставить ей что-то типа: «Когда получишь эту записку…», дерзкое, жестокое, с ледяным острием? Нет. Лучше написать Демону.

«Дорогой папа,

в результате банальной стычки, состоявшейся у меня с неким капитаном Тэппером, членом ложи „Уайлд-Фиолет“, которому я, проходя по вагону, случайно отдавил ногу, нынче утром в лесу близ Калугано я имел с ним дуэль на пистолетах, и вот меня уж нет на этом свете. Хоть мою кончину все же можно счесть разновидностью легкого самоубийства, прошу никоим образом не считать ни дуэль, ни невиннейшего капитана сопричастными к Страданиям юного Вина.{95} Проводя в 1884 г. первое свое лето в Ардисе, я соблазнил твою дочь, которой было тогда двенадцать. Наш знойный роман продлился вплоть до моего возвращения в Ривердейн; он возобновился через четыре года, в нынешнем июне. Подобного счастья я более в жизни не испытывал и ни о чем не жалею. Но вчера вечером я узнал, что она мне неверна, и мы расстались. Не исключено, что Тэппер — тот самый субъект, который был изгнан из одного твоего игорного клуба за попытку вступить в оральную связь с туалетным уборщиком, беззубым старым калекой, ветераном первой крымской войны. Прошу тебя, побольше цветов!

Твой любящий сын Ван».

Внимательно перечтя послание, он аккуратно порвал его в клочки. Записка, которую в конце концов он опустил в карман, была гораздо лаконичней:

«Папа,

у меня произошла банальная ссора с незнакомцем, которому я дал пощечину и который пристрелил меня на дуэли в окрестностях Калугано.

Прости!

Ван».

Ван был разбужен ночным портье, принесшим ему чашку кофе, поставившим ее вместе с местным «колобком» на столик у кровати, привычным жестом подхватив ожидаемый червонец. Портье видом чем-то напоминал Бутейана, каким тот был десять лет назад и каким привиделся Вану только что во сне, который, проснувшись, он теперь вспоминал: во сне прежний камердинер Демона объяснял Вану, что «дор» в названии дорогой ему реки — то же, что искаженное «гидро» в слове «дорофон». Вану нередко снились словесные сны.

Он побрился, вынул оба орошенных кровью безопасных лезвия, кинул их в массивную бронзовую пепельницу, выдал идеальный в структурном отношении стул, быстро принял ванну, поспешно оделся, оставил свои вещи у консьержа, оплатил номер и ровно в шесть втиснулся к небритому и попахивающему Джонни в его последнюю модель «парадокса», дешевого «полугоночника». Мили две или три они тащились вдоль озера по омерзительным местам: угольные насыпи, лачуги, лодочные сарайчики, длинная полоса усыпанной галькой грязи, а вдалеке, за берегом, изогнувшимся вокруг подернутой осенней дымкой воды, — рыжевато-коричневый дым из кошмарных фабричных труб.

— Скажите, любезный Джонни, где это мы? — спросил Ван, лишь только они, свернув с озерной орбиты, покатили по загородному шоссе мимо дощатых коттеджей среди сосен, между которыми было развешано белье.

— Дорофей-роуд! — выкрикнул водитель, заглушая рев мотора. — Ведет прямо к лесу.

Действительно. Ван ощутил легкую боль в колене, которым ударился о камень неделю назад, будучи атакован сзади, в каком-то ином лесу. В тот же миг его нога ступила на мягкую, усыпанную хвоей лесную тропинку, мимо проплыла прозрачная белая бабочка, и с невыразимой убежденностью Ван осознал, что жить ему осталось всего лишь несколько минут.

Повернувшись к секунданту, Ван сказал:

— Это запечатанное письмо в фирменном конверте гостиницы «Мажестик» адресовано, как вы видите, моему отцу. Перекладываю в задний карман

брюк. Прошу отправить немедленно, если капитан, который, как видно, уж прибыл в лимузине, смахивающем на катафалк, случайно меня прихлопнет.

Отыскали подходящую поляну, и основные действующие лица с пистолетами в руках встали друг против друга на расстоянии тридцати шагов, как и положено в поединке, описанном во множестве русских романов, преимущественно русскими романистами дворянского происхождения. Арвин попросту хлопнул в ладоши, давая знак стрелять по желанию; Ван заметил справа какое-то пестрое колыхание: двое маленьких зевак — толстая девочка и мальчишка-очкарик в матроске, держатся за одну корзинку с грибами. Мальчишка не тот, что грыз шоколад в купе у Кордулы, хоть очень похож, и как раз, когда мозг Вана был занят этими мыслями, в левый бок ему вонзилась пуля, выбивая, как показалось, все, что было с этой стороны. Ван покачнулся, но удержался на ногах и с видом, полным щеголеватого достоинства, разрядил свой пистолет в едва разгорающееся зарей небо.

Сердце билось ровно, мокрота оказалась чиста, легкое не задето, однако где-то под мышкой слева неистовым жаром отдавалась боль. Кровь, просачиваясь сквозь одежду, струилась по брючине вниз. Медленно, осторожно он опустился на землю, привалившись на правую руку. Накатил страх потерять сознание, но все же, видно, на какой-то момент он отключился, потому что внезапно увидал, как Джонни, уже овладев его письмом, запихивает конверт к себе в карман.

— Да порвите же, идиот! — процедил Ван, невольно застонав.

Подошел капитан и с довольно-таки унылым видом сказал:

— Ну вы уж теперь не в состоянии продолжать, да?

— А вам уж не терпится… — начал было Ван: он хотел сказать «вам уж не терпится еще разок схлопотать по физиономии!», но вдруг почему-то весело рассмеялся на слове «не терпится» и от растянутых в смехе связок внутри так мучительно заныло, что он осекся, сник, на лбу выступила испарина.

Меж тем Арвин переоборудовал лимузин в карету скорой помощи. Разложили газеты, чтоб не запачкать обивку, а капитан суетливо добавил поверх нечто напоминавшее мешок из-под картошки или чего-то еще, гнившего в бардачке, а потом, порывшись в багажнике, бормоча что-то типа «только чужой крови мне не хватало» (слова по всем статьям кстати), решился пожертвовать старый замызганный макинтош, на котором по дороге к ветеринару испустил дух любимый кобель.

Сперва Вану казалось, будто все еще лежит в машине, но он уж находился в общей палате больницы «Вид на озеро» («Вид на озеро»!) на кровати меж двух рядов разноперевязанных, храпящих, бредивших и стонущих больных. Едва осознав, где находится, Ван первым делом возмущенно потребовал, чтоб его перевели в самую комфортабельную в данном заведении отдельную палату, доставив при этом из «Мажестик» его чемодан и альпеншток. Затем поинтересовался, насколько серьезна рана и как долго он будет еще прикован к постели. Третьей акцией

Вана было возвращение к тому, что составляло единственную причину посещения им Калугано (посещения им Калугано!). Новое его обиталище, откуда безутешные монархи, мечась в беспамятстве, перекочевывали в мир иной, оказалось белым воспроизведением его гостиничного номера — белая мебель, белый ковер, белые кровати. Вкраплением, так сказать, явилась Татьяна, юная, чрезвычайно миленькая и неприступная сестра милосердия, темноволосая и с прозрачной кожей. (Что-то в ее манере и поведении и еще гармоническое единство шеи и глаз, составляющее особое, с трудом, но все же постижимое таинство женской прелести, фантастически, мучительно напоминало ему Аду, и он жаждал освободиться от этого образа, неистово устремляясь во власть чар Татьяны, очередного своего ангела-мучителя. Вынужденная ограниченность движений мешала привычной комиксной погоне за достижением цели. Он умолял ее помассировать ему ноги, а она, испытующе глянув на него умными, серьезными глазами, перепоручила это занятие Дорофею, массажисту с мясистыми лапами, силачу, способному шеей вытянуть немощного больного из постели, если тот вцеплялся руками в мощный его загривок. Когда же Ван однажды изловчился потрогать Татьянину грудь, та заявила, что непременно пожалуется, если он возобновит свои, как она неожиданно для себя метко окрестила, «соблазнительные забавы». Наглядная же демонстрация его желания при смиренной мольбе пожалеть-приласкать была пресечена строгим напоминанием, что, мол, иным почтенным джентльменам за проделывание того же в общественных местах пришлось довольно долго отсиживаться за решеткой. Хотя много позже Татьяна написала ему красными чернилами на розовой бумаге восхитительное грустное письмо; но тут вмешались иные чувства и события, и больше он ее никогда не встречал). Чемодан его тут же доставили из гостиницы, хотя трость отыскать так и не удалось (должно быть, она совершает ныне с кем-то восхождение на гору Веллингтон, а может, сопутствует какой-нибудь леди, отправившейся «по куманику» где-то в штате Орегон); итак, лечебница обеспечила Вана Третьей Тростью, довольно-таки симпатичной, узловатой палкой цвета темной вишни, с мощным изогнутым резиновым наконечником. Доктор Фитцбишоп поздравил Вана с тем, что ранение неглубокое, пуля легонько резанула, даже можно сказать, лишь слегка задела большую serratus[318]. Док Фитц отметил исключительную способность Вана к заживлению ран, которая явно была налицо, и пообещал, если в течение трех дней тот будет недвижим, как бревно, то уже дней через десять сможет обходиться без антисептиков и бинтов. Любит ли Ван музыку? Ведь спортсмены любят музыку, не так ли? Не хочет ли, чтоб ему принесли сонородлу? Нет, Ван музыки не выносит, но, быть может, доктор, такой любитель концертов, знает, как найти музыканта по имени Рак? «Палата номер пять!» — тотчас последовал ответ. Ван, решив, что это название музыкального произведения, свой вопрос повторил. Может ли оказаться адрес Рака в магазине музыкальных инструментов Арфера? Да, раньше семейство снимало дачку чуть дальше по Дорофей-роуд, ближе к лесу, но теперь они там уж не живут. В палате номер пять содержатся безнадежные больные. У бедняги всегда была больная печень и весьма слабое сердце, но вдобавок в его организм проникла какая-то отрава; в здешнем «лабе» не смогли выявить возбудителя и теперь ждут результатов анализа отправленных в Лугу его престранных, зеленых, как лягушки, фекалий. Сотворил ли подобное Рак над собой сам, неясно, он хранит молчание; вероятней всего, это дело рук его жены,

которая увлекается индуистско-андским колдовством, и недавно в палате для рожениц с ней приключился тяжелейший выкидыш. Именно, тройня! — как вы догадались? Так вот, если не терпится повидать старого приятеля, как настанет время, усадят Вана в кресло-каталку, сразу Дорофей и отвезет его в палату номер пять, так что рекомендую поколдовать, ха-ха, над собственными, так сказать, плотью и кровью.

Этот день наступил довольно скоро. Долго катая его по коридорам с мелькавшими мимо, стряхивавшими градусники прелестными эфирными существами, поднимая и спуская на двух различных лифтах, причем второй был весьма просторен, с черной и при металлической рукоятке крышей, закрепленной поверх стен, с остатками на отдающем мылом полу то ли лавровых листьев, то ли остролиста, Дорофей наконец, подобно кучеру Онегина, возвестил: «Приехали!» («we have arrived») и легонько подпихнул Вана мимо двух кроватей за ширмами к третьей у окошка. Там Вана и оставил, уселся за небольшим столиком у двери в уголку и лениво развернул русскоязычную газету «Голос» («Логос»).

— Меня зовут Ван Вин — на случай, если вы уж не настолько в ясном уме, чтоб признать человека, виденного всего лишь дважды. Согласно больничным записям, вам тридцать лет; я бы дал вам меньше, но и в вашем возрасте умирать рановато, — сказал, я бы, твою мать — и недозрелому гению, и вполне созревшему мерзавцу, а может, и обоим. Как вы могли бы догадаться по скромному, но определенному убранству этой тихой палаты, вы, выражаясь одним языком, неизлечимо больны, выражаясь иным — дохнущая крыса. Никакие кислородные аппараты не помогут вам избежать «агонии агоний» — уместный плеоназм профессора Безносой. Физические мучения, которые вы испытаете, а возможно, уже испытываете, должно быть, ужасны, но они ничто в сравнении с тем, какие вам грозят в предстоящей загробной жизни. Ум человека, мониста по натуре, не способен постичь два «ничто»; ему доступно только одно «ничто», свое биологическое небытие в неопределенности прошлого, ибо память его абсолютно чиста, и это «ничто», являющееся частью прошлого, допустить не так уж трудно. Но другое «ничто» — которое, возможно, столь же легко себе домыслить — остается логически необъяснимым. Говоря о пространстве, можно представить себе в его беспредельной самости некую живую частицу; но во времени подобной аналогии с нашей быстротечной жизнью мы не отыщем, ибо сколь ни быстротечно (а тридцатилетний отрезок, право же, до неприличия краток!) наше восприятие бытия — оно не точка в вечности, но щель, трещина, пропасть, пролегающая по всей ширине метафизического времени, рассекая его и сияя — пусть узенькой полоской — от задней до передней плоскости. Таким образом, мистер Рак, мы можем поговорить о прошлом или же, в более размытом, но привычном смысле, о будущем, однако мы попросту не можем осязать другое «ничто», другой вакуум, другую пустоту. Забвение — одноразовый спектакль: посмотрели раз, повторения не будет. Значит, придется воспользоваться некой продленностью расстроенного сознания, и тут я, мистер Рак, подхожу к самой сути. Пусть Вечный Рак, бесконечная «Раковость» — это пустяк, но ясно одно: единственное осознанное чувство, которое сохранится и в бесконечности, — это осознание боли. Маленький Рак сегодня — это тяжкий мрак, завтра — ich bin ein unverbesserlicher Witzbold[319]. Можно — я бы даже сказал, должно — себе представить, как там и сям в поту или, в посюсторонности

крохотные сгустки частиц, по-прежнему хранящих черты Рака, сдвигаются, как-то и где-то притягиваются друг к дружке, вот сплетение зубных болей Рака, там свились ночные кошмары Рака — точь-в-точь группки безымянных беженцев из какой-то стертой с лица земли страны, сбившихся в кучку ради толики вонючего тепла, ради грязных подачек или ради того, чтоб поделиться воспоминаниями о невыразимых пытках, пережитых в татарских лагерях. Должно быть, в старости есть особое истязаньице: чтоб стоял и ждал в бесконечно длинной очереди к невидимому нужнику. Итак, герр Рак, я утверждаю, что живучие клетки стареющей Раковости будут сливаться в такие вот мучительные очереди, которым никогда в преисполненной болью и паникой бесконечной ночи не вывести мученика к потаенной, зловонной дыре. Разумеется, вы можете возразить, если вы любитель современной беллетристики и без ума от лексикона английских литераторов, дескать, настройщик роялей «из низших слоев общества», который влюбился в легкомысленную девицу «из высшего общества», тем самым разрушив свою семью, вовсе не заслуживает, чтоб на него как на преступника набрасывался с обличениями какой-то наглец…

Уже знакомым жестом порвав заготовленную речь, Ван произнес:

— Мистер Рак, откройте глаза! Меня зовут Ван Вин. Я пришел к вам.

Мгновение восковая, с впалыми щеками, вытянутая физиономия с мясистым носом и круглым подбородочком оставалась недвижима; однако прекрасные, янтарные, подернутые влагой, выразительные глаза с трогательно длинными ресницами открылись. Затем вокруг губ затеплилась слабая улыбка, больной протянул руку, не отрывая головы от прикрытой клеенкой подушки (отчего клеенкой?).

Ван из своего кресла потянулся к нему концом палки, слабая рука схватилась за наконечник, учтиво сжав пальцами, восприняв жест как средство дружеской помощи.

— Нет-нет, я пока и двух шагов сделать не в силах! — вполне отчетливо произнес Рак с немецким акцентом, который, возможно, заполнял самые долговечные из разрушаемых клеток.

Ван убрал ненужное свое оружие. Чтоб сдержаться, стукнул палкой о подножку своего кресла. Дорофей поднял от газеты глаза и снова вернулся к крайне заинтересовавшей его статье «Умница свинка» (из воспоминаний дрессировщика) или же — «Крымская война: татарские партизаны помогают китайским войскам». Одновременно тщедушная сестричка выглянула из-за дальней ширмы и снова скрылась.

Может, попросит что-то передать? Отказаться? Согласиться — и не передавать?

— Скажите, отбыли они уже всем семейством в Голливуд? Прошу вас, барон фон Вин!

— Не знаю, — ответил Ван. — Должно быть. Право же, я…

— Видите ли, я послал свою мелодию для флейты вместе с письмом всему

семейству, но ответа не пришло. Меня сейчас стошнит. Я сам нажму звонок.

Тщедушная сестричка в белых туфлях на чрезвычайно высоких каблуках загородила ширмой кровать Рака, отторгнув его от подавленного, легко раненного, с наложенными швами, гладковыбритого юного денди; какового, развернув, увез прочь заботливый Дорофей.

Вернувшись в свою светлую, проветренную палату, где за полуприкрытым окном чередовались дождь и солнце, Ван, ступая на шатких пока ногах, подошел к зеркалу, приветливо себе улыбнулся и без помощи Дорофея сам прошел к кровати. В дверь скользнула Татьяна, спросила, не желает ли чаю.

— Любезная моя! — сказал Ван. — Тебя я желаю! Взгляни, с какой мощью воспряла моя цитадель!

— Знали бы вы, — бросила она через плечо, — сколько раз похотливые больные этак же меня оскорбляли!

Он написал короткую записку Кордуле, сообщив, что с ним стряслась маленькая неприятность и что лежит он в Калугано, в палате для свергнутых правителей, в больнице «Озерные виды», и что к ее ногам готов припасть во вторник. Он написал еще более краткое послание Марине по-французски, выражая благодарность за летнее гостеприимство. По размышлении решил отправить это письмо из Манхэттена на адрес лос-анджелесского «Пизанг[320]-Палас» отеля. Третье письмо он адресовал Бернарду Раттнеру, самому близкому в Чузе приятелю, племяннику великого Раттнера. «Твой дядя самых честных правил, — в частности, писал Ван, — однако я собираюсь выступить с опровержением его идей».

В понедельник около полудня ему было разрешено посидеть в шезлонге на лужайке, которую он столько дней с жадностью созерцал из своего окна. Доктор Фитцбишоп, потирая руки, сообщил, что, по данным лужских лабораторных исследований, подобные «аретузоиды» не всегда имеют летальный исход, хотя теперь это уже ровно ничего не значит, так как несчастный учитель и сочинитель музыки не протянет на Демонии до утра, и к вечерне, ха-ха, в аккурат поспеет на Терру. Док Фитц был, по выражению русских, пошляк (pretentious vulgarian), и Ван в неявном протесте с облегчением почувствовал, что мучения Рака в нем лично злорадства не вызывают.

Высокая сосна бросала на Вана и на книгу тени. Он подхватил ее с полки: там стояли всякие медицинские справочники, зачитанные до дыр детективы, сборник рассказов Мопарнас «Алмазное ожерелье» и как раз этот вот странный «Журнал современной науки» с заковыристым эссе Рипли «Строение пространства». Ван сражался с его дурацкими формулами и диаграммами вот уж несколько дней и теперь понял, что никак не вникнуть в их суть до завтра, когда его выпустят из Приозерной больницы.

Жаркое пятно солнца доплыло него, и, отбросив в сторону красный журнал, Ван встал с кресла. По мере выздоровления образ Ады то и

дело возникал в нем горькой и сладостной волной, готовой поглотить целиком. Повязки с него сняли; на обнаженном теле не осталось ничего, кроме специального, вроде жилета, одеяния из фланели; но и оно, плотное, облегающее, не предохраняло тело от отравленного острия Ардиса. Поместья-стрелы. Le Château de la Flèche, Плотского Поместья.

Он брел по лужайке, полосатой от теней, и ему было жарко в черной пижаме и темно-красном халате. Улица была скрыта от него каменной стеной, и лишь в глубине за распахнутыми воротами виднелся изгиб асфальтового шоссе, подводящего к главному входу длинного здания больницы. Ван уж было повернул обратно к своему креслу, как вдруг изящный бледно-серый четырехдверный седан въехал в ворота и остановился прямо перед ним. Дверца распахнулась, и не успел шофер, пожилой субъект в блузе и бриджах, подать руку, как Кордула уже, точно балерина, летела навстречу Вану. В неистовой радости он обнял ее, целуя жаркие розовые щечки, блуждая руками по ее мягкому, как у кошечки, телу в черном шелковом платье: какой аппетитный сюрприз!

Она летела без остановки из Манхэттена со скоростью сто километров в час, боясь, что его уже выпустили, хотя он писал, что это случится завтра.

— Идея! — воскликнул Ван. — Ты немедленно меня отсюда забираешь. Как я есть, прямо в таком виде.

— Чудно! — сказала она. — Поедем, поживешь у меня, я поселю тебя в восхитительной комнате для гостей.

Ну и молодчина она, эта маленькая Кордула де Прэ! И вот уж он сидел в машине рядом с ней, а машина пятилась задом к воротам. Две сестры милосердия бежали следом, размахивая руками, и шофер по-французски осведомился, не желает ли графиня, чтоб он остановился.

— Non, non, поп![321] — выкрикнул Ван вне себя от радости, и машина газанула прочь.

— Мама позвонила из Малорукино (их сельское поместье в Мальбруке, в Майне), — прерывисто произнесла Кордула, — в местных газетах сообщалось, что ты дрался на дуэли. Вид у тебя здоровый, просто башня, я так рада! Как чувствовала, что-то произойдет, ведь малыш Рассел, внук доктора Платонова — помнишь? — видал из окошка, как ты на перроне смазал этого офицера по физиономии. Но прежде всего у меня для тебя, Ван, — нет, пожалуйста, он нас видит (no, please, he sees us) — ужасно дурные новости. Сын Фрейзеров, он только что вернулся из Ялты, сказал что Перси был убит через день после высадки, меньше чем через неделю, как они вылетели из аэропорта Гутзон. Он тебе сам все расскажет, с каждым днем происшедшее обрастает все новыми жуткими подробностями, как видно, Фрейзер не лучшим образом проявил себя в этой темной истории, потому, мне кажется, каждый раз себя выгораживает.

(Билл Фрейзер, сын судьи Фрейзера из Веллингтона, наблюдал конец лейтенанта де Прэ из спасительного рва, поросшего кизилом и

мушмулой, но, разумеется, был бессилен чем-либо помочь командиру своего взвода и по целому ряду причин, которые подробнейшим образом изложил в своем рапорте и которые, однако, перечислять здесь было бы слишком утомительно и неловко. Перси был ранен в бедро во время стычки с хазарскими партизанами в овраге близ Чу-Фут-Калэ, произносимого американскими солдатами «Чафаткейл» и означавшего «крепость на скале». Перси тотчас со странным облегчением обреченного заверил себя, что отделался поверхностным ранением. От потери крови он потерял сознание, как и мы, увидав, что он начал ползти, вернее, вихлять по земле, чтоб укрыться под сенью дуба среди колючего кустарника, где его уже как ни в чем не бывало подстерегала другая беда. Когда через пару минут Перси — все еще граф Перси де Прэ — пришел в себя, то обнаружил, что он не один на грубом ложе средь травы и камней. Рядом с ним на корточках сидел, улыбаясь, старый татарин, в бешмете и американских джинсах — что было несуразно, но как-то успокаивало.

— Бедный, бедный (you poor, poor fellow), — приговаривала добрая душа, качая головой и причмокивая. — Больно (it hurts)?

Перси отвечал на своем столь же скудном русском, что рана ему кажется несерьезной.

— Карашо, карашо, не больно (good, good)! — подхватил добрый старик и, подняв оброненный Перси автоматический пистолет, рассматривал его с наивным восторгом, а потом выстрелил Перси в висок. (Интересно, а это интересно всегда, какие именно краткие, молниеносные миги запечатлеваются в сознании застреливаемого, сохраняясь как-то и где-то в необозримом хранилище последних микрофильмированных мыслей, фиксируя промежуток между двумя моментами: между, в данном случае, тем, как, открыв глаза, наш друг увидел перед собой улыбающуюся, всю в мелких морщинках, симпатичную физиономию как бы краснокожего индейца на фоне безоблачного, почти ладорского, неба, и затем ощущением того, как стальное дуло, с силой давя на нежную кожу, взрывает кость. Можно представить это себе в виде некой сюиты для флейты, последовательностью, скажем, таких «эпизодов», как: я жив — кто это? — не военный — сострадание — пить — дочь с кувшином — черт, это же мой пистолет — нет!..{96} et cetera или, скорее, без cetera… а в это время Билл-сломанная-рука в безумном страхе молит своего католического бога, чтоб татарин, сделав свое дело, убрался восвояси. Однако, конечно же, бесценным фрагментом в этом мысленном потоке мог бы оказаться — возможно, где-то рядышком с пери, несущей кувшин, — вспышкой, неясным очертанием, резкой болью — Ардис.)

— Как странно, как странно, — бормотал Ван, когда Кордула закончила свою более или менее связную версию рассказа, который после Ван услышит от Билла Фрейзера.

Какое странное совпадение! Либо попали в цель смертоносные стрелы Ады, либо он, Ван, сумел каким-то образом расправиться с двумя ненавистными ее любовниками при помощи дуэли с подставным лицом.

Странно было и то, что, слушая малютку Кордулу, он не испытывал почти никаких особых чувств, разве что некое равнодушное удивление.

Человек с не слишком развитыми нежными чувствами, этот странный Ван, странный Демонов сын, в тот момент с гораздо большей готовностью насладился бы прелестями Кордулы — при первой же человеческой и человеколюбящей возможности, при первом же дьявольском или попутном сподвижничестве, — нежели стал оплакивать участь того, кого едва знал; и хотя в голубых глазах Кордулы раза два и блеснули слезы, Ван прекрасно знал, что с кузеном она не так-то часто общалась и, по правде говоря, даже его недолюбливала.

Кордула бросила Эдмону:

— Arrêtez près de…[322], как его там, ах да, у «Альбиона», le[323] универмага pour messieurs[324] в Луге! — И в ответ на возмущенные протесты Вана строго сказала: — Разве можно в пижаме возвращаться к цивилизованной жизни! Я куплю тебе кое-что из одежды, а Эдмон пока пропустит кружечку кофе.

Кордула купила Вану пару брюк и плащ. Он нетерпеливо ждал в оставленной на стоянке машине и потом, под предлогом, что надо переодеться, сказал, чтоб подбросила его куда-нибудь в укромное место, пока Эдмон, где он там, пропустит еще кружечку.

Едва лишь оказались в подходящем месте, Ван, усадив Кордулу к себе на колени, с большим удобством насладился ею, так звучно заходясь восторгом, чем польстил ей и растрогал ее.

— Ах, беспечная Кордула! — весело воскликнула беспечная Кордула, — надо полагать, предстоит очередной аборт — encore un petit enfantôme[325], как говаривала горничная бедной моей тетки всякий раз, как такое с ней приключалось. Я что-нибудь не так сказала?

— Все так! — сказал Ван, нежно ее целуя.

И они отправились обратно — к закусочной.

43

Ван провел оздоровительный месяц в манхэттенской квартире Кордулы на Алексис-авеню. Она исправно, дважды, а то и трижды в неделю, посещала мать в Мальбрукском замке, но Ван не сопровождал ее ни туда, ни на шумные «сходки» в городе, которые она, это легкомысленное, падкое до развлечений создание, не пропускала; но от иных встреч все же решительно отказалась и намеренно избегала свиданий с последним своим любовником (модным психотехником, доктором Ф.С. Фрезером, кузеном удачливого товарища по оружию покойного П. де П.). Несколько раз Ван беседовал по дорофону с отцом (увлеченным фундаментальным исследованием мексиканских минеральных вод и специй) и выполнил в городе несколько его поручений. Ван часто водил Кордулу во французские рестораны, на английские фильмы и варяжские трагедии, все это доставляло ей огромное удовольствие, ее восхищал каждый кусочек, каждый глоток, каждая острота, каждое стенание, он же находил восхитительными ее бархатные, розовые щечки

и чистую лазурь зрачка ее щедро подведенных глаз, которым густые, иссиня-черные, удлиненные и загибающиеся у наружного угла глаза ресницы придавали модное выражение, именуемое «шутовской косинкой».

Как-то в воскресенье, когда Кордула все еще нежилась в душистой ванне (этим прелестным, странным, непривычным зрелищем Ван наслаждался дважды в день), Ван «нагишом» (так его новая забавница-возлюбленная смягчала слово «голый») впервые после месячного воздержания попробовал походить на руках. Он решил, что вполне окреп, и посреди залитой солнцем террасы блаженно сделал мах, чтоб перевернуться в «первую позицию». И тут же упал на спину. Попробовал еще раз и немедленно потерял равновесие. Его охватил хоть и напрасный, но все же страх, будто левая рука стала короче правой, и Ван даже засомневался, сможет ли он теперь вообще плясать на руках. Кинг Уинг предостерегал, что, если месяца два-три не тренироваться, можно навсегда утратить этот редкий навык. В тот же день (с тех пор навсегда в его памяти остались неразрывны эти два небольших малоприятных инцидента) случилось так, что Ван подошел к «фону» и в трубке кто-то низким, глухим и, как ему показалось, мужским голосом позвал Кордулу, но выяснилось, что звонит какая-то старая школьная подруга, и Кордула, делая при этом Вану большие глаза, защебетала в трубку с наигранным восторгом, сочиняя по ходу всевозможные обстоятельства, препятствующие встрече.

— Отвратительная особа! — воскликнула Кордула после нежного «адье». — Ее зовут Ванда Брум, и я лишь недавно узнала про нее то, чего в школе никак не подозревала, — она самая настоящая tribalka[326] — бедняжка Грейс Ласкина рассказала, что эта Ванда постоянно приставала к ней и к… еще к одной девочке. Тут есть Вандина фотография, — подхватила Кордула, мгновенно меняя тон и вытаскивая великолепный, в изящном переплете, альбом весеннего школьного выпуска 1887 года, который Ван видал в Ардисе, но не обратил внимания на девицу с угрюмой, насупленной физиономией, а теперь это не имело уж никакого значения, и Кордула быстренько сунула альбом обратно в ящик; и все же Ван очень хорошо запомнил среди россыпей более или менее плоских рукописных творений стилизацию Ады Вин в подражание строю абзацев и окончанию глав у Толстого; в его памяти четко возникло строгое ее лицо на фото, а под ним — весьма характерные для нее строки:

In the old manor, I've parodied

Every veranda and room,

And jacarandas at Arrowhead

In supernatural bloom[327].

Теперь это все пустое, пустое. Растоптать и забыть! Но будет образ бабочки в парке, орхидеи в витрине магазина слепящей волной

безнадежного отчаяния вновь возрождать все в душе.

Основным занятием Вана сделалось сидение в громадном, с гранитными колоннами, здании публичной библиотеки, этом прекрасном, внушительного вида, дворце неподалеку от уютной квартиры Кордулы. Невозможно удержаться, чтоб не сравнить с вынашиванием ребенка это странное томление, эти невыносимые приступы тошноты, сопровождающие непостижимый экстаз младого автора, поглощенного созданием первой своей книги. Ван достиг лишь стадии подведения к венцу; ему, углубляя эту метафору, еще предстоял спальный вагон и сумбур утраты девственности; затем веранда, и первые завтраки медового месяца, и первая оса. Кордула никак не подходила на роль музы поэта, но каждый вечер, когда он возвращался к ней в дом, его переполняли радостные отблески и отсветы осуществленных замыслов и ожидание ее ласк; с особенной сладостью он предвкушал вечера, когда ими устраивался изысканный ужин, доставляемый наверх из «Монако», отличного ресторана в нижних этажах многоэтажного здания, венчавшегося надстройкой с огромной террасой, где обитала Кордула. Милая непритязательность их незвучной совместной жизни согревала его куда большей надежностью, чем общение с вечно взвинченным и вспыльчивым отцом в моменты их нечастых встреч в городе или их предстоявшее двухнедельное совместное обитание в Париже перед началом очередного семестра в Чузе. Никакой иной беседы, кроме сплетен — легоньких сплетен, — Кордула не признавала, и это тоже ему подходило. Инстинктивно она очень скоро смекнула, что в разговоре ни в коем случае нельзя упоминать ни об Аде, ни об Ардисе. В свою очередь, Ван вполне мирился с очевидностью того, что Кордула не слишком в него влюблена. Так приятно было гладить ее кукольное, податливое, ладненькое, аппетитное тело, а неприкрытое восхищение Кордулы многообразием и неутомимостью его любовных игр действовало как бальзам на то, что осталось еще от грубой мужской гордости бедняги Вана. Между двумя поцелуями Кордула могла заснуть. Если же ему не спалось, как частенько теперь случалось, Ван шел в гостиную и усаживался там, делая выписки из любимых авторов, или же расхаживал взад-вперед по открытой террасе под меркнущими звездами, погруженный в одни и те же тяжкие думы, до тех пор, пока первый трамвай не возникал со звяканьем и визгом средь пробуждающейся необъятности города.

Когда в первых числах сентября Ван Вин выехал из Манхэттена в Лют, плод уже зрел в нем.

Часть вторая

1

В зеркале с позолоченной рамой старомодного зала ожидания аэропорта Гутзон по шелковому цилиндру Ван определил отца, сидевшего в тонированном под мрамор кресле и полускрытого газетой, вывернутый кверх ногами заголовок которой гласил: «КРЫМ КАПИТУЛИРУЕТ». В этот самый момент к Вану обратился человек в плаще с приятной розовой, несколько поросячьего вида, физиономией. Он назвался представителем известного международного агентства, именуемого «СЛК», доставляющего Сугубо Личную Корреспонденцию. Оправившись от первого изумления, Ван отметил, что выбор недавней его возлюбленной Ады Вин как нельзя более благоразумно (во всех нюансах этого слова) остановился на виде доставки, престижная дороговизна которого могла гарантировать абсолютную конфиденциальность, способную устоять даже под пытками и гипнозом лихолетья образца 1859 года. По слухам, Гамалиил в своих (увы, уж не таких частых) заездах в Париж, король Виктор в его пока еще регулярных визитах на Кубу или Гекубу и, разумеется, вице-король Франции — здоровяк лорд Голь{97} в своих веселых рейдах по Канадии — даже они предпочитали действующую абсолютно исподтишка и, по сути, не без душка надежность службы СЛК тем официальным каналам, какими обычно пользуются сексуально озабоченные монархи, обманывая законных жен. Данный посланник назвался Джеймсом Джонсом{98}, именем стереотипным — решительное отсутствие иного толкования превращало его в идеальный псевдоним, если только имя не было настоящее. В зеркале встрепенулись, замахали, однако Ван счел разумным не спешить. Чтобы выиграть время (ибо, завидя Адин герб на протянутой карточке, понял, что придется решать, принять конверт или нет), он стал разглядывать похожий на червовый туз значок фирмы, который Дж. Дж. с понятной гордостью предъявил. Он предложил Вану вскрыть конверт, удостовериться в подлинности послания и расписаться в карточке, которая затем канула обратно в тайный карман или иное вместилище, скрытое в одежде или анатомии младого детектива. Нетерпеливые приветственные выкрики отца (обрядившегося ради полета во Францию в черный плащ, подбитый алым шелком) в конце концов заставили Вана прервать беседу с Джеймсом и сунуть в карман письмо (которое спустя несколько минут он прочел в туалете перед посадкой в самолет).

— Акции скакнули вверх! — сообщил Демон. — Победно завоевываем земли и прочее. Губернатор Америки, мой приятель Бессбородько, должен получить официальный пост в Бессарабии, а Армборо, губернатор Британии, будет править в Армении. Видел, как у автостоянки на тебе висла твоя графинька. Женишься на ней, лишу наследства. Такие нам в подметки не годятся.

— Через пару лет, — заметил Ван, — войду во владение собственными миллиончиками (имелось в виду наследство, оставленное ему Аквой). — Но вам, сэр, не стоит беспокоиться. Мы с ней расстались — пока, до очередного моего возвращения в ее гёрличью светлицу (канадийский жаргон).

Выставляясь своей прозорливостью, Демон требовал от Вана, чтоб признался, кто — сам он или его poule[328] — угодил в историю с полицией (кивая в сторону Джима или Джона, который, не раздав еще

всю корреспонденцию, сидел, просматривая статейку «Совокупление Бессармении с преступностью»).

— Poule, — ответил Ван односложно, с уклончивостью римского раввина, укрывающего Варавву.

— Почему в сером? — спросил Демон, кивая на Ванов сюртук. — К чему эта военная стрижка? Призываться уж поздно.

— Куда мне — призывная комиссия меня так или иначе завернет.

— Как рана?

— Komsi-komsa. По-моему, этот хирург из Калугано изрядно напортачил. Шов стал багров и мокнет без всякой причины, к тому же вспухло под мышкой. Придется еще прооперироваться — на сей раз в Лондоне, их мясники орудуют куда более ловко. Где тут у них местечко? Ах вот оно, вижу! Мило (на одной двери изображен корень горечавки, на другой — женский папоротник: что ж, освоим гербарий).

На ее письмо он не ответил, и недели через две Джон Джеймс, теперь в виде немецкого туриста — весь псевдотвидовый в клеточку, вручил Вану второе послание в Лувре, прямо у «Bâteau Ivre»[329] Босха, где шут пьет, пристроившись на вантах (бедный старина Дэн считал, что это полотно как-то связано с сатирической поэмой Бранта!{99}). Ответа не будет — хотя, и это бесхитростный посланник подчеркнул, стоимость отправки ответа, как и его обратный билет, входили в оплату услуги.

Шел снег, однако Джеймс, в порыве необъяснимого ухарства, обмахивался, как веером, третьим письмом на парадном крыльце Вановой cottage orné[330] на Ранта-Ривер близ Чуза, и Ван попросил его больше писем не приносить.

В последующие два года ему были вручены еще два письма, оба в Лондоне и оба в вестибюле отеля «Албания Палас», уже другим представителем СЛК, джентльменом в возрасте и в котелке, чей скорбно-бесцветный облик, по разумению тихого, предупредительного Джима, мог бы показаться мистеру Вану Вину предпочтительнее романской раскованности частного детектива. Шестое пришло обычным путем на Парк-Лейн. Содержание посланий (за исключением последнего, целиком посвященного Адиным успехам на сцене и на экране) приводится ниже. Ада даты игнорирует, однако их можно примерно установить.

[Лос-Анджелес, начало сентября, 1888 г.]

Ты должен извинить меня за весь этот шик, с которым письмо пошло (так по́шло), но более безопасного способа отправки я не придумала.

Когда я сказала, что говорить не могу, а напишу, это означало, что не могла так скоро подобрать нужных слов. Умоляю, прочти. Казалось тогда, никак не могу их отыскать и выговорить в нужном порядке. Умоляю, прочти. Казалось, одно неверное или неуместное слово, и все

пропало, ты просто повернешься, как ты и сделал, и уйдешь — опять, опять, опять.

Умоляю, хотя бы вздох [sic! Ред.] понимания! Но теперь вижу, надо было тогда рискнуть и высказаться, пусть косноязычно, так как ясно теперь: излить в письме свою душу и все, что свято, также чудовищно трудно — возможно, еще трудней, ведь когда говоришь, есть и в невнятности смысл, можно и во внезапной дубовости языка — точно рот, как у подстреленного зайца, изуродован дробью, кровоточит, — найти оправдание и что-то исправить; а на белоснежном, даже на голубовато-снежном фоне этой почтовой бумаги все погрешности ярко-красны и непоправимы. Умоляю, прочти.

В одном я должна признаться раз и навсегда, и это непреложно. Я любила, люблю и буду любить только тебя. Взываю к тебе и люблю, родной мой, с неиссякаемой болью и страстью. Ты тут стоял (you stayed here), вот в этом караван-сарае, один ты в центре сущего, навечно, и мне было, должно быть, семь или восемь, разве не так?

[Лос-Анджелес, середина сентября, 1888 г.]

Вот и второй мой глас, вопиющий из ада (out of Hades). Странно, в один и тот же день и из трех независимых источников я узнала о твоей дуэли в К.; о кончине П.; и о том, что ты восстанавливаешь силы у его кузины («наше вам», как мы с нею некогда говаривали). Позвонила ей, но она сказала, что ты улетел в Париж и что Р. также скончался — с подачи собственной жены, не с твоей, как я было подумала. Практически ни он, ни П. не были мои любовники, но теперь оба они на Терре, и это уже значения не имеет.

[Лос-Анджелес, 1889 г.]

Мы живем по-прежнему в пизангово[331]-розовой с желто-зеленым albergo[332], где ты однажды останавливался со своим отцом. Между прочим, он со мной ужасно любезен. Обожаю повсюду с ним ходить. Играли с ним в Неваде, городе, который со мной рифмуется, и еще ты есть в его названии, и легендарная река Старой Руси. Да! Напиши же мне, хоть маленькую записочку, я так стараюсь подластиться к тебе! Что ли еще предпринять несколько (отчаянных) попыток? Новый Маринин режиссер своим художественным видением определяет Бесконечность как самую дальнюю в объективе, но все еще четко фокусируемую точку. Марина получила роль глухой монашки Варвары (которая в чем-то самый интересный персонаж чеховских «Четырех сестер»). Верная заповеди Стана{100} о том, что образ раз от раза должен окунаться в повседневную действительность, Марина упорно работает над ролью в гостиничном ресторане, попивая чай вприкуску («biting sugar between

sips») и прикидываясь, будто не смыслит ничего и ни в чем — в стиле Варвары с ее странной манерой корчить из себя дурочку, — эта двойная путаница раздражает непосвященных, я же при этом почему-то явственно ощущаю себя Марининой дочкой, причем гораздо сильней, чем в эпоху Ардиса. Вообще она тут имеет шумный успех. Ей поднесли (боюсь, не вполне безвозмездно) отдельное бунгало в Юниверсал-Сити, поименованное «Марина Дурманова». Что касается меня, то я всего лишь случайная официантка в захудалом вестерне, вертипопка и плюхательщица пива по столам, но меня даже забавляет атмосфера этого Уссэ: обязательность искусства, серпантин горных дорог, меняющие вид улицы и неизменная площадь посреди, и розово-лиловый корабль на резном деревянном фасаде, и в полдень выстраивающаяся к стеклянной будке очередь из одних статистов в допотопных тогах, только мне звонить некому.

Впрочем, тут с Демоном как-то вечером смотрела поистине чудную орнитологическую фильму. Прежде мне было неведомо, что палеотропические птицы-нектарницы (полюбопытствуй в словаре) — «мимотипы» птичек колибри Нового Света, а все мои мысли, ах дорогой мой, мимотипы твоих! Я знаю, знаю! Знаю даже, что ты, дойдя до «неведомо», дальше читать не стал — верен себе.

[Калифорния? 1890 г.]

Я люблю только тебя, я счастлива только в мечтах о тебе, ты моя радость и моя вселенная, это так же осязаемо и реально, как чувствовать, что живешь, но… Ах нет, я не обвиняю тебя! — но, Ван, все-таки ты виноват (или виновата направлявшая тебя Судьба, ce qui revient au même[333]) в том, что пробудил во мне какое-то безумство, когда мы были всего лишь дети, страстное физическое желание, неутолимый зуд. Пламя, возбужденное трением твоих пальцев, оставило тлеющий след в самой ранимой, самой порочной, самой нежной сердцевине моего тела. Теперь за то, что ты ворошил слишком нетерпеливо, слишком жадно жаркие угли, приходится расплачиваться мне, так обуглившиеся головешки в ответе за сгоревшие поленья. Стоит мне лишиться твоих ласк, и я не в силах справиться с собой, для меня ничего не существует, кроме этого экстаза трения, неиссякающего ощущения твоего жала, твоего сладостного яда. Я не обвиняю тебя, но именно из-за тебя я так сильно подвластна и не могу противиться натиску чужого тела; потому-то наше общее прошлое и возбуждает рябь бесконечных измен. Ты волен назвать мою болезнь прогрессирующей эротоманией, что не исчерпывает сути, ведь существует простое средство от всех моих мук, чтоб превозмочь недуг, — оно из сока алого ариллуса, тиссовой плоти и высоты, и это все ты, ты! Je réalise[334], как выражалась твоя дражайшая Замарашка де Торф (ныне мадам Трофим Фартуков), что я стыдливая срамница. Но это все подводит к очень и очень важной мысли! Ван, je suis sur la verge[335] (снова Бланш!) отвратительного адюльтера. Ты мог бы немедля меня спасти. Найми самый быстрый, какой найдешь, летательный аппарат и лети прямо в Эль-Пасо, тебя там будет ждать, отчаянно маша

рукой, твоя Ада, и оттуда мы отправимся, драгоценный мой, моя агония, в заказанном мною отдельном купе экспресса «Новый Свет» далеко, на дымящийся наконечник Патагонии, на мыс Горн генерала Гранта, на виллу Верна. Пошли мне аэрограммой одно лишь слово по-русски — обрыв моего имени и мыслей.

[Аризона, лето 1890 г.]

Не более чем жалость, присущая всякой русской девице, бросила меня в объятия к Р. (кого музыкальная критика считает «открытием»). Он был уверен, что умрет молодым и, по сути, всегда был ходячий труп, и ни разу, клянусь тебе, не оказался на высоте, даже когда я открыто и без сопротивления предлагала ему свое сострадание, ведь, увы, я, до краев переполняемая живым томлением по Вану, уже подумывала, не купить ли себе за деньги услуги какого-нибудь грубого (чем грубей, тем слаще) мужика. Что же до П., то могла бы объяснить свою уступчивость его губам (сперва нежным и невинным, потом все более жадным, уверенным и под конец вкушавшим меня, переходя к моим губам, — этот порочный круг заскользил в начале Таргелиона{101} 1888 года) его заявлением, что, если перестану с ним встречаться, он немедленно выдаст мой роман с кузеном моей матери. Договорился до того, что имеет свидетелей, и это сестрица твоей Бланш и еще мальчик конюх, который, подозреваю, переодетая младшая из трех мамзелей де Торфэ, а все они ведьмы, — но хватит об этом. Быть может, Ван, я преувеличиваю роль подобных угроз, чтоб объяснить тебе свое поведение. Не стоило бы мне, естественно, упоминать, что произносились они в шутливой манере, едва ли подходящей настоящему шантажисту. Не стоило мне также и упоминать, что даже если он преуспел в найме неизвестных соглядатаев и стукачей, все это привело бы к подрыву его собственной репутации, лишь только раскрылись бы его намерения и действия, что неминуемо произошло бы в конечном ходе [sic! «счете» поехавших петель на синем ее чулке. — Ред.]. Словом, я могла бы скрыть, что понимаю: эти вульгарные шутки предназначались лишь для того, чтоб пощекотать нервишки твоей впечатлительной Ады — потому что, невзирая на свою вульгарность, П. обладал обостренным чувством чести, хоть это и могло показаться нам с тобой странным. Я бы ограничилась только тем, какое воздействие эта угроза произвела на ту, которая готова была на любой позор из страха малейшей тени разоблачения, ведь (и этого ни он, ни его осведомители, конечно, знать никак не могли) каким бы шоком ни отозвалась в добропорядочном семействе любовная связь между двоюродным братом и сестрой, страшно вообразить (и это знаем только мы с тобой), как Марина с Демоном повели бы себя в «нашем» случае. По ухабам и заносам в моем синтаксисе ты поймешь, что логически объяснить свое поведение я не могу. Не отрицаю, я испытывала странный трепет во время опасных любовных свиданий, которые дарила ему, как будто его грубая страсть притягивала к себе не только мое любопытство, но и против воли — мой разум. Однако могу поклясться, Ада может торжественно поклясться, что во время наших «лесных встреч» до и после твоего возвращения в Ардис я счастливо избегала если не извержения, то исступления — за

исключением одного неприятного случая, когда он, этот обезумевший мертвец, чуть не взял меня силой.

Пишу с ранчо «Марина» — неподалеку от того небольшого ущелья, где скончалась Аква, и в которое однажды, кажется, и я заползу. Теперь возвращаюсь на время в отель «Пизанг».

Приветствую прилежного слушателя!

Когда в 1940 году Ван извлек из сейфа в своем швейцарском банке тоненькую пачку из пяти писем, каждое в конвертике розовой папиросной бумаги «СЛК», он был изумлен, как их мало. Расползшееся прошлое, буйство неуемной памяти раздули их количество по крайней мере до полусотни. Ван вспомнил, что использовал в качестве тайника еще и письменный стол в своей студии на Парк-Лейн, однако там, он был уверен, хранилось только то невинное шестое письмо («Мечты о театре») 1891 года, которое сгинуло вместе с ее зашифрованными заметками (1884–1888 гг.) в 1919 г. при пожаре так и не восстановленного маленького палаццо. Молва приписывала сей яркий подвиг отцам города (трем бородатым старейшинам и ясноглазому молодчику мэру с невероятным количеством передних зубов), которые больше не могли сдержать страсти завладеть пространством, занимаемым крепким карликом меж двух алебастровых колоссов; ведь вместо того чтобы продать им, как ожидалось, запущенный пустырь, Ван насмешливо воздвиг там знаменитую Виллу Люсинда, миниатюрный музейчик всего в два этажа с постоянно пополняющейся коллекцией микрофильмированной живописи из всех государственных и частных галерей мира (не исключая и Татарии) — на первом этаже и с многочисленными, как соты, проекционными ячейками — на втором: такой вот аппетитненький крохотный мемориал из паросского мрамора, имевший внушительный штат, охраняемый тремя вооруженными до зубов молодцами и открытый для посещения только по понедельникам за символическую плату в один золотой доллар независимо от возраста или положения.

Без сомнения, такое своеобразное приумножение этих писем за давностью лет можно было бы объяснить тем, что каждое из них кидало на месяцы его жизни гнетущую тень, подобно тени лунного вулкана, сходившую на нет лишь тогда, когда уж накатывало не менее жалящим предчувствием новое послание. Однако спустя много лет, работая над своей «Тканью времени», Ван открыл в этом феномене еще одно доказательство связи реального времени именно с промежутком между событиями — не с их «ходом», не с их слиянием, не с покрытием ими разрыва, из глубины которого и проступает чистейшая и непостижимая ткань времени.

Он сказал себе, что будет тверд, что страдание примет молча. Тщеславие было удовлетворено: обреченный дуэлянт и в своей смерти все равно счастливей здравствующего противника до конца дней его. Не будем, однако, строго судить Вана за то, что не сумел сдержать свое слово, ведь нетрудно понять, почему седьмое письмо (переданное ему

его с Адой единоутробной сестрой в Кингстоне в 1892 г.) заставило его сдаться. Потому что он знал, что оно завершает цикл. Потому что пришло оно из кроваво-красных érable[336] кущ Ардиса. Потому что сакраментальное «четыре года» соответствовало первому периоду их разлуки. Потому что Люсетт оказалась, вопреки всякому здравому смыслу и желанию, безупречной заступницей.

2

Адины письма дышали, задыхались, жили; Вановы «Письма с Терры: философский роман», не содержали ни малейшего признака жизни.

(Неправда, прелестная, прелестная книжечка! Пометка Ады.)

Он написал ее, так сказать, непроизвольно, ни на йоту не помышляя о литературной славе. Да и выворотность вымышленного имени не льстила — как тогда, когда он плясал на руках. Хотя фраза «Чванливость Вана Вина» нередко вспыхивала в салонных пересудах дам меж взмахов веера, на сей раз могучие голубые крылья его тщеславия расправляться не спешили. Что же тогда подвигло его на сочинение романа вокруг темы, уже исчерпанной до предела всякими «Звездными крысами» и «Космическими асами»? Мы — кем бы «мы» ни были — могли бы расценить эту манию как внутреннюю готовность выразить посредством словесных образов некий сгусток определенных, необъяснимо взаимосвязанных странностей поведения, периодически наблюдаемых Ваном у душевнобольных с момента его появления в Чузе. Ван испытывал к психически больным страстный интерес, какой иные испытывают к паукам или к орхидеям.

Имелись веские основания ставить под сомнение технические подробности, используемые в изображении взаимосвязей между Террой Прекрасной и нашей зловещей Антитеррой. Вановы познания в области физики, механицизма и тому подобном не выходили за пределы чириканий на школьной доске. Он утешал себя мыслью, что ни один цензор ни в Америке, ни в Великобритании не пропустит ни малейшего намека на «месмерический» вздор. И преспокойно заимствовал все, что его величайшие предшественники (к примеру, Антикамушкин{102}) напридумали в смысле методов развития скорости управляемой капсулы, в том числе и меткую идею об увеличении под воздействием антикамушкинского типа промежуточной среды между сходными галактиками начальной скорости в несколько тысяч миль в час до нескольких триллионов световых лет в секунду, а потом благополучного затухания ее до плавного парашютного снижения. Разрабатывать заново путем нерациональных измышлений всю эту Сираниану, а также «физическую беллетристику» было бы не только скучно, но и бессмысленно, ведь никто и понятия не имел, где именно располагается Терра, а также и прочие неподдающиеся исчислению планеты с их домиками и коровами, как во внешнем, так и внутреннем пространстве:

«внутреннем», ибо почему не предположить их микрокосмическое существование в золотистых пузырьках «моэта», быстро-быстро взмывающих вверх в этом длинном, узком бокале, или же в корпускулах моего, Вана Вина –

(или моего, Ады Вин)

– тока крови, или же в гное чирея некого г-на Некто, вскрытого скальпелем в некотором Шейске. Больше того, хоть и наполняла библиотечные полки открытого доступа разнообразная и обширная справочная литература, все же оставались недоступными запрещенные, а то и сожженные книги трех космологов – Икстиньи, Игрекса и Зетова (псевдонимы), опрометчиво заварив всю эту кашу полвека назад, возбуждая и утверждая панику, психоз, а также гнусные романчики. Всех трех ученых теперь уж с нами нет: Икс покончил жизнь самоубийством; Игрека похитил человек из прачечной и переправил в Татарию, а Зет – румянощекий, с белыми бачками, бравый старец – доводил до умопомрачения своих тюремщиков в Якиме посредством каких-то нечеловеческих хрипов, беспрестанного изобретения разных симпатических чернил, хамелеонством, нейросигналами, спиралями исходящего света и мастерством чревовещания, воспроизводившим звук пистолетного выстрела и вой сирены.

Бедняга Ван! В своей борьбе за абсолютное отлучение создателя писем с Терры от образа Ады, он тратил столько румян и позолоты на Терезу, что под конец получил низкопробный шаблон. Эта самая Тереза свела с ума своими посланиями одного ученого на нашей легко впадающей в безумие планете; его анаграммовидное имя Сиг Лимэнски отчасти было произведено Ваном от имени последнего доктора Аквы. Когда же одержимость Лимэнски перешла в любовь, и кое-чьи симпатии сосредоточились на его очаровательной, печальной, обманутой половине (урожденной Антилии Глемс), перед нашим автором встала мучительная задача испепелить теперь в Антилии, брюнетке по природе, малейший след Ады – что и второго персонажа низвело до куклы с паклевыми кудряшками.

Направив Сигу сквозь пространство более десятка импульсов со своей планеты, Тереза летит к нему, и тому в своей лаборатории приходится помещать ее на стеклышко под мощным микроскопом, чтоб разглядеть крошечные, хотя по-своему совершенные, формы едва видимой возлюбленной, и грациозный микроорганизм тянется своими прозрачными отростками навстречу огромному влажному глазу. Увы, testibulus («пробирка» – не путать с testiculus, «орхидея») с плавающей внутри Терезой, этакой микрорусалкой, «случайно» выбрасывается Флорой, ассистенткой профессора Лимэна (к тому времени укоротившего имя), от рождения бледной как мрамор, темноволосой писаной красавицей, которую автор преобразил, и вовремя, в третьего пошлого манекена с блеклым пучочком.

(Впоследствии Антилия вернет себе мужа, Флору же выбросят за ненадобностью. Бравада Ады.)

На Терре Тереза вела кочующую жизнь корреспондента одного из американских журналов, что и дало Вану возможность изобразить

политическую сторону жизни родственной планеты. Эта сторона далась ему без особых хлопот, отразив, по сути, мозаику тщательно подобранных фрагментов из собственных описаний «трансцендентального бреда» его пациентов. Звуковоспроизведение было нечеткое, собственные имена часто искажались, беспорядочный численник перемешал порядок событий, однако в целом разноцветные точки все-таки составили некую геомантическую картинку. Уже ранние экспериментаторы предполагали, что наши исторические хроники запаздывают по мостам времени{103} примерно на полстолетия по сравнению с хрониками Терры, однако обгоняют кое-какие подводные ее течения. На момент нашей скорбной истории король Террийской Англии, очередной Георг (у кого было, надо полагать, не менее полудюжины предшественников с таким же именем), правил, или только что завершил правление, империей, которая была (с инородными пустотами и вкраплениями между Британскими островами и Южной Африкой) поразношерстней, чем крепко спаянная империя на нашей Антитерре. Особенно впечатляющий разрыв олицетворяла собой Западная Европа: еще с восемнадцатого столетия, когда доблестная бескровная революция сбросила с трона Капетингов и отразила атаки всех завоевателей, Террийская Франция расцвела под водительством двух императоров и ряда буржуазных президентов, последний из которых, Думерси, был внешне, пожалуй, куда импозантней милорда Голя, губернатора Люты! Восточнее, вместо Советнамурского Ханства с его жестоким ханом Сосо, простиралась сверх-Россия, охватывающая весь бассейн Волги и управляемая Суверенным Сообществом Совершенствующихся Республик (таким название до нас дошло), явившимся на смену царям, завоевателям Татарии и Трста. И наконец, немаловажное: Атаульф Грядущий, белокурый гигант в щеголеватом мундире, тайная страсть многих британских дворян, почетный капитан французской полиции, великодушный союзник Руси и Рима, по слухам, занялся преобразованием пряничной Германии в великое государство со скоростными шоссе, безупречной армией, духовыми оркестрами и модернизированными бараками для неудачников и их потомства.

Несомненно, многое из этих сведений, добытых нашими террапевтами (как прозывались коллеги Вана), отдает халтурой; но все же везде превалирующей темой звучит мотив светлой радости. Теперь целью романа стало предположить, что Терра шельмует, что не такой уж там везде рай, что, возможно, кое в чем человеческий рассудок и человеческая плоть подвергаются на этой родственной планете мучениям пострашней, чем на нашей, не в меру очерняемой Демонии. В своих первых письмах до отлета с Терры Тереза только и делает, что восхваляет тамошних правителей — особенно российских и германских. В последних же посланиях из космоса она признается, что переусердствовала в смысле благодати; что на самом деле стала орудием «космической пропаганды» — такое признание требует смелости, ведь агенты Терры могли умыкнуть Терезу обратно или уничтожить во время полета, если бы им удалось перехватить волну ее признаний, теперь в основном устремленную в одном, только в одном, направлении, и не спрашивайте Вана, как именно и почему это делалось. К несчастью, признаемся, не только механицизм, даже морализаторство едва ли могло назваться областью, где мог Ван блеснуть; развитие и шлифование мыслей, изложенных здесь походя в нескольких фразах, заняли бы у него сотни две страниц. Не надо забывать, что лет ему

было всего лишь двадцать; что он слишком много прочел и слишком мало открыл; и что яркие видения, возникшие перед глазами, едва он ощутил на террасе у Кордулы первые мучительные симптомы пробивающейся на свет книги, теперь теряли краски под натиском осмотрительности, как и те чудесные изделия, какие средневековые путешественники, вернувшись из Китая, не смели показывать венецианскому святоше или фламандскому обывателю.

Ван целых два месяца в Чузе переписывал начисто свои чудовищные каракули и затем строжайше редактировал рукопись, и вот, когда она наконец могла сойти за первый вариант, Ван ее отнес в мало кому известное агентство в Бедфорде, чтоб там распечатали на машинке в трех экземплярах. Потом снова черкал отпечатанное — уже на борту лайнера «Королева Джиневра» на обратном пути в Америку. И в Манхэттене пришлось дважды перебирать гранки, не только из-за массы новых изменений, но и по причине за предельности корректорских знаков Вана в правке.

«Письма с Терры», сочинение Вольтэманда, вышли в свет в 1891 году, в день, когда Вану исполнился двадцать один год, на титульном листе значились два несуществующих издательства: «Абенсераг», Манхэттен и «Зегрис», Лондон.

(Если бы мне попался экземпляр, я бы тотчас же узнала лапочку Шатобриана, а значит, и твою лапку.)

Его новый адвокат, г-н Громвель, чье воистину благозвучное цветочное имя даже как-то сочеталось с его невинным взглядом и белокурой бородкой, приходился племянником знаменитому Громбчевскому, который последние лет тридцать вел некоторые дела Демона с большим старанием и ловкостью. Громвель не менее бережно обходился с личным состоянием Вана; однако был не слишком сведущ в премудростях издательского дела, а Ван в этих вопросах был полный профан; он, к примеру, не подозревал, что «экземпляры для отзыва» следует рассылать редакторам различных периодических изданий или что за рекламу надо платить, а не ждать, что она внезапно материализуется во всей красе на центральной полосе между аналогичными завлекалками, рекламирующими «Бесов» мисс Лямур и «Белугу» мистера Герцогса.

Одна из сотрудниц г-на Громвеля, Гвен, за приличный гонорарчик была откомандирована не только развлекать Вана, но также распределить по манхэттенским магазинам половину тиража, тогда как ее бывший любовник в Англии был призван разместить вторую половину по лондонским книжным магазинам. То, что всякий, кто любезно продаст его книгу, не может взять себе те самые примерно десять долларов, что стоит производство книги, казалось Вану несправедливым и лишенным логики. И он чувствовал себя виноватым за все те хлопоты, которые, вне сомнения, обрушивались на малооплачиваемых, изможденных и бледных брюнеток с голыми ручками из книжных магазинов, которые старались завлечь угрюмых гомосеков его творением («Такой чудный романчик о жизни девушки по имени Терра!»), стоило ему узнать после тщательного изучения ведомости продаж, присланной в феврале 1892 г. его камарильей, что за год продано всего шесть экземпляров — два в Англии и четыре в Америке. Исходя из статистики, отзывов нечего было

и ожидать, да еще и при тех неординарных обстоятельствах, в которых обрабатывалась корреспонденция с бедной Терры. Как ни странно, две рецензии все-таки появились. Одна, подписанная «Первый Шут», появилась в «Эльсиноре», известном лондонском еженедельнике, втиснутой в обзор, озаглавленный из любви британских журналистов к дешевой игре слов «Terre à terre[337], 1891» и посвященный «Космическим романам» года, которые к тому времени уже стали мельчать. Рецензент надменно аттестовал вклад Вольтэманда как самый достойный в этой серии{104}, назвав произведение (с, увы, безошибочной прозорливостью) «роскошно приукрашенным, банальным, скучным и невнятным вымыслом при трех абсолютно выдающихся метафорах, тем более усугубляющих общую несостоятельность повествования».

Еще лишь один комплимент был высказан в адрес бедняги Вольтэманда в маленьком манхэттенском журнальчике («Бровь Гринич-Вилледжа») поэтом Максом Миспелем («миспель» — еще одно ботаническое наименование — по-немецки то же, что и английское «medlar»), сотрудником факультета германистики Университета Голуба. Герр Миспель, обожавший красоваться авторами, о которых писал, углядел в «Письмах с Терры» влияние Осберха{105} (испанца, создателя претенциозных сказок и мистико-аллегорических анекдотов, превозносимого верткими диссертантами), а также одного малоизвестного древнего араба, толкователя анаграмматических снов, Бена Сирина{106}, чье имя именно так переводится капитаном де Ру, как утверждает Бертон в своей обработке трактата Нефзави о наилучшем способе совокупления с толстухами или горбуньями («Благоуханный сад», изд. «Пантера», с. 187, экземпляр, подаренный девяностотрехлетнему барону Вану Вину его врачом профессором Лагоссом, любителем непристойностей). Критический обзор Миспеля завершался так: «Если г-н Вольтэманд (или Вольтиманд, или Мэндалатов), как мне и представляется, психиатр, то я, при всем восхищении его талантом, не завидую его пациентам».

Будучи приперта к стенке, Гвен, маленькая, толстенькая fille de joie[338] (по призванию, если не по профессии), настучала на нового своего обожателя, утверждая, будто умоляла его написать эту статейку, так как невыносимо было видеть «кривую улыбочку» Вана при осознании, что его так красиво и богато изданная книга встречена с таким удивительным равнодушием. Гвен также клялась, что Макс не только не подозревал, кто такой Вольтэманд на самом деле, но и романа Ванова не читал. Ван позабавился идеей вызвать на дуэль г-на Медлара (рассчитывая, что тот предпочтет драться на шпагах) на рассвете, в уединенный уголок Парка, центральная поляна которого видна с террасы пентхауса, где Ван дважды в неделю фехтовал с тренером-французом, не отказывая себе и по сей день в этой единственной, не считая прогулок верхом, физической разминке. Однако к его изумлению — и облегчению (ибо немного совестно было отстаивать свой романчик и хотелось поскорей его забыть, как и иному Вану, с нашим не связанному, мог бы опостылеть — выпади ему более долгая жизнь — его поры созревания сон об идеальных борделях) — Макс Мушмула («medlar», но по-русски) ответил на пробный письменный вызов Вана душевным заверением послать Вану очередную свою статью «Плевелы глушат цветы» («Мелвилл & Марвелл»).

Из всех этих прикосновений к Литературе Ван вынес лишь чувство вялой пустоты. Еще работая над книгой, он с болью в сердце осознал, как плохо знает свою планету, пытаясь между тем по воровато вырванным из чужой помутненной памяти кусочкам воссоздать планету иную. И решил по завершении своих медицинских исследований в Кингстоне (который считал более подходящим для себя заведением, чем старый добрый Чуз) предпринять длительные путешествия по Южной Америке, Африке, Индии. В возрасте пятнадцати лет (для Эрика Вина — самый расцвет) Ван с жадностью поэта изучил расписания трех знаменитых американских трансконтинентальных поездов, мечтая когда-нибудь куда-нибудь отправиться — и не один (ныне — один). Отправляясь из Манхэттена через Мефисто, Эль-Пасо, Мексиканск и Панамский тоннель, темно-красный экспресс «Новый Свет» прибывал в города Бразилиа и Уитч (иначе Ведьму, основателем которого явился один российский адмирал). Там экспресс разделялся на две части: восточную, устремлявшуюся дальше к Грантову мысу Горн, и западную, возвращавшуюся на север через Вальпараисо и Боготу. По нечетным дням сказочное путешествие начиналось в Юконске, двухколейный отрезок вел к атлантическому побережью, а по другому маршруту, минуя Калифорнию и Центральную Америку, поезд с ревом врывался в Уругвай. Темно-синий Африканский Экспресс начинал свой путь в Лондоне и приходил в Кейп тремя разными маршрутами — через Нигеро, Родозию или Эфиопию. И, наконец, Коричневый Восточный Экспресс соединял Лондон с Цейлоном и Сиднеем, минуя Турцию и проходя через несколько Туннелей. И, погружаясь в сон, пассажир силится понять, почему все континенты, кроме ево, начинаются с А.

Все три великолепных состава включали по меньшей мере по два вагона, где привереда путешественник мог бы заполучить спальное купе с ванной и ватерклозетом, а также гостиную с роялем или арфой. Длительность путешествия определялась настроением Вана; в возрасте Эрика, например, он грезил постоянной сменой пейзажей, проносящихся мимо его уютного, такого уютного, кресла. Сквозь влажные леса, через горные каньоны и другие восхитительные дали (Ах, назови их! Не могу… смежаются веки) медленно, не быстрее пятнадцати миль в час, плывет наша комната, но по степным просторам и монотону полей резвей, семьдесят, десятью семь, восемьсон, девятьсон, ять, он…

3

Весною 1869 года Дэвид ван Вин, преуспевающий архитектор фламандского происхождения (никоим образом не связанный родством с Винами из нашего бессвязного романа), нисколько не пострадал, когда на обледенелом шоссе у легкового автомобиля, на котором он ехал из Канн в Кале, лопнула передняя покрышка и тот врезался в стоявший у обочины грузовик, перевозчик мебели; сидевшая рядом дочь скончалась на месте — переломило шею рухнувшим сзади чемоданом. Ее муж, психически нестойкий художник-неудачник (десятью годами старше

своего тестя, которого презирал и кому завидовал), получив из нормандского селения со зловещим названием Deuil[339] телеграмму с печальным известием, застрелился у себя в лондонской мастерской.

Инерция несчастий лишь набирала обороты, поскольку и Эрик, отрок пятнадцати лет, невзирая на всю любовь и заботу, которой окружил его дед, не смог избежать престранной участи, удивительно сходной с участью его матери.

После своего перевода из Нота в маленькую частную школу в кантоне Во, а также спровоцировавших чахотку летних каникул в Приморских Альпах, Эрик был отправлен в Экс-ан-Вале, чистейший воздух которого, как считалось тогда, способствует укреплению юных легких; однако там разразился мощнейший ураган и прямо на голову мальчику роковым образом грянула с крыши черепица, размозжив ему череп. Среди вещей внука Дэвид ван Вин обнаружил немного стихов и набросок эссе «Вилла Венера: воплощение мечты».

Говоря без обиняков, то было стремление отрока пригасить свои ранние плотские муки идеей и детальной разработкой проекта (возникшего в результате чтения не в меру многочисленных эротических трудов, обнаруженных в доме, который дед вместе с обстановкой купил ему вблизи Венеции у графа Толстого, то ли русского, то ли поляка): так вот, задумывалась целая цепь борделей дворцового типа, которую наследство позволило бы разбросать повсюду «в обоих полушариях нашего венеро-каллипигийского глобуса»{107}. Юный мечтатель представлял себе каждое заведение в виде модного клуба с филиалами — «любоцветами», как он поэтически их поименовал, располагавшимися по соседству с большими городами, а также курортами. Членами могли быть исключительно дворяне, «красивые и обеспеченные» люди в возрасте не свыше пятидесяти (что, надо признать, со стороны бедного мальчика было весьма великодушно), ежегодный членский взнос составлял 3650 гиней, не считая стоимости цветов, ювелирных изделий и прочих галантных подношений. Женский медицинский персонал заведений, состоящий из хорошеньких молоденьких девиц («типа американских секретарш или медсестер зубоврачебных клиник») проверял бы физическое состояние «ласкающих и ласкаемых» (еще одна терминологическая находка), а также при необходимости и собственное. Один из пунктов «Правил Клуба» как бы намекал, что Эрик, будучи отчаянным гетеросексуалом, ловил-таки порой удовольствие от нежных ersatz-пощупываний одноклассников в Ноте (школы тем, кстати, печально и известной): по крайней мере двое из пятидесяти, максимального состава главных «любоцветов», непременно были хорошенькие мальчики в налобных повязках, в коротких блузах, блондины — не старше пятнадцати, брюнеты — не старше двенадцати лет. Однако, дабы исключить регулярный приток «закоренелых педерастов», пресытившийся клиент мог бы побаловаться мальчиком для утех только меж двух циклов, по три девочки каждый, и на все выделялась только одна неделя — оговорка несколько комичная, хотя и не лишенная смысла.

Набор в каждый «любоцвет» должен был производиться Комиссией Членов Клуба, которая бы принимала во внимание ежегодный учет отзывов и поступлений, заносимых клиентами в специальную Перламутрово-Розовую

Книгу. «Красота и чуткость, благосклонность и уступчивость» — вот качества, которые требовались от «стройных нордических куколок» в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти и «знойных чаровниц-южанок» от десяти до двадцати лет. Они, всегда нагие и всегда готовые любить, резвились бы и нежились в «будуарах и зимних садах»; что никак не относилось бы к прислуге, к служанкам — девицам более или менее экзотического происхождения в привлекательных платьицах, «недоступным для вожделения клиентов, а если да — то лишь с санкции Правления». Мой любимый пункт (ибо я имею фотостат образчика каллиграфии бедного Эрика) такой: всякая девица могла бы в свой менструальный период единодушно избираться Управительницей своего любоцвета. (Понятно, что эта идея не сработала, и комиссии пришлось идти на компромисс и ставить во главе коллектива лесбиянку приятной наружности, укрепляя власть вышибалой, необходимость которого Эрик не учел.)

Эксцентричный поступок — великое средство от великой скорби. Дед нашего мальчика немедленно принялся воплощать в кирпиче и камне, бетоне и мраморе, во плоти и в ее утехах фантазии Эрика. И постановил в последнем отстроенном доме стать первым дегустатором первой же гурии, которую наймет, а до того обречь себя на трудовое воздержание.

Должно быть, выглядело это до трогательности впечатляюще: пожилой, но все еще полный сил голландец, белый как лунь, с морщинистой крокодильей физиономией корпит при содействии дизайнеров-авангардистов над проектами тысячи и одного любоцвета-мемориала, которые он решил насадить по всему свету — быть может, даже и в дикой Татарии, которой, по его убеждению, управляли сперва «обамериканившиеся евреи», но в конце концов «Искусство искупило грехи Политики», и это глубоко оригинальное суждение можно бы и простить нашему любящему старику. Он начал с английской глубинки и с американского побережья и увлекся сооружением в духе Роберта Адама{108} (безжалостно прозванного местными остряками «Адам-ДомВамДам, Мадам») неподалеку от Ньюпорта, на острове Родос, в несколько старомодном стиле: с мраморными колоннами, выуженными из древнегреческих морей и все еще хранившими вкрапление раковин Этрурии, — как вдруг внезапно, помогая поддержать пропилон, скончался от удара. А ведь строился всего лишь сотый из домов!

Его племянник и наследник, честный, но крайне консервативный торговец текстилем из Руинена (это, как говорят, где-то рядом с Цволле) при многочисленном семействе и малом обороте не позволил лишить себя миллионов гульденов, по поводу явного разбазаривания которых вот уже лет десять как консультировался со всякими психиатрами. Все сто любоцветов открылись одновременно 20 сентября 1875 года (и по сладкому совпадению старорусское наименование сентября «рюен», что можно произнести и как «руин», перекликалось с названием родного городка нашего впавшего в экстаз Провинциала). К началу нового столетия Венерины доходы продолжали прибывать (по правде говоря, то был уже последний приток). Году примерно в 1890-м одна болтливая газетенка сообщила, что из чувства благодарности и также из любопытства «мануфактурный» Вин всего один раз — и не более того — совершил со всем семейством поездку в ближайший любоцвет — и

еще в ней говорилось, что Гийом де Мопарнас с негодованием отвергла предложение из Голливуда написать сценарий, посвященный этому важному и знаменательному событию. Что, несомненно, чистый вымысел.

Размах Эрикова деда оказался широк — от дебилизма до дадаизма, от Низкой Готики до Хох-модерна[340]. Воссоздавая свой рай, он даже позволял себе, хоть изредка, выразить прямолинейный хаос кубизма (с «абстракцией», отлитой в «бетоне»), копируя — в том смысле, что так прекрасно описан в карманном издании «Истории английской архитектуры» Валнера, подаренном мне любезным д-ром Лагоссом, — такие сверхутилитарные кирпичные коробки, как maisons closes[341] Эль Фройда из Любеткина, Австрия, или же дома первейшей необходимости Дюдока в Хладляндии.

Однако в целом дед склонялся прежде всего к идиллическому романтизму. Не лишенные вкуса английские джентльмены находили немало прелестей в Приюте Желаний, достойном сельском доме со стенами, оштукатуренными до крыши, или Шато Вальсинор с его персивидным дымоходом и крутобедрой мансардой. Нельзя было не восхититься остроумием Дэвида ван Вина, преобразившего новейший особняк в стиле английского ампира в благоустроенный дом фермерского типа или заново смонтировав монастырь на удаленном островке столь причудливо, что невозможно было отличить мавританский стиль от ватиканского, страсти от снасти, язвы от вяза. Незабываемо прелестно было Гнездышко близ Бравадчестера или у Квазиубани в прелестной глухомани к югу от виадука сказочной Палермонтовии. Мы высоко оценили способность ван Вина смешивать сельскую тривиальность (шато в хороводе каштанов; замок под стражей кипарисов) с особым внутренним убранством, возбуждавшим оргии, что отразилось в потолочных зеркалах эрогенетично юного Эрика. Наиболее эффективным функциональным моментом явилась естественная защита, которую архитектор поистине выкристаллизовал из окружающего ландшафта. Гнездилась ли «Вилла Венера» средь лесов, была ли окружена необъятным парком или выходила фасадом на нисходящие каскадом рощи и сады, подъезд к ней начинался с поворота на частное шоссе и продолжался лабиринтом оград и стен с неприметными дверями, ключи от которых имели лишь клиенты да охрана. Хитроумно размещенные прожекторы прослеживали путь идальго под маской и в плаще сквозь темные лабиринты зарослей; ибо одно из условий, придуманных Эриком, было таково: «каждое заведение должно открываться исключительно в полночь и закрываться с рассветом». Система звонков, которую, возможно, Эрик целиком изобрел сам (на самом деле столь же стара, как bautta[342] и вышибала), предохраняла клиентов от столкновения друг с другом в доме, потому не имело значения, сколько почтенных гостей ожидает или прелюбодействует в той или иной части любоцвета, каждый считал, что он единый шах на весь сераль, так как вышибала, тихий и вежливый человек, смахивавший на администратора манхэттенского универмага, разумеется, в счет не шел: он появлялся, если возникала задержка с выяснением личности или с кредитной карточкой, но редко был вынужден применять грубую силу или призывать помощника.

Согласно плану Эрика, Дворянские Советы Старейшин занимались отбором девочек. Изящная форма пальчиков, отменные зубы, безупречная кожа, не знавшие краски волосы, безукоризненные попки и грудки и живая

неистовость жадного сладострастия были непререкаемыми требованиями, провозглашенными вслед за Эриком и Старейшинами. Непорочность допускалась лишь у самых юных. И напротив, не принимались когда-либо (пусть даже в нежном возрасте) рожавшие, сколь бы ни были девственны их соски.

Социальное происхождение не оговаривалось, однако Комиссии, изначально и гипотетически, стремились набирать девочек из более или менее благородных семей. В целом дочери художников казались предпочтительней дочерей ремесленников. Совершенно неожиданно заметную часть составили дочери приниженных лордов из промозглых замков, а также обнищавших баронесс из обшарпанных гостиниц. В списке из примерно двух тысяч особ женского пола на 1 января 1890 г. (величайший год в анналах Виллы Венера), обслуживающих имеющиеся любоцветы, я насчитал не менее двадцати двух, напрямую связанных с королевскими домами Европы, хотя по крайней мере четверть всех девиц имела плебейское происхождение. Благодаря хорошей встряске генетического калейдоскопа или чисто шулерской удаче, а то и вообще без всякой причины дочери крестьян, лоточников и водопроводчиков оказывались зачастую изысканней, чем их средне-среднеклассные или высоко-высококлассные товарки, явление любопытное, которое подфартит моим читателям не из благородных, как и то, что служанки «при» восточных чаровницах (прислуживавшие при разнообразных ритуалах клиенту с его ненаглядными посредством серебряных тазиков, расшитых полотенец и неотразимых улыбок) нередко спускались с увенчанных гербом высокотитулованных высот.

Отец Демона (как вскоре и сам Демон), а также лорд Ласкин, и г-н Ритков, и граф Питер де Прэ, и Мир де Мир, эсквайр, и барон Адзуроскудо — все были членами первого Совета Клуба Венеры; но именно визиты стеснительного, тучного, крупноносого г-на Риткова бурно возбуждали девочек, наводняя окрестности детективами, по долгу службы перевоплощавшимися в садовников, конюхов, лошадей, рослых молочниц, новые изваяния, старых пьянчуг и тому подобное, пока Их Величество в кресле особого образца, соразмерном его габаритам и прихотям, развлекался с той или иной жемчужинкой местного царства, блондиночкой, брюнеточкой или шатеночкой.

Поскольку первый любоцвет, который я посетил, едва став членом Клуба Вилла Венера (незадолго перед вторым моим летом с Адой средь ардисовских кущ), теперь, претерпев немало житейских злоключений, стал загородной виллой одного весьма мной уважаемого чузийского дона и его милейшего семейства (очаровательной супруги и прелестных двенадцатилетних дочек-тройняшек по имени Ала, Лола́ и Лалага — особенно хороша Лалага), не стану называть, где это, — хотя дражайшая моя читательница уверяет, что я таки упоминал этот дом несколько выше.

С шестнадцати лет я уж был частым посетителем борделей, но хотя иные из самых лучших, в особенности те, что во Франции и в Ирландии, обозначались тройным красным значком в путеводителе Нагга, ничто в них не могло сравниться с роскошью и блаженством, испытанными мною на первой моей Вилле Венера. Разница как между раем и сараем.

Три матроны-египтянки, послушно державшиеся в профиль (удлиненный эбеновый глаз, очаровательный вздернутый носик, заплетенная в косы черная грива, медово-золотистая фараонова тога, африканские браслеты, рассеченная прядью конского волоса серьга из дутого золота, индейская повязка вкруг лба, на груди накладка с орнаментом), любовно заимствованные Эриком Вином с репродукции какой-то фивейской фрески (несомненно, крайней банальщины для 1420 г. до н. э.), отпечатанной в Германии (Künstlerpostcarte[343] № 6034, по утверждению циничного д-ра Лагосса), с помощью методики, которую томящийся Эрик именовал «изощренным воздействием рук на некоторые нервные центры, местонахождение и скрытая сила которых известны лишь немногим сексологам древности», сопровождаемой не менее изощренным втиранием некоторых мазей, не слишком явно упомянутых в порноанналах Эриковой «Ориенталии», подготовили меня для священного приятия юной девственницы из ирландского королевского рода, как было наказано Эрику в последнем его сне в швейцарском Эксе неким магистром скорее похоронных, нежели похотливых дел.

Все эти приготовления текли в непрерывной, такой невыносимо сладостной размеренности, что и Эрику, испускавшему дух в своем сне, и Вану в гадкой яви на кушетке в стиле рококо (в трех милях от Бедфорда) казалось совершенно непостижимым, как умудряются три эти молодые особы, внезапно оказавшиеся без одежд (известный дрёмоэротический эффект), так растягивать предвосхищение, невыразимо долго удерживая клиента на самой грани разрешения. Я распростерся недвижим, чувствуя, как делаюсь вдвое длинней (дебри бреда — в науке аукнется!), когда шестерка нежных ручек попыталась пристроить la gosse[344], дрожащую Ададу, на устрашающего вида член. Дурацкая жалость — чувство, которое мне редко присуще, но желание тут же спало, я велел унести ее и щедро потчевать пирожными с персиками и сливками. Египтянки были явно разочарованы, но довольно скоро воспряли духом. Я востребовал всех двадцать обитательниц этого гарема (включая прелестницу с манящими губками и гладеньким подбородочком) пред свои вновь алчущие очи. После тщательного осмотра, долго лаская взглядом ляжки и шеи, я выбрал наконец златовласку Гретхен, бледную андалузку и черную красотку из Нового Орлеана. Служанки набросились на них, как пантеры, и, отглянцевав не без лесбийского сладострастия, направили всех трех несколько приунывших граций ко мне. Полотенце, протянутое мне, чтоб утереть пот, покрывший лицо и склеивавший веки, могло быть и почище. Я прикрикнул на них, заставил, черт побери, рвануть настежь плохо прикрытую створку окна. Грузовичок застрял в грязи посреди забытой, недостроенной дороги, рев мотора и тщетность потуг тонули в загадочном мраке. Лишь одна из девочек задела меня за живое, но я мрачно и неторопливо обрабатывал каждую, «переходя от губ к губам посреди потока» (как советовал Эрик), но неизменно кончал, лишь слившись с жаркой андалузкой, сообщившей мне при расставании после прощальной встряски (хотя неэротическое общение было вопреки правилам), что ее отец проектировал бассейн в поместье кузена Демона Вина.

Потом все кончилось. Грузовичок уехал или затонул, и Эрик лежал скелетом в самом фешенебельном уголке кладбища в городке Экс («В конечном счете все кладбища становятся „экс“ — как заметил один

веселый священник-„протестант“»), где-то между неизвестным альпинистом и моим мертворожденным двойником.

Черри, юный шропширец лет одиннадцати-двенадцати, единственный мальчик в очередном нашем (американском) любоцвете, имел внешность такую забавную — рыжий, курчавый, с мечтательным взором и тугими, как у эльфа, щечками, — что две изысканно спортивного стиля куртизанки, развлекавшие Вана, убедили его в одну из ночей попробовать мальчугана. Их объединенные усилия, однако, не сумели возбудить прелестного содержанца, утомившегося от недавних многочисленных востребований. Его девичья попка оказалась до плачевности обезображена и вся цвела от захватов грубыми клешнями и щипков; но хуже всего было то, что отрок не мог сдержать острейшего расстройства пищеварения, явившегося, несомненно, результатом чрезмерного увлечения незрелыми яблоками и отмеченного пренеприятными дизентерийными симптомами, отчего поршень любовника окрашивался в горчичный цвет вперемешку с кровью. В конце концов мальчика пришлось то ли пристрелить, то ли куда-то деть.

Собственно говоря, пополнение мальчиками следовало прекратить. Знаменитый французский любоцвет так и не воспрял после того, как граф Лангбурнский застал своего выкраденного сынка, зеленоглазого, хиленького фавненочка, в момент осмотра неким ветеринаром, коего граф тут же по ошибке и пристрелил.

В 1905 году Виллу Венеру постиг удар по касательной и совсем с другой стороны. Персонаж, которого мы назвали Ритков, или Вротик, вынужден был по старости и немощи прекратить свое покровительство заведению. Однако как-то раз ночью внезапно он заявился туда, свеж, точно пресловутый огурчик; но после того как весь персонал его любимого любоцвета в окрестностях Бата без устали тщетно трудился над ним до тех пор, пока не взошел на привычном, как будни молочника, небе ироничный Геспер{109}, посрамленный властелин половины земного шара запросил Перламутрово-Розовую Книгу и записал в ней фразу, что некогда изрек Сенека:

subsidunt montes et juga celsa ruunt[345],

и, рыдая, удалился. Примерно в то же время одна почтенная лесбиянка, заправлявшая Виллой Венерой в Сувенире, восхитительном Миссурийском курорте, собственными руками (а она была российской чемпионкой в тяжелом весе) задушила двух своих самых красивых и наиболее ценных подопечных. Все это было довольно-таки грустно.

Едва лишь начавшись, вырождение клуба развивалось до удивления стремительно и по нескольким автономным направлениям. Оказалось, что девушки с безупречным происхождением разыскиваются полицией и что они либо любовницы бандитов с квадратными подбородками, либо сами преступницы. Врачи-взяточники допускали к службе крашеных блондинок, нарожавших уже с полдюжины детей, и сами уж были не прочь открыть где-нибудь в глуши свой собственный любоцветик. Талантливейшие косметички омолаживали сорокалетних матрон до такой степени, что ни

по виду, ни по запаху их было не отличить от школьниц, едва вступающих в жизнь. Джентльмены знатного происхождения, кристально честные мировые судьи, кроткие ученые мужи на поверку оказались так резво охочими к совокуплению, что иных их малолетних жертв пришлось госпитализировать и затем переместить в обычный публичный дом. Неизвестные покровители куртизанок подкупали медицинских инспекторов, а Раджа Кашу (самозванец) подхватил венерическую болезнь от праправнучки императрицы Жозефины (подлинной). Одновременно и экономические напасти (оставшись вне финансового или мировоззренческого кругозора Вана с Демоном, однако задев многих из их круга) начали ограничивать эстетические возможности Виллы Венера. Выскакивали из розовых кустов, размахивая яркими журнальчиками, омерзительные сутенеры с услужливой ухмылочкой, обнажавшей дырки между гнилыми зубами, начались пожары и землетрясения, и совершенно неожиданно из сотни уникальных палаццо осталась всего лишь дюжина, да и те вскоре скатились до уровня дешевого борделя, так что к 1910 году все останки с английского кладбища в Эксе пришлось свезти в одну общую могилу.

Ван никогда не сожалел о последнем визите на последнюю Виллу Венеру. Свеча, противно оплавившись кочаном цветной капусты, мерцала в жестяном подсвечнике на подоконнике рядом с похожей на завернутую гитару охапкой длинных роз в бумаге, которым никто не удосужился или не смог подыскать вазу. На кровати, несколько поодаль, согнув ногу в колене и рукой почесывая буревшую промежность, лежала и курила беременная женщина, глядя вверх на дым, вливавшийся в тени на потолке. Вдали за ее спиной и за раскрытой настежь дверью виделось то, что можно было бы принять за залитую лунным светом галерею, но на самом деле то была заброшенная, полуразрушенная, просторная приемная зала с трещиной в наружной стене, зигзагообразными проломами в полу и с черным, застывшим как привидение, раскрытым роялем, который будто сам по себе издавал в ночи струнами призрачные глиссандо. Сквозь огромный пролом в кирпичной, оштукатуренной, отделанной мрамором стене открывшееся море, не видимое, но слышимое, как томящееся, отделенное от времени пространство, уныло шумело, уныло оттаскивало свой улов гальки, и, принося эти шершавые звуки, вялые порывы ветра накатывали в комнаты, не замкнутые стенами, всколыхивая тень на потолке над женщиной, облачко пыльных хлопьев, медленно оседавших на ее бледный живот, и даже отблеск свечки в треснутой раме голубоватой створки окна. Под ним, на трущей спину кушетке, полулежал Ван, задумчиво что-то выговаривая, задумчиво лаская прелестную головку у себя на груди тонувшей в потоке своих черных волос младшей сестрички или кузинки гнусной Флоринды со смятой постели. Дитя замерло, прикрыв глаза, и каждый раз, когда он целовал влажные выпуклые веки, ритмичное дыхание ее незрячих грудок прерывалось или останавливалось вовсе, потом возобновлялось снова.

Его мучила жажда, но шампанское, которое он купил вместе с этими чуть шуршащими розами, стояло неоткупоренным, а ему не хотелось отнимать милую шелковистую головку от груди, чтобы взяться за грозившую пальнуть бутылку. В эти последние десять дней он нежил и осквернял дитя многократно, хотя не мог точно сказать, действительно ли ее зовут Адора, как утверждали все, — она сама, другая девица и еще одна, третья (служанка, княжна Качурина), которая, словно

родившись в своем линялом купальнике, так и не снимала его ни разу и, несомненно, в нем и умрет, даже не дождавшись своего совершеннолетия или же первой по-настоящему холодной зимы — на том самом пляжном лежаке, на котором постанывает сейчас под наркотическим дурманом. Но если девочку и впрямь зовут Адорой, кто же она такая? — не румынка, не далматинка, не сицилианка, не ирландка, хотя легкий акцент в ее почти родном английском таил в себе некий зародыш плутовства. Сколько ей, одиннадцать или четырнадцать, а может, и все пятнадцать? И впрямь ли родилась в этот день — двадцать первого июля, в тысяча девятьсот четвертом, или восьмом, или даже еще позднее, на скалистом средиземноморском острове?

Где-то далеко-далеко церковные часы, слышимые только в ночи, пробили два раза, добавив четвертинку.

«Smorchiama la secandela[346]», — буркнула с кровати сводня на местном диалекте, который Ван понимал лучше, чем итальянский. Дитя в его объятиях встрепенулось, и он накинул на нее свой оперный плащ. В источавшей мерзкий сальный дух темноте блеклый отблеск луны застыл на каменном полу рядом с его навсегда сброшенной полумаской и ногой в бальной лакированной туфле. То не был Ардис, то не была библиотека, то не была даже людская, то был просто жалкий приют, где спал вышибала, после возвращаясь к обязанностям тренера по регби в частной средней школе где-то в Англии. Огромный рояль уже в ином пустом зале, казалось, играет сам по себе, хотя на самом деле по струнам бегали крысы, чтоб подобрать что-то съедобное после горничной, тщившейся музицировать, когда первый привычно острый укол пораженной раком матки поднимал ее с постели на рассвете. Разрушенная Вилла уже не походила больше на «воплощенную мечту» Эрика, но нежное маленькое создание, которую Ван в отчаянии сжимал в объятиях, была Ада.

4

Что такое сны? Произвольная последовательность картин, тривиальных и трагичных, живых и статичных, придуманных и известных, отражающих более или менее вероятные при обилии гротескных подробностей события и меняющих состав умерших персонажей в новых декорациях.

Оценивая более или менее памятные сны, являвшиеся мне в последние девять десятков лет, могу разбить их тематически на несколько категорий, две из которых по своей сновидческой отчетливости превосходят остальные. Я имею в виду сны профессиональные и сны эротические. От двадцати до тридцати я видел и те и другие примерно с равной частотой; и те и другие предворялись аналогичными явлениями, бессонницами, вызванными либо десятичасовым разливом сочинительства, либо воспоминаниями об Ардисе, оживавшими с безумной

силой при любой жизненной неурядице. После работы я посягал на могущество мозговой инерции: немыслимо было остановить часами тьмы и терзаний поток творчества, напор фразы, требующей отделки, и пусть в своих усилиях я добивался какого-то успеха, поток все продолжал бурлить и бурлить за стенкой, даже если я отключался, прибегнув к самогипнозу (ни усилием воли, ни глотанием пилюли сон вызвать не удавалось), сосредоточиваясь на ином образе или иных мыслях, только не на Ардисе, не на Аде, что означало бы грянуть в водопад еще более мучительного бодрствования, полного ярости и досады, желания и отчаяния, затягивавших в омут, в котором, измотавшись до изнеможения, я наконец и засыпал.

В профессиональных снах, которые особенно изводили меня, когда я работал над первым романом, в которых я презренно взывал к некой чахоточной музе («коленопреклонен, заламывая руки», как какой-нибудь диккенсовский Мармелад в потертых брючонках перед своей Мармеладушкой), мне могло привидеться, скажем, будто вношу правку в верстку, а книга будто бы (непостижимое «будто бы» наших снов!) уже вышла, была и «вся вышла», мне протягивает ее чья-то рука из мусорной корзины в ее законченном и в ужасающе «конченном» виде, с опечатками на каждой странице, скажем, ехидное «бабушка» вместо «бабочка» или неуместное «многоатомный» вместо «многотомный». Или: я спешу на собственную лекцию — и меня бесит, что преграждает путь столько машин, столько людей, как вдруг с внезапным облегчением я понимаю, ведь мне всего-навсего надо вычеркнуть в рукописи «запруженные улицы». Сны, которые я бы назвал «небоскопы» (не «небоскребы», как, вероятно, запишут две трети студентов), это некая разновидность моих профессиональных видений, или то, что можно рассматривать как вводную к ним часть, ведь именно на заре моего возмужания буквально ночи не проходило, чтобы какое-то давнее или свежее впечатление дня не обретало нежную глубокую связь с моим застывшим в немоте даром (ведь и он, и я «ван», что созвучно и на слух, и по смыслу единости английского «one» в более утопленном, менее двугубном русском выговоре Марины). Присутствие, или предвещание, творческого импульса в такого рода снах являлось мне в образе хмурых небес, покрытых облаками с многослойной подпушкой: недвижных, но светлеющих надеждой; безнадежных, но разжижающих сумрачность, обнажая живописными пятнами небесные просветы, и вот уж затуманенное солнечное сияние пробивается сквозь самый тонкий слой, но вмиг скрывается под напором облаков, так как я не был готов еще.

К профессиональным и творческим снам примыкают сны «о мраке и крахе»: кошмары-знамения; катаклизмы и катастрофы, зловещие загадки. Опасность нередко слишком скрыта от нас, и чистая случайность, если ее не пропустить, а потом о ней вспомнить, может вдруг обрести всю прелесть предвидения, что Данн{110} объяснял работой «обратной памяти»; но мне не хотелось бы сейчас распространяться о присущем снам моменте сверхъестественности, замечу только, что, если некий закон логики и установит число совпадений в определенной области, они перестанут быть совпадениями и вместо этого образуют живой организм новой истины («Скажите, — спрашивает Осберхова цыганочка мавров Эль Мотелу и Рамеру, — сколько всего на теле должно быть волосков, чтоб можно было назвать его волосатым?»).

В промежутке между «мраком и крахом» и до боли чувственными снами я бы поставил «сплавы» эротической нежности и пронзительного очарования, случайные frôlements[347] молодых незнакомок во время непонятных сборищ, призыв или покорность в полуулыбке — этом предвозвестнике или отголоске снов, полных терзающих раскаяний, в которых отплывает в немом укоре и тает перед глазами вереница Ад; и слезы, горше тех, что проливал я наяву, накатывают и жгут бедного Вана, и еще долго-долго будут возникать в памяти внезапно и необъяснимо.

Сексуальные сны Вана неловко описывать в семейной хронике, которую, возможно, прочтет самый желторотый потомок после смерти самого зажившегося предка. Достаточно привести два образчика, смягчив что возможно. В причудливой композиции тематически связанных воспоминаний и автоматически являвшихся снов, Аква в образе Марины или Марина, загримированная под Акву, является Вану, радостно его извещая, что Ада только что разрешилась девочкой, которую он уж готов чувственно познать на жесткой садовой скамье, тогда как под сосною рядом отец или мать его во фраке пытается дозвониться по трансатлантическому телефону, чтоб немедленно выслали из Венеции скорую помощь. Другой сон, повторявшийся в своей изначальной, не запомнившейся версии с 1888 года и вплоть до нынешнего столетия, имел в основе своей тройной и в некотором смысле лесбийский подтекст. Падшая Ада и любострастная Люсетт находят зрелый, очень зрелый початок индейской кукурузы. Ада держит его, как губную гармошку, губной орган, и вот уж это не орган, а о́рган, и она водит по нему полураскрытыми губами, полирует стержень, и, когда он под ее губами начинает вздрагивать, постанывая, Люсетт ртом подхватывает в себя его исход. Прелестные юные лица сестер алчно сближаются, затевая в раздумчивой печали медленную, даже ленивую, игру: вспыхивая огнем, тянутся друг к другу, утягиваются назад языки, растрепанные бронзово-рыжие и бронзово-вороные волосы восхитительно перепутываются, высоко вздымаются ладные задики — сестры жадно утоляют жажду из лужи его крови.

Хочу кое-что заметить по поводу общего характера снов. Одно из загадочных свойств — толпы абсолютно незнакомых людей с отчетливо видимыми, но после не встречаемыми лицами, они сопровождают, встречают, приветствуют меня, докучают длинными, нудными историями про других незнакомцев — и все это в знакомой обстановке и среди тех, умерших или живых, кого я хорошо знаю; или еще милые проделки кого-то из прислужников Хроноса — острейшее восприятие времени по циферблату, со всей мучительностью (возможно, маскируемой мучительными позывами мочевого пузыря) непоспевания никуда вовремя, с встающей перед глазами часовой стрелкой как реальным цифровым указателем и возможным техническим воплощением, но сопряженной — что самое любопытное — с крайне смутным и едва ли реальным ощущением упускания времени (эту тему я также приберегу для одной из последующих глав). Все сны возникают под воздействием опыта и впечатлений нашей действительности, а также воспоминаний детства; все они, в образах или ощущениях, отражают некий абрис, некий свет, добротное питание или же серьезный внутренний разлад. Пожалуй, самой типичной особенностью практически всех снов, обычных и необычайных, — причем, невзирая на явное и четкое, кусками ли, в отрывках,

логическое (в определенных пределах) осмысление и осознание (нередко абсурдное) событий прошлых снов, — мои студенты должны бы были счесть гнетущее ослабление интеллектуальных способностей сновидца, которого отнюдь не приводит в трепет встреча с давно умершим приятелем. Наш сновидец в лучшем случае облачен в полупрозрачные защитные очки; в худшем страдает слабоумием. Группа (1891, 1892, 1893, 1894 и т. д. годов) прозорливо отметит (шелест тетрадей), что в силу самой своей природы, самой умственной посредственности и путаности сны не могут иметь ни малейшего сходства с моралью, или символом, или аллегорией, или греческой мифологией, если, конечно, сновидец не является греком или мифотворцем. Метаморфозы в снах столь же естественны, как метафоры в поэзии. Писатель, находящий сходство, скажем, между самим фактом более стремительного, в сравнении с памятью, ослабления воображения и грифелем карандаша, который расходуется медленней, чем стирающий наконечник, сравнивает два реальных, конкретно существующих явления. Мне повторить рассуждение? (Крики «да! да!») Так вот, карандаш, который я держу в руке, все еще достаточно длинный, хотя я им немало поработал, а ластик у него на конце практически весь стерт, поскольку я им пользовался слишком часто. Мое воображение все еще мощно и активно, но моя память все слабей и слабей. Я сравниваю реальное ощущение с состоянием реального общеупотребимого предмета. Они не являются символами друг друга. Аналогично: если остряк из чайной заявляет, будто тартинка конусом, доконченным комичной ягодкой, похожа, дескать, на кое-что (хихиканье в аудитории), он из персикового бисквита сотворяет персиковые перси (бурное веселье) в витийском перевитии витиеватого слога (молчание). Оба предмета реальны, они не взаимозаменяемы, они ничего иного — к примеру, обезглавленного Уолтера Рейли{111} с изваянием его кормилицы поверху — собой не символизируют (одинокое фырканье). Теперь об ошибке: невежественность, нелепость и вульгарность ошибки аналитиков из Зигни-Мондьё состоит в их трактовке реального предмета, будь это помпон или помидор (явственно явившиеся пациенту во сне), как его многозначительной абстракции, подразумевающей коридор и плафон или располовиненный бюст, если вы уловили, куда я клоню (разрозненные смешки). Присутствие какой бы то ни было символики или иносказания исключено и в галлюцинациях деревенского юродивого, и в последнем сновидении каждого в этой аудитории. В этих произвольных видениях ничто — подчеркните «ничто» (скрежет горизонтальных прочерков) — не может считаться подвластным расшифровке какого-нибудь знахаря, который сможет благодаря этому излечить безумца или облегчить терзания убийцы, возложив вину на слишком любящего, слишком жестокого или слишком равнодушного родителя, — эти тайные гнойники участливый надувала готов исцелить гноем своих поборов за каждую исповедь (смех и аплодисменты).

Осенний семестр 1892 года Ван провел в Кингстонском университете в Мейне, который располагал первоклассной клиникой для душевнобольных, а также знаменитым терапевтическим отделением и где Ван теперь снова вернулся к одному из старых своих проектов, породивших труд «Представление о полнолунии и полоумии» («Да ты „sturb“»[348], Ван, с каламбуром на устах! — смеялся старик Раттнер, местный гений-пессимист, считавший жизнь не более чем «вмешательством» в раттнертерологическое бытие — производное не от «terra», а от «nertoros»[349]).

Ван Вин [к тому же, в меру скромных своих возможностей, редактор «Ады»], обожавший в конце раздела, или главы, или даже абзаца менять местожительство, уже почти закончил сложный фрагмент, посвященный разрыву между временем и содержанием времени (воздействие на материю, на пространство, а также природа пространства как такового), и как раз обдумывал свой переезд в Манхэттен (подобное переключение являлось отражением скорее умственного склада, чем следствием смехотворного «воздействия среды», пропагандируемого Марксом-отцом, популярным автором «исторических» пьес), как вдруг неожиданный дорофонный звонок вмиг всколыхнул привычный ток в обоих кругах его кровообращения.

Никто, даже отец, не знал, что Ван только что откупил у Кордулы ее фешенебельный пентхаус на крыше небоскреба между Манхэттенской Библиотекой и Парком. Помимо того, что эта квартира с повисшей в небесном пространстве, созданной для уединенного мыслителя террасой, с присутствием шумного, но уютного большого города, плещущегося внизу, разбиваясь у подножия о неприступный утес его сознания, оказалась идеальным местом для работы, она явилась, по-модному выражаясь, «холостяцким убежищем», где можно было тайно забавляться хоть с одной, хоть с компанией девиц (одна из них прозвала квартиру «your wing à terre»[350]). Но пока Ван жил в кингстонской грязноватой, как в Чузе, квартирке, где в тот солнечный ноябрьский день и согласился принять Люсетт.

Он не видал ее с 1888 года. Осенью 1891-го она прислала ему из Калифорнии сбивчивое, непристойное, безумное, на грани буйства признание в любви о десяти страницах, которое в мемуарах обсуждаться не будет. [Взглянем, однако, чуть ниже. — Ред.] Ныне Люсетт изучала историю искусств («последнее прибежище посредственности», по ее выражению) в расположенном близ Кингстона Куинстонском колледже для Прелестных и Глуповатых (dumb) Девиц. Когда, позвонив, она (новым, грудным, мучительно напоминающим Адин, голосом) молила о встрече, то намекнула, что у нее важное для него письмо.

Подозревая, что это, возможно, очередное подношение невостребованной страсти, Ван вместе с тем ощутил, что ее посещение, возможно, всколыхнет в нем адские желания.

В ожидании Люсетт меряя шагами по коричневому ковру из конца в конец свои апартаменты, то задерживая взгляд на полыхающих, вопреки времени года, деревьям в северо-восточном окне в конце коридора, то возвращаясь в гостиную, откуда высвечивался контражуром Гринклот Корт, Ван гнал от себя воспоминания об Ардисе с порханием его

орхидей, собираясь с силами перед тяжелой встречей, спрашивая себя, не отменить ли ее и не послать ли человека с извинениями по случаю своего внезапного и неизбежного отъезда, но при всем этом понимая, что ничего он не отменит. Сама Люсетт имела ко всему лишь косвенное касательство: тот солнечный свет обронил на нее лучистые крапинки мимоходом, но вовсе отторгнуть Люсетт от Ардиса со всеми его солнечными бликами было невозможно. Вану вспоминались попутно и нежный грузик у него на коленях, и ее маленькая круглая попка, и смарагдовые глазки, когда она к нему оборачивалась, и уплывающая дорога. Походя подумалось: какая она стала, толстуха с веснушками, а может, вписалась в хоровод грациозных нимф Земских? Он слегка приоткрыл на площадку входную дверь, но все-таки упустил перестук ее высоких каблучков (а может, не расслышал из-за ударов сердца), вот уже в двадцатый раз возвращаясь «к прежним садам и усладам. Эрос qui prend son essor[351]! Мрамор храма искусств охрана: Эрос, роза и резь». Такие строфы даются туго, но рифмовать все же легче, «чем немой прозой опровергать прошлое». Кто это сказал? Вольтиманд или Вольтэманд? А может, этот Бернский Свин? Чтоб те сгнить в лесу густом со своим анапестом! «Мы любили лишь жен или тех, кто уж ныне в могиле». Мы страдаем по шлюхам и девам невинным доныне.

Перед ним стоял в ожидании гималайский мишка с рыжевато-каштановыми (солнце уже добралось до первого окна в прихожей) локонами. О да, ген «З» одержал победу. Стройная, незнакомая. Зеленые глаза сделались шире. В свои шестнадцать она смотрелась куда беспутней, чем ее сестра в том же роковом возрасте. Люсетт была в темных мехах и без шляпки.

— My joy (моя радость)! — таковы были слова Люсетт — или тому подобные; Ван ожидал более официального приветствия: в конце концов не так уж хорошо он ее знал — в памяти брезжил некий зародыш.

Влага в глазах, коралловые ноздри подвижны, алые губы опасно обнажают язычок и зубы, готовясь скосить полуоткрытый рот (такой же косой гримаской предваряют киски игривый укус), — она подошла ближе в оцепенении зарождающегося экстаза, наплывающей нежности — предвозвестницы, кто знает (она знает), новой жизни для них обоих.

— В костлявую щечку! — предуведомил Ван юную особу.

— Любишь ты скелетики (little sceletons), — пробормотала она, едва Ван слегка приложился губами (внезапно сделавшимися непривычно сухими) к твердой pommette[352]. И невольно уловил аромат ее «Degrasse», резковатых, хотя весьма «эротичных» духов, а с ним и пожар ее Крошки Рыжульки, как они именовали это с той, другой, готовясь заточить Люсетт в ванну, полную воды. Да, очень возбуждена и душиста. Золотая осень неподобающе томна для мехов. The cross (крест) образцово выхоленной redhead (гнедой). О четырех рдеющих концах. Ведь немыслимо было гладить (что он и делал) медную гриву, одновременно не воображая себе и пушистого лисеночка внизу и два пламенеющих пушка справа и слева.

— Так вот где он живет, — протянула Люсетт, осматриваясь и поворачиваясь, пока он в изумлении и печали помогал ей освободиться

от мягкого, долгого, темного манто, попутно прикидывая (как ценитель мехов): sea bear (котик)? Нет, desman (выхухоль). Ассистируя ей, Ван восхищался ее элегантным изяществом, ее серым безукоризненным костюмом, ее, как дымка, кружевной косынкой и, едва та была сброшена, грациозной белой шейкой. Скинь свой жакет, сказал он или решил, что сказал (стоя в осенний семестр 1892 года, около четырех пополудни, с протянутыми руками в своем угольно-черном от внезапного возгорания костюме посреди мрачной прихожей своего мрачного дома, прозванного англофилами «Вольтэманд-Холл при Кингстонском университете»).

— Сниму-ка я, пожалуй, жакет! — сказала она с сугубо женской мимолетно насупленной суетливостью, сообразной смыслу «пожалуй». — У тебя центральное отопление, а у нас с девушками крохотные камины.

Она сбросила жакет, оставшись в белой оборчатой блузке без рукавов. Вскинула руки, чтоб пальцами взбить искрящиеся кудри, и он увидел ожидаемые искрящиеся впадинки.

Ван заметил:

— Все три окна pourtant[353] открыты и можно распахнуть их пошире; но открываются они все на западную сторону, а тот зеленый двор под нами внизу расстилается под вечерним солнцем молельным ковром, отчего в этой комнате становится еще теплей. Ужасно, что окно не умеет повертываться своей застывшей амбразурой, чтоб полюбопытствовать, что там, по другую сторону дома.

Вечно верный себе Вин.

Щелкнув замком черной шелковой сумки, она вытащила платочек и, оставив разинутую сумку на краю буфета, прошла к дальнему окну и встала там, ее хрупкие плечики отчаянно подрагивали.

Ван заметил длинный, голубой с лиловой печатью, конверт, высовывавшийся из сумочки.

— Не реви, Люсетт! Будь проще.

Она двинулась обратно, промокая платочком нос, сдерживая свои по-детски трогательные всхлипывания, все еще ожидая решительного объятия.

— Вот коньяк, — сказал он. — Присядь. Где сейчас прочие родные?

Она опустила скомканный платок, деталь стольких старых романов, в сумочку, оставив ее, однако, незащелкнутой. Оттуда синим языком чау-чау торчало письмо.

— Мама живет в уединении в Самсара. У папы был очередной удар. «Сес» снова в Ардисе.

— Что за «Сес»! Cesse[354], Люсетт! Нечего тут мне шипящих змеенышей разводить!

— Змееныш никак не поймет, как надо говорить с доктором Ви. Ви. Сектором. Ты ни капли не изменился, мой бледненький, ну, может, слегка похож на призрак, которому при отсутствии летнего Glanz[355] еще и не мешает побриться.

И летней Mädel[356]. Он отметил, что письмо в том синем конверте лежало теперь на красном дереве буфета. Ван стоял посреди гостиной, потирая лоб, не смея, не смея, ведь то была Адина почтовая бумага.

— Чаю хочешь?

Она покачала головой.

— Я ненадолго. К тому же и ты по телефону обмолвился, что занят очень. Как это можно быть чудовищно занятым, если совершенно не виделись четыре года!

(Если она не прекратит, он тоже вот-вот разрыдается.)

— Ну да, в общем… У меня в шесть назначена встреча.

Две мысли сомкнулись в медленном танце, этаком заводном менуэте с поклонами и реверансами; одна: «Как-много-нам-надо-друг-другу-сказать», другая: «Сказать-то-друг-другу-нам-вовсе-и-нечего». Но эта тягомотина могла оборваться в любую минуту.

— Словом, мне предстоит встретиться с Раттнером в половине седьмого! — пробормотал Ван, запуская невидящий взгляд в календарь.

— Раттнер о Терре! — воскликнула Люсетт. — Ван читает Раттнера о Терре. Лапуля, не надо мешать нам с ним, если мы читаем Раттнера!

— Умоляю, дорогая, к чему этот театр! Не превращай приятную встречу в обоюдное мучение!

Что она делает в Куинстоне? Она же говорила. Ну да, как можно… Сложно? Нет. Угу. Время от времени оба бросали косой взгляд на конверт, проверяя, как малютка себя ведет, — не мотает ли ножкой, не ковыряет ли в носике.

Вернуть не распечатав?

— Передай Раттнеру, — произнесла она, опрокидывая третью рюмку коньяку с такой легкостью, будто это подкрашенная водка. — Передай ему (от алкоголя осмелел ее хорошенький гадючий язычок)…

(Гадючий? У Люсетт? Моей обожаемой, милой, покойный Люсетт?)

— Передай ему, когда в ту пору ты и Ада…

Имя разверзлось черным дверным проемом, и гулко захлопнулась дверь.

— …бросали меня ради него, а потом возвращались, я всегда понимала,

что вы все сделали (утолили свою похоть, уняли свою страсть).

— Мелочи, Люсетт, обычно запоминаются лучше всего. Прошу тебя, перестань!

— Да, Ван, все эти мелочи запоминаются гораздо лучше, чем крупные несчастья. Помню, к примеру, в чем ты был одет в каждый данный, в каждый щедро ниспосланный момент, и лучи солнца на стульях и на полу. Я-то, понятно, ходила почти голышом, обычный ребенок, кто это замечал. А на ней мальчишья рубашка и короткая юбка, и на тебе ничего, кроме мятых, испачканных шорт, по мятости поддернутых, и пахло от них всегда, после того как ты бывал на Терре с Адой, с Раттнером на Аде, с Адой на Антитерре в лесу Ардиса — да-да, знаешь, они прямо-таки воняли, твои шортики, лавандовым духом Ады, ее кошачьим пойлом и твоим затвердевшим стручком!

Зачем этому письму, теперь переместившемуся поближе к коньяку, слушать все это? От Ады ли оно (обратного адреса нет)? Ведь сейчас вещало не что иное, как то безумное, жуткое любовное послание Люсетт.

— Ты будешь смеяться, Ван! [Так в рук. — Ред.]

— Ты будешь смеяться, Ван, — сказала Люсетт (как бы не так; такое предсказание редко оправдывалось), — но если б ты поставил пресловутый Ванов Вопрос, я ответила бы «да».

Тот, который он задал крошке Кордуле. В книжной лавке за вращающимся стендом с дешевыми изданиями: «Цыганочка», «Свои ребята», «Клише из Клиши»{112}, «Шесть палок», «Библия без сокращений», «Вечно Мертвого», «Цыганочка»… Среди beau monde он прославился тем, что задавал этот вопрос юным особам при первой же встрече.

— О, можешь быть уверен, мне это далось нелегко! В припаркованных легковушках, во время буйных оргий приходилось отбиваться, отражать поползновения. И только прошлой зимой на Итальянской Ривьере подвернулся один юнец лет четырнадцати-пятнадцати, развитой не по летам, но жутко стеснительный и невротичный юный скрипач, напомнивший Марине брата… Словом, почти три месяца каждый Божий день я позволяла ему ласкать меня и отвечала ему ласками, а после наконец-то засыпала без снотворного, но, кроме этого случая, я ни разу не пригубила мужской эпителий тогда… то есть никогда. Хочешь, я поклянусь, что нет, хоть… хоть Уильямом Шекспиром! (Трагический жест в сторону полки с собранием пухлых красных томиков.)

— Перестань! — вскричал Ван. — Это «Избранное» Фолкнерманна{113}, кинутое моим предшественником за ненадобностью!

— Фуй! — вырвалось у Люсетт.

— И прошу, без пошлых восклицаний!

— Прости… ах, поняла, да-да, не буду…

— Вот и отлично! Все равно ты прелестна. Рад, что навестила.

— И я рада, — сказала Люсетт. — Послушай, Ван! Только не смей думать, что я «липну» к тебе, чтоб снова и снова повторять, как безумно и беспросветно тебя люблю и что ты можешь делать со мной что пожелаешь. Если я просто не нажала кнопку и не опустила это послание во вспыхнувшую щель и не убралась прочь, то только потому, что мне надо было увидеться с тобой, потому что надо еще кое-что тебе рассказать, даже если в итоге ты будешь ненавидеть и презирать нас с Адой. Отвратительно трудно (it is desgustingly hard), особенно для невинного существа — то есть невинного формально, для невинной кокотственно, полу-pule[357], полу-puella[358], объяснить. Понимаю всю деликатность темы и что иные непостижимости не следует обсуждать даже и с единовагинальным братом — непостижимости не только в нравственном, но и в мистическом смысле…

Единоутробным… хотя это близко. Письмо явно от сестры Люсетт. Узнаваемы и образ, и окрас. «И образ твой, и синева окраса…» (заезженный романс, крутившийся на сонороле). Посинело от молений: RSVP[359].

— …но еще и в чисто физическом. Ведь, милый Ван, в этом-то прямом физическом смысле я знаю нашу Аду не меньше, чем ты.

— Выкладывай! — устало сказал Ван.

— Она разве не писала тебе об этом?

Отрицание Хриплым Выдохом.

— О том, что мы называли Давить Пружинку?

— Вы?

— Мы с Адой.

О.Х.В.

— Помнишь бабушкин секскретер между глобусом и геридоном? В библиотеке?

— Вообще понятия не имею, что такое «секскретер»; да и что такое «геридон» не представляю себе.

— Но глобус-то ты помнишь?

Золушкины пальчики на пыльной поверхности Татарии трут в том месте, где должен пасть захватчик.

— Это — помню; и еще какой-то столик, украшенный позолоченными дракончиками.

— Так это и есть геридон! Настоящий китайский столик, покрытый на японский манер красным лаком, а секскретер стоял между ними.

— Так китайский или японский? Ты уж определись. И я все еще не могу себе представить, что это за инкрустер такой. То есть что он собой представлял в 1884 или 1888 году.

Секскретер. Звучит отвратительно, как все связанное с той сестрицей с ее «бледнолопиями» и «молоспермами».

— Ван, Ваничка, мы уходим от главного! А главное в том, что этот самый письменный стол или, если угодно, секретер…

— Одно название хуже другого, но штука эта стояла за дальним концом черного дивана.

Впервые упомянутого вслух — хотя для обоих он негласно служил ориентиром, как изображение правой руки на прозрачном дорожном указателе, кажущейся повисшей в бесконечном пространстве оку философа, выползшему на волю из глазницы, точно из скорлупы облупливаемое крутое яйцо, но помнящему еще, каким концом ближе к воображаемому носу; между тем взгляд свободный с чисто германской грацией скользнет вкруг стеклянного указателя и обнаружит просвечивающую насквозь левую руку — вот оно, решение! (Бернард сказал в шесть-тридцать, но можно немного опоздать.) Рациональное в Ване всегда служило оправой чувственному: незабвенный, шершавый, пушистый плюш Виллы Разврата.

— Ван, ты намеренно уходишь в сторону…

— Разве я куда-то ухожу?

— …потому что за дальним концом, в ногах дивана-ваниады — помнишь? — был только стенной шкафчик, в который ты запирал меня раз десять.

— Ну уж и десять! (преувеличение). Разок — и больше ни разу. Там зияла дыра на месте замочной скважины, под стать Кантову глазу. А глаз у Канта, как известно, был огуречно-зеленый.

— Так вот у этого секретера, — продолжала Люсетт, скрещивая ноги и рассматривая свою левую туфельку, изысканную, лакированную Хрустальную Туфельку, — у этого секретера был складной ломберный столик внутри и чрезвычайно секретный ящичек. Наверное, ты подумал, что он забит любовными письмами нашей бабушки, написанными ей в возрасте двенадцати-тринадцати лет. А вот наша Ада знала, да, она-то знала про этот ящичек, только позабыла, как вызвать извержение, или как это у них там у карточных столиков и у конторок зовется.

Как это у них там…

— Мы с ней уговорили тебя отыскать тайное чувствилище (sensorium) и привести его в действие. Это было тем летом, когда Бэлль потянула себе спину и мы могли заниматься своими делами, которые для вас с Адой давно утратили свою благородную частицу «де», мои же оставались трогательно чисты. Ты пошарил рукой и нащупал, нащупал тот крохотный орган, оказавшийся податливым кругляшиком в красном дереве под

сукном, куда ты подсу… то есть под сукном, где ты это нащупал; это была прижимная пружинка, и Ада рассмеялась, когда ящичек выпрыгнул наружу.

— И оказался пуст! — сказал Ван.

— Не совсем. В нем лежала во-от такусенькая красная пешка. (Показывает просветом с зернышко между пальцами — над чем? Над Вановым запястьем.) — Я хранила ее на счастье; наверное, она и по сей день где-то у меня спрятана. Во всяком случае, все это событие, выражаясь языком моего преподавателя по прикладным искусствам, предзнаменировало развращение бедняжечки Люсетт в Аризоне, в ее четырнадцать лет. Бэлль вернулась в Канадию, так как Вронский исковеркал ее «Скверных детей»; ее преемница сбежала с Демоном; рара был на Востоке, maman раньше рассвета домой, как правило, не возвращалась, служанки с появлением звезд устремлялись к любовникам, а я ненавидела спать одна в отведенной мне угловой спальне, даже если не гасила розовую фарфоровую ночную лампу с просвечивающим изображением заблудшей овечки, потому что боялась пантер и змей [вполне вероятно, что это не речь ее по памяти, а отрывок из ее письма или писем. — Ред.], чьи крики и шипение Ада воспроизводила восхитительно, и, по-моему, намеренно, в пустынной тьме под моим окошком на первом этаже. Словом [здесь как бы снова включение голоса, записанного на пленку], охоче говоря…

Старухи графини де Прэ 1884 года присловие при славословии в адрес хромой кобылы из ее конюшен, сперва отошедшей к ее сыну, потом от него к его пассии, отпасовавшей кобылу своей единоутробной сестрице. Вся эта цепь мгновенно была восстановлена Ваном, сидевшим, сведя пальцы домиком, в красном плюшевом кресле.

— …я тащила свою подушку в Адину спальню, где похожий прозрачный ночник высвечивал чудака с белокурой бородкой в махровом халате, обнимавшего заблудшую овечку. Ночь дышала жаром, как печка, и мы были совсем нагие, не считая полоски пластыря на том месте, что, погладив, пронзил шприцем доктор, и Ада как призрак бледно-черной красавицы — как бы это выкрутить покруче, — меченной цветом фрез в четырех местах: дама червей, удвоенных симметрией.

И вот они сплелись, и это оказалось так сладко и приятно, что стало ясно, отныне всегда будут этим заниматься вдвоем из гигиенических соображений — при желании, но без желанного.

— Она научила меня такому, о чем я и вообразить не могла, — открывалась Люсетт с заново испытываемым изумлением. — Мы переплетались, как змеи, и взвывали, как пумы. Сливались в монгольскую неваляшку, в монограммы, анаграммы, адалюсинды. Она целовала мой крестик, я целовала крестик ее, наши головы застревали в таких немыслимых положениях, что Брижитт, малютке горничной, по ошибке заглянувшей со свечой в нашу комнату, на мгновение почудилось, хоть сама была шалунья, что мы одновременно производим на свет двух девочек — твоя Ада рыжульку, а ничья Люсетт темненькую. Представляешь?

— Да уж, умора, — отозвался Ван.

— Ах, это случалось почти каждую ночь на Маринином ранчо, а нередко и во время сиесты; в остальном, между нашими ванотомлениями (ее находка) или между нашими с ней месячными, а это, хочешь верь, хочешь нет…

— Я всему поверю, — вставил Ван.

— …приходилось у нас на одни и те же числа, мы были просто сестры, разговаривали о всякой ерунде, у нас мало было общего, Ада коллекционировала кактусы или корпела над текстом роли перед очередной пробой в «Стерву», а я много читала или перерисовывала изумительные эротические картинки из альбома «Забытые шедевры», который мы обнаружили, apropos[360], в коробке корсетов и хрестоматий (corsets and chrestomathies), оставленной Бэлль, и я уверяю тебя, те картинки были куда реалистичней, чем замысловатая картина Монга-Монга, пик творчества которого — 888 год, за тысячу лет до того, как я обнаружила ее случайно в одной из своих засад в углу, а Ада сказала, что это иллюстрация из «Восточной гимнастики». Миновал день, выглядывали звезды, и гигантские мотыльки блуждали, шестилапые, снизу вверх по оконному стеклу, и мы сплетались, пока нас не охватывал сон. Тогда-то я и узнала… — подытожила Люсетт, прикрывая глаза и повергая Вана в мучительное, дьявольски осязаемое вспоминание Адиного приглушенного постанывания в миг высшего блаженства.

В этот момент, как в умело продуманной, с комическими вливаниями, пьесе, затрезвонил медный портофон, батареи принялись клокотать, более того, во вскрытой бутылке шипанула от жалости содовая.

Ван (сердито): Повтори последнее слово… Как? L'adorée? Погоди минутку! (Люсетт) Прошу тебя, сиди, не вставай! (Люсетт шепчет французское детское выражение из двух «пис».) Ладно! (Указывает в сторону коридора.) Прости, Полли! Так это l'adorée? Нет? Прочти весь абзац. А… la durée{114}. La durée это не… что «коже»? А-а, то же, что и «протяженность»? Угу. Прости еще раз, надо заткнуть рванувшую содовую! Не вешай трубку! (Кричит в Кор-и-Дор, как в Ардисе именовался длинный проход на втором этаже.) Пусть себе течет, Люсетт, наплевать!

Он налил себе еще стакан коньяку и мгновение до смешного не мог сообразить, от чего оторвался… ах да, портофон!

В трубке было глухо, но едва он опустил ее на рычаг, раздался трезвон, и в тот же самый момент легонько постучала в дверь Люсетт.

— La durée… О Господи, да входи ты без стука!.. Нет, Полли, «стук» это не тебе… это моей кузиночке. Ну ладно. La durée не то же, что «протяженность», так как преисполнено — да «пре», а не «при»! — особого философского смысла. Так, что теперь? Не поняла, dor-ée это или dur-ée? де, у, эр! Я думал, ты французский знаешь! Ах так! Ну, пока…

— Моя машинистка, примитивненькая, зато всегда доступная блондинка, не смогла разобрать «durée» при моем исключительно разборчивом почерке, так как, видите ли, знает просто французский, а не научную лексику.

— Вообще-то, — заметила Люсетт, вытирая длинный конверт, слегка забрызганный содовой, — Бергсон предназначен либо для очень молодых, либо для очень несчастных, как, например, данная доступная рыжулька.

— За угадывание Бергсона, — сказал доцент-развратник, — dans ton petit cas[361] четверка с минусом, не выше. Или, может, вознаградить тебя поцелуем в крестик… если потребуется?

Скривившись, меняя позу в кресле, наш младой Вандемоний клял про себя то состояние, в которое прочно вогнал его этот Лисий образ — крест о четырех пламенеющих угольках. Один из синонимов «состояние» — «положение», а слово «человека» можно понимать как «мужчины» (ведь слова «L'Humanité» и «Mankind» имеют общее значение «человечество»), вот так-то, дорогие мои, Лоуден и перевел недавно заглавие malheureux[362] пошлого романчика Помпье «La Condition Humaine»[363], в котором, между прочим, термин «Вандемоний» уморительно истолкован, как «Koulak tasmaniene d'origin hollandaise»[364].

— Если ты серьезно, — сказала Люсетт, облизываясь и щуря темнеющие глазки, — тогда, дорогой, можешь приступать немедля. Но если ты смеешься надо мной, тогда ты жестокий и гнусный Вандемоний!

— Будет, будет, Люсетт, по-русски «крестик» — это «крестик» и ничего больше! Или это амулет? Ты только что говорила про маленькую красную запонку или пешку. Ты носишь это, или, может, носила, на цепочке вокруг шейки? Что это, коралловый дар, glandulella[365] весталок Древнего Рима? В чем тут, милая, секрет?

Не отводя от него пристального взгляда, Люсетт произнесла:

— Хорошо, я объясню, хотя это одна из «хрупких башенок» нашей сестрицы; я думаю, ты знаком с ее лексиконом.

— О да, знаю! — вскричал Ван (дергаясь в язвительной насмешке, вскипая неистовой яростью, вымещая ее на этом рыжем козленке отпущения, наивной Люсетт, преступление которой только в том и состояло, что она приняла в себя призраками всю ненасытность губ той, другой). — Ну как же, припоминаю! Скверное пятно в единственном числе может обернуться святым символом во множественном. Ты, разумеется, подразумеваешь стигму на переносице у целомудренных, изможденных юных монашек, которых священники там и сям расписывали крестообразно кистью для миропомазания.

— Все гораздо проще, — молвила терпеливая Люсетт. — Вернемся вновь в библиотеку, где ты обнаружил тот предметик, до сих пор стоящий навытяжку в своем ящичке…

— «З», «Земская». Как я и ожидал, ты и впрямь похожа на Долли,

такую, какая на портрете в библиотеке над ее инкрустером, все в тех же прелестных панталончиках и с фламандской гвоздикой в руке.

— Нет-нет, — возразила Люсетт, — это маловыразительное полотно обозревало твои занятия и шалости в дальнем конце и висело рядом со стенным шкафчиком над застекленным книжным шкафом.

Когда кончится эта мука? Не могу же я, распечатав письмо прямо при ней, читать его публично вслух! Я не владею искусством размерять мои вздохи.

— Однажды в библиотеке, коленками на желтой подушке, лежащей на английском стуле, приставленном к овальному столу на львиных лапах…

[Эпитетный стиль повествования явно свидетельствует о его эпистолярном источнике. — Ред.]

— …я завязла с шестью Buchstaben[366] на последнем кону игры во Флавиту. Не забудь, мне было шесть и в анатомии я не разбиралась, но старалась изо всех своих жалких силенок не отстать от двух Wunderkinder. Ты взглянул, опустил палец в мой желобок и мгновенно рассеял случайный порядок букв, составлявший, скажем, ЛИКРОТ или РОТИКЛ, а Ада потопила нас обоих под шелком своих волос, заглянув поверх наших голов, и, когда ты завершил передвижку, вы с ней тут же оба, si je puis la mettre comme Ça[367] (канадийский французский), оба повалились на черный ковер в припадке необъяснимого веселья, ну а я наконец кротко сложила слово РОТИК (маленький рот), оставшись наедине с моим родным пошлым инициалом. Надеюсь, я основательно запудрила тебе мозги, Ван, так как la plus laide fille au monde peut donner beaucoup plus que'elle n'a[368], а теперь простимся, вечно твоя.

— …Пока живет еще это тело{115}, — пробормотал Ван.

— «Гамлет»! — заметил самый способный из студентов нашего доцента.

— Верно, верно, — отозвался ее и его мучитель. — Но, видишь ли, англичанин с медицинским уклоном, играющий в скраббл, при двух дополнительных буквах мог бы составить, к примеру, слово STIRCOIL, что означает широко известный стимулятор потовой железы, или слово CITROILS, то, чем конюхи чистят молодых кобылок.

— Пожалуйста, Вандемоний, прекрати! — взмолилась Люсетт. — Читай ее письмо, а мне дай мою шубу.

Но он не унимался, паясничая:

— Я поражен! Мог ли я предположить, что величественная наследница скандинавских королей, российских великих князей и ирландских баронов заговорит форменным языком трущоб! Ты и впрямь, Люсетт, ведешь себя как кокотка.

В грустном раздумье Люсетт произнесла:

— Как отвергнутая кокотка, Ван!

— О моя душенька (my dear darling)! — вскричал Ван, уязвленный собственной грубостью и жестокостью. — Пожалуйста, прости меня! Я болен. Последние четыре года я страдаю кровородственнораковым образованием — таинственной болезнью, описанной Конильетто. Не клади свою хладную длань мне на лапу… это лишь ускорит твой конец и мой. Продолжай рассказ!

— Так вот, обучив меня простейшим этюдам для одной руки, жестокая Ада бросила меня. Правда, мы все еще продолжали время от времени заниматься этим вместе — на ранчито у знакомых после вечеринки, в белом «салуне», который она учила меня водить, в мчащемся через прерии спальном вагоне, в грустном-прегрустном Ардисе, где я провела с ней последнюю ночь перед отъездом в Куинстон. Ах, Ван, я люблю ее руки, потому что на одной та же, что и у тебя, родинка (small birthmark), потому что у нее такие длинные пальцы, потому что они, по сути, Вановы, только в уменьшительном отражении, в ласкательной форме (разговор — как частенько случалось в чувствительные моменты у представителей ветви Винов — Земских этого странного семейства, самого обширного на Антитерре, — пестрел русскими выражениями, что в данной главе приводится без особого соответствия, — читатель нынче пошел нервный).

— Она бросила меня, — продолжала Люсетт, щелкнув уголком рта, и машинально скользнула рукой вверх-вниз по телесного цвета чулку. — Бросила и завела весьма прискорбный романчик с Джонни, это юная звезда из Фуэртевентура, c'est dans la famille[369], точный ее однолеток (coeval), внешне они прямо близнецы, он родился в том же году, в тот же день, в ту же минуту…

Глупенькая Люсетт совершила промашку.

— Да нет, этого не может быть! — мрачно прервал ее Ван, бросив насупленно, сжав в кулаки руки, раскачиваться из стороны в сторону (ах, как нетерпелось кое-кому приложить к воспаленному прыщу на его правом виске обмакнутый в кипяток Wattebausch[370], так бедняга Рак называл ее спотыкающееся арпеджирование). — Такого просто быть не может! Немыслимо, черт побери, такое у близнецов! Даже у тех, что видела Брижитт, та, представляю, смазливенькая девчонка с торчащими сосочками, на которых поигрывали отблески свечки. Обычно разница между появлением близнецов, — продолжал он тоном безумца, настолько управляющим собой, что кажется сверхумником, — редко случается меньше четверти часа, это то время, которое требуется натруженной матке, чтобы передохнуть и в покое полистать женский журнал, прежде чем возобновить свои малоаппетитные потуги. В весьма редких случаях, когда матка автоматически продолжает усердствовать, врач может этим воспользоваться и выпустить на свободу второго шельмеца, который, можно сказать, окажется минуты на три моложе, что для династии по степени удачи — удвоенной удачи, когда ликует весь Египет — становится, пожалуй, позначительней, чем победный финиш в марафоне. Однако живые существа, сколько б их ни было, никогда не появляются на света la queue-leu-leu[371]. «Единовременные близнецы» это нонсенс!

— Ну уж не знаю (well, I don't know)! — проговорила Люсетт (слегка повторяя в этой фразе меланхоличную интонацию матери, как бы тем самым передавая смесь испуга и неведения, но вместе с тем — судя по едва заметному движению подбородком, выражавшему скорее снисходительность, чем согласие, — несколько принижая и приглушая суть отпора несогласного с ней собеседника).

— Я только хотела сказать, — продолжала она, — что он был красивый мальчик испано-ирландского происхождения, темноволосый и бледный, так что со стороны их принимали за близнецов. Я не сказала, что они и в действительности двойняшки. Или «тройняшки».

Тройняшки? Дройняшки? Кто так произносил? Кто? Кто? Или дройняшки каплями ронялись во сне, в каком? Живы ли сиротки? Но вернемся к Люсетт.

— Примерно через год она узнала, что он содержанец одного старого педераста, и бросила его, и тот у моря во время прибоя пустил себе пулю в лоб, но серфингисты и хирургисты вытащили его, хотя мозг так и остался поврежден; говорить он больше не сможет никогда.

— Бессловесного всегда полезно иметь про запас, — угрюмо заметил Ван. — Мог бы выступить в роли безъязыкого евнуха в фильме «Стамбул, мой бюль-бюль!» или в роли конюха, переодетого дворовой девкой, переносчицей записочек.

— Что, Ван, я утомила тебя?

— О, ничего подобного, захватывающая и трепетная историйка болезни!

А что, и в самом деле неплохо: погубить троих за три года, при этом подстрелив четвертого. Отличный выстрел… Адиана! Интересно, кого заарканит теперь.

— Ты уж не кори меня за эти подробности блаженства наших жарких до жути ночей — до этого бедняги и в промежутках между ним и очередным вторженцем. Если б мои губы были холст, а ее губы кисть, ни пятнышка на мне не осталось бы без краски, и наоборот. Это ужасно, Ван? Ты презираешь нас?

— Напротив! — отвечал Ван, удерживая ускользающий приступ напускного гаденького веселья. — Не был бы я гетеросексуальным самцом, непременно бы стал лесбиянкой!

Его банальная реакция на ее заготовленную мелодраму, на коварство от отчаяния, заставило Люсетт сдаться, замолкнуть перед черной ямой, где невидимая и вечная публика издает то тут, то там убийственные покашливания. Ван в сотый раз бросил взгляд на синий конверт: его ближайший, длинный край — чуть наискось к обрыву глянцевой поверхности красного дерева, левый верхний угол полуприкрыт подносом с коньяком и содовой, правый нижний направлен к любимому Ванову роману «Знак пощечины», валявшемуся на буфете.

— Давай повидаемся в ближайшее время, — сказал Ван, в раздумье покусывая большой палец, проклиная образовавшуюся паузу, страстно желая узнать, что в конверте. — Ты должна приехать и погостить у меня на квартире, которая на Алекс-авеню. Я только что обставил комнату для гостей bergère, torchère[372] и креслами-качалками; похоже на будуар твоей матушки.

Люсетт a l'Américaine[373] слегка присела, едва улыбнувшись поникшими уголками рта.

— Заедешь на пару дней? Обещаю вести себя пристойно. Идет?

— Возможно, мое представление о пристойности с твоим не совпадает. А как же Кордула де Прэ? Не станет она возражать?

— Квартира принадлежит мне, — сказал Ван, — и кроме того, Кордула теперь миссис Иван Дж. Тобак. Сейчас они прожигают жизнь во Флоренции. Вот последняя открытка от нее. Портрет Владимира-Христиана Датского, который, по утверждению Кордулы, вылитая копия ее Ивана Джовановича. Взгляни!

— Подумаешь, Сустерманс! — бросила Люсетт с оттенком нарочитости, свойственной рыцарю своей единоутробной сестрицы, или в духе rovesciata[374] римского футболиста.

Нет, это вяз! Полтысячелетия тому назад.

— Его предок, — частил Ван, — был знаменитым, или fameux, русским адмиралом, имевшим дуэль épée[375] с Жаном Нико, и в честь предка названы то ли острова Тобаго, то ли Тобакоффские острова, не помню точно, это было давно, полтысячелетия тому назад.

— Я помянула Кордулу только потому, что бывшие любовницы скоры на гнев при ложных подозрениях, так кошка с ходу наскакивает на высоченный забор и, недопрыгнув, припускает без оглядки, не делая повторной попытки.

— Кто тебе рассказал об этой блудливой кордулетности… то есть мимолетности?

— Твой отец, mon cher, на Западе мы часто с ним виделись. Сначала Ада предположила, что Тэппер — вымышленное имя… что ты дрался на дуэли с другим человеком… но это было до того, как мы узнали, что тот скончался в Калугано. Демон сказал, что тебе следовало бы попросту надавать ему палкой.

— Я не мог, — сказал Ван. — Крыса коротала последние часы на больничной койке.

— Нет, я про настоящего Тэппера, — воскликнула Люсетт (ее визит превратил все в сплошную путаницу), — а не моего бедного, преданного, отравленного, невинного учителя музыки, которого даже Ада, если она не привирает, не сумела излечить от импотенции!

— Дройнями! — сказал Ван.

— Не обязательно именно его, — заметила Люсетт. — Любовник его жены играл на строенной виоле. Послушай, я возьму почитать книжку (скользя взглядом по ближайшей книжной полке («Цыганочка», «Клише в Клиши», «Вечно Мертвого», «Гадкий новоанглиец»), свернусь, комонди[376], калачиком на несколько минут в соседней комнате, пока ты… Ах, обожаю «След пощечины»!

— Можешь не спешить, — сказал Ван.

Пауза (примерно пятнадцать минут до окончания действия).

— В десять лет, — произнесла, чтоб хоть что-нибудь сказать, Люсетт, — и я пребывала в поре Стопчинской «Старой розы» (в обращении ее к нему в тот день, в тот год, употребляем неожиданное, величественное, властное, шутливое, формально безотносительное, запретное, притяжательное местоимение множественного числа), в то время как наша сестра читала в этом возрасте на трех языках и гораздо больше, чем я, прочла в свои двенадцать. И все же! Тяжело переболев в Калифорнии, я наверстала упущенное: Пионерия побеждает Пиорею[377]! Я не из личного хвастовства, но читал ли ты горячо любимого мной Герода{116}?

— Ну как же! — небрежно отвечал Ван. — Известный сквернослов и современник древнеримского историка Юстина. Да, это мастер. Ослепительное слияние возвышенного с потрясающей вульгарностью. Ты, верно, дорогая, читала его в буквальном французском переводе с en regard[378] греческим текстом? Но один здешний мой приятель показал мне отрывок обнаруженной недавно рукописи, которую ты наверняка не знаешь и которая повествует о двух детях, брате и сестре, которые так часто развлекались совместно, что под конец скончались в позе соития, так что разъять их было невозможно — соединяемое их растягивалось, растягивалось и, лишь только родители переставали тянуть, щелчком возвращалось в прежнее положение. Все это крайне непристойно, крайне драматично и жутко смешно.

— Нет, сей пассаж мне неизвестен, — призналась Люсетт. — Но скажи, Ван, отчего это ты…

— Сенная лихорадка, сенная лихорадка! — вскричал Ван, шаря одновременно в пяти карманах в поисках платка.

Ее сострадательный взгляд и бесплодность поиска повергли Вана в такую безысходную тоску, что он, схватив письмо, уронив его, подобрав, ринулся вон из гостиной в самую дальнюю комнатку (благоухавшую ее духами), чтоб вмиг там и прочесть:

«О, милый Ван, предпринимаю последнюю попытку. Можешь считать это свидетельством безумия или ростком раскаяния, только я жажду приехать к тебе и жить с тобой, где бы ты ни был, вечно, вечно. Если ты отвергнешь ту, что приникла к твоему окну, я тотчас сообщу аэрограммой, что принимаю предложение, сделанное твоей несчастной Аде месяц назад в Валентиновом штате{117}. Это — русский из Аризоны,

человек почтенный и достойный, умом особо не блещущий и не светский. Единственное, что нас объединяет, это пристальный интерес ко множеству ощетинившихся растительных обитателей пустыни, в особенности к всевозможным разновидностям агав, приюту гусениц, самых благородных в Америке живых существ — Гигантских Шкиперов (как видишь, Кролик снова в процессе раскопок). У него лошади, полотна кубистов и еще „нефтяные скважины“ (никогда не видала — наш отец во аде, у которого они тоже есть, мне не рассказывает, ограничиваясь, по своему обыкновению, маловыразительными намеками). Я сказала своему терпеливому валентинцу, что дам ему определенный ответ после разговора с единственным человеком, которого всегда любила и буду любить. Постарайся дозвониться мне сегодня вечером. На ладорской линии крупные неполадки, но меня заверили, что найдут обрыв и восстановят связь до начала речного прилива. Твоя, твоя, твоя (thine). А.».

Ван взял из аккуратной стопки в ящичке шкафа чистый носовой платок, мгновенно углядев в этом действии аналогию с вырыванием листка из блокнота. Просто удивительно, как благотворно сказываются в такие сумбурные мгновения подобные ритмические параллели совпавших по виду (белых, квадратных) предметов. Ван набросал короткую аэрограмму и вернулся в гостиную. Где обнаружил Люсетт надевающей шубу, а также пятерых угловатых ученых мужей, впущенных идиотом камердинером и обступивших молчаливым кругом нашу нежно-грациозную рекламу зимней одежды предстоящего сезона. Бернард Раттнер, черноволосый и румяный, кряжистый молодой человек в очках с толстыми стеклами, приветствовал Вана с плохо скрываемым облегчением.

— Господи Ложе! — воскликнул Ван. — Я понял так, что мы встречаемся у твоего дяди!

Быстрыми жестами рассредоточив гостей по стульям в приемной, Ван, невзирая на протесты хорошенькой кузины («Мне пешком всего двадцать минут; не надо меня провожать!») вызвал по портофону свой автомобиль. Затем с шумом выкатился вслед за Люсетт, катапультируясь вниз по узкой лестнице катракатра[379]. Пожалуйста, дети, не катракатра (Марина).

— И еще я знаю, — сказала Люсетт, как бы продолжая их недавний обмен информацией, — кто это такой!

Она указала на табличку «Вольтэманд-Холл» на кромке здания, из которого они вышли.

Ван бросил на нее молниеносный взгляд — но она всего лишь имела в виду придворного из «Гамлета».{118}

Они прошли через темную арку, и, когда вышли в красочный мир нежного заката, Ван остановил Люсетт и протянул свою записку. В ней говорилось, чтоб Ада наняла аэроплан и прилетела завтра в любое время к нему в Манхэттен. Он около полуночи выедет из Кингстона на автомобиле. Он все еще надеялся, что ладорский дорофон починят до

его отъезда. Le château que baignait le Dorophone[380]. В любом случае, он считал, что аэрограмма придет к ней через пару часов. Люсетт сказала «Угу», сначала послание отправится в Монт-Дор… прости, в Ладору… а если пометить «срочно», то будет доставлено на рассвете гонцом, отправляющимся, щурясь, на восток на почтмейстерской блохастой кобыле, так как по воскресным дням мотоциклами ездить нельзя, таков старый местный закон, l'ivresse de la vitesse, conceptions dominicales[381]; но даже и в этом случае у нее будет время собраться, отыскать коробку с голландскими карандашами, которую Люсетт просила ее, если приедет, захватить и поспеть к завтраку в недавнюю спальню Кордулы. И полубрат ее, и полусестра провели этот день не лучшим образом.

— Кстати, — сказал Ван, — давай-ка определим день твоего визита. Ее письмо нарушает мои планы. Хочешь, поужинаем в «Урсусе» в конце будущей недели? Я тебе позвоню.

— По-моему, это безнадежно, — сказала Люсетт, глядя в сторону. — Я так старалась. Воспроизвела все ее штучки (little stunts). Как актриса я лучше ее, но этого, как видно, недостаточно. А теперь возвращайся, а то они упьются в стельку твоим коньяком.

Он просунул руки в теплые полости рукавов ее мягкой кротовой шубки и мгновение держал ее, стиснув, за худенькие, обнаженные локти, глядя сверху вниз с раздумчивым желанием на ее подкрашенные губы.

— Une baiser, un seul![382] — молила она.

— Обещаешь не приоткрывать губ? Не млеть? Не трепетать, не извиваться?

— Клянусь, не буду!

Поколебавшись, Ван произнес:

— Нет, соблазн неистовый, но я все же не поддамся. Еще один кошмар, еще одну сестру, пусть даже полусестру, я уже не переживу.

— Такое отчаяние (such despair)! — простонала Люсетт, кутаясь тесней в шубку, которую инстинктивно распахнула, чтобы принять его.

— Утешит ли тебя, если я скажу, что от ее приезда ожидаю одних мучений? Что ты для меня — как райская птица?

Она покачала головой.

— Что мое восхищение тобой до боли сильно?

— Мне нужен Ван, — выкрикнула она, — а не бесплотное восхищение…

— Бесплотное? Глупышка! Взгляни хорошенько, ты можешь разок легонько дотронуться до него кончиками пальцев, в перчатке. Я сказал «кончиками пальцев». Я сказал «разок». Все, хватит! Целовать тебя не стану. Даже горящие твои щеки. Прощай, котенок! Скажи Эдмонду, чтоб

вздремнул, когда вернется домой. Он мне понадобится в два часа ночи.

6

Темой той важной дискуссии был обмен мнениями по проблеме, пытаться решить которую иным путем Вану предстояло через многие годы. В Кингстонской клинике было подробно изучено несколько случаев акрофобии[383], чтобы затем определить, связаны ли они с какими-либо проявлениями или моментами времябоязни. Опыты дали результаты полностью отрицательные, но весьма любопытным представилось то, что единственный выявленный острый случай хронофобии по самой своей природе — метафизичности проявлений, психологической специфике и т. п. — отличался от пространствобоязни. Разумеется, единственный пациент, потерявший разум при соприкосновении с тканью времени, совершенно не мог соперничать в качестве убедительного примера с многочисленной группой словоохотливых акрофобов, и читатель, не перестающий обвинять Вана в опрометчивости и безрассудстве (изъясняясь тактичной терминологией младого Раттнера), улучшит свое мнение о нем, когда узнает, что наш юный исследователь приложил все старания, чтоб не позволить г-ну Т.Т. (тому самому хронофобу) чересчур стремительно излечиться от своего редкого и серьезнейшего заболевания. Убедившись в том, что оно ничего не имеет общего с часами или календарем, а также иными мерилами или вместилищами времени, Ван предполагал и надеялся (как может надеяться лишь открыватель истинный, страстный и поистине безжалостный), что коллеги его объяснят прежде всего плохим глазомером причину боязни высоты и что их ярчайшего акрофоба г. Аршина, который не мог соступить со скамеечки для ног, можно побудить оттуда сверху шагнуть в пустоту при помощи некого оптического трюка, когда пожарная сеть, растянутая внизу на расстоянии пятидесяти ярдов от крыши башни, кажется ковриком под ногами.

Ван предложил гостям холодный филей и галлон Уэльсийского эля — но мысли его были заняты другим, и он не блеснул в обсуждении, которое навсегда запечатлелось в его памяти серостью бездоказательности и скуки.

Гости разошлись около полуночи; еще не смолк на лестнице их галдеж и бубнеж, а Ван уж звонил в Ардис-Холл — вотще, вотще! Так он продолжал время от времени названивать до самого рассвета, потом сдался, разрешился безупречным по консистенции стулом (симметричная крестообразность которого вызвала в памяти утро перед дуэлью) и, даже не потрудившись надеть галстук (самые любимые ожидали его в новой квартире), отправился на автомобиле в Манхэттен, пересев сам за руль, едва обнаружилось, что четверть пути Эдмонд тащится целых сорок пять, вместо отпущенных тридцати минут.

То, что Ван собирался сказать Аде в немой дорофон, составляло всего

три слова на английском, ужималось до двух на русском и до полутора слов на итальянском; но Аде пришлось ему доказывать, что его ошалелые попытки пробиться к ней в Ардис лишь вылились в такой мощный оркестровый «прилив», что под конец бойлер в подвале не выдержал и вовсе не стало горячей воды — никакой воды вовсе не было, когда она поднялась с постели, потому, накинув самую теплую шубку, велела Бутейану (старому, втайне ликующему Бутейану!) снести ее чемоданы вниз и везти ее в аэропорт.

В это самое время Ван прибыл на Алексис-авеню, прилег на часок, затем принял душ, побрился и чуть не оторвал, рванувшись на террасу, ручку двери, заслышав рокот благословенного мотора.

Невзирая на атлетическую силу воли, свое иронизирование над избытком эмоций и свое презрение к слезливым слабакам, Ван чувствовал, что и сам может стать жертвой неудержимых, клокочущих рыданиями приступов (порой достигающих эпилептического пика, с внезапным, сотрясающим все тело взвыванием, с неизбывно забивающей ноздри жижей) уже с тех пор, как его разрыв с Адой отозвался такими страданиями, каких он с его гордыней и эгоизмом в своем гедонистическом прошлом предвидеть не мог. Маленький моноплан (заказной, судя по его перламутровым крыльям и по недозволенным, благо неудавшимся, попыткам приземлиться посреди центрального зеленого овала в Парке, после чего, растаяв в утренней мгле, он устремился на поиск другого присеста) исторг первый всхлип у Вана, когда тот в своей «мохровке» стоял на верхней террасе (теперь уставленной кустами буйно цветущей голубой спиреи). Он простоял на еще холодной солнечной стороне до тех пор, пока кожа под халатом не задубела, что чешуя на заду у броненосца. С ругательствами, потрясая перед собой кулаками, он вернулся в тепло квартиры и опрокинул бутылку шампанского, потом позвонил Розе, спортивного вида негритянке, которую делил, и не в едином смысле, с недавно премированным шифровальщиком, м-ром Дином, безупречным джентльменом, жившим этажом ниже. В смятении чувств, с беспардонным вожделением наблюдал Ван, как вращается, напрягаясь, ее прелестная попка в кружевном обрамлении, пока Роза стелила кровать, в это время ее нижний возлюбленный, слышимый благодаря отопительной системе, мурлыкал какой-то веселый мотив (одолев, видно, дешифровку очередной татарийской дорограммы, извещавшей китайцев, где именно мы планируем высадиться в следующий раз!). Шустрая Роза навела порядок в комнате и упорхнула, а идиллическое мурлыканье Дина внахлест заглушилось крещендо (для человека с его профессией исполненным весьма топорно) всемирно известных поскрипываний, которые и дитя разберет, как вдруг звякнул в прихожей колокольчик, и вот уж Ада, белей лицом, красней губами и четырьмя годами старше, стояла перед содрогавшимся, уже рыдающим, вечным мальчиком Ваном, и струящиеся ее волосы сливались с темнотою мехов, а те были даже шикарней, чем у сестры.

Ван заготовил одну из фраз, что естественна во сне, но жалка при свете дня: «Я помню, ты стрекозой кружила надо мною»; но захлебнулся на «…козой» и пал к ее ногам, к арочным подъемам голых ножек в лаковых черных Хрустальных Туфельках, той же грудой безнадежной нежности, с той же самоотреченностью, так же открещиваясь от жизни демониакальной, точно так, как он обычно проделывал уже задним числом в самом сокровенном тайнике своего рассудка всегда, когда

вспоминал ее невыносимую полуулыбку в момент прислонения лопатками к стволу того финального дерева. Невидимка из постановочной челяди уж подставил ей стул, и Ада рыдала и гладила черные Вановы кудри, пока изливался у него этот пароксизм горя, благодарности и раскаяния. Сцена могла бы длиться гораздо дольше, если бы не благословенно пришедшее на смену первому неистовству другое, физическое, возмущавшее его кровь уже со вчерашнего дня.

Она, будто сбежав из горящего дворца и рухнувшего королевства, была в смятой ночной сорочке и накинутой поверх темно-коричневой, с проблесками благородной седины, шубке из морской выдры — то был знаменитый камчатский бобр древнего эстонианского купечества, известный также на лясканском побережье под названием «лютромарина»: «мой натуральный мех», так Марина с нежностью называла свою накидку, унаследованную от одной гранд-дамы из Земских, тогда как при разъезде с зимнего бала какая-нибудь леди в норке, или нутрии, или в непритязательном manteau de castor[384] (то есть beaver, или немецкий бобр) при виде Марининой бобровой шубы стонала от зависти. «Старенькая! (old little thing)» — сияя, приговаривала обычно Марина с долей возражения (что предпочитала она в ответ на вежливый комплимент взамен кроткого «thank you», выдыхаемого той же бостонской леди из недр ее банальной норки или нутрии, — но это не мешало даме после возмущаться «кичливостью наглой актерки», вовсе далекой от желания выставляться). Адины бобры (величественное множественное от бобр) были даром Демона, который, как нам уже известно, в последнее время встречался с ней в штатах Запада значительно чаще, чем в Восточной Эстотии, когда она была ребенком. Наш экстравагантный поклонник обнаружил к ней ту же tendresse[385], какую всегда питал к Вану. Это чувство в новом, применительно к Аде, выражении отдавало чрезмерной пылкостью, побудившей бдительных недоумков заподозрить, будто старый Демон «спит со своей племянницей» (на самом деле тот все более и более увлекался испаночками, становившимися у него с каждым годом все моложе и моложе, так что к концу столетия, когда ему, скрывавшему седину синевой ночи, уж было шестьдесят, воспылал страстью к строптивой десятилетней нимфетке). Настолько слабо разбирался свет в реальном порядке вещей, что даже Кордула Тобак, урожденная де Прэ, а также Грейс Веллингтон, урожденная Ласкина, говорили о Демоне Вине с его модной эспаньолкой и непременным жабо как о «преемнике Вана».

Ни брат, ни сестра так и не смогли восстановить (а всё здесь, включая морскую выдру, не следует относить к прихотям рассказчика, — мы в свое время и не такое выделывали), что говорили, как целовались, как сумели совладать со слезами, как он увлек ее к кушетке, пламенея от гордости предъявить свою молниеносную реакцию ей, которая так же неодета (под своими жаркими мехами), как тогда, когда шла со свечой в волшебном стекле окна. С жадностью насладившись вдоволь ее шеей и сосками, Ван хотел было перейти к следующей стадии неудержимого безумства, но Ада его остановила, сказав, что прежде должна немедленно принять утреннюю ванну (да, то была новая Ада!) и что, кроме того, с минуты на минуту заявятся с ее багажом эти хамы из вестибюля «Монако» (она ошиблась подъездом — однако подкупленный Ваном верный привратник Кордулы буквально внес ее к нему на руках).

— Быстренько-быстренько! — заверила Ада. — Да, да, пара секунд, и Ада возникнет из пены!

Но обезумевший от долгого воздержания Ван, скинув халат, проследовал за ней в ванную, где Ада сначала потянулась через утопленную ванну, чтоб отвернуть оба крана, потом склонилась ниже, чтобы вставить бронзовую заглушку на цепочке; та, однако, всосалась сама, Ван же, приведя в устойчивость ее прелестный, изогнутый лирой торс, вмиг оказался у ворсистого истока, и был захвачен, был затянут в омут такими знакомыми, несравненными, с малиновой обводкой, губами. Она вцепилась в сокрестия кранов-двойняшек, тем самым невольно усилив гипнотическое звучание бегущей воды, Ван испустил протяжный стон облегчения, и теперь обе пары их глаз снова видели перед собой лазурный ручей Соснового Дола, а Люсетт, после короткого стука распахнувшая дверь в ванную, замерла как завороженная при виде Ванова шерстистого зада и ужасного шрама у него на левом боку.

Адины руки завернули краны. Багаж валялся в беспорядке по всей квартире.

— Я не смотрю, — по-идиотски сказала Люсетт. — Просто заглянула за своей коробочкой.

— Прошу тебя, киска, дай им на чай! — сказал Ван, вечно озабоченный чаевыми.

— А мне передай полотенце! — добавила Ада, но наша прислужница подбирала рассыпанные ею в спешке монетки, и тут Ада, в свою очередь, увидала алую лесенку Вановых швов. — Ах ты мой бедный! — вскричала она, чистым состраданием побуждая его возобновить действие, которое появление Люсетт грозило прервать.

— Не помню, захватила я с собой или нет ее дурацкие кранахские карандаши! — проговорила Ада через некоторое время с гримаской испуганного лягушонка.

Он следил за ее движениями, ощущая приправленное нежнейшим хвойным ароматом блаженство, пока она выдавливала в ванну струйками желеобразную жидкость из тюбика с лосьоном «Pennsilvestris».

Люсетт уже исчезла (оставив краткую записку с указанием своего номера в Уинстер-Отеле Для Барышень), когда двое наших любовников, теперь с подкашивающимися ногами, но вполне одетые, устроили себе роскошный завтрак (ардисовский налитой бекон, ардисовский прозрачный мед!), лифтом доставленный наверх Валерио, пожилым медноволосым римлянином, вечно нечисто выбритым и мрачным, но все же славным малым (именно он раздобыл в прошлом июне чистенькую Розу и теперь получал плату за то, что держал ее исключительно для Вина с Дином).

Сколько было смеха, сколько слез, сколько неотделимых поцелуев, какой поток нескончаемых планов! Какая привольность, какая свобода любви! Две не связанные родством цыганки-куртизанки, девушка-дикарка в знойной «лолите», с губками, как маки, с темным пушком на коже,

подобранная в каком-то кафе между Грассом и Ниццей, и другая, подрабатывающая фотомоделью (помнишь, в рекламе фирмы «Феллата» нежно тянет губы к восставшему стержню губной помады?), метко прозванная Ласточкин Хвост патронами любоцвета в Норфолк-Бродз, — обе определили нашему герою одну и ту же причину, закрытую для семейной хроники, по которой он при всей своей удали, оказывается, абсолютно не способен к детопроизводству. Подивившись предсказаниям двух Гекат, Ван прошел некоторое обследование, и все доктора, хоть и отмахнулись от самого симптома как от случайности, сошлись во мнении, что Ван Вин, как любовник пусть могучий и выносливый, должен оставить надежду на продолжение рода. Вот уж весело Адочка захлопала в ладоши!

Ну как, хочет она остаться с ним в этой квартире до весеннего семестра (теперь он время мерил семестрами), чтоб затем вместе отправиться в Кингстон, или, может, предпочитает на пару месяцев укатить куда-нибудь за границу — скажем, в Патагонию, Анголу или Гулулу, что в новозеландских горах? Остаться здесь? Так ей здесь нравится? Да, если не считать кое-какого имущества Кордулы, от которого неплохо бы избавиться, — вон, пожалуйста, раскрытая браунхильская «Альма-Матер для гетер» поверх портретика несчастной Ванды. Беднягу, скорее всего в Рагузе, звездной ночью пристрелила подружка ее подружки. Да, сказал Ван, печальная история. Интересно, крошка Люсетт рассказывала ему об одной недавней проделке? Как обе, безумные Офелии, устроили каламбурию с верхушечкой клитора? Вожделея испытать клиторическое наслаждение?

— N'exagérons pas, tu sais[386], — прибавила Ада, отвергающе отмахиваясь ладошками.

Люсетт утверждает, заметила она, будто бы она (Ада) подражала вою горных львов.

Ван осведомлен. Вернее сказать, об-инцест-влен.

— Вот именно! — подхватила его всепомнящая собеседница.

Да, кстати сказать, Грейс — именно Грейс — была истинной любимицей Ванды, pas petite moi[387] с моим маленьким крестулечкой. Разве не отличалась она (Ада) странной манерой вечно разглаживать складки прошлого — флейтиста изображать сущим импотентом (полноценным только с женой) или позволить лишь разок себя обнять благородному фермеру, с которым случилась скорая эякуляция, этакое кошмарное в русском языке словцо из заимствованных? И пусть, пусть это ужасно, но ей так хочется снова сыграть в скраббл, до того как они окончательно устроятся. Но где, как? Разве мистеру Ивану Вину с супругой не всюду будет одинаково чудесно? А как же «холостая» отметка в паспорте? Достаточно сходить в ближайшее консульство и либо возмущенными криками, либо неимоверной взяткой исправить ее на «брачную» на веки вечные.

— Ах, какая я все-таки умница! Вот же ее знаменитые карандаши! Так заботливо и вместе с тем так мило с твоей стороны было пригласить ее на ближайший уик-энд! По-моему, она в тебя влюблена даже больше, чем

в меня, бедная киска! Карандаши Демон приобрел в Штрассбурге. В конце-то концов, она теперь уже полудевственница… («Я слышал, вы с папой…» — вступил было Ван, но зачин новой темы был скомкан)… и нам можно безбоязненно у нее на глазах позволять себе ébats[388] (намеренно произносит первую гласную à la Russe[389] в хулиганском раже, за что и моя проза так ценится).

— Ты звучишь пумой, — сказал Ван, — а она — причем, мастерски! — моей любимой viola sordino. Кстати, имитаторша она потрясающая, и пусть ты лучше ее в…

— О моих талантах и моих штучках поговорим в другой раз, — прервала его Ада. — Тема малоприятная. Давай-ка лучше посмотрим эти фотографии.

7

Во время Адиного безотрадного пребывания в Ардисе ее посетил совершенно преобразившийся и раздобревший Ким Богарнэ. Под мышкой он имел альбом, обтянутый рыже-коричневой материей, цвет этот Ада с детства не переносила. За два или три года, сколько она не видела Кима, тот из верткого, худого парня с землистым лицом превратился в меланхоличного верзилу, отдаленно напоминавшего янычара из какой-нибудь экзотической оперы, вышагивающего на сцену, чтобы возвестить о нашествии или о казни. Дядюшка Дэн, которого как раз в этот момент красивая сиделка с важным видом выкатила на кресле в сад, где с деревьев облетали медные и ярко-красные листья, шумно потребовал, чтоб ему показали ту большую книгу, но Ким сказал:

— Давайте не сейчас!

И пошел вслед за Адой в отведенный под приемную уголок вестибюля.

Он поднес ей подарок, собрание фотографий, сделанных им в старое доброе время. Ким все надеялся, что старое доброе время возобновится, но как только ему дали понять, что мосьё votre cousin[390] (Ким говорил с сильным креольским акцентом, полагая, что такая речь в особо важных обстоятельствах более уместна, чем повседневный ладорский английский) в ближайшее время с визитом в замок не ожидается — а следовательно, не поспособствует продолжению альбома до нынешнего времени, — то Ким счел: уместней всего, пожалуй, будет теперь pour tous les cernés (скорее для всех «захваченных», «окруженных», чем «посвященных»), передать Аде, чтоб хранила (или уничтожила и позабыла, чтоб никого не обижать) в своих прелестных ручках весь иллюстративный материал. Сердито поморщившись при слове jolies[391], Ада раскрыла альбом на одной из темно-бордовых закладок, со значением вложенных там и сям, взглянула, щелкнула замочком, протянула осклабившемуся вымогателю

тысячедолларовую банкноту, которая по счастью оказалась в сумочке, вызвала Бутейана и приказала ему спустить Кима с лестницы. Грязного цвета альбом с наклеенными фотографиями оставила на стуле, прикрыв своей испанской шалью. Старый слуга шарканул ногой, выпихивая за порог занесенный сквозняком влажный лист тюльпанного дерева, и снова прикрыл дверь.

— Именно это и я хотел тебе сказать, — заметил Ван, когда Ада закончила описывать сей неприятный инцидент. — Что, фото в самом деле непристойны?

— Б-р-р-р-р! — выдохнула Ада.

— Mademoiselle n'aurait jamais dû recevoir ce gredin![392] — бормотал старик, плетясь по вестибюлю обратно.

— Такие денежки могли бы пойти на дело более почтенное… скажем, Приют для Слепых Жеребцов или Престарелых Золушек.

— Странно от тебя такое слышать!

— Почему?

— Да так… Все-таки гадкая вещица теперь надежно запрятана. Я не могла не заплатить за него, иначе он показал бы горемычной Марине снимки, на которых Ван соблазняет свою кузиночку Аду, — а это было бы весьма некстати; что говорить, с его гениально острым глазом ну как не докопаться до полной правды.

— Неужели ты думаешь, будто выложив за альбом какую-то тысячу, можно гарантировать, что ничто не просочится и все будет в порядке?

— Ну да! А ты считаешь, что сумма ничтожно мала? Можно послать еще. Я знаю, как его найти. Изволь, он читает лекции по искусству прицельной фотосъемки в Школе фотографии в Калугано.

— Уж там масса объектов для прицела, — заметил Ван. — Так ты совершенно убеждена, что эта «гадкая вещица» имеется только у тебя?

— Ну разумеется! Альбом со мной, на дне чемодана. Сейчас я его тебе покажу.

— Скажи-ка, любимая, какой был у тебя коэффициент интеллекта, когда мы встретились?

— Двести с чем-то. Показатель ошеломительный.

— Так вот, на данный момент он у тебя здорово съежился. Проныра Ким сохранил все негативы плюс к тому у него полно снимков — наклеить в альбомы и разослать.

— Ты считаешь, что мой коэффициент теперь, как у Кордулы?

— Ниже. Давай-ка лучше взглянем на эти снимки, а потом уж обговорим

Кимов месячный оклад.

Первый цикл в злополучной серии отражало одно из начальных Вановых впечатлений от поместья Ардис, но в несколько ином, не из его воспоминаний, ракурсе. Впечатление ограничивалось пространством между темной на гравии тенью от calèche и белой, сиявшей на солнце ступенькой увенчанного колоннами крыльца. Марина, застряв рукой в рукаве пыльника, который ей помогает стянуть лакей (Прайс), взмахивает свободной рукой в театральном приветствии (абсолютно не в лад с ее лицом, искаженным гримасой наивного блаженства), а Ада в черном хоккейном блейзере — на самом деле не ее, а Вандином, — чуть присев, расплескав волосы по голым коленкам, ударяет Дэка букетом по носу, чтоб прекратил тявкать.

Затем последовало несколько предваряющих видов непосредственного окружения: кустарники вкруг, аллея, черное «О» грота, и гора, и огромная цепь, опоясывающая ствол редкого дуба, Quercus ruslan[393], Шатобр., и еще какие-то пейзажи, сочтенные живописными составителем иллюстрированного проспекта, но смотрящиеся довольно убого, поскольку исполнены начинающим фотографом.

Мастерство заметно росло.

Еще девица (Бланш!), склонившаяся на четвереньках точь-в-точь как Ада (и в самом деле не без внешнего сходства с ней), над Вановым чемоданом, раскрытым на полу, и «пожирающая глазами» силуэт Розочки-Грезочки на рекламном плакатике каких-то духов. А вот крест и сень ветвей над могилой любимой Марининой ключницы Анны Пименовны Непраслиновой (1797—1883).

Оставим лучше природные зарисовки — скунсообразных белок, полосатых рыбок в пузырящемся аквариуме, канарейку в ее благолепном заточении.

На фотографии овальный, значительно уменьшенный портрет маслом княгини Софьи Земской в двадцатилетнем возрасте, то есть в 1775 году, с двумя детьми (Марининым дедушкой, родившимся в 1772 году, и Демоновой бабушкой, родившейся в 1773 году).

— Что-то я его не помню, — сказал Ван. — Где это висело?

— В будуаре у Марины. А этот зад в сюртуке не узнаешь?

— Похоже на плохо пропечатанный снимок из журнала. Кто это?

— Сумеречников! Он фотографировал дядю Ваню целую вечность тому назад.

— Предлюмьерные Сумерки. Ба, а вот и Алонсо, специалист по бассейнам! На одной киприйской вечеринке я познакомился с его милой меланхоличной дочкой — похожа на тебя: и запахи, и вздохи, и ахи. Чарующая сила совпаденья.

— Оставь это для себя. А вот и наш мальчик!

— Здрасьте, Иван Дементьевич! — поприветствовал Ван себя в четырнадцатилетнем возрасте в шортах и без рубашки, метящего коническим снарядиком в мраморный торс крымской девы, обреченной поить умирающего матроса нескончаемой струей мраморной воды из пробитого пулей кувшина.

Проскакиваем Люсетт со скакалкой.

Ага, здравствуй, знакомый зяблик!

— Нет, это китайская пуночка (Chinese Wall Bunting). Вон, сидит на пороге входа в подвал. Дверь открыта. За ней садовые инструменты, крокетные молотки. Помнишь, как много экзотических, альпийских и полярных животных попадалось средь прочего зверья в наших местах?

За ленчем. Ада, низко склонившись, ест неловко очищенный, капающий персик (снято из сада сквозь балконную дверь).

Трагикомедия. Бланш в беседке-ленивке отбивается от двух любвеобильных цыган. Дядюшка Дэн безмятежно почитывает газету, основательно застряв в своем красном автомобильчике посреди черной грязи на Ладорской дороге.

Пара громадных, еще не разъединившихся «павлиньих глаза». Конюхи с садовниками каждый Божий год таскали Аде именно эту разновидность; и все это в каком-то смысле напоминает нам о тебе, милый Марко д'Андреа, или о тебе, рыжий Доменико Бенчи, или о тебе, темнокудрый, задумчивый Джованни дель Брина (считавших их летучими мышками), или о том, кого назвать не осмелюсь (ведь это научный вклад Люсетт, с такой легкостью загубленный после смерти своего изыскателя), который однажды майским утром 1542 года возле Флоренции, у садовой стены, еще не укрытой сенью не-заве-зенных-пока глициний (вклад полусестры Люсетт) точно так же мог подобрать пару in copula бабочек «павлиний глаз»: самца с опушенными усиками, самку с усиками-ниточками, чтобы прилежно изобразить их (наряду с мерзкими немыслимыми инсектами) по одну сторону оконной ниши в так называемой «Зале стихий» Палаццо Веккьо.

Восход солнца в Ардисе. Наше Вам: голый Ван, как в коконе, в своем гамаке под «лиддероном», так в Ладоре звался лиродендрон — не то чтобы lit d'édredon[394], но достойный рассветного каламбура и, безусловно, благоприятствующий физическому воплощению фантазий юного сновидца, очевидному под сетчатым прикрытием.

— Поздравляю! — повторил Ван в своем варианте. — Первая непристойная карточка. Несомненно, этот Багор-Вне хранит где-то в личном архиве увеличенную копию.

Ада сквозь лупу (которой Ван пользовался для разглядывания кое-каких деталей в рисунках своих психопатов) рассматривала плетенье гамака.

— Боюсь, это еще не предел, — заявила она не без лукавства; и, воспользовавшись тем, что альбом разглядывается в постели (теперь это представляется нам дурным вкусом), сумасбродка Ада навела лупу

для чтения на живого Вана, что проделывала многократно в тот благословенный, представленный здесь в иллюстрациях год, будучи ребенком любознательным в научном смысле и испорченным в художественном.

– Найду mouche (мушку) – залеплю! – сказала она, возвращаясь взглядом к вожделеющей маковке средь откровенных сетей. – К слову, у тебя в ящике полным-полно черных масок.

– Это маскарадные (для bals-masqués)! – пробормотал Ван.

Этюд для сравнения: Адины до самого верха обнажившиеся белые бедра (именинная юбка высоко задралась среди сучьев и веток), она сидит верхом на черной ветке Эдемского дерева. Потом: несколько снимков пикника 1884 года, например, Ада с Грейс пляшут разудалую лясканскую «шотландку», и Ван, стоя на руках, щиплет ртом звездчатку сосновую (название предположительное).

– С этим покончено, – сказал Ван, – дражайшее левое сухожилие служить отказалось. По-прежнему фехтую, и левой бью неплохо, но никакого хождения на руках. Ну же, не хлюпай носом, Ада! Аде не пристало хлюпать носом и реветь! Кинг Уинг утверждает, что великий Векчело воскрес как обыкновенный человек как раз к моим годам, стало быть, все происходит как надо. Ага, подвыпивший Бен Райт пытается повалять Бланш в конюшне – у сей девицы весьма заметная роль во всей этой окрошке!

– Бен? Ничего подобного! Ясно как Божий день, они просто танцуют. Прямо Красавица и Чудовище на том самом балу, где Золушка теряет подвязку, а Принц – свой восхитительный хрустальный гульфик. А здесь можно разглядеть в дальнем углу залы господина Уарда и госпожу Франш, олицетворяющих брейгелевскую kimbo (плебейскую манерность). Все эти разговоры о диких насилованиях в наших краях – крайнее преувеличение. D'ailleurs[395], то была последняя петарда, запущенная мистером Беном Райтом в Ардисе.

Ада на балконе (снято с края крыши нашим гуттаперчевым voyuer[396]), рисует один из любимых своих цветков, ладорский сатирион, налитой, с шелковистыми волосками, головкой кверху. Вану показалось, что он вспомнил тот самый закатный вечер, то возбуждение, ту нежность, некоторые слова, брошенные ею вскользь (в связи с дурацкими его ботаническими комментариями): «мой цветок раскрывается исключительно в сумерки!» Тот самый, что влажно лиловила кисточкой.

Парадное фото на отдельном листе: Адочка, хорошенькая до непристойности в своей хрупкости, и Ваничка в сером фланелевом костюмчике, школьном галстуке в косую полоску, рядышком, средь бела дня, оба со вниманием смотрят в Кимов (Симов, Хамов…) объектив, он – с едва заметной вымученной улыбкой, она – без всякого выражения. Оба вспомнили, когда (между первым крестиком и целым поцелуйным кладбищем) и по какому случаю сделан снимок: он был заказан Мариной, которая, вставив фото в рамочку, хранила его у себя в спальне рядом с фотографией своего братца в возрасте двенадцати или четырнадцати лет в байронке (рубашке-апаш) и держащего в сведенных вместе

чашечкой ладонях морскую свинку; все трое — точно дети одних родителей, но поскольку того мальчика на свете нет, значит, вивисекция тут ни при чем.

Другая фотография была сделана в тех же обстоятельствах, но по некоторым причинам оказалась отвергнута капризной Мариной: Ада сидит и читает за треногим столом, полусжатая в кулачок рука прикрывает нижнюю часть страницы. Исключительно редкая, лучистая, как будто беспричинная улыбка сияет на ее прямо-таки мавританских губах. Волосы частью прикрывают ключицу, частью откинуты за спину. Ван стоит, склонившись над нею, уставившись невидящим взглядом в раскрытую книгу. В полном и ясном сознании в этот миг скрытого фотощелчка Ван связал воедино недавнее прошлое с неизбежным будущим, и ему подумалось, именно это должно стать объективным восприятием истинного настоящего, и он должен запомнить пламя, всплеск и плоть этого настоящего (как действительно будет помнить лет через шесть — будет помнить и теперь, во второй половине следующего столетия).

Да, но что это за редкостное сияние, осветившее обожаемые губки? Живая насмешка грозит перейти, минуя стадию ликования, в полный экстаз:

— А знаешь ли, Ван, что за книга там лежит — рядом с зеркальцем Марины и щипчиками? Я тебе скажу. Один из крикливо-réjouissants[397] романов, что постоянно «торчат» на первой полосе Книжного Обозрения «Манхэттен Таймс». Убеждена, у Кордулы где-нибудь и по сей день такой валяется в укромном уголке, где вы с нею жались друг к дружке, после того как ты меня бросил.

— «Кошка»? — спросил Ван.

— Да нет, почище! «Тэбби» старика Бекстейна шедевр в сравнении с ним — это «Любовь под липами» некоего Илманна, перетащенная на английский Томасом Глэдстоном, по всей вероятности, служащим фирмы «Носильщик-паковщик» («Packers & Porters»), так как на странице, которой Адочка, адова дочка, так упивается на фото, «авто» переводится как «автомат». И надо же, надо же, ведь крошке Люсетт пришлось изучать этого Илманна да еще трех кошмарных Томов{119} в курсе литературы в Лосе!

— Ты помнишь эту ахинею, а я запомнил Под Лиственницами — наше непрерывное трехчасовое целование, случившееся сразу после.

— Смотри следующую иллюстрацию! — хмуро сказала Ада.

— Ах негодяй! — воскликнул Ван. — Должно быть, он повсюду ползал за нами на животе со своей амуницией! Я уничтожу его!

— Не будем о жертвах, Ван! Только о любви.

— Но взгляни же, дорогая, вот он я, упиваюсь твоим языком, а здесь я приклеился к твоему нёбу и…

— Перерыв! — взмолилась Ада. — Быстренько-быстренько!

— Всегда рад Вам служить, пока мне не стукнет девять десятков, — заверил Ван (пошлость подглядывателя оказалась заразительной), — причем девятью десять раз в месяц, по грубой прикидке.

— Ах, прикинь погрубее, еще и еще погрубее, скажем до ста пятидесяти, что означало бы, означало бы…

Но внезапный ураган смел эти подсчеты к чертям собачьим.

— Что ж, — предложил Ван, когда сознание к ним вернулось, — обратимся вновь к нашему исковерканному детству! Мне не терпится (поднимая альбом с прикроватного коврика) избавиться от этой обузы. Ага, новый персонаж, надпись гласит: «Д-р Кролик».

— Погоди-ка. «Крем Ван» хоть и лучший в мире, но избыток все же стоит убрать. Вот так. Ах, это мой бедный учитель естествознания!

Маленький «никкербоккер» в панамке, умирающий по своей бабочке («lepidopteron»). Страсть, болезнь. Что могла знать Диана о такой охоте?

— Любопытно, но у Кима он здесь вовсе не такой пушистенький и пухленький, каким я его воображал! Да нет же, дорогая, он высок, силен и красив, этот старый Мартовский Заяц! Объяснись!

— Нечего мне объяснять. Однажды я попросила Кима помочь мне принести кое-какие коробки и потом унести, вон наглядное доказательство. К тому же это вовсе не мой Кролик, а его брат Кароль, а может, Карапарс, Кролик. Доктор философии, родом из Турции.

— Обожаю, как ты щуришься, когда врешь! Удаленность миража в Малом Бесстыдстве.

— Я не вру! (с прелестным высокомерием) Он действительно доктор философии!

— Ван ist auch[398] не профан, — пробормотал Ван со значением.

— Наша самая заветная мечта, — продолжала Ада, — наша с Кроликом самая заветная мечта — это описать и проиллюстрировать ранние стадии развития, от яйца до куколки, всех известных рыже-коричневых нимфалид, Больших и Малых, начиная от тех, что водятся в Новом Свете. Я бы взялась за организацию постройки аргиннинария (защищенного от вредителей питомника) с регулируемой температурой и иными приспособлениями — скажем, с соответствующими запахами ночи и ночными голосами животных, чтоб в особых сложных случаях создать естественную атмосферу — гусеницам необходим изысканный уход! Сотни их видов и прекрасных подвидов водятся в обоих полушариях, но, повторяю, мы бы начали с Америки. С живых яйцекладущих самок и живого зеленого корма, такого как многообразные фиалки, доставляемые самолетом отовсюду, начиная да хоть бы с арктических ареалов — Ляски, Бра д'Оры, острова Победителя. В этом скопище должен быть также и фиалкарий с восхитительными цветущими растениями — от

endiconensis рода Северной Болотной Фиалки до всего миг цветущей, но великолепнейшей Viola kroliki, недавно описанной профессором Холлом из Залива Гутзон. Я бы изобразила в цвете все возрастные стадии и графически безупречные гениталии насекомых, а также строения прочих органов. Что за прекрасная была бы работа!

— Творение любви, — сказал Ван, переворачивая лист.

— Увы, мой милый единомышленник скончался, не оставив завещания, и все его коллекции, включая и мой скромный вклад, были проданы заурядным крольчатником клана Кроликов немецким агентам и татарским дельцам. Подло, несправедливо и ужасно печально!

— Мы подыщем тебе другого научного руководителя. Итак, что теперь?

Три лакея, Прайс, Норрис и Уард, выряженные для смеху пожарными. Младой Бут пылко целует в подъем с голубыми прожилками обнаженную ножку, воздетую и поставленную на перила лестницы. Ночной со стороны сада снимок: окно библиотеки с маленькими белыми призраками за ним, припавшими носами к стеклу.

Красиво расположенные веером на одном листе семь маленьких фоточек (diminutive stills), заснятых с интервалом в минуту, — явно из весьма удаленного укрытия — из глубин высокой травы и полевых цветов, из-под густо нависшей листвы. Отсутствие должного света и вклинивающиеся травинки неназойливо камуфлируют главные детали происходящего, в чем подозревается нечто больше, нежели обычная потасовка между двумя не вполне одетыми детишками.

На центральной миниатюре единственное, что в Аде хорошо различимо, это ее худенькая рука, замершая в воздетом положении вскинутым флагом, ненужное платье валяется в траве среди ромашек. На переднем плане возникает лупа (теперь извлеченная из-под простыни), скользя по верхам ромашек первого снимочка, натыкается на поганый гриб с плотно пригнанной шляпкой, поименованный по шотландским правилам (еще со времен отмены охоты на ведьм) «лорд-эректор». Еще любопытное растение, Дынька Марвелла, внешне напоминающая тыл увлеченного делом молодца, почти отчетливо различима на фоне бескрайнего цветочного пространства третьего снимка. На последующих трех la force des choses («безумство совокупления») настолько разметало буйные травы, что можно уже разглядеть детали запутанной комбинации, состоящей из неловких цыганских захватов и недозволенных «нельсонов». И наконец, на последнем снимке Ада обеими руками приводит в порядок волосы, в то время как ее Адам стоит над нею, цветущая ветвь заслоняет его бедро с нарочитой небрежностью средств, к каким старые мастера прибегали, блюдя райское целомудрие.

Равно небрежным тоном Ван заметил:

— Родная, ты слишком много куришь, у меня весь живот в пепле. Надеюсь, Бутыльян знает точный адрес профессора Богарнэ в его Афинском прибежище изобразительных искусств?

— Не стоит закалывать его, — сказала Ада. — Пусть он придурок, пусть

даже шантажист, но в его гнусности мне мнится истошный стон («visceral moan») больного художества. К тому же этот лист единственный здесь мерзкий по-настоящему. И еще не надо забывать про засаду в саду малолетки-златовласки.

— Какое к черту художество! Убожество, а не художество! Сделать подтирку из «Cart du Tendre»[399]! Зря ты мне все это показала. Этот скот всю нашу память опошлил! Либо глаза ему хлыстом выбью, либо спасу память о детстве и сам напишу книгу: «Ардис: семейная хроника».

— Ой, напиши! — воскликнула Ада (перевернув еще одну отвратительную подглядку — по-видимому, сквозь щель в чердачных досках). — Смотри-ка, вот наш крохотный Калиф-остров!

— Не желаю больше смотреть! Похоже, эта грязь действует на тебя возбуждающе. Отдельные особи возбуждаются от комиксов про авто и бикини.

— Ван, прошу тебя, взгляни! Вот четыре ивы, помнишь?

«Замок ласкают воды Адура:

Нет для туристов прекраснее тура!»

— Оказывается, это единственный цветной снимок. Ивы из-за зеленоватой коры как будто зеленеют листвой, хотя на самом деле листьев нет пока, ранняя весна, и вон, видишь, наша с тобой лодка «Souvenance»[400] в кустах! А вот и последняя карточка: Кимов гимн Ардису.

Все обитатели выстроились в несколько рядов на увенчанной колоннами лестнице позади самой президентши банка баронессы Вин и вице-президентши Иды Ларивьер. К ним с обоих флангов примыкает по одной хорошенькой машинистке: Бланш де ла Торфяник (поэтичная, в слезах, поистине достойна обожания) и негритяночка, нанятая за пару дней до отъезда Вана, в помощь Франш, довольно угрюмо возвышающейся над нею во втором ряду и не сводящей глаз с Бутейана, который все в том же costume sport[401], в каком был, когда увозил Вана (та карточка скомкана и выброшена). По правую руку от дворецкого выстроились три лакея; по левую стоят Бут (прислуживавший Вану), за ним тучный, с лицом мучнистого цвета повар (отец Бланш) и рядом с Франш — с ног до головы в клеточку джентльмен при обозначенном лямкой на плече бинокле: вероятно (как утверждает Ада), турист, который, прикатив на велосипеде из Англии взглянуть на Шато Бриана, свернул не на ту дорогу, а, судя по снимку, решил, что случайно встретил группу туристов, осматривающих еще одно старинное, достойное внимания поместье. В задних рядах скопились менее значительные объекты: служители и судомойки, а также садовники, конюхи, кучера, тени колонн, слуги и прислужницы, сподручники и сподручницы, прачки,

подавальщицы, накрывальщицы — мельчая по мере значимости, как в рекламе всякого банка, когда мелкие служащие, редея, отступают в тень, блокируемые локтями удачливых коллег, но все же тянутся вперед в процессе уступки затиранию, улыбаются.

— А это не пыхтелка Джонс там, во втором ряду? Старик всегда был мне симпатичен.

— Нет, — отвечала Ада, — это Прайс. Джонс появился через четыре года. Теперь он известный полицейский в Нижней Ладоре. Ну вот и все.

Небрежно вернувшись к ивам, Ван заметил:

— Все снимки в альбоме сделаны в 1884 году, кроме одного. Я никогда не катал тебя на лодке по Ладоре ранней весной. Отрадно, что ты еще не утратила способности краснеть.

— Это Ким виноват! Должно быть, закинул фоточку, снятую позже, году в 1888. Если хочешь, можем ее выдрать.

— Любимая, — сказал Ван, — весь 1888 год и так выдран. Тут не нужно быть детективом, чтобы разглядеть: из альбома выдернуто почти столько же листов, сколько осталось. Мне все равно… то есть мне неинтересно разглядывать всякую Knabenkräuter[402] и иные висячие части ботанизирующих с тобой дружков; только 1888 год Кимом припрятан, и он еще с ним объявится, едва потратит первый взнос.

— Да, я уничтожила 1888 год! — гордо парировала Ада. — Но я клянусь, я торжественно клянусь, что тот мужчина позади Бланш на снимке с крыльцом и был, и остался мне совершенно незнаком.

— Да Бог с ним, — сказал Ван. — Поверь, это не имеет значения. Просто весь альбом — насмешка и надругательство над нашим прошлым. По здравом размышлении, не буду я писать семейную хронику. Кстати, где теперь моя бедная Бланш?

— О, за нее можешь не волноваться! По-прежнему служит там. Знаешь, она ведь вернулась, после того как ты ее похитил. И вышла замуж за нашего конюха, русского, который сменил Бена Бенгальского, как того прозвали слуги.

— Неужели? Вот славно! Мадам Трофим Фартуков. Кто бы мог подумать!

— У них родился слепой ребенок, — сказала Ада.

— Любовь слепа, — заметил Ван.

— Она утверждает, что ты в первое же утро после приезда приставал к ней.

— Кимом не засвидетельствовано, — парировал Ван. — Их дитя так и останется слепеньким? Словом, не подыскала ли ты им по-настоящему стоящего специалиста?

— Увы, ребенок неизлечим. Кстати, что касается любви и порожденных ею мифов, ты отдаешь себе отчет — потому что я не отдавала, пока пару лет тому назад у нас с ней не состоялся разговор, — что все нас окружавшие тогда отнюдь не страдали плохим зрением? Оставим в стороне Кима, он всего лишь штатный шут — но отдаешь ли ты себе отчет в том, что, пока мы с тобой вели игры и предавались любви, наши отношения обрастали сущей легендой?

Она и вообразить не могла, повторяла Ада вновь и вновь (как будто намереваясь очистить прошлое от пошлой конкретики альбома), что их первое лето в садах и орхидереях Ардиса окуталось священной тайной, сделалось культом для жителей округи. Романтически настроенные служанки, зачитывавшиеся такими книгами, как «Гвен де Вер» или «Клара Мертваго»{120}, боготворили Аду, боготворили Вана, боготворя сень сада, отраду и услады Ардиса. Их фавны, наигрывая баллады на русских семиструнных лирах под сенью цветущих гроздьев или в старинных розовых садах (пока в замке одно за другим гасли окна), присочинили новые строки — наивные, лакейски-цветистые, однако задушевные — к круговертям народных песен. Чудаки полицейские млели от пленительного слова «инцест». Садовники приспосабливали для своих нужд переливчатую персидскую поэзию об орошении цветов и о Четырех Стрелах Любви. Ночные сторожа в «Приключениях Ваниады» обрели надежную защиту от бессонницы и триппериых страданий. Не тронутые молнией пастухи с отдаленных горных склонов прикладывали громадные гуды, точно слуховые трубки, к уху, вслушиваясь в напевы Ладоры. Помещицы-девственницы в своих виллах с мраморными полами одиноко тешили пламя, возбужденное в них романтической Вановой любовью. И вот минует еще столетие, и выведенное художником слово заиграет новыми красками под более щедрой кистью времени.

— Все это лишь означает, — заключил Ван, — что положение наше безнадежно.

8

Зная, что сестры питают слабость к русской кухне и к русским ресторанным зрелищам, Ван повел их в субботний вечер в «Урсус», лучший франко-эстотийский ресторан Большого Манхэттена. Обе юные дамы были в весьма коротких и откровенных вечерних туалетах, «размиражированных» в этом сезоне, по модному в том же сезоне выражению, Вассом: Ада в черном, прозрачном, Люсетт в атласном, золотисто-зеленом, цвета шпанской мушки. Губы сестер «перекликались» тоном (не интенсивностью) помады; глаза подведены в стиле «изумленной райской птички», что считалось модным в Лосе и в Люте. Месиво метафор и пустословие были к лицу всем троим Винам, баловням Венеры.

И уха, и шашлык, и аи возымели эффект легкий и привычный; в то время

как песни прежних лет, исполняемые известными мастерами русского «романса» — ласканкой-контральто и банфширским басом — с отзвуком пронзительной цыганщины, клокочущей в словах Григорьева и музыке Глинки, странным образом разбередили душу. Была там и Флора, хрупкая, едва ли достигшая брачного возраста, полуодетая мюзикхольная девочка неясного происхождения (румынка? римлянка? рамзейка?), чьими восхитительными услугами Ван позволял себе воспользоваться неоднократно за последнюю осень. Как «светский человек» Ван взирал с вежливым (быть может, даже чересчур) безразличием на ее чарующие прелести, хотя втайне они, несомненно, внесли свою яркую лепту во всколыхнувшееся в нем эротическое возбуждение, когда обе его красавицы, сбросив свои меха, явились пред ним в многоцветье праздничного великолепия; и Ванов трепет даже несколько обострялся осознанием тайной (ощутимой в полуоборота, краешком глаза), ревнивой, интуитивной подозрительности, с какой Ада и Люсетт без улыбки следили, как воспримет он внешне безобидный взгляд, таивший узнавание клиента и роняемый не раз скользившей мимо блядушкой (cute whorelet), как наши юные дамы с притворным безразличием прозвали меж собой Флору (весьма дорогую и совершенно бесподобную). Но вот затяжные рыдания скрипок проняли Вана с Адой с такой силой, что перехватило в горле: подобная реакция юности на романтический призыв побудила Аду в какой-то момент удалиться «попудрить носик», в то время как у вставшего Вана вырвался конвульсивный вздох, который он, хоть клял себя, сдержать не сумел. Он вновь принялся поглощать что было на тарелке, больно заехав локтем Люсетт по руке, а та сказала по-русски:

— Пусть я пьяна и вообще, но я (adore) — обожаю, обожаю, обожаю, обожаю больше всего на свете (you) — тебя, тебя (I ache for you unbearably) — я тоскую по тебе невыносимо, и, пожалуйста, не позволяй мне больше (swill) хлестать шампанское, не только потому, что я способна кинуться в реку Гутзон, если нет надежды быть с тобой, и не только из-за этого твоего пунцового отростка… как корень сорвавшегося в тебе сердца, бедный мой душенька (куда сердечней, чем darling), он мне показался длиной в целых восемь дюймов…

— Семь с половиной, — скромно пробормотал Ван, слегка отключаясь от музыки.

— …а потому что ты — Ван, до мозга костей Ван, ты и только ты, во плоти и во шраме, одна истина и только нашей жизни, моей окаянной жизни, Ван, Ван, Ван!

Тут Ван снова поднялся, так как Ада, веер черный в элегантном помахивании, провожаемая тысячью глаз, вернулась, лишь только начальные аккорды романса{121} (достославного фетовского «Сияла ночь») пробудили клавиши (и бас покашлял â la russe в кулак, перед тем как вступить).

A radiant night, a moon-filled garden. Beams

Lay at our feet. The drawing room, unlit;

Wide open, the grand piano; and our hearts

Throbbed to your song, as throbbed the strings in it…[403]

Потом Баноффски ввился в величайшие глинковские амфибрахии (Михаил Иванович при жизни их дядюшки гостил как-то летом в Ардисском поместье — до сих пор сохранилась зеленая скамья под квазиакациями, на которой, как утверждают, особенно часто сиживал композитор, утирая платком пот с широкого лба.

Subside, agitation of passion![404]

Вступали другие певцы, и песни становились все тоскливей и тоскливей — «Забыты нежные лобзанья»{122}, и «То было раннею весной, среди берез то было»{123}, и «Много песен слыхал я в родной стороне, в них о горе и радостях пели»{124}, и одна псевдопопулистская:

There's a crag on the Ross, overgrown with wild moss

On all sides, from the lowest to highest…[405]

Даже последовала серия дорожных плачей, вот, например, один, не слишком злоупотребляющий анапестом:

In a monotone tinkles the yoke-bell,

and the roadway is dusting a bit…[406]

А также исключительно гениальное откровение истлевшего в безвестности солдата:

Nadezhda, I shall then be back

When the true batch outboys the riot…[407]

И единственное из памятных стихов Тургенева, начинающееся строками:

Morning so nebulous, morning gray-dawning,

Reaped fields so sorrowful under snow coverings…[408]

Ну и конечно, знаменитый псевдоцыганский гитарный стих Аполлона Григорьева (очередного приятеля дядюшки Ивана):

O you, at least, do talk to me,

My seven-stringed companion,

Such yearning ache invades my soul,

Such moonlight fills the canyon![409]

— Послушайте, мы уж сыты по горло и ночью лунной, и клубничным суфле: хотя десерт не вполне «подъят» до возвышенного уровня, — заявила Ада в своей восхитительно игривой манере, в духе остинских барышень. — Пошли-ка все спать! Видала, киска, какая необъятная у нас постель? Вон, наш кавалер уже позевывает, «не иначе пасть порвет»! (Вульгарная ладорская шутка.)

— Точно (это восхождение к Зевоте) подмечено! — проговорил Ван, убирая пальцы с бархатисто-купидоновой щечки персика, который смял, так и не попробовав.

Метрдотель, виночерпий, шашлычник, а также орда официантов, буквально огорошенные количеством зернистой икры и аи, поглощенным такими с виду бесплотными Винами, теперь во все глаза следили за подносиком, уплывавшим обратно к Вану с грузом сдачи в золотых монетах и банкнотах.

— Отчего, — спросила Люсетт, чмокнув Аду в щеку, когда они обе встали (обе синхронно заводя за спину по руке в поисках манто, припрятанных в сейф или еще куда-то), — отчего тот первый романс, «Уж гасли в комнатах огни»{125}, где «благоухали розы», растрогал тебя сильней, чем твой любимый Фет и тот другой, про дубоватого горниста?

— Не только меня, Вана тоже, — коротко ответила Ада, коснувшись свежеподмазанными губами смешнющей веснушки пьяненькой Люсетт.

Церемонно Ван, проводя к выходу через вестибюль двух неспешно, покачивая бедрами, плывших граций (навстречу шиншилловым манто, уж

метнувшимися под руки усилиями множества каких-то новых, услужливых и до несправедливости, до необъяснимости материально неудовлетворенных субъектов), едва касаясь, будто лишь нынче вечером с ними познакомился, ограждал левой ладонью низко обнаженную спину Ады, правой — спинку Люсетт, столь же низко обнаженную. (Как это у нее прозвучало: «десерт» или «да ферт»? Шепелявинка с губ слетела?) Отчужденно Ван оценил и взвесил сначала одно полуприкосновение, потом другое. Жесткая, жаркая слоновая кость родного изгиба; влажная бархатистость Люсетт. Ван тоже, видно, слегка «перебрал» шампанского, а именно: махнул четыре из полудюжины бутылок супротив резону (как сказали бы мы на старом чузовском жаргоне) и теперь, устремившись за голубоватыми мехами своих спутниц, он сперва по-дурацки нюхнул правую руку, прежде чем вдеть ее в перчатку.

— Ну и ну, — услышал он сбоку гортанный хохоток (уж столько вокруг было развратников), — двоих тебе, Вин, похоже, не потянуть!

Ван дернулся на голос с намерением поколотить грубияна — но то была лишь Флора, пугающе дерзкая, восхитительно строящая глазки. Ван попытался было всучить ей банкноту, но та улизнула, на прощанье призывно сверкнув браслетами и звездами на сосках.

Едва Эдмунд (не Эдмонд, который по соображениям безопасности — он Аду знал — был отправлен обратно в Кингстон) привез их домой, Ада, надув щеки и сделав большие глаза, устремилась в Ванову ванную. Ее собственная перешла в пользование пошатывавшейся гостьи. Ван, находившийся в географическом смысле чуть ближе от старшей сестры, стоя и с превеликим облегчением воспользовался удобствами маленького «весси» (канадийское наименование WC) при своей гардеробной. Он снял смокинг и галстук, расслабил воротничок шелковой сорочки и помедлил, разбираясь со своими желаниями: в ванной позади их спальни и гостиной Ада наполняла ванну; звучавший в ушах недавний гитарный перебор мелодично вливался в шум бегущей воды (те редкие случаи, когда он вспоминал той вполне разумные речи в последнем ее санатории в Агавии).

Ван провел языком по губам, откашлялся и, решив подбить двух пташек одной шишкой, направился в дальний, южный, конец квартиры через будуэр и столонную (в возбуждении нас тянет обычно на канадийский диалект). В комнате для гостей Люсетт, стоя к нему спиной, натягивала через голову бледно-зеленую ночную сорочку. При виде ее узких голых бедер наш жалкий повеса невольно был очарован трогательно-идеальной, в области священного пояса красоты, симметрией двух изысканных ямочек-близняшек над ягодицами, свойственных лишь безупречно сложенным и юным. О, у Люсетт ямочки были даже прелестней, чем у Ады! По счастью, Люсетт повернулась, приглаживая руками сбившиеся локоны, продетая сорочка съехала до колен.

— Голубчик, — сказал Ван, — прошу тебя, помоги! Она рассказала мне про своего валентинского estanciero[410], а я вот никак не вспомню его имени, не врываться же к ней в ванную!

— Ничего она тебе не рассказывала, — отвечала верная Люсетт, — и

нечего тебе вспоминать! Нет уж! Не стану я вредить твоей и моей любушке, ведь известно, что тебе только дверцу укажи, ты по ней из пистолета шарахнешь.

— Умоляю, лисонька моя! Взамен с меня самый горячий поцелуй!

— Ах Ван, — проговорила Люсетт с глубоким вздохом. — Поклянись, что не скажешь ей, если я тебе скажу?

— Клянусь! Нет, нет и нет! — Тут у Вана прорвался русский говор, поскольку Люсетт, отрекшись от несуразности своих чувств, уж потянулась прильнуть к нему животом. — Никак-с нет! Только без губ, без приворотного зелья, без носика, без влажных глаз! В лисичкину подмышку и все… если, конечно… (отпрянув, с игривым сомнением)… да неужто бреешь там, а?

— Если брить, хуже пахнет! — созналась простодушная Люсетт, покорно сдвигая сорочку с плеча.

— Руку вверх! Направление — рай! Терра! Венера! — скомандовал Ван и на два-три удара забившихся в унисон сердец не без риска приложился жадными губами к жаркой, влажной впадине.

Люсетт тяжело опустилась в кресло, прижимая руку ко лбу.

— Убрать свет со сцены! — сказал Ван. — Теперь имя этого типа.

— Виноземский! — произнесла Люсетт.

Донесся голос Ады Виноземской, призывавший принести ей хрустальные домашние туфельки (которые он и при дворе у Кордуленки с трудом отличал от бальных), и уже через минуту, пребывая все в том же напряжении, Ван погрузился в хмельное забытье, в котором грубо овладевал Розой, — нет, Адой, только в розопривычной манере, на каком-то приземистом комодике. Та вскрикивала, что ей больно, называла «тираном-тигром». Он отправился спать и уже было забылся сном, как почувствовал, как она встает. Куда? Киска хочет посмотреть альбом.

— Мигом — потрусь и обратно, — сказала Ада (жаргон школьниц-лесбиянок), — так что не спи! Кстати, отныне и впредь до очередного указания у нас пойдет «умертви-шерами» (игра видовым названием и прозвищем известной мухи).

— Только без сафических форшмаков, пожалуйста! — пробормотал Ван в подушку.

— Ах Ван, — сказала Ада, качая головой и взявшись рукой за опаловую ручку двери в конце бездонной спальни. — Опять за старое! Сам же придумал, будто я только бледное дикое дитя с цыганскими волосами из бессмертной баллады, из какой-то недействительности, из раттнеровского «крапчатого мира», построенного лишь на принципе случайных отклонений. Как можешь ты требовать, — раздавались ее слова… где-то между пухлыми выпуклостями его подушки (ибо Ада уже

давно исчезла вместе со своим кроваво-бурым альбомом), — как можешь ты требовать целомудрия от дельфинетки! Ведь знаешь, по-настоящему я люблю только мужчин, а средь них, увы, только одного.

В Адиных намеках на ее отношение к плотским утехам всегда было что-то красочно импрессионистическое и в то же время инфантильное, что-то сродни камуфляжу, или стеклянным лабиринтикам с двумя перекатывающимися горошинами, или ардисовской ловушке-подкидушке — помнишь? — подбрасывавшей вверх перед стрелком глиняных голубей и сосновые шишки, или игре «кокамару» (по-русски «бикса»), играют в которую маленьким кием на длинном, обтянутом бильярдным сукном столе с лунками и лузами, колокольцами и колками, меж которых петляет зигзагами, толчком — пух! — направленный матовый шарик размером с пинг-понговый.

Тропы — это речевые видения. Плывя сквозь самшитовую дымку бильярдными трассами Ардиса, Ван погрузился в сон. Когда открыл глаза, было девять утра. Ада лежала поодаль, свернувшись комочком, и было пусто в раскрытых скобках, чье содержание не подоспело к заключению в них, а любимые, прекрасные, полные вероломства, иссиня-черно-бронзовые волосы пахли Ардисом и еще Люсеттиным «О де Грас».

Послала она этому телеграмму? С отставкой или с отсрочкой? Миссис Винер… нет, Вингольфер, нет, он Виноземский… первый русский, вкусивший виноград лабруску.

— Мне снится саПЕРник ЩАСТЛИВОЙ!

(Михаил Иванович, чертя тростью на песке разводы, согбенный на своей скамье под густомолочными гроздями.)

— Мне снится соперник счастливый!

В данный момент мне бы лекаря Похмелькера с его ударным kaffe-инчиком.

Поскольку Ада в свои двадцать любила утром подольше поспать, Ван уже привык с начала их совместной жизни принимать душ до того, как она проснется и, бреясь, звонить из ванной Валерио, чтоб принес завтрак, потом тот выкатывал сервировочный столик из лифта в гостиную рядом с их спальней. Но в то воскресное утро, не подозревая о теперешних вкусах Люсетт (в детстве, помнится, она обожала какао) и испытывая острое желание с утра пораньше насладиться Адой, даже если придется нарушить ее прелестный сон, Ван спешно довершил омовение, наскоро вытерся полотенцем, припудрил в паху и, даже не позаботившись одеться, вернулся в боевой готовности в спальню, однако обнаружил там взъерошенную и мрачную Люсетт все в той же бледно-зеленой ночной сорочке, сидевшую на краешке прелюбодейского ложа, тогда как с набухшими сосками Ада, успев надеть, из ритуальных или прорицательских соображений, его дар — алмазное ожерелье, затягивалась первой утренней сигаретой, пытаясь добиться от сестрички, хочет ли та монакских блинов с потомакским сиропом или же предпочитает несравненный их янтарно-рубиновый бекон. Завидев Вана, который, нимало не смущаясь впечатлением, производимым его внешним

видом, подошел и стал каким надо коленом на ближайший край громадной кровати (Роза с Миссисипи однажды привлекла на нее с прогрессивной целью наглядного просвещения двух своих сестренок-шоколадок, а также куклу примерно с них ростом, только белую), Люсетт дернулась было, чтоб уйти, однако жадная рука Ады остановила ее.

— Не газуй, киска! (Выражение пошло с тех пор, как наша малышка где-то году в 1882 легонько попортила воздух за столом.) А ты, Божество Садовое{126}, позвони-ка, чтоб принесли завтрак в номер — три кофе, полдюжины яиц всмятку, побольше тостов с маслом и кучу…

— Ну уж нет! — перебил ее Ван. — Два кофе, четыре яйца et cetera. Я вовсе не желаю, чтоб администрация узнала, что со мной в постели две девицы, при моих скромных потребностях одной (teste[411] у Флоры) довольно.

— Скромных! — фыркнула Люсетт. — Пусти меня, Ада, мне нужна ванна, а ему нужна ты.

— Киска останется здесь! — вызывающе выкрикнула Ада и вмиг изящным жестом сдернула с сестры ночную сорочку.

Люсетт покорно поникла головой, хрупкие плечики опустились; она привалилась спиной к наружной стороне Адиной подушки с уничижительной бесчувственностью жертвы, кудри оранжевой дымкой обволокли черный бархат пухлого изголовья.

— Да не зажимайся ты, дурочка, руками! — приказала Ада, сбрасывая простыню, полуприкрывавшую три пары ног. Одновременно, не повернув головы, она рукой отпихнула подсуетившегося Вана от своего зада, в то время как другой принялась колдовать над маленькими, но прелестными, в алмазиках пота, грудками и над втянутым, трепещущим животом, скользя вниз к жар-птице, раз уж примеченной Ваном, теперь вполне оперившейся, и восхитительной на свой лад, как и вожделенный его иссиня-черный вороненок. Чаровница! Акразия{127}!

То, что сложилось теперь, не вполне можно бы назвать ситуацией в духе Казановы{128} (тот помноженный надвое распутник мазал одной краской, отражая своими мемуарами однообразие своей эпохи) — скорее полотном более раннего живописца, представителя венецианской (sensu largo[412]) школы, представленной (в «Запретных живописцах») достаточно умело, чтоб выдержать пытливый бордельный, vue d'oiseau[413] взгляд.

Так вот, вид сверху, как бы в отражении потолочного зеркала, которое Эрик по наивности замыслил в своих распутных мечтах (на самом деле изображение сверху притемнено, поскольку нераскрытые шторы все еще преграждают доступ внутрь хмурому утру), открывает зрителю широким островом кровать, подсвеченную слева от нас (справа от Люсетт) ночником, тихо зудящим накаливанием на столике с западного края кровати. Простыня и стеганое одеяло сбились у лишенного бортика подножия в южной части острова, откуда едва приземливший взгляд начинает свой путь на север по распахнуто-раздвинутым ногам младшей мисс Вин. Росинка на рыжеватом мху непроизвольно отзывается

стилистическим откликом в аквамариновой слезке на пылающей щеке. Еще один маршрут из гавани в глубь материка пролегает по всей длине белого левого бедра той, что лежит посредине; взглянем, что за сувениры предложены на обозрение: вот покрытые алым лаком длинные Адины ногти, пальцы направляют в меру упрямую, оправданно податливую мужскую руку с притемненного востока на просветленный рыжеватый запад, вот сияет ее алмазное ожерелье, которое в данный момент не намного драгоценней аквамаринового с противоположной (западной) стороны пути под названием Неизведанный Роман. Обнаженный, со шрамом, мужчина на восточной оконечности острова попадает в полутень и в целом менее интересен, однако возбужден так неистово, что это ни ему, ни определенного свойства туристу ничего хорошего не сулит. Стена со свежеоклеенными обоями к западу от теперь уж громче зудящей (et pour cause[414]) доросиновой лампы украшена в честь девушки в центре перуанской жимолостью — магнитом для восхитительной колибри Loddigesia{129} (привлекаемой, боюсь, не столько ради сбора нектара, сколько ради микронасекомых, завязших в цветках), тогда как на столике с этого края — невзрачный коробок спичек, караванчик сигарет, подносик из Монако, экземпляр слабого Вольтэмандового триллера и Огненная Орхидея Oncidium{130} в аметистовой вазочке. На аналогичном столике с Вановой стороны имеется подобная же сверхмощная, однако не включенная лампа, дорофон, пачка бумажных платков, лупа для чтения, возвращенный ардисовский альбом, а также оттиск статьи «Тихая музыка как причина мозговых опухолей», подписанная: д-р Чирей (шутливый псевдоним юного Раттнера). Звуки имеют цвет, цвета имеют запах. Янтарный пожар Люсетт вторгается в ночной жар и запахи Ады, упираясь в порог Ванового лавандового желания. Десять жадных, порочных, нежных, длинных пальцев двоих разнополых демонят ласкают, приняв в свою постель, беспомощную киску. Темные, распущенные волосы Ады походя щекочут редкую достопримечательность местного колорита, сжимаемую ее левой рукой, великодушно выставляющей напоказ свою находку. Без рамы, без подписи.

Тут можно бы и подвести черту (так как волшебно ожившая диковинка вмиг изошла влагой, и Люсетт, подхватив ночную сорочку, убежала к себе). Оказалось, лавочка — из тех, где ювелир касанием кончиками пальцев нежно, подобно тому, как сучит задними крылышками присевшая голубянка, или тому, как потирает готовую исчезнуть монету фокусник, умеет безделку представить подороже; но как раз в такой лавочке дотошный искатель-художник, по капризу или с умыслом, как ober или unterart[415], находит неопознанное полотно, приписываемое Грилло или Обьето.

— Бедняжка, как она нервна! — заметила Ада, потянувшись через Вана к пачке бумажных платков. — Можешь теперь заказывать завтрак — хотя… О, какой восхитительный вид! Похвально! В жизни не видала мужчину, чтоб так мгновенно восстанавливался.

— Сотни шлюх и множество красоток и поопытней будущей миссис Виноземской говорили мне то же.

— Пусть я не отличаюсь прежней сообразительностью, — грустно сказала Ада, — только знаю я одну особу, это не просто кошка, это блудливая

кошка, и зовут ее Кордула Тобакко, она же мадам Извращенская. В сегодняшней утренней газете сообщается, что во Франции девяносто процентов кошек мрут от рака. Интересно, как обстоит с этим дело в Польше.

После определенной паузы он обожал [sic! — Ред.] блины. Люсетт, однако, так и не вернулась, и когда Ада, по-прежнему в своих алмазах (значит, до утренней ванны поимела по меньшей мере еще одну порцию caro[416] Вана с одним «кэмелом») заглянула в комнату для гостей, то обнаружила, что белый саквояж и голубые меха исчезли. К подушке была приколота записка, выведенная зеленой подводкой «Арлен»:

Другой такой ночи не вынесу можно помешаться еду в Верма кататься на лыжах с прочими жалкими шерстистыми гусеницами недели на три несчастная

Pour Elle[417].

Подойдя к аналою, приобретенному в монастыре, чтобы при писании поддерживать позвоночное мышление в вертикальности, Ван начертал следующее письмо:

Бедняжка Л.!

Очень огорчились, что ты так скоро ушла. Еще более для нас огорчительно, что вовлекли нашу Эсмеральду и русалочку в отвратительные шалости. Никогда впредь, милая жар-птичка, не будем мы играть с тобой в такие игры. Про. про. (просим прощения). Мысленное отражение, брожение и жжение прекрасного толкает художников и безумцев к непредсказуемости. Известно, что зеленый глаз и золотистый локон сводят с ума и пилотов мощных авиалайнеров, и даже грубых вонючих ямщиков. Нам хотелось любоваться тобой, позабавить тебя, РАП(райская птица)! Мы зашли слишком далеко. Мы раскаиваемся в постыдном, хоть в основе своей невинном, поступке. Нам предстоит исправить многое после столь глубокого потрясения. Зачеркни все и забудь!

С любовью, твои А. & В. (в алфавитном порядке)

— По-моему, написано до омерзения высокопарно и благонравно! — заметила Ада, проглядев Ваново письмо. — С чего это нам просить у нее «про», ведь благодаря нам она испытала восхитительную спазмочку? Я ее люблю и ни за что не позволю тебе ее обидеть. И, знаешь, забавно — что-то в тоне твоего письма впервые в моей крови [в рукописи именно это слово вместо «жизни». — Ред.] распаляет настоящую ревность. Ах Ван, Ван, когда-нибудь, в один прекрасный день, после солнечной ванны или танца, ты, да-да, Ван, непременно с нею переспишь!

— Разве только у тебя кончится любовное зелье! Так ты позволишь мне

послать ей, что я написал?

— Посылай, только прежде я кое-что припишу. Адин P.S. выглядел так:

Приведенное выше заявление принадлежит Вану, и я подписываюсь под ним неохотно. Оно высокопарно и благонравно. Боготворю тебя, моя крошка, и ни за что не позволю ему, ни ненароком, ни в сердцах, тебя обидеть. Когда тебе наскучит Куин, может, слетаешь в Голландию или Италию?

А.

— А теперь выйдем, глотнем свежего воздуха? — предложил Ван. — Прикажу, чтоб седлали Пардуса с Пег.

— Прошлой ночью меня узнали двое, — сказала Ада. — Два совершенно разных калифорнийца, но поклониться не осмелились — при том бретёре в атласном смокинге, что был при мне и шарил взглядом по сторонам. Один из них — продюсер по имени Анскар, другой, с кокоткой, — Поль Винье, лондонский приятель твоего отца. Я как бы надеялась, что мы снова в постель…

— Мы сейчас выйдем и отправимся верхом в парк, — железным тоном сказал Ван и первым долгом позвонил, чтоб воскресный посыльный передал письмо для Люсетт в отель или отправил на курорт в Верма, если она уже съехала.

— Надеюсь, ты соображаешь, что делаешь? — заметила Ада.

— Именно! — кивнул он.

— Ты разбиваешь ей сердце, — сказала Ада.

— Адочка, обожаемая детка моя! — вскричал Ван. — У меня внутри зияющая пустота! Я прихожу в себя после длительной и ужасной болезни. Ты проливала слезы над моим недостойным шрамом, но отныне жизнь превращается для нас в неизбывную любовь и радость, в кукурузу сахарную! Я не способен заботиться о чужих разбитых сердцах, мое тоже едва склеено. Ты накинешь голубую вуаль, я сделаю себе накладные усы и стану походить на своего учителя фехтования Пьера Леграна.

— Аи fond[418], — сказала Ада, — кузен с кузиной имеют полное право ездить вместе верхом. Даже танцевать и кататься на коньках, если пожелают. В конце концов, кузен с кузиной почти что брат с сестрой. Сегодня хмурый, леденящий, безветренный день.

Вскоре она была готова, они нежно поцеловались в вестибюле между лифтом и лестницей, расставаясь всего на несколько минут.

— Башня! — шепнула она в ответ на его вопросительный взгляд, точь-в-точь как говорила в те былые медовые утра, утверждаясь в радости. —

А тебе?

— Сущий зиккурат!

9

После некоторого выведывания им удалось напасть на след фильма «Молодые и обреченные»{131} — повторно его показывали в маленьком кинотеатре, специализировавшемся на Ярких Вестернах (как прежде именовались эти барханы псевдоискусства). Вот во что выродились «Скверные дети» (1887) мадемуазель Ларивьер. У нее было — замок во Франции, двое подростков-близнецов подсыпают яду своей вдовствующей матушке, совратившей юного соседа, любовника сестрички. Автор сюжета многократно шла на уступки свободным нравам эпохи, а также пошлым фантазиям сценаристов; но, как и исполнительница главной роли, она полностью отреклась от того, что получилось в итоге многочисленных вторжений в сценарий и вылилось под конец в историю некого убийства в Аризоне, жертвой которого стал вдовец, собравшийся жениться на проститутке-алкоголичке, которую Марина, не без оснований, воплощать отказалась. Однако бедная Адочка схватилась за предложенную рольку, двухминутный эпизод в трактире (roadside tavern). Во время репетиций ей казалось, что она неплохо справляется с образом соблазнительной официантки — пока режиссер не заявил, что она нескладна, как «заторможенная вобла». Ада не решалась смотреть на конечный продукт и не горела желанием показывать его Вану, однако он напомнил, что тот же самый режиссер, Г.А. Вронский, некогда утверждал, что с ее внешностью Ада запросто сможет когда-нибудь стать дублершей Ленор Коллин, которая в свои двадцать была так же прелестно неуклюжа, и так же, проходя в кадре, гнула спину и втягивала голову в плечи. Отсидев рекламную короткометражку Я.В., они дождались-таки показа «Молодых и обреченных», но, увы, кадры с официанткой из эпизода в баре оказались вырезаны — хотя, как вежливо подметил Ван, совершенно явно просматривалась тень от Адиного локтя.

Назавтра в их маленькой гостиной с черным диваном в желтых подушках и непродуваемым эркером, новое стекло которого, казалось, увеличивает медленно, беспрерывно и отвесно падавший снег (совпадая с печатным изображением на обложке брошенного на подоконник последнего номера журнала «Франт & бабочка»), Ада пустилась в обсуждение своей «артистической карьеры». В душе Вана воротило от этой темы (по контрасту прежняя ее страсть к естествознанию отдавала ностальгическим очарованием). Ван считал, что слово писателя существует исключительно в своей умозрительной чистоте, в своей неповторимой притягательности для равно абстрактного склада ума. Оно принадлежит только своему создателю и не может быть произносимо или воплощаемо мимически (на чем настаивала Ада), потому что чужой ум нанесет смертельный удар художнику прямо на ложе его искусства. Рукописная пьеса по сути своей превосходит даже лучшую из ее

постановок, пусть даже режиссером выступит сам автор. С другой стороны, Ван соглашался с Адой в том, что звучащий экран, безусловно, предпочтительней живого театрального зрелища по той простой причине, что в первом случае достигнутый режиссером высокий уровень совершенства не опустится, сколько б раз ни показывался фильм.

Ни Ван, ни Ада представить себе не могли разлуки, вызванной необходимостью ее профессионального присутствия «на натуре», и никто из них не мог возмечтать отправиться вдвоем в глазеющие места и вместе жить в То-Ли-В-Вуде, США, То-Ли-В-Делле, Англия, или в сахарно-белом «Конриц-Отеле» в Каире. По правде говоря, они иной себе жизни не представляли, кроме этой нынешней tableau vivant[419] под милым сизо-голубым манхэттенским небом.

В четырнадцать лет Ада свято верила, что сделается кинозвездой и, стремительно ворвавшись в звездный чертог, изойдет радужными слезами триумфа. Она училась в театральных школах. Неудачливые, но талантливые актрисы, а также Стан Славски (не родственник и имя не сценическое) давали ей частные уроки драматического искусства, отчаяния, надежды. Адин дебют вылился в маленький, незаметный провал; последующие роли встречали похвалу лишь близких друзей.

— Первая любовь, — говорила Ада Вану, — это когда тебе впервые стоя аплодирует весь зал, вот что рождает великих артистов, так твердил мне Стан со своей подругой, игравшей роль Треугольной Блестки в «Летучих кольцах»{132}. Настоящее признание может прийти только с последним венком.

— Bosh[420]! — отозвался Ван.

— Вот-вот — ведь и Босха освистывали прикупленные святоши во всяких амстердамах прежних времен, а теперь, спустя триста лет, посмотри, любой сопляк из всяких «поп-групп» норовит под него подделаться! Я по-прежнему считаю, что у меня есть талант, хотя, возможно, путаю точный подход с талантом, которому совершенно наплевать на установки, почерпнутые из искусства прошлого.

— Что ж, по крайней мере ты это чувствуешь, — сказал Ван. — Ты уже пространно высказывалась об этом в одном из своих писем.

— По-моему, я всегда считала, ну, что актерская игра должна замыкаться не на «характере», или на «типе» чего-то там, или на фокусах-покусах общественной темы, а исключительно на субъективном и уникальном поэтическом мастерстве автора, ведь драматурги, как свидетельствуют величайшие из них, ближе к поэтам, чем прозаики. В «реальной» жизни мы — производные случая в абсолютном вакууме — если, конечно, сами не являемся художниками; но в хорошей пьесе мне кажется, что это меня написали, кажется, что это я прошла через цензоров, мне покойно, передо мной лишь живая чернота зала (вместо нашего Четырехстенного Времени), меня обнимают руки огорошенного Уилла (он решил, что я — это ты) или же куда более нормального Антона Павловича, который всегда питал страсть с длинным темным волосам.

— Об этом ты тоже как-то мне писала.

Случилось так, что начало Адиной известности, пришедшееся на 1891 год, совпало с концом двадцатипятилетней актерской карьеры ее матери. Более того, обе сыграли в чеховских «Четырех сестрах». Ада сыграла Ирину на скромной сцене Театральной Академии в Якиме в несколько сокращенном сценическом варианте пьесы, где, например, лишь упоминалась сестра Варвара, эта словоохотливая оригиналка («odd female», по выражению Марины), хотя сцены с ее участием были выкинуты и потому пьесу стоило бы назвать «Три сестры», как ее и в самом деле окрестили остроумцы из местной прессы. Марина же исполнила роль (несколько раздавшуюся) этой самой монашки в причудливой киноверсии пьесы; и фильм, и Марина были вознаграждены основательной порцией незаслуженных похвал.

— С самого начала, едва я заболела сценой, — сказала Ада (мы приводим собственные ее пометки), — меня коробило от Марининой посредственности, ai dire de la critique[421], которая либо игнорировала ее, либо валила ее в братскую могилу с прочими «сносными исполнителями»; ну а если роль оказывалась достаточно велика, игра Марины оценивалась в диапазоне от «невпечатляющей» до «проникновенной» (последнее — за всю ее сценическую жизнь наивысшая похвала ее талантам). И вот в самый уязвимый момент моей карьеры она, нате вам, множит и распространяет по друзьям и недоброжелателям всякие провоцирующие отзывы, типа: «Дурманова восхитительна в роли психопатки-монахини, она сумела развить, по сути, статическую и эпизодическую роль до et cetera, et cetera, et cetera». В кино, разумеется, проблема языка отсутствует, — продолжала Ада (тут Ван скорее сглотнул, чем подавил зевок). — Ни Марине, ни еще трем исполнителям мужских ролей не потребовался тот первоклассный дубляж, к которому прибегли в отношении остальных участников труппы, не знавших иностранного; а в нашей злополучной якимской постановке оказалось всего-навсего двое русских — протеже Стана Альт-шулер, исполнявший роль барона Николая Львовича Тузен-бах-Кроне-Альтшауэра, да я в роли Ирины, la pauvre et noble enfant[422], которая в одном акте работает телефонисткой, в другом секретаршей городской управы, а под конец школьной учительницей. Все остальное — сущая окрошка из разных акцентов — английского, французского, итальянского, — кстати, как по-итальянски «окно»?

— Finestra, сестра! — выдохнул Ван голосом очумелого суфлера.

— «Ирина (рыдая): Куда? Куда все ушло? Где оно? О Боже мой, Боже мой! Я все забыла, забыла… У меня перепуталось в голове… Я не помню, как по-итальянски потолок или вот окно…»

— Нет, в тексте сначала «окно»!{133} — поправил Ван. — Ведь сперва она оглядывается, потом смотрит вверх; так по логике мысли.

— Ах да, конечно; задержавшись на «окне», она поднимает взгляд и видит столь же неопределимый «потолок». Да я наверняка это и играла в твоем психологическом ключе, но что с того, что с того? — спектакль был преотвратный, барон мой на каждой реплике путал текст

— а вот Марина, Марина была восхитительна в своем царстве теней! «Да-а-вно уж, десять с лишком лет, как я из Москвы уехала» — Теперь Ада перевоплотилась в Варвару, копируя монаший «singsongy devotional tone» (певучий тон богомолки, помеченный Чеховым и с таким досадным успехом переданный Мариной). — «Нынче Старую Басманную, где ты (Ирине) родилась годков (yearkins) двадцать тому, в Басмэн-Роуд переименовали, всё мастерские, гаражи по сторонам (Ирина еле сдерживает слезы.) Так надо ли тебе, Аринушка, туда возвращаться? (Вместо ответа Ирина всхлипывает.)» Естественно, как всякий мастер, мама, благослови ее Господь, живо импровизировала. Кроме того, ее голос — по-юному звонко передающий русскую речь — вытеснил слащаво-провинциальный говорок Леноры.

Ван видел фильм, и он ему понравился. Юная ирландка Ленор Коллин, до бесконечности утонченная в своей меланхолии —

Oh! qui me renra ma colline…[423]

С ирландскою Мелан Холин!

— до боли походила на Аду Ардис, запечатленную вместе с матерью на фото из вестника кино «Белладонна», присланном ему Грегом Ласкиным, решившим, что Вану приятно будет увидеть этот снимок, где тетушка с кузиной застигнуты на фоне калифорнийского патио перед самым завершением съемок. Варвара, старшая дочь покойного генерала Сергея Прозорова, в первом акте заявляется из своего удаленного монастыря Цицикар в захолустный городок Перма (иначе Пермуэйл) на берегу Акимск-залива, что в Северной Канадии, почаевничать с Ольгой, Маршей и Ириной по случаю именин последней. К великому возмущению монахини все три ее сестры только и мечтают, что покинуть холодный, промозглый, кишащий комарами, хотя по-своему милый и безмятежный «Перманент», как насмешливо окрестила его Ирина, прельстившись светской жизнью далекой, погрязшей в разврате Москвы, расположенной в штате Айд., бывшей столицы Эстотиландии. В первом варианте своей пьесы, которой при всех потугах не удалось-таки обрести легкое дыхание шедевра, Tchechoff (именно так автор писал свою фамилию, когда жил в Ницце, в мерзейшем Пансион-Рюс, по улице Гуно, 9) избавился от ненужных ему сведений, громадных глыб воспоминаний и дат, начинив ими нелепейшую начальную, всего на дне странички, сцену и взвалив тем самым непосильную ношу на хрупкие плечи трех несчастных эстотиек.{134} Позже он рассредоточил все эти сведения в другой, значительно более длинной сцене, где приезд монашки Варвары провоцирует все монологи, необходимые для удовлетворения неуемного любопытства публики. Это было исполнено рукою мастера, однако, к несчастью (как то нередко случается, если искусственно вводишь нового героя), монашка прижилась, и только в третьем, предпоследнем, действии смог автор спровадить ее обратно в монастырь.

— Полагаю, — сказал Ван (зная свою возлюбленную), — что советы от Марины в отношении твоей Ирины тебе были ни к чему?

— Ни к чему, кроме скандала, это не привело. Я никогда не воспринимала ее замечаний, так как делались они неизменно в саркастическом, обидном тоне. Говорят, пернатые мамаши, как припадочные, исходят злобным ехидным щебетанием, если их poor little tailless ones (бесхвостые беднячки) не способны быстро выучиться летать. Такого я вдоволь натерпелась. Кстати, вот программка моего фиаско.

Ван проглядел список исполнителей и перемещенных лиц и подметил два забавных обстоятельства: исполнителем роли офицера-артиллериста Федотика (вся комедийная суть которой состояла в постоянном щелканье фотоаппаратом) был обозначен «Ким (сокр. от Яким) Эскимософф», а некто «Джон Старлинг» играл Скворцова (секунданта в довольно топорно исполненной дуэли из последнего акта), при том, что «скворец» по-английски starling. Едва Ван поделился своим последним наблюдением с Адой, как у той непотребно по-старосветски вспыхнули щеки.

— Ну да, — сказала она, — был такой смазливенький парнишка, и я с ним вроде бы заигрывала, но перегруженность и раздвоенность оказались для него непосильны — его с отрочества держал при себе puerulus[424] жирняга балетмейстер Дэнглилиф{135}, так что под конец он наложил на себя руки. Видишь («теперь румянец на щеках сменила матовая бледность»), нисколько я не скрываю того, что рифмуется с Пермой.

— Ясно. А Яким…

— О, этот не обсуждается!

— Я не про то; этот Яким по крайней мере не щелкал, как тот, который с ним в рифму, твоего братца в момент сплетаний с любимой. В исполнении Зары де Лэр.

— Не убеждена. Наш режиссер, помнится, был не прочь подпустить комизма для разнообразия.

— Зара en robe rose et verte[425] в конце первого действия?

— По-моему, обошлось щелчком фотоаппарата в кулисах, буйным весельем в доме. Всего-то бедняге Старлингу и досталось по роли, что выкрик за сценой из лодки с Камы-реки, знак моему жениху явиться на место дуэли.

Сместимся, однако, к дидактической метафоричности графа Толстого, приятеля Чехова.

Всем знакомы старые гардеробы старых гостиниц приальпийской зоны Старого Света. Сперва открываешь такой медленно-медленно, с чрезвычайной осторожностью, в тщетной надежде приглушить мучительный скрип, истошный стон, издаваемый дверцей на полпути. Вскоре, однако, обнаруживаешь, что, если открывать или закрывать ее не раздумывая, одним решительным рывком, адские петли от неожиданности немеют, чем и достигается торжествующая тишина. При всем мощно охватившем и

переполнявшем их неземном блаженстве (под этим мы вовсе не понимаем лишь резь розы Эроса), Ван с Адой догадывались, что отдельные воспоминания приоткрывать вовсе не следует, иначе они дико взвоют, взвинчивая каждый нерв души. Хотя если вскрытие проделать стремительно, если саднящее зло поминать меж двух спешных насмешек, есть шанс, что анестезирующее воздействие самой жизни сумеет пригасить негасимую агонию в момент распахивания дверцы.

Ада, то и дело высмеивая его сексуальные шалости, в целом предпочитала закрывать на них глаза, тем самым как бы тонко намекая, что и взамен требует подобной снисходительности к своим маленьким слабостям. Ван отличался большей, чем она, любознательностью, хотя от нее самой добиться ему удалось не больше, чем понять из ее писем. Своим бывшим воздыхателям Ада оставляла все те свойства и недостатки, которые нам уж хорошо известны: неспособность показать себя, убожество и ничтожность, — а себе самой ничего, кроме живого женского сострадания и некоторых доводов из области санитарии и гигиены, уязвлявших Вана даже сильней, чем открытое признание в сокрушительной измене. Ада решила быть выше его и своих чувственных прегрешений: само «чувственных» сделалось у нее почти аналогом «бесчувственных», «бездушных»; потому и не было ему места в невыразимом грядущем, в которое тайно и робко верили оба наших юных героя. Попытавшись следовать той же логике, Ван все же не смог забыть стыд и муку даже в момент наивысшего счастья, какого не познал и в свой самый сладкий миг, предваривший самый горький в прошлой его жизни.

10

Они предприняли столько всяких предосторожностей — совершенно напрасных, так как ничего уже не может изменить конца (написанного и подшитого в общую кипу) этой главы. Только Люсетт да агентство, отсылавшее Вану и Аде корреспонденцию, знали его адрес. У любезной дамы, служащей Демонова банка, Ван доподлинно узнал, что до 30 марта отец в Манхэттене не объявится. Вместе с Адой они никогда не выходили и не возвращались домой, уславливаясь встретиться где-нибудь в библиотеке или торговом центре, откуда и начинали свой дневной маршрут, — и надо же было случиться, что, единственный раз отступив от правил (Ада на пару панических минут задержалась в застрявшем лифте, а Ван беспечно спустился с их совместных облаков по лестнице), оба попали в поле зрения престарелой миссис Эрфор, которая как раз в это время проходила мимо подъезда со своим крохотным золотисто-серым длинношерстным йоркширским терьером. Опознание ею обоих было мгновенным и полным: старушке давным-давно уж были известны оба семейства, и теперь она с интересом узнавала из уст скорее стрекотавшей (нежели щебетавшей) Ады, что как раз когда она (Ада) вернулась с Запада, в городе случайно оказался и Ван; что Марина здорова; что Демон сейчас то ли в Мехико, то ли в Ехмико; что

у Ленор Коллин точно такой же прелестный пёсик с точно таким же восхитительным проборчиком на спинке. В тот же день (а именно 3 февраля 1893 г.) Ван сунул очередную взятку уже подкупленному привратнику, чтоб тот на любые расспросы любого посетителя, в особенности вдовы дантиста с собачонкой гусеничного вида, о любом из Винов, отвечал кратко, мол, ничего не ведомо. Единственным персонажем, оставленным без внимания, оказался старый прохвост, обычно изображаемый как в виде скелета, так и ангела.

Ванов папаша, едва посетив один Сантьяго, направился поглазеть на последствия землетрясения в другой, как вдруг получил из Ладорской больницы каблограмму, что Дэн при смерти. Демон тотчас, горя очами, свистя крылами, устремился в Манхэттен. Не так уж много было в его жизни волнующего.

В аэропорту залитого призрачным лунным светом городка на севере Флориды (именуемого нами Тент, а Тобаковскими моряками, его воздвигшими, Палатка), где, по причине неисправности двигателя, предстояло пересесть в другой самолет, Демон позвонил по междугородней и получил подробное заключение о Дэновой смерти от неумеренно обстоятельного д-ра Никулина (внука великого родентолога Куникулинова — никуда нам от травоядных не деться). Жизнь Дэниела Вина представляла собой смешение стандарта и гротеска; однако смерть выявила в нем определенный артистизм, отразив (как мгновенно ощутил кузен, а не лечащий врач) позднюю страсть усопшего к полотнам, а также подделкам, связанным с именем Иеронима Босха.

На следующий день, 5 февраля, примерно в девять утра по манхэттенскому (зимнему) времени, направляясь к адвокату Дэна, Демон узрел — как раз собравшись перейти Алексис-авеню — давнюю, но несущественную знакомую, миссис Эрфор, шедшую по этой стороне улицы навстречу со своим тойтерьером. Демон без колебаний ступил на мостовую и, не имея шляпы для приветствия (шляпу с плащом носить было не принято, вдобавок он только что принял весьма экзотическую пилюлю сильного действия, дабы пережить этот трудный день, учитывая перелет и бессонную ночь), довольствовался взмахом сложенного зонта, пришедшегося весьма кстати; полоснуло яркое радостное воспоминание об одной из девчонок, пользовавшей ее покойного муженька, и Демон, удаляясь от миссис R-4, благополучно пересек улицу перед лениво цокавшей копытами, тянущей тележку зеленщика кобылой. Но как раз на случай такого поворота дел Судьба уготовила иной путь развития. Проносясь (или, учитывая воздействие таблетки, проплывая) мимо «Монако», где нередко обедал, Демон внезапно подумал, что, возможно, сын («контактировать» с которым никак не удавалось) по-прежнему обитает в пентхаусе этого красивого здания с серенькой Кордулой де Прэ. Демон ни разу там не был. Или был? Советовался с Ваном по какому-то делу? Сидели на залитой солнцем террасе? Туманил мозги алкоголь? (Был, это точно, и Кордула не такая уж серая, да ее тогда и не оказалось.)

С незатейливой и, соответственно выражаясь, незамутненной мыслью, что в конце-то концов другого неба у нас нет (белое, в многоцветье мельчайших пляшущих в глазах искорках), Демон рванулся в вестибюль и успел вскочить в лифт вслед за рыжим официантом, везущим на

сервировочном столике завтрак для двух персон и с «Манхэттен Таймс» среди сияющих, едва заметно поцарапанных серебряных полусфер. Демон машинально поинтересовался, по-прежнему ли его сын здесь живет, выкладывая поверх куполов образчик металла подороже.

— Si![426] — осклабился рыжий дебил, — всю зиму живет тут со своей дамочкой.

— Тогда нам по пути, — заметил Демон, вдыхая со сладостным предвкушением аромат монакского кофе, усиленный наплывами тропической травки в порывах витающего в мозгу ветерка.

В это достопамятное утро Ван, заказав принести завтрак, выбрался из ванны, запахнулся в махровый халат цвета спелой клубники, как вдруг ему послышался голос Валерио из соседней гостиной. Туда он и прошлепал, мурлыча под нос что-то неопределенное, в предвкушении нового, полного неизбывным счастьем дня (который сгладит еще один мучительно острый краешек, выправит еще один свежий выверт в прошлое, так что все теперь воссияет по-иному).

Демон, весь в черном обличье, в черных гетрах, в черном кашне, монокль на черном, шире обычного, шнурке, сидел за столиком, с чашкой кофе в одной руке и аккуратно вывернутой финансовыми новостями наружу «Таймс» в другой.

Еле заметно вздрогнув, он несколько судорожно поставил на столик чашку, приметив общность колорита с памятным фрагментом в ярком нижнем левом углу картины, воспроизведенной щедро иллюстрированным каталогом его быстродействующей памяти.

Ван брякнул первое, что пришло на ум: «я не один» (je ne suis pas seul), однако Демон был так поглощен принесенным с собой скорбным известием, что и внимания не обратил на идиота, который вместо того чтобы выйти в другую комнату и через минуту вернуться (заперев за собой дверь — наглухо замкнув годы и годы потерянной жизни), продолжал столбом стоять рядом с сидящим в кресле отцом.

По словам Бес (что по-русски — враг рода человеческого), пышнотелой, но местами малоприятной сиделки Дэна, которую он, предпочтя остальным, взял в Ардис, поскольку той удавалось орально выжать пару последних капель «плей-зироу»[427] (по выражению старой шлюхи) из его немощной плоти, некоторое время Дэн сетовал, еще и до внезапного отъезда Ады, что дьявол, с виду помесь лягушки с крысой, норовит оседлать его, чтобы въехать на нем в вечную обитель мук. Доктору Никулину Дэн описывал своего ездока в виде черного существа с белым брюшком, с черным щитком сверху, сияющим, как панцирь навозного жука, и с ножом в воздетой передней конечности. Однажды утром в конце января, в сильный мороз, Дэну каким-то образом удалось лабиринтами подвала, через кладовку, сбежать из дома и скрыться в бурых зарослях Ардиса; он был гол, не считая красного банного полотенца, попонкой прикрывавшего его чресла, и, несмотря на трудности пути, полз на четвереньках, осев, точно боевой конь под тяжестью невидимого седока, забираясь все глубже и глубже в дебри. С другой стороны, дернись Ван как-то предупредить ее и распахни он эту

прочную, защитную дверь — Ада вполне могла встретить его появление, широко открыв на свой манер рот, какой-нибудь непростительной нежностью.

— Настоятельно прошу Вас, сэр, — сказал Ван, — спуститься вниз, я найду вас в баре, как только приведу себя в порядок. Мне здесь не совсем удобно.

— Брось, брось! — фыркнул Демон, роняя и водружая на место монокль. — Кордула свой человек!

— Это не Кордула, это гораздо более чувствительная натура. (Господи, еще один ужасный ляп!) Какая, к черту, Кордула! Кордула теперь миссис Тобак!

— Ах, ну как же! — вскричал Демон. — Совсем из головы вон! Мне же Адин жених рассказывал — он вместе с молодым Тобаком работал одно время в банке «Феникс». Ну конечно! Широкоплечий, голубоглазый красавец блондин. Преуспевающий Тобакович!

— Да шут с ним, — процедил сквозь зубы Ван, — пусть он хоть скрюченная, раскоряченная выцветшая жаба! Право, папа, мне действительно надо…

— Странно от тебя такое слышать! Я зашел всего лишь, чтоб сказать, что кузен Дэн почил странной смертью в духе Босха. Вообразил, будто фантастический грызун-наездник увлек его из дома.{136} Его обнаружили слишком поздно, он испустил дух в Никулинской клинике, все бредил этим фрагментом картины. Мне еще, черт побери, столько суетиться, собирать родственников. Картина теперь хранится в Венской академии искусств.

— Прости, отец… как мне втолковать тебе…

— Если б я умел писать, — задумчиво произнес Демон, — я бы описал, и, несомненно, не пожалел бы слов, как страстно, как пламенно, как кровосмесительно — c'est le mot[428] — искусство с наукой соединяются в насекомом ли, в птице ли дрозде, в чертополохе ли средь герцогского подстриженного боскета. Ада выходит замуж за любителя природы, но ум у нее как недоступный музей, вот однажды она, а также лапочка Люсетт, привлекли мое внимание, в силу одного гадкого совпадения, к определенным фрагментам иного триптиха, там тот бездонный сад лукавых забав, год эдак 1500, — а именно к бабочкам в том саду — самке лугового мотылька в центре правой части триптиха и черепаховидной нимфалиде в средней, изображенной как бы сидящей на цветке — отметь это «как бы», ибо оно отражает безукоризненные познания двух наших восхитительных девочек, утверждавших, что бабочка-то показана не той стороной; если бабочка, как мы видим на картине, сидит боком, то она к нам повернута изнанкой крыльев, а Босх, вероятно, подхватив пару крылышек в оконной паутине, предпочел более яркую наружную сторону и бабочку изобразил сложенной неверно. А мне, признаться, наплевать на осведомленность избранных, на раздувание страстей вокруг бабочки, на ревнителя шедевров, требующего чтоб Босх, как воск, отражал слепок

времени; у меня аллергия на аллегории, и я убежден, что его не более чем забавляло скрещивание случайных фантазий, куда увлекали его причуды линии и цвета, и что изучать следует, как я и убеждал кузин твоих, именно радость зрительного восприятия, плоть и вкус женщины-клубничины, которую обнимаешь вместе с ним, или невыразимый восторг при виде неожиданно отверстой щели… да ты не слушаешь меня, хочешь, чтоб я убрался, и тогда ты, счастливчик, скотина такая, поспешишь прервать ее прелестный сон! À propos[429], я не сумел предупредить Люсетт, она где-то в Италии, но умудрился напасть на след Марины в Цицикаре{137} — флиртовала там с архиереем Белоконским, — она приедет к вечеру, уже облаченная, будь уверен, в pleureuses[430], который будет весьма ей к лицу, и тогда мы à trois[431] отправимся в Ладору, ведь, не думаю…

Не под воздействием ли он какого сильнодействующего чилийского снадобья? Прямо неукротимый фонтан, безумный разброс, брызжущая палитра…

— …да нет же, не думаю что надо беспокоить Аду в ее Агавии… Он — этот самый Виноземский — отпрыск — от-прыск кого-то из тех самых великих варягов, которые завоевали то ли медных татар, то ли красных монголов — или как их там, — которые еще раньше завоевали бронзовых всадников, — до того, как мы в счастливый миг истории западных казино предложили им свою русскую рулетку и ирландскую «мушку».

— Я бесконечно, я чудовищно огорчен кончиной дядюшки Дэна и вашим крайним, сэр, возбуждением, — сказал Ван, — но кофе моей дамы стынет, не потащусь же я, в самом деле, в спальню со всем этим гнетущим имуществом.

— Ухожу, ухожу! Кстати, мы не виделись — с каких пор, с августа? Надеюсь, эта, во всяком случае, попривлекательней Кордулы, что была у тебя до, мой ветреный мальчик?

Так это ветрилия? А, может, драконикум? Ван явственно уловил запах эфира. Уйди, прошу тебя, прошу тебя, прошу!

— А перчатки? Плащ? Спасибо. Можно заскочить в твой ватерклозет? Нет? Ну что ж. Заскочу где-нибудь еще. Постарайся приехать ко мне как можно скорей, вместе встретим около четырех в аэропорту Марину и затем мигом на похороны и…

И в этот момент вошла Ада. Не голышом — о нет; в розовом пеньюаре, чтоб не шокировать Валерио, — прелестная со сна, уютно проходясь щеткой по волосам. И сплоховала: вскрикнула «Боже мой!» и метнулась назад в сумрак спальни. Не отзвенела и секунда, как все было кончено.

— …или уж — приезжайте тотчас и оба, я отменю назначенную встречу и немедленно отправляюсь домой!

Сказал Демон или решил, что сказал, с хладнокровием и ясностью мышления, которые повергают в транс дубоватых и нагловатых, болтливого маклера и провинившегося школьника. В особенности в

момент — когда все катится псу под хвост, к чертям собачьим Йеруна Антнисзона ван Акена{138} вместе с molti aspetti affascinati[432] его enigmatica arte[433], как пояснил Дэн, издавая последний вздох, доктору Никулину и сиделке Беллабестии («Бесс»), которой завещал полный чемодан музейных каталогов и побывавший разок в употреблении катетер.

11

Драконово драже утратило действие: последствия его неприятны своим соединением физической усталости с некой оголенностью мысли, как будто все краски вытекают из сознания. Облаченный на этот раз в серый халат, Демон лежал на серой кушетке в своем кабинете на третьем этаже. Сын его стоял у окна спиной к повисшему молчанию. Точно под ними, в обитой дамастом комнате на втором этаже, ждала Ада, прибывшая вместе с Ваном пару минут назад. Ровно напротив кабинетных окон, в раскрытом окне небоскреба по ту сторону улицы, стоял некто в фартуке и, устанавливая мольберт, водил подбородком в поисках нужного ракурса.

Первым, что произнес Демон, было:

— Настоятельно прошу смотреть на меня, когда я с тобой разговариваю!

Ван понял, что в отцовском сознании роковой разговор уже, должно быть, начался, ибо данное предуведомление имело отзвук самопрерывания, и, кивнув едва заметно, присел на стул.

— Однако прежде чем уведомить тебя о двух обстоятельствах, мне бы хотелось знать, как давно это… как давно это случилось… («продолжается», подразумевалось здесь или что-либо равно банальное, хотя, собственно, всякий конец банален — виселица, железное жало старой Нюрнбергской Девы{139}, пуля в висок, предсмертные слова в сияющей новизной ладорской лечебнице, провал в бездну глубиной в три тысячи футов вместо того, чтоб, рванув дверцу, шагнуть в аэротуалет, яд из рук жены, ожидание толики крымского гостеприимства, поздравления мистеру и миссис Виноземским…)

— Почти девять лет, — отвечал Ван. — Я соблазнил ее летом тысяча восемьсот восемьдесят четвертого. За исключением единственного случая, наша любовь прервалась тогда до лета тысяча восемьсот восемьдесят восьмого. После долгой разлуки мы вместе провели зиму. В общей сложности, наверное, я имел ее около тысячи раз. В ней вся моя жизнь.

В ответ на это хорошо отрепетированное выступление последовала затянувшаяся пауза, сродни той, что возникает, когда партнер забывает текст роли.

Демон, наконец:

— Второе обстоятельство скорей всего потрясет тебя более, чем первое. Да, мне оно доставило гораздо более беспокойств — моральных, разумеется, не денежных, — чем в случае с Адой, — о чем ее мать в конце концов известила кузена Дэна, так что в некотором смысле…

Пауза, где-то в недрах сочится вода.

— Как-нибудь в другой раз расскажу тебе про Черного Миллера; не теперь; слишком банально.

(Супруга д-ра Лапинэ, урожденная графиня Альп, не просто кинула его в 1871 году, променяв на Норберта фон Миллера, поэта-дилетанта, переводчика русского языка при итальянском консульстве в Женеве, а по призванию контрабандиста неонегрином (находимым исключительно в Валэ), но также поведала своему любовнику мелодраматические подробности ухищрений, каковые, как полагал отзывчивый лекарь, вне сомнения, отзовутся благом для одной знатной дамы и блаженством для другой. Даровитый Норберт, говоривший по-английски с причудливым акцентом, испытывал неуемное восхищение перед состоятельной публикой и, козыряя знакомством с видной персоной, неизменно с чувством благоговейного восхищения подчеркивал: «голоса-ально богат», откидываясь назад в своем кресле и широко разводя в стороны округленные руки, демонстрируя необъятность огромных капиталов. Был он лыс, как коленка, имел вдавленный, как у черепа, нос, и руки — такие белые, такие мягкие, такие влажные, и пальцы в сверкающих перстнях. Любовница скоро бросила его. Доктор Лапинэ скончался в 1872 году. Примерно тогда же наш фон барон, женившись на целомудренной дочке трактирщика, взялся шантажировать Демона Вина; это длилось лет двадцать, пока стареющего Миллера не пристрелил итальянский полицейский на малоизвестной приграничной горной тропе, которая год от года становилась все круче и все грязней. Из чистой доброты или по привычке Демон наказал своему адвокату продолжать отсылать каждые три месяца Миллеровой вдове — наивно воспринявшей перевод за выплату страховки — сумму, вздувавшуюся с каждой беременностью дюжей швейцарки. Демон часто повторял, что когда-нибудь издаст «Черномиллеровы» четверостишия, украшавшие его записи своей созвучностью стишкам из календаря:

Жена дородна, я ж не вышел телом,

Детей печем, что плюшки, между делом.

Пусть приговор не будет ваш суров —

В ту печку столько надо дров!

Добавим, чтоб завершить сей небесполезный вводный эпизод, что в

начале февраля 1893 г. не успел наш поэт скончаться, как уж двое других, менее удачливых шантажистов поджидали в кулисах: Ким, который снова бы наведался к Аде, если б не выволокли его из собственного загородного дома с одним глазом — повисшим на алой ниточке, с другим — утопающим в крови; а также сынок одного из бывших служащих знаменитого агентства по рассылке тайных посланий — уже после закрытия его в 1928 г. правительством США; так что розовые надежды мошенников второго поколения удовлетворились лишь пуком тюремной соломы.)

— Непостижимо, с каким спокойствием, Ван, ты выслушиваешь то, что я сообщаю тебе! Не припомню случая, ни в натуре, ни в литературе, чтоб отец когда-нибудь говорил с сыном о таких вещах и в таких обстоятельствах. Между тем ты играешь карандашом с такой, казалось бы, невозмутимостью, будто мы обсуждаем твой карточный долг или притязания обрюхаченной тобой грязной девки.

Сказать ему про гербарий, найденный на чердаке? Или о неосторожности (не называя имен) прислуги? О подделке свадебной даты? Обо всем, что с такой радостью подсобрали двое смышленых ребятишек? Скажу. И сказал. Добавив к сказанному:

— Ей было двенадцать, мне, самцу-примату, четырнадцать с половиной, мы ни о чем не задумывались. А теперь уж задумываться слишком поздно.

— Слишком поздно? — вскричал отец, переходя в сидячее положение на кушетке.

— Пожалуйста, папа, не выходи из себя, — сказал Ван. — Как я заметил тебе однажды, природа милостива ко мне. Мы во всех смыслах можем позволить себе не задумываться.

— Дело не в семантике… или осеменении. Важно одно и только одно. Еще совсем не поздно прекратить эту низкую связь…

— Прошу без крика и без мещанских эпитетов! — прервал его Ван.

— Хорошо, — сказал Демон, — беру обратно свое определение, но задаю вместо этого вопрос: неужели слишком поздно воспрепятствовать тому, чтоб твоя связь с сестрой погубила ей жизнь?

Ван знал, что такое последует. Я знал, сказал он, что это последует. От «низкой» убереглись; не разъяснит ли обвинитель смысл слова «погубить»?

С этого момента беседа приняла некую неопределенность, оказавшуюся куда страшней предварительного признания вины, за что наши юные любовники уже давно простили своих родителей. Как Ван представляет себе продолжение сестрой ее сценической карьеры? Допускает ли он, что карьера окажется загубленной, если связь их не прекратится? Осознает ли, что придется всю жизнь укрываться в роскошном изгнании? Неужто готов лишить сестру естественных потребностей, нормального замужества? Детей? Естественных человеческих радостей?

— Не забудь о «естественном прелюбодействе»! — вставил Ван.

— Что было бы много предпочтительней! — заметил мрачно Демон, сидя на краю кушетки, подперев кулаками щеки, локтями упершись в колени. — Весь ужас в том, что, чем больше я об этом думаю, тем бездонней кажется разверзшаяся пропасть. Ты вынуждаешь меня вспоминать такие заезженные понятия, как «семья», «честь», «положение», «закон»… Да что там, хоть в необузданной жизни своей я подкупал множество всяких чиновников, все же ни ты, ни я не способны умастить взяткой целую страну, целую культуру! Да и каково мне было услыхать, что вот уж десять лет как ты и это прелестное дитя обманываете родителей…

Тут Ван ожидал, что отца повлечет в направлении «это-может-убить-твою-мать», однако у Демона хватило ума удержаться. «Убить» Марину не способно ничто. Если и дошли до нее какие слухи о кровосмесительстве, поглощенность «душевным спокойствием» наверняка помогла бы ей пропустить их мимо ушей — или на крайний случай романтически вычленить из реальной жизни. И отец, и сын знали это. Возникнув на миг, Маринин образ с легкостью улетучился восвояси.

— Лишить тебя наследства я не могу, — продолжал Демон, — Аква завещала тебе достаточно «деньжат» и недвижимости, чтоб отвести причитающееся тебе наказание. И я не могу донести на тебя властям, не затронув чести собственной дочери, которую намерен защитить любой ценой. Но вот что я могу и должен сделать, я прокляну тебя, и пусть это будет наш последний, наш последний…

Тут Ван, бесконечно водивший взад-вперед пальцем по безгласному, но успокаивающе гладкому краю столика красного дерева, внезапно с ужасом услыхал рыдания, сотрясшие Демона с головы до ног, и вот уж слезы потоком хлынули по его впалым, загорелым щекам. В любительском лицедействе в день рождения Вана пятнадцать лет тому назад Демон, выступая в роли Бориса Годунова, разразился странными, пугающими, угольно-черными слезами, а потом покатился по ступенькам нелепого трона, в смертельном порыве неодолимо притягиваясь к земле.{140} Может, эти темные струйки из нынешнего спектакля от черной краски у глаз, на ресницах, веках, бровях? Шут, игрок… бледная роковая дева в другой известной мелодраме… В этой Ван сунул исполнителю чистый носовой платок взамен его грязной тряпки. Собственное хладное спокойствие нисколько не удивляло Вана. Сама нелепость совместного с отцом плача блокировала привычное извержение чувств.

Демон вернул себе прежний вид (если не моложавость) и сказал:

— Я верю в тебя и твой здравый смысл. Ты не должен позволять старому развратнику отречься от собственного сына. Если ты ее любишь, значит, желаешь ей счастья, а она не будет счастлива по-настоящему, если ты потом ее бросишь. Ступай. Будешь спускаться, скажи ей, чтоб пришла сюда.

По лестнице. Мое первое — повозка, в спицы колес которой вплетаются смятые ромашки; мое второе — слово «деньги» на старо Манхэттенском жаргоне, а вместо нутра — сплошная дыра.

Проходя по площадке второго этажа, Ван увидел сквозь арочный проем Аду в черном платье — спиной к нему, в глубине будуара у овального окна. Ван сказал лакею, чтоб передал ей просьбу отца и чуть ли не бегом припустил через гулкий, одетый камнем вестибюль.

Мое второе еще и место, где сходятся два крутых склона. Правый нижний ящик моего практически ненужного нового письменного стола — размером примерно с отцовский; с приветом от Зига.

Прикинул: в этот час что ловить такси, что пройти пешком десять кварталов до Алекс-авеню обычным своим быстрым шагом — времени примерно одинаково. Он был без пальто, без галстука, без шляпы; сильный, пронзительный ветер слезистой изморозью застлал глаза, привел в горгоно-медузий хаос черные кудри. В последний раз входя в свои дурацки жизнерадостные апартаменты, он сразу же присел за тот самый роскошный письменный стол и написал следующую записку:

«Сделай так, как он говорит. Логика его преабсурдна, пред(sic!)исполнена туманом „викторианства“, как принято у них на Терре, по „моему неразумению“ [?], хотя в приступе [неразборчиво] я внезапно осознал, что он прав. Да, да, прав, там и сям, не вовсе некстати, как частенько случается. Сама понимаешь, девочка, что и зачем и как быть должно. В том последнем, что видели мы вместе, окне, некто рисовал [нас?], хотя с твоего второго этажа, наверное, тебе было не видать, что он в ужасно заляпанном фартуке мясника. Прощай, девочка!»

Ван запечатал письмо, нашел именно там, где ожидал, пистолет марки «Громобой», вставил в магазин один патрон, перевел в ствол. Затем, подойдя к зеркалу стенного шкафа, подвел дуло к виску на уровне птериона{141} и нажал ладно льнущий к пальцу курок. Ничего не случилось — или, точнее, случилось все, и судьба его попросту в тот миг раскололась, как, вероятно, случается иногда по ночам, в особенности в чужой постели, в моменты наивысшего счастья или наивысшего одиночества, когда доводится умереть во сне, но продолжать без ощутимого прерывания мнимого сериала свое земное существование на следующее, аккуратно заготовленное утро при ненавязчиво, но плотно прилепленном сзади фиктивном прошлом. Словом, то, что держал он в правой руке, уже был не револьвер, а карманная расческа, которой он провел по волосам у висков. Уже начавших седеть к тому времени, когда Ада, ей уж было за тридцать, произнесла во время совместного разговора об их добровольном расставании:

— Я бы, верно, тоже застрелилась, если бы увидела, как Роза вьется над твоим трупом. «Secondes pensées sont les bonnes»[434], как другая твоя, беленькая bonne[435] с ее прелестным местным выговором любила повторять. Что до фартука, ты совершенно прав. Но вот чего не подметил ты: ведь тот художник почти закончил большую картину с изображением твоего маленького палаццо, смиренно застывшего меж двух гигантских стражей. Возможно, для обложки журнала, отвергшего предложенную им картину… Но, знаешь ли, об одном я жалею, — добавила

она. — О том, что ты с помощью альпенштока собирался избавиться от звериной ярости — не твоей, не Вановой. Зря я рассказала тебе про того ладорского полицейского. Зря ты доверился ему, не надо было с ним вместе сжигать те бумаги — и почти дотла сосновую рощу в Калугано. Это унизительно (it is humiliating).

— Воздана компенсация, — отвечал тучный Ван с утробным смешком. — Ким моими стараниями в тепле и при уходе содержится в превосходном Доме для инвалидов-интеллигентов, где получает от меня тонны превосходных книг для слепых о новых явлениях в хромофотографии.

Существуют и иные возможные ответвления и протяжения, свойственные грезящему сознанию, но довольно пока и названного.

Часть третья

1

Он странствовал, исследовал, учил.

Обозревал пирамиды Ладораха (посетил которые в основном из-за названия) при полной луне, серебрившей пески, выложенные резкими черными тенями. Охотился на озере Ван с британским губернатором Армении и его племянницей. Стоило хозяину гостиницы на берегу залива Сидра с веранды показать, как догоравший оранжевый закат золотит рыбьей чешуей лавандовую рябь моря, — и это зрелище своей красотой затмило Вану неудобство обитания в тесных и убогих комнатенках, которые приходилось делить с секретаршей, юной леди Скрэмбл. На террасе в ином месте, с видом на другой легендарный залив, любимая плясунья местного шаха Эбертелла Браун (существо, наивно полагавшее, что «муки страсти» и секс — понятия родственные), расплескала утренний кофе при виде длиннющей, в шесть дюймов, усеянной клоками лисьей шерсти гусеницы, qui rampait[436], медленно продвигаясь по балюстраде, и вот замерла, свернувшись, тут Ван ее и подхватил и потом целую вечность, уже после того, как прелестная мохнатка была выдворена в кусты, с мрачным видом извлекал плясуньиным пинцетом яркие волоски, впившиеся жалом в кончики пальцев.

Он научился ценить особый легкий трепет блуждания темными проулками чужих городов, заведомо зная, что ничего хорошего там нет, только грязища, тоска, жестянки-«мериканки» из-под пива «Билли» да звяканье завезенного сюда джаза в сифилитичных кафе. Порой Вану казалось, что эти прославленные города, эти музеи, древние камеры пыток и висячие сады — всего лишь вехи на карте его расстроенного сознания.

Он с удовольствием писал книги («Неразборчивые подписи», 1895;

«Живуайеризм»{142}, 1903; «Укомплектованное пространство», 1913; начатую в 1922 году «Ткань времени») — в горной хижине, в салон-вагоне трансконтинентального экспресса, на верхней палубе белого лайнера, за каменным столом римского публичного парка. Разворачиваясь свернутым в долгом трансе сознанием, Ван мог вдруг с удивлением отметить, что судно движется вовсе не в ту сторону или что пальцы на левой руке расположились в обратном порядке, и если по часовой стрелке, то левая кисть начинается, как и правая, с большого пальца, или что заглядывавший ему через плечо мраморный Меркурий обернулся любопытствующей туей. Он мог вспомнить разом и внезапно: что в первом периоде разлук три года, семь, тринадцать лет, а во втором — четыре года, восемь, шестнадцать лет отделяло его от дней, когда обнимал, любил, орошал слезами Аду.

Цифры, ряды и последовательности — кошмаром и проклятием терзавшие чистоту мысли и времени, — казалось, задались целью превратить его мозг в отлаженную машину. Три стихии: огонь, вода и воздух — погубили, и именно в таком порядке, Марину, Люсетт и Демона. Терра была на очереди.

Отмахнувшись от несуразной жизни со своим супругом, так кстати перекочевавшим в покойники, и уединившись на по-прежнему ослепительной, дивно оснащенной челядью вилле на Лазурном берегу (той, что когда-то подарил ей Демон), мать Вана семь лет все мучилась разными «непонятными» болезнями, которые окружающие считали надуманными или талантливо разыгранными, но которые, по ее убеждению и отчасти на самом деле, излечивались силою воли. Ван навещал мать реже, чем самоотверженная Люсетт, с которой мельком два-три раза там встречался; а однажды в 1899 году средь лавров и земляничных деревьев сада Виллы Армина он столкнулся со старым бородатым православным попом в черной рясе, на мопеде колесившим с виллы в Ниццу, в свой приход у теннисных кортов. Марина беседовала с Ваном о религии, о Терре, о Театре, но никогда об Аде, и он не догадывался, что она знает про все ужасы и страсти Ардиса, да и кто мог подозревать, какую боль своих кровоточащих недр она пыталась заглушить то магией слов, то «самоуглублением» или обратным ему средством — «саморазжижением». С загадочной и даже самодовольной улыбкой она признавалась, что, как ни милы ей мерные, голубоватые попыхивания кадила, сочные раскаты дьякона с амвона и масляно-бурые иконы, облаченные в защитные оклады, подставленные поцелуям правоверных, все ж душу она, наперекор (in spite of) Даше Виноземской, раз и навсегда отдала индуизму с его высшей мудростью.

Однажды ночью в начале 1900 года, за несколько дней до того, как он в последний раз видел Марину в клинике Ниццы (где впервые и узнал название ее болезни), Вану привиделся «словесный» сон-кошмар, вызванный, быть может, мускусным запахом мирамасской Виллы Венера (Буш Руж-дю-Рон). Два жирных бесформенных прозрачных существа что-то меж собой обсуждали, один все повторял «Не могу!» (подразумевалось «не могу умереть» — задача непростая, если исходить из одного лишь желания, не полагаясь на помощь кинжала, пули или кубка), а другой убеждал: «Сможете, сэр!». Марина умерла через две недели, и тело, во исполнение ее воли, было сожжено.

Как человек здравомыслящий, Ван отдавал себе отчет, что морально он слабее, чем физически. Ему пожизненно суждено было (вплоть до шестидесятых годов нашего столетия) немалым усилием подавлять в сознании ничтожный, трусливый или глупый поступок (вот-вот, кто знает, быть может, рога, наставленные позже, можно было наставить еще тогда, средь зелени кустов, подзелененных светом зеленых фонарей, у отеля, где остановились Виноземские), скрепя сердце вспоминать, как на пришедшую в Кингстон каблограмму Люсетт из Ниццы («Мама скончалась нынче утром похороны тире кремация тире состоятся послезавтра на вечерней заре») ответил, чтоб сообщила («сообщи, пожалуйста»), кто ожидается на похоронах, и как на ее краткое извещение, что Демон уж прибыл с Андреем и Адой, отозвался каблограммой: «Désolé de ne pouvoir être avec vous»[437].

Он бродил по кингстонскому парку Каскадилья средь будоражащей сладкой суеты весенних сумерек, таких по-неземному покойных после шквала каблограмм. В последний раз, когда он видел ссохнувшуюся мумией Марину, когда сказал ей, что ему пора возвращаться в Америку (хоть особой спешки не было — просто запах стоял в палате такой, что никаким ветром не выветришь), та спросила, глядя на него по-новому светло, близоруко, взглядом в себя: «Может, не сейчас, а когда меня не станет?»; а Ван сказал: «Вернусь двадцать пятого. Нужно готовить выступление: „Психология самоубийства“»; а она сказала, подчеркивая, когда уж все истинное в родстве было tripitaka (надежно запаковано): «Так расскажи им про глупую твою тетку Акву», на что он с дурацкой ухмылкой кивнул, не удостоив ее даже ответным: «Да-да, матушка!». Съежившись в последнем луче догоравшего солнца на той самой скамье, где недавно миловал и осквернял одну из любимых студенток — долговязую и неуклюжую негритяночку, Ван изводил себя укорами в скудной сыновней любви — бесконечным раскаянием в невнимании, насмешливой пренебрежительности, физической антипатии и привычном отмахивании. Он озирался вокруг, в своем истовом раскаянии желая, чтоб дух ее подал ему недвусмысленный, этакий все по местам расстанавливающий знак, будто продолжается существование за завесой времени, за плотными пределами пространства. Но не было ему ответа, ни единый лепесток не упал на скамью, ни единая мошка не присела на руку. Он не понимал, что ж все-таки не дает ему умереть на ужасной Антитерре, если Терра — миф, а все искусство — игра, если все утратило значение с того дня, как он смазал Валерио по теплой, колючей щеке; и откуда, из какого кладезя надежд он до сих пор черпает дрожащую звезду, если все обрывается агонией отчаяния, если другой повсюду с Адой в ее спальне.

2

Ветреным парижским утром, где-то между весною и летом 1901-го, когда Ван — в черной шляпе, одной рукой в кармане пальто поигрывая теплой, сыпучей мелочью, другой, в лайковой перчатке, помахивая сложенным английским зонтом, — проходил как раз мимо самого неприглядного из множества вытянувшихся вдоль Гийом Питт-авеню{143} уличных кафе, лысый упитанный господин в мятом коричневом костюме и жилете с цепочкой, поднявшись, его окликнул.

Мгновение Ван озирал незнакомые румяные круглые щеки и темную эспаньолку.

— Не узнаешь (You don't recognize me)?

— Грег! Григорий Акимович! — вскричал Ван, срывая перчатку.

— Прошлым летом я оброс настоящей vollbart[438]. Ты бы ни за что меня не узнал. Пива? Как тебе, Ван, удается так молодо выглядеть?

— Шампанское пью, не пиво! — сказал профессор Ван, надевая очки и махнув официанту изогнутой ручкой «дзонто». — От лишнего веса не уберегает, зато scrotum[439] крепит.

— Что, и я растолстел по-твоему?

— А как Грейс? Вот уж ее никак толстой представить не могу!

— Такая уж близнецов участь. Жена моя тоже полновата.

— Так ты женат (so you are married)? Не знал я ране. Давно ли?

— Около двух лет.

— На ком?

— На Мод Суин.

— Дочери поэта?

— Нет, нет, матушка ее из семейства Брум.

Мог бы «на Аде Вин» сказать, не окажись г-н Виноземский проворней с предложением. Где-то я кого-то из «грумов» встречал. Переменим тему. Безотрадный, видно, союз: дородная, властная половина и он, зануда пуще прежнего.

— Последний раз мы видались тринадцать лет назад, ты приезжал на вороном пони — нет, на черном «силенциуме». Боже мой!

— Да уж, Боже мой, иначе не скажешь! Полные прелести страсти в прелестном Ардисе! Ах, я был абсолютно безумно (madly) влюблен в свою кузину!

— Ты говоришь про мисс Вин? Не знал я ране. Давно ль…

— Так и она не знала! Я был ужасно…

— Давно ль ты обосновался…

— …ужасно робок, потому что, конечно, понимал, что не могу соперничать с многочисленными ее поклонниками.

Многочисленными? Двумя? Тремя? Возможно ли, чтоб о главном-то он никогда и не слыхивал? Все розовые кущи, все горничные знали, во всех поместьях. Благородное умолчание тех, кто стелил нам постель.

— Долго ли намерен пробыть в Люте? Нет, Грег, эту заказываю я! Заплатишь за вторую. Скажи…

— Как это странно, вспоминать! Безумства, фантазии, реальное в степени «икс»! Клянусь, голову готов был отдать татарину на отсечение, лишь бы ножку ее поцеловать. Ты кузен ей, почти что брат, тебе не понять этой одержимости. А пикники! А Перси де Прэ, похвалявшийся мне на ее счет, я с ума сходил от зависти и досады, и д-р Кролик, который, говорят, тоже любил ее, и гениальный сочинитель музыки Фил Рак — все, все, все уж покойники!

— Право же, в музыке я мало что смыслю, но когда приятель твой взвыл, не скрою, испытал большое наслаждение. Увы, через пару минут у меня встреча. За твое здоровье, Григорий Акимович!

— Аркадьевич! — машинально поправил Вана Грег, в начале ему это спустивший.

— Ах да! Глупая неувязка со славянской речью! А как Аркадий Григорьевич?

— Скончался. Незадолго до твоей тетушки. Надеюсь, газеты достойно воздали дань ее таланту? А где ж Аделаида Даниловна? Вышла она замуж за Кристофера Виноземского или за его брата?

— Она то ли в Калифорнии, то ли в Аризоне. По-моему, супруга Андреем зовут. А может, и нет. Вообще-то я с кузиной не слишком близок: в Ардисе гостил всего дважды, недели по две — по три, да и было это давным-давно.

— Я слышал, она в кино снимается?

— Понятия не имею. Никогда не видел на экране.

— О, это было бы ужасно, клянусь, включаю доротелик — и тут она! Как пред утопающим предстает все прошлое — и деревья, и цветы, и таксик в венке. Должно быть, на нее ужасно подействовала ужасная смерть матери.

Ей-богу, с эпитетом «ужасный» у него перебор. Ужасный костюм, ужасная опухоль. К чему мне все это? Отвратительно — хотя в каком-то диком смысле и забавно: моя словоохотливая тень, мой шаржированный двойник.

Ван уж готов был уйти, как вдруг подошел в элегантной униформе шофер сказать «милорду», что леди ждет в автомобиле за углом рю-Сайгон и требует милорда.

— Ага! — заметил Ван. — Я вижу, ты именуешь себя британским титулом. Отец твой предпочитал слыть по-чеховски полковником.

— Моди англо-саксонского происхождения и, в общем, ей так больше нравится. Считает, что за границей титул вызывает больше почтительности. Кстати, от кого-то я слыхал — ну да, от Тобака! — что Люсетт здесь, в «Альфонсе Четвертом». Я ведь не спросил про твоего отца! В добром ли он здравии? (Ван кивнул.) Ну а как гувернантка-беллетристка?

— Последний ее роман называется «L'ami Luc»[440]. Только что получила за эту тягомотную дребедень премию Академии Бонеля.{144}

Они со смехом расстались.

Буквально через минуту, как то всегда случается в фарсе или в большом незнакомом городе, Ван наткнулся еще на одно знакомое лицо. И испытал прилив радости, завидев Кордулу в узкой алой юбке, склонившейся с детским сюсюканьем над двумя несчастными пудельками, привязанными к столбику у колбасного магазина. Ван коснулся ее кончиками пальцев, та возмущенно выпрямилась и обернулась (тут возмущение тотчас сменилось веселым узнаванием), а Ван процитировал избитые, но весьма уместные стишки, ему уж с детства памятные по раздражавшим выкрикам одноклассников:

Вин — что ни слово, то «Тобак».

Ну а Тобак — все про собак!

С годами Кордула стала еще привлекательней, и хоть с 1889-го мода столько раз менялась, в момент этой их встречи прически и юбки на короткий миг (новый, гораздо более элегантный образ уже влек Кордулу вперед) вернулись к стилю двенадцатилетней давности, и уж будто ничто не отделяло обоих от прежних приверженностей и увлечений. Кордула обрушила на него поток любезных расспросов — но Вану нетерпелось, пока пламя не потухло, поскорей покончить с решением куда более важной проблемы.

— Не будем на пустые слова тратить накат возвращенного времени. У меня, к твоему сведению, такой подъем энтузиазма! Знаешь, пусть это глупо и дерзко, но потребность моя не терпит отлагательств. Не хочешь ли вместе со мной наставить рога своему муженьку? Немедля!

— Но позволь, Ван! — гневно воскликнула Кордула. — Ты переходишь границы! Я счастлива в замужестве. Мой Тобачок меня обожает. У нас уж было бы с десяток детей, если бы я не проявляла осмотрительность с ним и с другими!

— Тебе приятно будет узнать, что данный другой, как выяснилось, абсолютно стерилен.

— М-да, чего не скажешь обо мне. По-моему, взгляда моего достаточно,

чтоб мула ожеребить! К тому же сегодня я приглашена на ленч к Голям!

— C'est bizarre[441], такая обольстительная девочка, столько нежности к пудельками, а пузатому бедолаге Вану — от ворот поворот!

— Вины куда резвей собачек!

— Раз любишь всякие изречения, — не отставал Ван, — позволь привести одно арабское: от кушака красавицы до рая путь к югу длиной в один ослиный вскрик. Eh bien?[442]

— Ты невозможен! Где, когда?

— Где? Да хоть в этой дрянной меблирашке напротив. Когда? Прямо сейчас! Как раз коня-качалки в наших играх не хватало, ведь таков tout comfort[443], что нас ждет — большего не обещаю!

— Мне надо быть дома не позже половины двенадцатого, а сейчас почти одиннадцать!

— Всего-то пять минут! Прошу!

Верхом она была похожа на девчонку, храбро осваивавшую первую в жизни карусельную лошадку. В вульгарной контрпозиции рот ее исказился квадратной moue[444]. Смурные, угрюмые уличные проститутки проделывают это с плотно сжатыми губами, без всякого выражения. Она пускалась вскачь дважды. Их стремительный обхват вместе с повторением продлились не пять, пятнадцать минут. Весьма собой довольный, Ван прошелся с нею напоследок сквозь буро-зеленую сень Буа де Бейё в ту сторону, где был ее особнячок (small mansion).

— Да, кстати, — сказал Ван, — я не пользуюсь больше нашей квартирой на Алексис. Лет семь или восемь там жили у меня одни небогатые люди — семейство полицейского констебля, который прежде служил лакеем у дядюшки Дэна в имении. Теперь моего полицейского уж нет в живых, а его вдова с тремя сыновьями вернулась в Ладору. Я хотел бы расстаться с этой квартирой. Не согласишься ли принять ее в качестве запоздалого свадебного подарка от воздыхателя? Отлично! Как-нибудь повторим наши игры. Завтра я должен быть в Лондоне, а третьего «Адмирал Тобакофф», мой любимый лайнер, отплывет со мною в Манхэттен. Аи revoir![445] Скажи своему, чтоб остерегался низких притолок. Рога, едва появляются, еще нежные слишком. Грег Ласкин утверждает, что Люсетт в «Альфонсе Четвертом»?

— Это так. А вторая где?

— Я думаю, здесь мы расстанемся! Двадцать минут двенадцатого. Так что поспеши.

— Аи revoir! Ты гадкий мальчишка, а я гадкая девчонка. Но было чудно — хотя ты и обращался со мной не как со знакомой дамой, а так, будто я у тебя шлюшечка. Погоди! Вот совершенно секретный адрес, по которому ты сможешь всегда (роется в сумочке) «меня найти» (отыскав карточку с мужниной геральдикой, выводит почтовый код), — это

Мальбрук, Майн, там я каждый август.

Кордула огляделась, поднялась, точно балерина, на носочки и поцеловала Вана прямо в губы. Прелестная Кордула!

3

Носитель бурбонского подбородка, смуглый, с прилизанными волосами, неопределенного возраста привратник, прозванный Ваном в студенческую пору «Alphonse Cinq»[446], высказал предположение, будто только что видел мадемуазель Вин в апартаментах Рекамье, где выставлялись на обозрение золотые вуали Вивьен Валь. Клацнув распашными дверцами и мелькнув фалдами, Альфонс выпорхнул из своего закутка проверить. Взгляд Вана, блуждая поверх изогнутой ручки зонта, обозрел карусель дешевых изданий серии «Сластолюбец» (с малюсеньким полосатым дятлом на корешке): «Цыганочка», «Зальцман», «Зальцман», «Зальцман», «Приглашение к оргазму»{145}, «Пострел», «Буйные ребята», «Порог боли», «Чузские колокола», «Цыганочка», — в этот момент мимо проследовали, не узнав признательного Вана, хоть и выдавало его немало зеркал, уолл-стритский коллега Демона, весьма «аристократичный», престарелый Кифар К.Л. Суин, баловавшийся стихами, а также еще более старый Мильтон Элиот{146}, воротила в области недвижимости.

Вернулся привратник, мотая головой. По доброте души своей Ван дал ему гинею с Голем и сказал, что снова заглянет в половине второго. Он направился через вестибюль (где автор «Виршей в агонии» и м-р Элиот, affalés[447], так что пиджаки вспучились кверху, dans des fauteuils[448], обменивались сигарами) и, выйдя из отеля через боковые двери, пересек рю де Жён Мартир[449], чтоб пропустить стаканчик «У Пекарски».

Войдя, он задержался на мгновение, чтоб отдать пальто; однако не расстался с мягкой черной шляпой и тростью-зонтом, как поступал и его отец в такого рода непристойных, но по-своему шикарных заведениях, куда приличные женщины — во всяком случае, без сопровождения — заходят нечасто. Ван направился в бар и, протирая стекла своих в черной оправе очков, внезапно углядел в оптическом тумане (свежайшая месть Пространства!) девушку, чей силуэт, уже знакомый, возникал (и гораздо отчетливей!) не однажды еще с поры его возмужания, — проходила мимо одна, пила одна, всегда одна, как блоковская Incognita[450]. Возникло странное ощущение — как от какой-то повторенной ошибки, не туда вклинившегося обрывка фразы в корректуре, сцены, показанной не в свой черед, повторного брака на пленке, неверного изгиба времени. Поспешно цепляя за уши черные дужки очков, Ван молча направился прямо к ней. С минуту он стоял за ее спиной — к воспоминанию и к читателю боком (как и она — к нам и к бару), шелком увитая трость приподнята, ручка повернута почти на

уровне рта изгибом к зрителю. Вот она перед ним на фоне раззолоченного задника — ширмы-сакарама у стойки бара, к которой, еще не согнувшись, не присев, она уже льнет, опустив руку в белой перчатке на поверхность. Она в романтическом, глухом черном платье с длинными рукавами, с пышной юбкой, обтягивающим лифом и высоким плоеным воротником, из черноты его мягкого венчика грациозно вздымается длинная шея. Мрачным прочесывающим взглядом скользим мы безупречно плавной линией этой горделивой шеи, по этому склоненному подбородку. Мы помним, мы любим эту крутизну скулы (и эту микрочастицу пуховки, прилипшую к жаркой розовой щеке), и этот взмах оживления темных ресниц, и по-кошачьи подведенного глаза — тихонько напомним: все это в профиль. Из-под широких волнистых полей пониклой шляпы из черного фая, с громадным черным бантом поверху, намеренно небрежная спиралька изысканно подвитой меди свисает по пылающей щеке, и отблески «электро-самоцветов» играют на ее bouffant[451] челке, которая, при взгляде сбоку, круглым уступом из-под экстравагантно изогнутых полей романтической шляпы спускается на удлиненные, ниточкой, брови. Ирландский профиль смягчен нотой русской неги, придающей ее красе выражение загадочного ожидания и мечтательного удивления, и, надеюсь, друзья и почитатели моих воспоминаний увидят в нем шедевр природы, ведь ее профиль несравненно утонченней и юней, чем у изображенной в той же позе на гнусной афишке, намалеванной художником-неудачником для Пекарски, грязной шлюхи{147} с типичным для парижанки gueule de guenon[452].

— Привет, Эд! — бросил Ван бармену, и она обернулась на звук любимого, с хрипотцой, голоса.

— Как, ты в очках? Едва не схлопотал от меня le paquet[453], которую я припасла нахалу, «евшему глазами» мою шляпу. Ван, любимый! Душка мой!

— Шляпа у тебя, — заметил Ван, — определенно лотреамонская, то есть лотрекскис… кис… — нет, эпитета мне не выкрутить!

Эд Бартон поднес Люсетт напиток, прозванный ею «Шамберизеткой».

— А мне джин и горькое пиво!

— Как радостно и как печально! — проговорила она по-русски. — Мое грустное счастье! Сколько ты еще собираешься пробыть в Люте?

Ван ответил, что завтра отправляется в Англию, а после, 3 июня (разговор был 31 мая), на борту «Адмирала Тобакофф» отплывает в Штаты. Она вскричала, вот прекрасный случай, она поплывет вместе с ним, ей совершенно не важно, куда ее занесет, на запад, на восток, в Тулузу, в Лос-Текес. Ван заметил, что уж слишком поздно заказывать каюту (пароход не слишком велик, значительно меньше «Королевы Джиневры»), и переменил тему.

— Мы виделись в последний раз, — сказал он, — два года тому назад, на вокзале. Ты возвращалась с Виллы Армина, я же только что приехал. На тебе было цветастое платье, сливавшееся из-за торопливости движений с цветами у тебя в руках, — соскочив с зеленой calèche, ты

ворвалась в Авзонский Экспресс, которым я прибыл в Ниццу.

— Très expressioniste![454] Я не заметила тебя, иначе непременно бы задержалась рассказать о том, что только что услыхала. Представь, мама все знала — твой болтливый папаша выложил ей все про Аду и про тебя!

— Но не про вас же с ней!

Люсетт просила не упоминать больше об этой отвратительной и ненавистной особе. Она и злилась на Аду, и ревновала ее к любому предъявителю. Адин Андрей, верней, действовавшая за него его сестрица, у того б ума даже и на это не хватило, коллекционировал передовую мещанскую живопись — пятна ваксы, разводы фекалий на холсте, имитирование бредовых завихрений, а также языческих божков, ритуальные маски, objects trouvés[455], или, скорее, troués[456], полированные чурбаны с полированными дырами я la Генрих Хейделанд{148}. Его невеста обнаружила во дворе ранчо в качестве украшения скульптуру (если можно так выразиться) работы самого старины Генриха совместно с четырьмя дюжими подмастерьями — громадный, уродливый обрубок плебейского красного дерева в десять футов высотой, озаглавленный «Материнство»{149} — проматерь (задним числом) всех гипсовых гномиков и чугунных поганок, насажденных предками Виноземскими перед своими лясканскими дачами.

Бармен как заведенный медленно протирал стакан, слушая обличения Люсетт с тихой улыбкой абсолютного обожания.

— Однако, — вставил Ван по-русски, — Марина говорила, ты с удовольствием гостила у них в 1896-м.

— Ничего подобного! Я, кинув там свои вещи, среди ночи и с рыдающей Брижитт уехала из Агавии! Такого, как у них, я нигде не видала! Ада превратилась в бессловесную brune[457]. Разговор за столом сводится к трем «к» — кактусам, коровам и кухне, лишь Дороти вставляет свои замечания касательно кубизма и мистики. Муженек из тех русских, которые шлепают босиком в туалет, бреются в исподнем, носят подвязки, считая, что носить подтяжки неприлично, но когда ищут мелочь в кармане, придерживают правый карман левой рукой, а левый правой, что не просто неприлично, а вульгарно. Возможно, Демон и огорчен, что у них нет детей, но, не успев насладиться ролью любящего тестя, он уж вдоволь «накушался» своим зятем. Дороти — это чудовище в облике благочестивой ханжи, приезжает погостить на целую вечность, заправляет кухней и тайно имеет ключи от всех комнат прислуги — что нашей брюнеточке неплохо бы знать, — а также иные ключики, к человеческим душам, — к слову, было у нее поползновение сделать проповедниками православия не только каждого американского негритоса, попавшего в ее сети, но также и нашу умеренно православную мамашу — хотя только и добилась что взлета акций «Тримурти». One beautiful nostalgic night…[458]

— По-русски! — предупредил Ван, заметив, как английская пара, заказав прохладительного, тихонько пристроилась за столиком, навострив уши.

— Как-то ночью (one night), когда Андрей отсутствовал, то ли гланды ему вырезали, то ли еще что, милейшая бдительная Дорочка устремилась на подозрительный шум в комнате моей горничной и обнаружила бедняжку Брижитт спящей в кресле-качалке, а нас с Адой, тряхнувших стариной (reshaking old times) на кровати. Тогда-то я и заявила Доре, что по горло сыта ее бестактностью, и тут же уехала в Монарх-Бей.

— Да, странные бывают люди, — заметил Ван. — Если ты покончила со своим сиропчиком, пойдем к тебе в отель, пообедаем!

Люсетт заказала рыбу, Ван остановился на холодном мясе и салате.

— Знаешь, с кем я столкнулся нынче утром? Со стариной Грегом Ласкиным! Это он мне сказал, что ты здесь. Жена у него est en peu smob[459], нет?

— Тут все en peu smob, — заметила Люсетт, — Кордула твоя, которая также здесь вертится, все никак простить не может скрипачу Шуре Тобаку, что тот стоит в телефонной книге рядышком с ее благоверным. Немедленно после обеда отправимся ко мне в номер — двадцать пять, он мой ровесник. У меня сказочный японский диван и уйма орхидей, только что поднесенных одним из моих воздыхателей. Ах Боже мой, о чем я подумала вдруг: может, они предназначены для Брижитт, она завтра в три-тридцать венчается в Отейе с метрдотелем из «Alphonse Trois»[460]. Не важно чьи, но они зеленые, с оранжевыми и пурпурными тычинками, какая-то разновидность нежных Oncidum, «кипарисовых лягушек», так смешно их иногда именуют в обиходе. Я вытянусь на диване в позе мученицы, помнишь?

— Что, по-прежнему наполовину мученица… я хотел сказать, наполовину девственница? — поинтересовался Ван.

— На четверть! — сказала Люсетт. — Умоляю, рискни, Ван! У меня диван черный с желтыми подушками.

— Можешь ненадолго присесть ко мне на колени.

— Нет — это когда разденемся и ты насадишь меня на кол!

— Милая, сколько раз напоминать тебе, ты королевского рода, а выражаешься как последняя распутная Люцинда{150}! Неужто в твоем кругу мода такая?

— Нет у меня никакого круга, я одна-одинешенька! Изредка выхожу в свет с двумя дипломатами, греком и англичанином, им разрешено трогать меня и поигрывать друг с другом. Один старомодный светский живописец пишет мой портрет, и, когда я в настроении, они с женой меня ласкают. Приятель твой Дик Чешир шлет мне презенты и подсказки о фаворитах скачек. Не жизнь, а скука, Ван!

— Меня влечет… ах, масса всякого, — продолжала она, в печальном раздумье тыча вилкой в голубую форель, которая, судя по изогнутости и выпученным глазам, была сварена живьем в момент конвульсивной

агонии… — Люблю фламандскую и голландскую живопись, цветы, вкусно поесть, Флобера, Шекспира, покупки, лыжи, плаванье, целовать красивое и дикое — но почему-то все это, и этот соус, и это голландское буйство красок, образует лишь тоненький-тоненький слой, под которым ровным счетом ничего нет, только, правда, твой образ, и лишь он придает глубину и форелью агонию этой пустоте. Я как Долорес — которая говорит: «Я — лишь портрет, написанный на небе».

— Так и не смог дочитать роман — слишком уж претенциозен.

— Претенциозен, зато правдив. У меня точно такое же ощущение бытия — частица, дымный след цвета. Come and travel with me to some distant place, where there are frescoes and fountains, why can't we travel to some distant place with ancient foutains? By ship? By sleeping car?[461]

— Безопасней и быстрей самолетом, — сказал Ван. — И, Лога ради, говори по-русски!

Мистер Суин, обедавший с молодым человеком, обладателем щегольских бачков тореадора и прочих прелестей, церемонно поклонился в направлении их столика; затем проходивший мимо, сопровождая темноволосую, матово-бледную даму, морской офицер в лазурно-голубой форме Гвардии Гольфстрима бросил:

— Привет, Люсетт, привет, Ван!

— Привет, Альф! — поздоровался Ван, а Люсетт ответила на приветствие отсутствующей улыбкой: подперев подбородок руками, она проводила удалявшуюся даму насмешливым оком поверх сплетенных пальцев. Кинув мрачный взгляд на единоутробную сестрицу, Ван кашлянул.

— Тридцать пять, не меньше, — проговорила Люсетт, — а все еще надеется с ним королевой стать!

Отец молодого человека, Альфонс Пятый Португальский, монарх-марионетка в руках Дядюшки Виктора, только что, вняв Гамалиилу, отрекся от престола в пользу республиканской власти, однако Люсетт заботила недолговечность красоты, не изменчивость политики.

— Это Линор Коллинз. Что-то не так, Ван?

— На звезду кошке нечего пялиться, негоже!{151} Теперь сходство уж не такое, как прежде, — хотя, разумеется, я не в курсе изменений, происшедших с той стороны. A propos, как наша карьера продвигается?

— Если ты имеешь в виду Адину, надеюсь, и тут фиаско, как и в браке. Так что Демону одно утешение, что я тебя заполучу. В кино я хожу не часто, а на похоронах ни с Дорой, ни с ней общаться я не стала и потому ни малейшего представления не имею, каковы на сей день ее театральные или экранные подвиги.

— А та особа не поведала братцу про ваши невинные игры?

— Ну, разумеется, нет! Она дрожит (trembles) над его благополучием. Хотя, убеждена, это именно она вынудила Аду написать мне, чтоб я «не смела больше посягать на их семейное счастье» — и это Дарьюшке, шантажистке во плоти, я могу простить, но Адочке ни за что! Да Бога ради, не снимай ты свой кабошон, я в том смысле, что на твоей волосатой руке он еще смотрится, хотя у папаши был похожий, но омерзительно гляделся на его розовой пятерне. Отец был из тихих старателей. Однажды взял меня на девчоночий хоккей, и во время матча пришлось ему пригрозить, что позову на помощь, если он не прекратит свои исследования.

— Das auch noch![462] — выдохнул Ван, засовывая в карман перстень с тяжелым темным сапфиром.

Не будь то последний дар Марины, Ван кинул бы перстень в пепельницу.

— Послушай, Ван! — сказала Люсетт (допивая четвертый бокал). — Почему бы не рискнуть? Ведь так все просто. Женишься на мне. Получишь Ардис в придачу. Будем там жить, будешь там писать. Я уйду в тень, ничем докучать не стану. Аду пригласим — одну, разумеется, — пусть немного погостит в своем поместье, ведь я всегда считала, что мама именно ей оставит Ардис. Пока она будет гостить, я отправлюсь в Эспен, или Гстаад, или Шиттау, а вы заживете с ней в глыбе хрусталя, и снег будет падать вокруг, как в вечности, pendant que je[463] — в Эспенисе и на лыжах. Но вдруг я неожиданно заявлюсь, а она пусть себе живет как дома, я же буду поблизости, на случай если вам двоим потребуюсь. А потом на пару кошмарных месяцев она вернется к своему муженьку, ну как?

— Да уж, план восхитительный! — сказал Ван. — Беда лишь в том, что она никогда не приедет. Уже три часа, мне надо повидаться с человеком, который должен перестроить виллу Армина, которую я унаследовал и которая вместит один из моих гаремов. Бить эдак человека по руке — не самая лучшая из унаследованных тобой ирландских манер. Я провожу тебя до твоего номера. Тебе явно стоит слегка отдохнуть.

— Мне нужно сделать один очень-очень важный звонок, но так, чтоб ты не слышал, — сказала Люсетт, шаря в черной сумочке в поисках ключа.

Они вошли в холл ее апартаментов. Здесь, твердо решив уйти немедля, Ван снял очки и прильнул губами к ее губам — и ощутил знакомый вкус Ады в Ардисе, в самой середине дня, сладость слюны, солоноватость эпителия, шерри, кофе. Не потрудись он так рьяно и так недавно, ни за что не устоять ему перед искушением, перед непростительным возбуждением. Едва он попятился к дверям, Люсетт повисла у него на рукаве.

— Поцелуемся еще, еще! — лепетала Люсетт одними губами, по-детски, в каком-то суетливо-бессвязном бреду, отчаянно силясь отсечь его от раздумий, от того, чтоб сказать нет.

Ван сказал: хватит.

— Но почему? Ну прошу тебя!

Он оторвал от себя ее холодные дрожащие пальцы.

— Почему, Ван? Почему, почему, почему?

— Прекрасно ты знаешь почему! Я люблю ее, не тебя, и мне совершенно не хочется началом очередной инцестной связи еще сильней все осложнять!

— Что за бред! — воскликнула Люсетт. — Ты уже многократно, еще я была ребенком, вполне далеко со мной заходил; твой отказ пойти дальше — чистая увертка, ничего больше! И потом, потом, ты, грязный мерзавец, ведь тысячу раз изменял ей со всякими!

— Не смей говорить со мной в подобном тоне! — сказал Ван, подло воспользовавшись ее жалкими словами, чтобы повернуться и уйти.

— Я пропро… я люблю тебя, — с неистовостью прошептала Люсетт, пытаясь плач вслед ему свести до шепота, так как коридор имел двери и уши, но Ван зашагал прочь, махнув ей, не обернувшись, и, отметим, весьма снисходительно, обеими руками, и вот уж скрылся из виду.

4

Одна заманчивая проблема требовала присутствия д-ра Вина в Англии.

Старик Паар Чузский написал ему в письме, дескать, «клинике» было бы желательно, чтоб он занялся исследованием уникального случая хромэстезии, однако в виду кое-каких отдельных привходящих моментов (например, слабой вероятности симуляции) Вану стоит приехать, чтоб на месте решить, так ли уж важно самолетом переправлять пациента в Кингстон для дальнейшего обследования. Как выяснилось, некому Спенсеру Малдуну, субъекту сорока лет, слепому от рождения, не имевшему ни жены, ни друзей, а также третьему незрячему персонажу этой хроники, во время сильнейших приступов паранойи являлись галлюцинации, и он выкрикивал названия тех предметов и явлений, какие научился узнавать осязательно, или тех, что рисовались в воображении страхом услышанного (падающие деревья, ископаемые ящеры), но теперь надвигались со всех сторон, после чего возникал период ступора, неизменно заканчивавшийся переходом в нормальное состояние, и тогда неделю-другую Малдун листал книжки для слепых или в блаженстве сомкнутых красных век слушал музыкальные записи, пенье птиц и ирландскую поэзию.

Его способность дробить пространство, словно повторяемостью рисунка обоев, на горизонтали и вертикали «сильных» и «слабых» субстанций, оставалась никому не известной, пока однажды вечером один аспирант

(пожелавший так и остаться «асп.»), желая прочертить кое-какие графики, характеризующие метабазис другого больного, оставил где-то под руками у Малдуна продолговатую коробку с новенькими, разноцветными, еще не зачиненными меловыми карандашами, само лишь название которых («Розовая анадель Диксона») окрашивало воображение в радужные тона, поскольку в уютном жестяном вместилище эти яркие, отлакированные деревянные карандаши выложены радужным спектром. Не то было детство у бедняги Малдуна, чтоб откликнуться на этакий ярко переливчатый призыв, но, едва пытливые пальцы, открыв коробку, прошлись по карандашам, бледное, точно пергамент, лицо просияло явным чувственным наслаждением. Заметив, что брови слепца приподнялись слегка на красном, сильней — на оранжевом, еще сильней, сопровождаясь пронзительным вскриком, — на желтом, потом принялись опускаться на прочих цветах спектра, асп. походя заметил ему, что деревяшки окрашены в разные цвета — «красный», «оранжевый», «желтый» и т. д., и так же походя Малдун, вторя ему, сказал, что и на ощупь они разные.

В ходе тестов, проводимых асп. с коллегами, Малдун объяснял им, что поочередное касание карандашей отдается в нем звукорядом «жалозвонов», особых ощущений, напоминающих звон в ушах от прикосновения кожи к жгущей крапиве (он вырос в деревне где-то между Орма и Арма и в своем полном опасности детстве не раз, бедняга, спотыкался в тяжелых своих ботинках и падал в канавы и даже в овраги), и еще поведал с ужасом о «сильном» зеленом жалозвоне от листка зеленой промокашки, а также о влажном слабом розовом жалозвоне от прикосновения к потному носу медсестры Лангфорд, причем эти оттенки пациент выверял самостоятельно по названным аспирантами в связи с карандашами цветам. В результате всех этих тестов напрашивался вывод, что пациент кончиками пальцев сообщает мозгу «тактильную транскрипцию призматического спектра», как выразился Паар в своем обстоятельном послании Вану.

По приезде последнего оказалось, что Малдун не полностью вышел из состояния ступора, оказавшегося значительно длиннее предыдущего. Надеясь, что завтра осмотрит пациента, Ван провел восхитительный день в дискуссиях с рядом заинтересованных коллег, с любопытством узрев меж медсестер знакомый прищур Элси Лэнгфорд, поджарой девицы с лихорадочным румянцем и длинными зубами, имевшей неопределенное касательство к истории с «полтергейстом» в ином медицинском заведении. Пригласив Чуза отужинать к себе в апартаменты, Ван сказал, что лучше бы беднягу, едва можно будет его транспортировать, переправить в Кингстон непременно с мисс Лэнгфорд. Но бедняга в ту же ночь скончался во сне, оставив явление так и не разгаданным и при явном ореоле неправдоподобия.

Ван, в котором розовый дым вишневого цветения неизменно возбуждал состояние влюбленности, решил потратить кучу внезапно образовавшегося времени перед отъездом в Америку на двадцатичетырехчасовой курс лечения на самой модной и наиболее чудодейственной в Европе Вилле Венера; однако за долгий путь в древнем, обитом плюшем, источавшем слабые ароматы (мускус? турецкий табак?) лимузине, который он, как всегда, нанял для поездок по Европе в «Албании», обычно предпочитаемом в Лондоне отеле, иные

тревожные, хоть и не вседовлеющие чувства примешались к тупому вожделению. Мерно покачиваясь в автомобиле — ноги в домашних туфлях на удобной подставке, рука в приоконной шлейке, — Ван вспоминал первую свою поездку в Ардис, пытаясь сделать то, что иногда сам рекомендовал пациенту для тренировки «мускулов сознания», а именно: заставить себя погрузиться в прошлое, не просто вернуться в строй мыслей, что предшествовал радикальной перемене в жизни, но в состояние полного неведения относительно самой перемены. Ван понимал, что это невозможно, что ничего, кроме упорных попыток, у него не получится, ведь не запомнил бы он всей прелюдии к Аде, не переверни жизнь очередную страницу и не заставь новые горящие слова воссиять в памяти сквозь все времена. Интересно, вспомнит ли он когда и эту ничем не примечательную поездку. Эту позднюю весну в Англии с застывшими в вечернем небе литературными ассоциациями. Встроенный канореон (старомодное музыкальное устройство, лишь недавно упраздненное смешанной англо-американской комиссией) передавал душещипательную неаполитанскую песню. Что он? Кто он? Почему он? Ван размышлял над своей нерадивостью, несуразностью, душевной заброшенностью. Над своим одиночеством и о страстях и опасностях, с ним сопряженных. Смотрел через стеклянную перегородку на жирные, налитые здоровьем, основательные складки на загривке у шофера. Не званные, текли чередой лица: Эдмунд, Эдмонд, незатейливая Кордула, фантастически запутанная Люсетт и дальше автоматически, по ассоциации, порочная девчонка из Канн по имени Лизетт с грудками, точно два хорошеньких нарывчика, чьими хрупкими прелестями в передвижной купальне распоряжался здоровенный вонючий братец.

Ван выключил канореон и вынул себе бренди из-за отдвижной панели, отпил прямо из бутылки, так как все три стакана были немыты. Ощутил себя будто в кольце валящихся вековых деревьев и диких чудовищ — олицетворения недостигнутых или недостижимых задач. Одной из них была Ада, от которой, он знал, не отступится никогда; ей при первом же трубном гласе судьбы он сдаст всего себя без остатка. Второй был его философский труд, столь странно тормозимый его же сильной стороной — оригинальностью литературного стиля, которым-то и выражена единственная и неприкрытая правдивость автора. Надо было все писать по-своему, но коньяк оказался чудовищен, и история мысли ощетинилась штампами, но именно эту историю ему и предстояло одолеть.

Ван понимал, что он не вполне ученый муж, однако художник до мозга костей. Парадоксальным и ненужным образом это проявилось в его «научной карьере», в его небрежно-высокомерном чтении лекций, в его ведении семинаров, в его опубликованных докладах о расстроенности ума, так что, начав этаким вундеркиндом, когда ему не было еще и двадцати, уже к тридцати одному году Ван достиг «почестей» и «положения», каких многие неимоверно трудолюбивые ученые не достигают и к пятидесяти. В самые черные моменты — как теперь — он объяснял, хотя бы частично, свой «успех» своим происхождением, достатком, многочисленными пожертвованиями, которые (как бы в развитие чрезмерного одаривания им неимущих и нищих, прибиравших номера, водивших лифты, улыбавшихся ему в коридорах отелей) он потоком обрушивал на нуждающиеся учебные заведения, на их учащихся… Возможно, Ван Вин не слишком заблуждался в своих мрачных догадках;

ибо на нашей Антитерре (да и, судя по его трудам, на Терре тоже) всякое сверх меры усердное руководство, если только не тронуть ему душу внезапно возведенным новым зданием или бурным потоком финансовой помощи, предпочтет безопасную серую ученую посредственность подозрительной яркости всякого В.В.

Под соловьиные трели Ван прибыл в сказочно-постыдное место своего назначения. Как обычно, он испытал прилив похотливого возбуждения, едва автомобиль въехал в дубовую аллею меж двух рядов жизнерадостных статуй с фаллосами «на караул». Желанный завсегдатай вот уж пятнадцать лет, он даже не удосужился «протелефонировать» (новый общепринятый термин) о своем приезде. Его хлестнуло лучом прожектора: увы, нынче ночью у них гала-представление!

Обычно члены клуба велели шоферам припарковываться на специальной стоянке рядом с караульной, где оборудовалась приличная закусочная для прислуги с безалкогольными напитками и парой недорогих и непритязательных шлюшек. Но в эту ночь громадные полицейские машины заполнили гаражные отсеки, наводнив даже близлежащую рощицу. Велев Кингсли немного подождать под дубами, Ван, надев bautta[464], отправился на разведку. Любимая, в окружении стен, дорожка вскоре вывела его к широкой поляне, зеленым бархатом ведущей к большому дому. Повсюду горели веселые фонари и было многолюдно, как на Парк-авеню, — сравнение явилось тотчас, так как методы маскировки здешних хитроумных сыщиков были того же свойства, что у него на родине. Кое-кого из этих типов Ван даже внешне узнал — они патрулировали у отцовского клуба в Манхэттене всякий раз, когда славный Гамалиил (не переизбранный на четвертый срок), пребывая в состоянии скрытого от общественности слабоумия, там ужинал. Агенты изображали то же, что и обычно, — торговцев грейпфрутами, черномазых лавочников, предлагавших бананы и банджо, допотопных, или по крайней мере неуместных, «переписчиков бумаг», семенивших кругами к подозрительного вида конторам, а также неустанно передвигающихся читателей русских газет, притормаживающих на миг в отрешенности и снова, прикрывшись широко развернутой газетой «Эстотийскія вести», продолжающих движение. Ван вспомнил, что г-н Александер Скрипатч, нынешний президент Объединенных Америк, родом из восторженных русских, как раз прилетел в Англию на встречу с королем Виктором; и не без оснований решил, что эти оба тоже здесь где-то в толпе.

Комизм узнаваемости агентов (что хоть и отвечало их допотопному взгляду на тротуарный надзор, но смотрелось нелепо здесь, в ярко иллюминированных лабиринтах английских оград) смягчал крайнее разочарование Вана, которого уж мысль, что придется заняться шалостями с этими историческими персонажами или довольствоваться бравыми девицами, каких те попробовали и забраковали, приводила в жестокое содрогание.

Тут замотанная в простыню статуя попыталась было испросить у Вана пароль, да, поскользнувшись на мраморном пьедестале, рухнула навзничь в папоротники. Проигнорировав ползающее божество, Ван вернулся ко все еще весело урчащему «джоллс-джойсу». Багровощекий Кингсли, старый испытанный друг, предложил отвезти его в другое заведение, миль девяносто к северу; однако Ван из принципа отказался

и был отвезен обратно в «Албанию».

5

3 июня в 5 часов утра корабль Вана отплыл из Гавр-де-Грас; вечером того же дня в Олд-Хэнтспорте Ван взошел на его борт. Большую часть дневного времени он играл в теннис с Делорье, известным чернокожим тренером, а потом в дремотном отупении следил, как с дальнего ската носовой волны жаркое клонящееся солнце высвечивает золотисто-изумрудными пестринками змеистую морскую дорожку к правому борту. Решив наконец отправиться спать, Ван спустился на палубу первого класса, вкусил кое-что из фруктового натюрморта, приготовленного ему в его гостиной, попытался просмотреть в постели гранки эссе, написанного им к торжествам по случаю восьмидесятилетия профессора Антикамушкина, оставил это занятие и погрузился в сон. К середине ночи разыгрался буйный шторм, но, невзирая на ныряния и скрипы («Тобакофф» был стар и измучен жизнью), Ван умудрился спать крепким сном, и спящее его сознание откликнулось лишь приснившимся водоплавающим павлином, сперва медленно погружавшимся и вдруг, прямо у берега озера, Ванова тезки, в древнем королевстве Маранта, изобразившим кульбит наподобие нырка птицы-чомги. Потом, вспоминая этот яркий сон, Ван вывел его истоки из недавнего посещения Армении, где охотился на дичь с Армборо и с чрезвычайно уступчивой и искусной племянницей этого джентльмена. Пожелав записать этот сон, он был позабавлен тем, что все три его карандаша не просто исчезли со столика у кровати, но, в своем прерванном бегстве проделав немалый путь по голубому ковру, лежат вытянувшись в ряд на полу вдоль двери в прилегавшую комнату.

Стюард принес ему «континентальный» завтрак, судовую газету и список пассажиров первого класса. В рубрике «Туризм в Италии» газетенка извещала, что некий крестьянин из Домодоссолы наткнулся в земле на останки и сбрую Ганнибалова слона и что двое американских психиатров (имена не названы) скончались при странных обстоятельствах на ранчо в Бакалетто: старший умер от сердечного приступа, а его юный дружок покончил жизнь самоубийством. Подивившись нездоровому пристрастию «Адмирала» к горным прелестям Италии, Ван вырезал заметку и взялся за список пассажиров (красиво возглавленный той же геральдикой, что красовалась на почтовой бумаге Кордулы), проверить, нет ли в нем кого, с кем от встреч на ближайшие дни стоит воздержаться. В списке значились Робинсоны, Роберт и Рейчел, давно известные зануды (Боб, много лет возглавлявший одну из контор дядюшки Дэна, теперь удалился на покой). Блуждающий по списку взгляд Вана подплыл к «Д-ру Ивану Вину» и застыл на имени, шедшем вслед за ним. Отчего сжалось его сердце? Почему внезапно пересохло во рту? Это пустые шаблоны, приставшие достойным романистам прежних лет, полагавшим, что все умеют объяснить.

Уровень воды в его ванной, колеблясь, перекашивался, повторяя медленное качание ярко-голубого, в белых крапинках, моря в иллюминаторе его спальни. Он позвонил мисс Люцинде Вин, чья каюта находилась в середине судна на верхней палубе, как раз над ним; но трубку никто не взял. Надев белый свитер-поло и темные очки, Ван отправился ее искать. Ее не оказалось на спортивной палубе, откуда сверху вниз он увидал другую рыжую головку в холщовом шезлонге на солнечной стороне: с захватывавшей дух скоростью эта особа строчила письмо, и Вану подумалось, если когда-либо он переключится с тяжелой казуистики на легкую беллетристику, то использует образ ревнивца-мужа, наблюдающего издалека в бинокль за таким вот потоком неприкрытых чувств.

Ее не было и на прогулочной палубе, где укутанные в одеяла старики и старушки, поджидая с предвкушающим утробным урчанием одиннадцатичасового бульона, почитывали «Зальцмана», бестселлер номер один. Ван заглянул в гриль-бар, заказав там столик на двоих. Пройдя к стойке бара, тепло поздоровался с лысым толстяком Тоби, служившим на «Королеве Джиневре» в 1889 и 1890 и в 1891, когда та еще не была замужем, а он был мстительный идиот. Ведь могли бы вместе улизнуть в Лопадузу под именами мистера и миссис Диарс или Сарди!

Он настиг их единоутробную сестрицу в носовой части верхней палубы, угрожающе прелестную в открытом ярком, цветастом, волнуемом ветром платье и беседующую с покрытыми бронзовым загаром, хотя заметно сдавшими Робинсонами. Она повернулась к нему, смахивая летящие пряди с лица, со смешанным выражением триумфа и робости, и они тут же покинули Рейчел с Робертом, заулыбавшимся им вслед, одинаково маша руками ей, ему, жизни, смерти, счастливому старому времени, когда Демон оплатил все картежные долги их сына, как раз перед тем, как тот погиб за рулем в лобовом столкновении.

Она с удовольствием расправилась со своими пожарскими котлетами: он не упрекал ее, что внезапно трансформировалась (в трансатлантическом направлении) как какая-нибудь безбилетница; в своем стремлении к нему она едва позавтракала, после того как накануне и не ужинала вовсе. Она, занимавшаяся подводным плаваньем и обожавшая океанские перепады и впадины, любившая, летая в самолете, вздымания и ямы, здесь, на борту первого в своей жизни океанского корабля, постыдно страдала от морской болезни. Но Робинсоны дали ей чудное средство, она проспала десять часов, и все это время в объятиях Вана, и теперь надеялась, что оба они, он и она, достаточно бодры, не считая еле заметного последствия таблетки.

Очень любезно Ван осведомился, соображает ли она, куда направляется.

С ним в Ардис — был стремительный ответ — навеки, навеки! Дед Робинсона умер в Аравии в возрасте ста тридцати одного года, так что у Вана впереди еще целое столетие, она воздвигнет ему в парке несколько павильонов, чтоб разместить там его нескончаемые гаремы, которые постепенно, один за другим, превратятся в дома для престарелых дам и затем в мавзолеи. У нее, сказала она, в каюте-люкс, «которую сумела в момент у них выцыганить», над кроватью милой

Кордулы и ее Тобака висит картина «Том Кокс на Бледном Огне{152}» — эпизод скачек; интересно, какое воздействие оказывает это на постельные страсти Тобаков во время морских путешествий. Ван прервал нервозную трескотню Люсетт вопросом: что, краны у нее в ванной снабжены теми же надписями, как у него — «Горячая бытовая», «Холодная соленая»? Да, вскричала она, «Голодная соленая», «Голодный Зальцман», «Пылкая горничная», «Бесстрастный капитан»!

Снова они встретились днем.

Большинство привилегированных пассажиров лайнера «Тобакофф», находившегося днем 4 июня 1901 года в центре Атлантики на широте Исландии и долготе Ардиса, видно, не испытывали желания порезвиться на свежем воздухе. Знойное кобальтовое небо по-прежнему взрывалось леденящими порывами ветра, и старомодный бассейн то и дело плескался волной о зеленый кафель, но Люсетт была девушка закаленная, привыкшая и к крутым ветрам не меньше, чем к нестерпимому зною. Весна в Фиальте{153} и жаркий май на Минотавре, прославленном искусственном острове, покрыли ее тело персиковым загаром, который при окатывании водой глянцевито блестел, но едва кожу обдавало ветерком, она вновь принимала свой естественный вид. Пылая щеками, искрясь медью из-под плотно надвинутой на лоб и затылок резиновой шапочки, она походила на Ангела в Шлеме с Юконской иконы, обладавшей, как поговаривали, магическим свойством обращать худосочных блондинок в конскiя дети, в конопатых рыжих парней, приплод Солнечной Кобылицы.

После короткого заплыва она вернулась на солнечную палубу, на которой лежал Ван, со словами:

— Ты представить не можешь — («Нет такого, чего бы я не мог себе представить!» — возразил он), — ну хорошо, так представь, сколько втиралось лосьонов, сколько вмазалось мазилок в эту кожу — на недоступных взорам балконах и в уединении морских пещер, — прежде чем я позволила себе подставить тело стихиям. Я вечно балансирую на грани загореть-сгореть — или лобстер-Obst[465], по выражению моего любимого художника Герба, — как раз читаю его дневники, изданные его последней герцогиней, они на перевитом триязычии, прелестные, дам тебе почитать. Видишь ли, дорогой, я сочла бы себя пятнистой обманщицей, если б то немногое, что я не выставляю напоказ, не совпадало бы по цвету с обозреваемым.

— При обзоре в 1892 году, помнится, ты была с ног до головы песочного оттенка! — заметил Ван.

— Теперь я совершенно другая! — прошептала она. — Новая и счастливая! С тобой наедине на заброшенном в океане корабле, и впереди еще дней десять как минимум до очередных месячных. Я послала тебе в Кингстон глупую записку, на всякий случай, вдруг ты не объявишься.

Они лежали теперь в симметричных позах лицом к лицу на матах у края бассейна: он — подперев щеку правой рукой, она — привалившись на левый локоть. Бретелька зеленого купальника съехала с нежного

плечика, видны были капли и струйки воды у основания соска. Пропасть в несколько дюймов отделяла его джерси от ее живота, черную шерсть его брюк от промокшей зеленой маски на лобке. Солнце глянцевило ей бедро; притененная впадинка вела к шраму пятилетней давности, следу удаления аппендикса. Ее полуприкрытый взгляд тяжело и по-темному страстно остановился на Ване, и она права была, они были здесь совершенно одни; он овладел Мэрион Армборо за спиной ее дядюшки в куда более сложных обстоятельствах, при том что катерок подпрыгивал, как летучая рыба, а у хозяина рядом с рулем лежал карабин. Ван без особой радости, мрачно сетуя, что не поистратил пыл на Вилле Венера, ощутил, как жирный змей желания поднял тяжелую голову. Позволил ее руке слепо скользить по его бедру, кляня природу, что всадила мужчине в промежность сучковатое древо, исходящее гнусным соком. Внезапно Люсетт отпрянула, выдохнув благовоспитанное: «merde»[466]. Оказалось, Эдем наводнен людьми.

К бассейну с веселым криком бежали двое полуголых детишек. Вслед неслась негритянская нянька, грозно потрясая махоньким купальным лифчиком. Из воды с фырканьем невесть как материализовалась лысая голова. Из раздевалки появился тренер по плаванию. Одновременно высокая, роскошная дива со стройными ногами при омерзительно увесистых бедрах прошла мимо Винов, едва не наступив на усеянный изумрудами портсигар Люсетт. Ее вытянутая, волнистая, цвета беж, спина была, не считая сверху выбеленной гривы и золотистой полоски лифа, полностью обнажена вплоть до вершин ее медленно и сочно вращавшихся ягодиц, на ходу выставлявших из-под блестящего ламэ исподний беж. Перед тем как свернуть за скругленный белый угол и скрыться, Тицианова титанка, слегка оборотив загорелое лицо, отчетливо бросила Вану: «Привет!»

— Кто сия пава (who's that stately dame)? — осведомилась Люсетт.

— Разве она не с тобой поздоровалась? — изумился Ван. — Лица я ее не разглядел, а по заду не узнал.

— Она одарила тебя щедрой улыбкой трущоб! — заметила Люсетт, поправляя зеленую купальную шапочку трогательно изящными движениями воздетых лопаток и трогательно посверкивая желтовато-бурым оперением подмышек.

— Пойдешь со мной, а? — спросила Люсетт, вставая с мата.

Глядя на нее снизу вверх, Ван мотнул головой и сказал:

— Ты поднимаешься словно Аврора!

— Первый его комплимент! — отметила Люсетт с многозначительным кивком, как бы призывая в свидетели невидимого слушателя.

Надев темные очки, он следил, как она встает на край прыжковой доски, как втягивает внутрь живот под резко проступившими ребрами, готовясь сорваться стрелой в янтарь бассейна. Мысленно спросил себя, в виде сноски, как бы просто так, — если темные очки, да и прочие приспособления для глаз, несомненно, искажают наше представление о

«пространстве», не влияют ли они также и на манеру нашей речи. Две ладненькие девчушки, их нянька, похотливый водяной, плавательных дел мастер — все смотрели туда же, куда и Ван.

— А вот и второй комплимент! — сказал Ван, когда Люсетт вернулась к нему. — Ты — божественная прыгунья. Я, например, вхожу в воду с неуклюжим всплеском.

— Но ты быстрей плаваешь! — посетовала Люсетт, спуская бретели и ложась на живот. — Между прочим (by the way), правда ли, что моряков при жизни этого Тобакофф не учили плавать, чтоб смерть стала менее мучительной, если корабль идет ко дну?

— Возможно, простых моряков — нет, — сказал Ван. — Когда же сам мичман Тобакофф пережил крушение у Гавайя, он преспокойно плыл себе и плыл, отпугивая акул зычными старыми куплетами и всякой такой дребеденью, пока наконец его не подобрала рыбацкая лодка, — вот тебе одно из тех чудес, которое, на мой взгляд, возможно при минимальной спайке всех сопричастных.

Демон, сказала Люсетт, в прошлом году во время похорон поделился, что собирается купить остров в архипелаге Гавай («неисправимый мечтатель» — процедил Ван). Он «исторг фонтан слез» в Ницце, но рыдал еще пуще на предыдущей церемонии, в Валентине, где Марина также присутствовать не могла. Венчание — если угодно, по православному обычаю — напоминало плохое, фальшивое старое кино, батюшка — кретин, а дьякон — пьян, и — к счастью, пожалуй, — за плотной белой вуалью Ады, как под вдовьим трауром, оказалось совершенно не видно ее лица. Ван сказал, что слушать этого больше не желает.

— Нет уж, послушай! — парировала Люсетт. — Хотя бы потому (if only because), что один из ее шаферов (неженатых мужчин, которые поочередно держат венец над головою невесты) своей бесстрастностью в профиль и наглыми манерами (все норовил повыше задрать тяжелый металлический венец, так высоко вздымал его атлетическим жестом, словно нарочито хотел отвести подальше от ее головы) до того был похож на тебя, будто твой бледный, дурно выбритый двойник, посланец твой Бог весть откуда.

Из местечка с прелестным названием Агония, что в Терра дель Фуэго[467]. Он ощутил ужасающий трепет, вспоминая, как, получив там приглашение на бракосочетание (отправленное воздушной почтой той самой жуткой жениховой сестрицей), несколько ночей не мог избавиться от вереницы кошмарных снов, с каждым разом становившихся все тусклее (как и воздействие фильма с нею, который он на дальнейшей стадии своей жизни все смотрел и смотрел по разным кинозалам), и ему снилось, будто держит над нею венец.

— Отец твой, — добавила Люсетт, — заплатил фотографу из «Белладонны», чтоб сделал фото, — но, разумеется, истинная слава приходит только тогда, когда имя появится в кроссворде-головоломке этого вестника кино. А такому, все мы знаем, никогда не бывать, никогда, никогда! Ну что, ненавидишь меня?

— Да нет, — ответил Ван, проводя рукой по ее прогретой солнцем спине и почесывая ей копчик, чтоб киска урчала. — Увы, нет! Я вас люблю любовью брата иль, может быть, еще сильней. Хочешь, закажу прохладительного?

— Хочу, чтоб не отвлекался! — промурлыкала она, уткнувшись носом во вздутое изоголовье.

— Вон официант идет! Что будем пить — «гонолулики»?

— Это ты с мисс Кондор{154} (произнося первый слог в нос) выпьешь, когда я пойду переодеваться. Мне чай и больше ничего. Нельзя таблетки мешать с алкоголем. Наверное, где-то среди ночи придется воспользоваться одной из хваленых робинсоновских пилюль. Среди ночи где-то.

— Прошу вас, два чая!

— И побольше бутербродов, Джордж! Любых — с гусиной печенкой, с ветчиной!

— Что за гадкая манера, — заметил Ван, — называть вымышленным именем бедного лакея, который не может тебе ответить: «Слушаюсь, мадемуазель Кондор!» Кстати, последнее — наиболее удачный из известных мне франко-английских каламбуров.

— Но он и в самом деле Джордж! Он был чрезвычайно обходителен вчера, когда меня стошнило прямо посреди чайной залы.

— Сладкой все в сладость! — пробормотал Ван.

— Да и Робинсоны тоже, — продолжала стрекотать Люсетт. — Маловероятно, правда же, что они сюда заявятся? Так и таскаются, весьма трогательно, за мной хвостом с того момента, как по пути на лайнер во время обеда в вагоне-ресторане мы случайно оказались за одним столом, и я, сообразив кто они такие, решила, что во мне они не признают девочку-толстушку, которую видели году в восемьсот восемьдесят пятом или шестом, а они своими разговорами задурили мне голову — мы сперва решили, что вы француженка, семга необыкновенно вкусна, так откуда вы родом? — а мне запудрить мозги нетрудно, вот так одно за другое… Молодые изменчивость времени подмечают быстрей, чем люди солидные, пожилые, которые сами перестают быстро меняться, ну а как меняются молодые, тем более давно не виденные, им видеть редко приходится.

— Исключительно верно, дорогая, — сказал Ван, — если отбросить то обстоятельство, что само по себе время недвижимо и неизменно.

— И правда: я на твоих коленях всегда, это дорога бежит назад. Дороги движутся?

— Движутся!

Выпив чай, Люсетт вспомнила, что ей надо к парикмахеру, и в спешке умчалась. Ван стянул с себя джемпер и полежал еще немного в раздумье, перебирая пальцами маленький, в зеленых изумрудах, портсигар с пятью сигаретками «Лепестки розы», пытаясь насладиться жаром платинового солнца в его ореоле «техниколора», но добился лишь того, что с каждой конвульсией и с каждым вздыманием корабля, злобный пламень искушения разгорался все сильней.

Через мгновение, словно отследив его одиночество, вновь явилась пава (peahen) — на сей раз с извинениями.

Обходительный Ван, вскакивая на ноги и вскидывая на лоб очки, принялся извиняться в свою очередь (в том, что невольно ввел ее в заблуждение), но краткий монолог оборвался ступором, едва Ван, взглянув на нее, увидел незабвенные черты в вульгарном, гротескно-карикатурном изображении. Смуглая кожа, серебристо-пепельные волосы, пухлые лиловые губы грубым негативом представили ее матовость, ее вороненость, ее выпуклый, бледный рот.

— Говорят, — пояснила пава, — мой закадычный друг Вивиэн Вейл, кутурэй — вузавэй entendue[468]? — сбрил бороду и в таком случае должен весьма походить на вас, это так?

— Логическая ошибка, мэм! — отвечал Ван.

Она замешкалась на долю секунды, проводя языком по губам, прикидывая, грубость ли это или готовность с его стороны — но тут вернулась Люсетт за своими «Лепестками розы».

— Увидимся апрей[469]! — сказала мисс Кондор.

Взгляд Люсетт с облегчением проводил до самого исчезновения ленивое перекатывание ягодичных полушарий и складок.

— Ты обманщик, Ван! Это она, это все-таки одна из твоих кошмарных девиц!

— Клянусь, — сказал Ван, — понятия не имею, кто она! Не собирался тебя обманывать.

— Ты врал мне много-много раз, когда я была еще ребенком. Если поступаешь так и сейчас, tu sais que j'en vais mourir[470].

— Ты ж обещала мне гарем! — с мягким упреком сказал Ван.

— Не сегодня, не сегодня! Сегодня — святое!

Вместо щеки, к которой он потянулся, она мгновенно подставила ему неистовые губы.

— Пойдем ко мне в мою каюту! — умоляюще произнесла она, когда он отбросил ее назад пружинной отдачей звериного отклика на пламень ее губ и языка. — Хочу просто показать тебе их подушки и рояль. Из каждого ящика несет Кордулой! Умоляю, пойдем!

— Теперь убирайся! — сказал Ван. — Ты не имеешь никакого права так меня возбуждать! Если не будешь вести себя как следует, найму себе в спутницы мисс Кондор. В семь-пятнадцать встретимся за ужином.

У себя в спальне Ван обнаружил несколько запоздалое приглашение капитана отужинать за его столиком. Приглашение было адресовано «Д-ру и миссис Вин». В промежутке между плаваньем на «Королеве» Ван пользовался этим судном, и капитан Койли запомнился ему как скучнейший, малообразованный субъект.

Вызвав стюарда, Ван велел ему вернуть приглашение назад с карандашным росчерком от себя: «Нет такой семейной пары». Минут двадцать лежал в ванне. Попытался сосредоточиться на чем-либо, кроме тела девы-истерички. Обнаружил коварный пропуск в гранках, целая строчка оказалась упущена, хотя — при поверхностном чтении — убогий абзац смотрелся вполне читабельно, так как усеченный конец предложения и слившееся теперь с ним, набранное со строчной буквы начало следующего образовывали синтаксически правильный фрагмент, пресность которого ни за что бы не заметил при нынешних причудах своей плоти, не вспомни он (воспоминание подтверждается машинописным текстом), что как раз здесь должна быть вполне уместная, если все учтено, цитата: Insiste, anime meus, et adtende fortiter[471].

— Ты правда не хочешь в ресторан? — спросил он, когда Люсетт, в своем коротком вечернем платьице казавшаяся еще оголенней, чем в бикини, встретилась с ним в дверях гриль-бара. — Там тьма народу и веселья и мастурбирует оркестр. Так — нет?

Она мило качнула головкой в алмазах.

Они заказали громадных сочных «креветок гру-гру» (желтых личинок пальмового долгоносика) и жареную медвежатину a la Tobakoff. Занято было всего лишь столиков пять-шесть, и, если не считать противного дрожания судового двигателя, которое за обедом они как-то не заметили, в баре царила мягкая, приглушенная, уютная атмосфера. Воспользовавшись ее странным, подчеркнутым молчанием, Ван принялся в подробностях рассказывать Люсетт про покойного щупателя карандашей г-на Малдуна, а также про имевший место в Кингстоне казус с глоссалией у одной юконки, говорившей на нескольких славяноподобных диалектах, которые, возможно, существуют на Терре, но только не в Эстотиландии. Увы, иной казус (обыгрываемый сходством с «казаться») завладел его вниманием на внесловесном уровне.

Она задавала вопросы с прелестным, по-газельи студенческим, интересом, но преподавателю больших научных знаний не требовалось, чтоб разгадать, что и очаровательная застенчивость, и низкие нотки, опушающие ее голос, это тот же наигрыш, что и ее дневное вспенивание. По сути говоря, Люсетт корежили мучения от сумятицы чувств, совладать с которыми могло лишь героическое самообладание американской аристократки. Бог знает когда она вбила себе в голову, что, заставив, хотя бы однажды, мужчину, которого нелепо, но безысходно любила, вступить с собой в связь, она каким-то образом сумеет с помощью чудодейственного перста природы превратить краткий

момент соития в вечные духовные узы. Но она также понимала, что если этого не произойдет в первую же ночь их плаванья, отношения вновь скользнут вспять к мучительному, безнадежному, безнадежно привычному стилю общения с обменом незлобивыми колкостями, с осязанием эротической грани, теперь еще более чувствительной. Ван понимал, что происходит с нею, или отчаянно верил, что тогда понимал, вспоминая потом, когда никакого иного средства, кроме умащения атлантической прозой д-ра Генри, не сыскать было в домашней аптечке прошлого с бряцавшей дверцей и с заваливающейся зубной щеткой.

Мрачно глядя на ее худенькие, обнаженные плечи, такие подвижные и пластичные, что так и казалось, она вот-вот скрестит их перед собой преображенными крыльями ангела, Ван малодушно думал про себя: если подчинится глубинному кодексу чести, то ему предстоит пережить пять дней похотливой ломки, — не только потому, что она прелестна, необыкновенна, но просто потому, что более суток без женщины в постели он обходиться не может. Он боялся как раз того, чего она так желала: стоит ему хоть раз проникнуть в ее разверстость и ощутить это сжатие, как она жадно завладеет им на недели, быть может, месяцы, быть может, дольше, — но неизменно грядет резкий разрыв, и новым надеждам ни за что не загасить старое отчаяние. Но хуже всего было то, что, ощущая страсть к неуравновешенной девочке, стыдясь этой страсти, Ван угадывал в смутном перевитии древних чувств, как стыд обостряет эту страсть.

Они пили сладкий крепкий кофе по-турецки, и он украдкой бросил взгляд на ручные часы, понять… что? Долго ли сможет выносить эти муки воздержания? Скоро ль хоть что-то грядет, например, начнутся состязания по бальным танцам? Каков ее возраст? (Люцинде Вин едва от роду пять часов, если повернуть вспять человеческий «ток времени».)

Она была так трогательно-нежна, что, когда они направились к выходу из бара, Ван не смог удержаться (ибо чувственность — лучший питательный раствор для роковой ошибки), чтоб не погладить атласное юное плечико, чтоб на мгновение, счастливейшее в ее жизни, канула идеальная выпуклость в чашечку-бильбоке его ладони. Потом она шла впереди, ощутимо, как победительница конкурса на лучшую осанку, неся на себе его взгляд. Ему в ее платье виделось что-то страусиное (если существуют страусы с курчаво-рыжим оперением), оно подчеркивало свободу шага, длину ноги в нинонового чулке. Говоря объективно, была она гораздо шикарней своей «вагинальной» сестры. Они проходили площадки трапа, где русские матросы (провожавшие одобрительными взглядами красивую пару, говорившую на их несравненном языке) спешно натягивали бархатные канаты, они гуляли по той или иной палубе, и Люсетт казалась ему гуттаперчевой девочкой, которой моря и шквалы нипочем. С неудовольствием истинного джентльмена замечал он, что ее вздернутый подбородок, и черные перья, и свободная походка приковывали к себе не только невинно-голубоглазые взоры, но и откровенно похотливые взгляды иных пассажиров. Ван объявил во всеуслышанье, что смажет по физиономии очередного наглеца, и непроизвольно попятился, смешно потрясая кулаками, вмазавшись в свернутый шезлонг (в миниатюре сам изобразив откат во времени), заставив Люсетт захлебнуться смехом. Теперь, развеселившись, любуясь его подшампаненной галантностью, Люсетт уволокла Вана подальше от

воображаемых своих обожателей к лифту.

Без явного интереса обозревали они в застекленной витрине товары для праздной публики. Люсетт фыркнула, указав на расшитый парчой купальный костюм. Присутствие здесь жокейского стека и мотыги несколько озадачило Вана. Экземпляров пять-шесть «Зальцмана» в глянцевой обложке были красиво разложены между фотографией привлекательного, задумчивого, ныне полностью забытого автора и букетом бессмертников в вазе стиля «минго-бинго».

Ван схватился за красный канат, они вошли в салон.

— Кого она напоминает? — спросила Люсетт. — «En laid et en lard?»[472]

— Не понял, — соврал Ван. — Кого?

— Не важно! — отмахнулась она. — Сегодня ты мой! Мой, мой, мой!

То была цитата из Киплинга — та самая фраза, которую Ада адресовала Даку.

Ван бросил взгляд вокруг в поисках спасительной соломинки — проканителить прокрустову неизбежность.

— Умоляю! — сказала Люсетт. — Мне надоело бродить по кораблю. Меня качает, меня знобит, я ненавижу шторм, пошли скорей в постельку!

— Эй, взгляни-ка! — вскричал Ван, тыча пальцем в афишу. — Вот показывают кино под названием «Последний загул Дон-Гуана». Допрокатный просмотр и только для взрослых. Каков «Тобакофф»!

— Наверняка скучища нон-денатурат! — отозвалась Люси (школа при Уссэ, 1890), но Ван уж раздвинул входную портьеру.

Они вошли посреди вводной короткометражки о круизе в Гренландию — всю в грозных, приукрашенных цветным кино морях. Путешествие это было крайне не к месту, так как их «Тобакофф» и не помышлял заходить в Годгаген; более того, кинозал качало в противофазе волнениям кобальтово-изумрудных экранных стихий. Неудивительно, что место оказалось, по замечанию Люсетт, эмптовато[473], и она снова напомнила, как Робинсоны накануне спасли ей жизнь, вручив полный пенальчик пилюль «За упокой».

— Дать одну? Одна таблетка в день keeps «no shah» away[474]. Шутка. Можешь разжевать, сладкая!

— Восхитительное названьице! Нет уж, спасибо, сладкая моя! Да их у тебя всего пять и осталось.

— Не волнуйся, у меня все рассчитано. Уже меньше пяти дней остается.

— На самом деле больше, но не в этом суть. Наши параметры времени бессмысленны; наиточнейшие часы — смех, да и только. Погоди чуть-

чуть, все узнаешь про это из книги.

— А может, и нет! Скажем, не хватит у меня терпения. Ведь так и не сумела чернавка Леонардо до конца прочесть ему судьбу по руке. Вдруг я засну, не дочитав твою грядущую книгу?

— Легенда для будущих искусствоведов! — отозвался Ван.

— Вот финальный айсберг, судя по музыке. Пошли, Ван! Или жаждешь увидеть Гула в роли Гуана?

В темноте она коснулась губами его щеки, взяла его руку, стала целовать согнутые пальцы, и внезапно ему подумалось: почему нет, в конце-то концов? Нынче ночью? Нынче ночью!

Он упивался ее нетерпением, глупец, позволивший себе этим возбудиться, кретин, смакуя свободный, новый, абрикосовоцветный огонь предвкушения, шепнувший:

— Будешь паинькой, пойдем к полуночи ко мне, посидим в гостиной, выпьем что-нибудь!

Но вот началась сама картина. Три заглавные роли — дышащего на ладан Дон-Гуана, пузатого Лепорелло на своем ослике и в меру неприступной, по виду сорокалетней, Донны Анны — исполняли внушительные звезды, промелькнувшие в «как бы рекламе», или, по выражению некоторых, в «полупрозрачках», перед началом фильма. Вопреки ожиданиям он оказался вполне приличным.

На пути в отдаленный замок, где в своих суровых и хладных покоях несговорчивая дама, его же шпагой обращенная во вдову, наконец посулила ему долгую ночь любви, стареющий распутник бережет свою потенцию, надменно отвергая поползновения роя красавиц селянок. Некая цыганка предсказывает унылому кавалеру, что, не успев доехать до замка, тот падет жертвой коварства сестры ее, плясуньи Долорес (заимствованной из новеллы Осберха, что предусматривалось доказать предстоящим разбирательством). Гадалка также предрекла кое-что и Вану, ибо еще до того, как Долорес вышла из шатра напоить кобылу Гуана, Ван уж знал, кого увидит.

В лучистой магии киносъемки, в отрепетированном исступлении балетной грации десяток лет спали с нее как не бывало, и снова она девочка, и снова панталончики qui n'en porte pas[475] (как он насмешливо выразился однажды, чтоб позлить гувернантку как бы неловким переводом из несуществующего французского классика): запомнившаяся банальность вторглась в холодок охвативших его чувств с несуразной глупостью иноземца, наивно вопрошающего занятого сладострастным созерцанием вуайериста, куда можно выйти лабиринтом этих улиц.

Люсетт узнала Аду секундами позже, и тут же вцепилась Вану в руку.

— Господи, какой кошмар! Как же я не учла! Это она! Прошу тебя, уйдем, пожалуйста! Зачем тебе видеть это унижение! Она до ужаса искусственна, все у нее по-детски, так фальшиво…

— Погоди минутку, — сказал Ван.

Ужасна? Фальшива? Она была совершенно безупречна, и странна, и до боли знакома. Неведомым мазком искусства, неведомыми чарами случая краткие эпизоды с нею составили идеальный, сжатый показ, какой она была в 1884 и 1888 и 1891 годах.

Цыганочка склоняет голову над услужливо подставленной вместо стола спиною Лепорелло, чтоб нацарапать на обрывке пергаментной бумаги примерную схему пути до замка. Сквозь длинные черные пряди, разделяемые движением плеча, проглядывает белизна шеи. И больше она уж не Долорес того, другого, а маленькая девочка, макающая акварельную кисть в Ванову кровь, и замок Донны Анны обернулся болотным цветком.

Дон скачет мимо трех мельниц — черными вихрями на фоне зловещего заката, — он спасает цыганку от мельника, обвинившего ее в краже горсти муки и рвущего на ней ветхие одежды.

Пыхтя, но по-прежнему бодрясь, Гуан переносит ее через ручей (голый большой пальчик повисшей руки смазывает его по его щеке), ставит на ноги вниз, на мягкую землю оливковой рощи. Они стоят лицом друг к другу. Ее пальцы чувственно поглаживают украшенный драгоценными камнями эфес его шпаги, она прижимается упругим девичьим животом к его расшитым панталонам, как вдруг гримаса преждевременного спазма искажает выразительное лицо бедняги Дона. Он гневно высвобождается из ее объятий и шатаясь бредет назад к своему коню.

Однако Ван понял только много лет спустя (когда посмотрел — должен был посмотреть, а потом еще и еще раз — весь фильм до конца, с его печальным гротескным финалом в замке Донны Анны), что как раз в этом казавшемся случайном объятии и заключалось отмщение Каменного Рогоносца. Ну а пока в крайне расстроенных чувствах Ван решил убраться еще до того, как затемнится сцена в оливковой роще. Как раз в этот момент три пожилых леди, каменными лицами демонстрируя недовольство фильмом, поднялись рядом с Люсетт (миниатюрность позволила ей не вставать) и тремя судорожными рывками протиснулись мимо Вана (который встал). И тут он приметил еще двоих — давно забытых Робинсонов, как видно, изначально отделенных от Люсетт удалившимися дамами и теперь придвигавшихся к ней поближе. Лучаясь и тая в доброжелательных, подобострастных улыбках, они бочком протиснулись и уселись рядом с Люсетт, обратившей к ним свой самый, самый, самый последний бескорыстный дар стойкой учтивости, которая сильнее крушения надежд, сильнее смерти. А те, лучась морщинами, уж тянулись своими трепещущими пальцами через нее к Вану, который воспользовался их вторжением, чтоб пролепетать с пошлым матросским юморком какое-то извинение и в момент сильного крена покинуть тьму кинозала.

После ряда действий шестидесятилетней давности, которые теперь я могу перемолоть в пыль лишь одной последовательностью слов, пока тверд их ритм, я, Ван, удалился в свою ванную, захлопнув дверь (которая тут же распахнулась, но закрылась сама по себе снова) и

воспользовавшись средством временным, но более естественным, чем то, что пришло на ум Отцу Сергию (который не тот рубанул себе член в известном рассказе графа Толстого), решительно избавился от похотливого зуда, что случилось с ним в последний раз семнадцать лет назад. И сколь печально, сколь показательно было, что, когда незапирающаяся дверь жестом глухого, подносящего к уху закругленную ладонь, снова распахнулась, экран его пароксизма отразил кадр не с ближайшим и уместным явлением Люсетт, но с неизгладимым в памяти образом: склоненная обнаженная шея и рассеченный поток черных волос и кончик кисточки, окунутой в красное.

После чего он повторил, для надежности, свой отвратительный, но необходимый акт.

Теперь Ван мог бесстрастно взирать на происходящее и думал, что поступает правильно, отправляясь спать и выключая «эктричество» (словесный суррогат, снова проползший в международную лексику). По мере того как глаза свыкались с темнотой, голубоватый призрак комнаты вставал перед ним. Он гордился своей силой воли. Радовался тупой боли в опустошенном корне. Радовался мысли, внезапно показавшейся настолько очевидной и новой и такой же реально осязаемой, как медленно проступающий в темноте проем двери, ведущей в гостиную, а именно: завтра же утром (которое все-таки и по большому счету наступило семьдесят лет назад) он объяснит Люсетт, как философ и как брат той, другой, что понимает, как мучительно и как нелепо все свое духовное достояние вкладывать в один мимолетный физический каприз, и что его положение незавидно, как и ее, но что он, однако, сумел жить, работать и не сетовать на судьбу, потому что не желает портить ей жизнь короткой интрижкой и потому что Ада все еще дитя. На этой стадии логические построения стали подергиваться дремотной рябью, но его внезапно вернул в сознание телефонный звонок. Казалось, аппарат приседает с каждым взрывом трезвона, и поначалу Ван решил: пусть себе звонит. Но под конец нервы сдали, не выдержав настойчивости сигнала, и он снял трубку.

Вне сомнения, он имел полное моральное право воспользоваться любым, первым попавшимся предлогом, лишь бы не допустить ее к себе в постель; но он понимал также, как джентльмен и как художник, что кинутый им набор слов был банален и жесток и что она поверила ему только потому, что такого от него не ожидала.

— Можно придти теперь (can I come now)? — спросила Люсетт.

— Я не один (I'm not alone), — ответил Ван.

Короткая пауза, затем она повесила трубку.

Едва Ван улизнул, Люсетт оказалась зажатой между двумя Робинсонами (Рейчел, качая громадной сумкой, немедленно просочилась на освобожденное Ваном место, а Боб передвинулся поближе). По причине некой pudeur[476] Люсетт не сказала им, что актриса (обозначенная незнакомым и быстро потухшим именем «Тереза Зегрис» в «восходящем» списке исполнителей, появившемся в конце), которой удалось воплотить небольшую, но весьма немаловажную сторону образа роковой цыганки, и

есть та самая бледненькая школьница, которую те могли помнить по Ладоре. Робинсоны — этакие миссионеры безалкогольных радостей — пригласили Люсетт выпить с ними «коки» к себе в каюту, где было тесно, душно и оказалась дрянная звукоизоляция, слышно было каждое слово за стенкой, подвывания двух деток, укладываемых спать молчаливой, укачавшейся нянькой, пора, пора, — нет, не деток, скорее очень юной, очень неудовлетворенной пары новобрачных.

— Мы понимаем, — сказал Роберт Робинсон, подступая за очередной порцией к портативному холодильнику, — мы прекрасно понимаем, что доктор Вин глубоко погружен в свой Вдох-Но-Венный Труд — лично я сам порой сожалею, что удалился на покой, — но как вы думаете, Люси, — prosit[477]! — мог бы он согласиться отужинать завтра с вами и с нами и, возможно, еще Одной Парой, с кем познакомиться ему будет, несомненно, приятно? Должна ли миссис Робинсон отправить ему официальное приглашение? Может, и вы его тоже подпишете?

— Не знаю, я очень устала, — сказала Люсетт, — и рок-н-роллит все неистовей. Пожалуй, пойду к себе и приму вашу «заупокойную». Да-да, конечно, давайте поужинаем, все вместе. Мне в самом деле полегче от этого приятного прохладного напитка.

Положив трубку на перламутровый рычаг, она переоделась в черные брючки и лимонную блузу (намеченные на завтрашнее утро); тщетно порылась в поисках чистой писчей бумаги без изображения каравеллы или герба; вырвала чистый форзац из «Дневника» Герба и попыталась придумать что-нибудь смешное, безобидное и искрометное для признания в самоубийстве. Но она предусмотрела все, кроме этой записки, потому разорвала пополам чистый живой листок и спустила обрывки в ватерклозет; налила себе стакан мертвой воды из замшелого графина, проглотила одну за одной четыре зеленых таблетки и с пятой на языке вошла в лифт, поднявший ее на кнопку выше ее трехкомнатных апартаментов прямо в выложенный красными коврами бар на прогулочной палубе. Там двое юных слизняков как раз соскальзывали со своих красных поганок, и на выходе старший бросил младшему:

— Ты, дорогой, его светлости можешь пудрить мозги, а меня не проведешь, не выйдет!

Люсетт выпила «казацкую стопку» водки «Класс» — мерзкого, вульгарного, однако могучего зелья; выпила вторую; и уже была не в состоянии опрокинуть третью, поскольку в глазах с неудержимой силой поплыло. Плывем с неудержимой силой от акул, Тобакович!

Сумочки у нее с собою не было. Она едва не скатилась со своего странного выпуклого сиденья, когда рылась в кармане в поисках случайной банкноты.

— Ба-аиньки! — протянул бармен Тоби с отеческой улыбкой, которую она ошибочно приняла за издевку. — Баиньки пора, мисс! — повторил он, похлопав ее по не прикрытой перчаткой руке.

Люсетт отпрянула и, набравшись сил, выпалила отчетливо и вызывающе:

— Мой кузен господин Вин завтра заплатит, вобьет тебе в глотку твою вставную челюсть!

Шесть, семь — нет, уже больше, десять ступенек вверх! Dix marches[478]. Ноги — руки. Dimanche. Déjeuner sur l'herbe. Tout le monde pue. Ma belle-mère avale son râtelier. Sa petite chienne[479] после слишком усердных потуг сглотнула раз, сглотнула два и преспокойно блюет, розовой жижей прямо на праздничную nappe[480]. Après quoi[481] утрехивает восвояси. Ох уж эти ступеньки!

При подтягивании вверх ей приходилось цепляться за поручни. Она продвигалась скрючившись, как калека. Выбравшись на открытую палубу, ощутила, как сильно давит темнота ночи и как подвижен случайный приют, который готовилась покинуть.

Хотя Люсетт до того ни разу не умирала — нет же, Вайолет, не ныряла — с такой высоты и в такую смуту теней и дрожащих отражений, она без единого всплеска канула в волну, приветливо выгнувшуюся ей навстречу. Идеальный конец был подпорчен тем, что она тут же, единым махом, инстинктивно вынырнула, вместо того чтобы под водой уступить снотворной апатии, как и рассчитывала, если дойдет до того, в последнюю свою ночь над морем. Глупышка не отработала технику самоубийства, что ежедневно проделывают, скажем, любители свободного полета в стихии иного свойства. Благодаря буйству волн и тому, что ее ослепляли и брызги, и тьма, и собственные щупальцепкие — ль, ц, е — волосы, она не различала огней корабля, мощно, со всей очевидностью удалявшегося многоглазой громадой в бездушном своем торжестве. Так, потерял следующую запись!

Вот она.

Небо было равно бездушно и черно, и тело ее, и голову, и в особенности окаянные, жадные до воды брючки, охватила путами Oceanus Nox[482] — н, о, кс. С каждым гребком и всплеском холодной соленой воды подступала к горлу мерзкая, с анисовым привкусом, тошнота и все сильней нечет… ах ну пусть, пусть — коченеют шея и руки. Едва начала терять свой собственный след, подумалось: надо бы известить ряд редеющих Люсетт — сказать, чтоб передавали дальше и дальше в своем псевдохрустальном убывании, — что итог, именуемый смерть, всего-навсего более щедрый набор бесконечных дробей одиночества.

Перед нею не промелькнула, как мы опасались в ее случае, единым лучом вся ее жизнь; красная резиновая куколка преспокойно осталась гнить в незабудках у не подлежащего рассмотрению ручья; но она, неумелый Тобакофф, попадая в водоворот минутной паники и милосердного ступора, все же увидала кое-какие обрывки прошлого. Ей привиделась пара ночных шлепанцев с горностаевой оторочкой, не уложенных в чемодан забывчивой Брижитт; привиделся Ван, утирающий рот, прежде чем ответить, и все же, медля с ответом, кидающий салфетку на стол, когда оба они из-за него встают; и привиделась девочка с длинными черными волосами, которая, проходя мимо таксика в увядшем венке, быстро приседает и хлопает в ладоши.

Ярко блистающий огнями катер оторвался от не слишком далекого

парохода, в нем среди спешивших спасателей Ван и тренер по плаванию и Тоби в дождевике с капюшоном; но уже столько моря прокатилось через нее, и Люсетт слишком устала, чтобы ждать. Потом ночь наполнилась стрекотом старенького, но все еще мощного геликоптера. В пытливом луче озарилась лишь темная голова Вана — вытолкнутого воздушной струей из катера в момент, когда тот метнулся от собственной внезапной тени, — голова подпрыгивает на волнах и выкрикивает имя утопшей средь черных, вспененных, сомкнувшихся волн.

6

Отец!

Посылаю тебе без комментариев письмо, прочти, прошу тебя, и, если сочтешь уместным, направь его миссис Виноземской, чей адрес мне неизвестен. К твоему сведению — хотя теперь уж это вряд ли имеет значение, — Люсетт никогда моей любовницей не была, на что намекает гнусный дурак, выследить которого я не могу, в так называемом «сообщении» об этой трагедии.

Говорят, ты возвращаешься на восток в следующем месяце. Если захочешь меня повидать, пусть твоя нынешняя секретарша позвонит мне в Кингстон.

Ада!

Хочу еще до своего приезда уточнить и дополнить известные вам обстоятельства ее гибели. Мы вовсе не «путешествовали вдвоем». Мы сели на теплоход в разных портах, и я понятия не имел, что едем вместе. Наши отношения остались на прежней стадии. Второй день путешествия (4 июля) я провел целиком с нею, кроме пары часов перед ужином. Мы загорали на солнце. Она наслаждалась веющим ветерком и волшебной водой бассейна. Она изо всех сил старалась казаться беззаботной, но я видел, что все совсем не так. Романтическая привязанность, возникшая у нее, безрассудная страсть, взлелеянная ею, оказались сильней логических доводов. В довершение дополнил картину некто, с кем тягаться она была не в силах. Роберт и Рейчел Робинсоны, которые, как мне известно, собирались писать тебе через моего отца, были предпоследним ее общением в ту ночь. Последним был бармен. Встревоженный ее видом, он отправился следом за ней и, выйдя на палубу, стал свидетелем происшедшего, которое предотвратить не успел.

По-моему, неизбежно после такой утраты начинаешь ценить всякую подробность непосредственно накануне события, всякую лопнувшую нить, всякую обтрепанную оборку. Я просмотрел с нею в кинозале большую часть фильма «Замки Испании» (или что-то типа того), и, когда злодею распутнику был указан путь в последний из замков, я решил покинуть

зал, оставив ее на попечение Робинсонов, которые подсели к нам во время сеанса. Я отправился спать и был разбужен около часа ночи Мор. Времени, тотчас после того, как она кинулась за борт. В пределах возможностей были предприняты попытки ее спасти, но под конец, после часа смятений и надежд, капитаном было принято вынужденное страшное решение продолжать маршрут. Будь он из взяточников, мы и по сей день кружили бы на месте катастрофы.

Как психолог я понимаю бесплодность рассуждений о том, утонула бы или нет Офелия, если б не коварный сучок{155}, пусть даже выйдя замуж за своего Вольтэманда. Объективно я считаю, что, если б В. любил ее, она бы почила в своей постели, в мире и в сединах; но так как в действительности он не любил несчастную девственницу, и так как никакая плотская нежность не может сойти за истинную любовь, и так как, что самое главное, роковая андалузка, явившаяся, повторяю, дополнив собой общую картину, осталась незабвенной, я вынужден, милая Ада и милый Андрей, прийти к заключению, что бы там ни измышлял этот негодяй, она неизбежно бы так или иначе покончила собой («put an end to herself»). В иных, более глубоконравственных мирах, нежели наш катышек дерьма, могут существовать ограничения, принципы, божественное утешение и даже особая гордость за то, что можно осчастливить, кого по-настоящему не любишь; но на этой планете подобные Люсетт обречены.

Несколько жалких пустяковин, принадлежавших ей — портсигар, вечернее платье из тюля, книга с загнутой на французском пикничке страницей, — пришлось уничтожить, так как они не спускали с меня глаз. Остаюсь ваш преданный слуга.

Сын!

Я выполнил в точности твои указания насчет письма. Твой эпистолярный стиль настолько витиеват, что я заподозрил бы некий шифр, если б не знал, что ты принадлежишь к декадентской школе словесности и состоишь в одной компании с несносным Лео и чахоточным Антоном. Мне совершенно наплевать, спал ты с Люсетт или нет; хотя от Дороти Виноземской я знаю, что дитя было влюблено в тебя. Просмотренный тобою фильм был, несомненно, «Последний загул Дон-Гуана», в котором Ада и в самом деле выступает (весьма прелестно) в роли девушки-испанки. Как будто кто сглазил карьеру нашей бедняжки. Когда фильм вышел на экраны, Говард Гул стал утверждать, что его заставили играть немыслимый сплав двух Донов; что Юзлик (режиссер) изначально замыслил построить свой «фэнтези» на дубовом романе Сервантеса; что ошметки старого сценария грязными скатавшимися шерстинками влипли в финальный сюжет; и что если внимательно прослушать звуковую дорожку, услышишь, как собутыльник в таверне дважды называет Гула «Кихоткой». Гулу удалось откупить и уничтожить некоторое количество копий, тогда как остальные были упрятаны под замок адвокатом писателя Осберха, заявившим, что линия с гитанильей украдена из какой-то его стряпни. В итоге невозможно приобрести катушки с этой лентой, которая

исчезнет, как пресловутый дым, едва рассеется с провинциальных экранов. Приезжай, вместе отужинаем 10 июля. Форма одежды — фрак.

Cher ami,

Nous fûmes, mon mari et moi, profondément bouleversés par l'effroyable nouvelle. C'est à moi — et je m'en souvientdrai toujours! — que presqu 'là veille de sa mort cette pauvre fille s'est adressée pour arranger les choses sur le Tobakoff qui est toujours bondé, et que désormais je ne prendrai plus, par un peu de superstition et beaucoup de sympathie pour la douce, la tendre Lucette. J'étais si heureuse de fair mon possible, car quelqu'un m 'avais dit que vous aussi y seriez; d'ailleurs, elle m 'en a parlé elle-même: elle semblait tellement joyeuse de passer quelque jours sur le «pont des gaillards» avec son cher cousin! La psychologie du suiside est un mystère que nul savant ne peut expliquer. Je n'ai jamais versé tant de larmes, la plume m'en tombe des doigts. Nous revenons à Malbrook vers la mi-août. Bien à vous,

Cordula de Prey-Tobak[483].

Ван!

Мы были глубоко с Андреем тронуты дополнительными подробностями, сообщенными тобой в твоем дорогом (т. е. скудно оснащенном марками) письме. Мы уже получили через г-на Громбчевского послание от Робинсонов, которые не могут себе простить, что дали ей (бедняги, из лучших побуждений) те пилюли от морской болезни, передозировка которых, приправленная алкоголем, должно быть, ослабила ее способность к выживанию — если в холодной, темной воде она поколебалась в своем решении. Не могу выразить, дорогой Ван, как я несчастна, тем более при мысли, что средь садов Ардиса разве могли мы знать, что такое несчастье возможно.

Единственная любовь моя!

Это письмо никогда не будет отправлено. Оно будет лежать в стальном ларце, зарытом под кипарисом в саду Виллы Армина, и если случится ему пролежать там полтысячелетия, все равно останется тайной, кто писал его и кому оно адресовано. Оно не было бы написано вовсе, если бы не стала последняя его строчка, твой последний вопль отчаяния, воплем моего триумфа. Вся тяжесть этого ликования, должно быть…

[остаток предложения канул под ржавым пятном, когда в 1928 году ларец был откопан. Далее продолжение таково:] …опять в Штаты, я предпринял беспрецедентный поиск. В Манхэттене, в Кингстоне, в Ладоре, в десятках иных городов я неустанно искал тот фильм, который не [выцвели слова] на корабле, из кинотеатра в кинотеатр, с каждым разом открывая в твоей игре новый ракурс сладостной пытки, новые потрясения прекрасным. Это [неразборчиво] полное опровержение гнусных снимков гнусного Кима. Артистически и ардистически самый лучший эпизод — один из последних, когда ты, босая, идешь за Доном, а тот устремился по мраморной галерее навстречу судьбе, к своему эшафоту, к кровати донны Анны под черным пологом, вкруг которого ты порхаешь, моя бабочка-зегрис, поправляя комически падающую свечу, шепча восхитительные, хотя и тщетные наставления на ухо хмурящейся даме, а затем выглядывая из-за мавританской ширмы и внезапно заходясь таким естественным смехом, беспомощным и милым, что начинаешь думать, искусство не искусство без этого эротического удушья веселящейся девочки. Подумать только, испанская моя зорянка, что всего-то твоя волшебная игра длится одиннадцать минут по секундомеру, складываясь из одиночных двух-, трехминутных сцен!

Увы, уже спустилась ночь в жалком квартале мастерских и дымных притонов, когда в самый последний раз и только наполовину, так как при сцене обольщения пленка замелькала черным и съежилась, удалось мне поймать [окончание письма полностью пропало].

7

Он ознаменовал зарю безмятежного и процветающего века (больше половины которого довелось Аде и мне увидать) началом второго своего философского измышления, некого «обличения пространства» (так и не завершенного, однако составившего обзором заднего вида предисловие к его «Ткани времени»). Часть этого творения, опус довольно вычурный, однако ядовито-убедительный, появился в первом номере (январь 1904) ныне широко известного американского ежемесячника «Артизан»{156}, комментарий же к отрывку сохранился в одном из трагически официальных писем (уничтожены все, кроме этого), которые время от времени посылала ему открытой почтой его сестра. Так или иначе, но после обмена посланиями в связи с гибелью Люсетт установилась, не без молчаливого согласия Демона, такая вот неконспиративная переписка:

И над вершинами Молчанья

Изгнанник Рая пролетал:

Под ним Монтпек, как в назиданье,

Алмаза гранями сиял.

Упорное игнорирование друг друга могло бы в самом деле показаться более подозрительным, чем строки приводимого ниже послания:

Ранчо Агавия

5 февраля, 1905 г.

Только что прочла «Отражения в заливе Сидра» Ивана Вина и нахожу, дорогой профессор, что это замечательная работа. «Упущенные стрелы судьбы» и иные поэтические откровения напомнили, как лет двадцать тому назад ты раза два или три гостил у нас и мы пили чай с булочками. Я была тогда, как ты помнишь (какая самонадеянность!) petite fille modèle[484] упражнявшейся в стрельбе из лука у парапета с вазой, ты же был застенчивый школьник (в кого, как догадывалась мама, я, наверное, была немножко влюблена!), безропотно поднимавший мои стрелы, упущенные в запущенные кущи упущенного замка детства бедняжки Люсетт и счастливой-рассчастливой Адетт, ныне «Приюта для слепых негров», — уверена, и мама, и Л. одобрили бы Дашино пожелание передать поместье во владение ее Секте. Даша, моя золовка (ты непременно должен с ней скорей познакомиться, да-да-да, она мечтательница и славная, и намного умнее меня), показавшая мне твою работу, просит меня передать, что надеется «возобновить» с тобою знакомство — возможно, в октябре в Швейцарии, в отеле «Бельвю», Монтру{157}. По-моему, ты был знаком с прелестной мисс «Ким» Обкарнэ, вот в точности милой Даши тип! Она прекрасно чувствует и понимает все необычное и всевозможные научные изыскания, даже названия которых я не упомню! Она закончила Чуз (где читала курс истории — которую наша Люсетт звала «Sale Histoire»[485] и смех и грех!). Считает тебя «le beau ténébreux»[486], потому что в давние времена, во времена стрекозьих крыльев, незадолго до моего замужества, она посетила — словом, тогда, когда я погрязла в своей «завернутости», — одну из твоих публичных лекций, посвященных сновидениям, после которой подошла к тебе с описанием последнего своего кошмарчика, отпечатанным на машинке и аккуратно скрепленным скрепкой, но ты, окинув ее хмурым взглядом, отказался брать листки. Так вот, она не отстает от дяди Дементия, все просит, чтоб убедил «le beau ténébreux» пожаловать в отель «Бельвю», тот, что в Монтру, по-моему, где-то числа семнадцатого октября, а тот лишь смеется, говорит, чтоб мы сами с Дашенькой этим занялись.

Словом, снова «наше вам», дорогой Иван! Мы оба надеемся, что ты — замечательный, несравненный художник, способный к тому же «лишь усмехнуться», если кретины-критики, особенно из британских джентльменов ниже-средне-высшего класса, упрекнут твой завернутый стиль в «претенциозности» и «лукавстве», подобно тому, как американский фермер считает проповедника «чудным» за то, что тот знает по-гречески.

P.S.

Душевно кланяюсь (неграмотная и вульгарная конструкция, видано ли, чтоб «душа кланялась»!) нашему заочно дорогому профессору (to our 'unsight-unseen' dear professor), о котором много слышал (about whom have heard much) от добраго Дементия Дедаловича и сестрицы (from good Demon and my sister).

С уважением (with respect), Андрей Вайнлендер.

Меблированное Пространство, l'espace meublé (известное нам исключительно как обставленное и заполненное, даже если содержание его определяется «отсутствием субстанции» — включая сюда и память), в основе своей, если говорить о нашем шарике, сплошная вода. Этой своей формой оно уничтожило Люсетт. Другая разновидность, более или менее атмосферного характера, но не менее омерзительно-гравитационная, уничтожила Демона.

Однажды мартовским утром 1905 года на террасе Виллы Армина, сидя, как султан, в ленивой позе на ковре, в окружении томных нагих девиц, Ван раскрыл американскую ежедневную газету, выходящую в Ницце. В четвертой или пятой заметке об авиакатастрофах младого столетия гигантский летательный аппарат по необъяснимой причине разлетелся в воздухе на высоте пятнадцать тысяч миль над Тихим океаном между островами Лисянский и Лясанов в районе Гавая. В списке «видных деятелей», погибших при взрыве, значились: глава рекламной службы крупного универсального магазина, и.о. мастера производства тонколистного металла для корпорации факсимильной связи, руководитель некой фирмы грамзаписи, главный партнер одной из адвокатских фирм, некий архитектор с солидным опытом авиатора (вот первая опечатка, которую уж не выправишь), вице-президент корпорации недвижимости, еще вице-президент, уже какого-то правления для регуляции неведомо чего…

— Кушать хочица! — проговорила maussade[487] ливанская красотка пятнадцати знойных лет от роду.

— Вон колоколец! — сказал Ван, почему-то как завороженный не отрывая взора от скопища мелькавших означенных биографий:

…президент оптовой фирмы по торговле спиртным, руководитель компании турбинного оборудования, карандашный фабрикант, два профессора философии, два газетных репортера (которым не строчить уж репортажи), заместитель инспектора банка оптовой продажи спиртного (напечатано с ошибками и взято не оттуда), заместитель инспектора трастовой компании, президент чего то, секретарь агентства печати…

Сами имена подобных деятелей, равно как и имена остальных восьмидесяти мужчин, женщин и безгласных детей, сгинувших в голубых небесах, умышленно не назывались до той поры, пока не оповестят всех близких; но даже свод простых, неконкретизированных предварительных данных оказался настолько впечатляющ, что невозможно было его не напечатать в желании разжечь общественный интерес. И только на

следующее утро Ван узнал, что директор банка, на чье имя пришлась последняя в списке опечатка, был его отец.

«Упущенные стрелы судьбы каждого всегда рассеяны вкруг него» и т. д. («Отражения в заливе Сидра»).

В последний раз Ван видел отца в их родном доме, весною 1904 года. Присутствовали и другие: старик Элиот, заправила недвижимости, двое адвокатов (Громбчевский и Громвель), специалист в вопросах искусств д-р Айкс, новая секретарша Демона Розалинд Найт, церемонный Кифар Суин, банкир, сделавшийся в шестьдесят пять авангардным литератором: невероятно, но в течение всего лишь года ему удалось создать написанную свободным стихом поэму «Бесплодоземье»{158} — сатиру на англо-американские гастрономические пристрастия, а также «Кардинала Гришкина», истинно достойно исполненную прозу во славу римско-католической веры. Поэма особого интереса не вызвала; что же до романа, то он уж был провозглашен «новаторским» знаменитыми молодыми критиками (многими, с Норманом Гиршем и Луисом Диром в том числе), восхвалявшими его благоговейно и в тонах столь высоких, что нормальному уху едва ль уловить всю полноту их дискантова звучания; однако явление это возбудило многих, но после наделавших много шума поминальных статей 1910 года («Кифар Суин: человек и художник», «Суин как поэт и как личность») и сатире его, и роману суждено было позабыться столь же бесповоротно, сколь и надзиранию упомянутого и.о. мастера за регуляцией квалификации — а равно и Демонову наказу.

За столом преимущественно говорили о делах. Демон только что приобрел небольшой, идеально круглый остров в Тихом океане с розовым домом на поросшем травой крутом берегу и в окаймлении песчаного пляжа (вид с воздуха) и теперь намеревался продать бесценный маленький палаццо в Восточном Манхэттене, что Вану вовсе не улыбалось. Мистер Суин, алчный прагматик, сверкая перстнями на жирных пальцах, сказал, что, возможно, купит палаццо, если включить в стоимость кое-какие картины. Сделка не состоялась.

Ван продолжал частные исследования вплоть до того, как был избран (в тридцать пять!) на должность заведующего кафедрой философии Кингстонского университета, получив кресло Раттнера. Выбор ученого совета определили отчаяние и растерянность вследствие обрушившегося несчастья — двое других кандидатов, маститых ученых, гораздо старше и куда предпочтительней его, ценимых даже в Татарии, по которой частенько, рука об руку, с горящим взором, путешествовали, таинственным образом пропали (возможно, погибли под вымышленными именами в том самом, так и не объясненном происшествии над смеющимся океаном) — и буквально «в последнюю минуту», ибо это самое Кресло, если его не занять в установленный и ограниченный временем срок, надлежало вынести, предоставив возможность другому, менее вожделенному, однако весьма пристойному средству сидения, устремиться откуда-то из недр на освобожденное место. Ван, не нуждавшийся в такой чести, ее не оценил, хоть и воспринял в духе снисходительной привередливости или привередливой признательности или просто в память об отце, который какое-то ко всему этому отношение имел. К своим обязанностям Ван относился без излишнего усердия, сводя к незыблемому минимуму — примерно к десяти в год —

свои лекции, исполняемые монотонно и гнусаво, в основном посредством новейшего и почти недоступного «гласописца»{159}, спрятанного в кармане жилета среди антисептических пилюль «Венера», сам при этом беззвучно шевелил губами, уносясь мыслями в свой кабинет к освещенной лампой странице, не дописанной пока его размашистым почерком. Он провел в Кингстоне примерно два года (перемежаемые поездками за границу) личностью неприметной, не рождавшей по себе никаких толков ни в университете, ни в городе. Недолюбливаемый строгими коллегами, непривечаемый в местных пивных, неудерживаемый мужской половиной студентов, в 1922 году Ван вышел в отставку, после чего окончательно переселился в Европу.

8

приезд монтру бельвю воскресенье

обеду обожание адажио радуга

Ван получил это смелое послание вместе с завтраком 10 октября 1905 года в женевском отеле Манхэттен-Палас и в тот же день отправился в Монтру на противоположный берег озера. Там он обосновался, как обычно, в отеле «Les Trois Cygnes»[488]. Маленький, тщедушный, почти мифически древний швейцар умер четыре года назад, во время Ванова приезда, и теперь — вместо сдержанной, полной таинственного смысла, подобной свету лампы сквозь пергамент, улыбки усохшего Жюльена — старого толстого Вана встретила круглая красная физиономия недавнего посыльного, облаченного ныне во фрак.

— Люсьен! — сказал д-р Вин, глядя на того поверх очков. — Меня могут посещать — и ваш предшественник был в курсе — разные, довольно необычные визитеры: фокусники, дамы в масках, безумцы — que sais-je[489]? — надеюсь, все три лебедя будут паиньки и блеснут умением хранить молчание. Вот и поощрительный аванс.

— Merci infiniment![490] — поклонился швейцар, и Ван, как всегда, был бесконечно тронут такой преувеличенной любезностью, дававшей немалую пищу для философствования.

Он взял два просторных номера — 509-й и 510-й: с салоном, обставленном в духе Старого Света позолоченной мебелью с зеленой обивкой, прелестной спальней, к которой примыкала квадратная ванная, очевидно, переоборудованная из обычного номера (году в 1875-м, когда отель перестраивался и модернизировался). В возбужденном предчувствии прочел надпись на восьмиугольной картонной табличке, свисавшей на изящном красном шнурке: «Не беспокоить». — «Prière de ne pas déranger» («Просьба не беспокоить!»). Перевесьте табличку на

дверь снаружи. Известите Телефонный Коммутатор. — «Avisez en particulier la téléphoniste» («Непременно предупредите телефонистку!») — по-французски: ни вызова, ни менторского тона операторши.

Он заказал громадный ворох орхидей из цветочного магазина rez-de-chaussée[491] и один бутерброд с ветчиной — из гостиничного обслуживания. Провел бесконечную ночь (с безоблачным рассветом, взорванным карканьем альпийских ворон) в постели — в треть от той громадной из их незабвенной квартиры двадцатилетней давности. Завтракал на балконе, проигнорировав назойливую чайку. Отобедав поздно, позволил себе после этого всласть соснуть; чтоб потянуть время, принял ванну; и последующие пару часов прогуливался, присаживаясь на каждой второй скамье, по набережной в сторону нового «Бельвю-Палас», что стоял в миле от него на юго-восточной стороне озера.

В голубой прозрачной глади маячил одиночный красный парус (во времена Казановы тут были бы их сотни!). Чомги уж готовились к зиме, но лысухи еще не прилетали.

Ардис, Манхэттен, Монтру; рудоволосой нашей девочки нет на свете. Замечательный врубелевский портрет Отца; неотвязно перелив алмазный преследует меня, кистью в меня вписан. Багряная Гора, лесистый холм за городом, сейчас оправдывающий свое прозвище, свое осеннее звучание теплым заревом курчавых каштановых крон. А над тем берегом озера Леман, Leman — значит «любовница», нависает Sex Noir, Черная Скала.

Ему было жарко и неудобно в своей шелковой рубашке и серых фланелевых брюках — наряде из давних, но выбранном, потому что казался себе в нем стройнее; однако тесноватый жилет лучше было б не надевать. Он волновался, как мальчишка перед первым свиданием! И гадал, что в лучшем случае его ожидает: завязнет ли она тотчас в людском окружении или хотя бы в первые минуты ей удастся оторваться от всех? В самом ли деле в очках и с усами он кажется моложе, как уверяют услужливые шлюхи?

Дойдя наконец до белоснежно-белого, с голубыми жалюзи, отеля «Бельвю» (патронируемого богатыми эстотиландцами, рейнландцами и виноземцами, хотя и не дотягивавшего до суперклассного огромного, желто-коричневого, с позолотой, раздавшегося вширь, старого и милого сердцу отеля «Trois Cygnes»), Ван в смятении увидел, что стрелки его часов все еще не слишком приблизились к семи вечера, раннего рубежа, с которого в местных отелях начинается ужин. Тогда, перейдя вновь через дорогу, Ван зашел в бар и заказал двойной кирш-вассер с куском сахара. В туалете на подоконнике валялся высохший трупик колибри. Слава Богу, что символы не существуют ни в снах, ни в жизненных промежутках между ними.

Ван толкнул вращавшуюся дверь отеля «Бельвю» и, споткнувшись о чей-то чемодан с яркими наклейками, со смешным прискоком влетел в вестибюль. Швейцар напустился на злосчастного cameriere[492], оставившего на ходу вещи. Да, в холле вас ждут. Германский турист

нагнал его, бурно, хоть и не без юмора, извиняясь за беспардонное поведение его собственного придатка.

— Что ж придаток-то свой, — бросил ему Ван, — испоганили гнусными курортными наклейками?

Ответ был неуместен, да и весь эпизод отдавал какими-то давними воспоминаниями — и в следующее же мгновение Ван схлопотал смертоносный заряд в спину (и то, право, путешественники — народ неуравновешенный), но со следующим шагом открылась новая для него жизнь.

Он остановился на пороге в центральный вестибюль, но не успел еще приступить к детальному рассмотрению рассредоточенного там человеческого состава, как дальнее скопление внезапно как шквалом прорвало. Забыв законы приличия, Ада летела к нему навстречу. Этот сольный стремительный порыв обратным вихрем сметал все годы разлуки, и из незнакомки в темном сиянии и с высокой модной прической она превращалась в бледнорукую девочку в черном, принадлежащую всегда только ему. На этом причудливом развороте времени в этой огромной комнате они оказались единственно зримыми, статными, живыми, и, когда сошлись посредине, как на сцене, все головы повернулись в их сторону, все взгляды устремились к ним; но все, что в наивысшей точке ее безудержного броска, исступленного блеска ее глаз и неистовых самоцветов сулило великий взрыв неизбывной любви, кануло в необъяснимом молчании; он поднес к несклоненным губам и поцеловал ее выгнутую лебедем руку, и так они стояли молча, глаза в глаза, он — поигрывая мелочью в кармане брюк под «вздыбленным» пиджаком, она — играя ожерельем, и оба — отражения зыбкого света, к которому катастрофически свелось зарево взаимного «здравствуй». Она была Ада еще больше, чем прежде, лишь налет незнакомой элегантности присовокупился к ее робкой вольной прелести. Ее сильней черневшие волосы были зачесаны назад и убраны наверх в гладкий пучок, и душераздирающе по-новому открылась Люсеттова, нежная и прямая, линия ее обнаженной шеи. Он пытался выдавить из себя краткую фразу (предупредить о придуманном способе рандеву), но, едва начал откашливаться, она и рот не дала раскрыть, проронила сквозь зубы «Сбрить усы!» (that mustache must go) и повернулась, чтоб увести его в тот самый угол, уход из которого преодолела за столько лет.

Первая, кому она его представила на этом островке с андроидами в креслах, была встававшая из-за низкого столика с медной пепельницей посередине обещанная bellesoéur[493], низенькая, пухлая дама, в сером — как гувернантка, с вытянутым лицом, с коротко стриженными каштановыми волосами, землистой кожей, блекло-голубыми неулыбчивыми глазками и с круглым, мясистым, наподобие зрелого кукурузного початка, наростом на одной ноздре, добавленной природой задним числом к чересчур надменному изгибу, — что нередко встречается в русских физиономиях массового производства. Следующая протянутая длань принадлежала приятному, высокому, необыкновенно упитанному и радостному почтенному господину, который в этом нелепом либретто не мог быть не кем иным, как князем Греминым{160}, и чье мужественное, честное рукопожатие побудило Вана пожалеть об отсутствии при себе дезинфицирующего средства, дабы смыть последствия контакта с любой

наружной частью тела ее супруга. Но когда Ада, снова воссияв точно по мановению волшебной палочки, стала трепетно представлять незнакомца, тот, кого Ван ошибочно принял за Андрея Виноземского, материализовался в Юзлика, талантливого режиссера печально известного фильма про Дон-Гуана.

— Васко де Гама, я не ошибся? — пролепетал Юзлик.

Рядом с ним, им не замечаемые, Аде именами неизвестные, холопски топтались двое агентов Леморио, блистательного комика (бородатого мужлана, редкостного и ныне также забытого таланта, которого Юзлик страстно желал снять в своей очередной картине). Леморио уже дважды, в Риме и Сан-Ремо, обманывал его ожидания, оба раза подсылая для «предварительного контракта» эту парочку убогих, никчемных, определенно не в своем уме субъектов, с которыми Юзлику теперь уж — поисчерпавшись на разговорах вокруг кино, об интимной жизни Леморио, о хулиганских выходках Гула и увлечениях его, Юзлика, трех сыновей, а также об увлечениях их, агентов, приемного сына, милого мальчика евразийского происхождения, недавно зарезанного во время драки в одном из ночных клубов и тем в данной теме поставившего точку, — обсуждать больше было решительно нечего. Ада с радостью восприняла неожиданное явление Юзлика в холле «Бельвю» не только как возможность скрыть свою растерянность и тайну, но и потому что надеялась протиснуться в фильм «Что знала Дейзи»{161}; однако, так как при смятении духа у нее уж не оставалось чар на деловые игры, она быстро прикинула: если все-таки Леморио согласится, он захочет, чтоб именно она сыграла роль одной из его любовниц.

Наконец дошла очередь и до мужа Ады.

Ван столько раз и так капитально и на каждом темном перекрестке своего сознания истреблял добрейшего Андрея Андреевича, что теперь этот бедняга, в своем кошмарном двубортном кладбищенском костюме, с мягкими, как тесто, кое-как слепленными вместе частями лица, с печальными, как у собаки, глазами, с обвислыми веками, с ложбинами на лбу сплошь в точечках пота, являл красноречивейшее и унылое воплощение не к месту воскрешенного мертвеца. По не вовсе странному упущению (или, скорее, «недопущению») Ада не представила мужчин друг другу. Муж ее произнес свое имя, отчество и фамилию в назидательной манере диктора русской учебной короткометражки, добавив при этом:

— Обнимемся, дорогой! (let us embrace, old boy) — более проникновенным тоном, не поменяв, однако, своего скорбного выражения (до странности напоминавшего выражение лица юконского мэра Косыгина{162}, когда гёрл-скаут вручает ему цветы или когда тот обозревает последствия землетрясения). Изо рта у Виноземского пахнуло, отметил изумленный Ван, сильным транквилизатором на неокодеиновой основе, назначаемым в случае психосоматического бронхита. При близком рассмотрении на помятой и неприкаянной физиономии Андрея проступали всевозможные бугры и бородавки, впрочем, ничего подобного щегольски-асимметричному ноздревому наросту младшей сестрицы у него не наблюдалось. Свои мышиного цвета волосы он стриг под машинку сам, коротко, на солдатский манер. В целом Андрей тянул на корректного и опрятного эстотийского

hobereau[494] с одним банным днем в неделю.

Мы все гурьбой прошли в гостиную. Ван схлестнулся с прошлым, поспешно предваряя жест официанта при дверях, и прошлое (все так же играя его ожерельем) отблагодарило его украдкой «улыбкой Долорес».

Управление рассаживанием взял на себя случай.

Агенты Леморио, престарелая мужская чета, не венчанная, но сожительствующая достаточно, чтоб отметить свой серебряный киноюбилей, за столом осталась неразлучной, помещенная между Юзликом, неоднократно вступавшим с ними в беседу, и Ваном, терзаемым Дороти. Что до Андрея (осенившего ниточным «крестным знамением» свой застегнутый, и на все пуговицы, живот, перед тем как задвинуть за ворот салфетку), то он уселся между сестрицей и женой. Затребовав «Cart de van!»[495] (чем несколько удивил, собственно, Вана), он обескураженно, как почитатель крепких напитков, взирал на страничку с перечнем швейцарских белых вин, и затем «отфутболил» все это к Аде, и та тотчас заказала шампанского. Назавтра рано утром он сообщит ей:

— Кузен производит (produces) удивительно симпатичное впечатление (удивительно благоприятное — в смысле обаяния).

Словарный запас милейшего субъекта почти сплошь состоял из восхитительно славных банальностей русского языка, хотя — не любитель говорить о себе — он рот открывал не часто, в особенности оттого, что монотонное красноречие сестрицы (разбиваясь о Ванову неприступность) завораживало и поглощало, как в детстве, все его внимание. Дороти предварила свой залежавшийся отчет о любимом кошмарном сне смиренно-жалобным «Я, конечно, понимаю, что для ваших родителей дурные сны — жидовская прерогатива!», однако внимание нашего толкователя поневоле, всякий раз, когда переключалось с собственной тарелки на нее, с таким завидным упорством сосредоточивалось на православном кресте величиной чуть ли не с патриарший на ее весьма непримечательной груди, что Дороти сочла уместным прервать свой рассказ (о пригрезившемся извержении вулкана) вопросом:

— По вашим трудам судя, вы ужасный циник! Нет-нет, я вполне согласна с Симоной Трейзер, налет цинизма украшает настоящего мужчину; хочу лишь предупредить, если вам не терпится сострить в адрес православия, подобных шуток я не приемлю.

Ван уж был сыт по горло своей чокнутой, но не так, как хотелось бы, собутыльницей. Едва успев подхватить стакан, который чуть не сбил намеренным, ради привлечения внимания Ады, резким взмахом руки, он произнес с места в карьер тоном, как потом определила Ада, язвительным, злобным и совершенно недопустимым:

— Завтра утром, je veux vous accaparer, ma chère[496]! Как сообщили вам, должно быть, мои адвокаты, или ваши, или те и другие, счета Люсетт в некоторых швейцарских банках… — Тут он торопливо изложил подготовленную версию состояния дел, вымышленных in toto[497],

добавив в конце: — Если у вас не назначено ничего на это время, предлагаю (он послал вопрошающий взгляд, который, проскочив по дуге через троих киношников, хором одобрительно закивавших, отстранил Виноземских) нам вдвоем отправиться к моему юрисконсульту мэтру Жора, или Ратону, вечно путаюсь в именах, enfin[498], в Лузон, полчаса езды отсюда — он дал мне кое-какие бумаги, они у меня в отеле, и я должен дать их вам для скорого, — простите, скорбного подписания, — дело не терпит отлагательств. Решено? Решено!

— Но, Ада! — протрубила Дора. — Ты разве забыла, что завтра утром мы собирались съездить в Институт гармонии цветов на Шато Пирон!

— Поедете послезавтра, или во вторник, или через вторник! — сказал Ван. — С удовольствием сам бы отвез всех вас троих в это восхитительное lieu de méditation[499], жаль что мой скоростной крошка «унзеретти» рассчитан лишь на одного пассажира и что, должен признаться, дело с выявлением депозитов весьма срочное.

Юзлику до смерти хотелось что-то вставить. И Ван уступил доброжелательному роботу.

— Я безмерно счастлив сидеть за одним столом с Васко де Гама! — провозгласил Юзлик, вздымая бокал на уровне благообразного лицевого аппарата.

Знакомое искажение — оно и дало Вану ключ к Юзликову источнику скрытой информации — обнаружилась и в «Чузских колоколах» (мемуарах бывшего Ванова приятеля, ныне лорда Чуза, увивших и оплетающих по сей день декоративную стенку бестселлеров, — в значительной мере благодаря нескольким фривольным, зато весьма забавным ссылкам на Виллу Венеру в Рантон-Брукс). Пока Ван, набив рот шарлотом (не какой-то там «charlotte russe»[500], подаваемой во многих ресторанах, а настоящим, с теплой запекшейся корочкой, с яблочной начинкой, формовым пирогом, творением шеф-повара этого отеля — Такомина, родом из калифорнийского Роуз-Бей), сосредоточенно жевал, обдумывая достойный ответ, его раздирали два противоречивых побуждения: одно — поддеть Юзлика за то, что две-три перемены назад, прося передать масло, опустил свою руку на Адину (Ван несравненно больше, чем к Андрею, ревновал ее к этом мутноглазому самцу, вспоминая с возмущенной и ликующей дрожью, как накануне нового, 1893 года набросился на своего родственника, распоясавшегося Вана Земского, который, подсев в ресторане к ним за столик, позволил себе аналогичную ласку и кому после, под тем или иным предлогом, Ван свернул-таки челюсть в клубе, где молодой князь состоял); а другое — сказать Юзлику, как сильно ему понравился «Последний загул Дон-Гуана». Не имея, по понятной причине, возможности осуществить первое, Ван отмел второе побуждение как имевшее тайный привкус лебезящей любезности и довольствовался, по проглатывании влажной янтарной массы, таким ответом:

— Книжица Джека Чуза, бесспорно, чудо как занимательна, в особенности по части яблок и желудочного расстройства, а также фрагментов из Альбома Розово-Перламутровой Венеры — (глазки Юзлика метнулись вбок, изображая работу памяти, и он неосмотрительно

кивнул, воздавая дань общим воспоминаниям) — однако не стоило бы мерзавцу ни имя мое оглашать, ни искажать сценический мой псевдоним.

В течение всего этого гнетущего застолья (оживленного лишь шарлотом да пятью бутылками «моэта», три из которых опустошил лично он) Ван избегал смотреть на принадлежность Ады, именуемую «лицо», — живую, божественную, непостижимо слепящую принадлежность, которая в своем первородном виде редко встречается меж людей (бугристых и бородавчатых мы в расчет не берем). В свою очередь, Ада не могла удержаться и то и дело бросала взгляд черных глаз на него, как будто с каждым взглядом обретала большую уверенность, но, когда присутствующие вернулись в холл, чтобы выпить там кофе, у Вана, поскольку с уходом трех кинематографистов points de repère[501] у него поубавилось, возникли трудности с фокусировкой.

АНДРЕЙ: Адочка, душка (darling), расскажи же про ранчо, про скот (tell about the ranch, the cattle), ему же интересно (it cannot fail to interest him)/

АДА (как бы выходя из оцепенения): О чем ты (you were saying something)?

АНДРЕЙ: Я говорю, расскажи ему про твое житье-бытье (I was saying, tell him about your daily life, your habitual existance). Авось заглянет к нам (maybe he'd look us up).

АДА: Оставь, что там интересного (what's so interesting about it)!

ДАША (обращаясь к Ивану): Не слушайте ее! Масса интересного (heaps of interesting staff). Дело брата огромное, волнующее дело, требующее не меньше труда, чем ученая диссертация (his business is a big thing, quite as demanding as a scholar's). Наши сельскохозяйственным машины и их тени (our agricultural machines and their shadows) — это целая коллекция предметов модерной скульптуры и живописи (is a veritable collection of modern art), которые вы, по всей видимости, любите так же, как и я.

ИВАН (Андрею): В земледелии я профан, но все же благодарю.

(Пауза.)

ИВАН (не зная толком, что еще сказать): Да-да, конечно, надо как-нибудь заехать, посмотреть вашу технику. Эти машины всегда напоминают мне ископаемых чудовищ с длинными шеями, будто пасутся там и сям, знаете ли, или просто поникли головами в скорби по вымиранию — хотя, верно, это экскаваторы…

ДОРОТИ: В машинах Андрея ничего ископаемого нет! (Невесело смеется.)

АНДРЕЙ: Словом, милости просим (anyway, you are most welcome). Будете жарить верхом с кузиной (you'll have a rollicking time riding on horseback with your cousin).

(Пауза).

ИВАН (Аде): Завтра в половине девятого, это для вас не слишком рано? Я остановился в Trois Cygnes. Заеду за вами в своей малолитражке — не на лошади (мертвецкий оскал на Андрея).

ДАША: Довольно скучно (rather a pity), что Адину поездку на прелестное озеро Леман приходится менять на нудные переговоры со стряпчими и банкирами. Убеждена, что многое из проблем можно решить парой визитов chez vous[502], а не в Лузон или Женеву!

Бубнеж из дурдома вернул все вспять к Люсеттиным банковским счетам; Иван Дементьевич пояснил, что Люсетт в разные места запрятала чековые книжки, и никто точно не знает, в каких именно банках значительные суммы ее средств. В этот момент Андрей, который теперь был просто вылитый мэр Юконска после торжественного открытия Ярмарки по случаю Вербной Недели или после тушения лесного пожара новой разновидностью огнетушителя, крякнув, поднялся со своего кресла, извинился, что так рано отправляется спать, и пожал руку Вану так, будто они расставались навеки (что, по сути говоря, так и оказалось). Ван остался с двумя дамами в холодном и пустынном холле, где имело место легкое пригашивание Фарадеевых ламп в целях экономии.

— Ну, как вам братец? — полюбопытствовала Дороти. — Он редчайший человек (he's a most rare human being). Не могу передать, как глубоко переживал он ужасную смерть вашего батюшки и, конечно же, такую непостижимую кончину Люсетт. Даже он, добрейший из людей, не мог удержаться от критики ее парижской sans-gêne[503], но необычайно восхищался ее внешностью — так, по-моему, и вы тоже — нет-нет, не отрицайте! — ведь, так я всегда считала, ее красота как будто дополняла Адину, две половинки, соединяясь, образовывали некую идеальную красоту, в платоническом смысле этого слова (снова безрадостная улыбка). Конечно же, Ада — идеал красоты, настоящая мюирниночка — даже когда морщится, как сейчас, — но она красива лишь по нашим скромным человеческим представлениям, в пределах понятий нашей социальной эстетики, — верно, профессор? — в том же смысле, в котором еда, или брак, или французик-бродяжка могут считаться идеальными.

— Сделай даме книксен! — мрачно заметил Ван Аде.

— О, моя Адочка знает, как я ей преданна! (Тянется ладонью вслед за отдергиваемой рукой Ады.) Я делила с ней все ее беды. Сколько поджарых (tight-crotched) ковбоев пришлось прогнать, потому что делали ей глазки (ogled her)! И через сколько утрат прошли мы с ней уже с начала нового столетия! Ее матушка и моя; Иванковерский Архимандрит и еще доктор Суиссэр из Люмбаго (где мы с матушкой в 1888 году смиренно навещали его); трое знаменитых дядюшек (которых, к счастью, я едва знала); и ваш батюшка, который, по моим представлениям, был гораздо больше русский аристократ, чем ирландский барон. И надо же, в предсмертном своем бреду — ничего, Ада, если я открою ему ces potins de famille[504]? — наша замечательная Марина была одержима двумя навязчивыми идеями, взаимно исключавшими друг друга, — что вы женаты на Аде и что вы с ней

родные брат и сестра, и именно несовместимость этих причуд вызвала у нее глубокое душевное расстройство. Как объясняет ваша школа психиатрии такого рода конфликт?

— В школу я больше не вхож, — сказал Ван, подавляя зевок, — более того, в своих работах я не «объяснять» пытаюсь, я просто описываю.

— Но не можете же вы отрицать, что определенные проникновения…

Так оно тянулось и тянулось, наверное, больше часа, и стиснутые челюсти Вана уж стало ломить. Наконец Ада поднялась, и Дороти последовала за ней, но и стоя продолжала говорить:

— Завтра с нами ужинает дражайшая тетушка Белоскунская-Белоконская{163}, славная старая дева, живущая на вилле над Вальве. Terriblement grande dame et tout ça. Elle aime taquiner Андрюшей en disant qu'un simple cultivateur comme lui n'aurait pas dû épouser la fille d'une actrice et d'un marchand de tableaux[505]. Не согласитесь ли почтить нас, Жан?

Жан ответствовал:

— Увы, не смогу, дорогая Дарья Андреевна! Je dois «surveiller les kilos»[506]. К тому же завтра я приглашен на деловой ужин.

— Ну хотя бы — (улыбается) — зовите меня Даша!

— Я иду на это ради Андрея, — пояснила Ада. — Никакая она не светская дама, просто старая пошлая вонючка.

— Ада! — воскликнула Даша с легкой укоризной. Прежде чем обе направились к лифту, Ада бросила взгляд на Вана, а он — не дурак в амурных хитростях — умолчал о том, что та «забыла» черную шелковую сумочку на своем кресле. Ван не стал сопровождать их по коридору до самого лифта и, сжимая в руках условный знак, ждал ее обозначенного возвращения за колонной, архитектурно отвечавшей нечистокровности здешнего дизайна, прикидывая: вот, едва под быстрым пальцем кнопка лифта загорелась красным, она скажет своей окаянной компаньонке (теперь, несомненно, пересматривавшей свой взгляд на «beau ténébreaux»): «Ах, сумочку забыла!» — и немедля примчится назад, подобно Веровой Нинон, прямо к нему в объятья.

В сладостном неистовстве их губы слились, а потом он набросился на ее новую, юную, божественно-японскую шею, к которой весь вечер страстно вожделел, точно Jupiter Olorinus[507].

— Мы немедля рванем ко мне, как проснешься, не теряй времени на ванну, мигом ланклоденься!

И, распираемый огненной лавой, вновь с жадностью кинулся на нее, пока она (Дороти, должно быть, уж улетела в поднебесье!), пробежавшись пальцами по его влажным губам, не унеслась прочь.

— Шею оботри! — крикнул он ей вслед стремительным шепотом (кто и где

в этом предании, в этой жизни также пытался приглушить свой крик?).

Той ночью в своем пост-«моэтовом» сне он сидел на сыпучем тропическом берегу, усеянном любителями жариться на солнце, и то потирал красный, возбужденный штырь извивавшегося мальчишки, то смотрел сквозь темные очки на симметричные тени по обеим сторонам отполированной солнцем спины, с притенениями послабее между ребрами, у Люсетт или Ады, сидевшей поодаль на полотенце. Но вот она повернулась, легла на живот, оказалось, и она в темных очках, но ни он, ни она не могут сквозь этот темный янтарь проследить точное направление взгляда друг у друга, хотя он понимал по ямочке еле заметной улыбки, что смотрит она на его (оказывается, все время он его и был) возбужденный багрянец. Кто-то, таща мимо стол на колесиках, сказал: «Вот одна из сестер Ваин!» — и он проснулся, лепеча со смакованием профессионала эту онейрическую игру слов, объединившую его имя с его фамилией и освободившую уши от восковых пробок, и в непостижимом развитии восстановления и воссоединения сервировочный столик клацнул из коридора о порог соседней комнаты, и Ада, уже жующая и вся в медовых крошках, вошла в его спальню. Была всего лишь четверть восьмого!

— Умница! — сказал Ван. — Но прежде всего я должен заглянуть в petit endroit[508] (ватерклозет).

И эта встреча, как и девять последующих, ознаменовала высочайший пик их любви, возрастом в двадцать один год — трудная, опасная, несказанно лучистая пора совершеннолетия. В слегка итальянском стиле апартаменты; прихотливые настенные лампы, убранные стеклом цвета блеклого жженого сахара; белые пупыри, нажатие на которые произвольно вызывало свет или горничную; окна за жалюзи, тюлем и тяжелыми портьерами, затруднявшие доступ к утреннему свету, как обилие нижних юбок к недоступной красавице; выпуклые раздвижные двери громадной белой «Нюрнбергской Девы» — стенного шкафа в прихожей их апартаментов и даже цветная гравюра Рэндона с изображением несколько неистового трехмачтового судна на изломе зеленых волн в марсельской гавани — словом, вся альбергийская[509] атмосфера этих новых надежд придавала происходящему беллетристическое звучание (могли б и Алексей с Анной отметиться здесь!), что Ада радостно принимала как обрамление, как форму, как некую жизненную поддержку и ориентир, как иначе и не мыслилось бытие на Дездемонии, где иных богов, кроме художников, нет. Когда после трех-четырех часов любовного исступления Ван с миссис Виноземской покидали свое роскошное убежище, чтоб окунуться в голубую мглу того восхитительного октября, который на всем протяжении их адюльтера был полон мечтательностью и теплом, их не покидало чувство, что они все еще под защитой раскрашенных приапов-фаллосов, которых некогда римляне выставляли в садах Руфомонтикулов[510].

— Пройдемся пешком до твоего отеля — мы только что возвратились после совещания с лузонскими банкирами и теперь я от своего отеля тебя провожаю в твой — таким вот phrase consacrée[511] Ван всякий раз оповещал ангелов-хранителей их участи. Единственной мелкой предосторожностью, предпринятой с самого начала, было не позволять себе неосмотрительного появления на балконе, выходившем на озеро,

который обозревался каждым желто-лиловым венчиком цветочного бордюра вдоль променада.

Из отеля обычно выходили черным ходом.

Отороченная самшитовыми кустами дорожка под покровом такой родной вечнозеленой секвойи (которую американские туристы ошибочно принимали за «ливанский кедр» — если замечали вообще) выводила к улице с до абсурда нелепым для нее названием «Шелковичная», где величавая пауловния («Ничего себе шелковица!» — фыркнула Ада), совершенно не к месту нависая террасой над общественным ватерклозетом, щедро разбросала вокруг свои темные, сердечком, листы, но крона, еще не слишком поредевшая, кидала причудливо пеструю тень с южной стороны ствола. Гинкго (гораздо богаче убранный зелено-золотым сиянием, чем росшая по соседству блекло-желтая местная береза) знаменовал собой угол мощеного проулка, ведущего вниз к набережной. Они направились к югу по знаменитому Фийета-Променад, тянувшемуся по швейцарской стороне озера от Вальве до Шато-де-Байрон (или «В-Щель-Он'ский Замок»). Золотой сезон закончился, и зимующие птицы, а также никербокерные центральноевропейцы явились на смену британским семействам и русским дворянам с Ниписсинга и Нипигона.

— Пригорок над верхней губой мне кажется до неприличия голым! (Взвывая от боли, он сбрил усы в ее присутствии.) И еще я все время непроизвольно втягиваю живот!

— Не надо, ты мне милей с легким брюшком — пусть тебя будет больше! Это материнские гены. Ведь Демон с годами все более и более спадал с тела. На маминых похоронах, помнится, в нем было что-то поразительно «кихотское». Как все это странно. Траур на нем был синий. Однорукий сын Д'Онского обнял Демона единственной рукой и оба плакали, comme des fontaines[512]. Потом некто в рясе, похожий на стастиста на съемках цветного жития бога Вишну, пробубнил невнятно заупокойную. Потом она вместе с дымом вознеслась на небеса. И Демон, рыдая, сказал мне: «Уж я-то бедных червячков не подведу!» А буквально через пару часов после того, как он свое обещание нарушил, к нам на ранчо заявились неожиданные гости — сказочно грациозная куколка лет восьми, под черной вуалью, при ней дуэнья, тоже в черном, а также пара телохранителей. Старая карга затребовала фантастическую сумму — которую, по ее словам, Демон не успел заплатить за «прострел плевы», — после чего я велела самому могучему из наших молодцев выбросить вон всю (the entire) компанию.

— Непостижимо, — заметил Ван, — но они становились все юней и юней — я не про могучих молчунов-молодцев, я про его девчушек. У Розалинды, его старой пассии, была десятилетняя племяшка, чистый цыпленок. Еще немного, и он стал бы их таскать прямо из инкубатора!

— Никогда ты не любил отца своего! — грустно сказала Ада.

— Да нет же, любил и теперь люблю — нежно, трепетно, понимающе, ведь в конце-то концов вся эта вторичная поэзия плоти мне самому вовсе не чужда. Но нам обоим, я имею в виду тебя и меня, важно то, что отец

похоронен в тот же день, что и дядюшка Дэн.

— Понимаю, понимаю! Как прискорбно! Но что с этого? Быть может, не стоило говорить тебе, но его визиты в Агавию становились все реже и короче раз от раза. Да и слушать их общение с Андреем было прискорбно. Ведь Андрей п'а pas le verbe facile[513], хотя всегда высоко ценил — как следует, впрочем, не понимая — Демоново буйство фантазии и вкус к необычному и частенько восклицал, по-русски — тц-тц — цокая языком и головой покачивая, — выражая так свое одобрение: «Каков балагур (wag) вы в самом деле!» Но однажды как-то Демон объявил мне, что не приедет больше никогда, если снова от бедного Андрея услышит ту же шуточку («Ну и балагур же вы, Дементий Лабиринтович!») или от Дороти, этой l'impayable («бесценный образец наглости и глупости») Дороти, — что та думает по поводу моего похода по горам всего лишь с пастухом Майо в качестве защиты от львов.

— Возможно ль узнать об этом поподробней? — спросил Ван.

— Какие подробности! Все это происходило в момент, когда я прекратила общаться и с мужем, и с золовкой, и потому никак повлиять на ситуацию не могла. В общем, Демон больше не приезжал и, когда оказался всего в двухстах милях от нас, просто из какого-то игорного дома послал письмо, то милое, милое твое письмо про Люсетт и про картину со мной.

— Хотелось бы узнать и подробности супружеской жизни — как то: частота совокуплений, ласкательные клички потайных бородавок, любимые ароматы…

— Платок моментально (handkerchief quick)! Левая ноздря у тебя забита нефритовой жижей! — сказала Ада и тут же отвлекла его внимание круглой, обведенной красным табличкой при газоне с надписью «Chiens interdits!»[514] под какой-то немыслимой черной дворняжкой с белой ленточкой вокруг шеи. Это что, подняв брови, сказала Ада, швейцарские городские власти запрещают горным терьерам скрещиваться с пуделями?

Средь скромного цветения ярче всего выделялись последние бабочки 1905 года — медлительные «павлиний глаз» и «красная великолепная», вот «королева Испании» и вот дымчато-желтая. Прокатился трамвай слева, вблизи от променада, где они, присев на скамье, украдкой поцеловались, едва стих визг трамвайных колес. Рельсы красиво отсвечивали на солнце кобальтовым блеском — отражая полуденный свет полированностью металла.

— Пойдем под той колоннадой возьмем вина и сыра, — предложил Ван. — Виноземским нынче обедать à deax[515].

Некое музыкальное устройство что-то со звяканьем наигрывало; в неприятной близости стояли раскрытые сумки какой-то тирольской четы — и Ван сунул денег официанту, чтоб вынес их столик наружу, на настил заброшенного причала. Ада в восхищении следила за водоплавающими: черные утки-хохлатки с контрастно белыми бочками, делавшими их похожими (данное сравнение, как и прочие, принадлежит

Аде) на покупателей, уносящих под мышкой длинные, плоские картонки (новый галстук? перчатки?), ну а черный их хохолок вызывал в памяти мокрую голову четырнадцатилетнего, только что вынырнувшего из ручья Вана. Лысухи (в конце концов заявившиеся) плыли, смешно кивая головами на манер идущих шагом лошадей. Маленькие чомги, а также крупные, с хохолком, тянущие высоко кверху шеи, скользили даже несколько величественно. Говорят, есть у них удивительный брачный ритуал — придвинутся, нос к носу, друг к дружке, вот так (указательными пальцами изображает закрытые скобки) — как две книжные подставки без книг, и поочередно мотают головой, вспыхивая медным опереньем.

— Я спросил тебя про ваши ритуалы с Андреем!

— Ах, Андрей с такой радостью любуется всеми этими европейскими пернатыми! Он завидный любитель пострелять, и все разнообразие западной дичи ему удивительно хорошо известно. Есть у нас на западе одна прелестная маленькая чомга с черной опоясочкой на толстом, плоском клюве. Андрей называет ее пестроклювая чомга. А вон ту крупную чомгу он зовет хохлушка. Если еще раз нахмуришься, когда я рассказываю о чем-то невинном и в целом весьма увлекательном, непременно чмокну тебя при всех в самый кончик носа!

Просто крохотный элемент комедии, не в лучших виновских традициях. Но она в момент перестроилась:

— Ой, смотри, чайки играют в «кто храбрей»!

Несколько rieuses[516], у иных еще сохранились черные облегающие летние шапочки, расположились хвостами к дорожке на алых перилах, протянувшихся вдоль озера, выжидая, сколько их останется стойко сидеть на перилах при приближении очередного прохожего. Большинство порхнуло к озеру, едва к ним подошли Ада с Ваном; одна подернула хвостовым опереньем и изобразила нечто вроде «подгибания коленок», однако усидела, не покинула перил.

— По-моему, мы только однажды видели эту разновидность чаек в Аризоне — в местечке под названием Солтсинк, — там что-то вроде искусственного озера. У наших обычных кончики крыльев совсем другие.

Плывущая чуть в стороне хохлатая чомга стала медленно, очень медленно погружаться, как вдруг, выдав кувырок, подобно рыбе-летунье, мелькнула белым глянцевым брюшком и исчезла.

— И все-таки почему ты, — спросил Ван, — так или иначе не дала ей знать, что на нее не злишься? Она ужасно переживала после твоего дикого письма.

— Фуй! — вырвалось у Ады. — В какое жуткое положение она меня поставила! Я вполне могу понять то, что она разбушевалась по поводу Дороти (из лучших побуждений жалкая идиотка — безграничная идиотка вздумала уберечь меня от возможной «инфекции», как то: «лабиального лесбианита». Лабиального лесбианита!), но это вовсе не давало права Люсетт искать Андрея в городе, чтобы сообщить ему, будто она в

близких отношениях с мужчиной, которого я любила до замужества! Андрей не осмелился нервировать меня своим возросшим любопытством, но пожаловался Дороти на неоправданную жестокость (unjustified cruelty) Люсетт.

— Ада, Ада! — простонал Ван. — Прошу тебя, отделайся от своего муженька, а также его сестрицы, и немедленно!

— Дай мне две недели! — сказала она. — Мне необходимо вернуться на ранчо. Гадко представить, как она роется в моих вещах.

Сперва, казалось бы, все шло по указаниям неведомого доброго гения.

К превеликому Ванову ликованию (вульгарное изъявление которого его возлюбленная не поощряла, но и не порицала), Андрей почти на неделю слег в постель по причине простуды. Дороти, прирожденная сестра милосердия, значительно превосходила Аду (которая, сама в жизни ни разу не заболев, одного вида хворого постороннего не выносила) в смысле готовности сновать у постели больного — например, читать задыхающемуся, в испарине страдальцу старые номера газеты «Голос Феникса»; однако в пятницу гостиничный доктор направил Андрея в ближайшую американскую клинику, где даже сестре не разрешалось его посещать «по причине постоянной необходимости плановых обследований» — или скорей всего потому, что бедняга решил переносить невзгоды в стойком одиночестве.

Все последующие дни Дороти, чтобы убить время, шпионила за Адой. И сделала для себя три бесспорных вывода: у Ады в Швейцарии любовник; Ван — брат Ады; и что он организует для своей неотразимой сестрицы тайные встречи с тем самым, кого та любила до замужества. То забавное обстоятельство, что каждая версия в отдельности была справедлива, но в смеси они являли полную ахинею, служила для Вана дополнительным источником ликования.

Крылья «Трех лебедей» со всех флангов прикрывали их бастион. Кто бы ни интересовался, лично или по телефону, всякому швейцар или его подручные отвечали, что Ван отсутствует, кто такая мадам Андре Виноземски неведомо и что, мол, оставьте послание, больше ничем помочь не можем. Спрятанная в уединенной роще машина Вана выдать его не могла. В первой половине дня он регулярно пользовался служебным лифтом, сообщавшимся непосредственно с задним двором. Люсьен, не чужд остроумия, скоро научился распознавать контральто Дороти: «La voix cuivrée a téléphoné», «La Trompette n'était pas contente ce matin»[517] и т. п. Но вот ангелы-хранители решили взять тайм-аут.

Первое обильное кровотечение случилось у Андрея где-то в августе, во время деловой поездки в Феникс. Человек упрямый, независимый, не слишком сообразительный оптимист, он отнес это к изменившему русло носовому кровотечению, скрыв от окружающих во избежание «глупых пересудов». Куря по две пачки на день, он уж давно заходился влажным кашлем, но когда через пару дней после «за-носового кровостекания» он сплюнул в раковину алый сгусток, то решил отказаться от сигарет и ограничиться цигарками (cigarillos). Очередной contretemps[518] выдался в присутствии Ады, как раз накануне отъезда в Европу; ему

удалось спрятать с глаз запачканный кровью носовой платок, но Ада услыхала, как он озабоченно произнес: «Вот те на! (well, that's odd)». Полагая, как и большинство эстотийского населения, что лучшие доктора обитают непременно в Центральной Европе, Андрей решил обратиться к некому специалисту в Цюрихе, имя которого узнал от одного члена своей «ложи» (места общения братьев-стяжателей). Американская клиника в Вальве, рядом с русской православной церковью, построенной его двоюродным дедом Владимиром Шевалье, оказалась заведением, вполне способным определить диагноз: прогрессирующий туберкулез левого легкого.

В среду 22 октября сразу после полудня Дороти, «отчаянно» тщившаяся «засечь» Аду (которая после привычного визита в «Три лебедя» пару часов весьма плодотворно проводила в Салоне «Прически и красота» Венеры Пафосской, оставила Вану записку, которую тот прочел лишь поздно вечером, возвратившись из поездки в Сорсьер, находившийся в Валэ, примерно в ста километрах на восток, где купил виллу для себя et та cousine[519] и отужинал с ее бывшей владелицей, вдовой банкира, любезной мадам Скарлет, а также ее дочерью Эвелиной, прыщеватой, однако хорошенькой блондинкой, при том что обеих молниеносность сделки, судя по всему, возбудила эротически.

Он все еще был спокоен и уверен в себе; старательно изучив истерический донос Дороти, он все еще считал, что их судьбе ничто не угрожает, что Андрей, в лучшем случае, вот-вот умрет, избавив Аду от неудобств развода; а в худшем — беднягу придется отправить, как в романе, в высокогорный санаторий{164}, чтоб дотянул там последние пару страниц всеочищающего эпилога вдали от реальности их соединившихся судеб. В пятницу, в девять утра — как было оговорено накануне, — он выехал на автомобиле в Бельвю, предвкушая, что повезет ее в Сорсьер, покажет дом.

Ночная гроза как нельзя вовремя проломила хребет необыкновенному лету. И как нельзя вовремя внезапно начавшаяся у Ады менструация поуменьшила вчера их утехи. Шел дождь, когда Ван, хлопнув дверцей машины, поддернул вельветовые брюки и, перешагивая через лужи, прошел между каретой скорой помощи и громадным черным «яком», замершими в ожидании кого-то у подъезда отеля. Все дверцы в «яке» были распахнуты настежь, двое посыльных начали под наблюдением шофера укладывать в него чемоданы, и старый натруженный автомобиль сдержанным скрипом вторил покрякиваньям грузивших.

Внезапно Ван ощутил лысеющим лбом лягушиный холодок дождя и потянулся было к вращающейся двери, как вдруг она вынесла к нему Аду, подобно тому как створки в резных барометрах поочередно кажут то куклу мужского вида, то женского. В ее наряде — макинтош поверх глухого платья, прозрачная косынка на зачесанных кверху волосах, крокодиловая сумка через плечо — было что-то старомодное и даже провинциальное. «На ней лица не было», как говорится у русских, если надо описать выражение крайней подавленности.

Она увела его за здание отеля в безобразную ротонду — укрыться от гадкой мороси; там попыталась приласкаться, но он увернулся от ее губ. Она уезжает в считанные минуты. Героически стойкий, беспомощный

Андрей возвращен в отель из клиники. Дороти удалось достать три билета на рейс Женева — Феникс. Эти два автомобиля увезут его, ее и его героическую сестрицу прямо в несуразный аэропорт.

Она попросила носовой платок, и он достал голубой из кармана непродуваемой куртки, тут слезы у нее полились градом, она закрылась рукой, а он стоял перед ней с протянутым платком.

— Фрагмент спектакля? — холодно поинтересовался он. Она покачала головой, взяла платок, бросив по-детски «merci», высморкала нос и, задыхаясь, глотая слова, заговорила, и вмиг все, все было кончено.

Она все рассказать мужу не сможет, пока тот болен. Вану придется подождать; пусть тот достаточно окрепнет, чтоб встретить это известие; на это потребуется время. Разумеется, она сделает все от себя зависящее, чтоб его вылечить, есть в Аризоне один чудодей…

— Вот-вот, подлатаем бедолагу перед виселицей! — проговорил Ван.

— Подумать только! — в слезах говорила Ада, тряхнув напрягшимися разведенными руками, будто роняя крышку или поднос. — Подумать только, как он старательно все скрывал! Нет-нет, как можно, я не в силах бросить его сейчас!

— Ну да, старая песня — флейтист, которого лечим от импотенции, бравый флотский лейтенантик, которому, может, не суждено вернуться с заморской войны!

— Ne ricane pas![520]— вскричала Ада. — Бедный, бедный мальчик! Как смеешь ты издеваться!

То было свойственно его натуре даже в дни юности: Ван имел обыкновение утолять страстную ярость или крушение надежд надменными заклинаниями, отдававшими болью сломанного ногтя, вцепившегося в атлас, которым выложено нутро ада.

— Замок Веры, Замок Света! — кричал он теперь. — Елена Троянская, Ада Ардисская! Ты предала Древо и Мотылька!

— Перестань (stop, cesse[521])!

— Предала Ардис Первый, Ардис Второй. Загорелого в Шляпе и теперь — Гору Рыжую…

— Перестань! — твердила Ада (как полоумный эпилептику).

— Oh! Qui me rendra mon Hélène…[522]

— Ах, перестань!

— …et la phalène…[523]

— Je t'emplie («prie» и «supplie»[524]), хватит, Ван! Tu sais que j'en vais mourir[525].

— И все же, все же, все же! — (каждый раз ударяя себя по лбу) — Быть всего на волосок от, от, от — и вдруг этот идиот, выходит, не идиот, а Китс{165}!

— Боже мой, мне уже пора! Скажи мне что-нибудь, мой драгоценный, моя единственная любовь, скажи что-нибудь, помоги мне!

И только узкая пропасть молчания, прерываемого лишь шелестом дождя в листве вязов.

— Останься со мной, девочка! — сказал Ван, забыв про все на свете — гордость, ярость, принятые нормы жалости.

Казалось, мгновение она заколебалась — или хотя бы подумала, не заколебаться ли; но уже с улицы донесся зычный окрик — там стояла Дороти в сером плаще и мужского вида шляпе, усиленно маша к себе сложенным зонтом.

— Не могу, не могу, напишу тебе! — в слезах проговорила несчастная любовь моя.

Ван поцеловал ее хладную, как лист, руку и, предоставив заботиться «Бельвю» о своем автомобиле, всем Трем Лебедям — о своем имуществе, Мадам Скарлет — о кожных проблемах ее Эвелин, прошагал пешком километров десять по хлюпавшим дорогам до Ренназа, а оттуда унесся самолетом — в Ниццу, Бискру, Кейп-Код, Найроби, к отрогам Бассета…

And o'ver the summits of the Basset[526]

Так писала ли она? Ах, ну как же! Конечно, любая малость прошлого со временем стала бесценной! В нескончаемой скачке, с девчоночьим смехом фантазия рвалась за фактом. Андрей прожил еще несколько месяцев — по пальцам: один, два, три, четыре — скажем, пять. До весны тысяча девятьсот шестого или седьмого Андрей продержался молодцом с преспокойно отказавшим легким и в бороде цвета соломы (уход за лицевой растительностью — отличное занятие для больного). Жизнь раздваивалась, ветвясь и дальше. Да, сказала ему она. Он оскорбил Вана на лиловом крыльце отеля «Дуглас», где Ван поджидал свою Аду в финальной версии «Les Enfants Maudits». Месье де Тобак (в прошлом рогоносец) и лорд Ласкин (и на сей раз второй), а также несколько рослых юкк и приземистых кактусов, явились свидетелями дуэли. Виноземский был в визитке (по необходимости); Ван в белом костюме. Ни один не пожелал рисковать, потому оба выстрелили одновременно. Упали оба. Пуля г-на Визиткина поразила Вана в подметку левого ботинка (белого, с черным каблуком), сбив его с ног и вызвав легкие fourmillement[527] (муравьиное расползание) на коже — только и всего. Ван угодил своему противнику в низ живота — рана серьезная, от которой тот в свое время оправился, если оправился вообще (здесь развилка судьбы тонет в тумане). На самом же деле все

было гораздо скучнее.

И все же: написала ли она ему, как обещала? О да, о да! За семнадцать лет он получил от нее около ста коротких записочек, каждая в сотню слов, что в целом составило примерно тридцать печатных страниц незначительного содержания — в основном про здоровье мужа и местную фауну. Помогая Аде в уходе за Андреем на ранчо Агавия в течение двух наполненных упреками лет (выговаривала Аде за каждый жалкий час, выкроенный на сбор насекомых, организацию коллекции и выращивание кроликов!), затем, возмутившись тем, что Ада предпочла известную и первоклассную клинику Гротоновича (на непрогнозируемый период лечения своего супруга) вместо закрытого санатория княгини Алашиной, Дороти Виноземская удалилась в полярный монастырский городок (Илемна, ныне Новостабия), где затем вышла замуж за г-на по имени Брод или Бред, трепетного и страстного темноволосого красавца, изъездившего Севърныя Территории, распространяя символы причастия, а также иные сакральные предметы, которому впоследствии суждено было возглавить (и, возможно, он возглавляет и по сей день, полвека спустя) археологические раскопки в местечке Горелое («Лясканский Геркуланум»); что до ценностей, отрытых им в супружеской жизни, — это другой вопрос.

Неуклонно, хоть и медленно, состояние Андрея продолжало ухудшаться. За последние два или три года праздного существования на всяческих шарнирных кроватях, каждую плоскость которых можно было повернуть как угодно, он утратил дар речи, хотя все еще имел силы кивнуть головой, нахмурить в раздумье лоб или слабо улыбнуться, вдыхая аромат пищи (с чего, по сути, и начинается наше восприятие блаженства). Он умер весенней ночью, один в больничной палате, и в тот же год (1922) его вдова передала все свои коллекции в дар музею Национальных Парков и вылетела самолетом в Швейцарию на «зондирующее собеседование» с пятидесятидвухлетним Ваном Вином.

Часть четвертая

С наглостью субъекта, требующего у почтенного человека водительские права, въедливый слушатель вставляет вопрос: как «проф» свой отказ придать будущему Временное состояние согласует с очевидностью, что его, будущее то есть, едва ли можно считать не существующим, раз «оно облагает, — простите, обладает — по крайней мере, одним свойством, охватывающим такое важнейшее понятие, как абсолютная необходимость?»

За шиворот и вон. Кто вам сказал, что я умру?

Можно и покорректней развенчать претензии этого детерминиста: бессознательное вовсе не подстерегает нас где-то впереди, чтоб щелчком отбросить назад или заарканить, оно охватывает как Прошлое,

так и Настоящее со всех обозримых сторон, оставаясь не свойством Времени как такового, но свойством органического затухания, естественного для всех проявлений бытия, ощущающих Время или нет. Я знаю, что другие умирают, но это не имеет никакого значения. Я также знаю, что вы, возможно, как и я, рождены на свет, но это не доказывает, что мы прошли через временную фазу, именуемую Прошлым: это мое Настоящее, краткий просвет сознания, уверяет, что я ее прошел, а не бесшумное грохотание бесконечного бессознательного, предварявшее мое появление на свет пятьдесят два года и 195 дней тому назад. Мои первые воспоминания восходят к середине июля 1870 года, а именно, к семимесячному возрасту (у большинства-то, разумеется, четкое сознание проявляется позднее, года в три-четыре), — это было утром на нашей вилле, что на Ривьере: во время землетрясения кусок зеленого гипсового бордюра сорвался с потолка и рухнул прямо ко мне в кроватку. Сто девяносто пять предшествовавших этому событию и не отторжимых от бесконечности бессознательного дней не следует включать в сознательный период, так что, если сделать память точкой отсчета, мне сейчас (в середине июля 1922 года) день в день пятьдесят два, et trêve de mon style plafond peint[528].

В аналогичном восприятии индивидуального, осязающего времени я могу запустить свое Прошлое вспять, возрадовавшись мигу воспоминания в не меньшей степени, чем радовался рогу изобилия, гипсовый ананас из которого едва не угодил мне в голову, и допустить, что в следующий миг некий космический или телесный катаклизм мог бы — если не убить, то повергнуть меня навеки в сенсационно-новую, совершенно науке неизвестную, разновидность столбняка, лишив таким образом естественный распад всякого логического или временного смысла. Более того, подобная логика обслуживает гораздо менее привлекательное (хотя важное, очень важное) Универсальное Время («нам выдалось ударное время по рубке голов»), известное также как Объективное Время (по сути, грубо свитое из частных времен), словом — историю гуманизма и комизма и всякого такого прочего. Ничто не мешает человечеству как таковому вообще будущего не иметь — если, к примеру, наш род человеческий в процессе наипостепеннейшей (тут пик моей аргументации) эволюции образует особь novosapiens[529] или некий иной подвид с иными пристрастиями насчет бдения и сна, не отвечающими человеческим представлениям о Времени. В этом смысле человек не умрет никогда, поскольку, возможно, нет такой таксономической точки в его эволюционном развитии, которую можно было бы определить как последнюю стадию человека в переходных формах, превращающую его в Новочеловека или в мерзкую, пульсирующую слизь. Надеюсь, этот приятель в дальнейшем нас не побеспокоит.

Целью моей работы над «Тканью Времени» — многосложного, сладостного и благословенного труда, который я готов увидеть на уж брезжащем в моем воображении письменном столе гипотетического читателя, — было прояснить мое собственное представление о Времени. Я хочу исследовать сущность Времени, а не его течение, ибо не считаю, что его сущность может быть сведена до его течения. Я хочу обойтись со Временем ласково.

Можно быть поклонником Пространства и его возможностей; возьмем, к примеру, скорость, ее гладкость и сабельный свист; орлиный триумф

непревзойденной быстроты; восторженный крик виража. И можно быть любителем Времени, эпикурейцем длительности. Меня восхищает чувственность во Времени, в его плоти и в его протяженности, в его устремлении и в его складках, в самой неосязаемости его дымчатой кисеи, в прохладе его непрерывности. Я хочу что-то с ним сотворить; позволить себе вообразить, будто им обладаю. Я знаю, что все, кто когда-либо пытался добраться до этого дивного чертога, либо канули в безвестность, либо потонули в Пространстве. Я также знаю, что Время — питательная среда для метафор.

Отчего же так трудно — так унизительно трудно — ввести понятие Времени в умственный фокус и исследовать не упустив? Сколько усилий, сколько суеты, сколько досады и усталости! Как будто роешься в автомобильном «бардачке» в поисках дорожной карты, — извлекаешь карту Монтенегро, Доломитовых Альп, бумажные деньги, телеграмму — что угодно, только не ту искомую полоску ускользающей местности между Ардесом и Типасопрано, — кругом тьма, хлещет дождь, только красная подсветка средь угольной черноты да «дворники» ходят метрономом-хронометром: тычется пальцем вслепую пространство, прорывая ткань времени. И даже Аврелий Августин{166}, и он, и он, пятнадцать столетий тому назад схватившись с тем же предметом, испытал все ту же странную физическую муку мельчания ума, те же щекотики настигания, ту же неподатливость перетруженного мозга — но он-то хоть мог подзарядить свой разум Божественной энергией (у меня здесь примечания насчет того, какой восторг наблюдать, как он торопит мысли меж сроком и роком, расцвечивая их яркими взрывчиками молений).

Снова сбился с пути. Откуда еду? Где я? Дорожная слякоть. Двигатель смолк. Время — это ритм: ритм насекомых в теплой, влажной ночи, пульсация мозга, дыхание, гудение в виске — вот они, наши верные хранители времени; а разум выравнивает лихорадочную частоту. Один мой пациент ловил ритм вспышек, следующих одна за другой через каждые три миллисекунды (0,003!). Поехали!

Что утешительно толкнуло меня вперед — пару минут назад при остановке мысли? Ах да! Наверное, единственное, что дает намек на ощущение Времени — это ритм; не сами повторяющиеся удары, но промежутки между двумя ударами, серый промежуток между черными ударами: Чуткая Пауза. Сам мерный толчок лишь возвращает нам жалкую мысль о мерности, но между ними притаилось нечто вроде истинного Времени. Как вычленить его из его мягкой полости? Ритм не должен быть ни слишком замедлен, ни слишком быстр. Один удар в минуту уже выходит за пределы моего представления о последовательности, а при пяти колебаниях в секунду все безнадежно расплывается в глазах. Мерный ритм растворяет Время, быстрый вытесняет его. Дайте мне, скажем, три секунды, и я смогу вызвать и то и другое: ощутить ритм и прощупать паузу. Полость, сказал я? Темная ямка? Так это все то же Пространство, которое — пока я нащупывал суть Времени, — подобно злодею из комедии, прокралось обратно через заднюю дверь, загребая маятником как веслом. Я стремлюсь схватить лишь то Время, какое Пространство помогает мне измерять, и неудивительно, что не сумел само Время ухватить, ведь и приобретение знаний «отнимает время».

Если зрение говорит мне кое-что о пространстве, слух говорит мне кое-что о времени. Но если Пространство доступно непосредственному, пусть наивному, восприятию, Время можно услышать лишь между ударами: всего короткий тайный миг — осторожно и настороженно, с растущим осознанием, что не само время, слышу ток крови, проходящий сквозь мой мозг, затем устремляющийся по венам шеи назад к сердцу, — вместилищу потаенных мук, к Времени отношения не имеющих.

Направление Времени, ардис Времени, Время, движущееся в одну сторону, — в этом есть нечто, сначала как будто полезное, но потом ужимающееся до простой иллюзии, имеющей смутное отношение к таинствам роста и гравитации. Невозвратность Времени (которое, кстати сказать, никуда не направлено) говорит о чрезвычайной узости представлений: если бы наши органы и оргитроны не были асимметричны, Время бы расширялось в наших глазах громадным амфитеатром, как оборчатая ночь и ступенчатые горы над замершей внизу крохотной, мерцающей огнями деревушкой. Утверждают: живое существо, утрачивающее зубы, превращается в птицу, и как бы ни желало заполучить зубы вновь, настоящие уж больше не получит, вот и не остается ничего лучше, чем обзавестись в процессе эволюции зазубренным клювом. Место действия — эоцен, действующие лица — ископаемые существа. Любопытный пример плутовства природы, но отражающий так же мало связи с собственно Временем, прямым или закругленным, как между выводимой мной строчкой слева направо и направлением моей мысли.

Так, говоря об эволюции, можем ли мы иметь представление о происхождении, ступенях развития и выбракованных мутациях Времени? Существовала ли когда-либо «первобытная» форма Времени, когда, скажем, Прошлое не слишком отчетливо отграничивалось от Настоящего, так что тени и облики прошлого просвечивали сквозь все еще нетвердое, долгое, личиночное «сейчас»? Или та эволюция относилась исключительно к хронометрированию, от солнечных — до атомных часов или от них — до карманного пульсара? И сколько же времени потребовалось Старым Временам, чтобы превратиться во Время Ньютона? «Ponder the Egg!»[530] — наказал своим несушкам известный галльский петух.

Чистое Время, Осязающее Время, Реальное Время, Время, свободное от содержания, контекста и комментария-репортажа, — вот мое время и моя тема. Ткань Пространства — это не ткань Времени, а вскормленный релятивистами четырехмерный гибрид — четвероногое, у которого вместо одной ноги одна видимость. Еще мое время — Недвижимое Время (скоро мы упраздним «текущее» время, время водяных часов, ватерклозетное время).

Время, которое интересует меня, это только Время, мной остановленное и внимательно обозреваемое моим четко направленным сознанием. Таким образом, было бы необоснованно и даже вредно притягивать сюда «преходящее» время. Разумеется, я бреюсь дольше, чем моя мысль «примеряет» слова; разумеется, пока я не взгляну на часы, я не пойму, что опаздываю; разумеется, в пятьдесят — каждый год словно бы убыстряется, потому что составляет все меньшую долю от моего увеличивающегося в объеме существования и потому что я все реже, чем

в детстве, маюсь в промежутке между скучной игрой и еще более скучной книгой. Но это «убыстрение» имеет явную зависимость от человеческого пренебрежения Временем.

Прелюбопытное занятие — пытаться определить природу предмета, чей состав иллюзорен. И все же я верю, что читатель мой, который, хмуря лоб, читает эти строки (но хотя бы про завтрак позабыл!), согласится со мной, что нет ничего прекрасней одинокой мысли; а одинокая мысль всегда движется неспешно или — используя менее древнюю аналогию — катит, скажем, в чуткой, восхитительно устойчивой греческой колеснице, при каждом повороте альпийского шоссе демонстрирующей кроткий нрав и надежную упругость.

Прежде чем мы двинемся дальше, надо бы вскрыть два заблуждения. Первое состоит в смешении временных элементов с пространственными. Пространство уже было уличено в самозванстве в настоящих записках (которые набрасываются в обозначившийся перерыв посреди этой жизненно важной поездки); суд над ним еще впереди, на дальнейшем этапе наших исследований. Второй неприемлемый момент — это исстари укоренившаяся в нашей речи привычка. Для нас Время — некий поток, никоим образом не схожий со стремительным горным каскадом, белопенным на фоне черной скалы, или же с мутной широкой рекой посреди долины ветров, хотя и поток, текущий исключительно сквозь наши хронографические ландшафты. Мы так свыклись с этим мифическим действом, так усердствуем в разжижении каждого жизненного глотка, что вот уж и о Времени иначе как о физическом движении толковать не можем. По сути говоря, несомненно, представление о его движении взято из многих природных, по крайней мере знакомых, источников — врожденное ощущение телом тока крови, извечное головокружение при виде возникающих на небе звезд и, разумеется, наши методы измерения: например, ползущая тень-столбик солнечных часов, струйка часов песочных, шаг секундной стрелки — и тут мы возвращаемся в Пространство. Обратите внимание на обрамление и на резервуары. Сама мысль о том, что Время «течет», причем таким же естественным образом, как яблоко падает на садовый столик, предполагает, что оно втекает в и протекает через что-то, и если это «что-то» считать Пространством, тогда ничего, кроме метафорического стекания по измерительной линейке, у нас не остается.

Но остерегайся, anime meus, витиеватых марселей модного искусства; избегай Прустова ложа и assassin pun, каламбура-убийцы (по сути самоубийцы — что знатоки своего Верлена непременно отметят).

Теперь мы готовы приняться за Пространство. Без колебаний отвергаем искусственную концепцию времени, предложенную релятивистской литературой: время, зараженное пространством, опаразитированное пространством, пространство-время. Каждый, это дело вкуса, может предположить, что Пространство есть оборотная сторона Времени или плоть Времени, или что Пространство наполнено Временем, а также наоборот, или в некотором необычном смысле Пространство — лишь отработанный продукт Времени, прямо-таки его труп, и что в конечном, весьма и весьма отдаленном счете Время и есть Пространство; подобные домыслы могут быть занимательны для молодых; но никто не убедит меня, что движение материи (скажем, стрелки) по вырезанному отрезку

Пространства (скажем, циферблату) по природе своей идентично с «прохождением» времени. Движение материи всего лишь охватывает протяженность другой осязаемой материи, которой оно и измеряется, однако не скажет нам ничего о действительной структуре неосязаемого Времени. Аналогично и градуированная рулетка, пусть бесконечно длинная, не являет собой само Пространство, как не может наиточнейший курвиметр воспроизвести дорогу, видимую мной — черным дождевым зеркалом под вращающимися колесами, слышимую — ее липучим шуршанием, обоняемую — ее ночной альпийской июльской влажностью, осязаемую на ощупь — ее гладкой монолитностью. Мы, бедные Пространствожители, в своей трехмерной Lacrimaval Долине Слез лучше ориентируемся в Протяженности, чем в Длительности: наше тело обладает завидной способностью вытягиваться так, как никакому усилию воли не вытянуться за воспоминанием. Я не могу запомнить (хотя лишь вчера тщился разложить на мнемонические составляющие) номер новой своей машины, но я чувствую асфальт передними шинами так, будто они части моего тела. Хотя само Пространство — некое место, где вершится движение, — это то, чего постичь я (как и Время) не могу. Плазма, в которой заключена организованная материя, — сгусток Пространственной плазмы. Мы можем измерять глобулы материи, расстояния между ними, но Пространственная плазма как таковая — неисчислима.

Мы меряем Время (бегом секундной стрелки, вздрагиваниями минутной — с одной яркой отметки на другую) терминами Пространства (не ведая природы ни того ни другого), однако просчитывания Пространства не всегда требуют Времени — или хотя бы требуют времени не больше, чем содержится во впадинке отметки «сейчас» пространственного настоящего. Осязаемое обладание частицей пространства длится практически миг, когда, скажем, глаз опытного водителя ловит дорожный символ — чернота пасти с изгибом арки над ней внутри красного треугольника (едва зафиксируется зрением, слияние цвета и формы опознается «мгновенно» как дорожный туннель) или что-нибудь менее существенное, например восхитительный Венерин знак ♀, который можно превратно истолковать как разрешение шлюшкам большим пальцем останавливать машины, на самом же деле знак сообщает верующим или туристам, что впереди река, а в ней отражается церквушка. Предлагаю ввести корректорский знак ¶ для любителей почитать за рулем.

Пространство связано с нашими зрительными, осязательными и мышечными усилиями; Время отдаленно имеет отношение к слуху (по-прежнему глухой воспримет сам «ход» времени несравнимо лучше, чем слепой и безрукий само понятие «ход»). «Пространство — мельтешение в глазах, а Время — это пение, звучащее в ушах»{168} — как сказал современный поэт Джон Шейд, цитируемый вымышленным философом («Мартэн Гардинэ»{169}) в «Двуликой вселенной», с. 165. Едва месье Бергсон берется за своих ножницы, Пространство колышась устремляется к земле, Время же застывает между мыслителем и его большим пальцем. Пространство раскладывает свои яйца по гнездам Времени: сюда «до», туда «после» — а вот и рябой выводок «мировых точек» Минковского. Органически проще измерить мысленно отрезок Пространства, чем отрезок Времени. Должно быть, понятие Пространства определилось раньше понятия Времени (Гюйо{170} в Уитроу). Неразличимая пустота (Локк) бесконечного пространства мысленно (а иначе ее себе и представить нельзя) отличима от яйцевидной «невидности» Времени.

Пространство вскормлено иррациональными числами, Время невозможно свести к птичкам-радикалам на аспидной доске. Одна и та же доля Пространства мухе, возможно, покажется огромней, чем С. Александеру, но миг для него — вовсе не «часы» для мухи, ведь истинная муха ни за что не станет ждать, пока ее прихлопнут. Я не могу представить себе Пространство без Времени, но прекрасно могу представить себе Время без Пространства. «Пространство-Время» — чудовищный гибрид, где даже дефис кажется неуместным. Можно ненавидеть Пространство и любить Время.

Есть люди, которые умеют складывать дорожную карту. Автор к ним не относится.

В этом месте, подозреваю, надо бы сказать, как я воспринимаю «Относительность». Неодобрительно! То, что многие космологи склонны принять за объективную истину, на самом деле выдаваемый за истину врожденный порок математики. На удивление человека, тело его, движущегося в Пространстве, укорачивается в направлении движения и катастрофически съеживается по мере того, как скорость передвижения приближается к пределу, за которым, под напором сей спорной формулы, никакой скорости быть не может. В том его беда, не моя — да и какое мне дело до его отстающих часов. Время, которое для полного своего понимания требует абсолютной незамутненности сознания, является наирациональнейшим элементом бытия, и мой разум коробят все эти полеты научной фантастики. Самое нелепое из умозаключений, сделанное (по-моему, Энгельвейном) при ознакомлении с Теорией Относительности — и уничтожающее ее при разумном применении, — состоит в том, что галактонавт, а также его домашние животные, совместно прокатившись просторами Пространства, по возвращении окажутся моложе, чем если б все это время оставались дома. Представляете, высыпают они из своего небесного ковчега — вон как те «львы», ни дать ни взять львята в своей ребячливой униформе, которые вываливаются из громадного заказного автобуса, остановившегося, неистово мигая, прямо перед взволновавшимся «седаном» того господина, как раз где шоссе сужается, втискиваясь в улочки горной деревушки.

Воспринимаемые события можно считать одновременными, если они вписываются в единый объем внимания; аналогично (коварное сравнение: неустранимое препятствие!) можно визуально завладеть единицей пространства — хотя бы тем ярко-красным кольцом вокруг крохотного автомобильчика фарами вперед на белом поле; там одностороннее движение, но я неистовым coup de volant[531] туда свернул. Знаю, релятивисты, в оковах своих же «световых сигналов» и «дорожных часов», попытаются опровергнуть мысль об одновременности в космическом масштабе, но давайте представим себе гигантскую руку, большим пальцем уставленную в одну звезду, мизинцем в другую, — разве не касается она обоих звезд одновременно? — а может, осязательные совпадения еще более обманчивы, чем зрительные? Дам-ка задний ход, не туда меня понесло.

Такая засуха нагрянула на Гиппон в самые плодотворные месяцы епископства Августина, что пришлось заменять водяные часы песочными. Августин определял Прошлое как то, чего уже нет{171}, а Будущее, как то, чего еще нет (на самом деле будущее — это фантом, принадлежащий

к иной категории мысли, коренным образом отличной от категории того самого Прошлого, которое вот только что, по крайней мере, было здесь, — куда я сунул его? В карман? Но сами поиски уж стали «прошлым»).

Прошлое неизменно, неощутимо и «не-вспять-посещаемо» — эти понятия не годятся для той или иной доли Пространства, представляющегося мне, скажем, белой виллой с белоснежнейшим (новейшим) гаражом при семи разновеликих кипарисах, от высоченного Воскресенья к коротышке Понедельнику, надзирающих за частным шоссе, которое, петляя сквозь низкорослые дубки и заросли вереска, спускается к общедоступному шоссе, соединившему Сорсьер с магистралью на Монтру (до которого по-прежнему сотня миль).

Теперь перейду к рассмотрению Прошлого как свода чувственных данных, — не разжижения Времени, подсказываемого древнейшими метафорами, олицетворяющими эволюцию. «Ход времени» — это всего лишь плод воображения, не имеющий объективного аналога, но легко вызывающий пространственные аналогии. Он наблюдаем лишь «задним видом» — тенями и призраками, кедрами и лиственницами, беззвучной гурьбой откатывающихся назад: неизбывный ужас убывающего времени, éboulement[532], оползни, горные дороги с вечным камнепадом и вечными дорожными рабочими.

Мы создаем модели прошлого, затем используя их в пространственном смысле, чтобы материализовать и измерить время. Приведем известный пример. Замбр, затейливый старинный городок на реке Миндер близ Сорсьера, что в кантоне Вале, мало-помалу растворился средь новейших построек. К началу этого столетия городок уже настолько обновился, что радетели охраны старины решили действовать. Ныне после долгих лет тщательной реконструкции перенесенный на противоположный берег Миндера новый старый Замбр (с крепостью, церковью и мельницей) стоит там отдельно, на расстоянии моста, от модернизированного городка. Так вот, если заменить пространственный взгляд (с вертолета) временным (в ретроспекции), а материальную модель старого Замбра мысленной моделью того, каким тот был в Прошлом (скажем, году в 1822), то окажется, что современный городок и модель старого уже не две точки в одном месте и в разное время (в пространственной перспективе они как раз одновременны, но находятся в разных местах). Пространство, в котором концентрируется современный городок, есть непосредственная реальность, в то время как пространство его ретроспективного образа (не смешиваемого с материальной реставрацией) сияет в воображаемом пространстве, и не существует такого моста, которым можно было бы из одного городка проникнуть в другой. Иными словами (как говорится, когда и автор, и читатель безнадежно увязают под конец в месиве мыслей), создавая в уме (а также на берегу Миндера) модель старого городка, мы помещаем ее в пространстве, только и всего (или, по сути, вытаскиваем ее из собственной стихии на брег Пространства). Потому-то термин «одно столетие» ни в коей мере не соответствует стальному, протяженностью в сто футов, мосту между современным городом и городом-моделью, и именно это мы стремились доказать и вот уж доказали.

Таким образом, Прошлое — это постоянное накопление образов. Его

можно легко осознать, услышать, почувствовать и испробовать наугад, и тогда оно уже не отражает, как прежде, чередования связанных событий, хотя в широком теоретическом смысле все-таки отражает. Прошлое теперь — всеобщий хаос, из которого талант абсолютной памяти, востребованный этим летним утром 1922 года, может взять все, что душе угодно: алмазы, рассыпанные по паркету в 1888 году; рыжую красавицу в черной шляпе из бара в Париже 1901 года; влажную алую розу средь искусственных 1883 года; задумчивую полуулыбку 1880 года юной гувернантки-англичанки, искусно возрождающей крайнюю плоть своего подопечного после стакана молока на сон грядущий; девочку 1884 года, слизывающую, завтракая, мед с вытянутых пальцев с нещадно обкусанными ногтями; ее же в тридцать три года, признающуюся, дело идет к сумеркам, что терпеть не может цветы в вазах; нестерпимую боль, пронзившую его в бок в момент, когда двое деток с полной корзиной грибов глазели на него средь радостно пылавшего соснового бора; и встревоженное хрюканье бельгийского авто, которое он нагнал и обогнал вчера на слепом повороте альпийского шоссе. Подобные образы не говорят нам ничего о ткани времени, в которую они вплетены, — кроме, пожалуй, одного момента, с которым не так-то просто разобраться. Зависит ли окраска (или что-нибудь еще в визуальном смысле) вспоминаемого образа от даты? Могу ли я определить по его колориту, появляется ли он раньше или позже, стоит ниже или выше в стратиграфии{172} моего прошлого? Существует ли в сознании некий уран, чей воображаемый дельта-распад мог бы быть использован для измерения возраста воспоминаний? Спешу пояснить, что основная трудность состоит в неспособности экспериментатора иметь дело с одним и тем же объектом в разное время (скажем, печка-голландка с голубыми корабликами в детской ардисского поместья в 1884 и в 1888), так как два впечатления, накладываясь одно на другое, оставляют составной образ в сознании; но если приходится избирать разные объекты (скажем, лица двух памятных кучеров: Бена Райта, 1884, и Трофима Фартукова, 1888), невозможно, исходя из моих личных исследований, избежать вторжения не только иных свойств, но также и иных эмоциональных обстоятельств, не позволяющих эти два объекта рассматривать как изначально равноправные, пока они, так сказать, не открыты воздействию Времени. Не убежден, что такие объекты найти невозможно. В своей профессиональной деятельности, в лабораториях психологических изысканий, я лично придумал множество изощренных тестов (один, метод определения девственности без физического осмотра, сегодня носит мое имя). Таким образом, реально предположить, что такой эксперимент возможен — и сколь заманчиво обнаружить тогда определенные четкие уровни уменьшения насыщенности или усиления яркости — настолько четкие, что это «нечто», смутно улавливаемое мной в образе запомнившегося, но неузнанного человека и «как-то» связанное не со зрелостью, а именно с ранним детством, можно пометить если не названием, то хотя бы определенной датой, например 1 января 1908 года (эврика! сработало это «например» — тот человек был раньше отцовским домашним наставником, а мне в день восьмилетия подарил «Алису в Камере обскуре»{173}).

Наше представление о Прошлом не отмечено последовательной связью в столь же заметной степени, как восприятие и Настоящего, и мгновений, непосредственно предваряющих момент его явления. Бреясь, как правило, ежедневно по утрам, я привык после второго раза менять

лезвие безопасной бритвы; время от времени, случается, я день пропускаю, и потом приходится со звучным скрежетом сбривать буйную щетину, упорную колючесть которой обнаруживаю под пальцами после каждого скребка, и в таких случаях лезвие использую лишь раз. Теперь, мысленно представляя себе, как брился в последнее время, я не учитываю момента последовательности: мне интересно только одно — сколько раз, один или два, проработало лезвие, оставленное на серебряном подносике; если только раз, тогда порядок двух общетиненных дней для моего сознания интереса не представляет — собственно, я уже слухом и осязанием склонен воспринимать второе по колючести утро первым и только потом вставить день без бритья, в соответствии с чем моя борода отрастает, так сказать, в обратном направлении.

Если же теперь при жалких единичных очесах познаний, относящихся к цветистому содержанию времени, мы поменяем угол зрения и станем рассматривать Прошлое лишь как последовательное восстановление истекших явлений, иные из которых если и сохранились в обычном сознании, то менее четко, чем другие, мы можем позволить себе забаву полегче средь света и тени закоулков Прошлого. Образ-воспоминание включает образы-шлейфы звуков, исторгаемых, так сказать, слухом, запомнившим их мгновение назад, когда сознание было занято тем, чтоб не наехать на школьников, — так что, собственно говоря, можно и проиграть то, что возвестили церковные часы, потом, когда уже позади Турцен с его притихшей, но еще отдающей эхом колокольней. Обозревание последних ступенек непосредственного Прошлого занимает меньше физического времени, чем требуется часовому механизму, чтобы выдать надлежащий бой, и именно это таинственное «меньше» составляет особое свойство еще свежего Прошлого, в которое вливается настоящее в момент нашего обращения к звукам-теням. Это «меньше» подчеркивает, что Прошлому часы не нужны и что последовательность его событий выражается не временем, указываемом часами, но чем-то, в большей степени имеющим отношение к подлинному ритму Времени. То же, хотя не так явно, относится к ощущениям, связанным с постижением провалов непамятного, или «нейтрального», времени между отчетливыми событиями. Я, например, запомнил в цветовом выражении (серовато-голубом, лиловом, рыжевато-сером) три мои прощальные — публичные — лекции о трактовке Времени месье Бергсоном в одном крупнейшем университете пару месяцев назад. Я помню гораздо слабее, и даже смог бы полностью вычеркнуть из памяти, шестидневные промежутки между голубым и лиловым, а также между лиловым и серым. Однако я зримо представляю себе обстоятельства, сопутствовавшие каждой лекции. Опаздывая на первую лекцию (на тему о Прошлом), я с неприятным холодком внутри, будто спеша на собственные похороны, озирал ярко освещенные окна Антикамушкинской аудитории и маленькую фигурку студента-японца, который, также опаздывая, на дикой скорости меня обогнал и исчез за дверями здания задолго до того, как я достиг полукруглой лестницы. Во время второй лекции — на сей раз о Настоящем, во время пятисекундной тишины и «внутреннего сосредоточения», запрошенного мной у аудитории, чтобы удачней проиллюстрировать мысль насчет истинного восприятия времени, которую я (вернее, говорящее сокровище в моем жилетном кармане) готовился произнести, зал наполнился левиафановым храпом седобородого слушателя — и, как водится, грохнул. Во время третьей, и последней,

лекции, посвященной Будущему («Квази-Времени»), отлично прослужив несколько минут, мой тайно записанный голос натолкнулся на непонятные проблемы механического свойства, и я предпочел изобразить сердечный приступ, повлекший мой вывоз в ночь и навечно (применительно к чтению лекций), только б не напрягать зрение, не копаться в стопке мятых, слепым карандашом набросанных тезисов, которыми одержимы бедняги-лекторы из знакомых снов (объясняемых д-ром Фройдом из Зигни-Мондьё-Мондьё тем, что наш сновидец в детстве читал любовные письма своих прелюбодеев-родителей). Я привожу здесь эти нелепые, однако характерные подробности, чтобы продемонстрировать, что события, отбираемые для опыта, должны не только бросаться в глаза и выстраиваться в ряд (три лекции за три недели), но и соотноситься друг с другом основным признаком (злоключения лектора). Оба промежутка, по пять дней каждый, представляются мне одинаковыми впадинами, каждая наполнена до краев неподвижной сероватой мглой при слабом намеке на россыпь конфетти (которые могли бы вспыхнуть цветом, позволь я случайному воспоминанию образоваться между означенными пределами). Этот смутный континуум из-за своего нахождения среди отживших явлений не может быть ощупан, испробован, услышан, как Винова Впадина между ритмическими ударами; однако их роднит один удивительный признак: неподвижность восприимчивого Времени. Синестезия, которой я в высшей степени привержен, оказывается великим помощником в подобной задаче — задаче, теперь приближающейся к своему критическому моменту, расцвету Настоящего.

И вот над вершиной Прошлого задувают ветры Настоящего — над вершинами перевалов, восхождение к которым составляет гордость моей жизни: Амбрей, Флуэла, Фурка, явственные в моем сознании! Мгновение меняется в точке восприятия лишь потому, что я сам пребываю в неизбывном состоянии тривиального преображения. Чтоб дать себе время для времяисчисления Времени, я должен подвинуть сознание в направлении, прямо противоположном тому, в котором сам двигаюсь, — как бывает, если проезжаешь мимо длинного ряда тополей и хочется выделить и задержать один из них, и тогда зеленая масса обращается и тянется, да-да, тянется к вам каждым своим листком. Какой-то кретин у меня на хвосте.

Подобную напряженность внимания я нарек в прошлом году «Неспешное Настоящее» в отличие от приданной (Клеем в 1882 г.) этому явлению более общей формулировки «Обманчивое Настоящее». И первый термин со своей осознанной конструкцией, и второй с привычным своим потоком дарят нам секунды три-четыре того, что можно ощутить как сиюминутность. Эта сиюминутность — единственная данная нам реальность; она следует за цветистым небытием того, чего уже нет, предваряя абсолютное небытие будущего. Таким образом, практически в буквальном смысле, можно сказать, что сознательная человеческая жизнь длится всего лишь миг, ибо в каждый момент неспешного внимания к нашему собственному потоку сознания мы не можем сказать, сменится ли он другим или нет. Как ниже поясню, я не верю, что «предчувствие» («ожидание продвижения по службе или боязнь промахнуться в связях», по выражению одного мыслителя-неудачника) играет сколько-нибудь значительную роль в формировании обманчивого настоящего, как не верю и в то, что будущее трансформируется в

третью створку Времени, даже если мы и в самом деле чего-то ожидаем — поворота знакомой дороги или что вот-вот возникнут две живописно крутых горы, на одной замок, на другой церковь, — чем ясней предвидение, тем меньше в нем провидческого. Если этот мерзавец сзади рискнет сейчас пойти на обгон, тут же в лоб столкнется с грузовиком, который выехал из-за поворота, и меня и весь вид от него скроет взрыв осколков стекла.

Итак, невзрачное наше Настоящее — это промежуток Времени, непосредственно и реально нами ощутимый, сохранивший свежий привкус Прошлого, воспринимаемого все же частью сиюминутности. Что касается повседневности, а также привычных удобств для нашего организма (в меру здорового, в меру крепкого, вдыхающего зеленый аромат ветерка, смакующего приятные последствия изысканнейшей пищи в мире — крутого яйца), то тут значения не имеет, что нам, возможно, не суждено возрадоваться истинному Настоящему, которое всего лишь миг нулевой длительности, этакое сочное пятно, вроде того, как жирна и типографски крупна на реальном листе бумаги геометрическая безразмерная точка. По утверждениям психологов и полицейских, средний водитель способен зрительно воспринять временную единицу в десятую долю секунды (был у меня пациент, в прошлом карточный шулер, который мог вычислить любую карту в пять раз быстрей!) Любопытно, какова долгота мгновения, требующегося для осознания крушения и для осуществления надежд. Воздействие запаха может быть совсем внезапным, а у большинства слух и осязание гораздо молниеносней, чем зрение. От тех двух, голосовавших на дороге, изрядно воняло — пуще всего от парня.

Поскольку Настоящее всего лишь воображаемый момент без осознания непосредственного прошлого, необходимо определить, что такое это осознание. Как всегда, вмешается Пространство, если я скажу, что сущность, осознаваемая нами как «Настоящее», есть постоянное возведение Прошлого, плавное и неумолимое возвышение его уровня. Какая ничтожность! Какое волшебство!

Вот они, две каменистые, увенчанные руинами горы, которые я уж семнадцать лет воссоздаю в своей памяти с декалькоманиакально[533]-романтической очевидностью — хоть и, признаюсь, не слишком достоверно; память обожает отсебятину («персональный вклад»); но легкие отклонения теперь скорректированы, и акт художественной коррекции усиливает остроту Настоящего. Острейшее чувство сиюминутности в зрительном смысле воплощается в неспешное обладание долей попавшего в поле зрения Пространства. Это единственный контакт Времени с Пространством, но отголоски его, однако, слышны далеко. Чтобы быть вечным, Настоящее должно осознавать неизбежность заполнения бесконечной протяженности. Тогда и только тогда Настоящее сопоставимо с Безвременным Пространством. Я ранен на дуэли с Подставным Лицом.

Теперь под сердечными приветствиями в гирляндах цветов я въезжаю в Монтру. Сегодня понедельник, 14 июля 1922 года, вторая половина дня, часы на руке показывают тринадцать минут шестого, часы в автомобиле — без восьми двенадцать, городские часы — десять минут пятого. Автора переполняют смешанные чувства приятного возбуждения,

усталости, ожидания и панического страха. Он ходил перевалами несравненных Балкан с двумя австрийскими инструкторами и временно приемной дочерью. Большую часть мая он провел в Далмации, июнь — в Доломитовых Альпах, и там и там получил письма от Ады, извещавшей о кончине мужа (23 апреля, в Аризоне). Он пустился в путь на запад в темно-синем «аргусе», который был ему дороже всех сапфироморфоз, потому что она точно такой заказала, чтоб ждал ее в Женеве. Он дополнил свою коллекцию еще тремя виллами, двумя на Адриатике и одной в Северных Гризонах близ Ардеса. В соседней Альвене в воскресенье, 13 июля, поздно вечером швейцар отеля «Альрон-Палас» вручил ему телеграмму, с пятницы его ожидавшую:

ПРИЕЗЖАЮ МОНТРУ TROIS CYGNES ПОНЕДЕЛЬНИК УЖИНУ

ПРОШУ ЧЕСТНО ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ ЕСЛИ ДАТА И ПРОЧЕЕ

ТРАЛЯЛЯ НЕ УСТРАИВАЮТ.

Он отправил ей новой «молниеграммой», устремленной в женевский аэропорт, послание, заканчивавшееся последними словами ее телеграммы 1905 года; и, презрев угрозу ливня в эту ночь, выехал на машине в Во. Он летел так быстро, с такой неистовостью, что каким-то образом промахнул поворот на Оберхальбштейн у Сильвапланской развилки (150 километров к югу от Альвены); метнулся обратно на север через Кьявенну и Шплюген, в не приведи Господь обстоятельствах выехал к 19-му шоссе (ненужный крюк в 100 километров); по ошибке запилился восточнее Кура; крутанул в недозволенном месте обратно и пролетел за пару часов отрезок пути в 175 километров на запад к Бригу. Уже давно бледное зарево рассвета в зеркальце заднего вида сменилось жарким светом разгоревшегося дня, когда он петлей по новой Пфинвальдской дороге вырулил на юг к Сорсьеру, где семнадцать лет тому назад купил дом (ныне Вилла Йолана). Трое-четверо слуг, оставленных им приглядывать за домом, испарились, воспользовавшись его длительным отсутствием; и теперь с помощью двух воодушевленных хитч-хайкеров — мерзкого малого из Хильдена и его длинноволосой, немытой и вялой Хильды, — оказавшихся без гроша в здешней местности, Вану пришлось вламываться в собственный дом. Если его сообщники ожидали обнаружить внутри какое добро или выпивку, то они просчитались. Вышвырнув их за дверь, Ван тщетно попытался уснуть на голой постели и под конец поплелся в звенящий птицами сад, где, оказалось, его знакомые совокупляются в пустом бассейне; пришлось их снова шугануть. Было около полудня. Он проработал пару часов над своей «Тканью времени», зачатой в Доломитовых Альпах в «Ламмермуре» (не самом лучшем из последних его отелей). Занятия были вызваны еще и прагматичной причиной отвлечься от мыслей о тяготах счастья, ожидавшего его на расстоянии 150 километров к западу; но, оказавшись сильнее, здоровое чувство голода заставило Вана прервать свою писанину и выехать на Монтру, выглядывая по сторонам придорожный трактир.

Отель «Три лебедя», где он заказал себе три номера — 508-й, 509-й и 510-й — претерпел с 1905 года определенные изменения. Сначала его не признав, осанистый, с носом-сливой Люсьен отметил затем, что месье,

право, «с тела не спал» — хотя на самом деле Ван почти вернулся к своему весу семнадцатилетней давности, спустив несколько килограммов в лазанье по Балканским горам с безумной малюткой Акразией (ныне закинутой в престижный пансион близ Флоренции). Нет, мадам Винн Ландэр пока не звонила. Да, холл перестроили. Теперь после своего тестя Луиджи Фантини отелем заправляет полушвейцарец-полунемец Луи Вихт. Из вестибюля сквозь двери в салон было видно, что огромное памятное полотно — три крутобедрых Леды обмениваются озерными впечатлениями — заменено шедевром неопримитивизма, изображающим три желтых яйца и пару рукавиц водопроводчика на фоне кафеля, по-видимому, ванной комнаты. Едва Ван в сопровождении портье в черном костюме ступил в «подъемник», тот на давление его ступни отозвался гулким лязгом и далее, придя в движение, принялся лихорадочно исторгать сбивчивый репортаж о каком-то соревновании — кажется, заезде на трехколесных велосипедах. Ван невольно испытал грусть при мысли, что этот слепой, функциональный ящик (даже меньший размером, чем используемый им некогда помойный лифт черного хода) ныне сменил роскошное творение прежних лет — восходящее кверху царство зеркал, — популярный управитель которого (седоусый, восемь иностранных языков) упразднен до кнопки.

В холле 509-го номера Ван узнал картину «Bruslot à la sonde» рядом с брюхатым белым стенным шкафом (в закругленных стеклянных дверцах которого неизменно застревал уголок ковра, ныне отсутствующего). В самой гостиной лишь дамское бюро да вид с балкона были те же. Все прочее — матовый, цвета пшеничной соломки бордюр, стеклянные, обитые шелком кресла — несло на себе печать Хох-модерна.

Ван принял душ, переоделся, допил бренди из фляжки в дорожном несессере и позвонил в женевский аэропорт, где узнал, что последний самолет из Америки только что приземлился. Вышел пройтись — и обнаружил, что достопамятная «mûrier»[534], средь газона на возвышении при начале мощеной улочки простершая свои громадные ветви над скромным клозетом, покрылась теперь щедрым лилово-голубым цветом. Он выпил пива в кафе напротив вокзала, после чего машинально зашел в цветочный магазин по соседству. Совсем память потерял, как можно забыть, что в прошлый раз она призналась в странной своей антофобии[535] (видимо, следствие того, тридцатилетней давности, бесчинства à trois[536]). Роз она никогда не любила. Ван смотрел, смотрел и уже не мог устоять перед ответным взором миниатюрных «карлос» из Бельгии, длинных «розовый восторг», алых «суперзвезд». Еще там были циннии, и хризантемы, и афеландры в горшках, и в стенном аквариуме две изящные вуалехвостки. Не желая обижать вежливую пожилую цветочницу, Ван купил семнадцать лишенных запаха роз «баккара», попросил адресную книгу, раскрыл на «Ад-Ау, Монтру», просиял при виде «Аддор, Йоланд, м-ль секрет., улица Наслаждений, 6» и с чисто американской непоколебимостью направил букет по этому адресу.

Народ уже торопился домой с работы. Мадемуазель Аддор в платье с влажными пятнами пота поднималась вверх по лестнице. В сурдинно звучащем Прошлом на улицах было значительно тише. Старая Моррисова колонна с бывшей актрисой на верхушке, а ныне королевой Португалии, уже не возвышалась больше на углу Шмэн де Мустру (старое искаженное

название городка). Что как полк начнет муштру вдоль и поперек Мустру?

Горничная задернула шторы. Ван распахнул их на полную ширь, этим жестом как бы разводя шлюзы мук нынешнего дня. Достаточно выпуклый чугунный балкон еще ловил косые лучи заходящего солнца. Вану вспомнился его последний взгляд на озеро в тот проклятый октябрьский день 1905 года после расставания с Адой. Черные, как сажа, утки падали вниз и взлетали с вздувшейся от дождя поверхности озера в неистовом восторге от прибавившейся воды; прямо к дорожке вдоль берега накатывали, взвиваясь и спадая гроздьями пены, серые волны; то и дело бурная стихия, высоко вздымаясь, грозила выплеснуться через парапет. Но сейчас в этот сияющий летний вечер не вспенивались волны, не видно было птиц на воде; лишь пара чаек пролетела над озером, маша белыми крыльями над черным своим отражением. Широкое прекрасное озеро покоилось в сонной безмятежности, окаймляемое зеленой волнистостью, подернутое синей рябью, все в ясных пятнах прозрачной глади меж зыбью; и в самом нижнем левом углу этой картины решил блеснуть образчиком совершенно особого света, словно слепящие лучи закатного солнца искрились сквозь листву прибрежного ломбардского тополя, одновременно разжижая и воспламеняя ее.

Вдалеке какой-то утаскиваемый катерком идиот на водных лыжах принялся вспенивать недвижимый холст; к счастью, не успев испортить всласть, он кувыркнулся, и в этот момент в гостиной зазвонил телефон.

И тут оказалось, что он никогда — ни разу, по крайней мере в зрелом возрасте, — не слышал ее голоса по телефону; и потому аппарат хранил саму суть, яркую вибрацию ее голосовых связок, «подскок» в гортани, смех, льнущий к контуру фразы, как будто в страхе, что упустит что-то из вылетающих в девчоночьем ликовании слов. То был тембр их прошлого, как будто само прошлое прорвалось с этим звонком, явив чудо связи («Ардис, один-восемь-восемь-шесть — comment? Non, non, pas huitante-huit — huitante-six»[537]). Золотистый, юный, этот тембр журчал всеми мелодичными переливами, уже ему известными, — вернее, вспоминаемыми тотчас же, по мере возникания: entrain[538], напором квазиэротической прелести, бесшабашностью и живостью — и, что было особенно восхитительно, сама-то она и понятия не имела, не подозревала, что именно в ее голосе сводит его с ума.

У нее возникли проблемы с багажом. И еще не закончились. Две ее горничные, которые, как предполагалось, за день до нее прилетят сюда с вещами на «Лапуте» (грузовом аэроплане), застряли неизвестно где. У нее при себе только маленький саквояж. Сейчас швейцар сделает для нее кое-какие звонки. Может, Ван спустится? Она невероятно голодная (incredibly hungry).

Голос в трубке, воскресивший прошлое и связавший его с настоящим, и эти погружающиеся в сумерки синевато-серые горы за гладью озера, и

эти брызги заходящего солнца, пляшущие в кроне тополя, стали средоточием его наиглубочайшего восприятия осязаемости времени, сияющим «сейчас», что составляет единственную реальность ткани Времени. Вслед за триумфом взятия вершины приходит пора трудного спуска.

В последнем письме Ада предупреждала, что «сильно изменилась и контуром, и цветом». Теперь она носила корсет, подчеркивавший незнакомую величавость ее фигуры, облаченной в черное бархатное платье свободного струящегося покроя, одновременно эксцентричного и монашеского, какие были в фаворе у их матери. Волосы, ныне цвета сияющей бронзы, были подстрижены «а-ля паж». Шея и руки были, как прежде, нежные и бледные, только проступило на них что-то незнакомое, волокнистое, обнажились вены. Она неумеренно пользовалась косметикой, чтобы скрыть морщины в наружных углах пухлых, ярко-алых губ и подведенных черным глаз; матовые зрачки, теперь менее загадочные и, судя по нервным подрагиваниям накрашенных ресниц, более близорукие. Он заметил, когда она улыбается, сверху на малом коренном зубе поблескивает золотая коронка; у него была точно такая же, только с другой стороны. Металлический блеск ее челки расстроил его меньше, чем это бархатное платье, широкое внизу, с квадратными плечами, много длинней середины икры, присборенное на бедрах, чтоб оптически сделать тоньше талию, а также скрыть округлости ныне раздавшегося таза. От прежней ее угловатой грации не осталось ничего, а эти новые дородность и обилие бархата создавали раздражающее ощущение неприступного величия и отпора. Он любил ее слишком нежно, слишком необратимо, чтоб намеренно терзаться опасениями плотского толка; хотя его чувства, конечно же, оставались немы — причем немы до такой степени, что он не испытывал ни малейшего желания (когда оба подняли бокалы с искристым шампанским, пародируя брачный ритуал чомг-хохлаток) возбудить свою мужскую гордость в полустрастном объятии после ужина. Если от него этого ждут — совсем худо; если не ждут — хуже некуда. При более ранних встречах подобная скованность, отдающая тупой болью после острых надрезов скальпелем Судьбы, обычно скоро тонула в чувственном желании, предоставляя жизни мало-помалу вызволять их из пучины. Теперь оба были предоставлены самим себе. Казенность и банальность их застольной беседы, вернее, его мрачного монолога, ему казалась совершенно унизительной. Он пространно объяснял — борясь с ее внимающим молчанием, застревая в лужах пауз, ненавидя себя, — какой долгий и сложный путь проделал; что отвратительно спал; что работает над исследованием природы Времени и что это чревато схваткой с вездесущими щупальцами собственного мозга. Она взглянула на часы.

— То, о чем я говорю, — сухо заметил он, — к обычным часам отношения не имеет!

Официант принес кофе. Она улыбнулась, и Ван почувствовал, что ее улыбка — реакция на разговор за соседним столиком, где недавно подсевший тучный невеселый англичанин завел с метрдотелем дискуссию вокруг меню.

— Начнем, — сказал он, — с бананаса!

— Не бананаса, сэр, ананаса! Есть ананасовый сок.

— Ах вот как! Тогда принесите бульон!

Юный Ван ответил улыбкой на улыбку юной Ады. Как ни странно, этот маленький диалог за соседним столиком внес элемент желанного расслабления.

— Когда я был маленький, — сказал Ван, — и в первый — нет, во второй — раз оказался в Швейцарии, я думал, что дорожный знак «Verglas»[539] означает какой-то волшебный город, который всегда таится за поворотом, у подножия каждой заснеженной горы, вечно невидимый, но ждущий своего часа. Я получил твою каблограмму в Ангадине, там места поистине волшебные, например Альраун{174}, или Альруна, — в переводе: крошечный арабский демон в зеркале германского чародея. Кстати, у нас с тобой прежние апартаменты наверху с дополнительной спальней — номер пятьсот восемь.

— Ах Боже мой! Боюсь, следует от бедняжки 508-го отказаться! Если бы я осталась на ночь, нам бы и 510-го вполне хватило, но вынуждена тебя огорчить. Остаться я не могу. Должна вернуться в Женеву немедленно после ужина вызволять свой багаж и своих горничных; их местные власти, по всей видимости, упекли в Приют Бездомных Девиц, поскольку те не смогли уплатить абсолютно средневековую, новоиспеченную droits de douane[540] — прямо, après tout[541], не Швейцария, а штат Вашингтон какой-то! Ну же, не хмурься! — (похлопывает его по загорелой, веснушчатой руке, на которой их обоюдное родимое пятнышко затерялось заблудшей овечкой средь возрастной ряби, «on peut les suivre en reconnaissant»[542] лишь искривленный большой палец Маскодагамы да восхитительные миндалевидные ногти). — Обещаю связаться с тобой через день-два, а потом отправимся в круиз по Греции с Бейнардами — у них яхта и три очаровательные дочурки, которые пока на пляже прикрываются одним загаром.

— Слушаю и думаю: что мне противней, — отвечал Ван, — яхты или Бейнарды? Но может, я смогу тебе в Женеве быть полезен?

Оказывается, нет. Бейнард женился-таки на своей Кордуле после шумного бракоразводного процесса — пришлось шотландским ветеринарам отпиливать рога ее бывшему муженьку (засим на шутках в его адрес покончим).

Адин «аргус» пока не доставили. Мрачный черный блеск взятого напрокат «яка» и допотопные гамаши его шофера напомнили Вану ее отъезд 1905 года.

Он проводил ее — и вознесся, подобно картезианскому стеклянному человечку, подобно призрачному Времени, вставшему по стойке «смирно», обратно на свой одинокий пятый этаж. Если бы эти проклятые семнадцать лет они прожили вместе, то не испытали бы такого потрясения и унижения; старели бы, постепенно с этим свыкаясь, незаметно, как само Время.

Его Прерванный Труд, листки, завязшие в скомканной пижаме, подоспели на помощь, как и тогда, в Сорсьере.

Проглотив таблетку фаводорма и в ожидании, пока она освободит его от самого себя, на что требовалось минут сорок, Ван присел за дамское бюро, углубившись в свое «lucubratiuncula»[543].

Говорит ли что о сущности Времени исследователю природы Времени возмутительная, оплакиваемая поэтами неприглядность старости? Почти что ничего. Лишь фантазию романиста привлечет крохотная овальная пудреница, некогда содержавшая «Пух Нинон» (пудра, с райской птичкой на крышечке), позабытая в туго ходящем ящике выгнутого триумфальной аркой бюро, — ах, если б то был триумф над временем! Сине-зелено-оранжевая вещица была такая знакомая, словно хотела заставить его поверить, что она пролежала здесь семнадцать лет, дожидаясь, чтоб теперь медленно, как во сне, ее с улыбкой поворачивал в руке размечтавшийся счастливец: жалкий обман ложного возмещения, совпадение-подкидыш — и роковая ошибка; ведь именно Люсетт, ныне русалка в глубинах Атлантики (а не Ада, ныне чужая, где-то близ Морга в черном лимузине) пользовалась такой пудрой. Отбросим коробочку подальше, чтоб не сбивала с толку дрогнувшего философа; меня интересует только чистая ткань Времени, без каких бы то ни было узоров в виде событий.

В физиологическом смысле ощущение Времени есть чувство непрерывного становления, и если б это «становление» имело голос, то им, возможно, и даже естественно, была бы устойчивая вибрация; но, Лога ради, не станем путать Время с Шумом-В-Ушах, а раковинный гул длительности с пульсацией крови. С другой стороны, в философском смысле Время — это всего лишь память в процессе формирования. В жизни каждого человека, от колыбели до смертного одра, идет непрерывное и постепенное оформление и укрепление этого станового хребта сознания, то есть Времени сильных начал. «Быть» — значит знать, что кто-то «бывал». «Небытие» означает единственно «новый» вид (подложного) времени — будущее. Для меня его нет. Жизнь, любовь, библиотеки будущего не имеют.

Время никак нельзя представить знакомым трехстворчатым символом: уже не существующее Прошлое, неподвижная точка Настоящего, и «еще не», которое, возможно, не наступит. Нет и нет. Есть только две створки. Прошлое (вечно существующее в моем сознании) и Настоящее (которому мой разум придает длительность и тем самым реальность). Если добавить третий фрагмент сбывшихся ожиданий — предвиденного, предустановленного, способности предвосхищать, точно предсказывать, — то мы по-прежнему разумом обратимся к Настоящему.

Если Прошлое воспринимается как хранилище Времени и если Настоящее представляет собой процесс такого восприятия, тогда Будущее не является предметом Времени, ничего общего с Временем не имеет, а также и с материальной туманной кисеей ткани Времени. Будущее не более чем шарлатан при дворе Хроноса. Мыслители, радетели общественных наук, рассматривают Настоящее как указующий в сторону перст еще не образовавшегося «будущего» — но это топорная утопия, политика прогресса. Технократы-софисты утверждают, что, применяя

законы оптики, используя новые телескопы, позволяющие увидеть нашу привычную печать сквозь космические дали глазами наших тоскующих представителей на иной планете, мы действительно сможем увидать собственное прошлое (Гутзон{175}, открывающий для себя топонимического предка и тому подобное), включая документальные свидетельства нашего неведения (как и нашей нынешней осведомленности) — что там хранится для нас; и выходит, что Будущее существовало вчера, а следовательно, существует и сегодня. Может, физически, это и стройно, но логически это чудовищно, и Черепахе Прошлого ни за что не обогнать Ахиллеса будущего, как бы мы ни препарировали расстояния на затертых меловым облаком досках.

В лучшем случае (в худшем мы пускаемся на примитивнейший обман), если мы теоретически допускаем будущее, мы расширяем обманчивое настоящее до неимоверных размеров, вынуждая его охватывать любое количество времени со всем имуществом знаемого, предчувствуемого и предвосхищаемого. В лучшем случае «будущее» — представление о гипотетическом настоящем, основанное на нашем опыте последовательности, на нашей вере в логику и привычку. На самом деле, разумеется, наши надежды не более способны сделать «будущее» существующим, чем наши сетования — изменить Прошлое. У последнего по крайней мере есть вкус, цвет, запах нашего индивидуального бытия. В каждый данный момент оно являет собой бесконечность множащихся возможностей. Любая заданная схема могла бы зачеркнуть само представление о времени (тут таблетка дохнула первым своим облачком). Неизвестное, еще не изведанное и не ожидаемое, все грандиозные «иксы» взаимопересечения — представляют собой неотъемлемые части человеческой жизни. Заданная схема, походя охолаживая восход, горячит лучи…

Начало сказываться действие таблетки. Он, совершив переоблачение в пижаму — серию неловких тыканий, полностью не довершенных, начатых как будто час назад, рухнул в постель. Ему снилось, что он читает лекцию в аудитории трансатлантического лайнера и что какой-то бродяга, видом напоминавший хитч-хайкера из Хильдена, нагло спрашивает, как, дескать, лектор объяснит, если во сне мы чувствуем, что не проснемся, не означает ли это непременно, что мы умерли, и если да, то будущее…

На рассвете с резким стоном он вскочил, весь дрожа: если сейчас ничего не предпринять, то он потеряет ее навсегда! И решил немедля выехать в Женеву, в «Манхэттен».

Его обрадовало возобновление гладких форм после недельного загаживания раструба унитаза до самого верха потоком черной жижи, что никакой водой не удавалось смыть. Воздействие оливкового масла в сочетании с итальянской конструкцией слива. Он побрился, принял ванну, быстро оделся. Не рано ли заказывать завтрак? Не позвонить ли ей в отель перед выездом? Или нанять аэроплан? Или, может, проще…

Створки балконной двери в его гостиной были распахнуты настежь. Полосы тумана все еще прочерчивали синеву гор в глубине за озером, но кое-где вершины уже золотились под безоблачной бирюзой небес. Четыре громадных грузовика прогрохотали один за другим. Он подошел к

перилам балкона с мыслью: удовлетворил бы когда знакомый каприз шмякнуться вниз — смог бы? смог бы? Право же, как знать. Ниже этажом, совсем близко, стояла Ада, любуясь видом утра.

Он смотрел на ее бронзовые стриженые волосы, ее белую шею и руки, на бледные цветы ее тонкого пеньюара, на обнаженные ноги, серебряные пантофли на высоком каблучке. Задумчиво, юно, плотоядно она почесывала бок у верхушки правой ягодицы: ладорские розовые письмена на пергаменте в москитовых сумерках. Взгляни-ка наверх! Всеми своими цветами она потянулась к нему, сияя, величаво-царственным жестом повела рукой, предлагая ему эти горы, мглу и озеро с тремя лебедями.

Метнувшись с балкона, он спустился короткой винтовой лестницей на второй этаж. В низу живота засвербило сомнение: что если у нее не 410-й номер, как он предполагал, а 412-й или даже 414-й? Что будет, если она не сообразит, не выйдет к нему навстречу? Она сообразила, она вышла.

Когда «чуть позже» Ван, опустившись на колени и откашлявшись, стал целовать ее милые, прохладные руки, благодарно, благодарно, совершенно позабыв о смерти, обратив в бегство злую судьбу под нисходящей от нее умиротворенной негой, Ада спросила:

— Ты в самом деле подумал, что я уехала?

— Обманщица (deceiver), обманщица! — повторял и повторял Ван, сгорая и тая в блаженном пресыщении.

— Я велела ему, чтоб повернул назад, — сказал она, — примерно возле Моржей («morses» или «walruses», русский каламбур вокруг названия «Морже» — может, русалки знак?). А ты спал, как ты мог спать!

— Я работал, — оправдывался Ван, — покончил с первым вариантом.

Она призналась, что, когда вернулась посреди ночи, взяла с собой в номер из гостиничного книжного шкафа (у ночного портье, любителя чтения, оказался ключ) том Британской Энциклопедии, вот он, со статьей «Пространство-время»: «Пространство» (утверждается здесь, весьма двусмысленно) «означает достояние», — ты — мое достояние! — «в силу которого», — ты — моя сила! — «твердые тела могут занимать разнообразные позиции». Мило? Мило!

— Не издевайся, родная Ада, над нашей философской прозой! — примирительно сказал Ван. — Для меня теперь важно одно — то, что я придал Времени новую жизнь, отсек Сиамца-Пространство и ложное будущее. Я хотел сочинить повествование в виде трактата о Ткани Времени, исследование его туманной субстанции, проиллюстрировав множащимися метафорами, что исподволь выстраивало бы логику любовного сюжета, от прошлого к настоящему, расцветая живым рассказом, исподволь же переворачивая аналогии, чтобы мягко кануть вновь в абстракцию.

— Я вот думаю, — сказала Ада, — я думаю: а стоит ли все это раскрывать? Нам известно конкретное время, нам известно абстрактное

время. Но мы никогда не познаем Время. Наши чувства просто не предназначены для такого восприятия. Это — как…

Часть пятая

1

Я, Ван Вин, приветствую тебя, жизнь, Аду Вин, д-ра Лагосса, Степана Нуткина, Вайолет Нокс, Роналда Оранджера. Сегодня мне исполнилось девяносто семь, и из своего величавого, как Эверест, кресла я слышу шарканье лопаты и скрипучие шаги в искрящемся снегом саду и то, как глухой старик, мой камердинер из русских, не сообразив, что самому не слыхать, вытягивает за кольца ящики комода в гардеробной, впихивает обратно. Эта Часть Пятая вовсе не эпилог: это самое настоящее вступление к моей на девяносто семь процентов правдивой, на три правдоподобной «Аде, или Эротиаде: Семейной хронике».

Из множества домов, имевшихся у них в Европе и в Тропиках, недавно построенное в Эксе, в Швейцарских Альпах, шато с колонным фасадом, в башенках с бойницами, стало самым любимым, в особенности в середине зимы, когда здешний знаменитый воздух, le crystal d'Ex[544], искрист «под стать высочайшим образцам человеческой мысли — чистой математике & расшифровке древних рун» (из неопубл. рекламы).

Не реже двух раз в году наша счастливая чета пускалась в довольно длительные путешествия. Больше Ада не выпестовывала и не коллекционировала бабочек, но в пору здоровой своей и активной старости обожала снимать их на пленку в их естественной среде, в глубинах ее сада или на краю света, порхающих порознь и парочками, садящихся на цветы и нечистоты, скользящих по стеклу или стене, схлестывающихся и совокупляющихся. Ван сопровождал ее в этих съемочных турне по Бразилии, Конго, Новой Гвинее, хотя втайне предпочитал добрый стакан горячительного долгим выжиданиям под деревом, пока тот или иной раритет не соблазнится присесть, чтобы запечатлиться на цветной пленке. Чтоб описать приключения Ады в Стране Адесс, потребуется отдельная книга. С фильмами — как и распластанными героинями (на удостоверяющих их личность стендах) — можно ознакомиться по договоренности в музее «Люсинда», Манхэттен, Парк-Авеню, 5.

2

Он прожил в соответствии с девизом предков: «Всегда здоров и крепок Вин: все потому, что Винов сын». В пятьдесят лет прошлое виделось

ему только памятным из каталки, сужающимся убыванием больничного коридора (с парой вприпрыжку убегавших аккуратных ножек в белом). Однако теперь он стал замечать, как его физическое благополучие стало потихоньку давать ветвистые трещины, словно неизбежный распад уж подтолкнул к нему сквозь недвижимое серое время первых своих посланцев. Заложенный нос вызывал удушающие сны, и при малейшем охлаждении напоминала о себе тупым копьем межреберная невралгия. Чем шире был прикроватный столик, тем плотней заставлялся он такими совершенно необходимыми на ночь вещами, как капли в нос, эвкалиптовые пастилки, восковые ушные вкладки, желудочные таблетки, снотворное, минеральная вода, тюбик цинковой мази и дополнительная крышечка в случае, если отвернутая ускользнет под кровать, а также огромный носовой платок — промокать пот справа на шее между подбородком и ключицей, поскольку те никак не могли привыкнуть к тому, что он растолстел и упорно желал спать только на одном боку, чтоб не слышать сердца: однажды ночью в 1922 году он допустил оплошность, сделав подсчет максимального числа оставшихся ему ударов (отпущенных на очередные пятьдесят лет), и теперь казалась нестерпимой нелепая лихорадочность обратного отсчета, наращиванием скорости биений приближавшая к смерти. Во время своих одиноких и явно избыточных странствований он сделался крайне чувствителен к ночным звукам в дорогих отелях (др-др-фония грузовика исчислялась по его шкале в три психобалла; плебейские перекрикивания молодых работяг в субботнюю ночь средь пустынной улицы — в тридцать; доносящийся по батареям храп снизу — в три сотни); однако ушные заглушки, незаменимые в момент полного отчаяния, обладали прискорбным свойством (в особенности после солидного возлияния) усиливать стук в висках, причудливый свист в неизведанных носовых недрах, а также ревматический скрип шейных позвонков. Отголоскам этого скрипа, по сосудам передающегося в мозг до включения системы засыпания, он приписывал жутковатый грохот, возбуждавшийся где-то в голове в момент, когда чувства начинали изменять сознанию. Противокислотных мятных таблеток и аналогичных им средств порой оказывалось недостаточно, чтобы унять старое доброе жжение в области сердца, неизменно случавшееся у него после злоупотребления жирными подливками; хотя при этом он с юношеским оптимизмом верил в спасительный эффект растворенной в воде столовой ложки соды, которая, несомненно, приструнит три-четыре отрыжки, объемных, как облачка слов из комиксов его детства.

До того, как познакомился с тактичным, тонким и образованным похабником доктором Лагоссом, с тех пор проживавшим и путешествующим с ним и Адой, Ван врачей не признавал. Несмотря на собственное медицинское прошлое, он никак не мог избавиться от трусливого, мнительного, простонародью простительного чувства, будто доктор, накачивая тонометр или вслушиваясь в хрипы пациента, представляет уже (но хранит в тайне) всю фатальность диагноза, не исключая летального исхода. Не раз он мрачно вспоминал покойника зятька, когда ловил себя на сокрытии от Ады, что мочевой пузырь постоянно ему досаждает или что снова у него закружилась голова, когда обрезал ногти на ногах (эту обязанность он выполнял сам, не вынося, чтоб к его голой ноге прикасались).

Словно изо всех сил спеша полней воспользоваться своей плотью,

которую вскоре приберут, как тарелку, слизав последние сладкие крошки, он наслаждался теперь и такими ничтожными милостями, как выдавливание червеобразного угря или извлечение длинным ногтем мизинца зудящей драгоценности из левого уха (из правого не так интересно) или позволяя себе то, что Бутейан именовал le plaisir anglais[545], — по горло погрузившись в ванну и замерев, тайно и в удовольствие помочиться.

С другой стороны, он стал гораздо чувствительней к неприятным моментам, чем прежде. Взвивался, будто на дыбе, при блеянье саксофона или когда молодой человекообразный придурок запускал с адским ревом на полную мощь мотоцикл. Возмутительное поведение тупых, мешающих жить вещей — не тех, что надо, карманов, рвущихся шнурков, незанятых вешалок, падавших, качнув плечиком и звякая, во тьму гардероба — исторгало у него замысловатые ругательства его русских предков.

Он остановился в старении примерно в шестьдесят пять, но к этим шестидесяти пяти его мускулы и кости изменились сильней, чем у его ровесников, никогда не знавших такого разнообразия атлетических увлечений, какие испробовал он в пору своего расцвета. Теперь сквош и теннис уступили место пинг-понгу; но настал день, и любимая ракетка, сохраняя тепло его руки, была оставлена в спортивном зале клуба, а в клуб дорога была позабыта. На шестом десятке занятия борьбой и боксирование прошлых лет сменились упражнениями с боксерской грушей. Сюрпризы с равновесием упразднили для него лыжный спорт как полную нелепость. В шестьдесят он все еще успешно фехтовал рапирой, но уже через несколько минут пот слепил глаза; так что вскоре фехтование постигла судьба настольного тенниса. Он так и не смог преодолеть своего снобистского предубеждения против гольфа; а теперь и поздно было начинать. В семьдесят он попробовал было бегать трусцой перед завтраком по уединенной тропинке, однако бряцание и сотрясание телес совершенно беспощадно напомнило, что теперь он весит на тридцать килограммов больше, чем в юности. В девяносто он по-прежнему выплясывал на руках — в повторяющемся сне.

Обычно одной-двух таблеток снотворного ему хватало, чтоб попридержать чудовище-бессонницу на три-четыре часа блаженного забвения, но временами, особенно после решения какой-нибудь умственной задачи, мучительная, беспокойная ночь под утро выливалась в мигрень. Никакое средство не избавляло от этих страданий. Он распластывался в постели, свертывался в комок, распрямлялся снова, то выключал, то включал ночник (журчащий новый суррогат — настоящий ламмер к 1930 году был вновь упразднен), и физическая безысходность наполняла его не склонное к бренности существо. Бодро и браво бился его пульс; за ночь пищеварение срабатывало отменно; он по — прежнему не отказывал себе ежедневно в бутылке бургундского — и все же проклятое, не унимавшееся беспокойство превращало его в изгоя в собственном доме; Ада крепко спала или спокойно почитывала через пару дверей от него; всевозможные домочадцы в своих более отдаленных пределах уж давным-давно примкнули к вражескому лагерю здешних сновидцев, казалось, окутавших чернотой своих снов окрестные горы; лишь он один был лишен забвения, которое презирал так люто, которое так неустанно призывал.

3

В годы последней их разлуки его распутство оставалось столь же неукротимым, как и раньше; хотя порой число любовных соитий падало до одного в четыре дня, а порой он в потрясении осознавал, что целая неделя проскочила в полном воздержании. Чреды изысканнейших профессионалок могли сменяться у него стайками случайных курортных прелестниц-любительниц, могли и прерваться на месяц причудливым романом с какой-нибудь фривольного склада светской красавицей (одну такую, Люси Менфристен, рыжую девственницу-англичанку, соблазненную 4 июня 1911 года в саду с каменной оградой ее нормандского поместья и затем увезенную на побережье Адриатики в Фиальту, он вспоминал с особой сладострастной дрожью); но все эти ложные романы лишь утомляли его; без сожаления опечатанная palazzina[546] вскоре сбывалась с рук, вся в волдырях от солнца девица отправлялась назад — ему же впредь для возрождения мужественности требовалось что-то крайне тошнотворное и грязное.

Начав в 1922 году новую жизнь с Адой, Ван твердо решил сохранять ей верность. Не считая нескольких осмотрительных и болезненно опустошающих уступок тому, что доктор Лена Венская так метко окрестила «онанистическим вуайеризмом», он все-таки сумел остаться верным своему решению. Это испытание в моральном смысле было безупречно, в физическом — абсурдно. Как зачастую педиатры бывают обречены на невыносимую семейную жизнь, так и наш психолог являл собой случай раздвоенной индивидуальности. Любовь к Аде для него была условием существования, непрекращающимся гулом счастья, это было совсем не то, с чем он сталкивался как профессионал, изучая поведение странных и душевнобольных. Без колебаний он ринулся бы в кипящую смолу ради спасения Ады, как без колебаний устремлялся спасать свою честь при виде брошенной перчатки. Их нынешняя любовь перекликалась голосами с их первым летом 1884 года. Ада безотказно помогала ему испытать тем более ценимое, чем реже возникавшее, обоюдное до предела наслаждение их общим закатом. Он видел в ней отражение всего, что его изощренный и неистовый дух искал в жизни. Преисполненный нежности, внезапно он припадал к ее ногам в театральном, но совершенно искреннем порыве, способным озадачить каждого, кто внезапно появлялся в дверях с пылесосом. И в тот же самый день иные в нем отделы и подотделы переполнялись тоской и сожалением и планами насилия и бунта. Наиболее опасный момент возник, когда они переехали на другую виллу с новой челядью и новыми соседями, когда все чувства его с холодным, детальным домысливанием были направлены к юной цыганке, ворующей персики, или к нагловатой прачкиной дочке.

Напрасно он твердил себе, что эти низменные страсти по своей внутренней незначительности не более чем зуд анального отверстия, которое так и хочется поскорей почесать. При этом он понимал, что, решившись удовлетворить соответствующее этому зуду желание к юной шлюшке, он рискует поломать свою жизнь с Адой. Насколько глубоко и незаслуженно это может уязвить ее, он знал по тому дню то ли в 1927,

то ли в 1928 году, когда поймал ее взгляд, полный гордого отчаяния, брошенный в пространство, перед тем, как ей пойти к машине, чтоб отправиться в поездку, куда в последний момент он отказался с ней поехать. Он отказался — даже выдал гримасу и подагрическое ковыляние, — ибо как-то вдруг сообразил, да и она это поняла, — что красавица туземка, покуривавшая на заднем крылечке, не замедлит поднести Хозяину свои тропические плоды, едва хозяйка Хозяина укатит на кинофестиваль в Синбад. Шофер уже распахнул дверцу, как вдруг с утробным воплем Ван нагнал Аду и они укатили вместе — столько слез, столько слов, — смеясь над его дурью.

— Надо же, — сказала Ада, — какие черные и гнилые зубы у них тут, этих блядушек!

(«Урсус», Люсетт в сверкающем зеленом. «Уймитесь, волнения страсти!» — Флорины браслеты и бюст, рубец Времени.)

Он обнаружил, что можно и из постоянной борьбы с искушением извлечь пикантное удовольствие, если при этом постоянно мечтать, отдаваясь фантазии, что может произойти как-то, и когда-то, и где-то. И еще он обнаружил, что какой бы огонь ни бушевал в этих вожделениях, ни дня он не мог прожить без Ады; что необходимое ему для греха уединение по-настоящему потребует не двух-, трехсекундного уныривания за вечнозеленый куст, а комфортабельной ночи в хорошо изолированной крепости; и что, наконец, искушения эти, реальные или воображаемые перед погружением в сон, случаются все реже и реже. К семидесяти пяти годам ему вполне хватало для полного удовлетворения случаемых однажды в две недели интимностей, по преимуществу Blitzpartien[547], со старательной Адой. Секретарши, нанимаемые им, год от года становились все неказистей (кульминацией явилась особа с волосами цвета какао, с лошадиной челюстью, писавшая Аде любовные записочки); и к тому времени, как Вайолет Нокс взорвала эту неприглядную череду, Ван Вин уж был в свои восемьдесят семь полный импотент.

4

Вайолет Нокс [ныне миссис Роналд Оранджер. — Ред.] родилась в 1940 году, живет у нас с 1957 года. Она была (и осталась теперь — десять лет спустя) восхитительной блондинкой английского происхождения, с кукольными глазками, бархатной матовой кожей и округлым, затянутым в твид задиком […]; но этот эскиз, увы, уже не в силах возбудить мою фантазию. Ей поручено печатать на машинке эти мемуары — составившие, бесспорно, отраду последних десяти лет моего существования. Прекрасная дочь, еще более прекрасная сестра, как родная, так и сводная, она десять лет содержала потомство своей матери от двух браков, и к тому ж еще и откладывала [кое-что]. Я [щедро] оплачивал ее труды раз в месяц, прекрасно осознавая необходимость подпитывать непринужденность хранения молчания у озадаченной, но исполнительной девушки. Ада звала ее «Фиалочка» и позволяла себе роскошь восхищаться точеной, как камея, шейкой, розовым носиком и белокурым «конским хвостом» «крошки Вайолет». Порой во время ужина, медленно потягивая ликер, Ада оглядывала мою машинистку (большую любительницу

«куу-аан-троу») мечтательным взором, и вдруг — чмок! — в пылающую щечку. Ситуация могла б оказаться куда причудливей, случись это лет на двадцать раньше.

Сам не знаю, почему посвящаю столько внимания сединам и обвислостям почтенного Вина. Распутники неисправимы. Сгорают, исторгнув пару прощальных зеленых искр, и нет их. Гораздо больше внимания самоисследователь с его верной спутницей должны были бы уделить невероятному интеллектуальному подъему, творческому взрыву, происшедшему в мозгу чудаковатого, колючего, крайне неприятного, зажившегося хрыча (крики «Неправда, неправда!» в лекторских, сестринских, редакторских скобках).

С невиданной доселе неистовостью он клеймил всякое показное искусство, от грубой пошлости помойной скульптуры до закурсивленных претенциозным романистом фрагментов, долженствующих передать шквал мыслей его протагониста.{176} Он стал гораздо более нетерпим к «Зиговой» (Зигни-М.Д.-М.Д.) школе психиатрии. Эпохальное откровение ее основателя («В студенческие годы по причине провала на экзамене по ботанике я пустился в срывание цветов девственности»), предпосланное им в качестве эпиграфа к одному из последних своих научных докладов (1959) под названием «Смехотворность групповой терапии в лечении сексуальных несоответствий», представляющему собой весьма сокрушительную и убедительную в своем роде критику (Союз консультантов и катарсистов по вопросам брака хотел было подать на него в суд, но потом предпочел отмолчаться).

Вайолет стучит в дверь библиотеки, впускает маленького, толстенького, с галстуком-бабочкой мистера Оранджера, который замирает у порога, щелкнув каблуками, и (едва грузный отшельник оборачивается, неуклюже поведя рукавом парчового халата) кидается чуть ли не рысью вперед, не столько чтобы мастерским броском остановить водопад листов, которые направил в свободное падение локоть великого человека, как чтобы с пылкостью выразить ему свое восхищение.

Ада, забавлявшаяся (для Оранджеровых изданий en regard[548]) переводами Грибоедова — на французский и на английский, Бодлера — на английский и на русский и Джона Шейда — на русский{177} и на французский, частенько, по-спиритически проникновенно, читала Вану опубликованные версии, сделанные другими старателями в этой области полубессознательности. В особенности стихотворные переводы на английский способствовали сильнейшему растягиванию в ухмылке Вановой физиономии, отчего она, при отсутствии вставных челюстей, приобретала сходство с греческой маской комедии. Он сам не знал, кто ему отвратительней: посредственность, чьи благонамеренные устремления к точности гасились отсутствием художественного чутья, а также уморительными ошибками в интерпретации текста, или поэт-профессионал, приукрашавший собственными измышлениями почившего и беззащитного автора (тут — приставив бакенбарды, там — интимные места), — метод, отлично маскирующий незнание пересказчиком Исходного языка, сдабривающий ошибки ненадлежащих знаний причудами и цветистостью подделки.

Когда Ада, мистер Оранджер (прирожденный нейтральный возбудитель) и Ван как-то днем 1957 года обсуждали эти вопросы (только что вышла в свет книга Вана и Ады «Информация и форма»), внезапно нашему старому полемисту взбрело в голову, что все его печатные труды — даже крайне невразумительные и специализированные «Суицид и здравомыслие» (1912), «Compitalia»[549] (1921) и «Если психиатру не спится» (1932), коими список не исчерпывается, — были не разбором гносеологических задач, поставленных перед собой ученым, а жизнерадостными или воинствующими упражнениями в области литературного стиля. И он услышал в ответ: отчего бы тогда не дать простор мысли, отчего не выбрать более широкое поле для состязания между Вдохновением и Замыслом; и так, слово за слово, решилось: он станет писать мемуары, а опубликуют их посмертно.

Писал он очень медленно. Первый вариант с последующей диктовкой мисс Нокс занял у него шесть лет, потом он просмотрел машинописный текст, полностью переписал его от руки (1963–1965) и вновь продиктовал рукопись неутомимой Вайолет, хорошенькими пальчиками отбившей окончательный вариант в 1967 году. Г, н, о… не «а», а «о», дорогая!

5

Сетовавшая на неяркость славы своего брата, Ада была удовлетворена и обрадована успехом «Ткани Времени» (1924). Это произведение, говорила она, постоянно каким-то странным и неизъяснимым образом напоминает ей забавы «солнце-и-тень», в которые она игрывала ребенком на укромных дорожках Ардис-парка. И утверждала, что и она внесла кое-какую лепту в преображения прелестных гусениц, соткавших ткань «Ванова Времени» (как теперь на одном дыхании, подобно «Бергсоновой протяженности» или «Уайтхедовой яркой кайме», произносился этот термин). Однако значительно более ранний и более слабый труд, жалкая маленькая книжица «Письма с Терры», которой сохранилось всего пять-шесть экземпляров — два на Вилле Армина, а остальные на полках университетских библиотек, — была все же милей ее сердцу своими нелитературными ассоциациями с их короткой жизнью в Манхэттене. В шестьдесят Ван раздраженно и возмущенно отверг ее робкое предложение — что-де неплохо бы переиздать эту книжку, а заодно и про отражения в заливе Сидра и очень смешной анти-Зиговский памфлет насчет Времени в Снах. В семьдесят один год Ван пожалел, что тогда погорячился, едва блестящий французский режиссер Виктор Витри снял, проигнорировав авторство, фильм «Письма с Терры» как основанный на сюжете «Вольтэманда» пятидесятилетней давности.

Витри отнес посещение Терезой Антитерры к 1940 году, но по террийскому календарю, что соответствует 1890-му в нашем летосчислении. Подобное ухищрение сделало возможным приятное погружение в моды и обычаи нашего прошлого (помнишь лошадей в шляпах — да-да, в шляпах! — когда на Манхэттен обрушивались песчаные бури?), внушая чувство — рьяно пестуемое физической фантастикой, — будто наша капсулавтка путешествует назад относительно времени. Философы приставали с въедливыми вопросами, но их не слушали алчущие быть обманутыми кинозрители.

В противоположность безоблачному развитию истории Демонии в двадцатом веке, когда в одном полушарии заправляла англо-американская коалиция, а другим таинственным образом из-за Золотой Завесы правила Татария, в фильме показывались войны, чередующиеся с революциями, расшатывающие головоломное сплетение террийских автономий. Во впечатляющем историческом показе Терры, сработанном Витри — поистине величайшим во все времена гением кинематографа, создавшим картину такого масштаба, с использованием такого количества статистов (по одним слухам, более миллиона, по другим — полмиллиона при таком же количестве зеркал), — падали цари и возносились диктаторы, а вечно неприкаянные республики ютились в промежуточном положении. Идея фильма была спорной, воплощение — безупречно. Достаточно вспомнить, как тучи крохотных солдат припускают врассыпную через изрытую траншеями необъятность, как вздымается взрывом земля, как тут и там все исходит беззвучным французским pouf-pouf[550]!

В 1905 году мощно поднявшаяся из глубин титанша Норвегия{178} ударом длинного спинного плавника отсекла от себя приросшую неуклюжую титаншу Швецию, в то время как подобным же разделительным актом парламент Франции с вставными изъявлениями vive émotion[551] проголосовал за отделение Церкви от Государства. Затем в 1911 году норвежские войска, предводительствуемые Амундсеном, достигают Южного полюса, а в это время итальянские вламываются в Турцию.{179} В 1914 году Германия оккупирует Бельгию, а американцы порывают отношения с Панамой. В 1918 году они вместе с французами наносят поражение Германии, в то время как та занята разгромом России (которая, в свою очередь, до этого разгромила своих татар). В Норвегии отличилась Сигрид Митчел, в Америке — Маргарет Ундсет{180}, а во Франции — Сидони Колетт{181}. В 1926 году Абд-эль-Крим{182} капитулировал после очередной кинематографической войны, а Золотая Орда вновь покорила Русь. В 1933 году Атаульф Гиндлер (известный также под именем Битлер, основа — глагол «бить») пришел в Германии к власти, и разгорелся конфликт в еще более крупном масштабе, чем во время войны 1914–1918 гг; тут у Витри кончились старые документальные ленты, и Тереза, в исполнении его жены, покинула Терру в космической капсуле, проведя несколько репортажей с Олимпийских игр в Берлине (норвежцы завоевали большую часть медалей, зато американцы выиграли соревнования по фехтованию, продемонстрировав выдающийся результат, а также победили немцев в финальном матче по футболу со счетом три — один).

Ван с Адой смотрели фильм девять раз и на семи различных языках и даже приобрели копию для домашнего пользования. Сочтя исторические события в нем до нелепости притянутыми за уши, они подумывали даже возбудить против Витри судебный процесс — не за то, что украл идею «П.С.Т.», а за то, что исказил политическую жизнь на Терре, с такой тщательностью и мастерством воспроизведенную Ваном по экстрасенсорным источникам и маниакальным снам. Но прошло уже пятьдесят лет, и Ваново творение вышло из-под защиты авторского права; по сути говоря, Ван даже не мог доказать, что «Вольтэманд» — это он и есть. И все же газетчики дорылись до того, кто автор, и тогда широким жестом он дал согласие на переиздание.

Три обстоятельства способствовали беспрецедентному успеху фильма. Первым, конечно же, было то, что официальная церковь, не одобрявшая популярности Терры у всяких падких до сенсаций сектантов, попыталась фильм запретить. Второй приманкой явился маленький эпизод, сохраненный хитрым Витри: в ретроспективных кадрах из революционных событий прежней Франции один злополучный статист, изображавший подручного при палаче, сам случайно угодил под нож гильотины, подтаскивая к ней упиравшегося короля, которого играл комик Стеллер. И наконец, третья, пожалуй, наиболее человечески оправданная из трех, причина заключалась в том, что исполнительница главной роли, очаровательная норвежка Гедда Витри, возбудив зрителей юбками в обтяжку и эротичными тряпками периода своего реального существования, возникла из капсулы на Антитерре абсолютно голая, хотя, разумеется, в сильно уменьшенном виде; зернышком умопомрачительной женственности, похотливым эльфом заплясала в «чарующем оке микроскопа», мелькая в некоторых положениях, чтоб я сдох, сияющими точечками припорошенного золотом пушка на лобке!

Все сувенирные магазины от Агонии в Патагонии до Морщин-Мошон в Ла Бра д'Оре заполонили куколки «П.С.Т.», брелочки «П.С.Т.» из коралла и слоновой кости. Возникали клубы «П.С.Т.». Девчушки «П.С.Т.» выюливали с мини-меню из придорожных закусочных, оборудованных в виде космического корабля. Из необозримой корреспонденции, завалившей Ванов письменный стол за пару лет всемирной славы, можно было заключить, что тысячи в большей или меньшей степени свихнувшихся граждан верят (столь могущественно было воздействие на зрителей фильма Витри — Вина) в тайную, правительством сокрытую тождественность Терры и Антитерры. Очевидность Демонии скатилась до уровня малозначимой иллюзии. Собственно, мы это уже проходили. Ведь на самом деле существовали политики, именуемые в забытых комиксах Стариной Шляпвельтом и Дядюшкой Джо{183}. Тропические страны — это не только природные заповедники, но голод, смерть, невежество, шаманство, а также шпионы из далекого Атомска. Мир наш все-таки был реальностью середины двадцатого столетия. Терра оправилась, перенеся и дыбу, и кол, и громил, и бестий, которых Германия порождает всякий раз, когда осуществляет свою мечту о величии. Русских крестьян и поэтов не переселили столетия назад в Эстотиландию и на Бесплодные Земли — в этот самый момент они вымирают в рабских лагерях Татарии. Даже правителем Франции был вовсе не Чарли Чуз, обходительный племянник лорда Голя, а сварливый французский генерал.{184}

6

Нирвана, Невада, Ваниада. Кстати, не уместно ли заметить, милая Ада, что лишь в самой последней беседе с маменькой-манекеном вскоре после моего преждевременного — прости, преждеупомянутого — сна с «можете, сэр!» она назвала меня mon petite пот[552] — Ваня, Ванюша — чего

прежде никогда не делала, и это прозвучало так странно, так слад… (голос потонул в батарейном позвякивании).

— Мама-манекен! — (смеется) — И у ангелов есть метла, чтоб выметать начисто из наших душ скверные образы. Моя черная нянька была в переднике из швейцарских кружев и с белыми рюшечками.

Внезапно ледышка прогремела сверху вниз по водосточной трубе: разбитое сталактитово сердце.

В их совместной памяти запечатлелось и воспроизводится их ранний интерес к чужеродной мысли о смерти. Есть один такой диалог, его неплохо было бы проиграть вновь на фоне подвижных зеленых декораций нашего Ардисского прошлого. Разговор об «обоюдном обязательстве» в вечности. Начнем чуть пораньше.

— Я знаю, что в Нирване — Ван. Я буду с ним во глубине моего ада, моей преисподней, — сказала Ада.

— Верно, верно!

(Тут голоса птиц и молчаливое кивание ветвей и еще то, что ты прежде звал «сгустки золота».)

— Как любовники и как ближайшие родственники, — выпалила она, — мы имеем двойную вероятность вместе очутиться в вечности, в террадости. Поспевай — вместе в рай!

— Славно, славно! — говорил Ван.

Примерно так. Одна заметная трудность. Странный, сверкающий мираж, знаменующий собой смерть, не должен возникать слишком скоро в этой хронике и все же должен сквозить уже с первых любовных сцен. Трудно, но преодолимо (я столько всего умею, танцую танго, могу выплясывать на необыкновенных своих руках). Кстати, кто умрет первым?

Ада. Ван. Ада. Ваниада. Никто. Каждый надеется уйти первым, чтобы тем самым уступить более долгую жизнь другому, и каждый хотел бы уйти последним, чтобы освободить другого от страданий или беспокойств, связанных с вдовством. Одно из решений для тебя — женись на Вайолет.

— Благодарю! J'ai tâtè de deux tribades dans ma vie, ça suffit[553]. Как говорит дражайший Эмиль, «terme qu'on évite d'employer»[554]. Ах как он прав!

— Ну, если не на Вайолет, тогда на гогеновской туземке. Или Йоланде Кикшоу.

Зачем? Хороший вопрос. Как бы то ни было, но Вайолет не следует давать перепечатывать этот фрагмент. Боюсь, мы раним массу народу (ажур американского ритма). Полно, искусство не ранит! Ой, еще как ранит!

Вообще-то вопрос о первенстве в смерти теперь вряд ли актуален. Потому что герой и героиня так тесно сблизятся ко времени, когда начнется тот кошмар, так тесно органически сойдутся, что перекроют друг друга, составят одно целое, одну боль, и, даже если смерть Ваниады будет описана в эпилоге, мы, писатели и читатели, не сможем точно определить (по близорукости, близорукости!), кто же остался жить: Дава или Вада, Анда или Ванда.

У меня была школьная подруга по имени Ванда. А я знал девочку по имени Адора — крохотное создание из последнего моего любоцвета. Отчего эта малая глава представляется мне в этой книге чистейшим sanglot[555]? Что все-таки самое страшное в умирании?

Ведь ясно же, у него три грани (отдаленно соответствующие общепринятой трехстворчатости Времени). Во-первых, щемящая тоска отказа впредь от всех воспоминаний — это очевидно, но человек отважный должен снова и снова пройти через эту очевидность, не прекращая педантично накапливать снова и снова все богатство сознания, хоть участь этого богатства предрешена! Затем есть и вторая грань — жестокая физическая боль — по понятной причине, не станем на ней останавливаться. И наконец — есть еще неопознаваемое квазибудущее, пустое и черное, вечносущее несуществующее, высший эсхатологический парадокс нашего замкнутого мозга!

— Это так, — сказала Ада (одиннадцатилетняя девочка, мастерица встряхивать волосами), — это так; но возьмем паралитика, который начисто забывает все свое прошлое постепенно, от раза к разу, который умирает во сне как паинька и который всю жизнь верил, что душа бессмертна… разве не желателен такой исход, разве не крайне удобно такое сочетание?

— Тоже мне, удобство! — возразил Ван (четырнадцатилетний мальчик, умиравший от иных желаний). — Стоит утратить память, как ты утрачиваешь бессмертие. И если приземлишься на Terra Caelestis[556] при своей подушке и ночном горшке, то место тебе будет отведено не рядом с Шекспиром или хотя бы с Лонгфелло, а с какими-нибудь кретинами-гитаристами.

Она упорствовала: если будущего нет, тогда каждый в полном праве его себе создать, и, значит, для каждого, пока он живет, существует его собственное будущее. Восемьдесят лет пролетели так скоро — сменой картинок в волшебном фонаре. Большую часть утреннего времени они отшлифовывали свой перевод фрагмента (строки 569–572) знаменитой поэмы Джона Шейда:

…Советы мы даем,

Как быть вдовцу: он потерял двух жен;

Он их встречает — любящих, любимых,

Ревнующих его друг к дружке…{185}

(…We give advice

To widower. He has been married twice:

He meets his wives; both loved, both loving, both

Jealous of one another…)

Ван углядел здесь одну загвоздку — разумеется, каждый волен измышлять себе какую угодно будущность: один на всех рай, обещанный восточными пророками и поэтами, или сочетание индивидуальных пожеланий; но на пути у фантазии — и вряд ли с этим что-либо можно поделать — встает здравая логика: на этот свой грядущий пир друзей своих — да уж чего там, и врагов — не пригласишь. Перемещение всех наших памятных связей в загробный мир неизбежно превращает его в заурядное продолжение нашего достославного бренного существования. Лишь китайцу или умственно отсталому ребенку дано пригрезиться, что в том мире, грядущем отдельным выпуском, его ждет встреча — под всевозможные приветственные склонения ниц и трясение косичками — с тем самым комаром, который был прихлопнут восемьдесят лет назад на чьей-то голой ноге, с тех пор ампутированной и теперь, вслед за припорхавшим комаром, ковыляющей назад, трюх, трюх, трюх, вот она я, приставляйте обратно.

Аду это не рассмешило; она повторяла про себя поэтические строки, давшиеся им с таким трудом. Недоумки-зигнисты наверняка возликуют и запричитают, что-де эти три «both» отсутствуют в русском переводе вовсе не потому, нет же, нет, что втискивание трех строчек тяжелого амфибрахия в пентаметр могло быть, в виду удерживания груза, чревато добавкой дополнительной строки.

— Ах Ван, Ван, как мы мало любили ее! Вот на ком стоило бы тебе жениться, на той, сидящей — носочки вверх — в черной балетной пачке на каменной балюстраде, и тогда все было бы как надо — я бы гостила у вас в Ардис-Холле, а вместо этакого счастья, что было так близко, вместо всего этого мы затравили ее до смерти!

Не пора ли принять морфин? Нет, нет пока. Время-и-боль — такого нету в «Ткани». А жаль, ведь элемент чистого времени проникает в боль, проникает в плотную, монолитную, густоту длительности моей-боли-невыносимой; и нет ничего в ней кисеисто-серого, плотная, как черная глина, не могу больше, ох, кликни Лагосса!

Ван обнаружил его за чтением в безмятежности сада. Доктор прошел за Адой в дом. Вины все мучительное лето тешили себя убежденностью (внушая ее всем окружающим), что это нервное, не более того.

Не более? Колосс, с напряженным от усилий лицом, закручивает и перекручивает что-то в механизме агонии. Эта крайне унизительная,

физическая боль делает нас в высшей степени безразличными к таким моральным терзаниям, как судьба Люсетт, и, право, забавно, если это подходящее слово, отмечать, что даже в такие злосчастные моменты продолжают заботить проблемы стиля. Доктор-швейцарец, которому рассказано все (и который, как оказалось, учился в медицинском институте с племянником д-ра Лапинэ), выказал глубочайший интерес к почти завершенной, но отредактированной лишь частично книге и шутливо заявил, что не персону или обоих вместе, а le bouquin[557] хотел бы он лицезреть guéri de tous ces accrocs[558], пока еще не поздно. Поздно. Непревзойденный идеал, которого все ждали от Вайолет, — идеально чистая, отпечатанная на особой бумаге «аттик» и особым курсивом (своеобразное увековечивание Ванова почерка) рукопись со световой копией в пурпурном сафьяне, поднесенной Вану к его девяностосемилетию, тотчас погорела в сущем адском пламени правки красной тушью и синим карандашом. И почему б не предположить: если когда-либо наша измученная временем, прикованная к постели чета вознамерится умереть, то, можно не сомневаться, со смертью вольется в свою законченную книгу, в Эдем или в Ад, в прозу самой книги или в поэзию ее рекламной оболочки.

Их недавно воздвигнутый замок в Эксе скован зимним хрусталем. В перечень его основных трудов в новейшем «Кто есть кто?» вошло по какой-то непонятной оплошности название работы, которую он не писал, но мысленно давно болел ею: «Бессознательность и подсознание». Теперь переболел, можно было б написать — но главную боль составляло завершение «Ады». «Quel livre, mon Dieu, mon Dieu!»[559] — восклицал доктор [профессор. — Ред.] Лагосс, прикидывая на руке светокопию произведения, весомость которого скучные, бесцветные папы и мамы будущих малышек, плутая в темных дебрях детской книжечки, памятной по Ардис-Холлу, не сумеют оправдать первой же загадочной картинкой: двое в одной постели.

Ардис-Холл — сады и услады Ардиса — вот лейтмотив всей «Ады», восхитительной семейной хроники, основное действие которой происходит в лучезарной, как мечта, Америке — ибо разве не схожи наши воспоминания о детстве с каравеллами из Винланда{186} и праздно кружащими над ними белыми птицами снов? Главный герой, отпрыск одного из наших наиболее знаменитых и состоятельных семейств, — доктор Ван Вин, сын барона «Демона» Вина, личности известной в Манхэттене и Рино. Конец удивительной эпохи совпадал с не менее удивительным детством Вана. Ни одно произведение мировой классики, разве что воспоминания графа Толстого, не оставляет ощущения такой радости и чистоты, такой райской невинности, как посвященные Ардису главы этой книги. В сказочно-прекрасном поместье своего дяди Дэниела Вина, собирателя живописи, развивается чередой восхитительных эпизодов пылкий детский роман Вана с хорошенькой Адой, воистину необычайной gamine[560], дочерью Марины, жены Дэниела, подвижницы сцены. Уже по первым строкам очевидно, что эта связь не просто опасное cousinage, но имеет отношение к тому, что законом запрещено.

При всей многочисленности сюжетных и психологических сложностей, повествование развивается довольно стремительно. Едва мы успеваем остановиться, перевести дух и спокойно оглядеть новую обстановку, куда завлек нас в очередной раз ковер-самолет автора, как в

неотразимого повесу Вана также неистово влюбляется новая прелестница, Люсетт Вин, младшая дочка Марины. Ее трагическая судьба становится одной из вершин этого замечательного романа.

Далее рассказ о Ване заполняется ярко и до отказа его любовными отношениями с Адой. Они прерываются браком Ады с аризонским скотоводом, чей легендарный предок был основателем нашего государства. После смерти Адиного мужа наши любовники соединяются. В старости они вместе путешествуют, проводят время на разных виллах, одна прекраснее другой, которые Ван насадил по всему Западному полушарию.

Одним из основных украшений этой хроники является ненавязчивая живописность детали: решетка галереи; расписной потолок; прелестная игрушка, забытая в незабудках у ручья; бабочки и орхидеи бабочками на периферии любовной линии; туманная даль, открывающаяся с мраморной лестницы; любопытная лань средь родового парка и многое и многое другое.

Примечания

Вивиан Даркблоом

ПРИМЕЧАНИЯ

1

«Все счастливые семьи» и т. д.: высмеяны дурные переводы русской классики на английский. В начальной фразе романа Толстого перевернут смысл, а отчество Анны Аркадьевны обрело нелепое мужское окончание, при том что несуразным женским завершается фамилия. «Mount Tabor» и «Pontius» — намек на «преобразования» (термин как будто принадлежит г-ну Дж. Стайнеру) и видоизменения, которым подвергаются великие произведения стараниями переводчиков невежественных, но с претензией.{187} (прим. В.Д.)

2

Съеверныя Территорiи — здесь и далее используется старая русская орфография. (прим. В.Д.)

3

Тофана — намек на «aqua tofana» (см. любой приличный словарь).{188} (прим. В.Д.)

4

Щедрейше орогаченный — при ветвистых, с многочисленными и разнообразными отростками, рогах. (прим. В.Д.)

5

Китеж-озеро — отсылка к славному, сияющему на дне озера граду-Китежу из русской сказки. (прим. В.Д.)

6

М-р Элиот — мы еще встретим этого господина на с. 431 и с. 472 в обществе автора «Бесплодоземья» и «Виршей в агонии». (прим. В.Д.)

7

Контр-Фогговое направление — Филеас Фогг: герой Жюля Верна, пустившийся в кругосветное путешествие в западном направлении. (прим. В.Д.)

8

Малютки Покойной Ночи — их имена заимствованы, с некоторыми изменениями, из детского французского комикса. (прим. В.Д.)

9

Д-р Лапинэ — по некой неясной, но чем-то притягательной причине большинству медиков этой книги выпала в имени общность с кроличьей породой. Французское «lapin» в имени «Лапинэ» подхватывается русским Кролик, именем Адиного любимого лепидоптериста (с. 27 et passim[561]), а русское «заяц» перекликается с «Зайц» (немец-гинеколог на с. 224); имеются отголоски латинского «cuniculus» в фамиилии «Никулин» (внук великого родентиолога Куникулинова, с. 409), а греческое «lagos» — в имени «Лагосс» (доктора, пользующего Вана в престарелом возрасте). Заметим также итальянца Конильетто, специалиста в области рака крови, с. 359. (прим. В.Д.)

10

Джейн Остин — отсылка к мгновенной содержательной информации, передаваемой посредством диалога в романе «Мэнсфилд-Парк».{189} (прим. В.Д.)

11

«Нага-нога» — детишки оба голенькие. (прим. В.Д.)

12

Цветочница из Стабии — аллюзия на знаменитую фреску (под названием «Весна») из Стабии{190} в Национальном музее Неаполя: девушка разбрасывает цветы. (прим. В.Д.)

13

Малина… лент — аллюзия на смехотворные нелепости перевода Лоуэллом стихотворений Мандельштама («Нью-Йорк ревью», 23 декабря, 1965 г.). {191} (прим. В.Д.)

14

Белоконск — русский двойник города Уайтхорс, северо-запад Канады. (прим. В.Д.)

15

Аардварк — по-видимому, университетский городок в Новой Англии.{192} (прим. В.Д.)

16

Гамалиил — гораздо более удачливый государственный деятель, чем наш У.Г. Гардинг.{193} (прим. В.Д.)

17

Лолита, что в Техасе — этот город реально существует, вернее, существовал, так как, кажется, уже переименован после выхода в свет печально известного романа.{194} (прим. В.Д.)

18

Фарабог — по-видимому, бог электричества.{195} (прим. В.Д.)

19

Braques — аллюзия на некоего bric-à-brac[562] художника.{196} (прим. В.Д.)

20

Юконец — житель Юкона. (прим. В.Д.)

21

Ламмер — янтарь (фр. l'ambre), намек на электричество. (прим. В.Д.)

22

Мальчик чудный, люблю — парафраз стихотворения Хаусмена. (прим. В.Д.)

23

Баллатетта — фрагмент с искажением одного пассажа в «маленькой балладе» итальянского поэта Гвидо Кавальканти (1255–1300). Смысл приводимых строк: «Ты в страхе, и слабый голосок, с плачем исходящий из сердца моего, полного печали, исторгается с моей душой и этой песенкой, говоря о помутнении разума». (прим. В.Д.)

24

Врачебница холодного дома — horsepittlc (hospital). Заимствовано откуда-то из диккенсовского «Холодного дома». Острота бедняги Джо, не бедняги Джойса. (прим. В.Д.)

25

Princesse Lointaine — Далекая Принцесса, название одной французской пьесы.{197} (прим. В.Д.)

26

Леди Амхерст — ошибочная сопряженность в детском сознании с ученой дамой, чьим именем назван широкоизвестный вид фазана.{198} (прим. В.Д.)

27

Слегка улыбнувшись — излюбленное выражение Толстого при описании холодного превосходства, если не самодовольства, в манере общения того или иного героя. (прим. В.Д.)

28

Милого испанского стишка — по сути, даже двух стихотворений Хорхе

Гильена «Descanso en Jardin» и «El otoño: isla». (прим. В.Д.)

29

«Les Amours du Docteur Mertvago» — обыгрывается «Живаго».{199} (прим. В.Д.)

30

«Les malheurs de Swann» — скрещение «Les malheurs de Sophie» мадам де Сегюр (урожд. графини Ростопчиной) и «Une amour de Swann» Пруста. {200} (прим. В.Д.)

31

«Monologue intérieur» — метод так называемого «потока сознания», используемый Львом Толстым (например, в описании последних впечатлений Анны, проезжающей в карете по московским улицам). (прим. В.Д.)

32

Мистер Фаули — см. Уоллес Фаули, «Рембо» (1946). (прим. В.Д.)

33

Мыслящий тростник — un roseau pensant, метафорический образ человека у Паскаля. (прим. В.Д.)

34

Horsecart — старая анаграмма[563]. С нее ведет начало высмеивание фрейдистского толкования снов-шарад («символики орхальной орхестры») на с. 84. (прим. В.Д.)

35

Камаргский — La Camargue (Камарг) — заповедная болотистая местность на юге Франции в комбинации с русским словом комар и французским moustique. (прим. В.Д.)

36

Осберх — еще одна добродушная анаграмма, переиначивающая фамилию писателя, с которым весьма комично сравнивается автор «Лолиты». К слову, название этой книги произносится ни на английский, ни на русский манер (pace[564] к неназвавшемуся умнику в последнем номере «Таймс Литерари Сапплмент»). (прим. В.Д.)

37

«La Rivière de Diamants» — На Антитерре не существовал Мопассан{201} с его «La Parure» («Ожерельем») (с. 97). (прим. В.Д.)

38

Фисзжок — фиолетово-индигово-сине-зелено-желто-оранжево-красность. (прим. В.Д.)

39

Страпонтин — переднее откидное сиденье. (прим. В.Д.)

40

Pointe assassine — точка, смысловой акцент (прозаического или стихотворного произведения), убивающий его художественные достоинства. (прим. В.Д.)

41

«Атала» — повесть Шатобриана.{202} (прим. В.Д.)

42

Pascaltrezza — в этом каламбуре, соединяющем Паскаля с caltrezza (остроумие — ит.) и trezza (витые стебли) французское отрицание pas лишает «ruseau» своего «pansant» из знаменитой фразы Паскаля «человек — есть мыслящий (pansant) тростник (ruseau)». (прим. В.Д.)

43

Катя — инженю из романа «Отцы и дети» Тургенева. (прим. В.Д.)

44

Ада, обожавшая скрещивать орхидеи — здесь она скрещивает двух французских поэтов: Бодлера и Шатобриана. (прим. В.Д.)

45

Плотоягодно — воспоминание о «плодово-ягодной» выпечке из школьной столовки. (прим. В.Д.)

46

Мадемуазель Стопчина — представляет Мадам де Сегюр, урожд. Ростопчину, автора книги «Les malheurs de Sophie» (по ранжиру замещаемой на Антитерре произведением «Les malheurs de Swann»).{203} (прим. В.Д.)

47

С Нилом — знаменитая телеграмма, посланная исследователем Африки. {204} (прим. В.Д.)

48

Лоуден — имя-гибрид, скрестившее двух современных бардов.{205} (прим. В.Д.)

49

Флоуберг — подражание в этой псевдоцитате стилю Флобера.{206} (прим. В.Д.)

50

Cher, trop chère René — слова его сестры из «Рене» Шатобриана. (прим. В.Д.)

51

«Хирон» — врач средь кентавров: отсылка к лучшему роману Апдайка. {207} (прим. В.Д.)

52

Лондонский еженедельник — отсылка к колонке Алана Брайена в «Нью Стейтсмен». (прим. В.Д.)

53

Хайнрих Мюллер — автор романа «Поксус» и проч.{208} (прим. В.Д.)

54

Ma soeur, te souvient-il encore — первая строчка третьего шестистишия «Romance a Hélène» Шатобриана («Combien j'ai douce souvenance»), сочиненного на овернский мотив, услышанный им во время путешествия к Монт-Дор в 1805 году и позднее включенный в его новеллу «Le Dernier Abencerage». Заключительное (пятое) шестистишие начинается словами: «Oh! qui me rendra mon Hélène. Et ma montagne et la grand chêne» — один из лейтмотивов настоящего романа. (прим. В.Д.)

55

Lucile — имя реальной сестры Шатобриана. (прим. В.Д.)

56

Рокетт — параллель с «La Petite Rocque» Мопассана.{209} (прим. В.Д.)

57

Миронтон — припев народной песенки.{210} (прим. В.Д.)

58

Lettrocalamity — обыгрывается ит. elletrocalamita — электромагнит. (прим. В.Д.)

59

Багров-внук — аллюзия на «Детские годы Багрова внука» второстепенного писателя Сергея Аксакова (1791—1859). (прим. В.Д.)

60

Спотыкаясь о дыни… заносчиво тянущегося вверх фенхеля… — отсылка к стихотворениям «The Garden» Марвела и «Mémoire» Рембо. (прим. В.Д.)

61

Amour-propre, sale amour — каламбур, заимствованный у Толстого из «Воскресения».{211} (прим. В.Д.)

62

Тулуз — Тулуз-Лотрек.{212} (прим. В.Д.)

63

«Всадник без головы» — название романа Майн Рида здесь приписано Пушкину, автору «Медного всадника».{213} (прим. В.Д.)

64

Толстой, etc. — герой Толстого Хаджи Мурат (кавказский военачальник) скрещен здесь с генералом Мюратом, свояком Наполеона, а также с французским революционным предводителем Маратом, умерщвленным в ванне Шарлоттой Корде. (прим. В.Д.)

65

Лют — от «Лютеция», древнего названия Парижа. (прим. В.Д.)

66

Заря трепетала… трудяга, старый Чуз — отголоски Бодлера.{214} (прим. В.Д.)

67

Голубянка — маленькая голубая бабочка. (прим. В.Д.)

68

Сородич — комар. (прим. В.Д.)

69

«Граньал Маза» — духи, названные в честь «грани алмаза» горы Казбек из лермонтовского «Демона». (прим. В.Д.)

70

Айла Вью — фраза, созвучная с английским «I love you» («Я вас люблю»). (прим. В.Д.)

71

«Mais, ma pauvre amie…», etc. — «Но, бедняжка моя, оно было фальшивым».{215} (прим. В.Д.)

72

Дядя Ван — отсылка к известной строке из чеховской пьесы «Дядя Ваня»: «Мы увидим все небо в алмазах». (прим. В.Д.)

73

Четферк — так Рак произносит «Четверг». (прим. В.Д.)

74

Эро — так, проглатывая первую букву, полицейский из уэллсовского «Человека-невидимки» именует вероломного приятеля главного героя. (прим. В.Д.)

75

«Микрогалактики» — известная на Терре под названием «Les Enfants du Capitaine Grant» книга Жюля Верна. (прим. В.Д.)

76

Пат Риций — обыгрывается «патриций». Почему бы не вспомнить, как Подгорец («underhill») применил этот эпитет к одному известному критику, будущему эксперту в области русского, на каком изъясняются в Минске и разных прочих местах. Минск, как и шахматы, также фигурирует в главе шестой книги «Память, говори» (с. 133 нью-йоркского издания 1966 г.).{216} (прим. В.Д.)

77

Гершчижевский — фамилия одного слависта мешается здесь с фамилией Чижевский, принадлежащей другому слависту.{217} (прим. В.Д.)

78

Cendrillon — Золушка. (прим. В.Д.)

79

«Пивная тура» — каламбур вокруг названия «Tourbière». (прим. В.Д.)

80

Иванильич — пуфик, играющий знаменательную роль в «Смерти Ивана Ильича» Толстого, где проседает с глубоким вздохом под приятелем вдовы. (прим. В.Д.)

81

Тузенбах — Ван приводит последние слова злосчастного барона из чеховских «Трех сестер», который не знает, что сказать, но чувствует, что должен сказать что-нибудь Ирине перед тем, как отправиться на роковую для себя дуэль.{218} (прим. В.Д.)

82

Грозит указательным пальцем левой руки — дочь этого гена не избежала (см. с. 221, где также извещается о названии крема). (прим. В.Д.)

83

Левка — уничижительное или простонародное уменьшительное от Лёв (Leo). (прим. В.Д.)

84

Filius aquae — «Сын воды» (лат.). Неудачный каламбур вокруг aquae — золотая середина, ни то ни сё. (прим. В.Д.)

85

Seins durs — неправильно произнесенное sans dire: «само собой». (прим. В.Д.)

86

Стишок на случай сохранился; его имею; вот вам он… —

Стихи на случай сохранились;

Я их имею; вот они:

(«Евгений Онегин». Глава шестая, XXI: 1–2).

(прим. В.Д.)

87

Фанни Прайс — героиня романа Джейн Остин «Мэнсфилд-Парк».{219} (прим. В.Д.)

88

Персты — вероятно, пушкинский виноград{220}:

Продолговатый и блестящий,

Как персты девы молодой

(girl, jeune fille).

(прим. В.Д.)

89

По расчету по моему — отсылка к Фамусову (из грибоедовского «Горе от ума»), прикидывающему срок беременности одной знакомой дамы.{221} (прим. В.Д.)

90

Лектэрические — анаграммированное «электрические». (прим. В.Д.)

91

Tetrastes bonasia windriverensis — латинское наименование несуществующего Рябчика Петерсона с Уинд-Ривер-Рейндж, штат Вайоминг. (прим. В.Д.)

92

«Достойный и добрый человек» — слова, которыми британский политик Уинстон Черчилль восторженно одарил Сталина. (прим. В.Д.)

93

Мандмело — смесь мандарина с помело (грейпфрутом). (прим. В.Д.)

94

Тригорин, etc. — отсылка к одной из сцен в «Чайке». (прим. В.Д.)

95

Уссэ — Houssaie: Голливуд (Hollywood) по-французски. (прим. В.Д.)

96

C'est ma dernière nuit au château — Это моя последняя ночь в поместье. (прим. В.Д.)

97

Тэппер (Tapper), «Уайлд Фиолет» и затем «Анютингласс» (с. 294) — отражают «голубую» сущность противника Вана и обоих его секундантов. {222} (прим. В.Д.)

98

Рафин, эсквайр — вышучивается «Rafinesque», название, полученное фиалкой. (прим. В.Д.)

99

До-Ре-Ла — мелодическое переиначивание «Ладоры». (прим. В.Д.)

100

Дядя — «мой дядя самых честных правил» («Евгений Онегин», часть первая, 1, 1). (прим. В.Д.)

101

Последний абзац первой части своим особым сжатым речитативом (произносится как бы со стороны) перекликается с известным окончанием главы у Толстого, но вместо Китти Лёвиной здесь Ван.{223} (прим. В.Д.)

102

«Bâteau Ivre» — «Пьяный корабль», название стихотворения Рембо упомянуто здесь вместо «Корабля дураков».{224} (прим. В.Д.)

103

Грант — В «Детях капитана Гранта» Жюля Верна «агония» (в найденном послании) оказывается частью названия «Патагония». (прим. В.Д.)

104

Сираниана — намек на «Histoire comique des Etâts de la Lune» Сирано де Бержерака. (прим. В.Д.)

105

Сиг Лимэнски — анаграмма имени одного британского шутника-романиста, живейше интересующегося фантастикой с физическим уклоном.{225} (прим. В.Д.)

106

Абенсераг, Зегрис — семейства гранадских мавров (чья вражда послужила источником вдохновения для Шатобриана).{226} (прим. В.Д.)

107

Диккенсовский Мармелад — или, скорее, Мармеладов у Достоевского, на которого Диккенс (в переводах) оказал влияние. (прим. В.Д.)

108

Sturb — каламбур вокруг немецкого sterben (умирать). (прим. В.Д.)

109

«Мы любили лишь жен…» — Суинберн.{227} (прим. В.Д.)

110

Фрез (fraise) — красный цвет клубничного оттенка… (прим. В.Д.)

111

Ванотомления — «мления в объятиях Вана». (прим. В.Д.)

112

Я не владею искусством — «Гамлет».{228} (прим. В.Д.)

113

«Старая роза», etc. — книги Сегюр-Ростопчиной в серии «Bibliothèque Rose». (прим. В.Д.)

114

Петарда — мистер Бен Райт, поэт на свой лад, широко известен своим петардированием (пуканьем). (прим. В.Д.)

115

Байронка — от Байрона (Byron). (прим. В.Д.)

116

Бекстейн — слоги переставлены.{229} (прим. В.Д.)

117

«Любовь под липами» — в данном абзаце перепутаны O'Нил, Томас Манн и его переводчик на английский.{230} (прим. В.Д.)

118

«Cart du Tendre» — «Карта Нежной Любви», сентиментальная аллегория XVII века.{231} (прим. В.Д.)

119

Известная муха — см. с. 140, Serromyia. (прим. В.Д.)

120

R–4 — «ладья–4», название шахматной позиции (каламбур с именем дамы). (прим. В.Д.)

121

Так ты женат… — см. «Евгений Онегин», часть восьмая: XVIII: 1–4. {232} (прим. В.Д.)

122

Я вас люблю любовью брата… — см. «Евгений Онегин», часть четвертая: XVI: 3–4. (прим. В.Д.)

123

Insiste, etc. — Цитата из Блаженного Августина. (прим. В.Д.)

124

Генри — Стиль Генри Джеймса отмечен выделением слова тогда.{233} (прим. В.Д.)

125

Nox — лат.: ночью.{234} (прим. В.Д.)

126

И над вершинами Молчанья… — пародия на четырехстишие из лермонтовского «Демона» (см. также с. 180).{235} (прим. В.Д.)

127

Cameriere — Ит.: гостиничный слуга, переносящий в номера чемоданы, орудующий пылесосом, etc. (прим. В.Д.)

128

Либретто — оперы «Евгений Онегин», карикатуры на пушкинскую поэму. (прим. В.Д.)

129

Cart de van — так американцы произносят cart de vins. (прим. В.Д.)

130

Лузон — неправильно произносимая американцами «Лозанна». (прим. В.Д.)

131

(Пауза) — весь этот разговор — пародия на чеховскую манерность. (прим. В.Д.)

132

Мюирниночка — ирландско-русское ласкательное слово. (прим. В.Д.)

133

Olorinus — от лат. olor, лебедь (любовник Леды).{236} (прим. В.Д.)

134

Ланклоденься — влияние «Нинон де Ланкло», куртизанки из романа Вера де Вера, упомянутого выше. (прим. В.Д.)

135

Алексей, etc. — Вронский со своей любовницей. (прим. В.Д.)

136

«В-Щель-Он'ский» — Шильонский. (прим. В.Д.)

137

Д'Онски — см. с. 31. (прим. В.Д.)

138

«Голос», etc. — «Голос Феникса» — русскоязычная газета штата Аризона. (прим. В.Д.)

139

Ардис — стрела. (прим. В.Д.)

140

Ponder the Egg — каламбур вокруг французского pondre — класть яйца (отсылка к проблеме: что было раньше, курица или яйцо). (прим. В.Д.)

141

Anime — лат.: душа. (прим. В.Д.)

142

Assassin pun — каламбур вокруг pointe assassine (из одного стихотворения Вердена).{237} (прим. В.Д.)

143

Lacrimaval — итало-швейцарск.: псевдогеографическое название — «Долина Слез». (прим. В.Д.)

144

Воображаемый дельта-распад — аллюзия на расщепление воображаемого химического элемента. (прим. В.Д.)

145

Мыслитель-неудачник — Сэмюэл Александер, английский философ.{238} (прим. В.Д.)

146

Вилла Йолана — названа в честь одной бабочки, принадлежащей к подвиду Jolana, обитающему в Пфинвальде (см. также с. 133). (прим. В.Д.)

147

Винн Ландэр — французское искажение фамилии Виноземская. (прим. В.Д.)

148

À la sonde — на мелководье (о том же корабле, см. с. 486). (прим. В.Д.)

149

On peut… etc. — см. с. 240. (прим. В.Д.)

150

Проще… — проще спрыгнуть с балкона. (прим. В.Д.)

151

Русалки знак — отсылка к Люсетт. (прим. В.Д.)

152

Степан Нуткин — Ванов камердинер. (прим. В.Д.)

153

Г, н, о… — имеется в виду «гносеологически» (см. выше). (прим. В.Д.)

Примечания переводчика

1

Boyd B. Vladimir Nabokov. The American Years. L, 1993, p. 510.

2

См., например: McHale B. Change of Dominant from Modernist to Postmodernist Writing // Approaching Postmodernism./ Ed. by D Fokkema and H. Bertens. Amsterdam. 1986, pp. 68–70.

3

Кофе с молоком (фр.). — Здесь и далее примеч. пер.

4

Касательно любви (фр.).

5

Немецкая калька англ. «nut-house» — «психушка», сумасшедший дом.

6

Напротив (фр.).

7

Голубая альпийская аквилегия (фр.).

8

Ястребинка, медвежье ушко (фр.).

9

Уж будьте уверены (фр.).

10

Горечавка Коха (фр.).

11

Завернулия завернутая, разновидн. «аквамарина» (лат.).

12

Горечавка весенняя (лат.), (весенняя — фр.).

13

Появился на свет, досл.: в месте моего рождения (фр.).

14

Так сказать (фр.).

15

Дословно: «львиная лапа» (фр.).

16

Уединенный кабинет (фр.).

17

Со знанием дела (фр.).

18

Такса (нем.).

19

По-вашему (фр.).

20

Самой середине (фр.).

21

Bric-à-brac — «второй сорт», хлам (фр.).

22

Стройные (фр.).

23

Здесь: скажем (фр.).

24

Холостяцком обиталище (фр.).

25

Порода овчарки (нем.).

26

Смутны (фр.).

27

Месте рождения (фр.).

28

Синьор кондуктор, мне надо до Лаго в Луге, вот деньги! (Смесь исковерканных итальянских, английских и немецких слов.)

29

Здесь: «Цветочная смесь» (фр.).

30

Маменька (фр.).

31

Зародыша в утробе (лат.).

32

Сегодня (фр.).

33

Сегодня (нем.). Произносится: «хойте».

34

Слишком далеко (фр.).

35

Сбить клиента с толку (фр.).

36

Коляску (фр.).

37

Сдается мне, месье меня не признал (фр.).

38

Прогулку по саду (фр.).

39

Страсть, сильное влечение (англ.).

40

Здесь: большим пальцем, как указательным (лат.), дословно: «вывернутым большим пальцем».

41

Обратному (фр.).

42

«Запах» и «человек» (исп.).

43

По-моему, месье пятнадцать, а мне, как известно, девятнадцать. Месье, из благородных, а я дочь бедного рабочего-торфяника. Месье, конечно, перепробовал городских девушек, что до меня, я еще девственница, или почти девственница… Вдобавок… (фр.)

44

Хотя бы разок (фр.).

45

Под конец (фр.).

46

К доктору Хронику (фр.).

47

Да поиграйте же с ним вместе (фр.).

48

Скучать (фр.).

49

Так (фр.).

50

Не знаю! (фр.)

51

Прятки (фр.).

52

Липовый настой (фр.).

53

«Любовные похождения доктора Мертваго» (фр.).

54

Большой дуб (фр.).

55

Что за вздор (фр.).

56

«Злоключения Свана» (фр.).

57

Внутренний монолог (фр.).

58

Прошу вас, дети! (фр.)

59

«Ревуны медвежьи» (англ.).

60

Так называемой (фр.).

61

«Воспоминание» (фр.).

62

…девичьи платьица зеленые, линялые… (фр.)

63

Полное собрание сочинений (фр.).

64

Луидором, «золотым» (фр.).

65

Дословный перевод souci d'eau с фр.

66

«Сад» (фр.).

67

У Марвелла:

How vainly men themselves amaze

To win the palm, the oak, or bays

(Напрасно люди тешат себя/завоеванием пальмовой ветви, дубового или лаврового венка.)

У Ады:

Напрасно тешить себя

Покорением Оки, залива в пальмах…

(Игра словами, имеющими одинаковое написание или произношение, но многообразие разночтений в английском и французском языках. Так, the palm по-английски означает «пальма», «пальмовая ветвь» как символ победы, французское Palmier — «пальма», «пальмовое дерево»; английское «the oak» — «дуб», «венок из дубовых листьев» созвучно французскому (а значит, и русскому) «l'Oka» — «река Ока», английское «bays» — множественное число от «лавровый венок», «лавр», а также «залив», французское «la Baie» — «залив».)

68

Детский праздник (фр.).

69

Ангельском ребенке (фр.).

70

В девять лет (фр.).

71

И «К Лесбии» Катулла (фр.).{239}

72

Большой (голл.).

73

Такую длинную штуковину, что едва не вонзилась ребенку в попку (фр.).

74

Телега с лошадью (англ.) — см. примеч. Вивиана Даркблоома.

75

Бювар, папка для бумаг (фр.).

76

Московский москит (комар) (фр.).

77

Легкий утренний завтрак (фр.).

78

Хлеб с маслом и медом (фр.).{240}

79

Именин (фр.).

80

Только не надо так вихляться, когда надеваешь юбку! Девочка из приличной семьи… (фр.)

81

Напротив (фр.).

82

Прехорошенькой (фр.).

83

Взрослой девочкой (фр.).

84

«Алмазное ожерелье» (фр.).

85

Переписывания бумаг (фр.).

86

Не жалея воды (фр.).

87

Непринужденностью (фр.).

88

Бесцеремонно (фр.).

89

Изможденного (фр.).

90

Лачуга (фр.).

91

Да полно! (фр.)

92

Точку-убийцу (фр.) — см. Глава четвертая (отсылка к Полю Верлену).

93

Пусть даже все рассказав, если б пришлось, той вдовушке (фр.).

94

От него воняет (фр.).

95

«Пра-пра» (фр.).

96

Еврей (фр.).

97

Моя вина (лат.).

98

Между прочим (фр.).

99

Весною расцветает садик мой.
Что зелен он теперь —
Зимой, зимой, зимой, зимой, зимой —
Не верь, не верь, не верь, не верь, не верь!

(фр.){241}

100

Самый разгар знойного лета (фр.).

101

Белка (исп.).

102

Сожительница (искаж. фр.).

103

Изгиб спины (фр.).

104

Выпуклая, мясистая часть ткани, обрамляющей рот… Два края раны наипростейшей… Орган лизания (фр.).

105

Rosa eglanteria (лат.) – разновидность шиповника.

106

Счастливая находка (фр.).

107

Дитя мое, моя сестра!

Вспомни сень

Огромного дуба в Тане,

Вспомни о той горе,

Вспомни о сладости…

(фр.)

108

Сосредоточенном (фр.).

109

В момент совокупления (лат.).

110

Раз уж мы затронули эту тему (фр.).

111

Милостивые государи вдыхали аромат (фр.).

112

И все остальное (фр.).

113

«Софизмы Софи» (фр.).

114

«Библиотека „Старинная роза“» (фр.).

115

Пожар (фр.).

116

Горит (фр.).

117

За спиной (фр.).

118

Задом (фр.).

119

Электричество (ит.).

120

Ах, это по-твоему (фр.).

121

Songer (фр.) — думать, полагать, воображать.

122

Промокла (фр.).

123

Модная парижская швея (фр.); здесь: сторонница принятия пищи в полдень (фр.).

124

Я видела ее в какой-то мусорной корзинке в библиотеке (фр.).

125

После чего (фр.).

126

Не злоупотребляйте американизмами! (фр.)

127

«Неспешно их (грехо)паденье»… Посмотришь на них — все так узнаваемо (фр.).

128

Чтобы не возбуждать у нее всякие мысли (фр.).

129

«Выдано» (фр.).

130

Милым, бесконечно милым Рене (фр.).

131

Ультрафиолет (ультрафиолетовая лампа) (нем.).

132

Слезное прошение об отставке (фр.).

133

Эти двое детей все же могли предаться своему наслаждению безо всякого страха (фр.).{242}

134

«Музы развлекаются» (фр.).

135

Все же (фр.).

136

Скрещивание близкородственных форм (животных или растений) в пределах одной популяции организмов. Наиболее тесная форма инбридинга — самооплодотворение.

137

Раздела новостей (фр.).

138

И др. (лат.)

139

Как знать! (фр.)

140

«Единственный надежный метод обмануть природу — это сильному молодцу продолжать-продолжать-продолжать, пока блаженство не хлынет через край; и тогда в последний момент переключиться на другое русло; так как женщина, в страсти тяжелея, не может повернуться достаточно быстро, то облегчается переход в позицию torovago» (смесь

исковерканных латинского, английского, французского, испанского и итальянского).

141

Следовательно (лат.).

142

Франц. вариант последних двух строк.

143

Кто мне вернет мою Алину

И дуб на взгорье средь долины?

(фр.)

144

Кто возвратит, моя Адель,

Той ласточки далекой трель?

(фр.)

145

Кто мне вернет мою Люсиль

И птиц и лет минувших быль?

(фр.)

146

Возлюбленной (смесь фр. и ит.).

147

Оптической иллюзии (обмана зрения) (фр.).

148

Тепло постели (фр.).

149

Lettrocalamity — очередное словообразование Набокова, образованное из английских слов letter (письмо) и calamity (бедствие).

150

Он же, сиречь (фр.).

151

Сущий, чистый (фр.).

152

Дорогую кокотку (фр.).

153

Из ирландских дворянчиков, почему бы нет? (фр.)

154

Дорогой экспресс (фр.).

155

Эта Люсетт (фр.).

156

«Ох уж эта Лина!» (фр.)

157

Хмельной печали (фр.).

158

Вдовца, с мощной, красной шеей, еще в самом соку (фр.).

159

Непозволительного сластолюбия (фр.).

160

Скверно (фр.).

161

Поразительно! Как можно мазать маслом такой громадный кусок трудноусваемого, кошмарного английского кекса! (фр.)

162

И это уже не первый! (фр.)

163

Простоквашу (фр.).

164

Подвиньте свою (фр.).

165

Вся резина новая (фр.).

166

(Так) лилея дикая вверяется пустыне… (фр.)

167

Нет, месье… Нет. Просто я горячо люблю месье и его мадемуазель (фр.).

168

Откуда мне знать? (фр.)

169

Договорились! (фр.)

170

«Метилена-островок» (фр.).

171

Приятный сюрприз (фр.).

172

Какой-нибудь жалкой прачкой (фр.).

173

Исполняется чей-то великий Джойс (фр.).

174

Малютки Пруста (фр.).

175

С удовлетворением констатировать (фр.).

176

Масть (фр.).

177

Schüler (нем.) — ученик.

178

Первое (лат.).

179

Второе (лат.).

180

Голубые листки экспресс-почты (фр.).

181

Ах, извините! Минутку, месье! (фр.)

182

Без сна (фр.).

183

У мадемуазель, мой бедный месье, тяжелая пневмония (фр.).

184

Внушающая трепет фигура (фр.).

185

«Но, бедняжка моя, оно было фальшивым» (фр.) — имеется в виду ожерелье (как цитата из Мопассана–Ларивьер), однако женский род слова «ожерелье» во французском используется Набоковым как намек на фальшивость Ады.

186

Она пялилась на него во все глаза (фр.).

187

Летучие стишки, что черви-шелкопряды (фр.).

188

«Кто мне вернет, моя Люсиль, тот дуб и холм, что я любил(ь)» — рифмованная смесь фр. с искаженным англ.

189

Ладорского островка (фр.).

190

Интимным (фр.).

191

«Скверные дети» (фр.).{243}

192

Тебе это слушать не следует (нем.).

193

Нельзя говорить такое при собачке (фр.).

194

О чем это вы (фр.).

195

А тебе? (ит.)

196

Сахару (ит.).

197

Ужасное (нем.).

198

Слухового окна (фр.).

199

Что он тебе такое сделал, кузен твой? (фр.)

200

Сухим печеньем (фр.).

201

Задувая под юбку (фр.).

202

Замок (фр.).

203

Непристойны (нем.).

204

За пределами человеческого опыта, трансцендентальные.

205

Живой (лат.).

206

Наслаждение (лат.).

207

Дословно: «в другом месте» (фр.), по звучанию напоминает русское местоимение «её».

208

С другой стороны (лат.).

209

От flavus (лат.) — огненно-желтый, золотистый.

210

Красная Венеция (ит.).

211

Дворянской приставки «де» или «д» (фр.).

212

Ничего у меня не получается… ну, ничегошеньки (фр.).

213

Буквами (нем.).

214

Это так просто (фр.).

215

Трудновато (фр.).

216

Торфяник, торфяная (фр.).

217

Милая (фр.).

218

Да, собственно (фр.).

219

Вот уж чокнутая и злая девчонка (фр.).

220

Поговорку (фр.).

221

Родство — опасное соседство (фр.).{244}

222

Что вы целуетесь везде по углам (фр.).

223

Там и сям, местами (нем.).

224

Да, кстати об углах (фр.).

225

Мы в темном уголке, и кажется, что в этом!

226

Кто мне вернет мою Элен? (фр.)

227

Воспылал страстью к одной из своих кобыл (фр.).

228

Комической оперой (фр.).

229

Все хорошо? (фр.)

230

Тем лучше (фр.).

231

Да, все хорошо (фр.).

232

Искаж. русск. от contretemps – помеха, препятствие (фр.).

233

Вообще-то (фр.).

234

«Малютка негр в полях среди цветов» (фр.).

235

Предстоит ужин вчетвером (фр.).

236

Замок, купающийся в Ладоре (фр.).

237

Добрый вечер (фр.).

238

Походя (фр.).

239

Русифицированное entre nous soi-dit — между нами (фр.).

240

Прямо-таки русский (русифиц. лат.) — перекличка с кельтским названием виски — usquebough.

241

Дословно — сын воды (лат.). Неудачный каламбур вокруг filium aquae — «золотая середина», посредственность. Можно интерпретировать как «не по этому делу».

242

Уж такая аристократичная евреечка (фр.).

243

Каламбур, типа «собо самой» («само собой»), но с эротическим подтекстом.

244

Само собой (фр.).

245

Умилением (фр. и англ.).

246

«Прекрасная маска» (фр.).

247

Еще куда ни шло (фр.).

248

Едва ее жених отбыл в поход военный,

Ирена де Грандфьеф, к веселью не склонна,

Замкнула свой рояль… и продала слона

(фр.).{245}

249

Неспешно их паденье. Можно проследить

Взглядом, узнавая,

Листву дуба по медному окрасу,

Листву клена — по кровавому

(подстр. перевод с фр.).

250

Мягкое кресло (нем.).

251

Роковая девушка (фр.).

252

При людях (челяди) (фр.).

253

Бесцеремонностью (фр.).

254

Заливным из дичи… гусиной печенкой (фр.).

255

Интимными ужинами (фр.).

256

Английское «condemned doors» (досл. «проклятые двери») Набокова

перекликается с французским «les portes condamnées» («забитые двери»).

257

«Звездное небо» (фр.).

258

Больницу (ит.).

259

В четыре руки (фр.).

260

Вашей челяди (фр.).

261

Балы-маскарады (фр.).

262

Не кто иной, как я (фр.).

263

Вы меня балуете (фр.).

264

Рябчику (фр.).

265

Здесь: горошина Дианы (фр.).

266

И на челе, алея девственной зарей,

Уже… как там… румянец…

(фр.)

267

Алмазное ожерелье? (фр.)

268

Что бы то ни было (фр.).

269

Уже… румянец красой восходит (фр.).

270

Побегам спаржи (фр.).

271

Каждому свое, всяк на свой лад (фр.).

272

Нарочита (фр.).

273

Profit rolls (англ.) — можно перевести как «выгодные булочки».

274

Молочно-шоколадным (фр.).

275

Воды! (фр.)

276

Чистый немец (фр.).

277

Кегельный шар (нем.).

278

Расставание — чуточку смерть, а смерть — чуточку затянувшееся расставание (фр.).

279

Уж гасли в комнатах огни…

Благоухали rozï…

Мы сели на скамью в тени

Развесистой beryozï.

280

Или прямо так? (фр.)

281

Завтраком (ит.).

282

Пятясь (фр.).

283

Мерзких, ничтожных буржуа (фр.).

284

Искаж.: немотивированный поступок; правильно: «un act gratuit»{246}

285

«Мне жаль себя»… «я сожалею» (фр.).

286

Хорошо (фр.).

287

Je t'en pris! (фр.)

288

Наконец (фр.).

289

«Бычьим сердцем» (фр.).

290

Поцелуя (руки) – (нем.).

291

Вы мне предлагаете дуэль? (фр.)

292

Когда пожелаешь, малыш! (фр.)

293

Ваши «выражанс» весьма фривольны (фр.).

294

«Жан, пытаясь повернуть ей голову…» (фр.)

295

«Тени и краски» (фр.).

296

Девки глупые в репьи

Да в крапиву забрели.

Одежонку всю порвали.

Бусики порастеряли!

(с англ.)

297

Чтоб ее причесывали на свежем воздухе (фр.)

298

Понимающим видом (фр.).

299

«Не знает, когда вернется он…» (фр.)

300

Мой паж, прелестный паж, Миронтон, миронтон, миронтэнь, Мой паж, прелестный паж (фр.).

301

Я — твоя, скоро рассветет (фр.).

302

Меня не припутывай (говори за себя) — (фр.).

303

Ваша мамзель (фр.).

304

Так ведь же немец-музыкант, месье Рак (фр.).

305

Этим противным месье Раком (фр.).

306

Терзал ее мерзкими поцелуями (фр.).

307

Как тебя валяют (фр.).

308

Прощай! (фр.)

309

Вступившая в связь (фр.).

310

Отправится в поход (фр.).

311

Не зелено, не зелено, не зелено. Дерево в золотых монетах (фр.).

312

Двухдольная (лат.).

313

Ginkgo, gingko (яп.: «гин» — серебряный, «кьо» — абрикос) — крупное, декоративное голосемянное дерево. Ginkgo biloba — китайская его разновидность, имеет веерообразные листья, сочные плоды и съедобные

семена.

314

Черный прилив (фр.).

315

Я вне себя (фр.).

316

Что за хамство! (фр.)

317

Пикничка (фр.).

318

Лестничную мышцу (лат.).

319

Я — неисправимый шутник (нем.).

320

Pisang — банан (малайск.).

321

Нет, нет, нет! (фр.)

322

Остановитесь у… (фр.)

323

Артикль перед сущ. муж. рода (фр.).

324

Для мужчин (фр.).

325

Очередной инфантомчик — каламбур вокруг «enfant» (ребенок) — (фр.).

326

Лесбиянка (смесь лат. и русск.).

327

Поместья пометил стихом пародист
Патриархальный уют,
Там жакаранды, тесня стрелолист,
Неистовым цветом цветут.

(с англ.).

328

Курочка (фр.).

329

«Пьяного корабля» (фр).

330

Узорчатой (резной) дачки (фр.).

331

От pisang — банан (малайск.); см.: часть первая, гл. 43.

332

Гостинице (ит.).

333

Что одно и то же (фр.).

334

Осознаю (фр.).

335

Я на грани (фр.).

336

Кленовых (фр.).

337

Заурядное (фр.).

338

Шлюшка (фр.).

339

Скорбь (фр.).

340

«Высокого» модерна, ультрамодерна (нем.).

341

Бордели (фр.).

342

Маска–«домино» (ит.).

343

Серийная почтовая художественная открытка (нем.).

344

Девочку (фр.).

345

Рухнут утесы, падет горных хребтов крутизна (лат.).{247}

346

Задуем свечу (ит., диал.).

347

Касания (фр.).

348

Умирать будешь (арх. форма, нем.).

349

Боги подземного царства мертвых (греч.).

350

Твой земной филиал (англ. и фр.).

351

Взлетевший (фр.).

352

Щеке (досл. «скуле»; «pomme» — яблоко, фр.).

353

Однако (фр.).

354

По́лно, прекрати (фр.).

355

Лоска (нем.).

356

Девушки (нем.), здесь: «пассии».

357

Шлюха (фр.).

358

Девица (лат.).

359

R.S.V.P. Сокр. от Répondez s'il vous plaît — «Прошу ответить» (фр.), обычно пишется на пригласительных карточках.

360

Между прочим (фр.).

361

В твоем (единичном) случае (фр.).

362

Злополучного (фр.).

363

«Условия человеческого существования»{248} (фр.).

364

Тасманский кулак голландского происхождения (фр.).

365

Желудёк (исп.).

366

Буквами (нем.).

367

Если можно так выразиться.

368

Самая уродливая на свете может дать даже больше, чем имеет (фр.).

369

Это семейное (фр.).

370

Комок ваты (нем.).

371

Гуськом, один за другим (фр.).

372

Пастушками, торшерами (фр.).

373

На американский манер (фр.).

374

Фортеля (ит.).

375

На шпагах (фр.).

376

То есть: «comme on dit» — как говорится (фр.).

377

Гноетечение.

378

Параллельным (фр.).

379

То есть quatre à quatre — через несколько ступенек (фр.).

380

Замок, купающийся в Дорофоне (фр.).

381

Упоение скоростью — одно, воскресенье — другое (фр.).

382

Поцелуй, хотя бы раз! (фр.)

383

Боязнь высоты (греч.).

384

Бобровом манто (фр.) — параллель с касторовым пальто (шинелью) в надежде на двуязычного читателя.

385

Нежность (фр.).

386

Ты же знаешь, не переходя границ (фр.).

387

Никак не я (фр.).

388

Шалости (фр.).

389

По-русски (фр.).

390

Ваш кузен (фр.).

391

«Прелестных» (фр.).

392

Не надо бы больше, мадемуазель, принимать этого негодяя! (фр.)

393

Дуб-руслан (лат.).

394

Перина на гагачьем пуху, «lit eiderdown» (смесь фр. с англ.).

395

Как бы то ни было (фр.).

396

Наблюдателем — или вуайеристом (фр.).

397

Занимательных (фр.).

398

Тоже (нем.).

399

«Карты Нежной Любви» (фр.).

400

Воспоминание (фр.).

401

Спортивном костюме (фр.).

402

Орхидею (также: мошонка) — (нем.).

403

«Сияла ночь. Луной был полон сад.
Сидели мы с тобой в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей…»

404

«Уймитесь, волнения страсти!»{249}

405

«Есть на Россе утес, диким мохом оброс
Он с вершины до самого края…»{250}

406

«Однозвучно гремит колокольчик,

И дорога пылится слегка…»{251}

407

«Надежда, я вернусь тогда…» с последующим звуковым парафразом В.В. Набокова «Сентиментального марша» Б. Окуджавы.

408

«Утро туманное, утро седое,

Нивы печальные, снегом покрытые…»{252}

409

«О, говори хоть ты со мной,

Подруга семиструнная…»

Душа полна такой тоской

Такая луна заливает каньон!{253}

410

Помещика (исп.).

411

Здесь: осведомись (фр.).

412

В широком смысле (лат).

413

Обозревающий (с птичьего полета) — (фр.).

414

И не без основания (фр.).

415

Супервид или подвид (нем.).

416

Любимого (ит.).

417

Для Нее (фр.) — созвучно английскому «poor L.» — «бедняжка Л.».

418

В сущности (фр.).

419

Здесь: зримой (живой картины) — (фр.).

420

Чушь (англ.) — упрощенным транслитерированием передает голландское Bosch: «Босх».

421

Подтверждаемой критикой (фр).

422

Маленькой нищей дворяночки (фр.).

423

О, кто вернет мне тот холм… (фр.)

424

Здесь: мальчиком для утех (лат.).

425

В одеждах розово-зеленых (фр.).{254}

426

Да! (ит. и исп.)

427

«Play zero» (англ.) — «ставить на ноль», созвучно «плезир», от фр. «plaisir» — удовольствие.

428

Вот оно, слово (фр.).

429

Кстати (фр.).

430

Вдовий траур (фр.).

431

Втроем (фр.).

432

Множеством чарующих моментов (ит.).

433

Загадочного искусства (ит.).

434

Буквально: «Задние мысли — наивернейшие». Можно понимать и как: «Задние мысли — прислужницы» (фр.).

435

Прислужница (фр.).

436

Которая ползла (фр.).

437

Сожалею, что не смогу с вами быть (фр.).

438

Бородищей (окладистой бородой) – (нем.).

439

Мошонку (лат.).

440

«Милый Люк» (фр.).

441

Надо же (фр.).

442

Так как же? (фр.)

443

Весь комфорт (фр.).

444

Гримасой (фр.).

445

До свидания! (фр.)

446

«Альфонсом Пятым» (фр.).

447

Развалясь (фр.).

448

В креслах (фр.).

449

Улицу Младых Мучеников (фр.).

450

Незнакомка (лат.).

451

Пышной (фр.).

452

Обезьяньим скосом лица (фр.).

453

Взбучку (выволочку) — (фр.).

454

Какой экспрессионизм! (фр.)

455

Так называемые «находки» (фр.).

456

Дырявые (фр.).

457

Чернавку (фр.).

458

Однажды дивной, ностальгически упоительной ночью… (англ.)

459

Немножечко парвеню (фр.).

460

«Альфонса Третьего» (фр.).

461

Ну же, возьми меня с собой далеко-далеко, где фрески и фонтаны, почему бы не отправиться в такую даль, где древние фонтаны? Пароходом? В спальном вагоне? (англ.)

462

Этого еще не хватало! (нем.)

463

В то время я (фр.).

464

Маску-«домино» (ит.).

465

Фрукты (нем.).

466

Черт побери (фр.).

467

Огненная Земля, Земля Огня (исп.).

468

Искаж. couturier — vous avez entendue — кутюрье — вы слышали (о нем) — (фр.).

469

Искаж. après — потом, после (фр.).

470

То знаешь, что это меня убьет (фр.).

471

«Будь настойчива, душа моя, напрягай сильнее…» (лат.){255}

472

«В уродливом и тучном виде?» (фр.)

473

Русифицированный эпитет от английского «empty» — пустой.

474

Вариант расшифровки каламбура «keeps „no shah“ away» (досл. «шах к вам не подступится») — «keeps no shy way» — робость как рукой снимет (англ.).

475

Неточное: «которые она не носит», ближе: «которые не в моде» (фр.), звуковой каламбур с «n'importe pas» — «которые не важны».

476

Деликатности (фр.).

477

Ваше здоровье (лат.).

478

Десять ступенек (фр.).

479

Воскресенье. Завтрак на траве. Воняют все. Свекровь глотает вставную челюсть. Ее сучка (фр.).

480

Скатерть (фр).

481

После чего (фр.).

482

Океанская Ночь (греч. и лат.).

483

Дорогой друг!

Мой супруг и я глубоко скорбим в связи со страшным известием. Ведь именно ко мне — и это я буду помнить всегда — практически накануне своей гибели бедняжка лично обратилась, чтоб я помогла ей устроиться на Тобакофф, который всегда забит путешественниками и которым теперь я ни за что не воспользуюсь, частично из суеверия, но в основном из чувства скорби по нежной, милой Люсетт. Я была рада помочь всем, чем могу, так как кто-то сказал мне, что и ты там будешь. Да сама она мне об этом и сказала; она с такой радостью готовилась несколько дней провести на палубе с любимым кузеном! Психология самоубийства — тайна, которая науке неподвластна. В жизни не проливала столько слез, ручка буквально валится из рук. Мы возвращаемся в Мальбрук в середине осени. Вечно твоя. Кордула де Прэ-Тобак (фр.).

484

Примерная девочка (фр.).

485

«Скверной историей» (фр.).

486

Угрюмым романтиком, «байроновским типом» (фр.).

487

Угрюмая (фр.).

488

«Три лебедя» (фр.).

489

Да мало ли кто (фр.).

490

Премного благодарен! (фр.)

491

В первом этаже (фр.).

492

Камерьере, подсобный в гостинице (ит.).

493

Золовка (фр.).

494

Помещика-селянина (фр.).

495

«Карту вана» (фр.). Издевка над произношением Андрея, желавшего «cartes de vins» — прейскурант вин.

496

Хотел бы завладеть вами, дорогая (фр.).

497

Полностью (лат.).

498

Словом (фр.).

499

Место уединенных раздумий (фр.).

500

Русской шарлоткой (фр.).

501

Ориентиров (фр.).

502

К вам (фр.).

503

Свободы нравов (фр.).

504

Кое-что из семейных сплетен (фр.).

505

Дама ужасно светская во всех отношениях. Все подтрунивает над Андрюшей говорит, мол, простому землепашцу не пристало жениться на дочери актрисы и скупщика картин (фр.).

506

Мне необходимо следить за весом (фр.).

507

Юпитер в лебяжьем обличье (лат.).

508

«Местечко» (фр.).

509

Albergo – отель, гостиница (ит.).

510

Rufomonticulos – Рыжих Холмов (лат.).

511

Стереотипом (фр.).

512

Утопая в слезах (фр.).

513

Острословием не блещет (фр.).

514

«Собакам запрещено!» (фр.)

515

Вдвоем (фр.).

516

Чаек-черноголовок (фр.).

517

«Звонил металлический голос», «Нынче утром наша Труба была явно не в духе» (фр.).

518

Казус (фр.).

519

И моей кузины (фр.).

520

Прекрати смеяться! (фр.)

521

Прекрати! (фр.)

522

Где та Элен, ее хочу я… (фр.)

523

…ее и бабочку ночную… (фр.)

524

Довольно («умоляю» и «прошу») — (фр.).

525

Знаешь, что это убивает меня (фр.).

526

И над вершинами Бассета

(англ.).

527

Мурашки (фр.).

528

И покончим с моим, под стать расписному потолку, стилем (фр.).

529

Новоразумную (лат.).

530

«Поразмышляйте над яйцом!» (англ.)

531

Поворотом руля (фр.).

532

Обвалы (фр.).

533

Набоков использует термин «декалькомания» (от фр. décalcomanie — переводная картинка) — способ полиграфического изготовления переводных изображений и переноса их на какие-либо (керамические, металлические) предметы, — акцентируя второй корень: «мания».

534

«Шелковица» (фр.).

535

Антофобия (греч.) — боязнь цветов, нелюбовь к цветам.

536

Втроем (фр.).

537

Как? Нет-нет, не восемьдесят восемь — восемьдесят шесть (фр.).

538

Задором (фр.).

539

«Гололед» (нем.).

540

Таможенную пошлину (фр.).

541

В конце концов (фр.).

542

«Можно проследить взглядом, узнавая…» (фр., Коппе, см. гл. 20 и 38).

543

Бдение с пером в свете лампы (лат.).

544

Хрусталь Экса (фр.).

545

Удовольствие по-английски (фр.).

546

Вилла (ит.).

547

Блицтурниров (нем.).

548

С параллельным переводом (фр.).

549

Перекрестки, перекрещивания (лат.).

550

Ба-бах (фр.).

551

Горячего возбуждения (фр.).

552

Моим ласкательным именем (фр.).

553

Я знал в жизни двух лесбиянок, с меня довольно (фр.).

554

Термин, которым избегают пользоваться (фр.).

555

Рыданием (фр.).

556

Земле Небесной (лат.).

557

Книжку (фр.), хотя есть и другие значения этого слова: «старый козел», «заяц», «кролик».

558

Исцеленной (избавленной) от всех пороков (фр.).

559

«Какая книга, Боже мой, Боже мой!» (фр.)

560

Озорницей (фр.).

561

А также в разных местах (лат.).

562

Второсортного (фр.).

563

Carthorse — ломовая лошадь (англ.).

564

При всем уважении (лат.).

565

Nabokov V. Strong Opinions. N.Y., 1973, p. 91.

566

Nabokov V. Selected Letters. 1940–1977. San Diego, N.Y., L. 1989, p. 442.

567

Publishers Weekly. 1969. Vol. 195. № 12 (March 24), p. 52; The Literary Guild Magazine. 1969. Spring.

568

Nabokov V. Selected Letters.., p. 442.

569

Leonard J. The Nobel-est Writer of Them All // The New York Times. 1969. 1 May, p. 49.

570

Appel A. Rec: Nabokov V. Ada, or Ardor // New York Times Book Review. 1969. 4 May, p. 1.

571

Sokolov R.A. The Nabokovian Universe // Newsweek. 1969. Vol. 73. № 18 (5 May), pp. 57–58.

572

Kazin A. In The Mind of Nabokov // Saturday Review. 1969. 10 May, p. 30.

573

Dickstein M. Nabokov's Folly // The New Republic. 1969. 28 June, p. 27.

574

The Garland Companion to Vladimir Nabokov./ Ed. by E. Alexandrov. N.Y., 1995, p. 4.

575

Brendon P. Nabokov's Shake // Books and bookmen. 1969. Vol. 15. № 3, p. 35.

576

Shorter K. Harrowing of Hell // The New Leader. 1969. Vol. 52. № 11, p. 22.

577

Dickstein M. Op. cit., p. 27.

578

Toynbee Ph. Too much of a good thing // The Observer. 1969. 5 October, p. 34.

579

Dickstein M. Op. cit., p. 28.

580

Tindal G. King Leer // New Statesmen. 1969. October 3, p. 461.

581

McCarthy M. Exiles, Expatriates and Internal Emigres // The Listener. 1971. Vol. 86. № 2226. (25 November), pp. 707–708.

582

Clancy L. The Novels of Vladimir Nabokov. L., 1984, pp. 155, 140.

583

Эко У. Имя Розы. М, 1989. С. 460.

Николай Мельников

КОММЕНТАРИИ

1

Ада, или Эротиада: Семейная хроника. (Ada, or Ardor: A Family Chronicle; первое издание: N.Y., McGraw-Hill, 1969).

Как уже было сказано в предисловии, «Ада» занимает особое место в творчестве Владимира Набокова. Работа над этим произведением продолжалась (со значительными временными перерывами) около десяти лет.

В феврале 1959 года Набоков взялся за написание философского трактата «Ткань времени» (впоследствии он был отдан в авторство Вану Вину и вошел в четвертую часть «Ады»). В ноябре того же года писатель загорелся идеей создать научно-фантастический роман (он получил рабочее название «Письма на Терру», а затем трансформировался в «Письма с Терры» — очередную книгу набоковского протагониста). Увлеченный другими проектами (среди них — создание сценария по роману «Лолита»), Набоков оставил этот замысел. Последующая пятилетка оказалась для него поистине ударной. Помимо переводов собственных произведений («Лолиты» — на русский, «Дара», «Соглядатая», «Защиты Лужина» — на английский), Набоков был занят созданием очередной версии своих мемуаров, вышедших в 1966 г. под названием «Speak, Memory» («Память, говори»), и реализацией давнего замысла, получившего окончательное воплощение в форме необычного литературного кентавра «Pale Fire» (в русских переводах: «Бледный огонь» и «Бледное пламя»). Тем не менее в этот период писатель спорадически возвращался к «Ткани времени». Всерьез за новый роман Набоков взялся в феврале 1966 года, решив связать воедино «Письма на Терру» и «Ткань времени» с историей о «страстной, безнадежной, преступной, закатной любви»[565] между братом и сестрой — отпрысками одного из наиболее знатных и богатых семейств вымышленной страны Эстотии, возникшей по его воле на мифической планете Антитерра.

В октябре 1968 г. был закончен последний фрагмент «Ады» — рекламная аннотация (blurb), против всех правил помещенная ироничным автором непосредственно в самом тексте «семейной хроники».

Роман появился на свет в мае 1969 года. Предваряя выход книги,

фрагменты «семейной хроники» (ч. I. гл. 5, 6, 9, 15, 16, 18, 19, 20) были напечатаны в апрельском номере журнала «Плейбой».

Хотя выход книги не сопровождался той истеричной атмосферой сенсационности, которая возникла после публикации «Лолиты», интерес к ней был огромен: ведь ее автором был всеми признанный мэтр, завоевавший себе громкое литературное имя и почетное звание прижизненного классика, капризный законодатель литературной моды, осаждаемый в своей швейцарской резиденции тучей любопытных журналистов и кинопродюсеров, алчущих заполучить права на экранизацию свежеиспеченного шедевра. (Информация к размышлению: еще до публикации романа права на его экранизацию были приобретены компанией «Коламбия пикчерз» за 500 тыс. долларов.)

Интерес к «Аде» был подогрет мощной рекламной кампанией, умело организованной главой издательства «Макгроу-Хилл» Фрэнком Тейлором. Живое участие в ней принял и сам Набоков. Об этом свидетельствуют некоторые опубликованные письма, относящиеся к интересующему нас периоду зимы – весны 1969 года. Обратимся к одному из писем, адресованных Фрэнку Тейлору: «Дорогой Фрэнк, мне не хотелось бы каким-либо образом мешать твоим планам по рекламе. „Эротический шедевр“ звучит неплохо. <…> Подстегнутый твоим вопросом, я быстро выбросил из статьи такие эпитеты, как „фантастический“, „радужный“, „демонический“, „таинственный“, „волшебный“, „восхитительный“ и т. п.; но позволь мне повторить: я полностью полагаюсь на твой вкус и опыт» (14 января 1969)[566].

Отдадим должное «дорогому Фрэнку»: он и впрямь обладал немалым опытом в области книжного маркетинга. «Ада» еще не успела выйти из печати, а уже в марте расторопный издатель прислал писателю экземпляры двух журналов[567] с превосходной «Адорекламой», как выразился в благодарственном письме Фрэнку Тейлору польщенный автор[568]. Кампания по раскрутке набоковского романа на этом не закончилась. «Ада» еще не успела дойти до прилавков книжных магазинов, а уже крупнейшая американская газета «Нью-Йорк Таймс» салютовала Набокову хвалебной рецензией влиятельного критика Джона Леонарда: «Он [Набоков] – единственный ныне живущий литературный гений. Никто, кроме него, не мог написать этот антидетерминистский шедевр, исполненный презрения к Фрейду <…> и Марксу (здесь нет ни политики, ни экономики, ни даже какой-либо истории); вместе с тем это эротический и философский роман, великолепная научная фантастика, внушающая благоговейный страх пародия <…>. Если он [Набоков] и не получит Нобелевскую премию, то единственно потому, что она недостойна его»[569]. Спустя три дня на страницах литературного приложения к «Нью-Йорк Таймс» появилась восторженная рецензия Альфреда Алпеля, бывшего набоковского ученика по Корнеллскому университету, ставшего одним из самых рьяных исследователей и истых пропагандистов творчества писателя: «„Ада“ – это великая сказка, в высшей степени оригинальное создание творческого воображения <…> – любовная история, эротический шедевр, райская фантазия, философское исследование времени»[570].

День в день с выходом книги из печати (пятого мая) в популярном еженедельнике «Ньюсуик» американский критик с не очень-то

американской фамилией Соколов благоговейно сравнивает «Аду» с «Поминками по Финнегану», честно предупреждая, что по достоинству оценить набоковский роман смогут далеко не все читатели[571]. Спустя пять дней «Ада» удостоилась похвал наиболее авторитетного американского критика того времени Альфреда Кейзина: «Наш Владимир Владимирович — выдающийся художник <…>. „Ада“, вышедшая в свет после „Лолиты“ и после другой, гораздо более сложной и замечательной книги — „Бледный огонь“, вместе с ними образует своего рода трилогию, не имеющую аналогов по выразительной силе деталей, по своей увлекательности, по архитектонике формы и, наконец, по капризной изысканности языка. Она просто изумительна. Как любовная история она скорее необычна и символична, нежели достоверна, но необычность и символизм — это именно те факторы, особую любовь к которым приписывают Набокову. По богатству фантазии и изобретательности это, пожалуй, самое удачное из сумасбродных созданий со времен „Алисы“»[572].

К концу мая кампания по раскрутке «эротического шедевра» достигла своего апогея. 23 мая выходит очередной номер многотиражного, глянцевитых кровей журнала «Тайм». Его обложка украшена портретом Набокова и броским рекламным слоганом: «Роман жив и обитает он на Антитерре». Далее следовало интервью с писателем, в котором тот знакомил читателей с историей создания своего «эротического шедевра».

Фейерверк радужных славословий, озаривший выход «Ады» — «великого произведения искусства, необходимой, лучезарной, восхитительной книги, утверждающей власть любви и творческого воображения» (А. Аппель), — возымел свое действие: одно из самых «непрозрачных» творений Владимира Набокова попало в список бестселлеров за 1969 г. и заняло там почетное четвертое место, немного отстав от таких «хитов» книжного сезона, как «Крестный отец», «Любовная машина» и «Болезнь портного». (Во Франции, где несколько лет спустя вышел отредактированный самим Набоковым перевод романа, «Ада» добилась еще больших успехов и стала бестселлером № 2 в книжном «хит-параде» за 1975 г.)

Тем не менее я погрешил бы против истины, если бы стал настаивать на том, что «Ада» получила единодушное одобрение критиков. Наоборот, ни одно набоковское произведение (за исключением разве что «Бледного огня») не вызвало таких противоречивых, взаимоисключающих критических отзывов.

Бурная рекламная кампания, вознесшая «Аду» на вершину коммерческого успеха, очень скоро вызвала активное противодействие. Многие американские, а тем более консервативные английские критики посчитали «Аду» откровенной неудачей писателя и, более того, «изменой тому Набокову, который написал „Лолиту“ и „Пнина“»[573]. «Гениальная книга — перл американской словесности»[574] (так, с присущей ему скромностью, оценил «Аду» сам Владимир Владимирович, сделав соответствующую надпись на форзаце авторского экземпляра) — была воспринята ими как непонятный, амбициозный, чрезмерно растянутый опус, написанный Набоковым исключительно для себя (в последнем утверждении они были близки к истине), как бесцельное

«упражнение в лингвистической пиротехнике» (П. Брендон)[575], лишенное значительного содержания. Обозвав «Аду» каждый на свой лад — «оргия социосексуального вуайеризма» (К. Шортер)[576], «мешанина всевозможных эффектов, „Улисс“ для бедных» (М. Дикстейн)[577], «образчик непрекращающегося эксгибиционизма» (Ф. Тойнби)[578], — рецензенты наперебой обвиняли Набокова в холодной рассудочности, заносчивом эстетизме, самодовольном щеголянии «суетливой эрудицией», а главное — в нарциссическом самолюбовании и снобистском презрении к читателю. Много писалось об эгоцентризме главных героев, о нарочито карикатурной аляповатости большинства персонажей, о психологической неубедительности некоторых эпизодов романа, о чрезмерной перегруженности его повествования утомительными трехъязычными аттракционами, «редакторскими» вставками и примечаниями, указывалось на недопустимый тон многих авторских «шуток» и пр. и пр.

Не избежал Набоков и обвинения в порнографии. Так, один из рецензентов (М. Дикстейн), пристрастно разбирая «жеманный» и «оранжерейный» стиль эротических описаний романа, пришел к выводу, что его «претенциозные метафоры и аллюзии не могут скрыть „порнографической стратегии“» автора: «Если „Лолита“ рассказывала о стареющем развратнике, то некоторые эпизоды „Ады“ читаются так, будто они написаны им самим <…>. Секс в „Аде“, как и в большинстве порнографических произведений, сводится к спазмам и эякуляциям, к изобилию оргазмов»[579]. Это же обвинение, пусть и высказанное менее категорично, прозвучало и в рецензии английского критика Дж. Тиндэлла, обнаружившего в «Аде» «время от времени появляющуюся порнографию»[580].

Характерно, что «эротический шедевр» Набокова был забракован даже теми критиками, кто прежде восторгался другими набоковскими работами. Например, писательница Мэри Маккарти, давняя знакомая Набокова, в свое время написавшая комплиментарную рецензию на «Бледный огонь», была настолько разочарована «Адой», что посчитала необходимым сделать полную переоценку всех набоковских произведений[581].

Как мы видим, литературная судьба «Ады» была далеко не безоблачной. И по сей день по ее поводу не утихают споры. Даже в стане англоязычных набоковедов нет единства. Одни исследователи расценивают «Аду» как «наивысшее достижение Набокова-романиста, наиболее полное выражение всех его интересов и пристрастий» и даже как «апофеоз одной из величайших традиций западной литературы»[582] — традиции «высокого модернизма» Джойса и Пруста; для других (например, для Эндрю Филда и Дэвида Рэмптона) «Ада» — это свидетельство творческого упадка писателя.

Как бы там ни было, судьбы литературных произведений решают не критики и не специалисты по литературоведческой вивисекции, а читатели, в помощь которым составлены данные комментарии. Разумеется, они не могут претендовать на то, чтобы полностью разобрать и объяснить все элементы причудливой повествовательной мозаики набоковского романа, который изначально предполагает

бесчисленное количество специальных литературоведческих исследований и интерпретаций.

Как и все значительные произведения литературы, «Ада» может читаться и без комментаторских подсказок. Хотя, чего уж тут лукавить, для самостоятельного путешествия по набоковскому лабиринту требуется сверхподготовленный читатель: для полноценного чтения «Ады» требуются хорошее знакомство с мировой литературой (причем не только с произведениями классиков — Шекспира, Пушкина или Пруста, но и опусами малоизвестных писателей), знание истории (хотя бы для того, чтобы разобраться, чьими пародийными двойниками являются антитерровские политические деятели — милорд Голь, Шляпвельт и Дядя Джо), а также философии, ботаники, энтомологии, географии, живописи. Особенно — живописи! «Ада» — одна из самых «живописных» книг Набокова — изобилует экфрасисами (развернутыми описаниями различных произведений искусства — картин, эстампов, литографий, — уже несущих в себе изображение действительности), ссылками на творчество Босха, Тициана, Бронзино, Пармиджанино, Сурбарана, Рембрандта, Тулуз-Лотрека, Врубеля… Особенно примечательны частые ссылки на живопись итальянских маньеристов. Внимание будущих интерпретаторов «Ады» (свято помнящих рассуждения Умберто Эко: «не является ли постмодернизм всего лишь переименованием маньеризма как метаисторической категории»[583]) должны привлечь факты типологического сходства художественно-эстетических принципов Набокова и маньеризма. Отметим некоторые из них. Образ человека как объект изображения утрачивает содержательность и самостоятельное значение, человек теряет роль главного героя произведения (виртуозно, с натуралистической иллюзорностью выписанные аксессуары платья на портретах упоминаемого в «Аде» Бронзино обладают большей выразительностью, чем человеческие лица, чья безжизненная застылость едва ли не специально подчеркивается художником, как и в статичных описаниях Набокова); нарочитое противопоставление искусства и реальной действительности, которая, причудливо искажаясь, целиком подчиняется прихотливой фантазии художника, его «внутреннему рисунку» (по выражению теоретика маньеризма Федерико Цуккари); авторское стремление к проведению дистанции между живописным / литературным образом и зрителем / читателем — сравним приемы «авторской игры» и «остранения» у Набокова и, например, у Пармиджанино в его знаменитом «Автопортрете в зеркале» (ок. 1522–1524, Вена, Художественно-исторический музей), где блестяще решена задача изображения не самого человека, а полусферического зеркала, своеобразно преломляющего его облик, т. е. не действительности, а искажающего ее эффекта.

Но главное, что необходимо для адекватного восприятия «Ады», — это хорошее знание литературного творчества самого Набокова, представление о его эстетических взглядах, пристрастиях в литературе и искусстве — без этого многие места романа могут вызвать лишь досадное недоумение. Многочисленные автоцитаты и автореминисценции (так же как прямые или замаскированные критические выпады против тех писателей, художников или переводчиков, кто имел несчастье чем-либо не угодить автору «Ады») занимают важное место в художественной системе «семейной хроники»: подчеркивая искусственность, вымышленность описываемых событий, они создают эффект авторского

присутствия в повествовательном пространстве романа, выдвигают на первый план не сюжетное действие, а авторское «я» с его субъективными вкусами, капризами и фантазиями. Этому способствуют и прямые авторские вторжения и «самовыставления», усиливающие игровое начало «Ады» и разрушающие инерцию ее наивно-реалистического, миметического восприятия, — например, с помощью ироничного саморецензирования или саморекламирования (как в финале романа) или — внедрения в текстполномочных набоковских представителей, его анаграммированных двойников: «блестящего и малоприметного В.В.» или БАРОНа КЛИМаАВИДОВа.

В качестве одного из таких полномочных представителей выступает и Вивиан Даркблоом, фиктивный автор примечаний ко второму, «пингвиновскому», изданию «Ады» (1971). Дабы не превращать чтение «Ады» в скачки с препятствиями, в настоящем издании эти примечания даются в сокращенном виде: выпущены французские и русские фразы — первые переводятся в подстрочных примечаниях, вторые не требуют разъяснения для русских читателей. Полные недомолвок и довольно туманных намеков, примечания Даркблоома в целом продолжают литературную игру Набокова и потому могут восприниматься как полноценная часть романного текста — своего рода «метатекст», наподобие пародийного предисловия к «Лолите», написанного велеречивым Джоном Рэем.

Предтечей комментариев следует считать комментарий к первому русскому переводу «Ады», написанный моим коллегой Н. Синеусовым. Ему, а также Илье Лихтенштейну, без чьих подсказок мои комментарии многое бы потеряли, я выражаю сердечную признательность.

Перевод сделан по кн.: Nabokov V. Ada, or Ardor: A Family Chronicle. N.Y., Toronto: McGraw-Hill. International Inc., Fawcett Publications, Inc., Greenwich, Conn. (A Fawcett Crest Book), 1969.

Принятые сокращения: S.O. — Nabokov V. Strong Opinions. N.Y., 1973.

NWL — The Nabokov-Wilson Letters: Correspondence between Vladimir Nabokov & Edmund Wilson: 1940–1971. N.Y., 1979.

SL — Nabokov V. Selected Letters, 1940–1970. San Diego, 1989.

(коммент. Н.М.)

2

«Детство и отрочество» (Childhood and Fatherland, Pontius Press, 1858) — еще одно звено в цепи аллюзий, пародийных перекличек,

мистификаций, связывающих повествовательную ткань «Ады» с творчеством Л.Н. Толстого. Отметим, что «Детство и отрочество» при переводе на английский превратилось в «Детство и отечество». (коммент. Н.М.)

3

23 апреля — Набоков приурочил свадьбу своих героев ко дню рождения (и смерти) Уильяма Шекспира. В связи с этим приведем набоковское высказывание из интервью Альфреду Аппелю: «Когда в романе мне нужно датировать какое-нибудь событие, я обычно выбираю в качестве point de repère (ориентира) дату достаточно известную, что помогает к тому же выискивать ошибки в корректуре, — такова, к слову сказать, дата „1 апреля“ в дневнике Германа в „Отчаянии“» (S.O., p. 75). (коммент. Н.М.)

4

…в процессе становления Америки английское «бул»… преобразовалось в «бел» — этот каламбур отражает важнейшие события американской истории: от английского владычества — Bull, т. е. Джон Буль — традиционно-ироничное прозвище англичан и карикатурная персонификация Англии (впервые этот образ появился в сатирическом памфлете Джона Артбетнота «История Джона Буля», 1712) — к установлению независимости: Bell или Liberty Bell (Колокол Свободы) — национальная реликвия времен войны за независимость, символ американской свободы, хранится в Филадельфии, где 4 июля 1776 года была провозглашена Декларация независимости. (коммент. Н.М.)

5

День Святой Аделаиды — отмечается 16 декабря. (коммент. Н.М.)

6

В более поздние годы он уже не мог более перечитывать Пруста… — Ван разделяет литературные вкусы автора романа, чье отношение к французскому писателю Марселю Прусту (1871–1922) и его «шероховатому шедевру <…> с Достоевскими сварами и толстовскими тонкостями снобизма, повторенными и растянутыми до невыразимой длины», было, что называется, неоднозначным. Несмотря на то что Набоков долгое время называл Пруста одним из своих любимых писателей, а его многотомную эпопею «В поисках утраченного времени» — шедевром мировой литературы XX века (наряду с «Улиссом» Джойса, «Петербургом» Андрея Белого и «Превращением» Кафки), именно его перу принадлежит едва ли не единственная в русской литературе пародия на витиеватый прустовский стиль (роман «Камера обскура», гл. 27). Зинаида Шаховская в своей книге «В поисках Набокова» утверждает, что Набоков в беседе с французским журналистом Пьером Бенишем, отвечая на вопрос, любит ли он Пруста, произнес следующую фразу: «Я его обожал, потом очень, очень любил — теперь знаете…» (Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. М., 1991. С. 80). (коммент. Н.М.)

7

…любимое место, амарантовое… — вызывает в памяти сразу два «синэстезийных» фрагмента из первой части прустовского романа «По направлению к Свану» — правда, окрашены они не в амарантовый (ярко-красный), а в оранжевый цвет, — где герой-повествователь, Марсель, делится своими детскими впечатлениями, вызванными образом герцогини Германтской: «…Я представлял их [герцога и герцогиню Германтских] то на гобелене, какою была изображена графиня Германтская в нашей церкви в „Венчании Есфири на царство“, то — в переливах красок, каким представал Жильберт Дурной на витраже, <…> то совсем бестелесными, как образ Женевьевы Брабантской, родоначальницы Германтов, которую волшебный фонарь водил по занавескам в моей комнате или заставлял подниматься на потолок — словом, неизменно окутанными тайной меровингских времен и купавшихся, словно в сиянии заката, в оранжевом свете, что излучал этот слог: „ант“»; «…этот облик [герцогини Германтской] в отличие от других не был создан по моему хотению <…>, потому что его природа была иная; потому что его нельзя было окрасить в любой цвет, как те, что покорно впивали в себя оранжевый оттенок одного-единственного слога» (пер. Н.М. Любимова). (коммент. Н.М.)

8

…известный русский роман в стихах… — разумеется, пушкинский «Евгений Онегин»: вся глава представляет собой едкую пародию на примитивные оперные либретто. Набоков, автор перевода и комментариев к «Евгению Онегину», ревниво относился к пушкинскому шедевру и всегда с негодованием отзывался о «гнусных либретто Чайковского». (коммент. Н.М.)

9

…образец изысканной живописи Пармиджанино… «Ева на клепсидрофоне» — характерный для поэтики «Ады» прием ложной атрибуции. В данном случае это подчеркивается набоковским неологизмом «клепсидрофон» — от греческих корней «клепсидры» (водяные часы) и «фон» (звук), — о значении которого вряд ли мог догадаться итальянский живописец Франческо Пармиджанино (1503–1540), один из ведущих мастеров итальянского маньеризма, чья изысканно-грациозная живопись (основанная на необычных сочетаниях блеклых и металлически резких тонов) была подчинена воплощению отрешенного от жизни идеала холодной, загадочной и в то же время чувственной красоты. (коммент. Н.М.)

10

«кровавая Мэри» — коктейль из водки и томатного сока со льдом. (коммент. Н.М.)

11

Дуглас Д'Артаньян — в этой причудливой амальгаме сплавлены имена популярного литературного героя и актера, воплотившего его экранизированный образ в голливудском боевике 1921 года «Три

мушкетера» — Дугласа Фербенкса (1883–1939). (коммент. Н.М.)

12

Абрахам Мильтон — сочетание имен Авраама Линкольна (1809–1865) и Джона Мильтона (1608–1674). (коммент. Н.М.)

13

День Святого Георгия — отмечается 23 апреля. (коммент. Н.М.)

14

…названия «Ялта» и «Алтын-Таг» притягивали странностью созвучий — «Алтын-Таг» — комично переименованный Аю-Даг, название горы и мыса на Южном берегу Крыма, где с 1918 по 1919 г. жила семья Набоковых. (коммент. Н.М.)

15

Мелодион — клавишный музыкальный инструмент, изобретенный Иоганом-Христианом Дитцем; звук в нем извлекался с помощью трения вала о металлические палочки. (коммент. Н.М.)

16

…мальчик чудный, люблю, милый, сжалься… баллатетта, деболетта… — в «поток бессознания» Аквы вкраплены искаженные фрагменты двух поэтических произведений; первый из них — вариант слегка измененной предпоследней строки стихотворения «Oh, see how thick the goldcup flowers…» английского поэта Альфреда Эдуарда Хаусмена (1859–1936) из его цикла «Шропширский парень» (1896), второй — хаотично перетасованные отрывки стихотворения «Мне, песня, больше не видать…» итальянского поэта Гвидо Кавальканти (1255–1300). Для ясности приведу наиболее пострадавший отрывок: «Tu, voce sbigottit e deboletta / Ch' esci piangendo de lo cor dolente, / coll' anima e con questa ballatetta / va' ragionando della strutta mente» («Мой голос, скорбный и скупой, / Из сердца рвется стоном. / Душа, ты в этой песни пой / О духе угнетенном», пер. Г. Русакова). (коммент. Н.М.)

17

Калибан — персонаж драмы Уильяма Шекспира «Буря» (1612) — олицетворение стихийного, буйного нрава. (коммент. Н.М.)

18

«Скраббл» — популярная английская игра (ее правила объясняются в 36-й главе романа), в нашей стране известная под названием «Эрудит». (коммент. Н.М.)

19

…пара детишек в разгар шумной игры — позаимствована автором «Ады» из романа «Анна Каренина» (ч. 4, гл. 15). (коммент. Н.М.)

20

…цыганочка-колдунья из испанской сказки… усыпляет всех охотников — напоминая о пьесе набоковского антигероя Клэра Куильти «Зачарованные охотники», где главная героиня (как мы помним, ее роль была поручена Лолите) «погружает заблудившихся охотников в различные забавные трансы» (Лолита, ч. 2, гл. 13). (коммент. Н.М.)

21

…пухлых прелестей Купидона кисти Бронзино (самого толстого, которого смеющийся сатир обнаруживает в будуаре дамы) — у итальянского живописца Анджело (Аньело) Бронзино (1503–1572), крупнейшего представителя маньеризма, не было картины на подобный сюжет, хотя «пухлые прелести Купидона» могли быть позаимствованы Набоковым из «Аллегории» — картины того же Бронзино (ок. 1542–1545, Лондон, Национальная галерея), отмеченной «отвлеченной орнаментальностью композиции» и «холодным эротизмом образов». (коммент. Н.М.)

22

Сумеречников — этот персонаж является не только предшественником, но и зеркальным двойником братьев Люмьер (Lumiere) — «Световых», если позволить себе буквальный русский перевод их фамилии. (коммент. Н.М.)

23

«Мимо, читатель» — фраза взята из романа И.С. Тургенева «Дым» (гл. 19). (коммент. Н.М.)

24

…антиодюбоновские теории — Джон Джеймс Одюбон (1785–1851) — американский натуралист, описавший флору и фауну Северной Америки. (коммент. Н.М.)

25

Придется… играть в крокет с помощью фламинго и ежей — любимая игра Королевы из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» (1865). (коммент. Н.М.)

26

«Лариса в Стране Чудес» — варьируется заглавие кэрролловской «Алисы» — книги, переводом которой Набоков начал свою писательскую карьеру (1923). (коммент. Н.М.)

27

…стихотворение Джойса про двух прачек — о двух прачках речь идет в первой части заключительного раздела («Анна Ливия Плюрабель») романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» (1939), к которому Набоков относился резко отрицательно: «Я ненавижу „Поминки по Финнегану“, где злокачественная опухоль затейливых словесных сплетений едва ли искупает мертвенную жовиальность фольклора и легких, слишком легких аллегорий» (S.O., p. 102). (коммент. Н.М.)

28

Cattleya — американская тропическая орхидея, любимый цветок Одетты, возлюбленной Свана, одного из главных героев романа «По направлению к Свану»: «<…> катлеи и хризантемы были ее любимые цветы, так как обладали тем непостижимым достоинством, что были не похожи на цветы, что они казались сделанными из шелка, из атласа. <…> Одетта притворялась, <…> будто она краснеет, оттого что цветок напоминает ей нечто непристойное». (Пер. Н.М. Любимова.) (коммент. Н.М.)

29

…внутренний монолог Поля Бурже, заимствованный у старика Лео — Поль Шарль Жозеф Бурже (1852–1935) — французский писатель, поэт, эссеист, добившийся в конце XIX века шумной и, как оказалось, недолговечной литературной славы. В обильно сдобренных католико-монархическими идеями романах Бурже («Мучительная загадка» (1885), «В сетях лжи» (1887), «Ученик» (1889) и др.) большое внимание уделялось скрупулезному психологическому анализу тончайших оттенков внутреннего мира персонажей, что позволило многим критикам говорить о влиянии на его творчество прозы русских писателей — Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. (коммент. Н.М.)

30

…заявившей, что Левин расхаживал по Москве в nagol'ny tulup… — Элси де Нор действительно ошибается: в псевдомужицком одеянии по Москве расхаживал другой герой Льва Толстого — Пьер Безухов, да и то не в нагольном тулупе, а в обыкновенном кучерском кафтане («Война и мир». III, 3, 26 и далее). (коммент. Н.М.)

31

…в так называемой литературной версии некого мистера Фаули…

стихотворения Рембо — имеется в виду не совсем удачный, с точки зрения Ады, перевод стихотворения французского поэта Артюра Рембо (1854–1891) «Воспоминание», сделанный в 1946 г. английским переводчиком Уоллесом Фаули. В своем переводе Фаули заменяет так понравившееся Аде выражение «Le souci d'eau» («водяные ноготки», как, согласно французскому исследователю Ж. Делаэ, Рембо называл желтую водяную кувшинку) на туманно-расплывчатое «любовь воды» («care of the water»). (коммент. Н.М.)

32

…подозреваю, сама предпочитает Мюссе и Коппе — поэты Альфред де Мюссе (1810–1857) — один из самых «субъективных» французских романтиков — и Франсуа Эдуар Жоакен Коппе (1842–1908), популярный автор мармеладных стихотворений о любви, плодовитый сочинитель лирических зарисовок из жизни «маленьких людей» Парижа и неутомимый изготовитель «кассовых» пьес — фигуры, весьма невысоко оцениваемые Адой, да и самим Набоковым: не случайно их обожает мадемуазель Ларивьер — ходячее олицетворение филистерской пошлости и самодовольства, персонаж, воплотивший ненавистный Набокову тип литературного поденщика, умело следующего очередной литературной моде и ублажающего «массового читателя». Франсуа Коппе был любимым поэтом еще одной набоковской героини — трогательно-нелепой Mademoiselle из «Других берегов». Близость вульгарных, с точки зрения Набокова, литературных вкусов, помимо сходства внешности и привычек («ваннобоязнь», любовь к плоско-нравоучительным сентенциям и пр.) тесно сближает фигуры двух неуклюжих набоковских гувернанток и делает Mademoiselle своего рода литературным прототипом мадемуазель Ларивьер. (коммент. Н.М.)

33

En vain on s'amuse à gagner/L'Oka, la Baie du Palmier… — французский перевод Ады кощунственно искажает строки одного из самых ярких стихотворений английского поэта Эндрю Марвелла (1621–1678) «Сад», которое считается одним из идейно-тематических прообразов «Ады» (см. Alter R. Ada, or the Perils of Paradise // Vladimir Nabokov. His Life, His Work, His World. A Tribute / Ed. by Peter Quennell. N.Y., 1980). (коммент. Н.М.)

34

Восторгался Жильбертой Сван — героиней уже не раз упомянутого романа Марселя Пруста «По направлению к Свану». (коммент. Н.М.)

35

…именно ночь постоянно, на протяжении всей его почти вековой жизни, продолжала оставаться для него тяжкой мукой… — автореминисценция, вызывающая у читателя ассоциацию с пассажем из «Других берегов» — «Всю жизнь я засыпал с величайшим трудом и отвращением <…>. Я знаю, что спать полезно, а вот не могу привыкнуть к этой измене рассудку, к этому еженощному, довольно анекдотическому разрыву со своим сознанием», — в котором сон сравнивается с «палачом в маске, с топором в черном футляре и с добродушно-бессердечным помощником, которому беспомощный король прокусывает палец» (гл. 5). Как и прозрачный намек на «блестящего и малоприметного В.В.», это место может рассматриваться в качестве одного из многих примеров особой повествовательной стратегии Набокова, целенаправленно стремящегося с помощью небрежно замаскированных автоцитат, автоаллюзий, анаграмматических кодов и прочих способов авторского вторжения в текст разрушить миметическое восприятие произведения и подчеркнуть «вымышленность», «искусственность» воссозданного в нем мира. (коммент. Н.М.)

36

…зловредный Пруст — анекдот о садистических забавах Пруста с несчастными грызунами имеет под собой реальную основу — только Пруст не отрезал крысам головы, а прокалывал их шляпными булавками. Набоков мог узнать об этом прискорбном факте из монографии о Прусте, написанной Джорджем Дунканом Пейнтером (Painter G.D.Proust. The Later Years. Boston. Toronto, 1965, p. 268). (коммент. Н.М.)

37

…надеть ее «лолиту»… юбку (названную по имени андалузской цыганочки из романа Осберха) — еще одна автореминисценция: именем «андалузской цыганочки» Кармен называл свою очаровательно-коварную нимфетку Гумберт Гумберт, автор «Исповеди светлокожего вдовца». «Осберх» же — это анаграмма фамилии аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса (1899–1986). (коммент. Н.М.)

38

…как бы вспоминая иные берега, иные, радиальные волны — парафраз пушкинских строк из стихотворения «Вновь я посетил…» (1835). (коммент. Н.М.)

39

Люсетт спела песенку рыбака из Сен-Мало — одна из первых «шатобриановских» аллюзий (Франсуа Рене де Шатобриан (1768–1848) родился на острове Сен-Мало, в Бретани), предваряющая половодье реминисценций, ассоциативных перекличек, пародий, намеков, соотносящих художественный мир «Ады» с жизнью и творчеством французского писателя. (коммент. Н.М.)

40

…пьеса Шекспира о злом ростовщике — т. е. комедия Уильяма Шекспира «Венецианский купец» (1596). (коммент. Н.М.)

41

В одной маленькой, пухлой русской энциклопедии… — имеется в виду «Энциклопедический словарь» Ф.Ф. Павленкова (1899). (коммент. Н.М.)

42

Уиклоу — графство в Ирландии (историческая провинция Ленстер), известное своими пляжами и курортами. (коммент. Н.М.)

43

Шатобриан (Шарль)… не был родственником великого поэта и мемуариста… — перед нами целый набор причудливых головоломок, заботливо приготовленных автором для доверчивых читателей. Как уже указывалось выше, «великий поэт и мемуарист» Шатобриан родился в Бретани, далеко от Парижа. Цитируемое пятистишие представляет собою пастиш, составленный из двух стихотворений: «Приглашения к путешествию» Шарля Бодлера и менее известного произведения, баллады Шатобриана «Монтаньяр в изгнании», позже включенной в повесть «Последний из Абенсерагов» и получившей название «Романс к Елене». Оба стихотворения созвучны главным темам романа и — шире — всего творчества Набокова: теме ностальгии, неизбывной тоски по оставленной Родине, утраченному раю детства, и неколебимой веры в силу творческого воображения, позволяющего художнику выскользнуть за пределы блеклой повседневности и «перешагнуть, перескочить, перелететь» в истинный, волшебно-прекрасный, идеальный мир, где «все поражает своею чарующей очевидностью и простотой совершенного блага». (коммент. Н.М.)

44

…в той позе, в какой Джульетту учили принять ее Ромео — т. е. в классической позе «на спине»: см.: У. Шекспир «Ромео и Джульетта», акт 1, сц. 3. (коммент. Н.М.)

45

Франсуа Коппе? Да. Неспешно их паденье. Грубо… — не совсем удачный перевод четверостишия из стихотворения Франсуа Коппе «Октябрьское утро». Если сравнить англоязычную версию с оригиналом, выяснится, что Ада, погнавшись в своем переводе за благозвучием рифмы, пожертвовала смысловой четкостью; в итоге в ее варианте «Октябрьского утра» появляется двусмысленность, карикатурно искажающая строки Коппе: неясно, идет ли речь о неспешно опадающей листве или о грехопадении. (коммент. Н.М.)

46

Шастры — древние книги Индии по различным отраслям знаний. Здесь — название общества по изданию эротической литературы «Кама Шастра», организованного Ричардом Фрэнсисом Бертоном (1821–1890), английским путешественником и писателем, известным переводчиком арабских сказок. (коммент. Н.М.)

47

Нефзави — арабский шейх, автор наставления по эротике «Благоуханный сад». В 1859 г. его книга была издана на французском языке в анонимном переводе «Монсеньора барона Р…» (которого во второй главе второй части Набоков упомянет как «барона Ру»). С французского издания английский перевод «Благоуханного сада» сделал уже упоминавшийся Р.Ф. Бертон.

48

Сестра, ты помнишь летний дол, / Ладоры синь и Ардис-Холл?.. — это место не только одна из самых коварных авторских ловушек, но и своего рода кульминация той интертекстуальной симфонии, которую Набоков разыгрывает на страницах «семейной хроники». Стихотворение представляет собой трехъязычное попурри: в оригинале основной английский текст перемежается двустишиями, написанными по-французски и по-русски (в латинской транслитерации), причем каждое двустишие варьирует содержание предыдущего. Текст стихотворения (пастиш, стилизация и пародия одновременно) отсылает к двум поэтическим «предтекстам». Во-первых, к уже упоминавшемуся стихотворению Шатобриана: строки «Ma soeur, te souvient-il encore / Du château que baignait la Dore?» интерполированы в набоковский текст без изменений; восклицание «О! Кто возвратит мне мою Елену…» — с заменой сначала на «мою Алину», затем на Адель, и после — на Люсиль (намек на любимую сестру Шатобриана, вдохновившую его на создание повести «Рене»); во-вторых — к «Мцыри»: набоковский пастиш — это еще и интонационно-мелодическая пародия на лермонтовскую поэму. Ср.: «Старик! я слышал много раз, / Что ты меня от смерти спас…» (коммент. Н.М.)

49

…к темневшим руинам Замка Бриана — очередной «шатобрианизм»: «замок Бриана» представляет собой кальку с французского, буквально переводящую фамилию писателя: Chateau (фр. — замок) + Бриан. (коммент. Н.М.)

50

…король Виктор — мускулинизированный вариант английской королевы Виктории (1819–1901; царствовала с 1837 г.). (коммент. Н.М.)

51

Забавно… у меня как раз… в голове возникла эта фраза, только

фиолетовыми буковками, а у тебя получилось оранжевыми… — цветной слух — особенность эстетического сознания самого Набокова, о которой он не раз упоминал в своих воспоминаниях и интервью (S.O., p. 17; «Другие берега», гл. 2). (коммент. Н.М.)

52

…отпечатки ног Гете и д'Аннунцио — эти демонийские достопримечательности напоминают нам о диковатом американском обычае: увековечивать в гипсе отпечатки подошв и ладоней кино- и поп-звезд. (коммент. Н.М.)

53

…озеро Леман — франкоязычное название Женевского озера, на берегах которого действительно побывали Н.М. Карамзин (осенью 1789 г.) и Л.Н. Толстой (весной 1857 г.). (коммент. Н.М.)

54

Я умираю, следовательно, я существую — полемически переосмысленный афоризм Рене Декарта: «Я мыслю — следовательно, существую» из его книги «Начала философии» (1644; I, 47). Смысл этой переделки станет ясен по прочтении четвертой части романа. (коммент. Н.М.)

55

…цитировать Делиля — а точнее — поэму «Три царства природы» французского поэта Жака Делиля (1738–1813). (коммент. Н.М.)

56

…ручной тормоз наверняка поставили еще до того, как Людовик XVI переселился в Англию — мистификация: Людовик XVI был гильотинирован 21 января 1793 г. и никак не мог эмигрировать в Англию. Туда после многолетних скитаний по Европе перебрался его брат, будущий Людовик XVIII. (коммент. Н.М.)

57

…похожа на юную сопрано Марию Кузнецову — Мария Николаевна Кузнецова (1880–1970), оперное сопрано, солистка Мариинского театра в Петербурге (1905–1917). Одной из ее главных ролей считается партия Татьяны в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин». (коммент. Н.М.)

58

Корделия О'Лири — переделанное на ирландский манер имя шекспировской героини из «Короля Лира». (коммент. Н.М.)

59

…если постараться, мы припомним точное название источника, только не Тильтиль, это из «Синей Бороды» — очередная мистификация: Тильтиль — имя одного из главных героев философской пьесы-сказки Мориса Метерлинка (1862–1949) «Синяя птица» (1908). (коммент. Н.М.)

60

«Mytilène, petite isle» Луи Пьера — литературная аллюзия, продолжающая развитие «лесбийской» темы, связанной с образом Кордулы. Дело в том, что на Антитерре Луи Пьер замещает французского поэта-символиста Пьера Луи (1870–1925), прославившегося книгой стихотворений в прозе «Песни Билитис» (1894). «Песни…» были поданы публике как вольные переводы из древнегреческой поэтессы Билитис, якобы жившей в VI в. до н. э. на острове Лесбос (древней столицей Лесбоса был город Митилена) и воспевшей в любовных элегиях предмет своей пылкой страсти — девушку по имени Мнасидика. (коммент. Н.М.)

61

Амбиверт — гармоничная личность, совмещающая свойства интроверта и экстраверта. (коммент. Н.М.)

62

Камберуэльская красавица — бабочка-траурница (Vanessa antiopa), найденная впервые в Камберуэлле (Англия) в 1748 г. (коммент. Н.М.)

63

…запечатленный в гипсе отпечаток по-крестьянски босой ступни Толстого — помимо насмешки над уже упомянутым выше голливудским обычаем, в этом пассаже можно усмотреть и пародийную реплику на роман эмигрантского писателя Василия Яновского «Мир» (1931). В свое время Набоков отозвался на него разгромной рецензией «Волк, волк!» (Наш век. 1932. 31 января). В «Аде» объектом пародирования стал неосознанно-комичный эпизод «Мира», в котором один из главных героев, русский эмигрант Изотов, рассказывает о своем неправдоподобно-символическом сне: «Мне снится путь. Крутой, опасный

<…>. Я подымаюсь отвесными тропами <…>. Все выше, все круче твердь. Все неприступнее бездна. Вот оборвалась едва намечавшаяся тропа. Там окаменели два–три отпечатка ног <…>. Вот след огромного человека, отдыхавшего, растянувшегося во весь рост. Ясно сохранились формы статного тела. „Гете здесь отдыхал“, — шепчу я. Я вижу дальше узловатую, мозолистую ступню, затвердевшую в серой лаве. Я думаю: „Такую ногу мог иметь только Толстой“» (Яновский В.С. Мир. Берлин, 1931. С. 242). (коммент. Н.М.)

64

Ван наслаждался… …громоподобными германскими музыкальными драмами — уникальная для набоковских героев любовь к музыке. Сам Набоков не раз признавался в своем равнодушном непонимании серьезной музыки: «Увы, для меня музыка всегда была и будет лишь произвольным нафоможднием варварских звучаний» («Другие берега», гл. 2). Примерно такое же отношение к музыке свойственно и большинству главных героев Набокова — Годунову–Чердынцеву из «Дара», Виктору Ивановичу, центральному персонажу рассказа «Музыка», Чарльзу Кинботу, герою–повествователю «Бледного огня» и др. Однако намек на вагнеровские музыкальные драмы («великаны» и «кудесники» позволяют говорить о тетралогии «Кольцо Нибелунга») не случаен. Если вспомнить, что сюжетный стержень драмы «Валькирия» — трагическая любовь брата и сестры, Зигмунда и Зигелинды, то нам станет ясно, почему Ван Вин нарушает традицию набоковской «музыкофобии». (коммент. Н.М.)

65

Чуз — так в романе «Ада» именуется Кембриджский университет. (коммент. Н.М.)

66

…он представлял голубую команду колледжа — это позволяет идентифицировать Чуз с Кембриджем, где в период с 1919 по 1922 г.

учился В. Набоков. Мартын Эдельвейс, главный герой во многом автобиографического романа Набокова «Подвиг», как и его создатель, игравший в футбольной команде Кембриджа, «гордился тем, что он, иностранец <…>, за блестящую игру произведен в звание коллежского „голубого“, — может носить, вместо пиджака, чудесную голубую куртку» («Подвиг», гл. 27). (коммент. Н.М.)

67

Под знойным небом Аргентины… — отголосок из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» (ч. 1, гл. 25), слова танго, под воображаемую музыку которого в гордом одиночестве танцует Остап Бендер. (коммент. Н.М.)

68

Чуфут-Кале — татарское название города-крепости (у караимов она называлась Кирк-Ер), основанной на вершине одной из скал Крымского полуострова и служившей последним убежищем сначала хазарским, а затем кипчакским и золотоордынским ханам. Согласно Энциклопедическому словарю Брогкауза — Ефрона, к 1870-м годам XIX века Чуфут-Кале был оставлен своими последними обитателями — караимами, переселившимися в расположенный неподалеку Бахчисарай. Во время своего пребывания в Крыму Набоков ловил в этом месте бабочек. (коммент. Н.М.)

69

Как известный венецианец, я отвесил тебе восемь комплиментов — Ван сравнивает себя с Джовани Джакомо Казановой (1725—1798), уроженцем Венеции, вошедшим в историю благодаря своим многотомным мемуарам «История моей жизни» (1791—1798), сочинению, отзвуки которого явственно различимы во многих эпизодах «Ады». (коммент. Н.М.)

70

…скачком в духе Нуржинского — гибрид из фамилий двух прославленных русских танцовщиков: Вацлава Нижинского (1890–1950) и Рудольфа Нуриева (1938–1993). (коммент. Н.М.)

71

Ван изменил свой путь, перейдя с усыпанной гравием дорожки на мураву лужайки (обратно действиям д-ра Эро…) — т. е. обратно действиям доктора Кемпа, чье бегство от разъяренного Человека-Невидимки описывается в финальной главе романа Г. Уэллса: «Он [Кемп] несся крупной рысью, и когда попадались неудобные места, неровный булыжник или осколки разбитого стекла, ярко блестевшие на солнце, то бежал прямо по ним, предоставляя босым ногам своего преследователя избирать путь по собственному усмотрению». (коммент. Н.М.)

72

Петер де Раст — весьма фривольный каламбур, если учесть, как прозвучит имя мифического пейзажиста в беглом русском произношении. (коммент. Н.М.)

73

…барон Клим Авидов — анаграмма «ВЛАДИМИР НАБОКОВ». (коммент. Н.М.)

74

недоумком «Ожеговым»… самобытное величие четырехтомного «Даля»… — на протяжении многих лет Толковый словарь живого великорусского языка (1863–1866) В.И. Даля был для Набокова настольной книгой (этого явно не скажешь о Словаре русского языка (1949) С.И. Ожегова), о чем свидетельствует, в частности, следующее место из «Других берегов»: «Однажды, на рыночной площади посреди Кембриджа, я нашел на книжном лотке среди подержанных Гомеров и Горациев Толковый словарь Даля в четырех томах. Я приобрел его за полкроны и читал его, по нескольку страниц ежевечерне, отмечая прелестные слова и выражения: „ольял“ — будка на баржах (теперь уже поздно, никогда не пригодится)» (гл. 12). (коммент. Н.М.)

75

…монологи из злосчастной «Береники» — Ж. Расин, автор трагедии «Береника» (пост. 1670, изд. 1671), явно не относился к числу любимых набоковских авторов. О чем можно судить хотя бы из воспоминаний «Другие берега», где произведения Расина называются «лжеклассическим бредом» (гл. 5). (коммент. Н.М.)

76

Русский юморист Азов считает, что ерунда произошла от немецкого hier und da — под «русского юмориста Азова» автор загримировал Н.С. Лескова, писавшего об этимологии слова «ерунда» в заметке «Откуда пошла глаголемая „ерунда“, или „хирунда“». В ней доказывалось, что русское «ерунда» произошло от поговорки «hier und da» (сюда и туда), широко распространенной среди петербургских ремесленников (главным образом — колбасников) немецкого происхождения: «Когда немецкий простолюдин, работник, в разговоре с другим человеком одного с ним круга хочет кратко высказаться о каком-нибудь предмете так, чтобы представить его малозначительность, несамостоятельность или совершенное ничтожество, которое можно кинуть туда и сюда, — то он коротко говорит: „Hier und da“. Между работниками из немцев в Петербурге это краткое и энергически определенное выражение в очень сильном ходу… Работники-немцы в Петербурге зачастую работают рука об руку с мастеровыми русского происхождения, и еще более они сближаются в „биргалах“, за кружками. Русский собеседник или собутыльник вслушивается в эту фразу, незаметно привыкает к ней и,

будучи от природы большим подражателем, сам начинает болтать то же самое, но, конечно, немножко приспособляя немецкое произведение к своему фасону. Отсюда простолюдин, непосредственно занявший часто упоминаемое здесь слово у немцев, по сю пору выговаривает его „хирунда“, а люди образованные, до которых слово это дошло уже передачею через полпивную — облагородили его по своему вкусу и стали произносить „ерунда“» (Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 11. С. 95). (коммент. Н.М.)

77

…я репетировала сцену с Качаловым в театре «Чайка» — т. е. в Московском Художественном театре, эмблемой которого в честь чеховской пьесы стала чайка. Постановка грибоедовской пьесы, на участие в которой претендует Марина, состоялась в 1906 г.; в роли Чацкого выступил выдающийся русский актер Василий Иванович Качалов (1875–1948). (коммент. Н.М.)

78

Сестры твоей жизни — каламбур Демона Вина рассчитан на человека, хорошо знающего русскую поэзию: «Сестра моя жизнь» (1922) — название одной из лирических книг Б.Л. Пастернака, первое стихотворение которой называется «Памяти Демона», что не могло не импонировать набоковскому герою. (коммент. Н.М.)

79

Псих-авеню — в оригинале «Mad avenue», комично усеченное Мэдисон-авеню (фешенебельный проспект в Нью-Йорке). (коммент. Н.М.)

80

…салфеточная икра — прессованная икра красной рыбы. (коммент. Н.М.)

81

…по-особому приготовленная спаржа… которая, как утверждают поваренные книги, прустовских последствий не вызывает — под «прустовскими последствиями» подразумеваются те жестокие приступы астмы, которым были подвержены Марсель Пруст, а также одна из его второстепенных героинь: кухарка тетушки Леонии — эпизодическая фигура из романа «По направлению к Свану», мучительно страдавшая от одного запаха спаржи. (коммент. Н.М.)

82

Четвертая Авеню — улица, не существующая в реальном Нью-Йорке, где за Третьей Авеню следует Пятая Авеню. (коммент. Н.М.)

83

Семен Афанасьевич Венгеров (1855—1954) — С.А. Венгеров (1855—1920), историк литературы, библиограф, профессор Петербургского университета. (коммент. Н.М.)

84

…младые гурманы с каннибальским восторгом вырывают устриц «жирных и живых» прямо из «раковин морских» — имеется в виду следующее место

«Отрывков из путешествия Евгения Онегина»: «Что устрицы? Пришли! О радость! / Летит обжорливая младость / Глотать из раковин морских / Затворниц жирных и живых…». (коммент. Н.М.)

85

…во времена Тимура и Набока — от татарского князька Набока выводил родословную дворянского рода Набоковых двоюродный дядя писателя Владимир Викторович Голубцов, «большой любитель» генеалогических изысканий, как характеризует его автор «Других берегов» (гл. 3). (коммент. Н.М.)

86

…грингрэс — демонийский эквивалент «блугрэс» («bluegrass»), музыкального стиля (разновидность кантри) шотландско-ирландского происхождения, распространенного на Среднем Западе США и ставшего особенно популярным в начале пятидесятых годов XX в. (коммент. Н.М.)

87

«Налейте, налейте бокалы полней!..» — слова застольной песни Альфреда из первого действия оперы Джузеппе Верди «Травиата» (1855). (коммент. Н.М.)

88

Травердиата — контаминация, соединяющая фамилию великого итальянского композитора с названием его знаменитой оперы. (коммент. Н.М.)

89

«Таттерсалия» — от имени Ричарда Таттерсола (1724–1795), основателя лондонского аукциона чистокровных лошадей. (коммент. Н.М.)

90

«Ombres et couleurs», издание 1820-го года новелл Шатобриана — мистификация: у Шатобриана не было подобной книги. Возможно, Набоков обыгрывает название автобиографической книги З. Шаховской «Свет и Тени» (Париж, 1964). (коммент. Н.М.)

91

…«пембрук» — небольшой квадратный столик на четырех ножках с откидными досками (по названию графства Пембрукшир, иначе — Пембрук, на юго-западе Уэльса, Великобритания). (коммент. Н.М.)

92

В романе Толстого она шла до самого конца платформы. Первый случай внутреннего монолога… — Ван вспоминает один из финальных эпизодов «Анны Карениной» — сцену самоубийства Анны, при создании которой Толстой одним из первых в мировой литературе использовал прием «внутреннего монолога», после него усиленно эксплуатировавшийся «французами» (Бурже, Прустом и др.) и «ирландцем» (Джеймсом Джойсом). Как и во многих других эпизодах «Ады», размышления Вана Вина на литературные темы перекликаются с мыслями самого Набокова: «…Поток сознания, или Внутренний Монолог, — способ изображения,

изобретенный Толстым <…> задолго до Джеймса Джойса. Это естественный ход сознания, то натыкающийся на чувства и воспоминания, то уходящий под землю, то, как скрытый ключ, бьющий из-под земли и отражающий частицы внешнего мира; своего рода запись сознания действующего лица, текущего вперед и вперед, перескакивание с одного образа или идеи на другую без всякого авторского комментария или истолкования» (Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 263). (коммент. Н.М.)

93

…жалкий Поток Сознания — весь отрывок представляет собой пародию на «Улисса» Джойса и — шире — на так называемую «технику Потока Сознания», к которой сам Набоков относился весьма скептически: «При использовании такого приема преувеличивается словесная сторона мышления. Человек не всегда мыслит словами, он мыслит и образами, в то время как техника потока сознания предполагает лишь течение слов, которые могут быть записаны…» (Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1999. С. 373). (коммент. Н.М.)

94

…топинамбур — земляная груша, клубневый овощ причудливой формы. (коммент. Н.М.)

95

Страданиям юного Вина — Ван обыгрывает название гетевского романа «Страдания молодого Вертера» (1774). (коммент. Н.М.)

96

…я жив — кто это? — не военный — сострадание — пить… — «микрофильмированные мысли» Перси де Прэ имитируют внутренний монолог умирающего Праскухина — персонажа «Севастопольских рассказов» («Севастополь в мае») Л.Н. Толстого. (коммент. Н.М.)

97

…лорд Голь — мифический вице-король лорд Голь является, очевидно, пародийным двойником выдающегося государственного деятеля Франции Шарля де Голля (1899–1970) (Goal = de Gaulle). (коммент. Н.М.)

98

Джеймс Джонс — «стереотипное» имя принадлежит, в частности, популярному в пятидесятые — шестидесятые годы американскому беллетристу (1921–1977), автору романов о Второй мировой войне. (коммент. Н.М.)

99

…это полотно как-то связано с сатирической поэмой Бранта — стихотворная сатира немецкого писателя-гуманиста Себастьяна Бранта (1458–1521) «Корабль дураков» (1494) обобщенно выражает ту же идею, что и аллегорическая картина Босха: люди — беспечные пассажиры корабля дураков, плывущего в никуда. (коммент. Н.М.)

100

Верная заповеди Стана — автор подчеркивает увлеченность Марины «Системой Станиславского», требующей от актера не имитации, а подлинного переживания в момент творчества на сцене. (коммент. Н.М.)

101

Таргелион — ежегодный праздник в древних Афинах, во время которого двое преступников изгонялись из города. (коммент. Н.М.)

102

Антикамушкин — то же, что анти-Эйнштейн (в оригинале у Набокова — «Counterstone»). (коммент. Н.М.)

103

…мосты времени — выражение из книги «Кисидах» (1880) английского путешественника и писателя Ричарда Фрэнсиса Бертона. (коммент. Н.М.)

104

Рецензент надменно аттестовал вклад Вольтэманда… — ироничное саморецензирование, пародийно воспроизводящее возможные суждения критиков, характерный прием Набокова в игре с читателем, ранее с блеском продемонстрированный им в пятой главе романа «Дар». (коммент. Н.М.)

105

Герр Миспель… углядел в «Письмах с Терры» влияние Осберха — литературные критики утверждали, что в творчестве Хорхе Луиса Борхеса и Набокова имеется много общего. Сам Набоков, болезненно реагировавший на любые попытки «пылких литературных сопоставлений», не был в восторге от сравнений с Борхесом. Однажды, раздраженный настойчивыми попытками очередного интервьюера завести разговор на зыбкую почву литературных параллелей и сопоставлений — в частности с Борхесом и Беккетом, — Набоков признался, что чувствует себя «разбойником, распятым между двух Христов» (S.O., p. 184). Назойливые сличения набоковских книг с сочинениями Борхеса, возможно, и повлияли на постепенное охлаждение Набокова к творчеству аргентинского писателя. Если в начале 60-х годов Набоков называл Борхеса одним из своих любимых авторов и восторгался его «чудесными лабиринтами», то в интервью 1969 года журналу «Тайм» говорил о своем собрате по перу уже в ином, менее восторженном тоне: «Сначала мы с Верой [В.Е. Набоковой, женой писателя] наслаждались, читая его. Мы ощущали себя перед фасадом классического портика, но оказалось, что за этой декорацией ничего нет» (Time. 1969. 23 May, p. 51). (коммент. Н.М.)

106

Бен Сирин — продолжение авторской игры с читателями: Сирин — псевдоним самого Набокова, которым были подписаны его русскоязычные произведения. (коммент. Н.М.)

107

…каллипигийский — образовано от названия одного из самых чувственных скульптурных изображений богини любви, статуи Венеры Каллипиги (Прекраснозадой) (Неаполь, Национальный музей, римская копия с греческого оригинала III в. до н. э.). (коммент. Н.М.)

108

Адам, Роберт (1728–1792) – английский архитектор, представитель классицизма. (коммент. Н.М.)

109

Геспер – в греческой мифологии – божество вечерней звезды, т. е. работники «любоцвета» трудились почти целые сутки, пытаясь ублажить своего одряхлевшего клиента. (коммент. Н.М.)

110

Данн, Джон Уильям (1875–1949) – английский мыслитель, «блистательная жертва той самой порочной традиции, которую возвестил Бергсон: рассматривать время как четвертое измерение пространства» (Х.Л. Борхес. «Время и Дж. У. Данн» (1952) // Борхес Х.Л. Сочинения. В 3 т. Рига, 1994. Т.2. С. 25). В своих трактатах («Опыты со временем», 1927; «Серийное мироздание», 1934; «Ничто не умирает», 1940 и др.) Данн разработал красивую, хотя и довольно путаную теорию о «бесконечных измерениях времени», согласно которой «будущее – со всеми превратностями и подробностями – уже существует. По направлению к предустановленному будущему <…> течет абсолютная река космического времени, а может быть, смертные реки наших жизней. Это истечение, этот поток, требует определенного времени; так у нас появится второе время, несущее первое, третье, переносящее второе, и так далее до бесконечности… Таков механизм, предложенный Данном. В этих гипотетических (иллюзорных) временах получают беспредельное пристанище неуловимые субъекты, размноженные очередной регрессией» (там же). Одним из доказательств существования «предустановленного» будущего Данн считал пророческие сны, в которых сливаются ближайшее будущее и непосредственное прошлое. (коммент. Н.М.)

111

Рейли, Уолтер (1552–1618) – английский политический деятель, поэт, историк, фаворит Елизаветы I; обезглавлен по обвинению в причастности к заговору против английского короля Якова I. (коммент. Н.М.)

112

«Клише из Клиши» – обыгрывается название повести не любимого Набоковым Генри Миллера «Тихие дни в Клиши». (коммент. Н.М.)

113

«Избранное» Фолкнерманна – гремучая смесь из Томаса Манна и Уильяма Фолкнера, писателей, к которым Набоков относился крайне отрицательно. Особенно это касается Томаса Манна (1875–1955), который был постоянной мишенью всех набоковских инвектив, направленных против «псевдолитературы больших идей». Немецкий писатель был для Набокова своего рода «мальчиком для битья», которому доставалось и в письмах, и в публичных выступлениях. Так, в одном из интервью Набоков, объясняя своему собеседнику значение русского слова «пошлость», в качестве примера назвал манновскую новеллу «Смерть в Венеции» (S.O., p. 101). С неприязнью отзывался Набоков и о «кукурузных хрониках» Фолкнера: «Я ненавижу это пыхтенье выдохшегося романтизма, идущего еще от Марлинского и Виктора Гюго <…>. Запоздалый романтизм Фолкнера и совершенно непереносимые библейские громыханья и неистовства (которые и не неистовства вовсе, а закостеневшие банальности) и все остальные его напыщенности кажутся мне отвратительными» (NWL, pp. 112–213). (коммент. Н.М.)

114

La durée – длительность (фр.) – центральное понятие философской системы Анри Бергсона (1859–1941), философа, чье учение о времени как главном основании человеческого бытия (предполагающем

взаимопроникновение прошлого и настоящего, постоянное развитие), а также идеи об интуиции, памяти, внутренней свободе оказали огромное влияние на мировоззрение В. Набокова и, безусловно, определили содержание философских трудов набоковского героя. (коммент. Н.М.)

115

Пока живет еще это тело… — Ван продолжает цитировать любовное послание Гамлета, доверяясь переводу А. Кронеберга. (коммент. Н.М.)

116

Герод… — или Геронд, древнегреческий писатель III в. до н. э. Главное произведение — «Мимиямбы»: небольшие бытовые сценки, «мимы», написанные холиямбом (разновидностью шестистопного ямба). (коммент. Н.М.)

117

…Валентинов штат — штат Аризона, вошедший в состав США 14 февраля 1912 г. (в День Святого Валентина). (коммент. Н.М.)

118

…она всего лишь имела в виду придворного из «Гамлета» — Вольтиманда, второстепенного персонажа «Гамлета», которому Шекспир доверил всего лишь несколько реплик. (коммент. Н.М.)

119

…изучать… трех кошмарных Томов — в эту кошмарную троицу скорее всего входят глубоко антипатичные Набокову Томас Стернз Элиот, Томас Манн, а также американский писатель Томас Вулф, в набоковском телеинтервью 1965 г. причисленный к категории «великих посредственностей» — писателей с «дутой репутацией» (S.O., p. 54). (коммент. Н.М.)

120

«Клара Мертвого» — вероятно, сочетание заглавий повести И.С. Тургенева «Клара Милич» (1883) и романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» (1957). (коммент. Н.М.)

121

…начальные аккорды романса — имеется в виду романс на стихотворение А.А. Фета «Сияла ночь. Луной был полон сад…» (1877). (коммент. Н.М.)

122

«Забыты нежные лобзанья» — строка из одноименного романса (1900) Анатолия Ленина. (коммент. Н.М.)

123

«То было раннею весной…» — романс П.И. Чайковского на слова одноименного стихотворения (1871) А.К. Толстого. (коммент. Н.М.)

124

«Много песен слыхал я в родной стороне…» — начальные строки «Дубинушки». (коммент. Н.М.)

125

Уж гасли в комнатах огни… — стихотворение «Уж гасли в комнате огни…» (1883) написано великим князем Константином Константиновичем Романовым (1858–1915), президентом Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (1889–1915), автором нескольких поэтических сборников, вышедших под псевдонимом «К.Р.». (коммент. Н.М.)

126

Божество Садовое — т. е. Приап, в античной мифологии фаллическое божество производительных сил природы, страж садов. (коммент. Н.М.)

127

Акразия — персонаж аллегорической поэмы «Королева фей» (1590–1596) английского поэта Эдмунда Спенсера (1552–1599). (коммент. Н.М.)

128

…ситуация в духе Казановы — вероятно, здесь имеется в виду эпизод из мемуаров Казановы «История моей жизни», в котором описываются его упоительные забавы с двумя очаровательно сговорчивыми сестрами, Нанеттой и Мартон. (коммент. Н.М.)

129

…колибри Loddigesia — редкий вид колибри, единственный экземпляр которого был обнаружен в Перу. (коммент. Н.М.)

130

Орхидея Oncidium — один из видов орхидей в Южной Америке. (коммент. Н.М.)

131

«Молодые и обреченные» — варьируется заглавие романа американского писателя Ф.С. Фицджеральда «Прекрасные, но обреченные» (1922). (коммент. Н.М.)

132

…игравшей… в «Летучих кольцах» — контаминация названий двух произведений Рихарда Вагнера — оперы «Летучий голландец» (1871) и музыкально-драматической тетралогии «Кольцо Нибелунга» (1854–1874).

(коммент. Н.М.)

133

Нет, в тексте сначала «окно»! — Ван совершенно прав. В монологе Ирины действительно сначала упоминается «окно», а затем уже «потолок». У Чехова вся фраза звучит так: «Я не помню, как по-итальянски окно или вот потолок» (Три сестры, III). (коммент. Н.М.)

134

Tchechoff… избавился от ненужных ему сведений… начинив ими нелепейшую начальную… сцену — критические замечания Вана Вина по адресу автора «Четырех сестер» аналогичны тем, которые позволил себе Набоков в лекции о «Чайке», где, по его мнению, экспозиция «излишне прямолинейна» (Набоков В.В. Лекции по русской литературе… С. 355). (коммент. Н.М.)

135

Дэнглилиф — пародийный двойник театрального деятеля С.П. Дягилева (1872–1929). (коммент. Н.М.)

136

Вообразил, будто фантастический грызун-наездник увлек его из дома — галлюцинация Дэна вызывает ассоциацию с деталью картины Иеронимуса Босха «Искушение св. Антония» (Лиссабон, Национальный музей) — с изображением фантастически огромной крысы, покрытой алой попоной и оседланной безобразным получеловеком-полупнем с хвостом ящера.

(коммент. Н.М.)

137

Цицикар — город на северо-востоке Китая, некстати помянутый доктором Чебутыкиным во втором действии «Трех сестер». (коммент. Н.М.)

138

Йерун Антнисзон ван Акен — полное имя Иеронимуса Босха. (коммент. Н.М.)

139

…железное жало старой Нюрнбергской Девы — немецкая машина пытки и казни XVI века («Железная дева»), представлявшая собой железную человеческую фигуру, усаженную внутри железными шипами, куда помещался преступник. Макет «Железной девы», изготовленный в XIX веке, демонстрируется в Нюрнбергском замке. (коммент. Н.М.)

140

Демон, выступая в роли Бориса Годунова, разразился странными, пугающими угольно-черными слезами… — причина этих слез объясняется очень просто. Вспомним знаменитую пушкинскую трагедию, слова из предсмертного монолога Бориса Годунова, обращенные к его сыну Федору: «Ты муж и царь; люби свою сестру…». (коммент. Н.М.)

141

Птерион — точка соединения лобной, теменной и височной костей в человеческом черепе. (коммент. Н.М.)

142

«Живуайеризм» — в названии Ванова сочинения соединены два термина: «clairvoyance» (ясновидение, фр.) и «voyerisme». (коммент. Н.М.)

143

Гийом Питт-авеню — очередная авторская шутка: парижская улица, названная в честь английского политика Уильяма Питта (1759–1806), злейшего врага революционной, а затем и наполеоновской Франции, это все равно что «Нахимовский бульвар» где-нибудь в Стамбуле, «Милошевич-авеню» в Нью-Йорке или «Проезд Гудериана» в Туле или Москве. (коммент. Н.М.)

144

…премия Академии Бонеля — демонийский аналог премии Нобеля, которую в отличие от У. Фолкнера, Т. Манна и Т.С. Элиота так и не получил В.В. Набоков. (коммент. Н.М.)

145

«Приглашение к оргазму» — английское заглавие мифического бестселлера напоминает заглавие набоковского романа «Приглашение на казнь». (коммент. Н.М.)

146

…престарелый Кифар К.Л. Суин… а также еще более старый Милтон Элиот — эти комичные фигуры имеют своим прототипом англо-американского поэта Т.С. Элиота (1888–1965): «Суин» напоминает элиотовского Суини — главного героя сатирических стихотворений 20-х годов и драматических фрагментов «Суини-агонист» (1931). В своих публичных выступлениях Набоков подчеркивал свою антипатию к Элиоту, а в частных письмах называл его не иначе, как «мошенник» или «шарлатан» (см.: NWL., p. 237, S.L., p. 90). (коммент. Н.М.)

147

…изображенный в той же позе на гнусной афишке… грязной шлюхи… — одна из «живописных» аллюзий «Ады»: «художником-неудачником» назван французский художник-постимпрессионист Анри де Тулуз-Лотрек (1864–1901); под «гнусной афишкой» следует понимать одну из самых известных его работ — цветную литографию «Японский диван» (1892), рекламирующую кафешантан Фурнье; под «грязной шлюхой» — позировавшую Лотреку Джейн Авриль, солистку кабаре «Мулен Руж». В то же время весь эпизод представляет собой экфрасис печатавшегося в журнале «Нью-Йоркер» постера, рекламировавшего французские вина. (коммент. Н.М.)

148

…чурбаны с полированными дырами à la Генрих Хейделанд… — одна из самых головоломных двуязычных «шифрограмм» Набокова; «Генрих Хейделанд» — это германизированное имя некогда модного английского скульптора и рисовальщика Генри Мура (1898–1986); на роль «полированных чурбанов» с успехом могут претендовать несколько его

работ: «Король и королева» (1952–1953) и скульптурная фантазия «Бронза L 94» (1961). (коммент. Н.М.)

149

…громадный, уродливый обрубок… озаглавленный «Материнство»… – это творение «старика Генриха» вызывает ассоциацию с двумя другими тяжеловесными скульптурными композициями Мура: «Мать и дитя» (1943–1944) и «Сидящая мать и дитя, или Бронза L 86 1/2» (1960–1961). (коммент. Н.М.)

150

…выражаешься как… распутная Люцинда – имеется в виду героиня неоконченного романа Фридриха Шлегеля «Люцинда» (1799), вызвавшего у современников упреки в непристойности, поскольку его отличала апология свободной любви и вызывающе-дерзкая (по меркам того времени) «чувственная прямота». По своим формально-композиционным особенностям (принцип жанрово-стилевого эклектизма – сочетание хроникального повествования с лирическими медитациями, философскими рассуждениями и драматизированными сценками) и по своей тематике – «роман изображает свободную связь влюбленных, и эта связь вопреки самым священным предрассудкам трактуется как безгрешная, не имеющая нужды в каком-либо легальном оформлении» (Н. Берковский) – «Люцинда» может смело считаться предтечей набоковского романа-Протея. (коммент. Н.М.)

151

На звезду кошке нечего пялиться – вывернутая наизнанку английская поговорка «a cat may look at a king» (букв.: кошка может смотреть на короля; то есть: и простые люди имеют свои права), родственная таким перлам русской народной мудрости, как «вольно псу и на владыку брехать» и «под солнцем все равны». (коммент. Н.М.)

152

Бледный Огонь — очевидно, скакун Тома Кокса назван так в честь набоковского романа «Бледный огонь» (1962). (коммент. Н.М.)

153

Весна в Фиальте — автоаллюзия, напоминающая читателю о рассказе Набокова «Весна в Фиальте» (1936) из одноименного сборника рассказов (1956). (коммент. Н.М.)

154

Мисс Кондор — весьма фривольный франко-английский каламбур (con d'or). (коммент. Н.М.)

155

…утонула бы или нет Офелия, если б не коварный сучок… — реминисценция из монолога королевы Гертруды («Гамлет», д. IV, сц. 7), в котором рассказывается о смерти Офелии:

Есть ива у ручья, к той бедной иве,

склонившейся над ясною водой,

она пришла с гирляндами ромашек,

крапивы, лютиков, лиловой змейки,

зовущейся у вольных пастухов

иначе и грубее, а у наших

холодных дев — перстами мертвых. Там

она взбиралась, вешая на ветви

свои венки, завистливый сучок

сломался, и она с цветами вместе

упала в плачущий ручей…

(Пер. В. Набокова)

(коммент. Н.М.)

156

«Артизан» — издевательски переиначенное название популярного среди американских интеллектуалов журнала «Partisan Review» (одно из значений слова «artisan» — ремесленник). (коммент. Н.М.)

157

Монтру — т. е. Монтрё, город на берегу Женевского озера, где с 1960 г. поселился Набоков: вместе со своей женой он занимал апартаменты на шестом этаже роскошного «Палас-отель». (коммент. Н.М.)

158

«Бесплодоземье» — комично обыгрывается название поэмы Т.С. Элиота

«Бесплодная земля» (1922). (коммент. Н.М.)

159

…лекции, исполняемые… посредством новейшего и почти недоступного «гласописца» — о таком же экстравагантном и не очень обременительном способе чтения лекций мечтал и сам Набоков. Будучи преподавателем Корнеллского университета, он, по его собственному признанию, сделанному в интервью 1967 г., безуспешно пытался заменить свои появления на лекторской кафедре «магнитофонными записями, которые передавались бы по университетскому радио» (S.O., p. 104). (коммент. Н.М.)

160

…князь Гремин — супруг Ады сравнивается с персонажем оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» — мужем Татьяны Лариной. (коммент. Н.М.)

161

«Что знала Дейзи» — контаминация заглавий двух произведений американского писателя Генри Джеймса: повести «Дейзи Миллер» (1879) и романа «Что знала Мейзи» (1897). (коммент. Н.М.)

162

…выражение лица… Косыгина — намек на советского государственного деятеля Алексея Николаевича Косыгина (1904–1980). (коммент. Н.М.)

163

…дражайшая тетушка Белоскунекая-Белоконская — княгиня Белоконская — второстепенный персонаж романа Ф.М. Достоевского «Идиот» (ч. IV, гл. 7). (коммент. Н.М.)

164

…беднягу придется отправить, как в романе, в высокогорный санаторий… — намек на печальную судьбу Ганса Касторпа, героя романа Т. Манна «Волшебная гора» (1924). (коммент. Н.М.)

165

Китс — английский поэт Джон Китс (1795–1821) умер от наследственной чахотки. (коммент. Н.М.)

166

Аврелий Августин — проблеме времени и его длительности посвящена одиннадцатая книга «Исповеди» Блаженного Августина, чьи идеи о субъективности понятия времени оказали определенное влияние на философскую концепцию автора «Ткани времени». (коммент. Н.М.)

168

«Пространство — мельтешение в глазах, а Время — это пение, звучащее в ушах» — автоцитата из поэмы «Бледный огонь», «сочиненной» персонажем одноименного набоковского романа, поэтом Джоном Шейдом. (коммент. Н.М.)

169

Мартэн Гардинэ — демонийский двойник американского популяризатора теории относительности Мартина Гарднера (р. 1914), процитировавшего приведенные выше строки из «Бледного огня» в своей книге «Двуликая вселенная: правое, левое и крушение четности» (1964). (коммент. Н.М.)

170

Гюйо, Жан-Мари (1854–1888) — французский философ; среди прочих произведений автор философского этюда «Происхождение идеи времени», откуда и взята фраза о пространстве и времени. Некоторые теоретические положения Гюйо, безусловно, созвучны идеям профессора Вана Вина. Ср.: «Время не составляет сознания, оно вытекает из него. <…> Это не заранее отлитая модель, в которую укладываются наши ощущения и наши желания, это — русло, которое они сами себе прорывают, это — течение, которое они произвольно принимают в этом русле. <…>. Для нас время есть не что иное, как правильное распределение, организация образов» (Гюйо Ж.-М. Собр. соч. В 4 т. СПб., 1898. Т. 2. С. 79). (коммент. Н.М.)

171

Августин определял Прошлое как то, чего уже нет, а Будущее как то, чего еще нет — ср. у Блаженного Августина: «Каким же образом уменьшается или исчезает будущее, которого еще нет? Каким образом растет прошлое, которого уже нет? Только потому, что это происходит в душе, и только в ней существует три времени» («Исповедь», кн. XI,

гл. 28). (коммент. Н.М.)

172

Стратиграфия — раздел географии, изучающий последовательность формирования горных пород, их первичные пространственные взаимоотношения и относительный возраст для установления геологического строения местности и последовательности событий в геологической истории Земли. Уф-ф! (коммент. Н.М.)

173

«Алиса в Камере обскуре» — контаминация заглавий двух произведений: романа «Камера обскура» (1932–1933) В. Набокова и повести-сказки «Алиса в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла. (коммент. Н.М.)

174

Альраун — немецкое название корня Мандрагоры, чудесного растения, которому мифопоэтическое сознание приписывало сверхъестественные качества. (коммент. Н.М.)

175

Гутзон — имеется в виду английский мореплаватель Генри Норман Гудзон (ок. 1550–1611): в 1609 г. в поисках северозападного прохода в Индию и Китай он исследовал часть побережья Северной Америки, открыл устье реки, позже названной в честь его имени. (коммент. Н.М.)

176

…до закурсивленных претенциозным романистом фрагментов, долженствующих передать шквал мыслей его протагониста — речь идет о повествовательной манере У. Фолкнера; его «чудовищную манеру все выделять курсивом» Набоков высмеял в своем «антифолкнеровском» послании Эдмунду Уилсону (NWL., p. 213). (коммент. Н.М.)

177

…Джона Шейда — на русский — пророческое место: первый перевод набоковского романа «Pale Fire» (1962) был осуществлен В.Е. Набоковой (он вышел в ардисовском издании 1983 г. под заглавием «Бледный огонь»). (коммент. Н.М.)

178

В 1905 году… Норвегия… — расторгла Шведско-Норвежскую унию, навязанную ей силой в 1814 г. (коммент. Н.М.)

179

…в 1911 году норвежские войска, предводительствуемые Амундсеном, достигают Южного полюса, а в это время итальянские вламываются в Турцию — имеются в виду успешное покорение Южного полюса норвежской экспедицией во главе со знаменитым путешественником Руалем Амундсеном в декабре 1911 г. и Трипалитанская война (1911–1912) между Италией и Турцией, закончившаяся поражением последней. (коммент. Н.М.)

180

Сигрид Митчел… Маргарет Ундсет… — Набоков перетасовывает имена и фамилии двух писательниц с Терры: норвежской беллетристки Сигрид Ундсет (1889–1949), получившей в 1928 г. Нобелевскую премию, и автора всемирно известного бестселлера «Унесенные ветром» Маргарет Митчел (1900–1940). (коммент. Н.М.)

181

Сидони Колетт — популярная в первой половине XX в. французская писательница Сидони Габриэль Колетт (1873–1954). Набоков был невысокого мнения о ее творчестве. В одном из набоковских писем Эдмунду Уилсону она удостоилась следующего замечания: «Ты спрашиваешь, что я думаю о Колетт. C'est pour les gosses [это для подростков]. Развлекательная литература второго сорта, не стоящая того, чтобы о ней говорить» (NWL., p. 270). (коммент. Н.М.)

182

Абд-эль-Крим — подразумевается Абд Аль-Керим (1881 или 1882–1963), вождь восстания рифских племен Марокко и глава Рифской республики, павшей в мае 1926 г. под натиском испанских и французских войск. (коммент. Н.М.)

183

Старина Шляпвельт и Дядюшка Джо — так на Антитерре зовут государственных и политических деятелей Терры: Ф.Д. Рузвельта (1882–1945) и И.В. Сталина (1879–1953). (коммент. Н.М.)

184

…сварливый французский генерал — очевидно, подразумевается маршал Анри Филипп Петен (1856–1951), во время оккупации Франции немецко-фашистскими войсками (1940–1944) возглавивший коллаборационистский режим «Виши». (коммент. Н.М.)

185

…Советы мы даем… — автоцитата из романа «Бледный огонь». (коммент. Н.М.)

186

Винланд — часть Северной Америки, где, согласно норвежской легенде, в начале века норвежцы основали поселение. (коммент. Н.М.)

187

Все счастливые семьи счастливы… — пародийно переиначенное начало «Анны Карениной» — «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — равно как и нарочито искаженное отчество главной героини толстовского романа, по словам Набокова, открывает «вереницу проклятий» в адрес тех «невежественных и претенциозных переводчиков, кто изменяет своим авторам посредством „переложений“, основа которых — невежество и самоуверенность» (S.O., p. 123). Первыми жертвами карательной «антипереводческой» экспедиции, предпринятой писателем, стали Роберт Лоуэлл (1917–1977), довольно известный американский поэт и переводчик (за грубые ошибки и «отсебятину» в переводе одного из

стихотворений О. Мандельштама на страницах «Ады» ему отведена незавидная роль «мальчика для битья»), и писатель, критик, теоретик перевода Джордж Стайнер (р. 1929), автор статьи «Извращать или преображать. О современном стихотворном переводе» (1966), основные положения которой совершенно не устраивали Набокова — приверженца «абсолютно буквальных переводов». Многие зарубежные литературоведы и критики вполне обоснованно усматривают в начальной фразе набоковской «семейной хроники» полемический ход, сразу выводящий «Аду» за рамки религиозно-нравственной проблематики, причем — не только толстовского романа, но и всей гуманистической традиции реалистической литературы XIX века: «Выворачивая наизнанку предложение, открывающее „Анну Каренину“, Ван (от имени которого ведется повествование) стремится показать, что в отличие от произведения Толстого „Ада“ — не трагедия, а счастливая история о своеобычной семье» (Boyd B. Nabokov's Ada: The Place of Consciousness. Ann Arbor: Ardis, 1985, p. 104). (коммент. Н.М.)

188

Почему бы не Тофана? — генерал намекает на бесцветный, надежный, удобный в употреблении яд «аква Тофана», названный так по имени некой Теофании из Палермо, казненной в 1709 году в Неаполе за незаконный сбыт этой опасной продукции коварным женам, злоумышлявшим против своих мужей. (коммент. Н.М.)

189

…в целях, как сказала бы Джейн Остин, молниеносной сюжетной информации — английская писательница Джейн Остин (1775—1817) и ее роман «Мэнсфилд парк» (1814), включенный, кстати, в набоковский курс лекций «Шедевры мировой литературы», еще не раз будут упоминаться автором «Ады». (коммент. Н.М.)

190

Стабия — древнеримский город, разрушенный во время извержения

вулкана Везувий вместе с Геркуланумом и Помпеями в 79 г. н. э. (коммент. Н.М.)

191

…веселые садоводы, одетые почему-то в грузинские национальные костюмы, совали в рот малину… «Kurva»… «бульварлент»… — гротескное балетное интермеццо содержит в себе издевку над неудачным переводом знаменитого мандельштамовского стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны…», опубликованным Робертом Лоуэллом в газете «Нью-Йорк ревью оф букс». Последние строки стихотворения — «Что ни казнь у него, то малина, / И широкая грудь осетина» — были переданы Лоуэллом таким вот образом: «After each death, he is like a Georgian tribesman, / putting a raspberry into his mouth»; строки «…а не рискну, / У кого под перчаткой не хватит тепла, / Чтоб объехать всю курву-Москву / (Нет, не спрятаться мне от великой муры…») получили следующий вид: «I am not afraid / who was enough heat behind his gloves to hold the reins, / and ride around Moscow's ribbon of boulevards?». (коммент. Н.М.)

192

Аардварк (муравьед) — шутливое название старейшего университета США, Гарварда, в котором с 1941 по 1948 г. Набоков работал в качестве сотрудника Музея сравнительной зоологии. (коммент. Н.М.)

193

Гамалиил — ироничный намек на двадцать девятого президента США Уоррена Гамалиила Хардинга (1865–1923), правление которого (1921–1923) было отмечено неслыханным размахом коррупции в высших структурах государственной власти. (коммент. Н.М.)

194

близ Лолиты… — одна из первых автоаллюзий, напоминающая читателю название самого известного набоковского романа, принесшего ему мировую известность. (коммент. Н.М.)

195

Фарабог — земным прототипом демонийского «бога электричества» является английский физик Майкл Фарадей (см. любой учебник по физике для 8-го класса). (коммент. Н.М.)

196

…все эти медные базарные подделки, весь этот bric-à-Braques — игра слов, содержащая колкий намек на французского художника Жана Брака (Braques) (1882–1963), одного из основоположников кубизма; в то же время это и автореминисценция из романа «Бледный огонь» (см. поэму Джона Шейда, строки 924–926). Кубизм — род живописи, к которому создатель «Ады» относился весьма скептически (в беседе с Аппелем он, в частности, высказал следующее «сильное мнение»: «В кубизме нет того поэтического очарования, которого я требую от искусства» (S.O., p. 167); карикатурна и фигура «шута Ардалиона» — средней руки художника-кубиста из романа «Отчаяние». (коммент. Н.М.)

197

«Princesse Lointaine» — «Принцесса Греза» (1895), пьеса французского драматурга Эдмона Ростана (1868–1918). (коммент. Н.М.)

198

Леди Амхерст — вероятно, родственница Сары Амхерст, жены барона Уильяма Питта Амхерста (1773–1857), генерал-губернатора и вице-короля Индии, при котором в Англию из Бирмы были завезены фазаны. (коммент. Н.М.)

199

«Любовные похождения доктора Мертвого», мистический роман какого-то пастора — перед нами один из многочисленных примеров той необъявленной литературной войны, которую автор «Ады» вел против Б.Л. Пастернака (1890–1960) и его романа «Доктор Живаго» — особенно яростно после того, как «Живаго» потеснил набоковскую «Лолиту» в списках бестселлеров за 1958 г. Неприязненное отношение к творчеству Пастернака характерно уже для «раннего» Набокова (тогда еще писавшего под псевдонимом Сирин). Так, в одной из своих рецензий на лирические сборники двух эмигрантских поэтов (Д. Кобякова и Б. Шаха) В. Сирин — один из самых придирчивых и свирепых рецензентов, которого знала печать первой русской эмиграции, — с первых же строк обрушился не на Кобякова или Шаха, а… на Пастернака: «Есть в России даровитый поэт Пастернак. Стих у него выпуклый, зобастый, таращащий глаза, словно муза его страдает базедовой болезнью. Он без ума от громоздких образов, звучных, но буквальных рифм, рокочущих размеров. Синтаксис у него какой-то развратный — чем-то напоминает он Бенедиктова. <…> Восхищаться Пастернаком мудрено: плоховато он знает русский язык, неумело выражает свою мысль, и вовсе не глубиной и сложностью самой мысли объясняется непонятность многих его стихов. Не одно его стихотворение вызывает у читателя восклицанье: „Экая, ей Богу, чепуха!“» (Руль. Берлин. 1927. 11 мая). И хотя позже, в частной переписке, Набоков назвал Пастернака — наряду с Ходасевичем — одним из лучших русских поэтов своего времени (SL., p. 37), рассуждая о пастернаковском романе, он был неизменно саркастичен и ядовит: «Любой здравомыслящий русский читатель сразу поймет, что эта книга [„Доктор Живаго“] — пробольшевистская и исторически фальшивая. <…> Опуская вопрос о политике, я считаю эту книгу печальным творением, топорным, тривиальным и мелодраматичным, с шаблонными коллизиями, сладострастными юристами, неправдоподобными барышнями и банальными совпадениями» (S.O., p. 206). (коммент. Н.М.)

200

«Les Malheurs de Swann» — неожиданное скрещение двух несоизмеримых по своим художественным достоинствам произведений: романа Марселя Пруста «По направлению к Свану» (вторая часть которого называется «Любовь Свана») и «Les Malheurs de Sophie» (в русском переводе 1869 г. — «Приключения Сони») французской писательницы русского происхождения Софьи Федоровны Сегюр (1799–1874), исправно поставлявшей на литературный рынок сентиментально-нравоучительные истории для детей и юношества. В «Других берегах» (конец 3-й главы) Набоков с упоением ностальгии вспоминает о «вульгарно-сентиментальных» книгах Сегюр как о неотъемлемом атрибуте своего сказочно счастливого «оранжерейного» детства. (коммент. Н.М.)

201

…мадемуазель Ларивьер зачитала свой рассказ «Алмазное ожерелье» — рассказ Ларивьер копирует новеллу Ги де Мопассана «Ожерелье» (1884). (коммент. Н.М.)

202

Адин экземпляр «Аталы» — «Атала, или Любовь двух дикарей в пустыне» (1801), повесть Ф.Р. Шатобриана, наряду с другими его произведениями считающаяся некоторыми исследователями одним из главных «литературных прототипов» «Ады». (О тематической близости «Аталы» и «Ады» см.: Cancogni A. «My Sister, Do You Still Recall?»: Chateaubriand / Nabokov // Comparative literature. 1983. Vol. 35. № 2.) (коммент. Н.М.)

203

…мадемуазель Стопчина — выдуманная автором мадемуазель Стопчина (усеченное «Ростопчина») и название вымышленного романа вызывают ассоциации с двумя возможными прототипами. Первая — уже

упоминавшаяся детская писательница С.К. Сегюр (дочь московского генерал-губернатора времен Отечественной войны 1812 года графа Ф.В. Ростопчина); вторая – известная в свое время писательница и поэтесса Евдокия Петровна Ростопчина (1811–1858) (урожд. Сушкова), написавшая в 1858 г. продолжение грибоедовской комедии «Горе от ума» – «Возвращение Чацкого в Москву, или Встреча знакомых лиц после двадцатипятилетней разлуки» (опубл. посмертно в 1865 г.). (коммент. Н.М.)

204

Ну вот, с Нилом все в порядке. Точка. Стэнли… – историческая фраза, которую произнес перед Королевским Географическим Обществом английский путешественник Джон Хеннинг Спик (1827–1864), в 1858–1863 гг. открывший и исследовавший исток Нила и озеро Виктория. (Слова Спика означали, что проблема истоков Нила, более двух тысяч лет стоявшая перед мировой наукой, наконец-то разрешена.) В передаче Вана эта фраза приписана другому исследователю Африки – Г.М. Стэнли (1841–1904) и шутливо подана в форме телеграфной депеши, будто бы отправленной английским путешественником по мифическому телеграфу с берегов едва исследованного африканского озера. Отметим, что в массовом «пингвиновском» издании «Ады» 1970 года «Стэнли» по просьбе Набокова был заменен на «Спик» (автор решил восстановить историческую справедливость – загубив тем самым один из самых очаровательных анахронизмов «Ады»). (коммент. Н.М.)

205

…чистейший Лоуден… – «второстепенный поэт и переводчик», с которым Ван сравнивает Аду, – вымышленная фигура, имеющая однако двух реальных прототипов – уже встречавшегося нам Роберта Лоуэлла и поэта Уистена Хью Одена (1907–1973), то есть «Лоуден» = Лоу[элл] + [О]ден. О том, почему Набоков выбрал в жертву именно этих литераторов, можно прочесть в его сборнике интервью: «Я нигде не пародирую мистера Одена в „Аде“, я совершенно незнаком с его поэзией, однако я знаю несколько его переводов и сожалею о тех грубых ошибках, которые он так легкомысленно себе позволил. Роберт Лоуэлл, конечно же, еще больший преступник» (S.O., p. 151). (коммент. Н.М.)

206

«словно провинциал, заявившийся в оперу за час до начала…» — псевдоцитата из Флобера вызывает ассоциацию с тем эпизодом «Госпожи Бовари», где описывается, как спешившие на оперу «Лючия ди Ламмермур» супруги Бовари «подошли к театру, когда двери были еще заперты» (ч. 2, гл. 14). (коммент. Н.М.)

207

…кожная болячка, которая недавно была описана известным американским романистом в его романе «Хирон» — ироничный намек на роман Джона Апдайка «Кентавр» (1963), один из главных героев которого, Питер Колдуэлл, болен псориазом (его кожные болячки со вкусом описываются во второй главе романа), а другой центральный персонаж, Колдуэлл-старший, то и дело сопоставляется с Хироном, мудрым кентавром из древнегреческого мифа. Набоков всегда тепло отзывался о творчестве Апдайка, однако натяжек с «пространными и назойливыми аллегориями, основанными на сильно истертом мифе» (ими изобилует апдайковский роман), Набоков не прощал никому, даже своему любимому писателю Джойсу, упорно подчеркивая, например, что «общедоступные и, по существу, тривиальные гомеровские параллели» только отвлекают читателей от «подлинных достоинств» «Улисса». (коммент. Н.М.)

208

Хайнрих Мюллер — германизированное «Генри Миллер», намек на немецкое происхождение американского писателя Генри Миллера (1891–1980), в своих скандально популярных романах (у Даркблоома его трилогия «Сексус», «Плексус», «Нексус» сведена под уничижительное заглавие «Поксус») уделявшего исключительное внимание теме секса. Набоков в одном из писем к своей сестре Елене недвусмысленно выразил свое отношение к творчеству Миллера, назвав его книги «бездарной похабщиной» (Набоков В. Переписка с сестрой. Ann Arbor, 1985. С. 63). (коммент. Н.М.)

209

…про то, как городской мэр задушил девочку по имени Рокетт… — мадемуазель Ларивьер собирается «творчески переработать» сюжет новеллы Ги де Мопассана «Малышка Рок» (1885), главный герой которой — сексуально озабоченный мэр провинциального городка г-н Ренарде («крупный, плотный», «краснолицый», «сильный как бык мужчина», «наделенный целомудренной душой и телом Геркулеса», как описывает его автор) «в неудержимом исступленном порыве» насилует, а затем и убивает очаровательную деревенскую нимфетку — двенадцатилетнюю малышку Рок (у м-ль Ларивьер она переименована в Рокетт), после чего, спустя некоторое время, не выдержав угрызений совести, оканчивает жизнь самоубийством. (коммент. Н.М.)

210

…она даже «Миронтон-миронтэн» не способна выучить — т. е. песенку «Мальбрук в поход собрался», сочиненную во время войны за Испанское наследство (1701–1714) французскими солдатами в связи со слухами о смерти их злейшего врага — герцога Мальборо (1650–1722), под командованием которого английские войска нанесли ряд сокрушительных поражений французам. (коммент. Н.М.)

211

amour-propre… sale amour — жертвой этого «избитого каламбура» был князь Нехлюдов в «Воскресении» Л.Н. Толстого (ч. I, гл. 27), уклонившийся от свидания с Мисси Корчагиной. (коммент. Н.М.)

212

Тулузова кокотка — перенесена на страницы «Ады» с картины Тулуз-Лотрека «Японский диван» (1892). (коммент. Н.М.)

213

…поэма Пушкина «Всадник без головы» — сближение двух несопоставимых литературных фигур — А.С. Пушкина, перед которым Набоков преклонялся «с редкой пылкостью и искренностью», и Майн Рида (1818–1883), автора романа «Всадник без головы», ставшего излюбленным чтением для мальчиков набоковского поколения. О своем мальчишеском увлечении «капитаном Майн Ридом» Набоков рассказывает в десятой главе «Других берегов», где, невзирая на розовый флер ностальгии, о художественных достоинствах «Всадника без головы» говорится вполне определенно: «Теперь читать это подряд невозможно». (коммент. Н.М.)

214

В зеленом Сиренити-Корт румяно заря трепетала. Вот уж трудяга, старый Чуз — пародийный отзвук стихотворения Ш. Бодлера «Предрассветные сумерки» (1852). (коммент. Н.М.)

215

Но, бедняжка моя, оно было фальшивым — парафраз заключительных слов новеллы Ги де Мопассана «Ожерелье»: «О моя бедная Матильда! Но мое ожерелье было поддельным!» (коммент. Н.М.)

216

…уроженец Минска Пат Риций — глухой отголосок некогда бурной литературной полемики, вспыхнувшей после издания комментированного набоковского перевода «Евгения Онегина» (1964). Ее главными

участниками стали бывшие друзья: Набоков и Эдмунд Уилсон (1895–1972), авторитетнейший американский критик – «последний патриций», как назвал его другой американский критик Норман Подгорец (чья фамилия представлена на Антитерре буквальным английским переводом – «underbill»). В свое время очень много сделав для того, чтобы Набоков освоился в литературном мире США, Уилсон написал разгромную рецензию на набоковский перевод «Онегина»: «Профессор Арндт положил огромные усилия, чтобы перевести „Евгения Онегина“ четырехстопным ямбом, соблюдая довольно сложную строфическую форму оригинала. Мистер Набоков решил, что невозможно воспроизвести форму, оставаясь действительно верным смыслу текста, и предложил „буквальный“ перевод, который сохраняет ямбическую основу, но довольно часто попросту переходит на прозу. Результат подобного подхода оказался плачевней того, чего достиг Арндт в своей героической попытке: на свет появился серый и неуклюжий язык, ничего общего не имеющий с языком Пушкина и самого Набокова, каким мы его знаем» (Wilson E. The strange case of Pushkin and Nabokov // The New York Review of Books. 1965. 15 July, p. 3). В ответ на возражения своего бывшего протеже – «Не думаю, что мистеру Уилсону стоит учить меня, как произносить тот или иной русский гласный» – Уилсон (довольно слабо владея русским языком) лишь усилил критические атаки, пытаясь уличить Набокова в многочисленных ошибках и плохом знании родного языка: «Я слышал, что мистер Набоков настаивает на превосходстве петербургского произношения над московским, и каково же было мое удивление, когда я узнал, что он рекомендует использовать произношение минское» (цит. по: Boyd B. Vladimir Nabokov. The American Years. London, 1993, p. 497). (коммент. Н.М.)

217

…потрепанным «Эдмундсоном» в почтительном изложении д-ра Гершчижевского… – продолжая подтрунивать над Эдмундом Уилсоном, автор «Ады» отпускает шпильку в адрес другого оппонента, Александра Павловича Гершенкрона (1904–1978), профессора экономики, перу которого принадлежит обстоятельная статья, посвященная разбору набоковского перевода и комментария «Евгения Онегина» (Gershenkron A. A Manufactered Moment? // Modern Philology. 1966. V. 63. № 4). В своей рецензии (до сих пор это лучшее, что написано о набоковском переводе «Евгения Онегина») Гершенкрон упрекал Набокова за снобистские выпады против пушкиниста Дмитрия Ивановича Чижевского (1894–1977) – за что и поплатился, вместе со своим подзащитным став очередной жертвой анаграмматических забав «неутомимого В.В.». (коммент. Н.М.)

218

«Тузенбах (не зная, что сказать). Я не пил сегодня кофе…» — А.П. Чехов. Три сестры, IV. (коммент. Н.М.)

219

…вылитая Фанни Прайс — сравнение Ады с тургеневской девушкой, а тем более с Фанни Прайс, героиней романа Джейн Остин, весьма иронично, особенно если вспомнить «сцену на лестнице», где робкая девочка Фанни — бедная воспитанница в семье богатых родственников — горько и безутешно плачет. (коммент. Н.М.)

220

…виноградом Персты — реминисценция из стихотворения А.С. Пушкина «Виноград» (1824). (коммент. Н.М.)

221

…по расчету по моему… — Демон повторяет слова Фамусова («Горе от ума», II, 1). (коммент. Н.М.)

222

…капитан Тэппер — фамилия набоковского капитана из разряда «говорящих», недвусмысленно указывающих на характерные особенности своего носителя: в данном случае — на сексуальную ориентацию героя.

Тэппер перекликается с французским словом tapette (педераст); «Уайлд-Фиолет» служит дополнительной подсказкой: violet (фиалковый, лиловый) обозначает цвет, на Западе традиционно ассоциирующийся с гомосексуалами; фамилия известного английского писателя говорит сама за себя. (коммент. Н.М.)

223

…плод уже зрел в нем — согласно Даркблоому, в предложении, завершающем первую часть «Ады», имитируется окончание 20-й главы пятой части «Анны Карениной»: «…Доктор подтвердил свои предположения насчет Кити. Нездоровье ее была беременность». (коммент. Н.М.)

224

…прямо у «Пьяного корабля» Босха — заглавие одного из самых знаменитых стихотворений Артюра Рембо «Пьяный корабль» (1871) выдается автором за название картины нидерландского художника Иеронимуса Босха (ок. 1460–1516) «Корабль дураков» (ок. 1500, Париж, Лувр). (коммент. Н.М.)

225

Сиг Лимэнски — анаграмма, в которой замурованы имя и фамилия английского писателя Кингсли Эмиса (1922–1995), автора целого ряда научно-фантастических романов, в нашей стране известного лишь в качестве создателя сатирического романа «Счастливчик Джим» (1954). На литературном поприще Эмис проявил себя и как весьма «сердитый» критик, враждебно относившийся к набоковскому творчеству. Его перу принадлежат три набокофобских критических опуса: издевательская рецензия на роман «Пнин» — «безвкусный салат из Джойса, Чаплина, Мэри Маккарти» — (Spectator. 1957. 27 September), ворчливая статья о «Лолите», в которой он писал о вычурном стиле и «нравственной атрофии» автора (Spectator. 1959. 6 November), и пренебрежительный отзыв на англоязычную версию романа «Приглашение на казнь» — «второсортное переложение Кафки» (Observer. 1961. 5 June). (коммент.

Н.М.)

226

«Абенсераг», «Зегрис» — названия двух фиктивных издательств отсылают нас к рассказу Ф.Р. Шатобриана «Последний из Абенсерагов» (1810), в котором «Зегрис» и «Абенсераг» фигурируют как имена двух старинных арабских родов, изгнанных испанцами из Гренады. Отсюда и упоминаемая далее «лапочка Шатобриана». (коммент. Н.М.)

227

«Мы любили лишь жен…» — цитируется стихотворение «Долорес» английского поэта Алджернона Чарльза Суинберна (1837–1909) из его сборника «Стихи и баллады» (1866). (коммент. Н.М.)

228

Я не владею искусством размерять мои вздохи… — фраза из любовного послания Гамлета к Офелии (II, 2), пер. А. Кронеберга. (коммент. Н.М.)

229

«Тэбби» старика Бекстейна — под «стариком Бекстейном» подразумевается американский писатель Джон Стейнбек (1902–1968). (коммент. Н.М.)

230

«Любовь под липами» некоего Илманна — стрельба дуплетом, поражающая сразу двух литераторов — американского драматурга Юджина O'Нила, автора пьесы «Любовь под вязами» (1925), и многострадального Томаса Манна (смысл шутки едва ли был до конца понят американскими читателями, не знакомыми с одним из значений русского слова «липа»; во всяком случае, англоязычные комментаторы «Ады», доходя до этого места, все больше говорят о берлинской улице «Унтер ден Линден» или вспоминают название одной из песен Шуберта, упоминаемой в манновской «Волшебной горе», 1924). Рикошетом поражен и лучший переводчик Манна на английский язык Х.Е. Лоу-Портер. (коммент. Н.М.)

231

«Карты Нежной Любви» — название аллегорической карты, приложенной к многотомному роману французской писательницы Мадлен де Скюдери (1607—1701) «Клелия, или Римская история» (1654—1660). (коммент. Н.М.)

232

Так ты женат? — реминисценция из восьмой главы «Евгения Онегина» (разговор на балу между Онегиным и князем): «Так ты женат! Не знал я ране! / Давно ли?» — Около двух лет. — «На ком?» — На Лариной. — «Татьяне!»). (коммент. Н.М.)

233

…прозой д-ра Генри — привередливый автор «Ады» не очень жаловал творчество английского прозаика (американца по происхождению) Генри Джеймса (1843—1916). Об этом он неоднократно заявлял в письмах

Эдмунду Уилсону: «Вчера прочел „Письма Асперна“. Нет. Его перо отточено до предела, но чернила чересчур водянисты, и их мало в чернильнице. <…> Стиль отличается артистизмом, но это не стиль художника» (NWL., pp. 52–53); «Вчера прочитал (или, точнее, перечитал) „Что знала Мейзи“. Это ужасно» (NWL., p. 182). (коммент. Н.М.)

234

Oceanus Nox — тематическая перекличка со стихотворением Виктора Гюго «Oceano Nox» (1840), в котором оплакиваются моряки, утонувшие в море. (коммент. Н.М.)

235

И над вершинами Молчанья… — пародийный перепев лермонтовского «Демона»: «И над вершинами Кавказа / Изгнанник рая пролетал; / Под ним Казбек, как грань алмаза, / Снегами вечными сиял…» (коммент. Н.М.)

236

…точно Jupiter Olorinus — аллюзия на сюжет античной мифологии, рассказывающий о том, как Зевс (Юпитер) овладел женой спартанского царя Тиндарея, приняв облик лебедя. (коммент. Н.М.)

237

…каламбура-убийцы — реминисценция из стихотворения Поля Верлена «Искусство поэзии» (1874). (коммент. Н.М.)

238

…«предчувствие» («ожидание продвижения по службе или боязнь промахнуться в связях», по выражению одного мыслителя-неудачника)… — выпад против английского философа-неореалиста Сэмюэля Александера (1859–1938), развивавшего идеи — неприемлемые для Вана и Набокова — о «пространстве-времени» как исходной реальности бытия, порождающей материальный мир, жизнь, психику и сознание. Псевдоцитата, приведенная автором «Ткани времени», составлена из двух фраз, взятых из научно-философского трактата Александера «Пространство, Время и Бог» (1933) (кн. 1, гл. 4). (коммент. Н.М.)

239

«К Лесбии» Катулла — под именем Лесбии римский поэт Гай Валерий Катулл (ок. 87 — ок. 54 до н. э.) воспел любимую им Клодию — красавицу, игравшую блестящую роль в аристократическом обществе Рима. (коммент. Н.М.)

240

…я постоянно вспоминаю то голубое утро и балкон, где ты ела tartine au miel… — у зарубежных интерпретаторов «Ады» это место ассоциируется с эпизодом из романа М. Пруста «По направлению к Свану», где описывается, как вкусовое ощущение от пирожных «мадлен» помогает герою-повествователю воскресить в памяти дорогие ему образы прошлого и, преодолев власть быстротекущего времени, пережить заново, казалось бы, безвозвратно ушедшие чувства и настроения детства. (коммент. Н.М.)

241

Ce beau Jardin fleurit… — травестийное переложение строк из монолога короля Лира («Король Лир», акт V, сц. 3). (коммент. Н.М.)

242

…прочтя… романтическую историю Шатобриана о брате и сестре, Ада не вполне вникла в смысл фразы… — характерный для поэтики романа пример ложного цитирования одного из главных своих литературных «источников», повести Ф.Р. Шатобриана «Рене, или Следствие страстей» (1802), главная тема которой — несчастная, трагическая любовь брата и сестры. (коммент. Н.М.)

243

…роман под названием «Les Enfants Maudits» — заглавие очередного сочинения м-ль Ларивьер пародийно перекликается с названием романа Жана Кокто «Les Enfants Terribles», 1929 («Трудные дети»). (коммент. Н.М.)

244

…cousinage-dangereux-voisinage — Марина повторяет каламбур героини Л.Н. Толстого — Анны Михайловны Друбецкой из «Войны и мира», — сказанный ею по поводу амурных отношений между кузеном и кузиной — Соней и Николаем Ростовым (кн. I, ч. I, гл. 9). (коммент. Н.М.)

245

Едва ее жених отбыл в поход военный… — пародийно обыгранные строки стихотворения Франсуа Коппе «Ночное бдение» (в рус. пер. «Простила»): «Когда ее жених уехал на войну / Иренна де Граммон с решимостью спокойной / Не предалась слезам и скорби недостойной…» (пер. О. Чюминой; цит. по изд.: Франсуа Коппе. Стихотворения. / Под ред. П. Вейнберга. СПб., 1899). (коммент. Н.М.)

246

Une acte gratuite — употребление артикля женского рода «une» со словом мужского рода «acte» (поступок) не что иное, как замаскированный выпад против злополучного У.Х. Одена, в одном из своих эссе написавшего «acte gratituite» вместо «act gratituit». Эту ошибку Набоков едко высмеял в письме к одному из своих американских знакомых (см.: SL., p. 217). (коммент. Н.М.)

247

…рухнут утесы… — набоковский персонаж цитирует эпиграмму римского писателя и философа-стоика Луция Аннея Сенеки (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.) «Все, что мы видим вокруг, пожрет ненасытное время…». (коммент. Н.М.)

248

…заглавие malheureux пошлого романчика Помпье — настоящим автором «пошлого романчика» «Условия человеческого существования» (1933) был популярный в 40–50-е гг. французский писатель Андре Мальро (Malraux) (1901–1976), о котором Набоков пренебрежительно отзывался как о «третьеразрядном писателе». (Разгромный отзыв о романе Мальро Набоков дал в одном из писем к своему постоянному корреспонденту, американскому критику Эдмунду Уилсону.) В «Аде» пренебрежение к Мальро подчеркивается еще и тем, что его роман — «солидная куча литературных клише», как выразился Набоков, — отдан в авторство другому третьеразрядному французскому литератору — «Помпье», т. е.

Виктору Луи-Амадею Помье (1804–1870), автору дидактических сочинений на заданные темы и стихов «на случай». (коммент. Н.М.)

249

«Уймитесь, волнения страсти!» — романс М.И. Глинки на стихотворение Н.В. Кукольника «Сомнение» (1838). (коммент. Н.М.)

250

Есть на Россе утес… — вариант «народного романса» А. Навороцкого «Утес Стеньки Разина» (ок. 1864). (коммент. Н.М.)

251

Однозвучно гремит колокольчик… — народный романс, слова И. Макарова, музыка А.Л. Гурилева. (коммент. Н.М.)

252

Утро туманное, утро седое… — музыку на слова одноименного стихотворения (1843) И.С. Тургенева писало несколько композиторов: А.Ф. Гедике, Г.Л. Катуар, В.В. Абаза (его вариант наиболее известен). (коммент. Н.М.)

253

О, говори хоть ты со мной… — городской романс на слова одноименного стихотворения (1857) А.А. Григорьева. (коммент. Н.М.)

254

В одеждах розово-зеленых… — реминисценция последних строк бодлеровского стихотворения «Предрассветные сумерки» («В одеждах розово-зеленых тихо всплыла / Дрожащая заря над Сеною унылой», пер. А. Ламбле) и одновременно — аллюзия на первое действие «Трех сестер», где одна из героинь — Наташа — появляется безвкусно одетая в розовое платье с зеленым поясом. (коммент. Н.М.)

255

«Будь настойчива, душа моя, напрягай сильнее…» — шаловливо оборванная цитата из Аврелия Августина («Исповедь», кн. XI, гл. 27). У Блаженного Августина эта фраза выглядит так: «Будь настойчива, душа моя, напрягай сильнее мысль свою». (коммент. Н.М.)